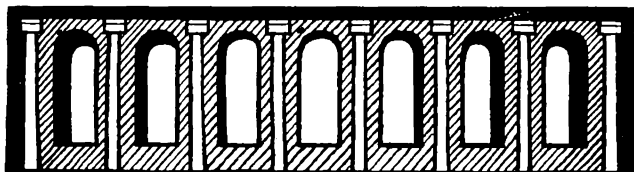


ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1970





ИСТОРИКИ



РИМА

ПЕРЕВОДЫ С ЛАТИНСКОГО

Издание осуществляется под общей редакцией:
С. Апта, М. Грабарь-Пассек, Ф. Петровского,
А. Тахо-Годи и С. Шервинского

Вступительная статья

С. У Т Ч Е Н К О

Редактор переводов

С. М А Р К И Ш

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Художник

Ю. К Л О Д Т

РИМСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ И РИМСКИЕ ИСТОРИКИ

Предлагаемая книга должна дать читателю представление о древнеримской историографии в ее наиболее ярких и характерных образцах, то есть в соответствующих (и довольно обширных) извлечениях из трудов самих римских историков. Однако римская историография возникла задолго до того, как появились в свет и были опубликованы труды представленных в данном томе авторов. Поэтому знакомство с их произведениями, пожалуй, целесообразно предварить хотя бы самым беглым обзором развития римской историографии, определением основных ее тенденций, а также краткими характеристиками и оценкой деятельности наиболее выдающихся римских историков, извлечения из работ которых читатель и встретит в данном томе. Но для того, чтобы уловить какие-то общие, принципиальные тенденции в развитии древнеримской историографии, необходимо, прежде всего, достаточно ясно представить себе те условия, ту культурную и идейную среду, в которой эта историография возникла и продолжала существовать. Следовательно, речь должна идти о некоторой характеристике духовной жизни римского общества (примерно с III в. до н. э. по I в. н. э.).

Широко распространенный тезис о тесном родстве или даже единстве греко-римского мира, пожалуй, ни в чем не находит себе более яркого подтверждения, как в факте близости и взаимовлияния культур. Но что обычно имеется в виду, когда говорят о «взаимовлиянии»? Каков характер этого процесса?

Обычно считается, что греческая (или шире — эллинистическая) культура, как культура более «высокая», оплодотворила римскую, причем последняя тем самым уже признается и несамостоятельной, и эклектичной. Не менее часто — а, на наш взгляд, столь же неправомерно — проникновение эллинистических влияний в Рим изображается как «за-

воевание побежденной Грецией своего сурового завоевателя», завоевание мирное, «бескровное», не встретившее в римском обществе видимого противодействия. Так ли это на самом деле? Такой ли это был мирный и безболезненный процесс? Попытаемся — хотя бы в общих чертах — рассмотреть его ход и развитие.

Об отдельных фактах, доказывающих проникновение греческой культуры в Рим, можно говорить еще применительно к так называемому «царскому периоду» и к периоду ранней республики. Если верить Ливию, то в середине V века в Афины была направлена из Рима специальная делегация, дабы «списать законы Солона и узнать учреждения, нравы и права других греческих государств» (3, 31). Но все же в те времена речь могла идти лишь о разрозненных и единичных примерах — о систематическом же и все возрастающем влиянии эллинистической культуры и идеологии можно говорить, имея в виду уже ту эпоху, когда римляне, после победы над Пирром, подчинили себе греческие города Южной Италии (то есть так называемую «Великую Грецию»).

В III веке, особенно во второй его половине, в высших слоях римского общества распространяется греческий язык, знание которого в скором времени становится как бы признаком «хорошего тона». Об этом свидетельствуют многочисленные примеры. Еще в начале III века Квинт Огульний, глава посольства в Эпидавр, овладевает греческим языком. Во второй половине III века ранние римские анналисты Фабий Пиктор и Цинций Алиммент — о них еще будет речь впереди — пишут свои труды по-гречески. Во II веке большинство сенаторов владеет греческим языком. Луций Эмилий Павел был уже настоящим филэллин; в частности, он стремился дать своим детям греческое образование. Сципион Эмилиан и, видимо, все члены его кружка, этого своеобразного клуба римской «интеллигенции», бегло говорили по-гречески. Публий Красс изучал даже греческие диалекты. В I веке, когда, например, Молон, глава родосского посольства, держал речь перед сенатом на своем родном языке, то сенаторам не требовался переводчик. Цицерон, как известно, свободно владел греческим языком; не менее хорошо знали его Помпей, Цезарь, Марк Антоний, Октавиан Август.

Вместе с языком в Рим проникает и эллинистическая образованность. Великих греческих писателей знали превосходно. Так, например, известно, что Сципион реагировал на известие о гибели Тиберия Гракха стихами Гомера. Известно также, что последней фразой Помпея, обращенной им за несколько минут до его трагической гибели к жене и сыну, была цитата из Софокла. Среди молодых римлян из аристократических семей распространяется обычай путешествий с образовательной целью — главным образом в Афины или на Родос с целью изучения философии, риторики, филологии, в общем, всего того, что входило в римские представления о «высшем образовании». Возрастает число

римлян, серьезно интересующихся философией и примыкающих к той или иной философской школе: таковы, скажем, Лукреций — последователь эпикуреизма, Катон Младший — приверженец не только в теории, но и на практике стоического учения, Нигидий Фигул — представитель нарождавшегося в то время неопифагорейства и, наконец, Цицерон — эллектик, склонявшийся, однако, в наибольшей мере к академической школе.

С другой стороны, в самом Риме непрерывно растет число греческих риториков и философов. Целый ряд «интеллигентных» профессий был как бы монополизирован греками. Причем следует отметить, что среди представителей этих профессий нередко попадались рабы. Это были, как правило, актеры, педагоги, грамматиканы, риторы, врачи. Слои рабской интеллигенции в Риме — особенно в последние годы существования республики — был многочислен, а вклад, внесенный ею в создание римской культуры, весьма ощутим.

Определенные круги римского нобилитета охотно шли навстречу эллинистическим влияниям, дорожили своей репутацией в Греции, проводили даже покровительственную «филэллинскую» политику. Так, например, знаменитый Тит Квинкций Фламиний, провозгласивший на Истмийских играх 196 года свободу Греции, подвергся обвинениям чуть ли не в измене государственным интересам Рима, когда он уступил требованиям этолийцев и освободил, вопреки решению комиссии сената, от римских гарнизонов такие важные опорные пункты, как Коринф, Халкиду, Деметриаду (Плутарх, «Тит Квинкций», 10). В дальнейшем филэллинские настроения отдельных представителей римского нобилитета толкали их на еще более необычные и недопустимые с точки зрения «староримского» гражданина и патриота поступки. Претор 104 года Тит Альбуций, живший довольно продолжительное время в Афинах и превратившийся в грека, открыто бравировал этим обстоятельством: он подчеркивал свою приверженность к эпикуреизму и не желал, чтобы его считали римлянином. Консул 105 года Публий Рутилий Руф, последователь стоицизма, друг философа Панетия, во время своего изгнания принял гражданство Смирны и затем отклонил сделанное ему предложение вернуться в Рим. Последний поступок расценивался староримскими обычаями и традицией даже не столько как измена, но скорее как кощунство.

Таковы некоторые факты и примеры проникновения в Рим эллинистических влияний. Однако было бы совершенно неправильно изображать эти влияния как «чисто греческие». Исторический период, который мы имеем в виду, был эпохой эллинизма, следовательно, «классическая» греческая культура претерпела серьезные внутренние изменения и была в значительной мере ориентализована. Поэтому в Рим — сначала все же при посредстве греков, а затем, после утверждения римлян в Малой

Азии, более прямым путем — начинают проникать культурные влияния Востока.

Если греческий язык, знание греческой литературы и философии распространяются среди высших слоев римского общества, то некоторые восточные культы, а также идущие с Востока эсхатологические и сотериологические идеи получают распространение прежде всего среди широких слоев населения. Официальное признание сотериологических символов происходит во времена Суллы. Движение Митридата содействует широкому распространению в Малой Азии учений о близком наступлении золотого века, а разгром этого движения римлянами возрождает пессимистические настроения. Подобного рода идеи проникают в Рим, где они сливаются с этрусской эсхатологией, имеющей, возможно, также восточное происхождение. Эти идеи и настроения приобретают особенно актуальное звучание в годы крупных социальных потрясений (диктатура Суллы, гражданские войны до и после смерти Цезаря). Все это свидетельствует о том, что эсхатологические и мессанистические мотивы не исчерпывались религиозным содержанием, но включали в себя и некоторые социально-политические моменты.

В античной культуре и идеологии имеется ряд явлений, которые оказываются как бы связующим звеном, промежуточной средой между «чистой античностью» и «чистым Востоком». Таковы орфизм, неопифагорейство, в более позднее время — неоплатонизм. Отражая в какой-то мере чаяния широких слоев населения, в особенности политически бесправных масс неграждан, наводнявших в те времена Рим (и бывших очень часто выходцами с того же Востока), подобные настроения и веяния на более «высоком уровне» выливались в такие исторические факты, как, например, деятельность уже упоминавшегося выше Нигидия Фигула, друга Цицерона, которого можно считать одним из наиболее ранних в Риме представителей неопифагорейства, с его вполне определенной восточной окраской. Не менее хорошо известно, как были сильны восточные мотивы в творчестве Вергилия. Не говоря уже о знаменитой четвертой эклоге, можно отметить наличие весьма значительных восточных элементов и в других произведениях Вергилия, а также у Горация и у ряда других поэтов «золотого века».

Из всего сказанного выше, из приведенных примеров и фактов действительно может сложиться впечатление о «мирном завоевании» римского общества чужеземными, эллинистическими влияниями. Пора, очевидно, обратить внимание на другую сторону этого же процесса — на реакцию самих римлян, римского общественного мнения.

Если иметь в виду период ранней республики, то идейная среда, окружавшая римлянина в семье, роде, общине, была, несомненно, средой, противодействующей подобным влияниям. Само собой разумеется, что точное и детальное определение идейных ценностей столь отдален-

ной эпохи едва ли возможно. Быть может, только анализ некоторых рудиментов древней полисной морали способен дать приблизительное и, конечно, далеко не полное представление об этой идейной среде.

Цицерон говорил: предки наши в мирное время всегда следовали традиции, а на войне — пользе. («Речь в поддержку закона Манлия», 60.) Это преклонение перед традицией, высказываемое обычно в форме безоговорочного признания и восхваления «правов предков» (*mos maiorum*), определяло одну из наиболее характерных черт римской идеологии: консерватизм, враждебность всяким новшествам.

Моральные категории Рима-полиса отнюдь не совпадали и не исчерпывались четырьмя каноническими добродетелями греческой этики: мудростью, мужеством, воздержанностью и справедливостью. Римляне, наоборот, требовали от каждого гражданина бесконечного числа добродетелей (*virtutes*), которые невольно наталкивают на аналогию с римской религией и ее огромным количеством различных богов. Не будем в данном случае ни перечислять, ни определять эти *virtutes*, скажем лишь, что от римского гражданина требовалось отнюдь не то, чтобы он обладал той или иной доблестью (например, мужеством, достоинством, стойкостью и т. п.), но обязательно «набором» всех добродетелей, и только их сумма, их совокупность и есть римская *virtus* в общем смысле слова — всеобъемлющее выражение должного и достойного поведения каждого гражданина в рамках римской гражданской общины.

Иерархия нравственных обязанностей в Древнем Риме — известна, причем, пожалуй, с большей определенностью, чем любые другие взаимоотношения. Краткое и точное определение этой иерархии дает нам создатель литературного жанра сатиры Гай Луцилий:

Должно о благе отчизны сперва нанвысшем подумать,
После о благе родных и затем уже только о нашем.

Несколько позже и в несколько иной форме, но, по существу, ту же самую мысль развивает Цицерон. Он говорит: много есть степеней общности людей, например, общность языка или происхождения. По самой тесной, самой близкой и дорогой оказывается та связь, которая возникает в силу принадлежности к одной и той же гражданской общине (*civitas*). Родина — и только она — вмещает в себя общине привязанности. («Об обязанностях», I, 17, 53—57.)

И, действительно, высшая ценность, которую знает римлянин, — это его родной город, его отечество (*patria*). Рим — вечная и бессмертная величина, которая безусловно переживет каждую отдельную личность. Потому интересы этой отдельной личности всегда отступают на второй план перед интересами общины в целом. С другой стороны — только община является единственной и высшей инстанцией для апробации *virtus* определенного гражданина, только община и может даровать сво-

ему сочлену честь, славу, отличие. Поэтому *virtus* не может существовать в отрыве от римской общественной жизни или быть независимой от приговора сограждан. Содержание древнейших (из дошедших до нас на гробницах Сципионов) надписей прекрасно иллюстрирует это положение (перечисление *virtutes* и деяний во имя *res publica*, подкрепленные мнениями членов общины).

Пока были живы эти нормы и максимы древнеримской полисной морали, проникновение чужеземных влияний в Рим шло вовсе не просто и не безболезненно. Наоборот, мы имеем дело с нелегким, а временами и мучительным процессом. Во всяком случае, это была не столько готовность к приятию эллинистической, а тем более восточной культуры, сколько борьба за ее освоение, вернее даже, преодоление.

Достаточно вспомнить знаменитый процесс и постановление сената о вакханалиях (186 г.), по которому члены общины поклонников Вакха, — культ, проникший в Рим с эллинистического Востока, — подвергались суровым карам и преследованию. Не менее характерна деятельность Катона Старшего, политическая программа которого основывалась на борьбе против «новых гнусностей» (*nova flagitia*) и на восстановлении древних нравов (*prisca mores*). Избрание его цензором на 184 год свидетельствует о том, что эта программа пользовалась поддержкой определенных и, видимо, достаточно широких слоев римского общества.

Под *nova flagitia* подразумевался целый «набор» пороков (не менее многочисленный и разнообразный, чем в свое время перечень добродетелей), но на первом месте стояли, несомненно, такие, занесенные якобы с чужбины в Рим, пороки, как, например, корыстолюбие и алчность (*avaritia*), стремление к роскоши (*luxuria*), тщеславие (*ambitus*). Проникновение хотя бы только этих пороков в римское общество было, по мнению Катона, главной причиной упадка нравов, а следовательно, и могущества Рима. Кстати сказать, если бесчисленное множество добродетелей объединялось как бы общим и единым стержнем, а именно интересами, благом государства, то и все *flagitia*, против которых боролся Катон, могут быть сведены к лежащему в их основе единому стремлению — стремлению убогатиться сугубо личные интересы, которые берут верх над интересами гражданскими, общественными. В этом противоречии уже сказываются первые (но достаточно убедительные) признаки расшатывания древних нравственных устоев. Таким образом, Катона можно считать родоначальником теории упадка нравов, в ее явно выраженной политической интерпретации. Кстати говоря, эта теория сыграла заметную роль в истории римских политических учений.

В ходе борьбы против тех иноземных влияний, которые в Риме, по тем или иным причинам, признавались вредными, иногда были применяемы меры даже административного характера. Так, например, нам известно, что в 161 году из Рима была выслана группа философов и ри-

торов, в 155 году тот же Катон предлагал удалить состоявшее из философов посольство и даже в 90-х годах упоминалось о недоброжелательном отношении в Риме к риторам.

Что касается более позднего времени,— периода достаточно широкого распространения эллинистических влияний,— то и в этом случае приходится, на наш взгляд, говорить о «защитной реакции» римского общества. С нею нельзя было не считаться. Некоторые греческие философы, например Панетий, учитывая запросы и вкусы римлян, шли на смягчение ригоризма старых школ. Цицерон, как известно, тоже был вынужден доказывать свое право на занятия философией, да и то оправдывая их вынужденной (не по его вине!) политической бездеятельностью. Гораций в течение всей своей жизни боролся за признание поэзии серьезным занятием. С тех пор как в Греции возникла драма, актерами там были свободные и уважаемые люди, в Риме же это были рабы, которых бьют, если они плохо играют; считалось бесчестием и достаточным основанием для порицания цензоров, если свободнорожденный выступил на сцене. Даже такая профессия, как врачебная, долгое время (вплоть до I в. н. э.) была представлена иностранцами и едва ли считалась почетной.

Все это свидетельствует о том, что на протяжении многих лет в римском обществе шла долгая и упорная борьба против иноземных влияний и «чуждеств», причем она принимала самые различные формы: то это была борьба идеологическая (теория упадка нравов), то — политические и административные меры (*senatus consultum* о вакханалиях, высылка философов из Рима), но, как бы то ни было, эти факты говорят о «защитной реакции», возникавшей иногда в среде самого римского нобилитета (где эллинистические влияния имели, конечно, наибольший успех и распространение), а иногда и в более широких слоях населения.

В чем заключался внутренний смысл этой «защитной реакции», этого сопротивления?

Он может быть понят лишь в том случае, если мы признаем, что процесс проникновения эллинистических влияний в Рим отнюдь не есть слепое, подражательное их приятие, не эпигонство, но, наоборот, процесс освоения, переработки, сплавления, взаимных уступок. Пока эллинистические влияния были только чужеземным продуктом, они наталкивались и не могли не наталкиваться на стойкое, иногда даже отчаянное сопротивление. Эллинистическая культура, собственно говоря, лишь тогда и оказалась принятой обществом, когда она наконец была преодолена как нечто чуждое, когда она вступила в плодотворный контакт с римскими самобытными силами. Но если это так, то тем самым полностью опровергается и должен быть снят тезис о несамостоятельности, эпигонстве и творческом бессилии римлян. Итогом всего этого длительного и отнюдь не мирного процесса — по существу, процесса взаимо-

пропикновения двух интенсивных сфер: староримской и восточноэллинистической — следует считать образование «зрелой» римской культуры (эпохи кризиса республики и установления принципата).

Римская историческая традиция повествует об истории города Рима с древнейших времен. Недаром Цицерон с гордостью говорил, что нет на земле народа, который, подобно римлянам, знал бы историю своего родного города не только со дня его основания, но и с момента зачатия самого основателя города. Теперь, когда мы ознакомились с той идеологической средой, которая питала, в частности, римскую историческую традицию, римскую историографию, мы можем перейти к краткому обзору ее возникновения и развития.

Римская историография — в отличие от греческой — развилась из летописи. Согласно преданию, чуть ли не с середины V в. до н. э. в Риме существовали так называемые «таблицы понтификов». Верховный жрец — pontifex maximus — имел обычай выставлять у своего дома белую доску, на которую он заносил для всеобщего сведения важнейшие события последних лет (Цицерон, «Об ораторе», 2, 52). Это были, как правило, сведения о неурожаях, эпидемиях, войнах, предзнаменованиях, посвящениях храмов и т. п.

Какова была цель выставления подобных таблиц? Можно предположить, что они выставлялись — во всяком случае, первоначально — вовсе не для удовлетворения исторических, но чисто практических интересов. Записи в этих таблицах имели календарный характер. Вместе с тем нам известно, что одной из обязанностей понтификов была забота о правильном ведении календаря. В тех условиях эта обязанность могла считаться довольно сложной: у римлян отсутствовал строго фиксированный календарь, и потому приходилось согласовывать солнечный год с лунным, следить за передвижными праздниками, определять «благоприятные» и «неблагоприятные» дни и т. п. Таким образом, вполне правдоподобным представляется предположение, что ведение таблиц прежде всего было связано с обязанностью понтификов регулировать календарь и наблюдать за ним.

С другой стороны, есть основания считать таблицы понтификов как бы неким остовом древнейшей римской историографии. Погодное ведение таблиц давало возможность составить списки или перечни тех лиц, по именам которых в Древнем Риме обозначался год. Такими лицами в Риме были высшие магистраты, то есть консулы. Первые списки (консульские фасты) появились предположительно в конце IV в. до н. э. Примерно тогда же возникла и первая обработка таблиц, то есть первая римская хроника.

Характер таблиц и основанных на них хроник с течением времени постепенно менялся. Число рубрик в таблицах увеличивалось, помимо войн и стихийных бедствий в них появляются сведения о внутривосточных событиях, деятельности сената и народного собрания, об итогах выборов и т. д. Можно предположить, что в эту эпоху (III—II вв. до н. э.) в римском обществе проснулся исторический интерес, в частности интерес знатных родов и семей к их «славному прошлому». Во II в. до н. э. по распоряжению верховного понтифика Публия Цевола была опубликована обработанная сводка всех погодных записей, начиная с основания Рима (в 80-ти книгах) под названием «Великая летопись» (*Annales maximi*).

Что касается литературной обработки истории Рима — то есть историографии в точном смысле слова, — то ее возникновение относится к III веку и стоит в бесспорной связи с проникновением эллинистических культурных влияний в римское общество. Не случайно первые исторические труды, написанные римлянами, были написаны на греческом языке. Поскольку ранние римские историки литературно обрабатывали материал официальных летописей (и семейных хроник), то их принято называть анналистами. Анналистов делят обычно на старших и младших.

Современная историческая критика давно не признает римскую анналистику исторически ценным материалом, то есть материалом, дающим достоверное представление об отображенных в нем событиях. Но ценность ранней римской историографии состоит отнюдь не в этом. Изучение некоторых ее характерных черт и тенденций может дополнить наше представление об идейной жизни римского общества, причем о таких сторонах этой жизни, которые недостаточно или вовсе не освещались другими источниками.

Родоначальником литературной обработки римских хроник, как известно, считается Квинт Фабий Пиктор (III в.), представитель одного из наиболее знатных и старинных родов, сенатор, современник второй Пунической войны. Он написал (на греческом языке!) историю римлян от прибытия Энея в Италию и вплоть до современных ему событий. От труда сохранились жалкие отрывки, да и то в форме пересказа. Интересно отметить, что хотя Фабий и писал по-гречески, но его патристические симпатии настолько ясны и определены, что Полибий дважды обвиняет его в пристрастном отношении к соотечественникам.

Продолжателями Квинта Фабия считаются его младший современник и участник Второй Пунической войны Луций Цинций Алимента, написавший историю Рима «от основания города» (*ab urbe condita*), и Гай Ацилий, автор аналогичного труда. Оба эти произведения были написаны также по-гречески, но труд Ацилия в дальнейшем переведен на латинский язык.

Первым историческим трудом, который самим автором писался на родном языке, были «Начала» (Origines) Катона. Кроме того, в этом сочинении — оно до нас не дошло, и мы судим о нем на основании небольших фрагментов и свидетельств других авторов — материал излагался не в летописной форме, но скорее в форме исследования древнейших судеб племен и городов Италии. Таким образом, труд Катона касался уже не только Рима. Кроме того, он отличался от произведений других анналистов тем, что имел определенную претензию на «научность»: Катон, видимо, тщательно собирал и проверял свой материал, опирался на факты, летописи отдельных общин, личный осмотр местности и т. д. Все это, вместе взятое, делало Катона своеобразной и одиноко стоящей фигурой в ранней римской историографии.

Обычно к старшей анналистике относят еще современника третьей Пунической войны Луция Кассия Гемину и консула 133 года Луция Кальпурния Писона Фруги. Оба они писали уже по-латыни, но конструктивно труды их восходят к образцам ранней анналистики. Для труда Кассия Гемины более или менее точно засвидетельствовано не без умысла взятое название *Annales*, самый труд повторяет традиционную схему таблиц понтификов — события излагаются от основания Рима, при начале каждого года всегда указываются имена консулов.

Ничтожные фрагменты, да и то сохранившиеся, как правило, в пересказе более поздних авторов, не дают возможности охарактеризовать манеру и своеобразные черты творчества старших анналистов по отдельности, но зато можно довольно четко определить общее направление старшей анналистики как историко-литературного жанра, главным образом, в плане его расхождений, его отличий от анналистики младшей.

Труды старших анналистов представляли собой (быть может, за исключением лишь «Начал» Катона) хроники, подвергшиеся некоторой литературной обработке. В них сравнительно добросовестно, в чисто внешней последовательности, излагались события, передавалась традиция, правда, без критической ее оценки, но и без сознательно вводимых «дополнений» и «улучшений». Общие черты и «установки» старших анналистов: романоцентризм, культивирование патриотических настроений, изложение истории как в летописях — «с самого начала», то есть *ab urbe condita*, и, наконец, интерпретация истории в сугубо политическом аспекте, с явным пристрастием к описанию военных и внешнеполитических событий. Именно эти общие черты и характеризуют старшую анналистику в целом как определенное идейное явление и как определенный историко-литературный жанр.

Что касается так называемой младшей анналистики, то этот, по существу, новый жанр или новое направление в римской историографии возникает примерно в эпоху Гракхов. Произведения младших аннали-

стов до нас также не дошли, поэтому о каждом из них можно сказать весьма немногое, но какие-то общие особенности могут быть намечены и в данном случае.

Одним из первых представителей младшей анналистики считают обычно Луция Целия Антипатра. Его труд, видимо, уже отличался характерными для нового жанра особенностями. Он был построен не в форме летописи, но скорее исторической монографии, в частности изложение событий начиналось не *ab urbe condita*, но с описания Второй Пунической войны. Кроме того, автор отдавал весьма заметную дань увлечению риторикой, считая, что в историческом повествовании главное значение имеет сила воздействия, эффект, производимый на читателя.

Таковыми же особенностями отличалось творчество другого анналиста, жившего также во времена Гракхов — Семпрония Азеллиона. Его труд известен нам по небольшим извлечениям у компилятора Авла Геллия (II в. н. э.). Азеллион сознательно отказывался от летописного способа изложения. Он говорил: «Летопись не в состоянии побудить к более горячей защите отечества или остановить людей от дурных поступков». Рассказ о случившемся также еще не есть история, и не столь существенно рассказать о том, при каких консулах началась (или окончилась) та или иная война, кто получил триумф, сколь важно объяснить, по какой причине и с какой целью произошло описываемое событие. В этой установке автора нетрудно вскрыть довольно четко выраженный прагматический подход, что делает Азеллиона вероятным последователем его старшего современника — выдающегося греческого историка Полибия.

Наиболее известные представители младшей анналистики — Клавдий Квадригарий, Валерий Анциат, Лициний Макр, Корнелий Сизенна — жили во времена Суллы (80—70 гг. I в. до н. э.). В трудах некоторых из них наблюдаются попытки возрождения летописного жанра, но в остальном они отмечены всеми характерными чертами младшей анналистики, то есть для этих исторических трудов типичны большие риторические отступления, сознательное приукрашивание событий, а иногда и прямое их искажение, вычурность языка и т. п. Характерной чертой всей младшей анналистики можно считать проецирование современной авторам исторических трудов политической борьбы в далекое прошлое и освещение этого прошлого под углом зрения политических взаимоотношений современности.

Для младших анналистов история превращается в раздел риторики и в орудие политической борьбы. Они — и в этом их отличие от представителей старшей анналистики — не отказываются в интересах той или иной политической группировки от прямой фальсификации исторического материала (удвоение событий, перенесение позднейших событий

в более раннюю эпоху, заимствование фактов и подробностей из греческой истории и т. п.). Младшая анналистика — на вид довольно стройное, завершенное построение, без пробелов и противоречий, а на самом деле — построение насквозь искусственное, где исторические факты тесно переплетаются с легендами и вымыслом и где рассказ о событиях излагается с точки зрения более поздних политических группировок и приукрашен многочисленными риторическими эффектами.

Явлением младшей анналистики завершается ранний период развития римской историографии. Из всего изложенного выше мы извлекли некоторую общую и сравнительную характеристику старшей и младшей анналистики. Можно ли говорить о каких-то общих чертах этих жанров, о каких-то особенностях или специфических признаках ранней римской историографии в целом?

Очевидно, это возможно. Более того, как мы убедимся ниже, многие характерные черты ранней римской историографии сохраняются и в более позднее время, в период ее зрелости и расцвета. Не стремясь к исчерпывающему перечислению, остановимся лишь на тех из них, которые можно считать наиболее общими и наиболее бесспорными.

Прежде всего нетрудно убедиться, что римские анналисты — и ранние и поздние — пишут всегда ради определенной практической цели: активного содействия благу общества, благу государства. Некое отвлеченное исследование исторической истины ради истины им вообще не может прийти в голову. Как таблицы понтификов служили практическим и повседневным интересам общины, а фамильные хроника — интересам рода, так и римские анналисты писали в интересах *res publica*, причем, разумеется, в меру своего собственного понимания этих интересов.

Другая не менее характерная черта ранней римской историографии в целом — ее романоцентристская и патриотическая установка. Рим был всегда не только в центре изложения, но, собственно говоря, все изложение ограничивалось рамками Рима (опять-таки, за исключением «Начал» Катона). В этом смысле римская историография делала шаг назад по сравнению с историографией эллинистической, ибо для последней — в лице ее наиболее видных представителей и, в частности, Полибия — уже может быть констатировано стремление к созданию универсальной, всемирной истории. Что касается открыто выражаемой, а часто и подчеркиваемой патриотической установки римских анналистов, то она закономерно вытекала из отмеченной выше практической цели, стоявшей перед каждым автором, — поставить свой труд на службу интересов *res publica*.

И, наконец, следует отметить, что римские анналисты, в значительной мере, принадлежали к высшему, то есть сенаторскому сословию. Этим и определялись их политические позиции и симпатии, а также

наблюдаемое нами единство или, точнее говоря, «однонаправленность» этих симпатий (за исключением, очевидно, Лициния Макра, который пытался — насколько мы можем об этом судить — внести в римскую историографию демократическую струю). Что касается объективности изложения исторического материала, то давно уже известно, что честолюбивая конкуренция отдельных знатных фамилий и была одной из основных причин извращения фактов. Так, например, Фабий Пиктор, принадлежавший к древнейшей gens Fabia, издавна враждовавшей с не менее древней gens Cornelia, несомненно, ярче оттенял деятельность рода Фабиев, в то время как подвиги Корнелиев (а следовательно, и представителей такой ветви этого рода, как Сципионы) отодвигал на задний план. Такой же сторонник сципионовой политики, как, скажем, Гай Фанний, несомненно, поступал наоборот. Этим путем и возникали самые различные варианты «улучшения» или, наоборот, «ухудшения» истории, в особенности при изображении событий раннего времени, для которого не существовало более надежных источников.

Таковы некоторые общие черты и особенности ранней римской историографии. Однако прежде чем перейти к римской историографии периода ее зрелости, представляется целесообразным определить некоторые принципиальные тенденции развития античной историографии вообще (а на ее фоне, в частности, и римской!).

Римская историография, даже в период своей зрелости и наивысшего расцвета, не смогла полностью освободиться от ряда специфических черт и установок, характерных — как только что отмечалось — для анналистики, в частности анналистики младшей. Поэтому, будучи органичным и составным звеном античной историографии в целом, историография римская как бы олицетворяла собой определенное направление в ее развитии. Вообще, если иметь в виду античную историографию как таковую, то можно, пожалуй, говорить о двух наиболее ярких, наиболее кардинальных направлениях (или тенденциях). Попытаемся их определить, тем более что они — конечно, в достаточно измененном, модифицированном виде — продолжают не только существовать, но и активно противостоять друг другу даже в самой новой, то есть современной исторической литературе. О каких же направлениях идет в данном случае речь?

Одно из них представлено в античной историографии — если иметь в виду римское время — именем Полибия. Остановимся, в первую очередь, на характеристике именно этого направления.

Полибий (205—125 гг. до н. э.) был по происхождению греком. Он родился в аркадском городе Мегалополь, входившем в состав Ахейского

союза. Личная судьба будущего историка сложилась так, что он сам оказался как бы посредствующим звеном между Грецией и Римом. Это произошло благодаря тому, что после македонских войн Полибий попал в Рим, где и прожил целых шестнадцать лет в качестве заложника (он оказался в числе тысячи направленных в Рим заложников-аристократов). Здесь Полибий был принят в «высшем» римском обществе, входил в состав знаменитого Сципионова кружка. Видимо, в 150 году он получил право вернуться в Грецию, но затем часто приезжал в Рим, ставший для него второй родиной. В 146 году он находился в Африке вместе со Сципионом Эмилианом.

Годы пребывания в Риме превратили Полибия в горячего поклонника римского государственного устройства. Он считал, что оно может рассматриваться как образцовое, поскольку в нем осуществлен идеал «смешанного устройства», включающего в себя элементы царской власти (римские консулы), аристократии (сенат) и демократии (народные собрания).

Основной труд Полибия — «Всеобщая история» (в 40 книгах). К сожалению, этот большой труд не дошел до нас в целостности: полностью сохранились лишь первые пять книг, от остальных уцелели более или менее обширные фрагменты. Хронологические рамки труда Полибия таковы: подробное изложение событий начинается с 221 года и идет вплоть до 146 года (хотя в двух первых книгах дается суммарный обзор событий более раннего времени — с Первой Пунической войны). Исторический труд Полибия полностью оправдывает присвоенное ему название: автор рисует широкую картину истории всех стран, так или иначе соприкасавшихся в эту эпоху с Римом. Столь широкие масштабы и «всемирно-исторический» аспект были неизбежны, даже необходимы, ибо Полибий задался целью — ответить своим произведением на вопрос, как и почему все известные части обитаемой земли в течение пятидесяти трех лет подпали под власть Рима? Здесь, кстати сказать, в качестве ответа и возникло учение о смешанном государственном устройстве как наилучшей форме правления.

О чем свидетельствует подобная программа историка? Прежде всего о том, что труд Полибия есть определенное историческое исследование, причем такое исследование, в котором центр тяжести лежит не на рассказе о событиях, не на их описании, но на их мотивировке, на выяснении причинной связи событий. Подобная интерпретация материала и создает основу так называемой «прагматической истории».

Полибий выдвигал три основных требования перед историками. В первых — тщательное изучение источников, затем — знакомство с местностью, где разыгрывались события (главным образом, битвы, сражения) и, наконец, личный, практический опыт в делах военных и политических. Сам Полибий в высшей степени удовлетворял этим требова-

ниям. Он знал на практике военное дело (в 183 г. был стратегом Ахейского союза), имел достаточный опыт в политических вопросах и много путешествовал, знакомясь с театром военных действий. К своим источникам Полибий относился критически, отнюдь не принимая их на веру, часто использовал архивный и документальный материал, а также показания очевидцев.

Эти требования, выдвигаемые Полибием, вовсе не были самоцелью. Выполнение названных условий в сочетании с установкой на выяснение причинной связи событий — все это должно было служить конечной цели: правдивому и обоснованному изложению материала. Сам Полибий подчеркивал это как главную задачу историка. Он говорил, что историк обязан в интересах соблюдения истины восхвалять врагов и порицать друзей, когда те и другие этого заслуживают, и даже сравнивал историческое повествование, лишенное истины и объективности, с беспомощностью, непригодностью человека, лишенного зрения (1, 14, 5—6).

Эти принципы и установки Полибия как исследователя роднят его и ставят в один ряд с его великим предшественником — греческим историком Фукидидом (460—395 г. до н. э.), которого можно считать основоположником критики источников и мастером политического анализа описываемых событий. Характерной чертой Фукидида было также стремление к объективности, беспристрастности изложения, хотя, конечно, это условие им далеко не всегда соблюдалось, в особенности когда речь шла о внутривнутриполитических событиях (например, оценка деятельности Клеона). Но как бы то ни было, Фукидид и Полибий — две родственные и вместе с тем две наиболее выдающиеся фигуры античной историографии.

Как и Фукидид, Полибий — не художник, не мастер слова, повествование его суховато, деловито, «без прикрас», как говорит он сам (9, 1—2), но зато — это трезвый, объективный исследователь, стремящийся всегда к ясному, точному и обоснованному изложению материала. Форма же изложения для него — на втором плане, ибо задача состоит не в том, чтобы *показать* или *впечатлить*, но в том, чтобы *объяснить*.

Все сказанное как будто уже дает возможность определить то направление античной историографии, одним из наиболее ярких представителей которого был Полибий. Есть все основания говорить о нем, а также о его великом предшественнике Фукидиде, как о родоначальниках *научного* (или даже *научно-исследовательского*) направления в античной историографии.

Другое блестящее имя, олицетворяющее собой иное направление, — Тит Ливий (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.). Он был уроженцем Патавия (ныне Падуа), города, расположенного на севере Италии, в области венецианцев. Ливий происходил, по всей вероятности, из богатой семьи и полу-

чил тщательное риторическое и философское образование. Около 31 г. до н. э. он переселился в Рим, в последующие годы был близок ко двору императора Августа. По своим политическим симпатиям Ливий был «республиканцем», в староримском понимании этого слова, то есть сторонником республики, руководимой аристократическим сенатом. Однако Ливий непосредственного участия в политической жизни не принимал и держался от нее в стороне, посвятив себя литературным занятиям.

Основной труд Ливия — его огромное историческое произведение (в 142 книгах), которое обычно озаглавливают «История от основания Рима» (хотя сам Ливий называл его «Анналами»). До нас дошли полностью лишь 35 книг (так называемые I, III, IV и половина V «декад») и фрагменты остальных. Для всех книг (кроме 136 и 137) существуют краткие перечни содержания (неизвестно, кем и когда составленные). Хронологические рамки труда Ливия таковы: от времен мифических, от высадки Энея в Италию до смерти Друза в 9 г. н. э.

Исторический труд Ливия приобрел огромную популярность и принес славу своему автору еще при его жизни. О популярности труда свидетельствует хотя бы факт составления краткого перечня содержания. Существовали, видимо, и сокращенные «издания» огромного произведения (об этом упоминает, например, Марциал). Бесспорно, что еще в древности исторический труд Тита Ливия стал каноническим и лег в основу тех представлений о прошлом своего родного города и своего государства, которые получал всякий образованный римлянин.

Как же понимал сам Ливий задачу историка? Его *profession de foi* изложена в авторском вступлении ко всему труду: «В том и состоит главная польза и лучший плод знакомства с событиями минувшего, что видишь всякого рода поучительные примеры в обрамлении величественного целого; здесь и для себя, и для государства ты найдешь, чему подражать, здесь же — чего избегать». Но если дело истории — учить на примерах, то примеры, несомненно, следует выбирать наиболее яркие, наиболее наглядные и убедительные, действующие не только на рассудок, но и на воображение. Такая установка сближает — по общности стоящих задач — историю и искусство.

Что касается отношения Ливия к своим источникам, то он, в основном, пользовался — к тому же довольно некритически — литературными источниками, то есть произведениями своих предшественников (младшими анналистами, Полибием). К документам, архивным материалам он, как правило, не восходил, хотя возможность пользоваться такого рода памятниками в его время, несомненно, существовала. Своеобразна у Ливия и внутренняя критика источника, то есть принципы выделения и освещения основных фактов, событий. Решающее значение для него имеет моральный критерий, а следовательно, и возможность развернуть ораторский и художественный талант. Так, например, сам он едва ли

верил легендам, связанным с основанием Рима, но они привлекали его благодарным для художника материалом. Нередко у Ливия то или иное важное решение сената или комиций, новый закон, упомянуты мельком и вскользь, в то время как какой-нибудь явно легендарный подвиг описан подробно и с большим мастерством. Связь событий у него чисто внешняя; не случайно общий план огромного труда Ливия, по существу, примитивен и восходит к образцам, известным нам из анналистики: изложение событий дается последовательно, по годам, в летописном порядке.

Большую роль в произведении Ливия играют речи и характеристики. «Щедрость» историка на подробные, развернутые характеристики выдающихся деятелей отмечалась еще в самой древности. Что касается речей действующих лиц, то они составляют у Ливия наиболее блестящие в художественном отношении страницы его труда, но историческая их ценность, конечно, невелика, и они несут печать эпохи, современной самому Ливию.

Итак, у Ливия на первом плане — художественность изображения. Не столько *объяснить*, сколько *показать* и *впечатлить* — таково основное направление его работы, его основная задача. Это историк-художник, историк-драматург. Поэтому он и олицетворяет — с наибольшей яркостью и законченностью — другое направление в античной историографии, направление, которое может быть определено как *художественное* (точнее — *художественно-дидактическое*).

Таковы два основных направления (тенденции), характеризующих пути развития античной историографии. Но, строго говоря, мы можем иметь в виду оба эти направления лишь в том случае, когда речь идет об античной историографии в целом. Если же подразумевается лишь римская историография, то в ней следует считать представленным одно направление, именно то, которое на примере Ливия мы определили как художественно-дидактическое. Ни Фукидид, ни Полибий последователей в Риме не имели. Кроме того, не говоря уже о Фукидиде, но даже Полибий, живший, как говорилось, долгое время в Риме, все же был — и по языку, и по общему «духу» — подлинным и типичным представителем не просто эллинистической историографии, но и более широко — эллинистической культуры в целом.

Чем же все-таки объяснить, что направление, олицетворяемое именованными двух выдающихся греческих историков и определенное нами как научно-исследовательское, не получило в Риме заметного развития? Явление это представляется нам закономерным и находит, на наш взгляд, свое объяснение прежде всего в том сопротивлении идущим извне влияниям, на которое уже указывалось выше. Поэтому римская историография, даже в пору своего расцвета и зрелости, представляла, в значительной степени, лишь дальнейшее развитие, лишь более совер-

шенную модификацию все той же древнеримской анналистики. Принципиальных изменений почти не произошло, и потому именно в смысле своих принципиальных установок корифеи римской историографии, например Ливий (это мы уже частично видели), Тацит, Аммиан Марцелин, не столь уже далеко ушли от перечисленных в своем месте представителей поздней (а иногда и ранней!) римской анналистики.

Такие характерные черты анналистического жанра, как романово-эпическая и патристическая точка зрения, как любовь к риторическим прикрасам, общий морализующий тон и, наконец, даже такая деталь, как предпочтение летописной формы изложения событий,— все это мы можем в большей или меньшей степени найти у любого представителя римской историографии, вплоть до последних десятилетий существования римского государства. Конечно, все сказанное отнюдь не может и не должно рассматриваться как отрицание какого бы то ни было развития римской историографии на протяжении столетий. Это — явная нелепость. Так, например, нам хорошо известно, что возникали даже новые историко-литературные жанры, как, скажем, жанр исторических биографий. Однако авторы произведений подобного рода по своим принципиальным установкам — а о них и идет речь! — все же значительно ближе к художественно-дидактическому направлению, чем к тому, которое было представлено именами Фукидида и Полибия.

И, наконец, выше было сказано, что оба направления (или тенденции) античной историографии — на сей раз в достаточно модифицированном виде — существуют даже в современной науке. Конечно, это утверждение никак нельзя понимать в буквальном смысле. Но спор, начавшийся более ста лет тому назад, о познаваемости или непознаваемости исторического факта, о наличии или отсутствии закономерностей исторического процесса, привел в свое время к выводу (широко распространенному в буржуазной историографии) об описательном характере исторической науки. Последовательное развитие подобного вывода, несомненно, сближает историю с искусством и может считаться своеобразной модификацией одного из охарактеризованных выше направлений античной историографии.

Не мешает отметить, что и признание воспитательного значения истории — признание, кстати сказать, в наше время свойственное в той или иной степени историкам самых различных направлений и лагерей, — может быть возведено в конечном счете к тому представлению об истории как наставнице жизни, как сокровищнице примеров, которое возникло именно в античности среди сторонников и представителей «художественно-дидактического» направления.

Историк-марксист, очевидно, не может согласиться с определением истории как науки «идеографической», то есть описательной (вернее — *только* описательной!). Историк, признающий реальность и познаваем-

мость исторических явлений, обязан идти дальше — вплоть до определенных обобщений или, говоря иными словами, вплоть до выведения определенных закономерностей. Поэтому для марксиста историческая наука — впрочем, как и любая другая наука — всегда «нормативна», всегда базируется на изучении закономерностей развития.

Конечно, пресловутый спор об «идеографическом» или «нормативном» характере исторической науки не может и не должен быть отождествляем с двумя тенденциями античной историографии, но в какой-то мере своими корнями он, безусловно, восходит к этой эпохе, к этому идейному наследию античности.

В этом разделе следует хотя бы кратко охарактеризовать некоторых историков «зрелого» периода римской историографии, представленных в данной книге. Даже из этих кратких характеристик нетрудно будет, на наш взгляд, убедиться, что все они, в принципе, принадлежат к тому направлению, которое только что было определено как художественно-педагогическое.

Остановимся прежде всего на Гае Саллюстии Криспе (86—35 гг. до н. э.). Он происходил из сабинского города Амитерна, принадлежал к сословию всадников. Свою общественно-политическую карьеру Саллюстий начал — насколько нам известно — с квестуры (54 г.), затем был избран народным трибуном (52 г.). Однако в 50 году его карьера чуть было не оборвалась навсегда: он был исключен из сената якобы за безнравственный образ жизни (очевидно, существовала и политическая подоплека исключения). Еще в годы своего трибуната Саллюстий приобрел репутацию сторонника «демократии»; в дальнейшем (49 г.) он становится квестором у одного из вождей римских демократических кругов — у Цезаря и снова вводится в состав сената. В годы гражданской войны Саллюстий — в рядах цезарианцев, а после окончания военных действий назначается проконсулом провинции Africa nova. Управление этой провинцией обогатило его настолько, что, вернувшись в Рим после смерти Цезаря, он смог купить его виллу и огромные сады, долгое время называвшиеся Саллюстиевыми. По возвращении в Рим Саллюстий политической деятельностью больше не занимался, но целиком посвятил себя историческим исследованиям.

Саллюстий — автор трех исторических трудов: «Заговор Катилины», «Война с Югуртой» и «История». Первые два произведения, послужившие характер исторических монографий, дошли до нас полностью, «История», охватывавшая период от 78 года по 66 год, сохранилась лишь фрагментарно. Кроме того, Саллюстию приписывается — и с достаточно серьезными основаниями — авторство двух писем к Цезарю «Об устройстве государства».

Политические воззрения Саллюстия довольно сложны. Конечно, есть все основания рассматривать его как выразителя римской «демократической» идеологии, поскольку его ненависть к побильтету носит ярко выраженный, пожалуй, даже *возрастающий* характер. Так, например, критика римской аристократии и, в особенности, ее методов руководства государством в «Войне с Югуртой» (и по некоторым данным — в «Истории») острее и непримиримее, чем в «Заговоре Катилины» (и в «Письмах к Цезарю»). Однако политический идеал Саллюстия не отличается достаточной в этом смысле четкостью и последовательностью. Он — сторонник некоей системы политического равновесия, основанной на правильном распределении функций управления государством между сенатом и народом. Это правильное распределение состоит в том, что сенат при помощи своего авторитета (*auctoritas*) должен сдерживать, направлять в определенное русло силу и мощь народа. Таким образом, идеальное государственное устройство, по мнению Саллюстия, должно покониться на двух взаимно дополняющих друг друга источниках (и носителях) верховной власти: на сенате и на народном собрании.

Саллюстия, пожалуй, можно считать одним из первых представителей (наряду с Корнелием Сизенной и др.) римской историографии периода ее зрелости. Каковы же основные установки историка? Прежде всего следует отметить, что Саллюстий обычно рассматривается как родоначальник нового жанра — исторической монографии. Конечно, его первые исторические труды — «Заговор Катилины» и «Война с Югуртой» — вполне могут быть отнесены (как это уже и было сделано выше) к произведениям подобного жанра, но несомненно и то, что самый жанр возник значительно раньше — достаточно вспомнить младших анналистов, а затем в какой-то мере и монографии Цезаря о галльской и гражданских войнах.

Кроме того, возникновение нового историко-литературного жанра (монографического, биографического и т. п.) отнюдь не всегда предполагает пересмотр задач или целей исторического исследования. Саллюстий, быть может, наиболее яркий тому пример: отойдя в области формы (или жанра) от римских анналистов на довольно значительное расстояние, он вместе с тем остается весьма близок к ним в своем понимании задач историка. Так, он считает, что события истории Афин и подвиги их политических и военных деятелей прославлены по всему свету исключительно благодаря тому, что афиняне имели выдающихся историков, обладавших блестящими писательскими талантами. Римляне же, наоборот, до сих пор были ими не богаты. Следовательно, задача состоит в том, чтобы ярко и талантливо «писать историю римского народа по частям, которые мне представлялись достопамятными» («Заговор Катилины», IV, 2). Поскольку выбор нашего автора останавливается, после данного утверждения, на рассказе о заговоре Катилины, то, видимо, со-

бытиями, достойными упоминания и внимания историка, могут оказаться не только подвиги или проявления доблести, но и «неслыханные преступления».

Это соображение подкрепляется еще и тем обстоятельством, что, кроме повествования о заговоре Катилины, темой другой исторической монографии Саллюстия было избрано описание не менее значительного события в истории Рима — «тяжелой и жестокой» войны с нумидийским царем Югуртой, войны, которая, кстати сказать, впервые и с потрясающей наглядностью вскрыла разложение, коррупцию и даже открытую измену и предательство правящей верхушки Рима, то есть многих видных представителей римского нобилитета.

Оба наиболее известных исторических труда Саллюстия свидетельствуют о том, что их автор придавал огромное значение роли отдельных личностей в истории. Он не отрицает могущества рока, фортуны, но вместе с тем после «долгих раздумий» приходит к выводу, что «все было достигнуто редкостною доблестью немногих граждан» («Заговор Катилины», LIII, 4). Поэтому не удивительно, что он уделяет большое внимание характеристикам исторических деятелей. Эти характеристики, как правило, даются живо, красочно, часто в сопоставлении и играют такую роль в развертывании исторического повествования, что Саллюстия многие исследователи признают прежде всего мастером исторического портрета: стоит только вспомнить впечатляющий образ самого Катилины, знаменитые сравнительные характеристики Цезаря и Катона, портреты-характеристики Югурты, Метелла, Мария и т. д. Само собой разумеется, что указанная особенность Саллюстия, как писателя и историка, вовсе не случайность — она находится в органической связи с им же самим декларированной общей задачей красочного, талантливо изложенного исторических событий и явлений.

Если придерживаться хронологической последовательности в обзоре римской историографии, то за Саллюстием следует — из числа авторов, представленных в данной книге, — Тит Ливий. Но краткая характеристика этого знаменитого историка уже дана выше, поэтому мы сейчас остановимся на другом не менее славном имени — на имени Тацита.

Публий (или Гай) Корнелий Тацит (ок. 55 — ок. 120 г.) известен нам лишь своими трудами; биографических данных почти не сохранилось. Нам не известны точно ни личное имя историка (praenomen), ни даты его жизни, ни семья, из которой он происходил (вероятно, всаднического сословия), ни место его рождения (предположительно, Нарбонская Галлия). Достоверно лишь то, что он начинал свою карьеру и прославился как оратор, был женат на дочери полководца Юлия Агриколы (жизнь и деяния которого он описал), при императоре Тите занял, видимо, должность квестора (открывавшую доступ в сенаторское сословие), в 97 году (при императоре Нерве) был консулом, а в 112—113 го-

дах проконсулом в провинции Азия. Вот и все более или менее достоверно известные нам даты и события из жизни Тацита — даже года его смерти мы точно не знаем.

Хотя современники Тацита (например, Плиний Младший) упоминали о нем как о прославленном ораторе, речей его, образцов его красноречия, к сожалению, не сохранилось. Возможно, что они автором вообще не издавались. Так же, по всей вероятности, до нас не дошли ранние произведения Тацита; те же его сочинения, которые сохранились, были написаны им уже в достаточно зрелом возрасте.

Дошедшие до нас произведения римского историка располагаются в следующем хронологическом порядке: «Диалог об ораторах» (конец I в. н. э.), «О жизни и характере Юлия Агриколы» (98 г. н. э.), «О происхождении и местоположении Германии» (98 г. н. э.) и, наконец, два наиболее капитальных труда Тацита «История» (ок. 110 г. н. э.) и «Анналы» (после 117 г. н. э.). Эти последние дошли до нас не полностью: от «Истории» сохранились первые четыре книги и начало пятой, от «Анналов» — первые шесть книг (с лакунами) и книги XI—XVI; в общей сложности сохранилось около половины всего труда, который еще в самой древности нередко рассматривался как единый (и состоящий в целом из тридцати книг). И, действительно, оба основных исторических труда Тацита своеобразно дополняют друг друга: в «Анналах», написанных, как мы только что отмечали, позже «Истории», дается изложение более ранних событий — с 14 по 68 г. н. э. (период правления императоров Тиберия, Калигулы, Клавдия и Нерона), тогда как в «Истории» описываются уже события 69—96 гг. н. э. (период правления династии Флавиев). Ввиду утраты части книг указанные хронологические рамки полностью не выдержаны (в дошедших до нас рукописях), но мы располагаем свидетельством древних, что оба труда Тацита фактически давали единое и последовательное изложение событий римской истории «от кончины Августа до смерти Домициана» (то есть с 14 по 96 г. н. э.).

Что касается политических воззрений Тацита, то их, пожалуй, легче всего можно определить в негативном плане. Тацит, в соответствии с государствоведческими теориями античности, знает три основных типа государственного устройства: монархию, аристократию и демократию, а также соответствующие этим основным типам «извращенные» формы. Строго говоря, Тацит не отдает предпочтения и даже отрицательно относится ко всем трем видам правления. Монархия не устраивает его, поскольку не существует достаточно надежных средств для предотвращения ее перехода («вырождения») в тиранию. Ненависть же к тирании пронизывает все произведения Тацита, что и дало основание еще Пушкину называть римского историка «бичом тиранов». Весьма скептически и, по существу, не менее отрицательно относится Тацит к аристократическому «элементу» римского государственного устройства, то есть

к сенату, во всяком случае, к современному ему сенату. Ему претит раболепие и подобострашие сенаторов перед императорами, их «отвратительная» лесть. Весьма невысокого мнения он и о римском народе, под которым Тацит традиционно понимает население самого Рима и про которое он презрительно говорит, что «у него нет других государственных забот, кроме заботы о хлебе» («История», 4, 38), или что оно «обычно жаждет переворотов», но в то же время ведет себя слишком трусливо («Анналы», 15, 46).

О своем политическом идеале Тацит нигде прямо не заявляет, но, судя по некоторым его намекам и косвенным высказываниям, этот идеал лежит для него в прошлом, выступая в несколько туманных и весьма приукрашенных образах древнейшей римской республики, когда в обществе якобы царили справедливость, добродетель и равенство граждан. В этом отношении Тацит малооригинален — «золотой век», эпоха расцвета Рима, относимая одними к более, другими к менее отдаленному прошлому (но всегда — к прошлому!), это — общее место ряда историко-философских построений античности. Более того — картина расцвета римского государства, господства *reges maiorum* и т. п. выглядит у Тацита, пожалуй, даже более бледно, более общо и неопределенно, чем у некоторых его предшественников (например, Саллюстия, Цицерона). Политический облик Тацита был, в свое время, очень метко определен Энгельсом, который считал его последним из староримлян «патрицианского склада и образа мыслей»¹.

Тацит — один из наиболее прославленных в веках деятелей римской культуры. Но, конечно, эта слава заслужена не столько Тацитом-историком, сколько Тацитом-писателем. Он — выдающийся мастер развертывания и описания драматических ситуаций, его характерный стиль, отличающийся сжатостью, асимметричностью построения предложений, его характеристики и отступления, весь набор приемов опытного риторика и оратора — все это превращает повествование историка в чрезвычайно напряженный, впечатляющий и вместе с тем высокохудожественный рассказ. Таков Тацит — писатель, драматург. Если же говорить о Таците-историке, то его следует расценивать как типичное явление римской историографии: по своим «программным установкам» он не в меньшей, а, пожалуй, даже — в силу блестящего таланта писателя — в большей степени должен быть отнесен, как и его знаменитый предшественник Ливий, к представителям так называемого художественно-дидактического направления.

Как и Ливий, Тацит считает, что основная задача историка заключается не в том, чтобы развлекать или забавлять читателя, но настав-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 19, изд. 2, М. 1961, стр. 311.

лять его, приносить ему пользу. Историк должен являть на свет как добрые дела и подвиги, так и «безобразия» — одно для подражания, другое — для «позора в потомстве». Эта морально-дидактическая установка требует прежде всего красноречивого изложения событий и беспристрастия (*sine ira et studio* — без гнева и пристрастия).

Что касается анализа причин описываемых им событий, то Тацит и здесь не выходит за пределы обычных представлений и норм: в одних случаях причиной оказывается прихоть судьбы, в других — гнев или, наоборот, милость богов, события часто предваряются оракулами, предзнаменованиями и т. п. Однако нельзя сказать, чтобы Тацит придавал безусловное значение и сам непоколебимо верил как во вмешательство богов, так и во всякие чудеса и предзнаменования. Подобные объяснения причин исторических событий носят у него скорее привычно традиционный характер, и поневоле создается впечатление, что историка не столько интересовал и занимал анализ причин, сколько возможность ярко, впечатляюще и поучительно изобразить самые события политической и военной истории Римской империи.

Младшим современником Тацита был Гай Светоний Транквилл (ок. 70 — ок. 160 гг.). Сведения о его жизни также чрезвычайно скудны. Мы не знаем точно ни года рождения, ни года смерти Светония. Он принадлежал к всадническому сословию, его отец был легионным трибуном. Светоний вырос, видимо, в Риме и получил обычное по тем временам для ребенка из зажиточной семьи образование, то есть окончил грамматическую, а затем и риторическую школу. Вскоре после этого он попадает в кружок Плиния Младшего, один из центров культурной жизни тогдашнего Рима. Плиний, вплоть до самой своей смерти, оказывал покровительство Светонию и пытался не раз содействовать его военной карьере, которая, однако, Светония не прельщала; он предпочел ей адвокатскую деятельность и литературные занятия.

Вступление в 117 году на престол императора Адриана знаменовало собой перелом в судьбе и карьере Светония. Он был приближен ко двору и зачислен в управление («по научным делам»), затем ему был поручен надзор за публичными библиотеками, и, наконец, он получил назначение на высокий пост секретаря императора. Перечисленные посты открыли Светонию доступ к государственным архивам, чем он, несомненно, и воспользовался для своих научных и литературных занятий. Однако сравнительно скоро — в 122 году — Светоний, по причинам, для нас неясным, заслужил немилость императора и был отставлен от должности. На этом его придворная карьера заканчивается, и дальнейшая жизнь и судьба Светония нам неизвестны, хотя прожил он еще довольно долго.

Светоний был весьма плодовитым писателем. До нас дошли названия более чем десятка его трудов, хотя сами произведения не сохрани-

лись. Заглавия их говорят о чрезвычайной широте и разносторонности интересов Светония; он поистине был ученым-энциклопедистом, продолжая в какой-то мере линию Варрона и Плиния Старшего. Из сочинений Светония мы в настоящее время располагаем, строго говоря, лишь одним — историко-биографическим трудом «Жизнь двенадцати цезарей», а также более или менее значительными фрагментами из произведения, называвшегося «О знаменитых людях» (главным образом из книг «О грамматиках и риториках» и «О поэтах»).

Таким образом, Светоний выступает перед нами как историк, причем особого направления или жанра — биографического (точнее — жанра «риторической биографии»). Как представитель биографического жанра в Риме, он имел некоторых предшественников (вплоть до Варрона), однако труды их нам почти неизвестны, поскольку они (за исключением труда Корнелия Непота) до нашего времени не сохранились.

Светоний, подобно Тациту, нигде не высказывает открыто свои политические взгляды и убеждения, но они могут быть определены без особого труда. Он был приверженцем зародившейся в его время и даже ставшей модной теории «просвещенной монархии». Поэтому он делит императоров на «хороших» и «дурных», будучи уверен, что судьбы империи целиком зависят от их злой или доброй воли. Император квалифицируется как «хороший» прежде всего, если он уважительно относится к сенату, оказывает экономическую помощь широким слоям населения и если он — новый мотив в воззрениях римских историков — заботится о благосостоянии провинций. И хотя, наряду с этим, Светоний считает своим долгом «объективно» освещать личные свойства и противоречивые черты характера каждого императора, вплоть до самых неприглядных, тем не менее он твердо верит в божественное происхождение императорской власти.

В «Жизни двенадцати цезарей» даны биографии первых императоров Рима, начиная с Юлия Цезаря (биография его до нас дошла неполностью, утеряно самое начало). Все биографии построены по определенной схеме, которую сам Светоний определяет так: «не в последовательности времени, а в последовательности предметов» («Август», 9). Эта последовательность «предметов» примерно такова: а) родословная императора, б) время и место рождения, в) детские годы, всякие предзнаменования, г) описание прихода к власти, е) перечисление важнейших событий и мероприятий во время правления, ф) описание наружности императора, г) описание черт характера (литературные вкусы) и д) описание обстоятельств смерти и соответствующих предзнаменований.

Светонию, как это уже неоднократно отмечалось, не повезло в оценках последующих поколений. Как историка его всегда заслонял яркий талант Тацита, как биограф он, конечно, уступал Плутарху. Светония не раз и справедливо обвиняли в том, что он как бы изолирует описы-

ваемых им государственных деятелей, вырывая их из исторической обстановки, что он уделяет большое внимание мелочам и деталям, опуская действительно важные события, что он, наконец, поверхностен и стремится лишь к голой занимательности.

Все эти упреки, справедливые, быть может, с точки зрения современного читателя, едва ли следует предъявлять самому Светонию и его эпохе. Его «Жизнь двенадцати цезарей» еще в большей степени, чем труды Тацита или монографии Саллюстия, носит характер художественного произведения, даже романа (который, как известно, не требует документальной точности!) и ориентирована в этом направлении. Скорее всего именно так этот труд воспринимался в самом Риме, и, быть может, в том и состоял секрет прижизненной славы Светония, славы, которой едва ли мог похвалиться в те времена его старший современник — Тацит.

Последний историк, на краткой характеристике которого мы должны остановиться, принадлежит уже не столько к эпохе зрелости и расцвета римской литературы и, в частности, историографии, сколько к эпохе ее упадка. Это вообще последний крупный римский историк — Аммиан Марцеллин (ок. 330 — ок. 400 г.). Мы его считаем — и это общепринято — римским историком, хотя известно, что он был по происхождению греком.

Сведения, сохранившиеся о жизни Аммиана Марцеллина, чрезвычайно скудны. Год рождения историка может быть определен лишь приблизительно, зато точнее нам известно место его рождения — город Антиохия. Он происходил из довольно знатной греческой семьи, поэтому получил основательное образование. Аммиан Марцеллин провел много лет в армии; его военная карьера началась в 353 году, а через десять лет — в 363 году он еще участвовал в походах Юлиана. За время военной службы ему пришлось побывать в Месопотамии, Италии, Галлии, известно также, что он посещал Египет и Балканский полуостров (Пелопоннес, Фракия). Видимо, после смерти императора Иовиана он оставил военную службу и вернулся в родной город, затем переехал в Рим, где и занялся своим историческим трудом.

Этот труд носил название «Делния» (*Res gestae*) и состоял из тридцати одной книги. До нас дошли лишь книги XIV—XXXI, но со слов самого историка известно, что труд в целом охватывал период римской истории со времени правления императора Нервы (96 г.) и вплоть до гибели Валента (378 г.). Таким образом Аммиан Марцеллин, видимо, вполне сознательно и «программно» выступал как продолжатель Тацита и строил свой труд в значительной мере по образцу «Истории» и «Анналов».

Сохранившиеся книги исторического сочинения Аммиана Марцеллина представляют, пожалуй, наибольшую ценность: в них излагаются события с 352 года, то есть события, современные самому историку, наблю-

дателем или участником которых он являлся. Чрезвычайно подробно и ярко освещено время Юлиана: описываются его войны в Галлии и Германии, разрыв с Констанцием, борьба с персами и, наконец, его смерть. Особенностью исторического повествования Аммиана Марцеллина можно считать наличие многочисленных экскурсов и отступлений самого разнообразного содержания: иногда это сведения географического характера, иногда — очерки нравов, а иногда — рассуждения даже религиозно-философского толка.

Труд Аммиана написан на латинском языке (что и дает, в первую очередь, основание относить его автора к римским историкам и писателям). Возможно, что и в области языка (или стиля) Аммиан считал себя последователем Тацита и пытался ему подражать: изложение его патетично, красочно, даже витиевато; оно полно риторических прикрас в духе усложненного и напыщенного — так называемого «азианского» — красноречия. Если в настоящее время такая манера изложения представляется искусственной, ненатуральной, а язык Аммиана, по выражению некоторых современных исследователей, «истинное мучение для читателя», то не следует забывать, что в IV в. н. э. торжествовала именно азианская школа красноречия и были еще вполне живы взгляды, согласно которым декларировалось определенное родство приемов исторического повествования, с одной стороны, и ораторского искусства — с другой.

Аммиан Марцеллин — римский писатель и историк не только потому, что он писал на латинском языке. Он — подлинный патриот Рима, поклонник и почитатель его мощи, его величия. Как военный, он прославляет успехи римского оружия, — как историк и мыслитель, он преклоняется перед «вечным» городом. Что касается политических симпатий, то Аммиан — безусловный сторонник империи, но это только естественно: в его время о восстановлении республиканского строя уже никто и не помышлял.

Историк Аммиан Марцеллин вполне закономерно (и, вместе с тем, — вполне достойно!) завершает собой круг наиболее выдающихся представителей римской историографии. В какой-то мере он, как и избранный им образец, то есть Тацит (см., например, «Анналы»), по общему плану изложения исторического материала возвращается чуть ли не к древним анналистам. Жанр историко-монографический или историко-биографический не был им воспринят, он предпочитает держаться пологого хронологического изложения событий.

Вообще в облике Аммиана Марцеллина как последнего римского историка скрещиваются многие характерные черты римской историографии как таковой, проступают приемы и установки, типичные для большинства римских историков. Это прежде всего римско-патриотическая установка, которая почти парадоксально завершает свое развитие

в историческом труде, написанном греком по происхождению. Затем, это вера не столько в богов, что выглядело в IV в. н. э. уже несколько «старомодным» (кстати сказать, Аммиана отличают черты веротерпимости даже по отношению к христианам!), сколько вера в судьбу, фортуна, сочетающаяся, правда, с не меньшей верой (что тоже типично!) во всякие чудесные знаменья и предсказания.

И, наконец, Аммиан Марцеллин, подобно всем остальным римским историкам, принадлежал к тому направлению, которое было охарактеризовано нами выше как художественно-дидактическое. В качестве представителя именно этого направления он стремился в своей работе историка воплотить два основных принципа, сформулированных еще Саллюстием и Тацитом: беспристрастность (объективность) и вместе с тем красочность изложения.

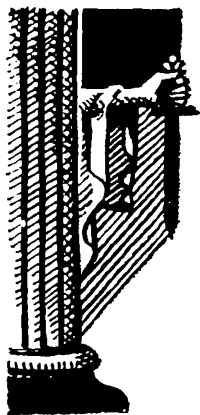
Что касается объективного изложения событий, то Аммиан не раз в своем труде подчеркивал этот принцип, и, действительно, следует признать, что даже в характеристиках исторических деятелей и, в частности, своего любимого героя, перед которым он преклонился, императора Юлиана, Аммиан добросовестно перечислял как все положительные, так и отрицательные черты. Интересно отметить, что намеренное умолчание о том или ином важном событии историк считал недопустимым обманом читателя, не меньшим, чем беспочвенный вымысел (29, 1, 15). Красочность же изложения, с его точки зрения, определялась отбором фактов (Аммиан не раз подчеркивал необходимость отбирать именно важные события) и, конечно, теми риторическими приемами и «ухищрениями», которые он столь щедро применял в своем труде.

Таков облик последнего римского историка, который был одновременно последним представителем античной историографии вообще. Ибо возникшая уже в его время и параллельно развивавшаяся христианская историография если и отталкивалась по своим внешним приемам от античных образцов, то по своему внутреннему, идейному содержанию была ей не только чужда, но, как правило, и глубоко враждебна.

С. Утченко

ГАЙ
САЛЮСТИЙ
КРИСП





I. Если человек желает отличиться меж остальными созданиями, ему должно приложить все усилия к тому, чтобы не провести жизнь неприметно, словно скот, который по природе своей клонит голову к земле и заботится лишь о брюхе. Все наше существо разделяется на дух и тело. Дух обычно правит, тело служит и повинуется. Духом мы владеем наравне с богами, телом — наравне со зверем. И потому мне представляется более правильным искать славы силою разума, а не голою силой, и, поскольку жизнь, которую мы вкушаем, коротка, память о себе надо оставить как можно более долгую. Ведь слава, приносимая богатством или красотой, быстролетна и непрочна, а доблесть — достояние высокое и вечное.

Впрочем, давно уже идут между смертными споры, что важнее в делах войны — телесная ли крепость или достоинства духа. Но прежде чем начать, нужно решиться, а когда решился — действовать без отлагательств. Стало быть, в отдельности и того и другого недостаточно, и потребна взаимная их поддержка.

II. Вначале цари — этот образ правления был на земле первым — поступали разнo: кто развивал ум, кто — тело. Тогда жизнь человеческая еще не знала алчности: всякий довольствовался тем, что имел. Но впоследствии, когда в Азии Кир, а в Греции лакедемоняне и афиняне начали покорять города и народы, когда причи-

ною войны стала жажда власти и величайшую славу стали усматривать в ничем не ограниченном владычестве, тут впервые, через беды и опасности, обнаружилось, что главное на войне — ум.

Если бы в мирное время цари и властители выказывали те же достоинства духа, что во время войны, наша жизнь была бы стройнее и устойчивее, не видели бы наши глаза, как все разлетается в разные стороны или смешивается в беспорядке. Власть нетрудно удержать теми же средствами, какими ее приобрели. Но когда на место труда вламывается безделье, на место воздержности и справедливости — произвол и высокомерие, то одновременно с нравами меняется и судьба. Таким образом, власть неизменно переходит от менее достойного к достойнейшему.

Все труды человеческие — на пашне ли, в морском плавании, на стройке — подчинены доблести. Но многие смертные, непросвещенные и невоспитанные, преданные лишь сну да обжорству, проходят сквозь жизнь, словно странники по чужой земле; им, без сомнения, тело — в удовольствие, а душа — в тягость, вопреки природе. Жизнь их, по-моему, не дороже смерти, потому что и та и другая теряются в молчании. Я бы сказал, что по-настоящему живет и наслаждается дарами души лишь человек, который, посвятив себя какому-либо занятию, ищет славы в замечательных поступках или высоких познаниях.

III. Но природа обладает многоразличными возможностями и всякому указывает особый путь. Прекрасно служить государству делом, но и говорить искусно — дело немаловажное. Отличиться можно как на войне, так и в мирные времена: похвалами украшены многие и среди тех, кто действовал сам, и среди тех, кто описывал чужие деяния. И хотя отнюдь не равная достается слава писателю и деятелю, мне кажется, что писать историю чрезвычайно трудно: во-первых, рассказ должен полностью отвечать событиям, а во-вторых, порицаешь ли ты ошибки — большинство видит в этом изъявление недоброжелательства и зависти, вспоминаешь ли о великой доблести и славе лучших — к тому, на что читатель, по его разумению, способен и сам, он остается равнодушен, все же, что выше его способностей, считает вымыслом и ложью.

Поначалу, в ранние годы, я, как и большинство других, с увлечением погрузился в государственные дела, но много препятствий встретилось мне на этом поприще, ибо вместо скромности, вместо сдержанности, вместо доблести процветали наглость, подкуп, алчность. Непривычный к подлым приемам, я, правда, чуждался всего этого, но, в окружении стольких пороков, неокрепшая моя юность попала в сети честолюбия. И хотя дурные нравы остальных я

никак не одобрял, собственная страсть к почестям делала и меня, наравне с ними, предметом злословия и ненависти.

IV. И вот, когда после многих бедствий и опасностей я возвратился к покою и твердо решил остаток жизни провести вдали от государственных дел, у меня и в мыслях не было ни расточить драгоценный досуг в беспечной праздности, ни целиком отдаться земледелию или охоте — рабским обязанностям. Нет, вернувшись к тому начинанию, к той страсти, от которых оторвало меня проклятое честолюбие, я надумал писать историю римского народа — по частям, которые мне представлялись достопамятными, — тем более что душа освободилась от надежд, страха и приверженности к одному из враждующих на государственном поприще станом.

Итак, я кратко и как можно ближе к истине расскажу о заговоре Катилины; событие это я полагаю в высшей степени знаменательным — по особой опасности преступления. Но прежде чем начать, надобно в нескольких словах изобразить натуру Катилины.

V. Луций Катилина происходил из знатного рода и отличался большою силою духа и тела, нравом же скверным и развращенным. Еще мальчишкою полюбил он междоусобицы, резню, грабежи, гражданские смуты, в них и закалял себя смолоду. Телом был невероятно терпелив к голоду, к стуже, к бессоннице. Духом — дерзок, коварен, переменчив, лицемер и притворщик, готовый на любой обман, жадный до чужого, расточитель своего; в страстях необуздан, красноречия отменного, мудрости невеликой. Неумный, он всегда рвался к чему-то чрезмерному, невероятному, слишком высокому. После единовластия Луция Суллы его охватило неистовое желание стать хозяином государства; каким образом достигнет он своей цели, ему было все равно — лишь бы добратся до власти. Наглая его отвага со дня на день росла, подстрекаемая нуждою в деньгах и нечистою совестью, и оба стрекала были отточены пороками, которые я назвал выше. Вдобавок его распаяло всеобщее падение нравов, страдавших от двух тяжелейших, хотя и противоположных зол — роскоши и алчности.

Поскольку ход рассказа привел нас к нравам нашего государства, мне кажется, что самое существо дела призывает обратиться вспять и коротко изъяснить порядки и обычаи предков в мирное и военное время — как предки наши правили государством, и в каком состоянии передали его потомкам, и как оно, постепенно изменившись, из лучшего и самого прекрасного обратилось в худшее и самое позорное.

VI. Сколько мне известно, город Рим основали и сперва владели им троянцы, — они бежали из отечества под водительством Энея и долго скитались с места на место, вместе с аборигенами,

племенем диким, не знавшим ни законов, ни государственной власти, свободным и своевольным. Трудно поверить, с какою легкостью слились, сойдясь в одних стенах, эти два народа, различного происхождения, несходные языком, живущие каждый своим обычаем; в короткий срок пестрая толпа бродяг взаимным согласием была сплочена в государство. Но стоило их сообществу приобрести видимость процветания и силы, окрепнуть численно и нравственно, расширив свои поля,— и тут же, как почти всегда бывает на свете, довольство породило зависть. Соседние цари и народы принялись грозить войною, и лишь немногие из друзей пришли на помощь, а прочие, поддавшись страху, держались в стороне от опасностей. Но римляне всегда, в дни мира и в дни войны, готовые к стремительному отпору, подбадривали друг друга, спешили навстречу врагу и с оружием в руках обороняли свободу, отечество, родителей. Затем, мужеством отразив угрозу, они являлись на помощь союзникам и друзьям и, чаще оказывая услуги, нежели их принимая, завязывали новые дружеские связи. Они имели согласное с законами правление, имя же ему было: «царская власть». Выборные в преклонных годах и потому слабые телом, но мудрые и потому сильные духом, составляли государственный совет; по возрасту либо по сходству забот звались они «отцами». Впоследствии, когда царская власть, сперва служившая сбережению свободы и возвышению государства, обратилась в грубый произвол, строй был изменен — римляне учредили ежегодную смену власти и двоих властителей. При таких условиях, полагали они, всего труднее человеческому духу проникнуться высокомерием.

VII. Как раз в то время каждый начал стремиться ввысь и искать применения своим способностям. Вполне понятно, в глазах царей хорошие подозрительнее худых, царей всегда страшит чужая доблесть. Даже представить себе трудно, в какой короткий срок поднялось государство, обретя свободу: так велика была жажда славы. Молодые, едва войдя в возраст, трудились, не щадя сил, в лагере, чтобы постигнуть военное искусство на деле, и находили больше радости в оружии и боевых конях, чем в распутицах и пирушках. И когда они мужали, то никакие трудности не были им внове, никакие пути — тяжелы или круты, ни один враг не был страшен: доблесть превозмогала все. Но горячее всего состязались они друг с другом из-за славы: каждый спешил сразить врага, взойти первым на стену и в миг подвига оказаться на виду. В этом заключалось для них и богатство, и громкое имя, и высокая знатность. К славе они были жадны, к деньгам равнодушны; чести желали большой, богатства — честного. Я могу напомнить

места, где римский народ малою силою обращал в бегство несметного неприятеля, укрепленные самою природою города, которые он брал с боя, но боюсь слишком отвлечься от своего предмета.

VIII. Но главное во всяком деле — конечно, удача, а она и возмечивает, и оставляет в тени скорее по произволу, чем по справедливости. Деяния афинян, по моему суждению, и блистательны и великолепны, и все же они многим меньше той славы, которою пользуются. Но у афинян были писатели редкостного дарования — и вот по всей земле их подвиги считаются ни с чем не сравнимыми. Стало быть, во столько ценится доблесть поступка, насколько сумели превознести ее на словах ясные умы. Римский народ, однако ж, писателями не был богат никогда, ибо самые рассудительные бывали заняты делом без остатка, и никто не развивал ум в отдельности от тела, и лучшие предпочитали действовать, а не говорить, доставлять случай и повод для похвал, а не восхвалять заслуги других.

IX. Так и в мирную, и в военную пору процветали добрые нравы. Единодушие было постоянным, своекорыстие — до крайности редким. Право и благо чтили, повинуюсь скорее природе, нежели законам. Брань, раздоры, ненависть берегли для врагов, друг с другом состязались только в доблести. В храмах бывали расточительны, дома бережливы, друзьям верны. Двумя качествами сберегали и себя, и свое государство — отвагою на войне, справедливостью во время мира. И вот что служит мне лучшим доводом: на войне чаще наказывали тех, кто бросался на врага вопреки приказу или, услышав сигнал к отступлению, уходил с поля брани чересчур медленно, чем тех, кто осмеливался покинуть свое знамя или место в строю, а в мирное время правили больше милостью, чем страхом, и, понеся обиду, предпочитали не наказывать, но прощать.

X. Но когда трудом и справедливостью возросло государство, когда были укрошены войною великие цари, смирились пред силою оружия и дикие племена, и могущественные народы, исчез с лица земли Карфаген, соперник римской державы, и все моря, все земли открылись перед нами, судьба начала свирепствовать и все перевернула вверх дном. Те, кто с легкостью переносил лишения, опасности, трудности, — непосильным бременем оказались для них досуг и богатство, в иных обстоятельствах желанные. Сперва развилась жажда денег, за нею — жажда власти, и обе стали как бы общим корнем всех бедствий. Действительно, корыстолюбие сгубило верность, честность и остальные добрые качества; вместо них оно выучило высокомерию и жестокости, выучило презирать богов и все полагать продажным. Честолюбие многих сделало лжецами, заставило в сердце таить одно, вслух же гово-

рять другое, дружбу и вражду оценивать не по сути вещей, но в согласии с выгодой, о пристойной наружности заботиться больше, чем о внутреннем достоинстве. Начиналось все с малого, иногда встречало отпор, но затем зараза распозлась, точно чума, народ переменялся в целом, и римская власть из самой справедливой и самой лучшей превратилась в жестокую и нестерпимую.

XI. Поначалу, впрочем, людям не давало покоя главным образом честолюбие, а не алчность. Разумеется, и это порок, но есть в нем что-то и от доблести, ибо славы, почестей, власти одинаково жаждут и достойный и недостойный; только первый идет к цели прямым путем, а второму добрые качества чужды, и он полагается на хитрости и обман. Алчность же сопряжена со страстью к деньгам, которых ни один разумный человек не желает; точно напитанная злыми ядами, она расслабляет мужское тело и душу, она всегда безгранична, ненасытна, не уменьшима ни изобилием, ни нуждою.

Но вот Луций Сулла, к доброму началу присоединив худой исход, насильно подчинил себе государство — и все принялись грабить: кто хочет чужой дом, кто — поле, победители не знают ни меры, ни совести и чинят гнусные жестокости над согражданами. Вдобавок, чтобы крепче приязать к себе войско, которое он водил в Азию, Луций Сулла избаловал солдат чрезмерными удобствами и слишком щедрым жалованьем — вопреки обычаям предков. Прелесть, очарование тех краев в сочетании с праздностью легко изменили суровые души воинов. Тогда впервые приучилось римское войско развратничать и пьянствовать, дивиться статуям, картинам и чеканным вазам, похищать их из частного и общего владения, грабить храмы, осквернять все божеское и человеческое. Эти самые воины, одержав победу, не оставили побежденным ничего. Что ж, удача портит и мудрых — так можно ль ожидать, что люди растленные не попользуются всеми плодами успеха?!

XII. С той поры, как богатство стало вызывать почтение, как спутниками его сделались слава, власть, могущество, с этой самой поры и начала вянуть доблесть, бедность считаться позором и бескорыстие — недоброжелательством. Итак, по вине богатства на юность напали роскошь и алчность, а с ними и наглость: хватают, расточают, свое не ставят ни во что, жаждут чужого, стыд и скромность, человеческое и божественное — все им нипочем, их ничто не смутит и ничто не остановит! Посмотревши на дома, на поместья, устроенные наподобие городов, любопытно потом заглянуть в храмы, воздвигнутые нашими предками, самыми пабожными на свете людьми. Предки украшали святилища благочестием, а дома свои — славою и у побежденных не отнимали ничего, кроме

возможности чинить насилия. А эти нынешние — ничтожные людишки, но опаснейшие преступники! — забирают у союзников то, что в свое время оставил им отважный победитель. Как будто лишь в одном обнаруживает себя власть — в несправедливости!

XIII. Надо ли вспоминать о том, чему никто, кроме очевидцев, не поверит, — как частные лица срывали горы, осушали моря? Эти люди, по-моему, просто издевались над своим богатством, которым могли бы пользоваться достойно, но спешили безобразно промотать. Не в меньшей мере владела ими и страсть к распутству, обжорству и прочим излишествам. Мужчины отдавались, как женщины, женщины торговали своим целомудрием. В поисках лакомой еды обшаривали все моря и земли. Спали, не испытывая нужды во сне. Не дожидались ни голода, ни жажды, ни стужи, ни утомления, всякая потребность упреждалась заранее — роскошью. Это толкало молодежь на преступления, когда имущество истощалось: духу, отравленному пороками, нелегко избавиться от страстей, наоборот, — еще сильнее, всеми своими силами, привязывается он к наживе и к расточительству.

XIV. В таком большом и таком развращенном государстве Катилине ничего не стоило собрать вокруг себя, словно бы отряд телохранителей, всевозможные гнусности и преступления. И правда, всякий бесстыдник, прелюбодей, гуляка, проигравший отцовское состояние в кости, спустивший в брюхо, прокутивший с потаскухами, всякий, кто запутался в долгах, чтобы откупиться от наказания за подлое злодейство, все убийцы и святотатцы из любых краев, все осужденные или страшась суда, те, кого кормили замаранные кровью сограждан руки или оскверненный ложной клятвой язык, коротко сказать, все, кому не давали покоя срамной поступок, нужда или нечистая совесть, были доверенными, ближайшими друзьями Катилины. А если кто попадал в круг его друзей свободным от вины, тот, через соблазны ежедневного общения, быстро и легко сравнивался с остальными. Всего больше искал Катилина близости с молодежью: сердца молодых, еще нестойкие, без труда улавливались в хитро расставленные силки. Приноравливаясь к пристрастиям, которые они обнаруживали, — каждый сообразно своему возрасту, — он доставлял одним продажных женщин, другим покупал собак или коней. Одним словом, чтобы привязать их к себе понадежнее, он не щадил ни денег, ни собственной скромности.

Многие, по моим сведениям, предполагали, что молодежь, зачастившая в дом Катилины, ведет себя отнюдь не целомудренно. Но в точности никто ничего не знал, и слухи питались из иных источников.

XV. Еще в ранней юности Катилина много и гнусно блудил, — с девицею из знатной семьи, со жрицею Весты и еще с другими, — нарушая человеческие законы и божественные установления. Последней его страстью была Аврелия Орестилла, в которой ни один порядочный человек не похвалил бы ничего, кроме наружности, и так как та не решалась выйти за него замуж, опасаясь взрослого уже пасынка, Катилина — на этот счет нет сомнений ни у кого — умертвил сына и очистил дом для преступного брака. Это злодейство, по-моему, было в числе главных причин, ускоривших заговор. Грязная душа, враждовавшая и с богами, и с людьми, не могла обрести равновесия ни в трудах, ни в досугах: так взбудоражила и так терзала ее больная совесть. Отсюда мертвенный цвет кожи, застылый взгляд, поступь то быстрая, то медленная; в лице его и во всей внешности сквозило безумие.

XVI. Молодежь, которую, как сказано выше, удавалось ему привадить, он разными средствами приучал к преступлениям. Он готовил лжесвидетелей и мошенников, поддельвающих завещания, внушал презрение к верности, собственности, судебному преследованию, а испортив доброе имя своих питомцев и истребив чувство стыда, он давал им новые, более трудные задания. Если ж поводов к преступлению не оказывалось, Катилина напускал их на людей, которые ни в чем не были перед ним повинны: дабы рука и дух не цепенели в бездействии, он был готов даже на бескорыстную пакость и жестокость.

Полагаясь на таких друзей и сообщников и зная, что повсюду бремя долгов непомерно тяжело и что большинство воинов Суллы, прожившись, вспоминает о прежних победах и грабежах и жаждет гражданской войны, Катилина принял решение захватить власть. В Италии не было войска совсем, Гней Помпей вел войну на краю света; сам Катилина намеревался искать консульства и мог рассчитывать на успех, поскольку сенат ни о чем не подозревал; повсюду царил покойствие и безопасность, но это как раз и было на руку Катилине.

XVII. И вот около июньских календ, в консульство Луция Цезаря и Гая Фигула, он приступает к делу. Беседуя сперва с глазу на глаз, он одних уговаривает, других испытывает, ссылается на свою силу, на то, какою неожиданностью будет для государства заговор и каких выгод следует от него ждать. Выяснив все, что он хотел выяснить, Катилина собирает вместе всех самых немущих и самых отчаянных. Из сенатского сословия тут были Публий Лентул Сура, Публий Автроний, Луций Кассий Лонгин, Гай Цетег, сыновья Сервия Суллы Публий и Сервий, Луций Варгунтей, Квинт Анний, Марк Порций Лека, Луций Бестиа, Квинт Ку-

рий, из всаднического сословия — Марк Фульвий Нобилиор, Луций Статилий, Публий Габиний Капитон, Гай Корнелий, затем — многие из колоний и муниципиев, всё знатные в своих городах люди. Кроме того, к заговору менее явно были причастны очень многие из числа знати, побуждаемые более надеждою на владычество, чем нуждой или иною крайностью. Однако же всего решительнее разделяла замыслы Катилины молодежь, в особенности — знатная; она могла бы жить покойно, проводя дни в роскоши или в неге, но ненадежность предпочитала надежности, войну — миру. Были в ту пору люди, которые считали, что не остался в стороне и Марк Лициний Красс: ненавистный ему Гней Помпей возглавлял сильное войско, и Красс согласился бы поддержать кого угодно — в противовес могуществу Помпея, а вдобавок надеялся, что без труда займет первое место среди заговорщиков в случае их успеха.

XVIII. Но еще до того против государства составлялся другой заговор; среди немногочисленных участников был и Катилина. Я расскажу об этом как можно ближе к истине.

В консульство Луция Тулла и Мания Лепида вновь избранных консулов Публия Автрония и Публия Суллу обвинили в подкупе избирателей и осудили. Спустя немного привлекли к ответу Катилину — за лихоимство, и это помешало ему искать консульства, потому что он не сумел заявить о своем намерении в законный срок. Жил тогда в Риме Гней Пизон, человек молодой, знатный и неслыханно наглый, неимущий, но влиятельный среди единомышленников; нужда и дурной нрав толкали его на покушение против государства. С ним-то поделились своими планами Катилина и Автроний примерно в ноны декабря и стали готовиться к убийству консулов Луция Котты и Луция Торквата на Капитолии, в январские календы, чтобы самим захватить власть, а Пизона с войском послать в Испанию для захвата обеих провинций. Но умысел их обнаружился, и они назначили новый срок — ноны февраля. Теперь уже не только консулов собирались они погубить, но и большую часть сената. И если бы Катилина перед курией не подал знак своим сообщникам слишком рано, в тот день совершилось бы самое ужасное за всю историю Рима злодеяние. Но число вооруженных оказалось недостаточно, и это расстроило дело.

XIX. Позже Пизон был отправлен квестором с преторскими полномочиями в Ближнюю Испанию — по настоянию Красса, которому была известна его непримиримая вражда к Гнею Помпею. Впрочем, сенат дал свое согласие с полной охотою, желая удалить этого мерзавца из Рима, но еще и оттого, что могущество Помпея уже тогда становилось опасно и многие лучшие граждане видели в Пизоне своего рода защиту. Но, прибывши в провинцию,

Пизон где-то в дороге был убит испанскими конниками, состоявшими под его началом. Некоторые утверждают, что варвары были не в силах терпеть его власть, несправедливую, высокомерную и жестокую, другие — что конники эти были старинными и верными клиентами Гнея Помпея и на Пизона напали, исполняя волю Помпея, ибо нет иного примера, когда бы испанцы отважились на подобный поступок, напротив, до того они, не жалуясь, сносили свирепое господство многих наместников. Мы этот вопрос оставим нерешенным. О первом заговоре — довольно.

XX. Итак, люди, названные мною выше, собрались; хотя Катилина часто и подолгу беседовал с каждым в отдельности, он считал нужным и важным обратиться со словами ободрения ко всем вместе и, закрывшись с ними в самой глубине дома, удаливши всех свидетелей, такого рода произнес речь:

«Если б не испытанная ваша доблесть и преданность, ничего бы не стоило благоприятное стечение обстоятельств, тщетною была бы великая надежда, призрачною — власть, хотя она уже в наших руках, и не стал бы я с помощью пустоголовых трусов охотиться за неверною выгодою, пренебрегая верной. Но во многих и трудных случаях я убедился, насколько вы храбры и преданы мне, и потому решаюсь начать дело необыкновенное, самое заманчивое из всех возможных, а еще потому, что понял: понятия о добром и о дурном у вас те же, что у меня. А надежная дружба в том единственно и заключается, чтобы желать одного и того же, одно и то же отвергать.

Каковы мои намерения, все вы уже слышали раньше, порознь; хочу только прибавить, что со дня на день решимость моя делается все горячее, когда я размышляю, что за жизнь у нас впереди, ежели только мы сами не вернем себе свободу. Ведь с той поры, как наше государство попало в ничем не ограниченную зависимость от немногих сильных, цари и тетрархи стали их данниками, народы и племена платят им подати, а мы, все прочие, смелые и дельные, знатные и незнатные, мы — толпа, ничего не значащая, никому не внушающая уважения, покорная тем, кто дрожал бы перед нами, если б государство наше было здорово. Таким образом, все влияние, вся власть, честь, богатство — у них или у тех, кому они уделают; нам они оставили опасности, неудачи на выборах, судебные преследования, нужду. Доколе ж согласны вы терпеть, храбрые мои друзья? Разве не лучше умереть с доблестью, нежели потерять с позором жалкую и бесчестную жизнь, игрушку чужого высокомерия? Впрочем, нет, клянусь верностью небесною и земною, победа в наших руках, мы молоды, мы крепки духом; у них же, напротив, все обветшало от старости и богатства! Нужно

только начать, остальное придет само собой! Они утопают в богатствах, проматывают их, застраивая море и срывая горы, а нам недостает на самое необходимое — кто из смертных, если только у него мужское сердце, может это сносить? Они возводят себе по два дома и больше, один за другим, а мы вообще бездомны! Они скупают картины, статуи, чеканку, сносят новые здания, строят другие, коротко говоря — всячески расточают деньги и швыряют их на ветер, но и самыми безумными прихотями одолеть свои сокровища не могут. А у нас дома нищета, за стенами дома — долги, настоящее — худо, будущее — еще намного суровее: что осталось нам, в самом деле, кроме убогого существования?

Так почему же вы не пробуждаетесь? Смотрите, вот она, вот она перед вами — свобода, о которой вы мечтаете так часто, и в придачу — богатства, почести, слава; все это судьба назначила в награду победителям. Положение, время, опасности, бедность, блеск военной добычи побуждают вас к действию настоятельнее, чем мои слова. А меня возьмите либо в начальники, либо в солдаты: я буду с вами душою и телом. С вами вместе я надеюсь всего добиться, когда стану консулом, — если только не обманываюсь, если владычеству вы не предпочитаете рабства».

XXI. Эту речь выслушали люди, погрязшие во всяческих бедствиях, без малейшей надежды на будущее, и хотя смута сама по себе казалась им немалою платой, многие потребовали, чтобы Катилина объяснил, ради чего пойдет война, ради какой цели поднимут они оружие, чем они располагают и на что могут рассчитывать. Тогда Катилина пообещал отмену долгов, проскрипцию богачей, государственные и жреческие должности, грабежи и все прочее, что приносит война и произвол победителей. Кроме того, сказал он, в Ближней Испании стоит Пизон, в Мавритании Публий Ситтий Нудерн с войском, и оба — его единомышленники. Ищет консульства и, надо надеяться, будет его товарищем по должности Гай Антоний, человек и очень близкий к нему, и до крайности стесненный обстоятельствами; вместе с Антонием он и начнет действовать, как только будет избран. В заключение он осыпал бранью всех достойных граждан, а своих хвалил, обращаясь к каждому в отдельности. Одному он напоминал о его нужде, другому — об особом его пристрастии, кое-кому — о судебном преследовании или бесчестии, многим — о победе Суллы, которая их обогатила. Видя, что все воодушевились, он призвал их разделить его предвыборные хлопоты и распустил собрание.

XXII. В то время шли толки, будто Катилина, завершив речь, привел своих сообщников к присяге и обнес их чашею, в которой человеческая кровь была смешана с вином. Когда все из нее

отхлебнули, произнеся наперед заклание, как в торжественном священнодействии, он открыл свой замысел. Поступил же он так, чтобы, зная друг за другом столь ужасное преступление, тем вернее были бы они друг другу. Некоторые считали, что и это, и еще многое иное придумано теми, кто неслыханным злодейством казненных хотел утишить возникшую впоследствии ненависть к Цицерону. Нам это представляется чрезмерным и потому маловероятным.

XXIII. Был среди заговорщиков Квинт Курий, не темного происхождения человек, но замаравший себя такими преступлениями и таким срамом, что цензоры исключили его из сената за беспутство. Человек он был настолько ж пустой, насколько дерзкий: промолчать о том, что услышал, или хотя бы скрыть собственный проступок — всему этому он не придавал ни малейшего значения, как, впрочем, и любому своему действию или высказыванию. Много лет находился он в блудной связи с Фульвией, женщиной из знатного рода. Когда же она начала к нему охладевать, оттого что он обеднел и не мог одаривать ее с прежнею щедростью, он вдруг принялся бахвалиться, сулил моря и горы, иной раз грозился мечом, если она не будет ему покорна, одним словом — держал себя наглее обычного. Фульвия вывела причину этой заносчивости и не скрыла втайне опасность, грозившую государству, но — не называя лишь имени Курия — рассказала очень многим, что и каким путем узнала она о заговоре Катилины.

Это обстоятельство более, чем что-либо иное, пробудило у людей желание вручить консульство Марку Туллию Цицерону. До того большая часть знати пылала завистью и ненавистью, полагая, что консульская должность будет как бы осквернена, если достанется человеку новому, хотя бы и самому незаурядному. Но, когда надвинулась опасность, зависть и гордыня отступили назад.

XXIV. Состоялись выборы, и консулами на следующий год были объявлены Марк Туллий и Гай Антоний. Этот удар сперва потряс заговорщиков, но безумства Катилины не умерил нисколько. Наоборот, со дня на день хлопотал он все живее: по всей Италии, в пригодных для этого местах, готовил оружие, набирал в долг деньги — от собственного имени и от имени друзей — и пересылал в Фезулы, к некоему Манлию, который позже выступил застрельщиком войны. Говорят, что как раз тогда привлек он на свою сторону множество людей всякого рода и даже нескольких женщин, которые раньше покрывали огромные свои расходы, продаваясь за деньги, а потом, когда возраст положил меру лишь прибиткам, но не страсти к роскоши, увязли в долгах. С их помощью

Катилина надеялся поднять городских рабов и поджечь город, а мужей их либо связать с собою, либо умертвить.

XXV. В числе этих женщин была Семпрония, совершившая уже немало такого, что требовало мужской отваги. Не могла она пожаловаться ни на происхождение, ни на внешность, была достаточно счастлива и в супруге своем, и в детях. Знала и греческую и римскую словесность, пела и плясала искуснее, чем надобно порядочной женщине, умела и многое иное из того, что служит распущенности и пышности. Никого и ничто не ценила она столь низко, как приличие и целомудрие. Что берегла она меньше — деньги или доброе имя, — решить было не просто. Похоть жгла ее так сильно, что чаще она домогалась мужчин, чем наоборот. Нередко и до того нарушала она слово, ложной клятвою отпиралась от долга, бывала соучастницею в убийстве. Роскошь и нужда тянули ее в бездну. За всем тем она была прекрасно одарена — могла сочинять стихи, колко шутить, вести беседу то скромно, то мягко, то вызывающе, одним словом, отличалась и прелестью, и остроумием.

XXVI. Несмотря на свои приготовления, Катилина все же решил искать консульства на следующий год — в надежде, что, если будет избран, легко и полностью подчинит себе Антония. На этом, однако же, он не успокоился, но все пустил в ход, чтобы известить Цицерона. Впрочем, и Цицерону не надо было занимать хитрости и ловкости для успешной защиты. Еще в самом начале своего консульства он через Фульвию вошел в сношения с Квинтом Курием, которого я упоминал немного выше, и тот, в обмен на щедрые обещания, выдал ему планы Катилины. Вдобавок уговором насчет провинции он побудил Антония, своего товарища по должности, отказаться от враждебных государству намерений. Себя же он окружил тайной охраною из друзей и клиентов. Когда пришел день выборов и Катилина потерпел неудачу и в притязаниях своих на должность, и в покушении на консулов, которое должно было состояться прямо на Поле, он решил воевать в открытую и ни перед чем не останавливаясь, потому что все тайные его попытки исход имели скверный и позорный.

XXVII. Итак, он отправляет Гая Манлия в Фезулы и прилегающую к ним область Этрурии, камеринца Септимия — в Пицен, Гая Юлия — в Апулию и еще других — в другие места, где каждый из посланцев мог быть ему полезен, по его расчетам. Между тем не теряют времени даром и в самом Риме: Катилина собирается напасть на консулов, устроить пожар, важные и выгодные позиции занимает вооруженными отрядами, сам всегда при оружии, того же требует от других, призывает быть постоянно насто-

роже и наготове, дни и ночи торопится, бодрствует, не поддается ни сну, ни усталости.

Но, вопреки всем трудам, дело вперед не подвигалось, и тогда глубокою ночью Катилина через Марка Порция Леку созвал главварей заговора. Сперва он горько жалуется на их малодушие, а после извещает, что уже отослал Манлия к тем воинам, которых подготовил для вооруженного выступления, и еще других начальников — в другие места, и что они положат начало военным действиям, и что сам он тоже хотел бы выехать к войску, но сперва необходимо обезвредить Цицерона, который очень мешает его планам.

XXVIII. Все были испуганы и растеряны, и тут Гай Корнелий, римский всадник, предлагает свою службу, а следом за ним сенатор Луций Варгунтей, и вдвоем они решают в ту же ночь, только чуть попозже, проникнуть в сопровождении вооруженных людей к Цицерону — якобы для утреннего приветствия — и, захвативши внезапно, врасплох, заколоть его в собственном доме. Как только Курий понял, какая опасность грозит консулу, он через Фульвию поспешно сообщил Цицерону о коварном умысле против него. Таким образом, те двое нашли двери закрытыми и тяжкое злодеяние взяли на себя понапрасну.

А между тем в Этрурии Манлий возмущает народ, который в господство Суллы потерял свою землю и все добро и теперь жаждет переворота, удрученный и нищетою, и болью обиды, а также всякого рода разбойников, которых там было без счета, и кое-кого из сулланских колоний — тех, кому собственная разнузданность и привычка к удовольствиям ничего не оставили из богатой добычи.

XXIX. Цицерон узнал об этом и, встревоженный двойной бедою, — консул не мог долгие оберегать город от козней заговорщиков частными средствами и не имел достаточных сведений о войске Манлия, о его численности и намерениях, — сделал доклад сенату; впрочем, то, о чем он говорил, уже раньше горячо обсуждалось на улицах и площадях. Сенат, как почти всякий раз в крайних обстоятельствах, приказал консулам озаботиться, чтобы государство не понесло никакого ущерба. Это высшая полнота власти, какой, по римскому обычаю, облакает сенат должностное лицо: ему позволено набирать войско, вести войну, употреблять все меры для поддержания порядка среди союзников и граждан, быть верховным командующим и верховным судьей как внутри государства, так и за его пределами; в иных обстоятельствах ни одно из этих прав без особого распоряжения народа консулу не принадлежит.

XXX. Несколько дней спустя сенатор Луций Сений огласил в сенате письмо, доставленное ему, как он сказал, из Фезул, и там

сообщалось, что за шесть дней до ноябрьских календ Гай Манлий с большим отрядом поднял мятеж. Одновременно — как всегда в таких случаях — одни извещали о знаменьях и чудесах, другие о сходках, о том, что собирают оружие, что в Капуе и в Апулии начинается восстание рабов. Сенатским постановлением в Фезулы был послан Квинт Марций Рекс, в Апулию и соседние с нею края — Квинт Метелл Критский (оба они стояли у стен Рима, не слагая воинской власти, потому что клевета немногих, привыкших торговать чем придется, и честью и бесчестьем, мешала им получить триумф); из преторов Квинта Помпея Руфа направили в Капую, а Квинта Метелла Целера — в Пицен с полномочием провозвести набор, если положение станет угрожающим. Далее, если кто донесет о заговоре, направленном против государства, то рабу обещали свободу и сто тысяч сестерциев, свободному — безнаказанность и двести тысяч. Постановили также гладиаторские трупы разместить в Капуе и в прочих муниципиях, — в согласии с возможностями каждого из них, — а в Риме по всему городу выставить караулы под начальством младших должностных лиц.

XXXI. Эти события растревожили граждан и изменили облик города. После безмятежной радости и веселости, порожденных долгим покоем, всех внезапно поразила скорбь и угрюмость. Все куда-то спешат, все боятся, никому и ничему не доверяют вполне, войны не ведут, но и мира не имеют, и каждый мерит опасность меркою собственной робости. Вдобавок женщины, которых объят страх войны, до сих пор из-за мощи государства неведомый, бьют себя в грудь, простирают с мольбою руки к небесам, оплакивают малых своих детей, обо всем расспрашивают, всего страшатся и, позабыв высокомерие и удовольствия, отчаиваются и в собственном будущем, и в будущем отечества.

Но Катилина безжалостно продолжал начатое, хотя уже принимались меры защиты, а его самого Луций Павел потребовал к суду на основании Плавтиева закона. Наконец, то ли из лицемерия, то ли чтобы оправдаться, — словно бы задетый личными нападками, — он явился в сенат. Тут консул Марк Туллий, боясь его присутствия или, может быть, в гнев, произнес блестящую и полезную для государства речь, которую он после издал. Но как только консул сел, Катилина, заранее готовый все отрицать, потупив взор, жалостным голосом принялся просить отцов-сенаторов, чтобы они не судили о нем опрометчиво: ведь он происходит из такой семьи, так с молодых лет направил свою жизнь, что в намерениях всегда устремлен к лучшему. Пусть же они не думают, будто ему, патрицию, чьи предки (так же, впрочем, как и он сам)

оказали столько неоценимых услуг римскому народу, надобна гибель государства, меж тем как охранителем этого государства оказывается Марк Туллий, римский гражданин, но в Риме пришелец. К этой брани он прибавил еще иную, и тогда все зашумели, закричали ему: «Враг!», «Убийца!» А он в бешенстве воскликнул: «Раз неприятели окружили меня и гонят сломя голову к гибели, огонь, бушующий вокруг, я погребу под развалинами!»

XXXII. Затем он ринулся из курии домой, чтобы тщательно все обдумать. Покушение на консула не удавалось, от пожара, как он видел, город был защищен караулами, и, сочтя за лучшее умножить и укрепить войско, пока легионы еще не набраны, предупредить многие, важные для будущего, действия врага, Катилина глубокою ночью с немногими спутниками выехал в лагерь Манлия. А Цетегу, Лентулу и прочим, чья дерзкая решимость была ему хорошо известна, он поручает всеми возможными средствами увеличивать силы заговора, спешить с покушением на консула, готовить резню, пожар и другие бедствия войны. Сам же он вскорости подступит к городу с большим войском.

Пока в Риме происходят эти события, Гай Манлий посылает своих людей к Марцию Рексу, распорядившись передать примерно следующее:

XXXIII. «Боги и люди да будут нам свидетели, император, что мы подняли оружие не против отечества и не того ради, чтобы грозить другим, но только чтобы оборонить от несправедливости себя самих. Жалкие нищие, мы, насилием и алчностью ростовщиков, почти все лишены отечества и все, как один,— доброго имени и состояния. И никому из нас не было дозволено прибегнуть, по обычаю предков, к защите закона или хотя бы, потеряв имущество, сохранить свободу,— так свирепствовали ростовщики и претор. Часто ваши предки, сжалившись над римским народом, облегчали его нужду своими постановлениями, и уже совсем недавно, на нашей памяти, все лучшие граждане согласились, чтобы должники, непосильно обремененные, вместо серебра уплатили заимодавцам медью. Часто случалось, что и сам народ, либо из жажды господства, либо оскорбленный высокомерием властей, брался за оружие и уходил от патрициев. Но мы не владычества ищем и не богатства, из-за которых все войны и все распри между смертными, мы ищем свободы, а с нею ни один достойный человек не расстается иначе, как вместе с жизнью. Заклинаем тебя и сенат, помогите несчастным согражданам, верните нам защиту закона, отнятую несправедливостью претора, не принуждайте нас искать, как погибнуть, самым беспощадным образом отомстивши за свою гибель».

XXXIV. На это Квинт Марций отвечал, что, если они желают обратиться к сенату с просьбою, пусть сложат оружие и отправляются в Рим просителями: сенат римского народа всегда славился такою кротостью и милосердием, что никто и никогда не обращался к нему за помощью понапрасну.

А Катилина с пути разослал письма большинству бывших консулов и всем влиятельным лицам из числа знати. Он писал, что опутан ложными обвинениями, не способен сопротивляться стану своих врагов и, уступая судьбе, удаляется в Массилию, в изгнание, — не потому, чтобы сознавал себя виновным в тяжком злодеянии, но чтобы возратить покой государству и чтобы из борьбы, которую он ведет, не вырос мятеж. Однако Квинт Катул огласил в сенате письмо совсем противоположного содержания, доставленное ему, как он утверждал, от имени Катилины. Список с него приводится ниже:

XXXV. «Луций Катилина приветствует Квинта Катула. Твоя исключительная верность, испытанная на деле и столь мне дорогая в этих трудных обстоятельствах, твердо свидетельствует, что я могу прибегнуть к твоему содействию и на этот раз. У меня появился новый план, и я решил не защищать его перед тобою: совесть моя совершенно чиста — прими же это за оправдание, оно истинное, клянусь богом. Ожесточенный обидами и оскорблениями, лишившись плодов моего труда и усердия — не достигнув высокой должности, я, в согласии со своими правилами, принял на себя защиту несчастных, дело, которое касается каждого. И не то чтобы я не мог собственными средствами погасить долги, сделанные за моим поручительством (даже взятое за чужим поручительством щедро возместила бы Орестилла из своего имущества и имущества дочери), но я видел ничтожных людей, купающихся в почете, себя же ощущал отверженным по лживому подозрению. Вот почему я последовал за надеждами, сулящими сберечь остатки моего достоинства и, по печальному моему положению, достаточно честными. Я хотел написать больше, но пришла весть, что на меня готовится покушение. Поручаю Орестиллу твоим заботам и твоей верности. Ради твоих детей — защити ее от обид. Прощай».

XXXVI. Несколько дней Катилина провел у Гая Фламиния близ Арретия, вооружая поднятое уже окрестное население, а затем, с ликторскими связками и прочими знаками верховной военной власти, направился в лагерь к Манлию. Когда об этом узнали в Риме, сенат объявил Катилину и Манлия врагами, а остальным мятежникам назначил срок, до которого разрешалось сложить оружие безнаказанно — всем, кроме осужденных за преступления, караемые смертию казнию. Кроме того, сенат поручает консулам

произвести набор и Антонию с войском — поспешить следом за Катилиною, а Цицерону — охранять город.

Римская держава того времени представляется мне в самом жалком виде. Вся земля, от восхода до заката солнца, покорилась ей, усмиренная силою оружия, в Риме — изобилие покоя и богатства, самых завидных благ в глазах смертных, и, однако же, находятся граждане, которые упорно влекут к гибели и себя, и государство. В самом деле, несмотря на два сенатских постановления, никто из такого множества людей не соблазнился наградой — не выдал заговора, не покинул лагеря Катилины. Такова была сила недуга, поразившего многие души, словно неисцелимая зараза.

XXXVII. Безумием были поражены не только заговорщики — весь простой люд жаждал переворота и одобрял планы Катилины. По-видимому, это даже отвечало его привычкам. Ведь в любом государстве неимущие завидуют добрым гражданам и превозносят дурных, ненавидят прежнее, мечтают о новом, из недовольства своим положением стремятся переменить всё, пропитание находят без забот — в бунте, в мятеже, ибо нищета — легкое достояние, ей нечего терять. Что же до простого народа в Риме, то он был совершенно безудержен, и по многим причинам. Во-первых, все, кто отличался особенной дерзостью и наглостью, кто постыдно потерял отцовское достояние, все, кого изгнал из дому гнусный или злодейский поступок, — все и отовсюду стекались в Рим, будто в сточную канаву. Затем многие вспоминали победу Суллы, видя, как иные из рядовых воинов вошли в сенат, а иные сказочно разбогатели и живут в царской роскоши, — вспоминали, и каждый ждал для себя от победы таких же выгод, если возьмется за оружие. Далее, молодежь из деревень, перебивавшуюся кое-как трудом собственных рук, соблазняли щедрые раздачи, частные и общественные, и неблагоприятному труду она предпочитала городское безделье. И эти люди, и все прочие кормились несчастьем государства. Что удивительного, если бедняки, испорченные нравственно, с величайшею жадностью ожидающие грядущего, столь же мало lekлись об общем благе, сколько о своем собственном? Разумеется, с одинаковым чувством ожидали исхода борьбы и те, кого победа Суллы лишила родителей, имущества, полноты гражданских прав. Наконец, любой, кто не принадлежал к числу защитников сената, предпочитал увидеть в расстройстве все государство, лишь бы не потерпеть урона самому. Так после многолетнего перерыва эта горькая беда снова вернулась в Рим.

XXXVIII. Действительно, после того как в консульство Гнея Помпея и Марка Красса была восстановлена должность народных трибунов, высшей власти достигли очень молодые люди, безудерж-

ные и по летам, и по нраву, и начали возмущать народ против сената, потом подачками и обещаниями разжигали его все больше, а сами таким образом приобретали известность и силу. Им сказывала всемерное сопротивление большая часть знати, но, под видом защиты сената, она отставала собственное могущество. В дальнейшем (чтобы коротко объяснить истинное положение дел) всякий, кто приводил государство в смятение, выступал под честным предлогом: одни якобы охраняли права народа, другие поднимали как можно выше значение сената,— и все, крича об общей пользе, сражались только за собственное влияние. В этой борьбе они не знали ни меры, ни совести; и те и другие жестоко злоупотребляли победой.

XXXIX. Но когда Гней Помпей был отправлен на войну с пиратами и с Митридатом, силы народа убыли, возросла власть немногих. В их руках были теперь и высшие должности, и провинции, и все прочее. Благоденствуя и ничего не страшась, проводили они свои дни, противников запугивали судом, чтобы тем легче было править народом, исполняя должность. Но едва лишь обстоятельства осложнились и открылась надежда на переворот, старое соперничество вновь оживило души.

Поэтому, если бы Катилина выиграл первую битву или хотя бы не проиграл ее, поистине тяжкая и грозная беда постигла бы государство. Впрочем, и победителям не пришлось бы долго наслаждаться своим успехом, ибо некто более сильный вырвал бы у них, усталых и обескровленных, и власть и самое свободу. Были, впрочем, и вне заговора весьма многие, бежавшие с самого начала к Катилине, и среди них Фульвий, сын сенатора. Отец силой вернул его с дороги и приказал умертвить.

Между тем Лентул, исполняя наказ Катилины, смущал и соблазнял всякого в Риме, кто по натуре или по состоянию своих дел казался ему способным к бунту, и не только граждан, но людей всякого звания, лишь бы они были пригодны для войны.

XL. И вот он поручает Публию Умбрену, чтобы тот переговорил с послами аллоброгов и, если сможет, привлек бы их к военному союзу. Лентул не сомневался, что склонить их к такому решению будет нетрудно,— ведь они замучены долгами, общими и частными, а потом вообще галльское племя от природы воинственно. Умбрен прежде торговал в Галлии и с большинством вождей был знаком. Завидев послов на Форуме, он тут же, безотлагательно, расспросил в нескольких словах, как обстоят дела у них дома, и, словно бы сожалел об их нужде, осведомился, на какой те рассчитывают выход. Когда же он услышал, что аллоброги жаждутся на корыстолюбие должностных лиц, обвиняют сенат, ко-

торый ничем им не помог, и не видят иного спасения от тягот, кроме смерти, Умбрен сказал: «А я укажу вам способ избавиться от всех ваших тягот, только для этого надо быть настоящими мужчинами». В ответ аллоброги, уже не помня себя от радости, молли Умбрена сжалиться над ними: нет на свете такого трудного препятствия, которое бы они не одолели с величайшею охотой, если это избавит их государство от долгов. Тогда он отводит их в дом Децима Брута, который стоял невдалеке от Форума и не был чужим для заговорщиков — благодаря Семпронию; а Брут как раз куда-то уехал. Чтобы придать больше веса своим словам, он пригласил Габиния и в его присутствии открыл галлам весь заговор, назвав участников и еще многих иных, людей всякого рода, ни в чем не замешанных: этим он рассчитывал ободрить послов. Наконец он их отпустил, пообещав свою помощь.

XLI. Аллоброги, однако, долго колебались, какое решение им принять. С одной стороны — долги, любовь к войне, богатое вознаграждение в случае победы, но с другой — большие силы и средства, безопасность и вместо неверных надежд верная награда. Так они размышляли, и верх взяла счастливая участь нашего государства. Обо всем, что узнали, послы доносят Квинту Фабию Санге, чьим покровительством их племя пользовалось всего чаще. Санга без промедлений осведомил Цицерона, и консул велел, чтобы послы изображали самое горячее желание присоединиться к заговору, побывали у остальных заговорщиков и постарались бы попасться с поличным.

XLII. Примерно в это же время начались волнения в Галлии, Ближней и Дальней, в Пицене, Бруттии, Апулии. Посланцы Катилины безрассудно, словно бы в припадке безумия, хватались за все разом, однако ночными совещаниями, перевозками оружия, беспрестанною спешкою больше сеяли страха, чем опасности. Многих из них претор Квинт Метелл Целер, следуя сенатскому постановлению, после законного расследования бросил в тюрьму, и так же действовал в Ближней Галлии Гай Мурена, управлявший этой провинцией в звании легата.

XLIII. А в Риме Лентул с другими главарями заговора, собрав, как им представлялось, достаточно сил для удара, принимают следующую план: когда Катилина с войском вступит в окрестности Фезул, трибун Луций Бестиа созывает сходку и обжалует перед народом решения Цицерона, стараясь угрозою тяжелейшей войны разжечь ненависть к достойному консулу; по этому знаку в ближайшую же ночь все прочие заговорщики исполнят каждый свое задание. Задания, по-видимому, распределены были так: Статилий и Габиний с большим отрядом поджигают город в двенадцати

удобных местах одновременно, и общее замешательство откроет легкий доступ к консулу и к остальным, на кого готовились покушения; Цетег осадит дверь Цицерона и нападет на него с оружием в руках, другие заговорщики — на других лиц, причем сыновьям, жившим в родительском доме, главным образом юношам знатного происхождения, поручалось убить своих отцов; резня и пожар приведут Рим в полную растерянность, и тогда заговорщики все вместе вырвутся за стены и уйдут к Катилине. Пока обсуждались эти планы и шли последние приготовления, Цетег без конца сетовал на малодушие своих товарищей. Их колебаниями и проволочками, говорил он, упущены лучшие возможности; в таких крайних обстоятельствах надо действовать, а не совещаться! Пусть другие медлят. — он готов ворваться в курию один со считанными помощниками! То был человек от природы необузданный, пылкий и решительный и главное достоинство полагал в быстроте.

XLIV. По внушению Цицерона, аллоброги через посредство Габиния встретились с остальными. От Лентула, Цетега, Статилия, а также Кассия они потребовали удостоверенной печатями клятвы, чтобы отвезти своим соплеменникам: иначе, говорили послы, их непросто будет подвигнуть на такой шаг. Прочие, ничего не подозревая, соглашались, а Кассий пообещал, что вскоре будет в Галлии сам, и выехал из Рима незадолго перед послами. Лентул отправил вместе с ними некоего Тита Волтурция из Кротона, чтобы аллоброги по пути домой скрепили союз с Катилиной взаимной присягою в верности. Сам он вручил Волтурцию письмо для Катилины; список с него приводится ниже:

«Кто я, ты узнаешь от человека, которого к тебе посылаю. Размысли, как худо твое положение, и помни, что ты мужчина. Подумай, чего требует твоя выгода. Ты должен искать помощи у всех, даже у самых низших».

На словах же он поручил передать: «Раз сенат объявил тебя врагом, с какой стати гнушаться рабами? В Риме все, что ты приказывал, исполнено. Не задерживайся, подступай ближе».

XLV. Так обстояли дела, и уже была назначена ночь отъезда, когда Цицерон, обо всем осведомленный через послов, велит преторам Луцию Валерию Флакку и Гаю Помпину устроить засаду на Мульвийском мосту и захватить аллоброгов с провожатыми. Он открывает преторам, что скрыто за этим поручением, и в дальнейшем разрешает действовать так, как потребуется. А те, люди военные, выставили без спеха и шума караулы и, как было им наказано, тайно заняли мост. Когда послы с Волтурцием приблизились и стовсюду вдруг загремели крики, галлы быстро сообразили, что происходит, и незамедлительно сдались преторам. Вол-

турций сперва отбивался мечом от целой толпы и призывал обороняться остальных, но потом увидел, что послы его бросили, взмолился о пощаде к Помптию, который был его знакомцем, и, наконец, в смертельном страхе отдал себя в руки преторов, словно в руки врагов.

XLVI. Когда все было кончено, проворно отправляют гонцов к консулу. Мучительная забота и великая радость овладели Цицероном. Он радовался, понимая, что заговор разоблачен и государство избавлено от опасности, но вместе с тем томился тревогою, не зная, как поступить с такими влиятельными гражданами, уличенными в самом тяжком преступлении: их наказание ляжет бременем на его плечи, безнаказанность будет гибельна для государства. Итак, собравшись с духом, он распорядился позвать к себе Лентула, Цетега, Статилия, Габиния, а также террацинца Цепария, который собирался в Апулию — возмущать рабов. Все тут же явились, и только Цепарий, незадолго до того вышедший из дому, проведал о доносе и бежал. Лентула, который был претором, консул повел в сенат сам, взявши за руку, прочих направил в храм Согласия под охраною. Туда созвал он сенат и, при большом стечении сенаторов, ввел Волтурция с послами; туда же приказал он принести отобранную у послов шкатулку с письмами.

XLVII. В ответ на расспросы насчет поездки, насчет писем, насчет того, наконец, какими намерениями он задавался и почему, Волтурций сперва громоздил ложь на ложь и уверял, будто понятия не имеет о заговоре. Потом, когда от имени государства ему обещали безнаказанность, он открыл все, как было, и показал, что привлечен в соучастники Габинием и Цепарием лишь несколько дней назад и знает ровно столько же, сколько послы, но часто слышал от Цепария, что в заговоре состоит Павел Автроний, Сервий Сулла, Луций Варгунтей и еще многие иные. То же утверждали галлы, изобличая заправившегося Лентула не только его письмом, но и речами, которые он заводил не один раз — что, дескать, по Сивиллиным книгам царская власть в Риме предречена троиm Корнелиям и первыми двумя были Цинна и Сулла, он же третий, кому суждено владеть городом Римом, и, кроме того, с пожара Капитолия пошел двадцатый год, а он несет с собою кровавую гражданскую войну, как многократно предсказывали гадатели, толкуя чудесные знамения. После этого огласили письма, и, когда каждый признал свою печать, сенат постановил, чтобы Лентул сложил должность и, наряду с прочими, содержался под вольною стражею. Итак, Лентула передают под охрану Публию Лентулу Спинтеру, который был тогда эдилом, Цетега — Квинту Корнифицию, Статилия — Гаю Цезарю, Габиния — Марку Крассу, а Цепария

рия (его только что задержали и вернули в Рим) — сенатору Гнею Теренцию.

XLVIII. После раскрытия заговора настроение простого люда, который сначала мечтал о перевороте и жадно рвался навстречу войне, переменилось: замыслы Катилины все проклипали, Цицерона превозносили до небес, радовались и ликовали так, словно были спасены от рабства. Вполне понятно: от бедствий войны народ ждал скорее добычи, нежели ущерба, и только пожар считал жестокостью непомерной и крайне для себя опасной, потому что все его богатство заключалось в платье на теле и в ежедневном пропитании.

На другой день в сенат был доставлен некий Луций Тарквиний; утверждали, что он направлялся к Катилине, но был захвачен в пути. Этот человек объявил, что согласен дать показания о заговоре, если ему обещают личную неприкосновенность, и консул велел ему говорить все подряд. Он сообщил примерно то же, что Волтурций, — о готовившихся поджогах, об избиении лучших граждан, о передвижении врагов, но кроме того — что послал его Марк Красс, извещавший Катилину, чтобы тот не терял мужества из-за ареста Лентула, Цетега и других заговорщиков, напротив, тем скорее подступал бы к Риму: это и остальных ободрит, и арестованным поможет вырваться на волю.

Но когда Тарквиний назвал Красса, человека знатного, чрезвычайно влиятельного и первого богача, одни вообще не поверили, другие, правда, поверили, но полагали, что в такое время такого могущественного человека надо умиротворить, а не раздражать, а очень многие вдобавок находились в зависимости от Красса по частным делам, — и вот все кричат, что Тарквиний лжет и чтобы сенату об этом было доложено особо. По запросу Цицерона, сенат в полном почти составе постановляет донос Тарквиния считать ложным, а доносчика посадить в тюрьму и больше показаний его не слушать, разве что он укажет, кто подсудил его так чудовишно солгать. Донос этот, подозревали некоторые, был подстроен Публием Автронием, чтобы, произнеся имя Красса, замешать в опасность и его и тогда уже с легкостью прикрыть остальных его могуществом. Другие возражали: Тарквиний подослан Цицероном, чтобы Красс, по своему обыкновению, не принял под защиту недобряков и тем не нанес вреда государству. Сам Красс впоследствии (я слышал это собственными ушами) говорил прямо, что это неслыханно злое оскорбление ему нанес Цицерон.

XLIX. В это время Квинт Катул и Гай Пизон пытались деньгами и уговорами склонить Цицерона к тому, чтобы через аллоброгов или иного доносчика было выдвинуто ложное обвинение против

Гая Цезаря, — но безуспешно. Оба испытывали к Цезарю тяжелую вражду, Пизон — оттого, что в ходе суда за вымогательства Цезарь стеснил его еще больше, обвинив в незаконной казни какого-то транспаданца, Катул — после неудачной попытки получить сан верховного жреца, когда, невзирая на преклонный возраст и высокие почетные должности в прошлом, потерпел поражение от мальчишки Цезаря. Обстановка казалась благоприятной, ибо и в частных отношениях с людьми Цезарь был исключительно щедр и, исправляя должность, устраивал небывало пышные зрелища, а потому глубоко увяз в долгах. Видя, что консула склонить к преступлению не удастся, Катул и Пизон принялись обходить дом за домом, распуская клевету, которую они якобы слышали от Волтурция и аллоброгов. Они успели возбудить против Цезаря немалую ненависть — вплоть до того, что несколько римских всадников, охранявшие с оружием в руках храм Согласия, грозили ему мечами, когда он выходил из сената, то ли потрясенные размерами опасности, то ли просто по несдержанности, но в любом случае желая яснее выказать свою любовь к отечеству.

Л. Пока заседает сенат, пока назначаются награды аллоброгам и Титу Волтурцию, поскольку показания их подтвердились, вольноотпущенники и кое-кто из клиентов Лентула разными способами подбивают мастеровых и рабов на улицах силой освободить его из-под стражи, ищут вожаков толпы, которые всегда готовы за плату учинить бунт. Цетег же через нарочных просит своих рабов и отпущенников, все людей надежных и хорошо выученных, сплотиться и оружием проложить себе путь к хозяину.

Узнав об этих приготовлениях, консул немедленно расставил, где требовалось, караулы, а затем созвал сенат и обратился к нему с запросом, как поступить с арестованными. Незадолго до того сенат в многолюдном заседании определил, что все они — государственные преступники; теперь Децим Юний Силан, который был избран консулом на следующий год и потому должен был подать свое мнение первым, объявил, что те, кто находится под стражей, подлежат смертной казни, а равно и Луций Кассий, Публий Фурий, Публий Умбрен и Квинт Анний, если их удастся задержать. Позже, правда, под впечатлением речи Гая Цезаря, Силан сказал, что поддержит мнение Тиберия Нерона, который предлагал вернуться к этому вопросу после того, как будут сняты караулы. Что же до Цезаря, то, когда настала его очередь и консул назвал его имя, он заговорил примерно так:

ЛІ. «Господа сенаторы, во всех трудных и сомнительных случаях мы должны быть свободны от гнева, дружества, ненависти и сострадания, ибо нелегко провидеть истину, если взор застлан

этими чувствами, и никто не может служить разом и страсти и пользе. Если напрягаешь ум, перевес получает он; когда же тобою владеет страсть, она и владычествует, а дух не имеет никакой силы. На памяти у меня немало примеров, господ сенаторы, как цари и народы, уступив гнев или состраданию, принимали скверные решения. Но я предпочитаю напомнить, как наши предки поступали правильно и справедливо, вопреки внушению страсти. В Македонскую войну, которую мы вели с царем Персеем, государство родосцев, обширное и процветающее, возвысившееся благодаря помощи римского народа, вероломно выступило против нас. Но когда по окончании войны предки наши совещались об участии родосцев, то отпустили их безнаказанными — чтобы никто не сказал, будто война начата скорее ради обогащения, чем ради мести за обиду. Точно так и во всех Пунических войнах: хотя карфагеняне и в мирное время, и во время перемирий творили нечестие за нечестием, наши отцы никогда не искали случая ответить тем же: не о том спрашивали они себя, как можно по праву поступить с неприятелем, но о том, что будет достойно их самих. Вот и вам, господа сенаторы, надо позаботиться, чтобы злодеяние Публия Лентула и остальных не имело в ваших глазах больше веса, нежели ваше достоинство, и чтобы о гневе своем вы думали не больше, нежели о доброй славе. Если мы хотим покарать их по заслугам, я одобряю неведомую прежде меру; но поскольку тяжесть их вины превосходит все, что можно себе представить, я предлагаю ограничиться теми средствами, какие предусмотрены законом.

Большинство из тех, кто подавал мнение до меня, в складных и звонких словах сокрушались о бедствии нашего государства. Они перечисляли ужасы войны и муки, выпадающие на долю побежденным: тут и похищенные девушки, юноши, тут и дети, исторгнутые из родительских объятий, и почтенные матери, отданные на произвол победителям, и ограбленные храмы и жилища, резня и пожары, наконец, повсюду, куда ни глянь, оружие, трупы, кровь, скорбь! Но, ради бессмертных богов, к чему эти речи? Чтобы ожесточить вас против заговора? Еще бы! Кого не тронуло само дело, столь жуткое и грозное, того, конечно, воспламят слова! Нет, никому из смертных не кажется ничтожным насилие, направленное против него, многим оно видится страшнее, чем следует.

Но, господа сенаторы, не всем открыта равная свобода действий. Если кто, проводя жизнь во мраке безвестности, допустит в запальчивости ошибку, об этом мало кто узнает: молва о таких людях так же ничтожна, как их положение. Но если кто наделен высокою властью и занимает видное место, их деяния известны

целому свету. Выходит, что при самом блестящем положении свобода открыта наименьшая. Нельзя дать воли ни пристрастию, ни ненависти, и всего менее — гневу. Что у других назовут запальчивостью, у облеченных властью сочтут за высокомерие и жестокость. Мне, во всяком случае, кажется так, господа сенаторы: все пытки, вместе взятые, не искупят преступлений заговорщиков, но большинство смертных помнит лишь исход, развязку и, забыв нечестивцам их злодейство, толкует без конца о наказании, если оно хотя бы чуть строже обычного.

То, что сказал Децим Силан, человек храбрый и решительный, сказано — я в этом совершенно уверен — из заботы о государстве; в таком деле не мог он поддаться ни дружелюбию, ни враждебности — я слишком хорошо знаю его нрав и умение владеть собой. И, однако же, мне не представляется мне не то чтобы жестоким — к этим людям, что ни примени, все будет слишком мягко! — но чуждым нашему государству. И правда, Силан, что побудило тебя, консула следующего года, предложить неслыханный доньше род наказания? Разумеется, либо страх, либо сам по себе проступок. О страхе говорить излишне, в особенности когда усердием нашего замечательного консула стоит под оружием целое войско. Что же касается наказания, то, по-моему, нельзя упускать из виду самую суть: ведь в скорби и в бедствиях смерть — не мука, но отдых от страданий. Всем человеческим несчастьям она полагает предел, дальше нет уже места ни радости, ни печали.

Так, ради богов, почему же ты не прибавил к своему предложению, чтобы их сперва высекли розгами? Уж не потому ли, что Порцийев закон не велит? Но точно таким же образом другие законы приказывают не лишать жизни осужденного гражданина и оставляют за ним право удалиться в изгнание. Или потому, что розги тяжелее смерти? Но что может быть суровым или слишком тяжким, когда люди изблещены в таком злодеянии? А если потому, что легче, — так пристало ль тебе бояться закона в случае менее важном, когда в более важном ты им пренебрегаешь?

Но — слышу я возражение — кто станет порицать меры, обращенные против заклятых врагов государства? Обстоятельства, время, случай, чей произвол стесняет народы. Тем негодяям — что бы ни случилось — все поделом, однако вы, господа сенаторы, размыслите, какой пример подаете на будущее. Все злоупотребления восходят к полезным некогда действиям. Но когда власть достается людям, в ней не сведущим или не совсем порядочным, новая мера, уместно примененная к тем, кто ее заслуживал, начинает применяться неуместно и незаслуженно. После победы над афинянами лакедемоняне поставили во главе их государства тридцать

правителей. Те сначала казнили без суда самых вредных злоумышленников, стяжавших всеобщую ненависть, и народ радовался и одобрял все происходившее. Затем правители осмелели и принялись убивать добрых и дурных без разбора, по прихоти, а прочих запугали и держали в страхе. Так целый народ попал в рабство и тяжело поплатился за глупую свою радость. Или вот уже на нашей памяти — когда Сулла, одержав победу, распорядился умертвить Дамасиппа и прочих того же разбора людей, которые выросли на бедствиях нашего государства, кто не хвалил его поступка? Все говорили, что преступники и смутьяны, бунтом нарушавшие спокойствие государства, казнены по заслугам. Но именно это событие послужило началом великой беды, ибо всякий, кто вдруг проникался желанием заполучить чей-либо дом или поместье, или даже только утварь или платье, прилагал все усилия, чтобы имя хозяина оказалось в списке объявленных вне закона. Еще совсем недавно люди радовались смерти Дамасиппа, а вот уже их самих волокут на смерть, и не прежде настал конец резне, чем Сулла насытил богатствами всех своих приверженцев. Не от Марка Туллия, конечно, ожидаю я подобной опасности и не от наших времен, но в большом государстве нравы различны. Быть может, в иное время и при ином консуле, который так же будет иметь войско в своем распоряжении, ложь будет принята за истину. И когда консул по нынешнему примеру, в согласии с сенатским постановлением, обнажит меч, кто назначит ему предел, кто удержит его руку?

Наши отцы, господа сенаторы, не были скудны ни разумом, ни мужеством, и, однако, высокомерие не мешало им перенимать чужие порядки, если порядки эти оказывались дельными. Оружие, наступательное и оборонительное, они заимствовали у самнитов, знаки достоинства высших властей — почти полностью у этрусков. Коротко говоря, все, что, где бы то ни было, у союзников или у врагов, представлялось полезным, они с большим усердием насаждали у себя, предпочитая хорошему не завидовать, а подражать. Как раз в то время, подражая грекам, они наказывали граждан розгами и осужденных казнили. Когда же государство окрепло, число граждан умножилось и вошли в силу враждующие станы, начались притеснения невинных и иные подобные бесчинства; тут и появился Порциев закон и другие законы, разрешавшие осужденному уйти в изгнание. В этом, господа сенаторы, заключена, на мой взгляд, главная причина, по которой нам не следует принимать необычных решений. Нет сомнения, что у тех, кто, начав с малого, создал столь великую державу, и доблести и мудрости

было больше, нежели у нас, с трудом сберегающих унаследованное без труда.

Стало быть, я предлагаю отпустить арестованных и усилить войско Катилины? Ничего подобного! Вот мое мнение: имущество их отобрать в казну, а самих держать под стражею по муниципиям, располагающим для этого наилучшими возможностями; впредь никому по этому поводу ни к сенату, ни к народу не обращаться; всякого, кто поступит иначе, сенату объявить государственным преступником и в рагом общего благополучия».

LII. Когда Цезарь умолк, прочие сенаторы, отвечая односложно, присоединялись кто к одному мнению, кто к другому. Но Марк Порций Катон в ответ на запрос консула вот какую приблизительно произнес речь:

«Совершенно противоположные мысли рождаются у меня, господа сенаторы, когда я всматриваюсь в опасное наше положение и когда вдумываюсь в слова некоторых из нашего сословия. Сколько я могу понять, они рассуждают о наказании тем, кто готовил войну против отечества, родителей, алтарей и домашних очагов. Но положение дел велит нам сперва уберечь себя от преступников, а потом уже совещаться насчет меры наказания. Прочие злодеяния можно преследовать тогда, когда они совершены, но это, если его не предупредить, если оно совершится... — понапрасну станем мы тогда взывать к правосудию: раз город захвачен, побежденным не останется ничего.

Во имя богов бессмертных, я обращаюсь к тем, кто всегда ставил свои дома, поместья, статуи, картины выше государства: если вы дорожите этими благами, какие бы они там ни были, если хотите и впредь жить праздно и сладко, так проснитесь же, наконец, и посвятите себя общим заботам! Не о податях идет дело и не о притеснениях союзников — под угрозой наша свобода и сама жизнь.

Часто и подолгу, господа сенаторы, говорил я в этом собрании, часто жаловался на роскошь и корыстолюбие наших сограждан и много через это приобрел врагов. Я никогда не прощал себе ни единого ложного шага, и нелегко было мне оказывать снисхождение чужим страстям и порокам. Вы же смотрели на это сквозь пальцы, но государство было крепко и, в мощи своей, легко терпело вашу беспечность. Теперь не о том идет дело, хороши или скверны наши нравы, и даже не о величии или блеске Рима, но о том, будет ли наше достоинство, такое, как оно есть, нашим или достанется врагу — вместе с нашею жизнью.

Здесь мне толкуют о кротости и милосердии. Уже давно разучились мы называть вещи истинными их именами: расточать чу-

жое имущество зовется щедростью, быть дерзким на все дурное — храбростью, потому-то и стоит государство на краю гибели. Хорошо, раз уже таковы их правила, пусть будут щедры за счет союзников, пусть будут снисходительны к казнокрадам, но нашу кровь пусть не расточают и, щадя горстку преступников, пусть не губят всех достойных разом!

Незадолго передо мною Гай Цезарь красноречиво рассуждал в нашем собрании о жизни и смерти, конечно же считая вымыслом все, что рассказывают о подземном царстве, — что дурные пребывают там вдали от добрых, в месте гнусном, мерзком, диком, ужасном. Он предложил имущество арестованных отобрать в казну, а их содержать под стражею в муниципиях. Очевидно, он опасается, как бы в Риме их не освободили силою сообщники по заговору или какая-нибудь наемная шайка — точно негодяи и преступники есть только в столице, а не повсюду в Италии, или не там у наглости больше силы, где меньше сил для отпора. Нет, предложение его совершенно бессмысленно, если он страшится этих людей; а если среди всеобщего ужаса он один свободен от страха, тем больше у меня оснований бояться и за себя, и за вас. Знайте же твердо, что, решая судьбу Публия Лентула и остальных, вы одновременно произносите приговор над войском Катилины и всеми заговорщиками. Чем непреклоннее вы будете, тем больше падут они духом; приметивши малейшие признаки вашей слабости, они все тут же подступят к Риму с неумолимой отвагой.

Не верьте, будто наши предки превратили государство из малого в великое одною силой. Если бы так, то в наших руках оно было бы несравненно прекрасным — ведь союзников и граждан, оружия и коней у нас намного больше, чем у них. Но их возвысило иное, то, чего у нас нет вовсе: в отечестве — трудолюбие, за его рубежами — справедливость власти, в советах — свободный дух, не отягощенный ни преступлениями, ни страстями. А у нас вместо этого роскошь и алчность, бедность в государстве, изобилие в частных домах. Мы восхваляем богатство и любим безделье. Меж добрыми и худыми нет никакого различия, все награды за доблесть присваивает честолюбие. Что ж удивляться? Когда каждый из вас печется лишь о себе, когда дома вы рабски служите наслаждениям, а здесь деньгам или дружеству, тогда и возможно покушение на государство, лишенное главы.

Но довольно об этом! Первые по знатности граждане сговорились предать отечество огню, они втягивают в войну галлов, злобных неприятелей римского народа, вражеский вождь с войском насаждает на плечи — а вы еще колеблетесь, вы не знаете, как обойтись с врагами, захваченными в городских стенах! Ну, что ж,

сжальтесь над ними, — люди все молоденькие, провинились из честолюбия! — сжальтесь да отпустите, да еще с оружием. Но только как бы эта жалость ваша и сострадание не обернулись страданием, когда они вооружатся! Значит, сами по себе дела наши плохи, но вы этого не боитесь? Наоборот, отчаянно боитесь! Но по лености и малодушию оглядываетесь друг на дружку и медлите, полагаясь, очевидно, на бессмертных богов, которые часто спасали наше государство в крайних опасностях. Но помощь богов стяжают не обетами и не бабьей мольбой. Бодрость ума и тела — вот что ведет к счастливому исходу. А коснея в беспечности и лени, нечего призывать богов — они враждебны и гневны!

В Галльскую войну Авл Манлий Торкват приказал казнить родного сына за то, что он вступил в бой с неприятелем вопреки распоряжению, и этот замечательный юноша поплатился жизнью за неумеренную отвагу. Так поступали наши предки, а вы медлите с приговором кровожадным убийцам! Наверное, вся прежняя их жизнь в противоречии с нынешним преступлением? Прекрасно, пощадите достоинство Лентула, если он хоть когда-нибудь щадил собственную скромность и доброе имя, щадил богов или людей. Простите по молодости лет Цетегу, если это он впервые затевает войну против отечества. А что сказать о Габинии, Статилии, Цепарии? Будь у них хоть что-нибудь за душою, разве такие планы вынашивали бы они в ущерб государству?

Я заканчиваю, господа сенаторы. Если б дозволено было нам сегодня ошибиться, клянусь Геркулесом, я бы с легким сердцем согласился, чтобы вы на опыте убедились в своей ошибке, раз что к словам моим прислушаться не хотите. Но мы стеснены отовсюду. Катилина с войском готов вцепиться нам в глотку, другие враги — внутри стен, в самом сердце города, нельзя ничего ни предпринять, ни решить втайне от них. Тем поспешнее надо действовать.

Итак, вот мое предложение: поскольку нечестивым замыслом преступных граждан государство ввержено в самую крайнюю опасность и поскольку показаниями Тита Волтурция и галльских послов преступники изобличены и сами сознались в том, что готовили поджоги и иные мерзкие и жестокие насилия против сограждан и отечества, сознавших казнить, по обычаю предков, смертью, как пойманных с поличным тяжких злодеев».

LIII. Когда Катон сел, все бывшие консулы и большая часть сенаторов одобрили его мнение, до небес превозносил его мужество, а друг друга браня и упрекая в трусости. Имя Катона было в тот день у всех на устах; предложение его сенат принял и утвердил.

Я много читал и много слышал о замечательных деяниях римского народа в мирные времена и на войне, на море и на суше, и само собою вышло, что мне захотелось понять, что прежде всего способствовало этим подвигам. Я знал, что нередко римляне малым отрядом сражались против большого вражеского войска. Известно мне было, что со скудными средствами они вели войны против богатейших царей, что часто одолевали свирепость судьбы, что в красноречии уступали грекам, в ратной славе — галлам. И вот после долгих раздумий мне стало ясно, что все было достигнуто редкостною доблестью немногих граждан и лишь поэтому бедность побеждала богатство и малочисленность — множество. Затем, однако ж, роскошь и безделье испортили народ, но пороки военачальников и гражданских властей уравнивались мощью государства. Долгое время не было в Риме ни единого истинно доблестного человека, точно бы несякла рождающая сила. На моей же памяти замечательной доблестью — при несходстве нрава — отличались два мужа: Марк Катон и Гай Цезарь. С ними сталкивает нас самый ход рассказа, и мы не пройдем мимо в молчании, но попытаемся, насколько удастся, раскрыть природные качества и житейские правила обоих.

LIV. Итак, происхождением, годами, красноречием они были почти равны, одинаковой была и слава, и величие духа, но у каждого — в своем роде. Цезарь своим величием обязан любезности и щедрости, Катон — чистоте жизни. Первого сделали знаменитым мягкость и милосердие, второму сообщала достоинство строгость. Цезарь стяжал славу, одаривая, помогая, прощая, Катон — никогда не соря подарками. В одном было прибежище для несчастных, в другом — гибель для негодяев. В одном хвалили снисходительность, в другом — твердость. Наконец, Цезарь всегда был в трудах, в хлопотах; занятый делами друзей, забывал о своих собственных, не отказывал ни в чем, что казалось достойным дарения; для себя желал высшего командования, войска и совершенно новой войны, в которой просияла бы его доблесть. А Катону были дороги воздержность, честь, но всего больше — строгость. Не в богатстве состязался он с богатым, не во власти с властолюбцем, не в мужестве с отважным, в скромности с совестливым, в нестяжательстве с бескорыстным; не казаться, но быть хорошим желал он, и потому чем менее искал славы, тем упорнее следовала она за ним.

LV. Когда сенат, как я уже сказал, одобрил мнение Катона, консул счел за лучшее не дожидаться ночи, чтобы в оставшееся время не случилось каких-либо неожиданностей, и приказал триумвирам готовить все нужное для казни. Расставив караулы, он сам повел Лентула в тюрьму; остальных повели преторы.

Есть в тюрьме, левее и несколько ниже входа, помещение, которое зовут Туллиевой темницей; оно уходит в землю примерно на двенадцать футов и отовсюду укреплено стенами, а сверху перекрыто каменным сводом; грязь, потемки и смрад составляют впечатление мерзкое и страшное. Туда-то и был опущен Лентул, и чалачи, исполняя приказ, удавили его, накинув петлю на шею. Так этот патриций из прославленного рода Корнелиев, владевший некогда консульской властью над Римом, встретил кончину, достойную его нравов и поступков. Подобным же образом были казнены Цетег, Статилий, Габиний, Цепарий.

LVI. Пока в Риме происходят эти события, Катилина разбивает всех своих людей,— и тех, что привел сам, и тех, что прежде собрал Манлий,— на два легиона и образует когорты сообразно общему количеству воинов. По мере того как в лагерь прибывали добровольцы или участники заговора, он равномерно пополнял все когорты, и скоро легионы достигли надлежащей численности, тогда как вначале у него было не больше двух тысяч солдат. Впрочем, из всего войска приблизительно лишь четвертая часть имела полное воинское вооружение; остальные были вооружены чем попало — охотничьими копьями, пиками, некоторые даже кольями. Когда стал приближаться Антоний, Катилина двинулся горами, поворачивая то к Риму, то к Галлии и не давая врагу случая завязать битву. Он надеялся в ближайшие дни получить большое подкрепление, если друзья в столице осуществят свои замыслы. Рабов между тем, которые сперва сбегались к нему густыми толпами, он отсылал прочь, полагаясь, во-первых, на силы заговора, а во-вторых, считая для себя невыгодным, чтобы казалось, будто дело граждан он соединил с делом беглых рабов.

LVII. Но после того, как в лагерь приходит из Рима весть, что заговор раскрыт, а Лентул, Цетег и прочие, названные мною выше, казнены, большинство, которое к войне привлекла надежда пограбить или желанье переворота, разбегается. Остальных Катилина спешно уводит через крутые горы в окрестности Пистории, чтобы оттуда глухими тропами неприметно уйти в Заальпийскую Галлию. Но в Пиценской земле стоял с тремя легионами Квинт Метелл Целер; по трудности положения Катилины он догадывался, что намерения его как раз такие, как мы их только что изобразили. Едва узнав от перебежчиков, что враг тронулся в путь, он тут же снялся с лагеря и засел у самого подножья гор, там, где Катилина должен был спуститься, поспешая в Галлию. Неподалеку был и Антоний, который гнался за отступавшими с большим войском, по ровному месту и налегке. Убедившись, что он заперт отовсюду горами и вражескими отрядами и нет никакой надежды

ни на бегство, ни на подмогу (коль скоро в Риме все кончилось неудачею), Катилина не нашел в таких обстоятельствах лучшего выхода, как попытать счастья в бою, и решил сразиться с Антонием как можно скорее. И вот, созвав сходку, он выступил с такою приблизительно речью:

LVIII. «Мне хорошо известно, воины, что слова доблести не прибавляют и что никакими речами не сделаешь вялого проворным или робкого храбрым. Сколько отваги вложено в душу природою или привычкою, столько всегда и обнаруживается на войне. Кого не волнует ни слава, ни опасности, тот глух к любым призывам: страх в сердце закладывает уши. Но я-то собрал вас, чтобы кое о чем напомнить, и еще — чтобы объяснить причину моего решения.

Вы знаете, воины, какое несчастье принесли нам малодушие и беспечность Лентула, знаете, как случилось, что я не мог выступить в Галлию, ожидая подкреплений из Рима. Каковы наши дела теперь, вы видите не хуже моего. Два вражеских войска отрезают нас, одно — от Рима, другое — от Галлии. Оставаться здесь дольше мы не могли бы и при самом горячем желании — нас гонит нужда в продовольствии и в иных припасах. И куда бы ни надумали мы двинуться, путь надо прокладывать железом. Поэтому я напоминаю вам: будьте отважны и решительны и, вступая в бой, еще раз подумайте о том, что свое богатство, честь, славу, мало того — самую свободу и отечество вы держите в руке, стиснувшей меч. Если мы побеждаем, нам обеспечено все — будет вдоволь еды, муниципии и колонии распахнут свои ворота. Если дрогнем в страхе, все обратится против нас — ни одна земля, ни один друг не защитит того, кого не защитило собственное оружие.

Далее, воины, противник совсем не в той же крайности, в какой мы с вами: мы бьемся за отечество, за свободу, за жизнь — за власть немногих сражаться не обязательно. Ударим же тем смелее, не забудем прежнюю нашу отвагу!

Вы могли бы влачить позорную жизнь в изгнании, иные могли бы оставаться и в Риме, потеряв свое добро, но рассчитывая на чужие подачки, однако вы полагали это низостью, непременосимою для мужчины, и постановили следовать за нашими знаменами. Если теперь вы хотите с ними расстаться, пужна храбрость, ибо только победитель может сменить войну на мир. Искать спасения в бегстве, отнимая от вражеской груди свое оружие — единственную свою надежду, — чистейшее безумие! В любом сражении всего опаснее тому, кто трусит всех больше. Храбрость — та же стена!

Когда я гляжу на вас, воины, когда думаю о ваших подвигах, твердая надежда на победу владеет мною. Меня ободряет ваш пыл, ваш возраст, ваше мужество, сама крайность, наконец, которая и

робким сообщает отвагу. Что же до неприятельского перевеса в силах, нас мешает окружить теснота позиции. А если тем не менее судьба не будет благосклонна к вашей доблести, смотрите, чтобы не потерять жизнь задаром, чтобы вас не захватили и не перерезали как барапов, но бейтесь, как подобает мужчинам, и победу врагам оставьте кровавую и скорбную!»

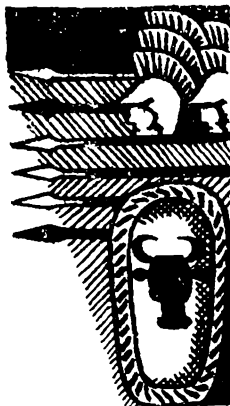
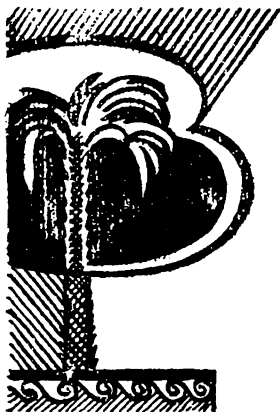
LIX. Умолкнув, он помедлил немного, а затем отдал приказ трубить сигнал и вывел своих в строгом порядке на равнину. Коней с поля убрали, — чтобы всех уравнять в опасности и тем укрепить мужество каждого в отдельности, — и Катилина, тоже пеший, выстроил войско сообразно с силами и позицией. Так как равнина слева упиралась в горы, а справа заканчивалась крутой скалою, он выставил вперед восемь когорт, остальные же, сплотив теснее, расположил в резерве. Из этих последних он отобрал центурионов, все лучших, выслуживших полный срок воинов, и поместил их в первой боевой линии, а вместе с ними — и лучших рядовых в полном вооружении. Правое крыло он поручил Гаю Манлию, левое — кому-то из Фезул, а сам с отпущенниками и колонистами встал подле орла, который, как шел слух, был у Гая Мария во время войны с кимврами.

На противной стороне у Гая Антония болели ноги, потому участвовать в сражении он не мог и передал командование легату Марку Петрею. Петрей впереди поставил когорты старых воинов, вновь призванных по случаю смуты, а за ними, в резерве, остальное войско. Объезжая строй верхом, он каждого окликал по имени, внушал солдатам снова и снова, что они сражаются против безоружных разбойников за отечество, за своих детей, за алтари и очаги. Человек военный, прослуживший со славою больше тридцати лет то трибуном, то префектом, то легатом, а то и командующим, он большую часть воинов знал в лицо и держал в памяти их подвиги. Напоминая теперь о прошлом, он старался зажечь их сердца.

LX. Тщательно все разведав, Петрей подает знак трубою, и когорты медленно начинают наступать; то же делает и неприятельское войско. Когда сходятся настолько, что застрельщики могут завязать бой, враги сшибаются с оглушительным криком. Копья отброшены, рубятся мечами. Старые воины, вспомнив былую доблесть, яростно наседают в рукопашной схватке; противник мужественно обороняется; битва кипит ключом. Катилина с легковооруженными все время в первых рядах — летит на помощь ослабевшим, зовет свежих бойцов на место раненых, повсюду поспевает, сам бьется без отдыха, сражает многих, исполняя долг и храброго солдата, и хорошего полководца одновременно. Когда Петрей ви-

дит, что Катилина, вопреки его ожиданиям, яростно сопротивляется, он бросает в средину вражеского строя преторскую когорту, сеет ужас и истребляет порознь, поодиночке тех, кто еще продолжает борьбу. Потом наносятся удары в оба фланга. Манлий и фезуланец гибнут, сражаясь меж самыми первыми. Катилина, убедившись, что войско его разбито и уцелела лишь горсть людей вокруг него самого, не забывает о своем происхождении и прежнем достоинстве — он кидается в гущу неприятеля и падает в схватке, пронзенный насквозь.

LXI. Но только по окончании битвы, только тогда можно было увидеть, какая отвага и сила духа были в войске Катилины. Чуть ли не каждый покрыл бездыханным телом то самое место, какое занял в начале сражения. Лишь немногие, стоявшие в средине, которых разметала преторская когорта, лежали несколько поодаль, но и те, все до одного — поверженные ударом в грудь. Самого Катилину нашли среди вражеских трупов далеко от своих; он еще дышал, и лицо по-прежнему изображало всегдашнюю неукротимость, которая отличала его при жизни. Из целого войска ни в битве, ни в бегстве ни одного полноправного гражданина захвачено не было: так мало — наравне с неприятельскою — щадили все они собственную жизнь. Впрочем, и войску римского народа победа досталась не радостная, не бескровная. Самые храбрые либо пали в бою, либо получили тяжелые раны. Многие выходили из лагеря — просто любопытствуя или чтобы обобрать убитых — и, переворачивая трупы противников, узнавали кто друга, кто гостеприимца или родича; а некоторые встречались со своими недругами. И разные чувства владели войском — радость и грусть, скорбь и ликование.



I. Попусту жалуются люди на свою природу, будто они немощны и коротки веком и потому правит ими не доблесть, а случай. Неверно! Поразмысли — и ты убедишься, что нет ничего выше и прекраснее человеческой природы и что не силы и не века ей мало, но воли к действию. Вожатый и повелитель жизни смертных — дух. И если он путем доблести шагает к славе, он бодр, и могуч, и ясен без меры, и ничем не обязан судьбе, которая ни честности, ни воли, ни иных добрых качеств не способна ни дать, ни лишить. А когда, попавши во власть низких страстей, угождая опасным влечениям, он постепенно погрязает в лености и телесных утех, когда в бездельи расточены силы, время, дарование, мы виним в слабости нашу природу: свою собственную вину каждый сваливает на обстоятельства. Но если бы люди заботились о благе с тем же усердием, с каким стремятся к вещам неподобающим, совершенно бесполезным, а часто и вредным, не случай правил бы ими, а они случаем и поднялись бы так высоко, что, вопреки смертной своей природе, стяжали бы вечную славу.

II. Человек состоит из души и тела, и все дела наши, все стремления определены одни природою тела, другие — души. Красивая наружность, богатство, телесная сила и всё прочее тому подобное быстро исчезают, но замечательные деяния ума бессмертны наравне с душою. Коротко говоря, блага телесные и блага судьбы

имеют свое начало и свой конец, все, однажды возникнув, погибает, достигнув зрелости, стареет, а дух неразрушим, вечен, он правит человеком, он движет и объемлет все, сам же не объемлет-ся ничем.

Тем большего изумления достойно уродство тех, кто, предавшись радостям тела, проводит жизнь в роскоши и в праздности, а ум — самое лучшее и великое, что есть в природе смертных, — оставляет коснеть без призора и ухода, когда для духа есть столько различных занятий, возводящих к вершине славы.

III. Однако же среди этих занятий руководство государственными делами или командование войском, словом, любая общественная служба представляется мне по нашим временам наименее завидной, ибо достойным почетные должности не достаются, а те, кто достигнет их обманом, не знает не только что почета, но хотя бы уверенности в себе. Да, править родиною и родными через насилие, — даже если бы это оказалось возможно, даже если бы приносило пользу, — все равно и тягостно, и жестоко, потому в особенности, что всякий государственный переворот возвещает кровопролития, изгнания и прочие беды. И уже явное безумие — выбиваться из сил без всякой цели, не стяжая ничего, кроме ненависти, — разве что ты одержим бесстыдным и пагубным желанием пожертвовать собственной честью и свободой ради могущества немногих.

IV. Среди прочих же умственных занятий всего более пользы в писании истории. О значении истории говорили многие, и мне об этом распространяться незачем; вдобавок я не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, будто я нескромно восхваляю свое любимое дело. А я не сомневаюсь, что сыщутся люди, которые, прослышав о моем решении удалиться от государственных забот, назовут мой труд, такой важный и полезный, пустою праздностью, — в первую очередь, конечно, те, для кого нет выше задачи, как заискивать перед толпою и угощениями домогаться ее благосклонности. Но если они припомнят, в какие времена исполнял я государственные обязанности, и какие люди рвались к тому же, но безуспешно, и какого рода личности пробрались позже в сенат, они, бесспорно, убедятся, что прежним своим намерениям я изменил не из лени, а по здравому размышлению и что мои досуги принесут государству больше выгоды, чем хлопоты других.

Как известно, и Квинт Максим, и Публий Сципион, и другие знаменитые мужи Рима часто повторяли, что, когда они глядят на изображения предков, дух зажигается неудержимою тягою к доблести. Ясно, что не воск и не внешние черты заключают в себе такую силу, но память о былых подвигах поддерживает в сердце

великих мужей этот огонь и не дает ему угаснуть до тех пор, пока собственная их доблесть не сравняется со славою предков. А при нынешних нравах!.. Найдется ли хоть один, кто бы захотел посперить со своими предками не богатством и не расходами, но честностью и трудолюбием? Даже новые люди, которые прежде, бывало, старались догнать и обогнать знатных в доблести, теперь устремляются к власти и почестям не добрыми путями, но воровскими и разбойными. Как будто преторство, консульство и прочие почетные должности светлы и великолепны сами по себе, как будто вся их цена не в доблести тех, кто их занимает! Впрочем, в досаде и в стыде за теперешние нравы, я зашел слишком далеко. Возвращаюсь к своему замыслу.

V. Я намерен описать войну, которую римский народ вел с Югуртой, царем нумидийцев — оттого, во-первых, что она была тяжелой и жестокой, а военное счастье до крайности переменчивым, во-вторых же, оттого, что тогда впервые было оказано сопротивление высокомерию знати, и борьба эта опрокинула все законы божеские и человеческие и дошла до такого исступления, что лишь война и опустошение Италии положили предел гражданским смутам. Но прежде, чем начать рассказ об этих событиях, я должен несколько отступить назад, чтобы все в целом было понятнее и доступнее для обозрения.

Во Вторую Пуническую войну, когда вождь карфагения Ганнибал обессилил Италию как никто другой со времени возвышения Рима, нумидийский царь Масинисса был принят Публием Сципионом, получившим впоследствии за свою доблесть прозвище «Африканского», в число друзей римского народа и совершил много славных подвигов. Поэтому после победы над карфагенянами и пленения Сифака, которому принадлежало в Африке большое, широко раскинувшееся царство, все завоеванные города и земли римский народ отдал в дар Масиниссе. И царь всегда оставался для нас надежным и достойным другом. Но конец его жизни был концом и его державы.

Двое сыновей Масиниссы, Мастанабал и Гулусса, умерли от болезни, и тогда царскую власть снова перешел один правитель — брат их Миципса. У него было два сына, Адгербал и Гиеспсал, но, наравне с ними, воспитывал он в своем доме еще племянника, сына Мастанабала, по имени Югурта, который родился от наложницы и был оставлен Масиниссою без прав на престол.

VI. Когда Югурта вырос и превратился в юношу, полного сил, красивого, но, прежде всего, богато одаренного умом, он не дал испортить себя роскоши и безделью, но, по обычаю своего племени, упражнялся в верховой езде, в метании коноя, состязался

со сверстниками в беге. Всех превосходил он славою, и тем не менее все его любили. Много времени он уделял охоте, первым или в числе первых сражал льва или иного дикого зверя. Он успевал больше всех и меньше всех говорил о своих успехах. Сперва Миципса радовался этому, считая, что доблесть Югурты послужит украшением для его царства, но юноша все мужал, все возвышался, а сам он дряхлел, а сыновья еще не вошли в возраст, и глубокая тревога охватила царя, и часто погружался он в свои думы. Его пугала природа смертных, жадная до власти и безудержная в утолении душевных желаний, затем — соблазн, скрытый в его собственных летах и летах его детей, соблазн, который и людей посредственных сбивает с пути надеждою на добычу, наконец — преданность нумидийцев Югурте, грозившая мятежом и войною, в случае если бы он попытался коварством извести такого человека.

VII. Видя, как дорог Югурта нумидийцам, и убедившись, что его нельзя истребить ни открыто, ни исподтишка, Миципса, в растерянности и замешательстве, решил подвергнуть его опасностям и таким образом попытать самое судьбу: он знал, что Югурта храбр и жаждет воинской славы.

И вот в Нумантинскую войну, посылая римлянам вспомогательные отряды конницы и пехоты, начальство над нумидийцами, которые отправлялись в Испанию, царь поручил Югурте — в надежде, что либо выставленная напоказ отвага, либо свирепость врагов легко погубят его. Все, однако же, обернулось далеко не так, как предполагал Миципса. Живой и острый ум нумидийца скоро постигнул и нрав Публия Сципиона, тогдашнего римского командующего, и повадки врагов; неустанными трудами и неуспынными заботами, беспрекословным повиновением и постоянной отвагою в опасностях Югурта приобрел такое громкое имя, что наши без памяти его любили, а нумантинцы боялись, как огня. И правда, он был и в битве неустрашим, и хорош в совете — качества, сочетающиеся до крайности редко, потому что первое, большею частью, вслед за смелостью приводит опрометчивость, второе — вслед за осмотрительностью трусость. И вот командующий почти все трудные задания стал поручать Югурте, удостоил его своею дружбой и со дня на день привязывался к нему все более, потому что ни один замысел нумидийца, ни одно начинание не оканчивались впустую. К этому надо присоединить щедрую душу и бойкий ум, которые доставили ему немало близких друзей среди римлян.

VIII. Было тогда в нашей войске много и старой и новой знати, ценившей богатство выше добра и чести, в Риме беспокойной, среди союзников влиятельной, скорее известной, чем подлинно

знатной. Дух Югурты, отнюдь не заурядный, эти люди разжигали посулами, что, дескать, стоит царю Миципсе умереть — и власть надо всею Нумидией достанется ему одному, потому что он храбр без предела, а в Риме все продажно. Но когда Нуманция пала и Публий Сципион постановил отпустить вспомогательные отряды и возвращаться в Италию, он похвалил и обильно одарил Югурту на воинской сходке, а после увел его к себе в палатку и с глазу на глаз советовал дружбу с римским народом поддерживать услугами всему государству, а не отдельным гражданам и к подкупам не приучаться: опасно, говорил он, покупать у немногих то, что составляет собственность многих. Если Югурта и впредь будет верен своим правилам, и слава и царство придут к нему сами собой, а если чересчур поспешит, то будет погублен своими же деньгами.

IX. Затем Сципион отпустил Югурту, вручивши ему письмо для Миципсы. Содержание письма было такое:

«Твой Югурта выказал в Нумантинской войне беспримерное мужество, и я уверен, что это будет радостью для тебя. Нам он по заслугам сделался дорог, и мы приложим все усилия, чтобы так же точно оценили его римский сенат и народ. А тебя, памятуя о нашей дружбе, я поздравляю: ты вырастил племянника, который достоин и дяди своего, и деда, Масиниссы».

Как скоро молва о подвигах Югурты была подтверждена письмом командующего, доблесть этого человека и милость к нему римлян тронули сердце царя: отринув прежнее решение, он попытался связать Югурту благодеяниями и немедленно его усыновил, назначив наследником наравне с родными детьми.

Несколько лет спустя, изнуренный болезнью и старостью, чувствуя, что конец близится, Миципса, как рассказывают, обратился к Югурте с такою примерно речью в присутствии друзей, родичей, а также обоих сыновей, Адгербала и Гисмсала:

X. «Мальчиком, осиротевшим после смерти отца, без средств и надежд на будущее, я взял тебя, Югурта, в свой дворец. Я надеялся, что, сделав доброе это дело, буду тебе дорог не менее, чем родным детям, и надежда не обманула меня. Умолчу о прочих замечательных и важных твоих заслугах, но уже и совсем недавно, вернувшись из-под Нуманции, ты покрыл славою и меня, и мое царство, а через твою доблесть наша дружба с римлянами стала нерасторжимой. В Испании вновь прогремело имя нашего рода. И, наконец, — что на земле всего труднее, — ты славою одолел зависть.

Теперь, когда природа полагает моей жизни предел, я прошу и заклинаю тебя моею десницею и царскою верностью — люби

этих юношей, твоих близких по крови, твоих братьев по моей доброй воле, не приближай к себе чужих, а лучше удерживай тех, кто связан с тобою узами родства. Не войско и не казна охраняют царство, но друзья, а их не принудишь оружием и не купишь золотом: они приобретаются честным исполнением своих обязанностей перед ними. Но есть ли друг ближе, чем брат брату? И отыщешь ли преданность среди чужих, если будешь враждовать со своими? Я оставил вам царство, — могучее, если будете править хорошо, а если плохо, то бессильное. Ибо согласие подымается и малое государство, раздором рушится и самое великое.

Чтобы этого не случилось, в первую очередь надо озаботиться тебе, Югурта, старшему годами и более крепкому разумом. Ведь в любом столкновении, даже терпя обиду, обидчиком кажется сильнейший — именно оттого, что он сильнее. А вы, Адгербал и Гиempсал, чтите, уважайте замечательного этого человека, доблесть его примите за образец и берегитесь, как бы люди не сказали, что родные дети Миципсы хуже неродного».

XI. Югурта отвечал, как того требовали обстоятельства, — кратко и ласково, хотя и видел, что царь далек от искренности, да и сам в душе питал совсем иные чувства. Через несколько дней Миципса умер.

Должным образом воздав умершему последние почести, царевичи собрались, чтобы все обсудить между собою, сообща. Гиempсал, младший из трех, был дерзкого нрава и уже давно презирал Югурту за низкое с материнской стороны происхождение; теперь он поспешил сесть справа от Адгербала, чтобы Югурта не оказался на среднем месте, которое у нумидийцев считается почетным. Но брат упросил его уступить старшему, и он, хотя и с величайшей неохотой, пересел на другую сторону. Принялись подробно разбирать дела правления, и Югурта, среди прочего, заметил, что решения и законы последнего пятилетия надо бы отменить, поскольку в эти годы Миципса, по старости, был уже недостаточно бодр духом. «Верно, — отзывался Гиempсал, — ведь как раз три года назад вступил ты через усыновление в царскую семью». Это слово запало в грудь Югурты глубже, чем можно было предположить. С той поры он мучился гневом и страхом и думал лишь об одном — как обойти и извести Гиempсала. Но удобный случай все не представлялся, а ярость в душе не утихла, и он утвердился в мысли добиться своего любым способом.

XII. При первой же встрече царевичей, о которой я упомянул выше, открылись такие разногласия, что было постановлено поделить и казну, и царство. Назначают срок для обоих дележей и сперва определяют заняться деньгами. Царевичи порознь прибыли

в ту местность, где находилась царская сокровищница. Гиempсал остановился в городе Тирмида и случайно попал в дом, хозяин которого был прежде старшим ликтором у Югурты и всегда хранил с ним отношения самые близкие. Этого внезапно предложенного судьбою пособника Югурта засыпает обещаниями и уговаривает, чтобы тот прикинулся, будто ему надо осмотреть свое имущество, и, проникнув в дом, изготовил поддельные ключи к дверям, — настоящие всякий вечер вручали Гиempсалу, — а он, Югурта, когда приходит пора, явится сам с большим отрядом. Нумидиец проворно исполнил наказ и, как и было ему велено, выпустил ночью солдат Югурты. Те, ворвавшись в дом, разбегаются повсюду в поисках царя; всех спящих, всех, кто попадает на пути, они убивают, обшаривают каждый угол, взламывают замки, всё наполняют криком и смятением и, наконец, находят Гиempсала, укрывшегося в каморке какой-то рабыни; он забился туда с самого начала — в ужасе, не зная расположения комнат. Повинуясь приказу Югурты, нумидийцы доставляют ему голову Гиempсала.

XIII. Слух об ужасном преступлении быстро разнесся по всей Африке. И Адгербала, и всех бывших подданных Миципсы охватил страх. Нумидийцы раскололись на два стана: большинство поддерживало Адгербала, но зато лучшие воины последовали за его противником. Югурта вооружает всех, кого может, покоряет города, — одни уступают силе, другие сдаются добровольно, — и уже готовится подчинить своей власти всю Нумидию. Адгербал шлет послов в Рим известить сенат об убийстве брата и о собственных бедствиях, но вместе с тем, полагаясь на многочисленное войско, выступает навстречу врагу. Но когда дошло до битвы, он был разгромлен, прямо с поля сражения бежал в Провинцию и оттуда поспешил в Рим.

Так Югурта завершил задуманное и стал господином надо всею Нумидией. Однако же по здравому и спокойному размышлению он ощутил страх перед римским народом и не видел иной защиты от его гнева, кроме как в алчности знати и в собственных деньгах. И вот, спустя немного дней, он посылает в Рим послов с большим грузом золота и серебра, чтобы они, во-первых, щедро одарили старых друзей, во-вторых, постарались приобрести новых и вообще сделали все, что только удастся сделать с помощью подкупа. Когда послы приехали в Рим и, по царскому предписанию, передали богатые подарки его гостеприимцам и прочим влиятельным сенаторам, в настроении умов совершилась такая перемена, что вместо жесточайшей ненависти к Югурте знать почувствовала нежную к нему любовь. Иные в надежде на вознаграждение, а иные уже и получивши свою долю, обходили сенаторов и убеж-

дали их не судить Югурту чересчур сурово. Итак, когда послы царя убедились, что положение их достаточно надежно, обоим посольствам был назначен день приема в сенате. Сколько нам известно, Адгербал произнес следующую речь:

XIV. «Господа сенаторы, мой отец, Миддиса, завещал мне, умирая, чтобы я считал себя лишь наместником Нумидийского царства, но что верховная власть над Нумидией принадлежит вам. Он говорил, чтобы и в мирное время, и на войне я старался приносить как можно больше пользы римскому народу, чтобы в вас видел родичей и свойственников, и что, поступая так, в вашей дружбе обрету я войско, богатство, опору своему престолу. И между тем как я жил в согласии с заветами моего отца, Югурта, преступник, мерзее которого нет в целом свете, пренебрегнув вашей властью, изгнал меня из моего царства и лишил всего достойного, меня, внука Масиниссы, приращенного друга и союзника римского народа!

Но, господа сенаторы, коль скоро было мне суждено дойти до таких бедствий, я хотел бы просить вас о помощи, опираясь на собственные заслуги, а не заслуги моих предков, — больше всего хотел бы, чтобы римский народ был у меня в долгу, а я бы в его благодеяниях не нуждался, а уж если бы нуждался, так мог бы обратиться к вам, как к своим должникам. Однако ж честность самой себе не защита, а каков человек окажется Югурта, от меня не зависело нисколько, и вот я иду прибежища у вас, господа сенаторы, и — что для меня всего горше! — ложусь бременем на ваши плечи, еще не сослужив вам никакой службы.

Все прочие цари либо приняты были вами в дружеский союз после военного поражения, либо домогались вашей дружбы в сомнительных для себя обстоятельствах. Наша семья заключила договор с римским народом в Карфагенскую войну, когда рассчитывать следовало скорее на римскую верность, нежели на римскую удачу. Не допустите же, господа сенаторы, чтобы отпрыск этой семьи, внук Масиниссы, взывал к вам о помощи безуспешно!

Если бы не было для этих просьб иных оснований, кроме бедственной моей участи, кроме того, что еще совсем недавно я был царь, сильный своим родом, славою и богатством, а теперь бедняк, изувеченный муками, протянувший руку за милостыней, — даже тогда величию римского народа подобало бы пресечь несправедливость, не дать преступнику утвердиться на царстве. Но я-то изгнан из той земли, которую моим предкам даровал римский народ, откуда мой дед и мой отец совместно с вами вытеснили Сифака и карфагенян! Ваши дары похищены у меня, господа сенаторы, и моя обида — это ваше унижение.

Горе мне, горе! Вот они, последствия твоей доброты, отец мой, Миципса, — тот, кого ты уравнивал со своими детьми в праве на царство, именно он сделался истребителем твоего потомства! Неужели никогда не будет покоя нашей семье? Неужели всегда утопать ей в крови, в насилии, страдать в изгнании? Пока карфагеняне сохраняли свое могущество, наши муки были неизбежны: враг под боком, вы, друзья наши, далеко, вся надежда — в оружии. Но вот Африка избавилась от этой чумы, и мы наслаждались миром, ибо врагов у нас больше не было, разве что вы указали бы, кого считать врагом. И тут, откуда ни возьмись, Югурта! С нестерпимой наглостью, со злодейским высокомерием он убил моего брата, который и ему доводился родичем, и царство убитого стало первой добычей злодеяния. Меня в те же сети коварства он захватить не смог, а прямого нападения и войны я, находясь под вашей властью, не ожидал нисколько, и все же, как видите, я лишился родины, дома, имущества, погрязнул в бедах, и нет для меня на земле места более опасного, чем собственное царство.

Я держался того суждения, господа сенаторы, которое часто слышал от отца: кто постоянно дорожит вашей дружбой, тот берет на себя нелегкие обязательства, но уж зато и никакие опасности ему не страшны. Наша семья всегда и всеми силами помогала вам в любой войне; чтобы в мирные дни мы не знали опасностей, — это ваша забота, господа сенаторы.

Нас было двое у отца, и третьим, думал он, станет Югурта, связанный благодеяниями Миципсы. И вот один убит, а нечестивые руки другого едва не сомкнулись на моей шее. Что же мне делать? Куда обратиться со своим несчастьем? Из близких уже никто не заступится: отец подчинился непреложному закону природы, у брата, вопреки всякой справедливости, отнял жизнь преступник-родич. Из остальных — друзей, свойственников, родных — каждый раздавлен своим горем: они во власти Югурты, и кто распят на кресте, кто брошен на пожрание диким зверям, а те немногие, что избежали гибели, заперты в темницах и влачат жизнь, полную тоски и скорби, жизнь, которая горше смерти.

Если бы все, что я потерял, было по-прежнему цело, если бы ни одна из обид, которые я понес от близких мне людей, меня не коснулась, то и тогда, случись что-нибудь неладное, я жаловался бы вам, господа сенаторы, потому что, по величию вашей державы, охранять закон и карать беззаконие надлежит вам. А теперь, изгнанный из родного дома, всеми брошенный, лишенный всяких средств, чтобы жить достойно, куда я обращусь, кого призову на помощь? Народы или царей, которые, все до одного, ненавидят

нашу семью за дружбу с вами? Могу ли прийти я в такое место, где бы мои предки не оставили бесчисленных следов своей вражды? И может ли сжалиться над нами кто-либо из тех, кто был когда-то вашим врагом? Наконец, Массиписса, господа сенаторы, научил нас не оказывать внимания никому, кроме римского народа, не заключать новых союзов и договоров: в дружбе с вами, утверждал он, найдем мы для себя оплот более чем надежный, а если счастье изменит вашей державе, лучше и нам погибнуть вместе с вами. Своею доблестью и волею богов вы велики и сильны, вам все удастся и все покоряется — тем легче для вас отомстить за обиды ваших союзников.

Только одного я опасаясь — как бы частная дружба с Югуртой не сбила с правильного пути некоторых людей, плохо понимающих эту дружбу. Они, как я слышу, обходят ваши дома, и докучают вам советами, и прилагают все усилия к тому, чтобы вы не принимали никакого решения в отсутствие Югурты, не расследовав дела по всем правилам, и извращают мои слова, и стараются представить мое бегство притворством, точно мне можно было оставаться в моих владениях. О, если бы мне увидеть того, чье гнусное злодейство стало причиною моих злоключений, «притворяющимся» точно так же, как я, если бы вы или же бессмертные боги позаботились, наконец, о делах человеческих! Тогда негодяй, который сегодня дерзко кичится своим преступлением, был бы истерзан всеми муками, тяжкою карою заплатил бы он за неблагодарность к нашему родителю, за убийство моего брата, за мои страдания! О, брат мой, мой самый любимый, безвременно отнята у тебя жизнь, отнята человеком, который менее всех прочих мог поднять на тебя руку, и все же мне следует скорее радоваться твоей гибели, нежели скорбеть о ней. Ведь вместе с душою у тебя отнято не только царство, но и бегство, изгнание, нужда, одним словом, все тяготы, которые ныне гнетут меня. А я, несчастный, с отцовского престола низвергнутый в омут бедствий, являю собою образ всех дел человеческих. Не ведаю, с чего начать — искать ли возмездия за то, что учинено над тобою (хотя сам не могу обойтись без чужой помощи), или думать о царстве (хотя и собственная жизнь, и собственная смерть моя не в моей власти)? Ах, когда бы в нынешнем моем положении можно было умереть, сохраняя достоинство, — но ведь люди по праву будут презирать меня, если, устав от мук, я склонюсь перед несправедливостью! Жить я не хочу, но и умереть не могу, не запятнав себя позором.

Господа сенаторы, ради вас самих, ради детей и родителей ваших, ради величия римского народа, помогите мне в моем

несчастье, воспротивитесь насилью, не дайте преступному кровопролитию в нашем роду привести к ничтожеству Нумидийское царство, которое принадлежит вам».

XV. После того, как царь завершил речь, послы Югурты, полагаясь больше на подкуп, чем на правоту дела, коротко отвечают: Гнемпсал убит нумидийцами в отместку за его жестокость, Адгербал сам начал войну, но не смог довести преступный замысел до конца и теперь жалуется на неудачу, Югурта просит у сената одного — пусть видят в нем того же Югурту, какого узнали при Нумапции, пусть словам врага не придают больше цены, чем собственным его поступкам.

Вслед за тем противники выходят из курии. Сенат немедленно приступает к обсуждению. Покровители Югурты, а с ними и сенаторы, поддавшиеся на их уговоры, обвинения Адгербала оставляют без внимания, заслуги же Югурты превозносят до небес. Свое влияние, красноречие, коротко говоря — все средства пустили они в ход, точно бы не чужое преступление защищая, а собственное доброе имя. И напротив, лишь немногие, кому добро и справедливость были дороже богатства, требовали помочь Адгербалу и строго наказать убийцу Гнемпсала; но громче всех требовал Эмилий Скавр, человек знатный, неутомимо деятельный, жаждущий славы, почестей, денег, и при этом ловко скрывающий свои пороки. Убедившись, что посланцы царя действуют безо всякого стыда и действия их получили огласку, он испугался, что это грязное своеволие вызовет — как нередко в подобных обстоятельствах — общую ненависть, и обуздал всегдашнее свое корыстолюбие.

XVI. Верх одержала, однако же, та часть сената, которая деньги и выгодные дружеские связи ставила выше истины. Принимается постановление разделить царство Мидипсы меж Югуртою и Адгербалом, отрядивши для этой цели десятерых послов. Главою посольства был Луций Опимий, человек видный и в ту пору очень сильный в сенате, потому что в свое консульство, после убийства Гая Гракха и Марка Фульвия Флакка, он самым решительным образом воспользовался победою знати над простым людом. В Риме он выступил против Югурты, тем не менее царь встретил его отменно и с помощью щедрых даров и посулов достигнул того, что свою честь, совесть, всего себя целиком он подчинил выгодам царя Югурты. Остальных послов Югурта пленил тем же способом почти всех: лишь для немногих честность оказалась дороже корысти. При разделе ту часть Нумидии, что прилегает к Мавритании и богаче пашнями и людьми, получил Югурта. Другая часть, скорее видная, чем ценная, — она изобиловала гаванями и красивыми строениями, — досталась Адгербалу.

XVII. Здесь ход рассказа, как мне представляется, требует дать краткое описание Африки и коснуться тех племен, с которыми мы воевали или хранили дружбу. Правда, о местах и народах, куда путешественники заходят редко, — из-за обширных пустынь, зноя и бездорожья, — сообщить что-либо достоверное не так просто. Что же касается остального, я буду предельно краток.

Разделяя земной круг на части, большинство исследователей на третье место ставят Африку, но некоторые называют лишь Азию и Европу, Африку же присоединяют к Европе. Рубежи Африки — на западе пролив между Ионическим морем и Океаном, на востоке покатая равнина, которая у тамошних жителей именуется Катабатмом. Море в том краю бурное и лишено гаваней. Земля хлебородна, хороша под пастбища, но безлесна. Почва суха, и сухи небеса. Люди крепкого сложения, проворны, выносливы. Большинство умирает от старости, — кроме тех, кто гибнет от меча или копья или в когтях диких зверей, — болезни же редки. Но ядовитых животных — великое множество.

Кому принадлежала Африка изначально, кто появился позже, каким образом смешались меж собою эти народы, я скажу в самых немногих словах, — так, как мне переводили из пунийских книг (их приписывают царю Гнемпсалу) и как представляют себе это сами обитатели страны, хотя с общепринятым суждением такой взгляд и не совпадает. Впрочем, в ответе за него пусть будут те, кому он принадлежит.

XVIII. Первоначально Африку населяли гетулы и ливийцы. Грубые, дикие, они питались звериным мясом и полевою травой, точно скот. Они не подчинялись ни обычаям, ни закону, ни какой бы то ни было власти. Они бродили и скитались, все порознь, и где застигала кого почва, там и был его дом. После гибели Геракла — а погиб он, по мнению африканцев, в Испании — войско его, составленное из разных племен, потеряло вождя и быстро распалось, потому что многие слепо искали власти, и каждый лишь для себя. Мидяне, персы и армяне переправились на судах в Африку и заняли места, ближние к Нашему морю, причем, персы — ближе к Океану. Персы жили в перевернутых кверху килем кораблях, потому что леса для стройки не могли ни найти подле, ни купить или выменять в Испании — торговле мешали просторы моря и незнание языка. Постепенно они стали заключать браки с гетулами и смешались с ними, а так как в поисках пашен они часто переходили из одной области в другую, то сами прозвали себя номадами. Впрочем, и до сих пор дома нумидийских крестьян — на их говоре «мапални» — вытянуты в длину, с закругленными стенами, с кровлею вроде корабельного днища. С мидянами же и армянами

соединились ливийцы — они обитали недалеко от Африканского моря, а гетулы южнее, по соседству с выжженной пустыней. У них рано возникли города, ибо от Испании их отделял только пролив, и они давно завязали обмен с испанцами. Имя пришельцев ливийцы мало-помалу исказили, и в варварском произношении мидяне сделались маврами. Сила персов быстро возросла; позже они умножились настолько, что, расставшись с родным племенем, осели, под именем нумидийцев, в тех краях, что прилегают к Карфагену и ныне зовутся Нумидией. Далее и первые и вторые, пользуясь взаимною поддержкой, подчинили соседей — кого оружием, а кого и страхом — и стяжали громкую славу, в особенности те, кто придвинулся вплотную к Нашему морю, ибо ливийцы менее воинственны, нежели гетулы. В конце концов почти вся прибрежная Африка перешла под владычество нумидийцев, а побежденные слились с победителями и приняли их имя.

XIX. Впоследствии финикийцы, желая уменьшить число жителей в отечестве, а иные — и стремясь к власти и увлекши за собою простой народ и всевозможных бунтовщиков, основали на берегу моря города Гиппон, Гадрумет, Лепту и другие, и, в короткое время расцветши и возвысившись, они служили и защите и украшению тех городов, от которых произошли. Что же до Карфагена, я предпочитаю вовсе умолчать о нем, чем говорить вскользь, а между тем пора двигаться дальше и уклоняться в сторону нельзя.

Итак, по берегу моря ближе всего к Катабатму, который отделяет Египет от Африки, — Кирена, колония ферейцев, потом — оба Сирта, а между ними — Лепта, потом — Алтари Филенов, где проходил обращенный к Египту рубеж Карфагенской державы, далее — другие пунийские города. Затем, вплоть до Мавритании, берег принадлежит нумидийцам, а ближайшими к Испании землями владеют мавры. Южнее Нумидии, как сообщают, живут гетулы, частью оседло, а частью — еще дикими кочевниками, за ними — эфиопы, а дальше лежат области, выжженные солнцем дотла.

К началу войны с Югуртой большею частью пунийских городов и владениями карфагенян, которые те сохраняли за собою в самую последнюю пору, управлял римский народ через своих наместников. Значительная часть Гетулии и Нумидия до реки Мулухи была под властью Югурты. Всеми маврами правил царь Бокх, знавший римский народ только по имени, да и нам совершенно неизвестный ни по военным, ни по мирным временам.

Об Африке и ее обитателях для нужд нашего повествования сказанного довольно.

XX. Разделив Нумидийское царство, послы покинули Африку. Югурта увидел, что, вопреки тайным страхам, получил даже награду за преступление, и окончательно убедился, что друзья под Нуманцией говорили правду: в Риме действительно все продажно. Вдобавок и обещания тех, кого он только что подкупил обильными дарами, не давали ему покоя, и он устремил свои помыслы к царству Адгербала. Сам он был горяч и воинствен, а тот, на кого он нацеливался, тих и миролюбив, нрава кроткого, беззащитный, более опасливый, нежели опасный. И вот внезапно вторгается он во владения Адгербала с большим отрядом, захватывает много пленных, скота и прочей добычи, жжет дома, разоряет конницею обширные пространства, а потом со всем войском возвращается к себе, ожидая, что возмущенный Адгербал отомстит за обиду вооруженною рукой и это послужит поводом к войне. Но тот ощущал неравенство в силах и больше полагался на дружбу римского народа, чем на своих нумидийцев, а потому отправил к Югурте послов с жалобою на обиду. В ответ они не услышали ничего, кроме оскорблений, и все же Адгербал решился терпеть до последней крайности, лишь бы не браться за оружие: ведь первая его попытка окончилась так плачевно. Но это лишь пуше разожгло алчность Югурты, который в душе уже захватил все Адгербалово царство. И уже не как прежде, не с разбойничьим отрядом, но с большой, хорошо подготовленной армией начал он войну и открыто стал домогаться владычества надо всею Нумидией. Где бы он ни появлялся, всюду опустошал города и поля, угонял добычу, множил отвагу в своих и ужас в неприятеле.

XXI. Теперь Адгербал понял, что не остается ничего иного, как либо покинуть свое царство, либо защищать его с оружием в руках, и, волей-неволей собрав войско, он выступил навстречу Югурте. Противники сошлись и остановились недалеко от моря, подле города Цирты, и так как день был на исходе, битва не завязалась. Но под конец ночи, в предутренних сумерках, воины Югурты по условленному знаку врываются в лагерь Адгербала и обращают в беспорядочное бегство врагов, полусонных, наполовину безоружных. Адгербал с немногими исадниками укрылся в Цирте, и если бы не множество италийцев, которые со стен отразили неприятельский натиск, борьба между двумя царями была бы начата и завершена в один день. Югурта осадил город, придвинув к нему штурмовые навесы, башни и всевозможные машины и изо всех сил спеша предупредить и опередить послов Адгербала, которых тот, как он узнал, отправил в Рим еще до битвы.

Получив весть о войне, сенат отряжает в Африку трех молодых людей с наказом встретиться с обоими противниками и от

имени римского сената и народа внушить им, дабы они положили оружие и решили свой спор не силою, но в согласии с правом — лишь это одно достойно и Рима и их самих.

XXII. Послы выехали с тем большею поспешностью, что, пока они собирались в дорогу, в Риме заговорили и о сражении, и об осаде Цирты; впрочем, ожесточения в этой молве еще не было. Выслушав послов, Югурта ответил, что нет для него ничего выше и дороже, нежели воля сената. С молодых лет печется он о том, чтобы снискать благосклонность лучших. Не коварство, но доблесть доставила ему расположение великого Публия Сципиона, и по той же причине, а не по бездетности усыновил его царь Миципса. Но столько раз доказавши честность свою и отвагу, он отнюдь не расположен терпеть несправедливость. Адгербал тайно покушался на его жизнь. Проведав об этом, он, Югурта, помешал преступлению совершиться. Римский народ поступит и несправедливо, и неверно, если не даст ему воспользоваться общим правом народов. Наконец вскоре он сам отправит в Рим посольство с подробным докладом. На том посланцы сената и расстались с Югуртой; возможности переговорить с Адгербалом им не представилось.

XXIII. Едва дождавшись, когда они отплывут из Африки, Югурта тут же окружает стены города валом и рвом, возводит башни и размещает в них сильные караулы: от мысли взять Цирту приступом принудила отказаться крепость ее позиции. Днем и ночью хлопотал он подле стен, действуя силою и хитростью — обороняющихся то соблазнял наградами, то запугивал, своим внушал все больше отваги, коротко говоря, не упускал из виду ничего.

Адгербалу стало ясно, что положение его отчаянное — враг немолчим, подмоги ждать не от кого, за нуждою во всем самом необходимом борьба долго протянуться не сможет, — и потому, выбрав среди тех, кто бежал в Цирту с ним вместе, двоих, самых проворных, он, взывая к состраданию этих людей и не щадя обещаний, уговорил их ночью пробраться через вражеские укрепления к морю, чтобы плыть в Рим.

XXIV. В короткий срок нумидийцы исполнили поручение царя. Письмо Адгербала было оглашено в сенате; вот его содержание:

«Не по своей вине все снова и снова прошу я вас о помощи, господа сенаторы, — к тому вынуждают меня насилия Югурты, который так страстно хочет меня уничтожить, что не держит в мыслях уже ни вас, ни бессмертных богов и больше всего на свете жаждет моей крови. Друг и союзник римского народа, я томлюсь в осаде уже пятый месяц. Ничто мне не в помощь — ни заслуги отца моего Миципсы, ни ваши постановления. От чего я страдаю сильнее — от меча или от голода, и сам не знаю.

Писать о Югурте подробнее не велит злая моя участь, ибо я уже убедился, как мало доверия внушают несчастные. Но я прекрасно понимаю, что не только на Адгербала он покушается, что нельзя домогаться разом и вашей дружбы, и моей державы. Которая из двух ему дороже, видно каждому. В самом деле, сперва он умертвил Гиempсала, моего брата, потом изгнал из отеческих владений меня. Вы скажете, что эти бесчинства затрагивали меня одного, вас же не касались вовсе, — верно, но теперь-то он наложил руку на ваше царство, запер в осаде того, кого вы поставили властелином над нумидийцами! Во что ценит Югурта речи ваших послов, показывает опасность, которою он грозит мне. Что же еще, кроме вашей силы, способно на него подействовать? Можете не сомневаться, я предпочел бы, чтобы и эти мои слова, и прежние жалобы в сенате оказались пустыми, чтобы мои несчастья не служили подтверждением моей правоты!

Но коль скоро я для того и появился на свет, чтобы через меня открывались преступления Югурты, я молю избавить меня уже не от смерти и не от муки, а лишь от власти моего врага и от его надругательств. Нумидийским царством, которое принадлежит вам, распорядитесь, как сочтете нужным, меня же только вырвите из рук нечестивца — заклинаю вас величием Рима и верностью дружбе, если не совсем еще изгладился из вашей памяти мой дед Массинисса!»

XXV. Когда письмо было оглашено, послышались предложения отправить в Африку войско и подать Адгербалу немедленную помощь, а тем временем обдумать, как поступить с Югуртою, не подчинившимся сенатскому посольству. Но те же покровители царя приложили все усилия, чтобы такое постановление не состоялось, и, как в большинстве подобных случаев, общее благо подчинилось частной приязни. Тем не менее в Африку отряжаются знатные мужи, старше прежних летам и выше достоинством, и среди них — Марк Скавр, которого мы уже упоминали, в прошлом консул, а тогда первый в сенаторском списке. Уже через три дня они сели на корабль — чтобы утишить всеобщее негодование и уступая мольбам нумидийцев. Через короткое время они высадились в Утике и оттуда написали Югурте, что посланы к нему сенатом и чтобы он как можно скорее явился в Провинцию.

Проведав, что помешать его планам прибыли люди известные и, как он слышал, очень влиятельные в Риме, Югурта сперва разрывался между страхом и желанием: он боялся гнева сената, если не подчинится послан, но дух, ослепленный страстью, неудержимо тянуло к начатому преступлению. В конце концов злой умысел взял верх в алчном сердце, и, окружив Цирту, он употребляет все

меры, чтобы ворваться в город, твердо надеясь найти либо прямой, либо обходный путь к победе, если силы врага будут рассредоточены. Но вышло по-иному, он не достигнул того, к чему стремился, не захватил Адгербала прежде, чем встретиться с послами, и, чтобы не раздражать дальнейшим промедлением Скавра, которого боялся всего больше, с немногими всадниками прибыл в Провинцию. От имени сената ему были сделаны самые грозные предупреждения за то, что он не снял осады, и, однако же, после долгих переговоров послы уехали ни с чем.

XXVI. Когда об этом сделалось известно в Цирте, италийцы,— чьим мужеством только и держались стены,— в уверенности, что, на случай сдачи, их охраняет величие римского народа, принялись убеждать Адгербала, чтобы он сдался сам и сдал город Югурте, не выговаривая ничего, кроме жизни: об остальном позаботится римский сенат. Хотя Адгербал скорее поверил бы чему угодно, нежели слову Югурты, но италийцы могли бы и принудить его — и он последовал их совету. А Югурта первым делом умертвил в жестокой пытке Адгербала, а затем перебил всех взрослых нумидийцев и купцов без разбора — всех, кто попался с оружием в руках.

XXVII. Когда весть о случившемся дошла до Рима и стала предметом обсуждения в сенате, все те же прислужники царя, затягивая время то запросами, то обращениями к друзьям, а то и перебранкою с противниками, пытались утишить ужас, вызванный этим злодейством. И если бы не Гай Меммий, избранный народным трибуном на следующий год, человек деятельный, враг могущественной знати, который объяснил римскому народу, что происходит,— что немногие, но сильные своими приверженцами люди стараются оставить безнаказанным преступление Югурты, вся ненависть наверняка исчерпалась бы в этих затянувшихся обсуждениях: так велики были влияние царя и власть его денег. Но сенат сознавал свою вину и боялся народа, а потому, в согласии с Семпрониевым законом, назначил провинциями для будущих консулов Нумидию и Италию. Консулами были избраны Публий Сципион Назика и Луций Кальпурний Бестиа; Кальпурнию досталась Нумидия, Сципиону — Италия. Затем объявили набор войска, предназначенного для Африки, определили расходы на жалование и все прочие надобные для войны затраты.

XXVIII. Югурта, твердо уверовавший, что в Риме все продажно, был поражен; он отправляет к сенату сына и двух близких друзей и дает им тот же наказ, что посольству, которое отряжал после убийства Гиемпсала,— подкупать всех подряд. Когда они подъезжали к Риму, консул Бестиа обратился к сенату с запросом, угодно ли ему принять послов Югурты в городских стенах, и се-

нат постановил: нумидийцам покинуть Италию в течение ближайших десяти дней, если только они не привезли весть о сдаче царства и самого царя. Консул приказывает известить послов о решении сената, и они пускаются в обратный путь, ничего не достигнув.

Между тем войско было набрано, и Кальпурний подыскивал себе помощников среди людей знатных и влиятельных, чтобы их влиянием покрыть все свои будущие проступки. (В числе помощников оказался и Скавр, о нраве и поведенческих которого мы уже упоминали.) Дело в том, что наш консул отличался многими замечательными качествами души и тела — был неутомим в трудах, остер умом, достаточно осмотрителен, прекрасно сведущ в военном искусстве, неустрашим в опасностях, недоступен для вражеского коварства, — но все эти достоинства опутаны были алчностью.

Легионы прошли по Италии в Регий, оттуда их перевезли в Сицилию, а из Сицилии в Африку. Запасшись продовольствием, Кальпурний стремительно вторгся в Нумидию, с боем взял несколько городов, захватил много пленных.

XXIX. Но когда Югурта через своих посланцев начал соблазнять его деньгами, а вдобавок намекнул на трудности войны, которую ему предстояло руководить, дух, больной корыстолюбием, легко уступил. Своим помощником, сообщником во всех планах консул сделал Скавра, который прежде, когда большинство единомышленников из одного с ним стана уже были подкуплены, непримиримо враждовал с царем, но теперь огромность платы свела его с пути добра и чести. Сперва Югурта хотел получить лишь отсрочку в войне, надеясь тем временем чего-нибудь добиться в Риме деньгами или влиянием друзей. Но, узнавши, что в дело втянут Скавр, он исполнился уверенности, что мир будет восстановлен, и решил сам обсудить с римлянами каждое из условий договора. Консул отправляет в город Югурты Вагу квестора Секстия — в действительности заложником, а по видимости — для приемки продовольствия, которое Кальпурний во всеуслышание потребовал у царских послов, когда, впредь до сдачи, было объявлено перемирие. Югурта, как и надумал заранее, прибыл в лагерь; перед советом он держал краткую речь — о ненависти, предметом которой был его поступок, о своем согласии сдаться — об остальном же тайно столковался с Бестией и Скавром. На другой день голосовали безо всякого порядка, и изъявления покорности были приняты. По требованию военного совета, Югурта выдал квестору тридцать слонов, много скота, лошадей и небольшую сумму денег. Кальпурний уехал в Рим руководить выборами. Нумидия и наше войско вкушали мир.

XXX. После того, как события в Африке сделались достоянием молвы, повсюду в Риме, во всяком собрании, только и было разговоров, что о поведении консула. Народ был в ожесточении, сенаторы — в замешательстве: одобрить ли столь возмутительный проступок или отменить решение консула? Сила Скавра, который, как утверждали, был для Бестии и советником и союзником, — вот что всего больше мешало им заступиться за истину и справедливость. Но меж тем как сенат колебался и медлил, Гай Мемний — о его независимом праве и ненависти к могущественной знати мы уже говорили раньше — на сходках призывал народ к мести, призывал защитить государство и собственную свободу, напоминал о высокомерии знати, перечислял ее жестокости — одним словом, всячески разжигал гнев простого люда.

Красноречие Мемния было тогда в самом расцвете и пользовалось громкой известностью в Риме, а потому я счел уместным привести здесь одну из столь многочисленных его речей и отдал предпочтение той, которую он произнес перед народом после возвращения Бестии. Вот примерно, что он сказал:

XXXI. «У меня достаточно оснований не выступать перед вами, квириты, да только любовь к государству перевешивает их все — и влияние знати, и ваше равнодушие, и общее презрение к праву, и, главное, то, что нравственная чистота сопряжена скорее с опасностями, нежели с почетом. Не хотелось бы мне вспоминать, как вот уже пятнадцать лет служите вы посмешищем для гордыни немногих, как позорно погибли ваши защитники и как смерть их осталась неотмщенной, как сами вы погрязли в праздности и безволии настолько, что даже теперь, когда враги ваши связаны виною, не дерзаете подняться, даже теперь боитесь тех, кому сами должны бы внушать ужас! Все это так, и, однако же, я обязан оказать сопротивление могуществу знатных. Я непременно попытаюсь воспользоваться свободой, которую завещал мне мой отец, но будет ли попытка удачной или бесплодной, зависит от вас, квириты.

Я вовсе не зову вас бороться с несправедливостью вооруженной рукой, как часто поступали ваши предки. Нет нужды ни в насилии, ни в бегстве — следуя своим правилам, ваши противники неизбежно погибнут сами. После убийства Тиберия Гракха, которого они обвиняли в стремлении к царской власти, простой люд Рима изводили расследованиями; были убиты Гай Гракх и Марк Фульвий — и снова многие из вашего сословия сложили головы в темнице; и в обоих случаях предел вашим бедствиям положил не закон, а лишь произвол знати. Впрочем, пусть даже так — пусть возвращать народу его права означает готовить себе

царский венец, пусть всякая месть, сопряженная с гражданским кровопролитием, считается оправданной. В прежние годы мы молча негодовали, глядя, как расхищается казна, как подати от цурей и свободных народов стекаются в кошельки немногих знатных, как одни и те же люди владеют и высшею славой, и несметными богатствами. Однако ж и всего этого, и полной своей безнаказанности им было мало — они предали врагам ваши законы, ваше величие, все сокровища, божеские и человеческие! И никому из них не стыдно, никто не жалеет о содеянном — напротив, горделиво красуются они перед вами, чванясь своими жречествами, консульствами, а кто и триумфами, так, словно бы это им в честь, не в наживу! Рабы, купленные за деньги, не желают переносить несправедливой власти господ, а вы, квинриты, рожденные властвовать, согласны равнодушно терпеть рабство? А кто они, те, что правят государством? Опаснейшие злодеи, их руки в крови, их алчность ненасытна, они повинны во всех преступлениях и тем не менее полны высокомерия, для них во всем барыш — в верности, в славе, в страхе перед богами, во всем честном и бесчестном. Одни умертвили народных трибунов, другие вели противозаконные расследования, большинство громило вас и убивало — и все в безопасности: чем хуже кто бесчинствовал, тем надежнее он защищен. Собственный страх, который должно было породить преступление, они сумели внушить вам, воспользовавшись вашим малодушием, потому что всех их сплотила воедино общая страсть, общая ненависть, общие опасения. Такая сплоченность меж добрыми зовется дружбой, меж худыми — заговором. Если бы вы с тем же усердием пеклись о вашей свободе, с каким они рвутся к власти, конечно, государство не было бы в таком расстройстве, как ныне, и ваша благосклонность была бы отдана самым лучшим, а не самым наглым. Добиваясь своих прав и закладывая основы римского величия, ваши предки дважды вооружались и уходили на Авентин — почему же вы не напряжете всех сил на защиту той свободы, которую получили от них в наследство? И тем решительнее добавок, что потерять приобретенное — позорнее, нежели вообще ничего не приобрести.

«Что же ты предлагаешь?» — спросят меня. Наказать тех, кто предал отечество врагу, но только — не кулаком, не насилем (они-то этого заслуживают, но вам такие действия не подобают), а нарядив следствие, получивши признания самого Югурты. Если он вправду сдался на милость победителей, то беспрекословно покорится вашим приказам, а если оставит их без внимания, тогда уж вы безошибочно разберете, что это за мир, что за сдача, которая Югурте принесла полное прощение, немногим сильным —

громадные богатства, а государству — ущерб и позор. А может быть, вы еще не сыты их господством, может быть, вам больше по душе давние времена, когда царства, провинции, законы, право, суд, война и мир, коротко сказать, все дела божественные и человеческие находились в руках немногих, а вы, римский народ, непобедимые, повелители всех племен и языков, довольствовались лишь тем, что были живы? Кто из вас, в самом деле, дерзал тогда роптать против рабства?

Я полагаю нестерпимым срамом, если человек покорно проглатывает обиду, и все же смотрел бы со снисхождением, как вы прощаете преступников, коль скоро они ваши сограждане, но только мягкосердечие ваше чревато погибелью. Ведь одною безнаказанностью за прошлое не насытить их бесстыдство — им нужна уверенность в будущем, да и у вас родится ничем не утишимое беспокойство, когда вы поймете, что надо либо смириться с рабством, либо отстаивать свободу силой. Есть ли место надежде на взаимное доверие или согласие, коли они хотят властвовать, вы — быть свободными, они — чинить обиды, вы — остановить их руку, коли, наконец, они обращаются с союзниками нашими как с врагами, с врагами же — как с союзниками? Возможен ли мир, возможна ли дружба при таком различии в образе мыслей?

А потому я советую и настаиваю не оставлять злодеяние безнаказанным. Ведь речь идет не о грабеже казны, не о вымогательстве денег у союзников — проступках тяжких, но по нынешним временам уже и неприметных, и незначительных — достоинство сената предано заклятому врагу, предано ваше владычество, и в Риме, и на театре войны наше государство оказалось продажным! Если все это не будет расследовано, если виновные не понесут кары, что останется нам, как не подчиняться преступникам до конца своих дней? Ведь делать безнаказанно, что ни вздумается, это и значит — быть царем!

Не к тому призываю я вас, квиниты, чтобы ваши сограждане поступали вопреки законам, а вы бы взирали на это с одобрением, — нет, но, щадя дурных, не погубите добрых! Вообще для государства много опаснее забывать дурные деяния, нежели добрые: ведь добрый, если его не замечашь, только теряет охоту действовать, а дурной становится еще гнуснее. Наконец, если бы справедливость не нарушалась, мало кто просил бы о помощи».

XXXII. Подобные речи Мемний держал часто и убедил народ послать к Югурте Луция Кассия, тогдашнего претора, чтобы тот, от имени государства пообещав царю неприкосновенность, привез его в Рим и чтобы через показания царя легче открылись проступки Скавра и прочих, обвиняемых во мздоимстве.

Тем временем начальники войска, оставленные Бестией в Нумидии, совершали, по примеру своего командующего, преступления за преступлением, одно постыднее другого. Иные, соблазненные золотом, возвращали Югурте его слонов, иные продавали ему перебежчиков, иные грабили мирные земли — такая неистовая алчность ворвалась в их души, точно смертельный недуг.

К ужасу всей знати, предложение Гая Меммия было утверждено, и претор Кассий отправился к Югурте. Страх и сознание вины поколебали самоуверенность царя, и Кассий уговорил его, что лучше испытать милосердие римского народа, чем его силу, раз уже ты сдался на милость римлян. Вдобавок он обещал Югурте безопасность и от себя лично, и его слово значило для царя не меньше, чем заверения государства: столь громкой в ту пору была слава Кассия.

XXXIII. Итак, Югурта совсем не по-царски, в обличии как нельзя более жалостном, прибыл вместе с Кассием в Рим. Он и сам далеко еще не был сломлен, а наслушавшись ободряющих слов от всех тех, чье могущество или же злодейство помогло ему исполнить все прежние замыслы, за большую плату склоняет на свою сторону народного трибуна Гая Бебия, чтобы бесстыдство этого человека послужило ему защитой против любого наказания — и заслуженного и незаслуженного. Гай Меммий созвал Собрание, и хотя большинство было ожесточено против царя, и некоторые требовали бросить его в тюрьму, а другие даже казнить по обычаю предков, как врага государства, если он не выдаст сообщников и соучастников, Меммий больше думал о достоинстве римского народа, чем о его гневе и потому постарался утишить тревогу и унять раздражение; заключил он тем, что сделает все от него зависящее, дабы слово, данное государством, не было нарушено. Потом, когда установилась тишина и привели Югурту, он заговорил снова, перечислил его преступления в Риме и в Нумидии, напомнил о злодействах против отца и братьев. Кто был ему пособником и подручным, римский народ понимает вполне, и тем не менее хочет получить свидетельства еще более неопровержимые от самого царя. Если он откроет правду, то может твердо полагаться на слово римского народа и его снисходительность; если будет молчать, то и друзьям пользы не принесет, и себя погубит безнадежно.

XXXIV. Когда Меммий закончил и Югурте предложили отвечать, народный трибун Гай Бебий, подкупленный, как уже сказано, нумидийскими деньгами, запретил царю говорить, и хотя толпа в Собрании, распалившись, пыталась запугать трибуна криком, хмуростью лиц, рывками вперед и всеми прочими обычными про-

явлениями гнева, победило, однако ж, бесстыдство. Так измывались над народом до самого закрытия Собрания, а Югурта, Бестия и остальные, кого касалось это расследование, воспрянули духом.

XXXV. Жил в ту пору в Риме нумидиец Массива — сын Гулусы и внук Масиниссы; в раздоре между царями он стоял против Югурты, и когда Цирта была сдана, а Адгербал убит, бежал из отечества. Спурий Альбин, который вместе с Квинтом Минуцием Руфом получил консульство на другой год после Бестии, подбил его просить у сената нумидийский престол, поскольку он — прямой потомок Масиниссы, а преступления Югурты вызывают у римлян ненависть, смешанную со страхом. Консул жаждал войны и предпочитал, чтобы все было в движении, чем успокаивалось понемногу; провинцией ему досталась Нумидия, а Минуцию Македония. Массива начал действовать, и Югурта не видел достаточной защиты в друзьях — одним была помехою нечистая совесть, другим дурная молва и страх, — а потому приказал Бомилькару, самому верному из своих приближенных, прибегнуть к испытанному средству: за деньги нанять убийц, чтобы они убили Массиву — лучше всего тайно, а если не получится, то любым способом. Бомилькар незамедлительно исполнил поручение царя и через людей, опытных в подобных делах, выведал все пути, какими ходил нумидиец, и где он бывает, и в какие именно часы, а затем, выждав удобного стечения обстоятельств, устроил засаду. Один из тех, что были наняты для покушения, сразил Массиву, но был недостаточно осмотрителен: жертву свою он, правда, прикончил, но сам попался и, поддавшись на уговоры многих, и прежде всего консула Альбина, дал показания. Бомилькару было предъявлено обвинение — скорее по требованиям справедливости, чем по праву народов: ведь он принадлежал к свите того, кто прибыл в Рим, заручившись от государства обещанием неприкосновенности. И все же Югурта, избалованный в таком преступлении, не прежде прекратил бороться против истины, чем убедился, что ненависть к совершившемуся сильнее его влияния и его денег. Хотя для первого слушания он представил из числа своих друзей пятнадцать поручителей, больше, нежели о поручителях, беспокоился он о своем престоле и потому тайно отослал Бомилькара в Нумидию, опасаясь, как бы его казнь не подействовала устрашающе на остальных нумидийцев и они не вышли бы из повиновения. Через немного дней отправился следом и царь: сенат приказал ему покинуть Италию. Рассказывают, что, выехав из Рима, он все оборачивался молча назад и, наконец, промолвил: «Какой

продажный город! Он сгинет бесследно — пусть только найдется покупатель».

XXXVI. Итак, война возобновилась; Альбин торопился перевезти в Африку продовольствие, деньги для жалования и все прочее, потребное солдатам, и тронулся в путь, чтобы до выборов, срок которых уже приближался, закончить борьбу либо силою, либо сдачей врага, либо иным каким-либо образом. А Югурта, ча-против, всячески старался выиграть время, находил все новые и новые поводы для промедления, то обещал сдаться, то будто бы опять не решался из страха, то отступал, то, спустя немного, переходил в наступление, чтобы не лишиться мужества своих; так думал он консула, не допуская ни решающей битвы, ни перемирия. Впрочем, были люди, убежденные, что Альбин посвящен в намерения царя, и не верившие, будто война, начатая с величайшей поспешностью, тянется без конца не по злему умыслу, а по перадивности. В любом случае время было упущено, день выборов надвигался, и Альбин, оставив своим заместителем в лагере брата Авла, отплыл в Рим.

XXXVII. Римское государство в ту пору до самого основания сотрясали раздоры между трибунами. Народные трибуны Публий Лукулл и Луций Анний желали сохранить за собою должность еще на год, а прочие трибуны решительно этому противились, и их распря не давала начаться выборам всех должностных лиц.

Авлу, оставшемуся в лагере, как мы сказали выше, заместителем командующего, эта задержка внушила надежду либо выиграть войну, либо военной угрозою выманить у Югурты деньги, и в месяце январе он снимает солдат с зимних квартир, готовит их к походу и, невзирая на суровую стужу, большими бросками ведет к городу Сутулу, где хранилась царская казна. Хотя и время года, и сильная природная позиция не позволяли и думать ни о приступе, ни об осаде — вокруг стен, возведенных на краю крутой горы, расстиралась топкая равнина, которую зимние дожди обратили в настоящее болото, — Авл, однако же, то ли для виду, чтобы запугать царя еще пуще, то ли ослепнув от алчности подле сокровищ, которые он мечтал захватить, придвигает штурмовые навесы, велит насыпать вал и поспешно начинает все прочие осадные работы.

XXXVIII. А Югурта, разглядев легкомыслие и неопытность легата, постарался коварно распалить его безрассудство — посылал гонца за гонцом с просьбами о пощаде, а сам вводил войско лесными тропами, словно избегая встречи с неприятелем, и наконец добился своего: в надежде на выгодное соглашение Авл бросил Сутул и последовал за мнимо отступавшим Югуртою в отдален-

ную область страны. Тем временем царь ни днем, ни ночью не оставлял римлян в покое, через искусных лазутчиков подкупая центурионов и начальников турм, чтобы они перешли на его сторону или по условленному знаку покинули свое место в строю. Сочтя свои приготовления удачно завершенными, он ненастной ночью внезапно окружил лагерь Авла большими силами нумидийцев. Римские воины были испуганы необычным шумом; кто бросился к оружию, кто пытался спрятаться, кто ободрял оробевших, но всюду властвовало смятение: число врагов огромно, ночное небо закрыто тучами, опасность грозит с двух сторон сразу и непонятно даже, что лучше — бежать или оставаться на месте. Из тех, кто, как сказано чуть выше, поддался на подкуп, одна когорта лигурийцев с двумя турмами фракийских конников и несколькими рядовыми легионерами перебежала к царю, а первый центурион третьего легиона пропустил врага через укрепление, которое должен был оборонять, — тут именно и ворвались нумидийцы в римский лагерь. Наши обратились в позорное бегство (большинство — побросав оружие) и засели на вершине ближайшего холма. Воспользоваться победою до конца врагу помешали ночь и грабеж добычи в лагере.

Затем, на другой день, Югурта встретился с Авлом и объявил ему: хотя он, Югурта, держит Авла с войском в своей власти угрозою смерти от голода и от меча, он помнит о ненадежности человеческого удела и потому готов оставить всех в живых, лишь проведя под игом, если Авл примет это условие; кроме того, римляне должны в течение десяти дней покинуть Нумидию. Хотя требования были тяжелы и до крайности позорны, но выбирать приходилось меж ними и неминуемою гибелью, и мир был заключен так, как того желал царь.

XXXIX. Когда это сделалось известно в Риме, страх и скорбь охватили город: одни печалились о славе Римской державы, другие, худо знакомые с военным искусством, боялись за самое свободу. Авлом были возмущены все — особенно люди, не раз прославившие себя в боях, — за то, что, сохраняя свое оружие, он, однако же, предпочел искать спасения в бесчестии, а не в битве. Консул Альбин, тревожась, как бы проступок брата не навлек ненависти, а там и прямой опасности на него самого, вынес договор с нумидийцем на обсуждение сената, но между тем набирал пополнение для войска, требовал вспомогательных отрядов от союзников и латинян и во всем обнаруживал чрезвычайную поспешность. Сенат, как и следовало ожидать, постановил, что ни один договор, заключенный без его и римского народа изволения, силы иметь не может. Народные трибуны запретили Альбину увозить

с собою те силы, которые он собрал, и несколькими днями позже консул отбыл в Африку один; все его войско в согласии с договором из Нумидии было выведено и зимовало в Провинции. Хотя он так и горел желанием пуститься вдогонку за Югуртой и тем умерить ожесточение против брата, однако же, убедившись, что воины не только унижены бегством, но и развращены наглым своеволием — последствием падения твердой власти, — решил ничего не предпринимать, пока обстоятельство не сложится по-иному.

XL. А между тем в Риме народный трибун Гай Мамелий Лигетан предлагает открыть следствие против тех, кто советовал Югурте пренебречь сенатскими постановлениями, кто, состоя в посольствах или командуя войсками, принимал от царя деньги, кто выдал ему слонов и перебежчиков, против тех, наконец, кто входил с врагами в соглашения касательно мира и войны. Иные сознавали свою вину, иные боялись судебных преследований со стороны озлобленных приверженцев противоположного стана, но препятствовать предложению Мамелия открыто не могли — это было бы равносильно признанию, что они одобряют подобные злоупотребления, — и готовились к сопротивлению тайно, через друзей и, в особенности, через латинян и итальянских союзников. Но трудно даже представить себе, насколько бдителен был народ и с каким грозным единодушием принял он закон Мамелия, правда — скорее из ненависти к знати, против которой был направлен этот удар, чем из заботы о государстве: такой силы достигло возбуждение в обоих станах. Все прочие потеряли голову от страха, и только Марк Скавр — бывший легат Бестии, как отмечено выше, — среди ликования простого люда и полной растерянности своих, среди улегшейся еще бури в городе добился того, чтобы оказаться в числе троих расследователей, которые были избраны в соответствии с законом Мамелия. Следствие велось с чрезмерною грубостью, под воздействием страстей простого народа и толков, среди него ходивших: как прежде нередко знать, так ныне народ, почуввав удачу, мигом проникся наглою заносчивостью.

XLI. Заметим, что привычка к разделению на враждующие станы со всеми дурными отсюда последствиями возникла в Риме лишь немногими годами ранее, и породили ее праздная жизнь и обиле тех благ, которые люди ценят всего выше. И правда, вплоть до разрушения Карфагена, римский народ и сенат вели дела государства дружно и спокойно, не было меж гражданами борьбы за славу и господство: страх перед врагом поддерживал добрые порядки в городе. Но стоило сердцам избавиться от этого опасения, как место его заняли разнузданность и высокомерие — успех охотно приводит их за собою. И вышло так, что мирная

праздность, о которой мечтали в разгар бедствий, оказалась хуже и горше самих бедствий. Знатные мало-помалу обратили в прощол высокое свое положение, народ — свою свободу, всяк рвал и тянул в свою сторону. Все раскололось на два стана, и государство, которое прежде было общим достоянием, растерзали на клочья. Преимущество, однако же, было на стороне знати — по причине ее сплоченности, силы же народа, разрозненные, раздробленные меж многими, преимущества этого не имели. Произволом горстки людей вершились мир и война, одни и те же руки держали казначейство, провинции, высшие должности, славу, триумфы, а народ изнемогал под бременем военной службы и нужды. И между тем как командующие со своими приближенными расхищали добычу, солдатских родителей и малых детей сгоняли с насиженного места, если случался рядом сильный сосед.

Так бок о бок с мощью явилась алчность, безмерная и ненасытная, она сквернила и крушила все, ни о чем не тревожилась и ничем не дорожила, пока сама не сломала себе шею. Да, потому что стоило найтись среди знати людям, которые несправедливому могуществу предпочли истинную славу — и началось смятение в государстве и гражданская распря, подобная буйству стихий.

XLII. Когда Тиберий и Гай Гракхи, — их предки много и хорошо послужили общему делу в Пунической и в других войнах, — стали изобличать преступления немногих, а для простого народа требовать свободы, знать, виновная и потому смущенная обвинениями, воспротивилась действиям Гракхов, встретив поддержку у союзников и латинян, а также у римских всадников, которых надежда на добрые связи со знатными оторвала от народа. Сперва убили Тиберия, трибуна, потом, спустя несколько лет, Гая, триумвира-основателя колоний, который вступил на путь брата, а вместе с Гаем — Марка Фульвия Флакка. Нет слов, в своей жажде победить Гракхи обнаружили слишком мало умения владеть собою. Но человек достойный предпочтет поражение такой победе, когда несправедливостью опрокинута недопустимым приемом; а знать воспользовалась победою с ничем не сдержанным своеволием и многих лишила жизни, многих отечества, на будущее прибавив не столько себе силы, сколько врагам своим — страха. Не раз губило это великие государства, когда одни стараются победить других любимыми средствами, а с побежденными — расправиться покруче. Но если бы я вздумал рассуждать подробно и в соответствии с важностью предмета о страстях враждующих станом и вообще о нравах в государстве, скорее исчерпалось бы время, чем содержание беседы. А потому возвратимся к начатому.

XLIII. После Авлова замирения и позорного нашего отхода вновь избранные консулы Метелл и Силян поделили меж собою провинции, и Нумидия досталась Метеллу, хотя и противнику народа, но человеку решительному и неизменно, безукоризненно честному. Едва вступив в должность, он все внимание устремил на войну, которую ему предстояло вести: прочие дела, полагал он, столько же касаются второго консула, сколько его самого. Не доверяя старому войску, он набирал новое, созывал отовсюду подкрепления, готовил коней, оружие, метательные снаряды и прочее военное снаряжение, продовольствие в достатке, коротко говоря, не упускал из виду ничего, что может быть полезно на войне, всегда переменчивой и требовательной. Исполнению этих планов способствовали и сенат — своею поддержкой, и союзники, и латиняне, и цари — добровольно посылая вспомогательные отряды, и, наконец, все граждане в целом — редкостным воодушевлением. Когда все намеченное было завершено и готово, Метелл отбыл в Нумидию, сопровождаемый крепкими упованиями сограждан — ради многих его достоинств, но, в первую очередь, ради непоколебимого равнодушия к богатству: ведь до тех пор именно алчность должностных лиц расшатывала в Нумидии нашу силу и увеличивала силу врага.

XLIV. Но в Африке проконсул Спурий Альбин передал ему войско вялое и трусливое, не способное ни к трудам, ни к опасностям, дерзкое и проворное на язык, не на руку, грабящее союзников и ограбленное врагом, не знающее ни власти, ни порядка. И не столько было новому командующему надежды и пользы от многочисленности воинов, сколько тревоги от их испорченности. Хотя задержка выборов сократила срок боевых действий и хотя Метелл представлял себе, с каким нетерпением ждут римляне добрых вестей, все же он решил начинать войну не прежде, чем вернет солдат к строгому обычаю предков и принудит их переносить трудности. Альбин, потрясенный бедою брата и войска, не желая покидать пределов Провинции и всю часть теплого времени, пока сохранял командование, почти безвыходно держал солдат в постоянных лагерях — разве что смрад или нужда в корме для лошадей вынуждали переменить место. Лагери не укреплялись, ночных караулов по правилам военного искусства не выставляли. Каждый покидал свое расположение, когда вздумается. Днем и ночью слонялись по округе бродячие торговцы вперемешку с солдатами, они опустошали поля, врываются в дома, дрались друг с другом из-за добычи, угоняли скот и рабов и выменивали у купцов на привозное вино и иные подобные товары, продавали пайковое зерно и ежедневно покупали свежий хлеб; одним словом, все мерзости

безделия и роскошества, какие только можно назвать или представить себе, в этом войске были собраны, и еще многое другое.

XLV. В этих трудных обстоятельствах Метелл, как удалось мне узнать, выказал не менее величия и мудрости, нежели в борьбе с врагом,— с такою сдержанностью находил он должную меру меж попустительством и свирепством. Первым же приказом он истребил то, что питало праздность: запрещалось продавать в лагере печеный хлеб и любую другую готовую пищу, запрещалось торговцам следовать за войском, запрещалось рядовым иметь при себе в лагере или на походе рабов и вьючных животных, строгий предел был положен и прочим злоупотреблениям. Кроме того, он устраивал ежедневные вылазки во всех направлениях, и всякий раз снимался с лагеря, и окружал новую стоянку рвом и валом, словно на глазах у неприятеля, и расставлял частые караулы, и сам вместе с легатами их поверял, а на походе появлялся то в голове колонны, то в хвосте, то посредине, следя, чтобы никто не выходил из рядов, чтобы воины теснее сплывались вокруг знамен и чтобы каждый сам нес свой запас еды и свое оружие. Так, скорее предупреждая провинности, нежели карая их, он в короткий срок вернул войску силу.

XLVI. Между тем Югурта, следивший через лазутчиков за действиями Метелла, получил из Рима надежное известие, что новый консул неподкупен,— и тут впервые усомнился в своем деле и непритворно попытался сдать. Он отправил к Метеллу послов с изъявлениями покорности и одною мольбою — сохранить жизнь ему и его детям, а все прочее пусть будет во власти римского народа. Но Метеллу уже неоднократно открывалась возможность убедиться, сколько в нумидийском племени ненадежности, непостоянства и жажды мятежа. И вот он встречается с каждым из послов в отдельности, исподволь их испытывает и, найдя, что они могут быть ему полезны, сулит щедрые награды и уговаривает выдать ему Югурту лучше всего живым, а если не удастся, то мертвым. Во всеуслышание, однако ж, он велел отвезти царю такой ответ, какого тот и желал.

Затем, несколькими днями позже, с войском, изготовившимся к боям, он вступил в Нумидию, где, казалось, никто не ждал войны: хижины были полны людей, скот и крестьяне оставались в полях. Из городов и деревень навстречу римлянам выходили доверенные царя и предлагали хлеб и другие припасы, вызывались исполнить любое поручение. Но бдительность Метелла не ослабевала, он подвигался вперед с такими предосторожностями, словно враг был рядом, далеко разведывал все вокруг, изъявления покорности считал одною видимостью, был убежден, что царь ищет слу-

чая для засады. А потому сам консул с когортами легкой пехоты и отборными пращниками и лучниками находился в голове строя, тыл прикрывала конница под командою легата Гая Мария, а по обоим флангам Метелл разместил всадников из вспомогательных отрядов, подчинив их военным трибунам и начальникам когорт, чтобы эти всадники вместе с велитами отбивали наскоки неприятельской конницы, откуда бы та ни появилась. Столь был Югурта коварен, столь глубоким обладал знанием местности и военного искусства, что нельзя было решить, вблизи он опаснее или вдали, в поисках мира или в разгаре борьбы.

XLVII. В небольшом расстоянии от дороги, которою шел Метелл, был расположен нумидийский город Вага, главный торговый город всего царства; там издавна селились и занимались делами многие купцы-италийцы. Консул поставил в Ваге караульный отряд, чтобы испытать, как к этому отнесутся жители, а также и ради выгод местоположения. Туда же он распорядился свозить хлеб и все прочее, потребное для войны, полагая — и очень разумно, — что множество торговцев сумеет и помочь войску продовольствием, и защитить уже сделанные запасы.

Югурта между тем с еще большею настойчивостью засылает послов просить о мире и все, кроме собственной жизни и жизни своих детей, отдает в распоряжение Метелла. И этих послов, так же как прежних, консул склонил к измене и отправил обратно, не обещая царю мира, которого он домогался, но и не отказывая ему окончательно и выигрывая время, чтобы дожидаться, пока изменники выполнят уговор.

XLVIII. Сопоставив слова и поступки Метелла, Югурта заметил, что его пытаются поймать в его же сети: ему возвещают мир, а на деле ведут ожесточенную войну, отняли самый большой город, развели землю, подданных подбивают к мятежу. Волей-неволей приходилось взяться за оружие, и, выведав, куда движется неприятель, Югурта собрал как можно больше воинов всех родов и тайными тропами опередил войско Метелла. Удобства местности внушали надежду на победу.

В той части Нумидии, что при разделе досталась Адгербалу, текла с юга на север река, по имени Мутул, а примерно в двадцати милях от нее была горная гряда, вытянутая в том же направлении, пустынная и безлюдная. Почти над самую средину гряды поднималась вершина с очень широко разбежавшимися склонами, одетая оливами, миртами и другими деревьями, какие обычно рождает сухая песчаная почва. Равнина между горами и рекой была, из-за скудости водою, голая и бесплодная — вся, кроме прибрежной полосы, где рос кустарник, пасся скот и жили люди.

XLIX. Вот на этой высоте, которая, как следует из нашего описания, перерезывала дорогу, засел Югурта, растянув боевую липию. Слонов и часть пехоты он поручил Бомилькару и наказал ему, как действовать. Сам со всею конницей и отборными пехотинцами он поместился ближе к хребту. Затем, обходя турму за турмой, макипул за макипулом, он призывал и заклинал своих, чтобы они помнили о прежней доблести и победе и оборонили Югурту и его царство от алчности римлян. Ведь битва предстоит с теми же врагами, которых они разгромили и провели под игом, противник переменял лишь вождя, но не душу, а он, Югурта позаботился обо всем, что зависит от командующего: нумидийцам обеспечена выгодная позиция, они захватят римлян врасплох, за ними и численное превосходство, и боевой опыт. А потому — пусть соберутся с силами, чтобы по условленному знаку ударить на противника; нынешний день либо увенчает все их труды и победы, либо положит начало неслыханным бедствиям. Каждому, кого он прежде одарял за доблесть деньгами или почетною наградой, царь напоминал теперь о своих милостях и ставил его в пример прочим, коротко говоря, он старался одушевить всех, в согласии с правом каждого — одних обещаниями, других угрозами, третьих мольбами. И тут его замечает Метелл, спускающийся с войском по склону горы. Он не ожидал увидеть врага и сперва сомневался, что означает это странное зрелище, — нумидийские конники попрятались в зарослях, и хотя низкие деревья полностью их не заслоняли, разглядеть неприятеля как следует не удавалось, ибо он ловко использовал всякий выступ, скрывая себя и свои военные значки, — но быстро распознал засаду и остановился, чтобы изменить построение. На правом крыле — ближнем к противнику — он поставил воинов в три линии, распределил меж манипулами пращников и лучников, всю конницу разместил по флангам и после немногих (в согласии с обстоятельствами) слов ободрения, обращенных к солдатам, продолжил спуск на равнину, одновременно поворачивая строй левым флангом вперед.

L. Нумидийцы, однако ж, соблюдали спокойствие и не трогались с высоты, и Метелл, боясь, как бы летний зной и нехватка воды не истомили войско жаждою, отправил легата Рутилия с когортами легкой пехоты и частью конницы к реке — занять место для лагеря: он ожидал, что враг будет пытаться задержать его частыми налетами сбоку, больше полагаясь на усталость и жажду римлян, чем на собственное оружие. Сам консул, подчиняясь необходимости, медленно подвигался вперед в том же порядке, в каком спускался с горы; Марий находился позади первой линии пехоты,

а Метелл — с конниками левого фланга, которые на походе были в голове колонны.

Едва Югурта убедился, что последние ряды римлян миновали его передовых, он тут же занял перевал, с которого сошел Метелл, послав туда примерно две тысячи пехотинцев, чтобы в случае отступления гора не послужила неприятелю убежищем, а после и оплотом. Затем звучит сигнал, и нумидийцы внезапно бросаются на врага. Одни разят замыкающих, другие нападают слева и справа, жесточно не теснят и наседают и повсюду стараются расстроить римские ряды. А из наших даже те, кто оказывал решительное сопротивление, были совершенно беспомощны в этой беспорядочной схватке, потому что несли жестокий урон от ударов, сыпавшихся издали, сойтись же вплотную и нанести ответный удар никак не удавалось: стоило римской турме броситься в наступление, нумидийские всадники, заранее наученные своим царем, тут же отступали, да не вместе и не в одном направлении, а все порознь, врассыпную. Так, если предупредить вражескую погоню они и не могли, то, пользуясь численным преимуществом, обходили рассеивающихся врагов с тылу и с флангов. Если ж ближе и удобнее для бегства были холмы, чем ровное поле, нумидийские кони, привычные к горам, с легкостью исчезали между кустарников и деревьев, тогда как наших озадачивала и останавливала крутизна.

LI. В целом все это являло картину пеструю и неверную, позорную и жалкую. Одни, отбившись от своих, отступают, другие гонятся за ними. Никто не помнит ни места своего в строю, ни своего знамени. Где захватила опасность, там каждый и обороняется, защищая собственную жизнь. Щиты, копья, кони, люди, враги, свои — всё вперемешку. Нет уже ни планов, ни приказов — повсюду царит случайность. Так протекла большая часть дня, а исход битвы был по-прежнему неясен.

Все изнемогали от усталости и зноя, и наконец Метелл, заметив, что натиск нумидийцев слабеет, мало-помалу собрал своих, вновь построил их в ряды и выставил четыре когорты легионеров против вражеских пехотинцев, которые истомились и засели на высотах. Одновременно он заклинал воинов не терять мужества и не отдавать победы врагам, которые уже бегут, тем более что у них, римлян, нет ни лагеря, ни укреплений, им некуда отступить, вся их надежда — в оружии.

Впрочем, не медлил праздно и Югурта: он объезжал и ободрял своих, возобновляя бой, и сам с отборным отрядом поспевал повсюду; помогая тем, кто нуждался в помощи, нападая там, где враги дрогнули, а где они были тверды, сдерживая их напор издали.

ЛII. Так состязались два великих полководца, равные друг другу силою духа, но не силами в борьбе: Метеллу помогало мужество воинов и не благоприятствовала местность, Югурта был удачлив и счастлив во всем, кроме солдат. В конце концов римляне, убедившись, что надежного укрытия для них нет и что от решительной схватки враг уклоняется, а вечер между тем уже близок, ринулись, исполняя приказ, прямо вверх, по склону холма. Нумидийцы не смогли удержать вершину и были разбиты наголову. Погибли, однако ж, немногие, большинству сохранило жизнь собственное проворство и еще то, что враг не был знаком с округою.

Тем временем Бомилькар, которому, как мы сказали выше, Югурта поручил слонов и часть пешего войска, выжидает, когда Рутилий пройдет мимо, и не торопясь сводит свой отряд на равнину. Пока легат поспешает к реке, куда его отправил командующий, нумидиец спокойно — в согласии с обстоятельствами — выравнивает боевую линию, ни на миг не выпуская врага из-под наблюдения. Ему доносят, что Рутилий остановился и хранит полное спокойствие, но шум, доносящийся оттуда, где ведет битву Югурта, крепчает, и Бомилькар, опасаясь, как бы легат, догадавшись, что происходит, не поспешил на помощь своим, размыкает ряды, — которые прежде, чтобы загородить дорогу врагу, держал тесно сомкнутыми, не полагаясь на доблесть солдат, — и в таком порядке приближается к лагерю Рутилия.

ЛIII. Внезапно римляне замечают густое облако пыли. Поле, засаженное деревьями, закрывало обзор, и сперва они решили, что это ветер вздымает сухой песок, но потом, видя, что облако не меняет очертаний и все приближается (по мере приближения войска), поняли, в чем дело, поспешно разобрали оружие и, повинувшись приказу, выстроились перед лагерем. Когда нумидийцы были уже совсем рядом, враги с громким криком ринулись друг на друга. Неприятель держался лишь до тех пор, пока рассчитывал на помощь слонов, но животные запутались в ветвях деревьев, разбрелись и были окружены поодиночке, и нумидийцы тут же ударились в бегство, и почти все спаслись, побросав оружие, под прикрытием холмов и темноты, которая уже наступала. Четыре слона были захвачены живыми, все прочие — числом сорок — убиты.

Метелл задерживался сверх всякого ожидания, и римляне, хотя до крайности измученные сначала переходом, а затем лагерными работами и битвой, выступили ему навстречу, соблюдая полную боевую готовность: коварство нумидийцев не допускало ни малейшей беспечности. Оба отряда были уже недалеко один от другого и, продолжая сближаться в ночном сумраке, испускали враждебные крики и сеяли обоюдный страх и смятение; неведение и опромет-

чивость привели бы к плачевным последствиям, если бы с обеих сторон не были высланы на разведку конники. Тут страх разом сменяется радостью — воины, ликуя, окликают друг друга, наперебой рассказывают о событиях дня, и каждый до небес превозносит собственные подвиги. Так уж обычно в человеческой жизни: победа дает право бахвалиться и трусам, неудача унижает и храбрецов.

LIV. Метелл оставался в лагере четыре дня, заботясь об исцелении раненых, награждая, по обычаю войны, отличившихся. На общей сходке он хвалил и благодарил всех вместе, призывал сохранить одинаковое мужество и на будущее, которое, впрочем, не сулит более никаких трудностей, ибо ради победы бились уже довольно, впредь все ратные труды будут ради добычи. Со всем тем консул разослал перебежчиков и прочих пригодных людей выведать, где находится Югурта и что замышляет, мало ли у него солдат или же целое войско, как держится он после поражения. А Югурта отошел в лесистые, недоступные по самой природе своей места и там собирал новое войско, многочисленнее прежнего, но вялое и бессильное, годное скорее для пашни и пастбища, нежели для ратного поля. Так выходило оттого, что, кроме конных телохранителей, никто из нумидийцев за своим царем из несчастливой битвы не последовал, но все разбежались, куда кому заблагорассудилось: по тамошним понятиям, это не считается оскорблением воинских порядков.

Метелл понял, что упорство царя все еще не сломлено и что война возобновляется, причем такая война, которую нельзя вести иначе, чем по замыслу Югурты, — борьба далеко не равная, когда победа станет римлянам дороже, чем врагу поражение, — и решил продолжать войну не в битвах и не в боевом строю, а иным способом. И вот он направился в самые богатые области Нумидии и принялся опустошать поля, захватил и выжег множество крепостей и городов, защищенных неосновательно или вообще лишенных защиты, взрослых мужчин предавал смерти, все остальное оставлял на разграбление солдатам. Из страха перед подобною же участью римлянам были выданы заложники в большом числе, а также хлеб и другие необходимые припасы. Повсюду, где требовалось, Метелл разместил караульные отряды. Эти действия консула пугали царя гораздо больше, чем проигранная битва: ведь все надежды свои Югурта возлагал на отступление, а его вынуждали преследовать неприятеля, он был не в силах удерживать и выгодные позиции, а приходилось биться на слабых и невыгодных. Все же он принимает решение, по-видимому, самое верное из возможных, — большей части войска велит оставаться на месте, а сам с отборными всадниками пускается вдогонку за Метеллом, движется по ночам, круж-

ными дорогами и вдруг нападает на беспечно рассеявшихся римлян. Большинство пало, не успевши поднять оружия, многие были захвачены в плен, невредимым же не ушел никто, а нумидийцы, исполняя приказ, отступили к ближним холмам прежде, чем из вражеского лагеря подоспела подмога.

Lv. В Риме узнали о подвигах Метелла, и огромная радость охватила город, оттого, что консул верен обычаям предков и ту же верность сумел внушить войску, оттого, что мужеством своим одержал победу вопреки всем невыгодам позиции, овладел вражескою страной, принудил Югурту, надменного и высокомерного по нерадивости Альбина, искать спасения в бегстве и в одиночестве. За эту счастливую удачу сенат пазначил благодарственное молебствие бессмертным богам, а граждане, прежде полные боязни и тревоги за исход войны, ликовали и восторженно прославляли Метелла.

Тем упорнее стремился консул к победе, всячески торопя события, но вместе с тем опасаясь, как бы не доставить какого-либо преимущества врагу, помни, что следом за славою идет зависть. Чем громче звучало его имя, тем более осторожности он выказывал, и после коварного налета Югурты не позволял выходить за добычею вразброд. Когда случалась нужда в хлебе или корме для лошадей, несли караул когорты пехотинцев при поддержке всей конницы; впрочем, не столько грабежом опустошали римляне поля, сколько огнем. Частью войска командовал сам консул, другою частью Марий. Остапавливались двумя лагерями, поблизости один от другого, и если требовался сильный удар, то объединялись, а в остальных случаях действовали порознь, чтобы ужас и бегство разлились пошире.

А Югурта, не отставая, двигался по высотам, подстерегал место и время для битвы, потравлял пастбища и загрязнял источники — и без того скудные — там, где, по его сведениям, ожидали неприятеля, появлялся иногда перед Метеллом, иной раз перед Марием, тревожил хвост походной колонны и тут же снова отступал к холмам, угрожал то слева, то справа, сражения не завязывал, но ни на миг не оставлял врага в покое, стараясь расстроить его планы.

Lvi. Римский главнокомандующий убедился, что неприятель от битвы уклоняется и только изводит его всевозможными хитростями, и порешил осадить большой город Заму, который был оплотом той части Нумидийского царства. Он предполагал, что Югурта по необходимости поспешит на подмогу своим и тогда у стен города произойдет сражение. Но Югурта узнал от перебежчиков, что замышляет Метелл, и, удлинив переходы, прибыл к Заме раньше римлян. Он убеждает горожан обороняться и дает им в помощь перебеж-

чиков (между всеми царскими воинами они были самыми надежными, потому что изменить не могли), а кроме того, обещает, что к пужному сроку подоспеет сам с остальным войском.

Покончив с этими приготовлениями, он отступил и укрылся самым надежным образом, а спустя немного получил весть, что Марий с несколькими когортами прямо с дороги отправлен за хлебом в Сикку; этот город первым изменил царю после неудачной битвы. Югурта мчится туда с отрядом лучших конников, захватывает римлян уже в воротах и завязывает бой, одновременно призывая сиккийцев напасть на вражеские когорты с тыла. Судьба, кричит он, ниспосылает им случай свершить великое дело, и если они его свершат, то после, до конца своих дней, Югурта будет безбоязненно наслаждаться царскою властью, а сиккийцы — своею свободой. И если бы Марий не поспешил выйти за стены и ударить на врага, нет сомнения, что сиккийцы — все или очень многие — приняли бы сторону Югурты: таково непостоянство нумидийцев. А солдатам царя стойкости хватило ненадолго: едва лишь натиск неприятеля усилился, они разбежались, понеся незначительные потери.

LVII. Марий подошел к Заме. Этот город, расположенный на равнине и укрепленный более человеческим искусством, нежели природою, был щедро снабжен всем необходимым, богат и людьми, и оружием. Изготовившись в соответствии с требованиями места и времени, Метелл окружил стены сплошным кольцом воинов и каждому из легатов назначил, где нести команду. Затем он подал знак, и отовсюду разом загредел воинский клич, который, однако ж, не испугал и не смутил нумидийцев; никто из них не дрогнул, не попятился, и бой начался. Римляне действовали всякий на свой лад. Одни издали метали свинцовые ядра и камни, другие подбегали к стене вплотную и пытались подкопаться под нее или приставить лестницы, чтобы завязать рукопашную. А горожане скатывали на передовых каменные глыбы, бросали колья и дротики, лили горячую смесь дегтя, смолы и серы. Впрочем, и для тех, кто держался на расстоянии, робость оказалась ненадежной защитою, потому что большинству их было ранено снарядами, пущенными рукою или из орудия. Таким образом и храбрые и трусы опасности подвергались одинаковой, а славу стяжали перавную.

LVIII. Пока идет сражение у стен, Югурта с большим отрядом внезапно нападает на римский лагерь. Караульные были беспечны и никак не ожидали неприятеля, а потому нумидийцы врываются в ворота. Пораженные этой внезапностью, наши ищут спасения каждый по-своему: кто бежит, кто хватается за оружие. Раненых и убитых — великое множество. В обширном лагере сыскалось не

более сорока человек, не забывших, что такое римлянин. Тесно сгрудившись, они заняли невысокий пригорок, и сбить их оттуда не удавалось никакими усилиями. Копья, пущенные издали, они метали обратно и — горстка против толпы! — промахивались нечасто. Если же враг подступал ближе, тут как раз и выказывали они все свое мужество: рубились как одержимые, и нумидийцы откатывались в ужасе.

Метелл, хотя и поглощенный битвою до предела, все же расслышал за спиною неприятельский клич, повернул коня и увидел, что бегущие мчатся прямо к нему: значит, это свои. Тут же посылает он к лагерю всю конницу, а сразу следом — Гая Мариа с когортами союзников и, плача, молит Мариа, во имя их дружбы и во имя отечества, не дать позору замарать победоносное войско, не упустить врага безнаказанным. Марий проворно исполнил приказ. Что же до Югурты, то ему мешали отступить лагерные сооружения, — одни из его людей срывались вниз головою с вала, другие впопыхах собственными телами закупорили узкий проем ворот, — и лишь с большими потерями он отошел на укрепленные позиции. Между тем настала ночь, и Метелл, не завершив начатого, вернулся с войском в лагерь.

LIX. Назавтра, прежде чем снова двинуться на приступ, консул выставил всю свою конницу заслоном впереди лагеря, с той стороны, откуда мог появиться царь, ворота и ближайšie к ним места поручил трибунам, а затем направился к городу и, так же как накануне, обрушился на стену. Югурта из своего укрытия внезапно устремляется на римлян. Передние несколько испуганы, начинается замешательство, но остальные быстро приходят им на помощь. И недолго сопротивлялись бы нумидийцы, если бы не пехота, присоединившаяся к конникам и причинившая тяжелый ущерб врагу при столкновении. Полагаясь на поддержку пехотинцев, всадники не ограничивались короткими налетами, как бывает обычно в конном бою, но упорно теснили противника и почти совсем расстроили его ряды, и к тому мгновению, когда в дело вступила легкая пехота, римляне были уже почти разбиты.

LX. В это самое время у городских стен сражались, не щадя сил. Повсюду, где командовал кто-либо из легатов или трибунов, рвались вперед особенно горячо, и никто не возлагал надежд на соседа, но каждый — на самого себя; впрочем, и горожане бились не хуже. Везде натиск и отпор, всякий стремится лишь поразить врага, забывая и думать о собственной безопасности, боевой клич смешивается со стоном, с криком ликования и несется к небесам, с обеих сторон летят камни и дротики. Но стоило врагам хоть сколько-нибудь ослабить напряжение борьбы, как защитники стен

принимались жадно следить за конною битвою вдали. Лица их изображали то радость, то страх — в зависимости от того, как обворачивалось дело у Югурты; и, словно бы там могли услышать их или увидеть, одни выкрикивали советы, другие ободрения, или подавали знаки рукою, или резко сгибались всем телом вперед и назад, будто уклоняясь от удара или меча копьей. Заметивши это, Марий, — здесь командовал он, — умышленно сдерживает бойцов, изображает неуверенность в успехе и дает нумидийцам возможность беспрепятственно наблюдать за царским сражением, а когда те были скованы тревогою за своих, вдруг с яростью бросается на приступ. Солдаты уже карабкаются по лестницам, еще немного — и они достигнут края стены, но горожане сбегаются, засыпают их камнями, факелами и всевозможными метательными снарядами. Наши сперва оказывают сопротивление, но затем лестницы, одна за другою, подламываются, те, кто был на верхних ступенях, падают, прочие отступают, кто как может, большей частью тяжело раненные и лишь немногие в невредимости. Наконец настала ночь и развела сражающихся.

LXI. Убедившись, что замысел его безнадежен, — что осажденные держатся стойко, Югурта же вступает в бой не иначе, как из засады или на выгодной для себя позиции, а лето между тем близится к концу, — Метелл отошел от Замы и разместил караульные отряды в городах, которые еще прежде приняли сторону римлян и были надежно укреплены стенами или самою природою. Остальное войско он увел на зимние квартиры в пограничную с Нумидией область Провинции.

Однако ж и зимнее время не отдал он — по примеру других — покою или же удовольствиям, но, поскольку прямою силою дело почти не подвигалось, задумал вместо оружия воспользоваться вероломством царских приближенных и с их помощью расставить сети Югурте. Он обратился к Бомилькару, который приезжал с Югуртою в Рим, а после, хоть за него и поручились, бежал от суда за убийство Массивы; по самой тесной дружбе с царем ему было всего легче обмануть Югурту. Многими щедрыми обещаниями Метелл сперва достигнул лишь того, что Бомилькар тайно явился к нему для разговора. Когда же консул заверил Бомилькара, что сенат дарует ему безнаказанность и оставит во владении всем имуществом, если только он выдаст Югурту живым или мертвым, нумидиец легко согласился, потому что, во-первых, был вероломен от природы, а во-вторых, боялся, как бы в случае мира с римлянами его самого не выдали на расправу по условиям договора.

LXII. При первой же возможности Бомилькар подступает к Югурте, полному беспокойства и скорбящему о своих неудачах. Он

просит и со слезами заклиняет царя подумать, наконец, и о себе, и о детях, и о нумидийском народе, который более чем заслуживает его заботы. Ведь они разгромлены во всех сражениях, земля разорена, воины во множестве захвачены в плен и перебиты, силы и средства исчерпаны; достаточно много раз испытано уже и мужество солдат, и военное счастье, а потому, если Югурта будет медлить и впредь, как бы нумидийцы не позаботились о себе сами. Этими и прочими подобными доводами он склоняет царя к мысли о сдаче. К римскому командующему отправляются послы — сообщить, что Югурта готов подчиниться и безоговорочно отдает на его милость себя и свое царство. Метелл приказывает немедленно вызвать с зимних квартир всех, кто принадлежит к сенаторскому сословию, и держит совет с ними и еще с иными, кого считает для этого пригодными. И вот в согласии с определением совета — по обычаю предков — он через нарочных требует у Югурты двести тысяч фунтов серебра, всех слонов, много коней и оружия. Это было исполнено без задержки, и тогда консул велел привести к нему всех перебежчиков в оковах. Большую их часть привели, как и было велено, немногие бежали в Мавританию к царю Бокху, едва только началась сдача. А сам Югурта, уже оставшись без оружия, без людей и без денег, должен был явиться в Тисидий за дальнейшими распоряжениями, но вдруг снова засомневался, сознавая свою вину и страшась заслуженного наказания. Много дней медлил он в нерешительности и временами, в досаде на свои неудачи, любое будущее предпочитал войне, а иной раз снова задумывался над тем, как тяжело из царей пасть в рабы, и, наконец, понеся впустую такие громадные утраты, начал войну сначала.

Сенат в Риме обсудил положение в провинциях и снова назначил Нумидию Метеллу.

LXIII. Примерно в эту же пору, в Утике, Гай Марий приносил жертвы богам, и жрец предрек ему судьбу великую и удивительную. «Все, что ты задумал, — объявил жрец, — исполняй смело, полагайся на богов, и пытай удачу как можно чаще, ибо все завершится благополучно». Между тем Мария уже давно томила мечта о консульстве, и, чтобы получить его, недоставало лишь древности происхождения, все же иные достоинства были в избытке: усердие, честность, большие познания в делах войны, неукротимость духа в походах, скромность в мирное время, презрение к богатствам и наслаждению, жадность к одной лишь славе.

Он родился и детство все провел в Арпине, а едва только по летам стал способен носить оружие, не греческому красноречию посвятил себя и не городским нежностями, но военной службе, и в

добрых занятиях быстро возмужал не тронутый порчею ум. Поэтому, когда он впервые просил у народа должности военного трибуна, лицо его было известно лишь очень немногим, зато подвиги — очень многим, и все трибы отдали ему свои голоса. Затем, после этой должности, он получил другую, потом еще одну, и всегда, находясь у власти, держал себя так, чтобы его признали достойным высшей, следующей должности. Но искать консульства столь замечательный человек все еще не отваживался (лишь позднее дал он волю своему честолюбию): даже в те годы прочими должностями распоряжался народ, а консульство знать удерживала за собой и передавала из рук в руки. Среди людей новых не находилось ни одного настолько знаменитого, настолько прославившего себя, чтобы его не сочли недостойным этой чести и как бы пятнающим ее.

LXIV. Итак, Марий видит, что пророчества жреца направлены в ту же сторону, куда желания собственного его сердца, и просит у Метелла отставки, чтобы выступить соискателем на выборах. А тот, хотя и щедро наделенный и доблестью, и любовью к славе, и другими достоинствами, желанными в глазах каждого честного человека, в душе не был чужд презрительного высокомерия — общего порока всей знати. Пораженный необычайной этой просьбой, он сперва высказывает Маррию свое изумление и, словно бы по дружбе, советует не затевать такой нелепости, не заноситься слишком высоко: не всем должно желать всего подряд, и ему, Маррию, надо бы довольствоваться достигнутым; пусть он остерегается просить у римского народа такой милости, в какой ему по праву будет отказано. Но эти и другие подобные им речи Маррия не переубедили, и, в конце концов, Метелл пообещал, что исполнит его желание, как только позволит служба. Сообщают, что и впоследствии, в ответ на неоднократные напоминания Маррия, Метелл всякий раз говорил, чтобы тот не торопился с отъездом: если он станет искать консульства вместе с его, Метелла, сыном, это, дескать, тоже совсем не поздно. (А молодому Метеллу было тогда от роду лет двадцать, и он служил там же, в свите отца.) Эти шутки разжигали в Маррии не только решимость добиться своего, но и ненависть к Метеллу. II, подстрекаемый страстью и гневом — худшими из советчиков, — он приступает к делу: отныне нет таких речей или поступков, на которые он не решился бы, если только это на пользу честолюбивым его планам; воинам, которые стоят на зимних квартирах у него под командою, он дает больше воли, чем прежде, перед торговцами, которых в Утике множество, пускается в рассуждения о войне, разом и злобные, и хвастливые, что, дескать, пусть ему поручат хоть половину войска, он через несколько дней заключит Югурту в оковы, а Метелл затягивает войну нарочно, он

человек пустой, да еще по-царски высокомерный и потому упивается своею властью. В ушах торговцев это звучало тем более убедительно, что за долгою войною они порастеряли свое имущество, алчному же духу все недостаточно быстро.

LXV. Был еще в нашей войске один нумидиец, по имени Гауда, сын Мастанабала и внук Масиниссы; Миципса в завещании назначил его наследником второй очереди, потому что он болел и через это немного повредился в уме. Он просил у Метелла, чтобы ему ставили сидение рядом с сидением командующего — как подобает царю — и чтобы дали для охраны турму римских всадников. И в том и в другом Метелл отказал: в почетном месте потому, что оно подобает лишь тем из царей, которые свое звание получили от римского народа, в охране потому, что для римских всадников будет позором, если их отдадут в караульщики нумидийцу. Видя, как он раздосадован, Марий обращается к нему с увещанием взыскать с командующего за обиду и сулит свою помощь. Человека хворого и слабодушного, он ободряет приятными напоминаниями насчет того, что он, Гауда, царь, великий государственный муж, внук Масиниссы; едва Югурта будет захвачен в плен или убит, Гауда тут же вступит во владение Нумидией, и это могло бы случиться совсем скоро, если бы только главнокомандующим сюда прислали его, Мария. Таким образом и нумидийца, и римских всадников, как воинов, так равно и торговцев, — иных одними лишь уговорами, а большинство надеждою на мир — он побудил написать в Рим, к близким, порицая Метелла и требуя Мария в командующие. И вот многие римляне самым почетным образом предлагают выбрать консулом Мария. А как раз в это время, после закона Мамилия, знать была растеряна и испугана, и народ возвышал новых людей, так что для Мария все складывалось удачно.

LXVI. Тем временем Югурта, откинув мысль о сдаче, возобновляет войну и поспешно, но с большою тщательностью производит все приготовления: собирает войско, страхом или заманчивыми обещаниями старается вернуть на свою сторону города, которые ему изменили, укрепляет те позиции, которые еще были за ним, изготовляет наново и скупает оружие, метательные снаряды и многое иное, что потерял, когда еще надеялся на мир, приманивает римских рабов и пытается соблазнить деньгами самих римлян из караульных отрядов — одним словом, ничего и никого не оставляет в покое, все пускает в ход.

В Ваге, где Метелл в начале мирных переговоров с Югуртою поместил караульный отряд, первые граждане, сломленные просьбами царя, устроили заговор. (Впрочем, прежнее их предательство не было добровольным: все дело в том, что простой народ — как и

повсюду, а у нумидийцев в особенности — отличался нравом ветреным и буйным, постоянною готовностью к мятежу, к перевороту, ненавистью к тишине и покою.) Обо всем меж собою условившись, они решили выступить на третий день: в целой Африке день этот был праздничным и каждому сулил забавы и шутки, но никак не страх. Когда срок настал, они приглашают и разводят по своим домам центурионов, военных трибунов и самого начальника отряда, Тита Турпилия Силана. Всех их, кроме Турпилия, за едою убивают. Потом набрасываются на солдат, которые — в праздник и без призора — слонялись по улицам безоружные. Простой народ поддержал заговорщиков, отчасти подученный знатью, а отчасти — просто из любви к подобного рода событиям, не ведая, ни что творится, ни ради чего, но получая достаточно удовольствия от самих по себе беспорядков.

LXVII. Римские солдаты, захваченные врасплох, испуганные, растерявшиеся, не знали, как быть. Дорогу к крепости, где хранились их знамена и щиты, преградил вражеский караул, дорогу к бегству — заблаговременно запертые ворота, а тут еще с крыш домов женщины и дети наперерыв метали камни и все, что ни попало под руку. Невозможно было ни уберечься от двойной опасности, ни — при всей храбрости и силе — оказать сопротивление слабейшим: отважные и ничтожные, мужественные и робкие гибли без разбора и без отщепеня. В жестокой этой крайности, из города, замкнутого наглухо, из рук обезумевших от злобы нумидийцев невредимым среди всех италиков ускользнул только один — начальник отряда Турпилий. Вышло ли так по милосердию того, кто позвал его к себе, по тайному ли стовору или по случаю, мы в точности не выяснили; известно только, что его считают совершенно опозоренным, ибо в тяжелой беде он предпочел бесчестную жизнь ничем не омраченной славе.

LXVIII. Получив весть о событиях в Ваге, Метелл был до того опечален, что какое-то время не показывался на людях. Потом, когда горе смешалось с гневом, он приложил все усилия к тому, чтобы покарать преступление как можно скорее. На закате он выводит налегке легион, с которым проводил зиму, и всех нумидийских конников, каких удалось собрать, — тоже налегке, — и на другой день, около третьего часа, достигает равнины, окруженной низкими холмами. Здесь он сообщает воинам, измученным долгою дорогою и не желающим двигаться дальше, что город Вага не более чем в одной миле и что надо собраться с терпением и довершить начатый труд, чтобы отомстить за товарищей, людей настолько же храбрых, насколько несчастных; кроме того, обещает он, их ждет богатая добыча. Видя, что солдаты воспрянули духом, он приказывает кон-

никам скакать впереди, разомкнувшись пошире, а пехотинцам сомкнуться как можно теснее и скрыть знамена.

LXIX. Заметив приближающееся войско, жители Ваги решили сперва (как оно и было на самом деле), что это Метелл, и заперли ворота, но затем, когда увидели, что полей никто не разоряет и что впереди скажут нумидийцы, переменили суждение и с великою радостью поспешили навстречу. Но внезапно звучит сигнал, и всадники вместе с пехотинцами нападают на толпу, высыпающую из города, а иные мчатся к воротам, иные захватывают башни: прость и надежда на добычу были сильнее усталости. Таким образом, всего лишь два дня радовались вагийцы своему вероломству: большой и богатый город, весь целиком, стал жертвой возмездия и грабежа. Начальника караульного отряда Турпилия, который, как сказано выше, один-единственный спасся от гибели, Метелл потребовал к ответу, тот не сумел оправдаться и был осужден, высечен розгами и обезглавлен (он был гражданином Латия).

LXX. В это время Бомилькар, который внушил Югурте мысль о сдаче (позже трусливо оставленную), попал к царю под подозрение и сам проникнулся недоверием к нему, а потому замыслил прямую измену, стал искать способа известить Югурту хитростью и не знал отдыха ни днем, ни ночью. Испробуя все средства подряд, он нашел союзника — Набдалсу, человека знатного, богатого, прославленного среди земляков и любимого ими, водившего войско большею частью отдельно от царя и исполнявшего обыкновенно все те дела, которые для Югурты, утомленного или же занятого чем-то более важным, были несомненно лишними; отсюда и слава этого человека, и его богатства. С обоюдного согласия назначили день покушения; прочее должно было определиться впоследствии, на месте, в зависимости от обстоятельств. Набдалса уехал к своему войску, которое, по приказу царя, держал среди римских зимних квартир — чтобы врагам неповадно было опустошать поля и деревни. Но затем, оробев перед тяжестью преступления, он не вернулся к сроку, и так как страх его грозил расстроить все, Бомилькар, стремясь довести начатое до конца и одновременно встревоженный робостью своего сообщника, — как бы тот не отказался от старого плана ради нового, — отправил ему с верными людьми письмо, в котором порицал его слабость и нерешительность, призывал в свидетели богов, которыми тот клялся, предупреждал, чтобы награду Метелла Набдалса не обратил в непоправимую для себя беду. Ведь конец Югурты близок, и весь вопрос в том, их ли мужеством будет он погублен или мужеством Метелла. А потому пусть Набдалса обдумает, что ему больше по душе — награда или казнь.

LXXI. Но случилось так, что, когда письмо доставили, Набдалса, утомленный, отдыхал, лежа в постели, и сперва слова Бомилькара исполнили душу заботой, а после, как часто бывает в часы сильной тревоги, он уснул. А был при нем один нумидиец, человек доверенный, надежный и близкий, посвященный во все его замыслы, кроме самых последних. Он слышит, что принесли какое-то письмо, и, в убеждении, что, как обычно, нужна его помощь — советом или же делом, — входит в палатку, берет письмо, которое Набдалса, засыпая, неосторожно положил на подушку у себя в головах, прочитывает, узнает о заговоре и спешит прямо к царю. Немного спустя Набдалса просыпается, не находит письма и, обо всем догадавшись, сначала пытается перехватить доносчика, когда же это не удается, приступает к Югурте с мольбою о прощении. Он уверяет, будто вероломство клепта предупредило собственное его намерение, плачет, заклинает дружбою и всей своею былою верностью не подозревать его в таком злодеянии.

LXXII. Царь отвечал сдержанно — вопреки тому, что творилось у него в душе. Казнив Бомилькара и многих других, замешанных, как выяснилось, в заговоре, он подавил свой гнев, опасаясь мятежа. Но впредь уже ни днем, ни ночью не ведал Югурта покоя. Не было такого места, такого человека, такого часа, которому он бы доверился вполне, он боялся и подданных и врагов — без разбора, повсюду пугливо озирался, дрожал от любого шума, каждую ночь проводил в ином месте, часто совершенно для царя непристойном, случалось, вскакивал со сна, хватал оружие, поднимал тревогу. Так страх терзал его, точно безумие.

LXXIII. Метелл узнал от перебежчиков о падении Бомилькара и о доносе, открывшем измену, и снова стал поспешно готовиться к войне, как бы начиная все с самого начала.

Мария, который все докучал просьбами об увольнении, он отпустил домой, считая, что от человека озлобленного и ожесточившегося польза невелика. А в Риме между тем простой народ с удовольствием выслушал письма, где сообщалось о Метелле и о Марии. Для командующего знатность, прежде служившая ему украшением, обернулась источником ненависти, а тому, второму, низкое происхождение прибавляло весу и блеску. Впрочем, отношение к обоим определялось не столько достоинствами или изъянами каждого, сколько страстями враждующих станов. Вдобавок трибуны умышленно бунтовали народ, на каждой сходке обвиняя Метелла в тяжких преступлениях и преувеличивая заслуги Марии. В конце концов народ до того распался, что все мастерские и крестьяне, у которых и состояние, и доброе имя заложено в труде собственных рук, побросали обычные занятия и теснились вокруг Марии, возда-

вая ему почести и забывая за этим о неотложных своих нуждах. Знать была запугана, и консульство — впервые после долголетнего перерыва! — досталось новому человеку. Вслед за тем народный трибун Тит Манлий Манцин обратился к народу с запросом, кому поручить войну с Югуртою, и большинство определило: Марию. Немногим ранее сенат назначил Нумидию Метеллу, но теперь решение это стало пустым звуком.

LXXIV. А Югурта, потерявший друзей и приближенных, — многих он сам казнил, остальные в страхе бежали, кто к римлянам, а прочие к царю Бокху, — пребывал в полной растерянности, потому что вести войну один, без помощников, не мог, испытывать же верность новых друзей после такого вероломства старых считал опасным. Никто из людей, никакое дело, никакое решение не были ему по душе: ежедневно менял он пути и начальников и то устремлялся на врага, то в пустыню; часто все надежды возлагал на бегство, а спустя немного — на силу оружия; не знал, чему доверять меньше — храбрости своих людей или их преданности; одним словом, куда бы он ни обратился, все было против него.

Но меж тем, как он медлит, внезапно появляется Метелл с войском. Югурта готовит нумидийцев к бою (насколько позволяет время), и сражение начинается. Та часть строя, где находился царь, какое-то время оборонялась, все же остальные воины Югурты ударились в бегство, едва сойдясь с неприятелем. Римляне захватили много оружия и боевых знамен, но пленных взяли немного, потому что почти во всех битвах нумидийцев выручали скорее ноги, нежели мечи и щиты.

LXXV. На этот раз, разуверившись в своих надеждах еще сильнее, Югурта с перебежчиками и частью конницы бежал в пустыню, а оттуда явился в Талу, обширный и богатый город, где хранилась большая половина его сокровищ и воспитывались царские сыновья. Метеллу донесли об этом, и, зная, что между Талою и ближайшею рекой лежат сорок миль иссохшей пустыни, все же, в надежде завершить войну, если город этот будет захвачен, он делает попытку одолеть все преграды и победить самое природу. Он распоряжается освободить всех вьючных животных от поклажи и — не считая лишь десятидневного запаса хлеба — нагрузить их только водою в мехах и иных пригодных для перевозки сосудах. Далее он сгоняет с полей весь домашний скот, какой удастся согнать, и навьючивает его разного рода кувшинами, главным образом деревянными, взятыми из нумидийских хижин. Наконец, он приказывает окрестным жителям, которые после бегства царя отдались на милость римлян, чтобы каждый доставил как можно больше воды в то место и в тот день, какие он им назначил. Сам он за-

пасается водою из ближайшей, как уже говорилось, к Тале реки. Изготовившись таким образом, он выступает.

Но затем, когда пришли к месту, назначенному нумидийцам, и разбили там лагерь, вдруг с неба хлынуло столько воды, что ее одной достало бы с избытком на целое войско. А тут еще нумидийцы исполнили свою повинность с тою ревностью, какую обычно выказывают подчинившиеся внове, и привезли больше, чем от них ждали. Впрочем, солдаты — из благочестия — охотнее брали дождевую воду, и это обстоятельство заметно прибавило им духу: они были убеждены, что бессмертные боги пекутся о них. На другой день, к великому изумлению Югурты, римляне появились у стен Талы. Горожан, которые считали себя надежно защищенными трудною местностью, страшное и необыкновенное это событие смутило чрезвычайно, однако ж они, не покладая рук, готовились к борьбе. Так же действовали и наши.

LXXVI. Но теперь, после того как Метелл решимостью своею превозмог все — силу оружия, время и место, самое всемогущую природу, наконец, — царь считал, что для него нет невозможного, и с детьми, с изрядною долею своих сокровищ ускользнул ночью из города. Впоследствии он уже нигде не задерживался дольше одного дня или одной ночи. Он притворялся, будто спешить его заставляют обстоятельства, на самом же деле боялся измены и полагал, что избегнуть ее можно только проворством, ибо изменнические планы вызревают на досуге, в благоприятных условиях.

Видя, что горожане готовы к битве, а город укреплен и стенами, и естественным своим положением, Метелл принялся окружать стены валом и рвом. Среди большого множества удобных мест выискав два самых удобных, он подвел осадные навесы, устроил насыпь и поставил на ней башни — защищать работы и работников. Горожане, со своей стороны, торопились, хлопотали; коротко сказать, ни та, ни другая сторона ничего из виду не упустила. Лишь через сорок дней после своего прихода, истомившись и в трудах и в боях, овладели римляне городом; но и только: добыча, вся целиком, была погублена перебежчиками. Когда они услышали, как таран колотит в стену, и поняли, что положение их отчаянное, они снесли золото, серебро и прочие ценности в царский дворец. Напившись допьяна и наевшись до отвала, они затем истребили огнем и ценности, и дворец, и себя самих. Так они сами добровольно приняли кару, которую боялись понести от руки врагов в случае поражения.

LXXVII. В день взятия Талы к Метеллу прибыли посланцы из города Лепты и умоляли прислать к ним начальника и караульный отряд. Некий Гамилькар, рассказывали они, человек знатный и

беспокойный, замышляет переворот, и ни выборные власти, ни законы не в силах с ним справиться; если Метелл замешкается, благополучие лептийцев окажется под смертельною угрозою, а ведь они союзники римского народа: еще в самом начале войны с Югуртой они посылали просить о дружбе и союзе — сперва к консулу Бестии, а после в Рим. Просьба их была уважена, и они всегда оставались честными и верными союзниками и ревностно исполняли все повеления Бестии, Альбина и Метелла. Лептийцы легко добились того, о чем ходатайствовали перед командующим: четыре когорты лигурийцев во главе с Гаем Аннием выступили в Лепту.

LXXVIII. Город этот основан сидонянами, которых, сколько я знаю, гражданские смуты побудили к изгнанию, и они на кораблях приплыли в те края. Он расположен меж двумя Сиртами. Это два залива почти на самом краю Африки, не одинаковые размерами, но природными свойствами одинаковые; по этим свойствам дано им и название. Подле берега они очень глубокие, в остальных местах — как придется, в зависимости от погоды: когда глубокне, а когда мелкие. Если море вздувается и начинает свирепствовать под ударами ветра, валы тянут за собою ил, песок и громадные камни; так с каждою бурей меняется обличье морского дна. От слова «тянуть» и зовутся они Сиртами. Переменился в Лепте только язык — через браки с нумидийскими женщинами, а законы и обычаи большей частью прежние, сидонские, и сохранялись они тем легче, что царская власть была от лептийцев далеко: между ними и заселенными местами Нумидии просторно легла пустыня.

LXXIX. Раз уже дела лептийцев завели нас в эти края, надо, мне кажется, рассказать о прекрасном и удивительном подвиге двух карфагенян: мне напомнили о нем места, которые я описываю. В те времена, когда надо всею почти что Африкой властвовали карфагеняне, немалою силой и богатством обладали также жители Кирены. Местность посредине лежала песчаная, однообразная; не было ни реки, ни горы, которая обозначала бы границу между двумя народами. Это обстоятельство втянуло их в долгую и трудную войну. После того, как с обеих сторон и войска, и флоты не один раз терпели сокрушительные поражения и противники жестоко ослабили друг друга, карфагеняне и киренцы забеспокоились, как бы кто третий вскорости не напал на усталых победителей и побежденных разом. И вот, заключивши перемирие, они договорились, чтобы в условленный день из обоих городов вышли послы, и где они повстречаются, там и быть границе. Из Карфагена отправлены были два брата, по имени Филены; они поспешно пустились в путь. Киренцы двигались медленнее, по нерадивости или же случайно — я не узнал. Знаю только, что в тех местах

часто бывают долгие бури, совсем как на море: когда на голой равнине поднимается ветер, он вздымает с земли песок, который несется так стремительно, что набивается в рот и в глаза, а стало быть, застилает взор и останавливает путника.

Видя, как много они проиграли, и страшась наказания за то, что все испортили, киренцы винят карфагян, будто те тронулись из дому раньше срока, запутывают дело, коротко сказать — готовы на что угодно, лишь бы не уйти побежденными. И когда пунийцы потребовали любых других — но только справедливых! — условий, греки предлагают карфагяням выбор: либо они лягут живыми в могилу на том месте, где желают провести границу, либо — с таким же уговором — киренцы пойдут дальше, докуда захотят. Филены согласились и отдали в жертву отечеству себя и свою жизнь: живыми они были зарыты в землю. Там, где это произошло, карфагяне посвятили братьям Филенам алтари, а у себя в городе учредили в их честь торжественные обряды.

Возвращаюсь к своему повествованию.

LXXX. Потеряв Талу, Югурта понял, что от Метелла надежного укрытия ему нет. С немногими спутниками пересек он обширную пустыню и прибыл к гетулам, племени дикому и грубому, не ведавшему в ту пору даже имени римлян. Составив из них многочисленный отряд, Югурта постепенно приучил их держать равнение в рядах, следовать за знаменами, повиноваться приказам и вообще исполнять воинские обязанности. Кроме того, щедрыми подарками и еще более щедрыми обещаниями он привлек на свою сторону приближенных царя Бокха. С их помощью он нашел доступ к царю и убедил его начать войну против римлян. Это оказалось тем проще и легче, что в начале войны Бокх посылал в Рим просить союза и дружбы, но немногие слепцы, потерявшие зрение от алчности, привыкшие торговать всем подряд, и честью и бесчестьем, помешали союзу, столь благоприятному для завязывавшейся борьбы. Вдобавок дочь Бокха была замужем за Югуртою. Впрочем, у нумидийцев и мавров подобные связи ценятся невысоко, потому что каждый берет столько жен, сколько позволяет достаток, одни — по десяти, другие — еще больше. Душевная привязанность мельчится, раздробляясь, и уже ни одну из жен не считает супруг истинною спутницею, но на всех глядит с одинаковым пренебрежением.

LXXXI. Оба войска сошлись в месте, избранном по взаимному согласию. Цари обменялись клятвами верности, а после Югурта произнес речь, стараясь разжечь Бокха. Он говорил, что римляне несправедливы и ненасытно алчны, что это общий враг всех людей. У них та же причина для войны с Бокхом, что и с ними, нумидий-

цами, и с прочими народами, а именно — страсть к господству. Чужое владычество им всегда ненавистно: сейчас они враждуют с Югуртой, немногим ранее — с карфагенянами, с царем Персеем, впредь — со всяким, кто, по их мнению, будет особенно силен. После таких и схожих с ними речей принимается решение выступить к городу Цирте, поскольку там оставил Метелл добычу, пленных и обоз. Югурта рассчитывал либо захватить город, что было бы достаточною наградой и ему и Бокху, либо завязать сражение, если римский командующий придет на помощь своим: хитрец, он стремился лишь к одному — поскорее отрезать Бокху возвратный путь, потому что долгое промедление могло отбить у мавра охоту воевать.

LXXXII. Метелл получил известие, что цари объединились, и не дал им случая вступить в бой внезапно и где придется, как бывало уже не раз после побед над Югуртой. Наоборот, он поджидал обоих в укрепленном лагере недалеко от Цирты, полагая, что надо сперва познакомиться с маврами — новым для римлян противником, а потом, при удачном стечении обстоятельств, затеять битву.

Между тем из Рима приходит письменное сообщение, что Нумидия назначена провинцией Марию (что он избран консулом, слух дошел уже раньше). Потрясенный этим сверх всякой меры, Метелл не мог сдержать ни слез, ни гневных слов; муж, во многих отношениях замечательный, он слишком поддался своему огорчению. Одни объясняли это высокомерием, другие тем, что честный и даровитый человек озлоблен оскорблением, многие тем, что у него вырывают из рук победу, уже достигнутую. А мне совершенно ясно, что не столько мучила его собственная обида, сколько честь, оказанная Марию, и что он перенес бы случившееся намного легче, если бы отнятую у него провинцию передали не Марию, а кому-нибудь еще.

LXXXIII. Досада связывала руки, а к тому же казалось глупостью улаживать чужое уже дело, подвергая опасности себя самого, и Метелл отправил к Бокху послов с призывом не становиться беспричинно врагом римского народа. Ведь как раз теперь у него прекрасная возможность заключить дружеский союз, который, конечно, лучше войны, и, как бы ни доверял он своим силам, все же не стоит менять верное будущее на неверное. Любую войну легко развязать, но очень трудно прекратить. Начало ее и завершение — не во власти одного и того же: начать может всякий, даже трус, а закончится она лишь тогда, когда соизволят победители. А потому пусть печется о себе и своем царстве и своего благоденствия пусть не смешивает с обреченностью Югурты.

На это царь отвечал достаточно спокойно и сдержанно: он хочет мира, но жалеет Югурту, и если бы такая же возможность была предоставлена и тому, обо всем можно было бы договориться. Римский командующий направляет к Бокху новое посольство, с вознаграждениями, из них с некоторыми царь соглашается, прочие отклоняет. Так много раз ездили в обе стороны послы, и время уходило, а война, согласно с желанием Метелла, оставалась на прежнем месте.

LXXXIV. Марий, избранный, как сказано выше, консулом, по неотступному желанию народа, Марий, который и прежде ненавидел знатных, теперь, получивши в управление Нумидию, и участил и усилил свои нападки, и то оскорблял отдельных лиц, то все сословие целиком, твердил, что его консульство — это добыча, отнятая у побежденной знати, говорил и другие вещи, похвальные для себя и мучительные для его врагов. Впрочем, на первом месте стояли у него заботы о войне: он требовал пополнения для легионов, вызывал вспомогательные отряды от союзных народов и царей, созывал всех храбрейших людей Латия, в большинстве известных ему по совместной службе и лишь в немногих случаях — по слухам, упрашивал выступить в поход тех, что уже выслужили свой срок. Сенат, при всем недоброжелательстве к Марию, не смел отказать ему ни в чем, а пополнение предоставил даже с радостью — в уверенности, что и народу на войну не хочется, и что Марий либо недосчитается бойцов, либо потеряет расположение толпы. Напрасные надежды! Настоящая страсть идти следом за Марием владела большинством римлян. Каждый мечтал в душе, что на войне разбогатеет, что вернется домой победителем, мечтал и обо многом ином, тому подобном, и сильно воодушевил римлян своею речью Марий, когда перед началом набора — все его требования сенат удовлетворил — созвал сходку, чтобы ободрить народ и еще раз, по своему обыкновению, напасть на знатных. Выступил он так:

LXXXV. «Я знаю, квинтиты, что многие, домогаясь у вас военного начальствования, выказывали совсем не те качества, какие обнаруживали после, уже исполняя должность: сперва они бывали усердны, искательны, скромны, потом коснели в безделии и высокомерии. Но я сужу совсем по-иному: насколько государство в целом выше консульства или претуры, настолько больше заботы должно посвящать управлению государством, нежели стяжанию должностей. Мне совершенно ясно, какую ответственность я принимаю вместе с великою вашею милостью. Готовиться к войне и вместе с тем беречь казну, принуждать к службе тех, кому не хотелось бы причинять неудовольствие, иметь попечение обо всем в отече-

стве и за его пределами, и вдобавок в окружении людей враждебных, строптивых, властолюбивых, — это так трудно, квириды, что и вообразить нельзя! И еще: если оплошность допускали другие, им в защиту были и древнее происхождение, и подвиги предков, и поддержка родных и свойственников, и многочисленные клиенты. У меня вся надежда только на себя, и эту надежду надо оберегать собственным мужеством и безупречностью жизни; прочее ненадежно.

И другое понимаю, квириды: что все взоры обращены на меня, что добрые граждане желают мне добра, — оттого, что мои труды были на пользу государству, — а знатные высматривают, где бы нанести удар. Тем большее требуется от меня упорство, чтобы им обмануться, а вам не попасть впросак. Сызмальства и до сего часа жизнь моя такова, что все труды, все опасности мне привычны. И то, что прежде, до вашего благодеяния, я делал безвозмездно, — отказаться от этого теперь, получивши в награду консульство, у меня и в мыслях нет, квириды! Другим, которые прикидывались честными, пока добивались должности, трудно, конечно, соблюдать меру, достигнув власти, но я всю жизнь держусь самых строгих правил, и достойное поведение из привычки обратилось в самую природу.

Вы поручили мне войну с Югуртой, и знать до крайности этим раздосадована. Рассудите, пожалуйста, не лучше ли все переменить, поручивши это или иное подобное дело кому-нибудь из тесного круга знатных, отпрыску старинного древа, человеку очень родовитому и совсем не искушенному в военном искусстве. Без сомнения, он, по неопытности, затрясется, заспешит, а после возьмет в советчики кого-нибудь из народа. Так уже не раз бывало, что вы назначаете командующего, а он ищет, кого бы поставить вместо себя. Я сам, квириды, знаю таких людей, которые, лишь после того, как их выберут в консулы, принимались читать и рассказы о нашем прошлом, и военные наставления греков. Вздорные люди: по времени, и правда, сперва приобретаешь звание, потом уже действуйешь, но ведь по сути вещей как раз наоборот!

С этими спесивцами, квириды, сравните меня, человека безродного. То, что они услышат или вычитают из книг, я либо видел, либо совершил сам; что они выучили, сидя дома, я узнал в походах. Теперь решайте, поступки ли имеют больше весу или слова. Они презирают мою неродовитость, я презираю их малодушие; против меня — мое происхождение, против них — их позор. Мое мнение, впрочем, что от природы все люди одинаковы, а кто самый храбрый, тот и самый благородный. Если б можно было спросить у отца Альбина или, например, Бестии, их или меня пред-

почли бы они родить на свет, что бы мы от них услышали, как вы думаете? Только одно: «Сыновья наши пусть будут лучше всех!..» И если по праву относятся они ко мне с пренебрежением, пусть так же относятся и к собственным предкам, которые — наравне со мною — знатность свою приобрели через доблесть. Они завидуют чести, которой я удостоен, — тогда пусть завидуют и трудам, и безупречному имени, и даже опасностям, ибо лишь через все это оказана мне честь. Но, растленные своею спесью, они ведут такую жизнь, точно презирают почести, которыми вы награждаете, и, однако же, домогаются их так, точно всегда жили достойно. Нет, они поистине заблуждаются, если ожидают одновременно двух самых несовместимых выгод — радости от безделья и награды за доблесть! Вдобавок в речах перед вами или перед сенатом они многословно превозносят своих предков: восхваляя их подвиги, они думают прибавить славы себе. Пустое! Чем жизнь предков блистательнее, тем позорнее бездарность потомков. Судить об этом следует только так: слава отцов для потомства — как бы светильник, она не оставит во мраке ни достоинств, ни изъянов. Ее мне недостает, квинтиты, признаюсь, зато мне можно описывать собственные подвиги, а это намного прекраснее... Теперь вы видите, как они несправедливы. Ссылаясь на чужие заслуги, они приписывают себе то, в чем отказывают мне, невзирая на мои собственные. Еще бы, ведь у меня нет восковых изображений и знатность моя еще молода! Но, право же, лучше добыть знатность собственными силами, чем получить в наследство и опозорить.

Я отлично понимаю, что, пожелай они мне возразить, — и в избытке польются звучные и складные речи. Теперь, возведенный вами на высшую из должностей, я решил не молчать в ответ на их брань (а они повсюду поносят и меня, и вас), чтобы никто не припаял сдержанность за нечистую совесть. Меня-то, по глубочайшему моему убеждению, ни одна речь оскорбить не способна: кто будет говорить правду, тот непременно похвалит меня, кто солжет, того изобличат мои правила, моя жизнь. Но они порицают ваше решение, которым мне оказана высочайшая честь и поручено важнейшее дело, а потому размыслите еще и еще раз, не надо ли пожалеть об этом решении. Верно, я не могу похвастаться ни старинным родом, ни триумфами или консульствами моих предков, но, коли потребуется, покажу копыя, флаг, фалеры и другие воинские награды, а еще — шрамы на груди. В них и родовитость моя, и знатность, не по наследству доставшаяся — как у тех, — но приобретенная ценою бесчисленных трудов и опасностей.

Говорю я нескладно, ну да мне это безразлично. Дobleсть сама за себя говорит достаточно внятно. А тем, конечно, без хитроумия

не обойтись — чтобы за словами спрятать безобразие поступков. И греческих писателей я не знаю. Не хотелось мне их изучать: ведь тем, кто их постигнул, мужества не прибавилось. Но что для государства всего важнее, в этом я знаток: умею разить врага, расставлять караулы, не страшиться ничего, кроме дурной славы, терпеть и холод и зной одинаково, спать на голой земле, переносить одновременно и лишения, и труды. Свои привычки и убеждения я хочу внушить солдатам и не намерен их стеснять, а сам роскошествовать, славу забирать себе, а тяготы оставлять им. Такое командование и полезно, и достойно свободных граждан. А если сам живешь в свое удовольствие, войско же принуждаешь повиноваться наказаниями, ты не командующий, ты владыка. Но ваши предки держали себя по-иному — и прославили себя и государство. На их славу полагается знать; нравами она не схожа с ними несколько, нас, пытающихся им подражать, презирает, но все почетные должности требует себе, не по заслугам, а будто старый долг. Но, в бесстыдном своем чванстве, они слепо заблуждаются, эти люди. Предки оставили им все, что только возможно, — богатство, родовитость, славные воспоминания, но доблести не оставили и не могли оставить: доблесть одна и не дается в дар, и не принимается.

Они зовут меня скрягою и невежею, потому что я недостаточно изысканно потчую и развлекаю гостей, не держу шутов, не плачу за повара дороже, чем за управляющего именем. Охотно признаюсь, квириты: это правда. От отца и других безупречных людей я слышал и усвоил: изящество подобает женщинам, а мужчинам — работа, всякий порядочный человек должен стремиться к славе, а не к богатству, и украшает его оружие, а не домашняя утварь. Ну, хорошо, пусть бы они постоянно занимались тем, что для них дорого и приятно, — распутничали, пьянствовали, старость проводили там же, где и юность, то есть на пирушках, угождая брюху и самому презренному из членов; а пот, и пыль, и прочее тому подобное, пусть бы оставили нам, которым труды милее пиров. Так нет же! Эти негодяи сперва измарают себя гнусностями, а после кидаются отбивать награды у достойных. И выходит, что худшие пороки, роскошь и лень, насколько не вредят тем, кто в них погрязнул, а весь ущерб — вопреки какой бы то ни было справедливости — несет ни в чем не повинное государство.

Теперь, ответивши им (насколько того требовали мои правила, но не их мерзости), я скажу немного о делах государства. Во-первых, что касается Нумидии, забудьте ваши тревоги, квириты. Все, что до сей поры оберегало Югурту, вами устранено: алчность, неопытность, наконец, высокомерие. Далее: войско в Африке хорошо знает местность, но, клянусь Геркулесом, оно скорее храбро, чем

удачливо, ибо значительная часть его погублена алчностью либо безрассудством вождей. Я обращаюсь к тем, кто способен носить оружие: вместе со мною напрягите все силы, защитите наше государство! И пусть никто не испытывает страха, вспоминая о прежних неудачах и о надменности командующих, потому что я сам буду вашим товарищем и вашим советчиком и на походе, и в битве, и мы будем ровнею во всем. Победа, добыча, слава — поистине, все плоды уже поспели, с помощью богов. Но будь они даже неверны или далеки, долг любого честного гражданина — прийти на помощь отечеству. Ведь трусость еще никого не сделала бессмертным, и ни один отец не желал своим сыновьям вечной жизни, но скорее — честной и достойной. Я говорил бы еще, квинтиты, да только робким слова мужества не внушат, а для храбрых, по-моему, сказано с избытком».

LXXXVI. Вот примерно какую речь произнес Марий. Видя, что народ полон воодушевления, он поспешно грузит суда продовольствием, деньгами, оружием и многим иным, необходимым для войны, и приказывает легату Авлу Манлию выйти в море, а сам между тем набирает воинов, но не по обычаю предков, не по разрядам, а всякого, кто захочет, большею частью неимущих. Одни объясняли это нехваткою состоятельных граждан, другие — льстивым искательством, потому что как раз такого рода люди возвысили и возвеличили консула Мария и потому что для человека, домогающегося власти, бедняки — самая желанная опора: ведь о своем бедняк не хлопочет, потому что ничего своего у него нет, а всякий прибыток представляется ему честным.

Итак, Марий отплыл в Африку с подкреплением гораздо более многочисленным, чем было назначено, и спустя несколько дней высадился в Утике. Войско ему передал легат Публий Рутилий. Метелл от встречи с Марием уклонился, дабы не увидеть того, о чем он и слышать спокойно не мог.

LXXXVII. Консул пополнил легионы и вспомогательные отряды и выступил в плодородные, обильные добычею места. Все, что было там захвачено, он отдал солдатам, а потом стал нападать на худо укрепленные и неудачно расположенные поселки и города, повсюду завязывая частые, но легкие сражения. В таких битвах новобранцы участвовали без страха; они убеждались, что беглецы попадают в плен или гибнут и что самая надежная защита — это храбрость, что лишь с оружием в руках обороняют свободу, отечество, родителей и все прочее, ищут славы и богатства. Так в короткий срок новые воины слились со старыми и сравнивались с ними в отваге.

А цари, узнав о прибытии Мария, разделились и порознь ото-

шли в непроходимые дебри. Так предложил Югурта, в надежде, что враги скоро разбредутся в беспорядке и тогда на них можно будет напасть: почувствовав себя в безопасности, уверял он, римляне, как и большинство других, сделаются легкомысленны и беспечны.

LXXXVIII. А Метелл тем временем прибыл в Рим и, вопреки своим опасениям, был встречен на редкость приветливо, ибо ненависть успела улечься, и народ радовался так же точно, как и сенаторы.

Марий одинаково зорко и вдумчиво наблюдал за всем, что происходило у врагов и у римлян, выведывал все выгодные и невыгодные для обеих сторон обстоятельства, следил через лазутчиков за передвижением обоих царей, старался раскрыть их замыслы и хитрости, у себя ничего не оставлял втуне, у них — в безопасности. Часто налетал он в пути и на гетулов, и на Югурту, когда те угоняли добычу из владений наших союзников, громил их, а раз, недалеко от Цирты, разбил наголову и заставил бросить оружие самого царя. Видя, однако, что это приносит ему только славу, к завершению же войны не ведет, он решил осаждать поочередно все самые многолюдные и трудно доступные, а потому особенно важные для врага и опасные для римлян города: тогда Югурта либо лишится главных своих оплотов, — если позволит неприятелю действовать беспрепятственно, — либо примет сражение. Что до Бокха, то он уже не раз засылал к Марию своих людей с заверениями, что ищет дружбы римского народа и никаких враждебных шагов более не предпримет. Лгал ли он, чтобы тем тяжелее оказался внезапный удар, или по всегдашнему непостоянству природы готов был сменить войну на мир, точно не известно.

LXXXIX. Консул, как и постановил, принялся нападать на города и крепости и одни отбил у врага силою, другие угрозами или обещаниями награды. Начал он с менее значительных, — в предположении, что Югурта явится на помощь своим и вступит в бой. Но тот держался вдали, поглощенный иными заботами, и тогда Марий задумал приступить к делу, более важному и более сложному.

Стоял посреди обширной пустыни большой и сильный город Капса, чьим основателем называли Геркулеса Ливийского. Жители его податей Югурте не платили, и власть царя была для них необременительна, а потому они считались самыми верными подданными; от врагов их защищали не только стены и вооруженные воины, но, прежде всего, суровость природы. Кроме ближайших к городу мест, все прочее было дико, необитаемо, безводно и кишело змеями, которые, подобно любому животному, от голода становятся особенно свирепы. Вдобавок ничто так не распаляет змеиную натуру, и без того смертельно опасную, как жажда. Марий

испытывал самое страстное желание овладеть Капсой — и ради военных выгод, и ради трудности дела: ведь взятие Талы принесло Метеллу большую славу, а оба эти города и расположены и защищены одинаково, разве что под Талою было несколько родников недалеко от стен, а жители Капсы обходились всего одним источником — но зато в городских пределах, — в остальном же пользовались дождевою водой. И в тех, и в иных краях Африки, удаленных от моря и отличавшихся грубою простотою жизни, нехватка воды, однако ж, была почти неощутима, потому что питались нумидийцы главным образом молоком и дичью и не нуждались ни в соли, ни в других приправах; пища у них была средством против голода и жажды, но никак не служила ни наслаждению, ни роскоши.

ХС. Все разведавши, консул положился, мне думается, на милость богов, ибо одолеть такие препятствия силою разума казалось немислимым, а к тому же римлянам грозила недостача хлеба: у нумидийцев главная забота не пашни, а пастбища, да и то, что уродилось, они успели, по приказу царя, свезти в надежные хранилища, поля же в эту пору года — на исходе лета — были сухи и голы. И тем не менее, насколько лишь было возможно, Марий действовал с достаточною осмотрительностью. Весь скот, захваченный у врага за последние дни, он поручил конникам вспомогательных отрядов, легату Авлу Манлию с когортами легкой пехоты велел идти к городу Лары, где прежде оставил деньги и продовольствие, а сам обещал быть там же спустя несколько дней с новою добычей. Скрыв таким образом свои намерения, он устремился к реке Танаис.

ХСІ. По пути он ежедневно распределял скот между воинами по центуриям и турмам и следил, чтобы из шкур делали бурдюки: он смягчал нужду в хлебе и вместе с тем, соблюдая строжайшую тайну, готовился к дальнейшим событиям. Когда на шестой день пришли, наконец, к реке, бурдюков было без счета. На скорую руку разбили лагерь, и Марий распорядился, чтобы воины поели и на закате солнца были бы готовы к походу, груз бросили бы на месте весь, а брали бы с собою и на животных выючили только воду. Дождавшись намеченного часа, он покидает лагерь и, пробыв в пути всю ночь, останавливается; то же повторилось на другую ночь, а на третью, задолго до рассвета, достигли гряды холмов не более чем в двух милях от Капсы и там засели всем войском, стараясь ничем себя не обнаружить. Когда же начался день и нумидийцы, ни о чем не подозревая, в большом числе вышли из города, Марий внезапно отдает приказ коннице и самым проворным из пехотинцев мчатся к Капсе и захватить ворота; консул, в боевой готовности, поспешил следом и не дал воинам разбрестись для грабежа. Когда капсийцы это обнаружили, смятение, ужас, неожидан-

ность бедствия, то, наконец, что часть горожан осталась за стенами, во власти врага, все вместе взятое принудило их к сдаче. II, однако же, город был предан огню, взрослые нумидийцы перебиты, все прочие проданы в рабство, добыча поделена меж солдатами. Это преступление против права войны совершилось не по алчности и не по злобе консула, но оттого, что само место было выгодно для Югурты и почти недоступно для наших, и еще оттого, что нумидийцы — племя неверное, ненадежное, которое ни добром, ни угрозою не удержишь.

ХСII. Решив такую задачу без малейших потерь, Марий, уже и раньше великий и прославленный, умножил величие свое и славу. Знаки доблести усматривали даже в его просчетах. Солдаты, которым он не только оказывал снисхождения по службе, но и дал разбогатеть, превозносили его до небес, нумидийцы чтили почти как бога, и все, союзники и враги, верили, что либо он наделен божественным разумом, либо, с изволения богов, провидит будущее.

После того, как это начинание счастливо завершилось, консул выступил против других городов и немногие захватил, сломив сопротивление нумидийцев, а большую часть занял брошенными — вследствие горестной гибели капсийцев — и пожег. Повсюду стоял вопль и лилась кровь. Овладев многими местностями, и опять-таки почти без потерь, Марий затевает новое предприятие, иного свойства, чем капсийское, но не менее трудное.

Невдалеке от реки Мулухи, что разделяла царства Югурты и Бокха, возвышалась посреди равнины скалистая гора, необыкновенно высокая, с одним-единственным и очень узким подходом к вершине, на которой уместилась небольшая крепость; все склоны были так круты, словно не природа об этом позаботилась, а искусство и руки человека. Там хранились царские сокровища, и Марий стремился взять крепость во что бы то ни стало. Но помог ему только случай, потому что вдоволь было на горе и воинов, и оружия, а к тому же громадные запасы хлеба и источник воды; валы, башни и другие укрепления закрывали путь наглухо, тропа же, которою ходили защитники крепости, была до крайности тесна, и по обоим краям — обрывы. С огромной опасностью подвели осадные навесы — и попусту: едва придвигались они чуть ближе, их разрушали огнем и градом камней. Из-за крутизны солдаты не могли ни занять позицию впереди осадных сооружений, ни действовать уверенно между навесами: всех лучших враг разил насмерть или ранил, остальные не смели пошевелиться от страха.

ХСIII. Много дней прошло в таких трудах, и Марий мучительно размышлял, не оставить ли свое начинание, по-видимому бесплодное, или все-таки дожидаться счастливого случая, который

в прошлом часто его выручал. Много дней и ночей длились тревожные эти раздумья, и вот вышло так, что какой-то лигуриец, рядовой из вспомогательных когорт, отправился из лагеря по воду и у края крепости, противоположного тому, где сражались, заметил улиток, ползавших среди скал. Он подобрал одну, другую, потом еще и еще, и, забывшись, постепенно поднялся почти до вершины. Вокруг не было ни души, и солдатом овладело свойственное человеку желание исполнить дело еще более трудное. В том месте между камней пустил корни могучий дуб со стволом сперва несколько наклонным к земле, а после изгибавшимся и уходившим ввысь, куда устремляет природа всякое растение. Цепляясь то за его ветви, то за выступы скал, солдат выбрался на уровень крепости, потому что все нумидийцы, не отрываясь, следили за битвою. Он разведal все, что, по его суждению, могло бы вскоре оказаться полезным, и спустился той же дорогою, но уже не как попало, как на подъеме, а все испытывал и высматривая. Потом он спешит к Марию, сообщает о своем приключении и призывает напасть на крепость с того края, где взшел он сам, предлагая себя в проводники и начальники. Марий посылает нескольких приближенных вместе с лигурийцем — проверить его сообщение. Те докладывают каждый в согласии со своим нравом: одни — что дело трудное, другие — что простое, — консул, однако же, слегка приободрился. Из большого числа трубачей он выбирает пятерых, самых легких на ногу, дает их для защиты четверых центурионов, начальником надo всеми ставит лигурийца и для исполнения задуманного назначает ближайший день.

XCIV. Когда настал указанный Марием час, все были в полной готовности, и лигуриец выступил. По его распоряжению, участники дела переменяли оружие и платье: шли с непокрытою головою и босые, чтобы лучше видеть и ловчее цепляться за камни, мечи и щиты несли за спиною, и притом щиты нумидийские, кожаные — они меньше весом и не так гремят при ударе. Первым двигался лигуриец; он вязал петли вокруг выступов скалы и старых корней, и солдаты легче карабкались вверх, держась за веревку, а когда они все же робели, непривычные к горам, вожатай подавал им руку. Где путь был особенно труден, лигуриец пропускал вперед своих подчиненных, одного за другим, безоружных, а сам взбирался следом, неся их оружие на себе. Если место казалось ненадежным, он проходил его несколько раз взад-вперед, а после быстро отступал в сторону, вселивши отвагу в товарищей.

Наконец, после долгого и утомительного подъема, они добрались до крепости, которая с той стороны была пуста, потому что, как и в остальные дни, все отбивались от неприятеля. Марий с самого утра боем отвлекал внимание нумидийцев, но теперь, когда

через гонцов получил весть об успехе лигурийца, снова призвал воинов к мужеству, выбежал из-под навеса, выстроил «черепашу» и двинул ее к самой стене, одновременно издали засыпая врага снарядами метательных машин, стрелами, ядрами пращников. А нумидийцы, которые прежде не один уже раз разрушали и жгли осадные навесы римлян, не прятались за стенами крепости, но дни и ночи проводили впереди укреплений, поносили врагов, Мария бранила сумасбродом, сулила нашим рабство у Югурты, кичились своими успехами. И вот, меж тем как все, и римляне, и враги, поглощены борьбою и все сражаются, не щадя сил (одни — славы и власти ради, другие — ради собственной жизни), вдруг позади зазвучали сигнальные трубы. Сперва бросились бежать женщины и дети, которые вышли поглядеть на битву, после — те, кто находился рядом со стеною, и, наконец, — все без разбора, вооруженные и безоружные. Тут римляне напирают еще горячее, опрокидывают врага, но очень многих только ранят и, прямо по телам убитых, наперебой, рвутся дальше, к стене, жадные до славы, и нет среди всех ни одного, кто отвлекся бы грабежом. Так опрометчивость Мария была исправлена счастливой случайностью, и ошибка принесла ему славу.

XCV. Тем временем в лагерь прибыл квестор Луций Сулла с многочисленною конницею, которую он набрал в Латии и у союзников, ради чего и был оставлен Марием в Риме.

Раз уже зашла речь о таком человеке, мне кажется уместным описать в немногих словах его нрав, воспитание и привычки, ибо в дальнейшем говорить о жизни Суллы я не намерен, а Луций Сизенна, самый лучший и самый усердный среди всех, кто изображал события этого времени, по-моему, высказался далеко не беспристрастно.

Итак, он принадлежал к знатному патрицианскому роду, но блеск семьи почти угас — по лености предков Суллы. Он был одинаково хорошо образован и в греческой, и в латинской словесности, богато одарен, жаден до наслаждений, но еще того более — до славы. На досуге он любил жить роскошно, но никогда удовольствия не составляли помехи важным занятиям, и, пожалуй, лишь в делах семейных следовало бы ему обнаружить больше достоинства. Он был красноречив, изворотлив и легко сходиллся с людьми, не знал себе равных в умении скрывать истинные свои намерения, был щедр на многое и всего более — на деньги. Не было человека удачливее его, и, однако же, до победы в гражданской смуте никогда счастье Суллы не превышало собственных его стараний, и многие не могли решить, чему обязан он более — отваге или удачливости. Что же касается его дальнейших поступков, обсуждать их мне то ли стыдно, то ли неприятно — сам не пойму.

ХСVI. Когда Сулла, как сказано выше, прибыл с конницею в Африку и явился в лагерь Мария, он был совершенно несведущ в военном искусстве, но в короткий срок постигнул все до тонкостей. Вдобавок он дружески обращался с солдатами, многим оказывал услуги, когда — отвечая на просьбу, а когда — и по собственному почину, принимал же услуги неохотно и возвращал скорее, чем заемные деньги, меж тем как сам ответных одолжений ни от кого не требовал, напротив — старался, чтобы как можно больше людей были у него в долгу, вел и шутливые и серьезные речи с воинами самого низкого звания, заговаривал со многими и на лагерных работах, и на походе, и на караулах, но при этом никогда не задевал доброго имени консула или иного уважаемого человека, — как в обычае у низкого честолюбия, — и лишь никому старался не уступить первенства ни в совете, ни в деле, а многих и оставлял позади. Такими повадками и правилами он быстро и сильно полюбился и Марию, и войску.

ХСVII. Потеряв город Капсу и другие важные для себя крепости, а к тому же и немалые деньги, Югурта отправил послов к Бокху с просьбою, чтобы тот поскорее вел свои боевые силы в Нумидию: час битвы настал. Но Бокх медлил, колеблясь в нерешительности меж войною и миром, и Югурта снова, как прежде, подкупил подарками царских приближенных, а самому мавру обещал третью часть Нумидии, если римляне будут изгнаны из Африки либо же борьба закончится при неизменных его, Югурты, границах. Соблазнившись этою платою, Бокх с большим войском присоединился к Югурте.

Вместе они нападают на Мариа, — который уже на пути к зимним квартирам, — в тот час, когда до темноты остается едва десятая часть дня: они рассчитывают, что надвигающаяся ночь будет им прикрытием в случае поражения и не помехою в случае победы, потому что они знают местность; напротив, римлянам при любом исходе темнота доставит особые трудности. Не успел еще консул выслушать многочисленные донесения, что враги поблизости, как вот они уже появляются, и, прежде чем войско построилось или хотя бы сложило в одно походную кладь, прежде чем можно было уловить звук трубы или слова приказа, мавританские и гетулийские конники налетают на наших, но не строем и вообще не по обычаю войны, а беспорядочной толпою, как придется. Наши, хоть и испуганные неожиданной опасностью, все же помнят о своей доблести и берутся за оружие, а взявшись, защищают от неприятеля товарищей, некоторые вскакивают на лошадей и мчатся навстречу врагу. Схватка похожа скорее на разбойничий набег, чем битву. Не подняв знамен, не соблюдая рядов, сражаются конные

и пешие вперемешку, одни отходят, другие падают под мечами, многие бьются с необычайной отвагою, но попадают в кольцо. Нет надежной защиты ни в оружии, ни в мужестве, потому что у врагов численный перевес и наши окружены. Наконец, старые и потому опытные воины, случайно оказавшиеся рядом, составили круг и, оборонив себя таким построением со всех сторон, сдержали натиск врага.

ХСVIII. В этом труднейшем положении Марий не испугался и не пал духом, но с турмою личной охраны, для которой выбирал не самых близких друзей, но самых храбрых солдат, скакал он взад-вперед, то подавая помощь своим, там где им приходилось слишком туго, то нападая на врагов, там где они ломили особенно густо; в ударах копья обнаруживал он теперь заботу о своих людях, ибо командовать при всеобщем смятении ни малейшей возможности не было. День уже угас, но варвары и не думали отступать, напротив, исполняя наказ царя, который внушил им, что ночь — за них, рвались вперед еще упорнее. Тогда Марий принимает решение, подсказанное обстоятельствами, и, чтобы доставить римлянам укрытие, захватывает два соседние холма, из которых один с полноводным родником, но для лагеря слишком мал, другой же как раз удобен, оттого что высок и почти отовсюду круг, а стало быть, укреплений требует незначительных. Подле источника Марий ставит на ночь Суллу с конницей, а сам постепенно стягивает рассыпавшуюся пехоту — благо и у неприятеля царило такое же точно замешательство — и затем скорым шагом уводит всех на холм. Трудность позиции заставляет царей прекратить сражение, но отступать они своим не велят, а располагаются в беспорядке у подошвы холмов, плотно их окружив. Загорелись частые костры, и далеко за полночь варвары ликовали на свой варварский лад, плясали, орали, и оба предводителя похвалялись победою, оттого лишь, что не бежали. С высоты, из потемок римляне могли сколько угодно любоваться этим зрелищем, которое внушало им немалую бодрость.

ХСIX. В самом деле, глупость врага чрезвычайно ободрила Мария, и он распорядился соблюдать полную тишину и даже, нарушая обычай, запретил трубачам трубить смену караулов. А перед рассветом, в час, когда враги, наконец, притомились и уснули, он вдруг отдает приказ караульным и трубачам по когортам, турмам и легионам, чтобы они все разом трубили сигнал, а воинам — чтобы с боевым кличем выскакивали за ворота. Мавры и гетулы, внезапно разбуженные непонятным и грозным шумом, не в состоянии были ни бежать, ни взяться за оружие, ни вообще что бы то ни было предпринять или чем-либо озаботиться: грохот, крик, смятение, страх, чувство беспомощности, натиск наших — все, вместе

взятое, почти что лишило их рассудка. В конце концов неприятель был разбит наголову, оружия и боевых знамен потерял без числа, а мертвыми — больше, чем во всех предыдущих сражениях: сон и небывалый ужас помешали бегству.

С. Затем Марий продолжил свой путь к зимним квартирам (он решил провести зиму в приморских городах ради выгод подвоза), но победа не прибавила ему ни беспечности, ни самонадежности, и он подвигался боевым порядком, словно в виду врага. Сулла с конницей прикрывал правый фланг, на левом находился Авл Манлий с пращниками, лучниками и когортами лигурийцев. Открывали и замыкали поход манипулы легкой пехоты под началом трибунов. Перебежчики, которыми дорожили всего меньше, а местность они знали лучше всех, следили за перемещениями неприятеля. Но консул, точно не было иных начальников, обо всем заботился сам, появлялся повсюду, раздавал заслуженные похвалы и укоры. Всегда наготове и при оружии, он требовал того же и от солдат. С прежнею осмотрительностью правил он путь, укреплял лагерь, ставил на часы в воротах когорты легионеров, за укрепления высылал конников из вспомогательного войска, назначал стражу на вал, да еще лично поверял караулы — не из опасения, что приказы его худо исполняются, но чтобы войны с охотой переносили свои труды, видя, что командующий трудится наравне с ними. Нет сомнения, что и тогда, и во всякую иную пору войны с Югуртой Марий поддерживал порядок в войске, взывая скорее к совести, чем к страху. Многие утверждали, будто он заискивает перед солдатами, другие — что получает удовольствие от всякого рода суровостей и лишений, которые у остальных людей зовутся тяготами, а ему привычны с детства. Как бы то ни было, общее дело не несло ни малейшего урона, словно при самой строгой власти.

СІ. На четвертый день, недалеко от города Цирты, отовсюду разом показались поспешно возвращавшиеся лазутчики, и Марий понял, что неприятель рядом. Но так как появились они с разных сторон, а знаки все подавали одни и те же, консул не мог решить, каким образом строить боевую линию, и потому остановился в ожидании, не изменив походного порядка, готовый к любой неожиданности. Так просчитался Югурта, разбивший войско на четыре самостоятельных отряда, в надежде что из них хоть один выйдет римлянам в тыл. Первым в соприкосновение с противником вступил Сулла. Ободрив своих, он приказал сплотить коней как можно теснее и нападать турмами. Всадники помчались на мавров, остальные по-прежнему стояли на месте, прикрываясь от летевших издали стрел и дротиков и умерщвляя всякого, кто отваживался на рукопашную.

Пока сражались конники, в хвост римской колонны ударил Бокх

с пехотинцами, которых привел его сын Волук (в предыдущей битве они не участвовали, задержавшись в пути). Марий находился в голове колонны, отражая самый многочисленный неприятельский отряд под командою Югурты. Узнав, что Бокх уже завязал бой, нумидиец с немногими спутниками незаметно приблизился к пехоте и закричал по-латыни, — которой выучился при Нумандии, — что римляне сражаются впустую: он-де только что собственной рукой убил Мариа. И он потрясал окровавленным мечом — то была кровь наших пехотинцев, обильно пролитая в жестокой схватке. Эта чудовищная весть испугала воинов, хотя полной веры они ей не дали, а варвары воспрянули духом и с новою яростью надели на растерянных римлян. Еще немного — и началось бы бегство, но Сулла, разгромив тех, на кого напал, вернулся и обрушился на мавров с фланга. Бокх тут же повернул назад, а Югурта, пытаясь удержать своих и не упустить почти достигнутой победы, был окружен конниками, потерял всю свиту и вырвался в одиночку, под градом вражеских дротиков. Тут и Марий, рассеяв неприятельскую конницу, подоспел на помощь своим, которые, как ему донесли, были уже на грани поражения. Теперь римляне торжествовали по всему полю брани, и страшное открывалось взору зрелище: одни бегут, другие — следом, убивают, захватывают в плен, конские и людские трупы вперемешку, множество раненых, которые не могут ни бежать, ни оставаться в покое, но привстают на миг и падают снова, вплоть до самого окоема все устлано оружием и мертвыми телами, а меж ними — набухшая кровью земля.

СII. После этого консул уже бесспорным победителем прибыл в город Цирту, куда и направлялся спервоначалу. На шестой день после вторично несчастливой для варваров битвы явились посланцы Бокха и от имени своего царя просили Мариа отрядить к нему двоих самых надежных людей, с которыми он мог бы переговорить о предметах, полезных и для Бокха, и для римского народа. Марий немедленно снаряжает в путь Луция Суллу и Авла Манлия. Хотя римляне ехали, откликаясь на зов царя, они пожелали взять слово сами, — чтобы направить мысли Бокха по-иному, если он не склонен к миру, а если склонен, то чтобы утвердить его в этом решении. И вот Сулла (которому Манлий, превосходя его летами, уступал в красноречии) высказался кратко и в таких примерно выражениях:

«Царь Бокх, для нас большая радость, что боги внушили, наконец, столь значительному человеку, как ты, предпочесть мир войне и не грязнить достойного своего имени сообщничеством с Югуртою, гнуснейшим из людей, и что ты избавляешь нас от горькой необходимости карать твою ошибку паравне с чудовищными его преступлениями.

Прибавлю, что, нуждаясь в поддержке, римский народ всегда считал более разумным приобретать друзей, а не рабов, и более надежным — властвовать с согласия подчиняющихся, нежели вопреки их воле. Для тебя же нет ничего выгоднее нашей дружбы, оттого, во-первых, что мы далеко и, стало быть, поводы ко взаимным неудовольствиям ничтожны, а взаимное согласие не слабее, чем если бы мы были рядом, и еще оттого, что подданных у нас вдоволь, а друзей мало, как, впрочем, и у всех остальных людей на земле. Если бы ты понимал это с самого начала! Право же, к нынешнему времени ты успел бы принять от римского народа намного больше добра, нежели испытал зла.

Но поскольку большинством дел человеческих правит случай, а ему было угодно, чтобы ты изведал и силу нашу, и милость, теперь,— когда случай этому не препятствует,— поторопись продолжить начатое. Есть много удобных способов загладить свои заблуждения добрыми услугами. И запомни раз и навсегда: римский народ в благодеяниях непобедим. А какова сила его в бою, ты уже удостоверился».

Бокх отвечал спокойно и дружелюбно, оправдываясь очень скупо. Он объяснил, что взялся за оружие не из вражды к Риму, а чтобы защитить свое царство: ведь та часть Нумидии, откуда он изгнал Югурту, сделалась по праву войны его владением, и он не мог оставить эту землю Марию на разорение. Кроме того, он уже засылал к римлянам послов, но в дружеском союзе ему отказали. Впрочем, он готов забыть прошлое и, если Марий позволит, сразу же отправит к сенату новое посольство.

Разрешение это было получено, но варвар успел передумать, послушавшись своих приближенных, а тех подкупил Югурта, который проведал о поездке Суллы и Манлия и страшился того, что они замыслили.

СIII. Между тем Марий, разместив войско на зимних квартирах, выступил с когортами легкой пехоты и частью конницы в пустыню, чтобы осадить царский замок, где стояли караульным отрядом все римские перебежчики.

Тут Бокх снова передумал, либо взвесив урон, который принесли ему два сражения, либо внявши уговорам других приближенных, которых Югурта не счел нужным подкупить; из множества друзей он выбрал пятерых, мужей испытанной верности и самых крепких разумом, и велел им ехать к Марию, а после, с его согласия, и в Рим, чтобы открыть переговоры и покончить с войною на любых условиях. Те быстро двинулись к римским зимним квартирам, но в пути были захвачены и ограблены гетулийскими разбойниками и к Сулле, которого консул, отправляясь в поход, оста-

вил вместо себя, явились в жалком виде, чуть живы от страха. Сулла обошелся с ними не как с вероломными врагами (хоть они того и заслуживали), но приветливо и добросердечно, и потому молву об алчности римлян варвары признали ложной, а Суллу, за его к ним доброту, признали другом. Еще и тогда подкуп был многим неведом: всякую щедрость полагали знаком искреннего благожелательства, любой подарок — свидетельством доброго расположения. Итак, послы открыли квестору поручение Бокха и просили у него покровительства и совета. Одновременно они превозносили богатство, верность, могущество своего государя и прочие его достоинства, как им представлялось, — завидные и способные доставить Бокху благоволение римлян. На все просьбы Сулла отвечал согласием и научил их, как держать себя с Марием и как говорить перед сенатом. Всего они провели в ожидании около сорока дней.

CIV. Марий исполнил свой замысел, вернулся в Цирту и, узнав о прибытии послов, вызвал их из Утики вместе с Суллою; приглашены были также претор Луций Беллиен и все, кто принадлежал к сенаторскому сословию, и вместе с ними Марий выслушал предложения Бокха, в числе которых было пожелание, чтобы консул дозволил послам отплыть в Рим, а пока установил перемирие. Сулла и большинство совета одобрили эти условия, и лишь немногие выдвигали требования более суровые, — разумеется, по неопытности в делах человеческих, всегда таких непрочных, шатких, склопных к переменах в дурную сторону.

Мавры достигли своего, и трое из них выезжают в Рим с квестором Гнеем Октавием Рузоном, который доставил в Африку жалованье, а двое возвращаются к царю. Среди прочих вестей, которые они привезли, особенно приятно для Бокха оказывается расположение и радушие Суллы. А в Риме послы молят о прощении, признавая, что царь заблуждался, что виною всему — злодейство Югурты, молят о дружбе и союзе и получают такой ответ:

«Сенат и народ римский привыкли держать в памяти и добрые дела, и обиды. Однако же, принимая в рассуждение раскаяние Бокха, они прощают царю его провинность. Союз и дружба будут ему даны, как скоро он этого заслужит».

CV. Получив такое сообщение, Бокх письмом просил Мариа прислать к нему Суллу с самыми широкими полномочиями для обоюдоважных переговоров. Сулла был отправлен под охраною конницы, пехоты и балеарских пращников. С ним выступили еще лучники и когорта пелигнов под оружием велитов — чтобы не затруднять похода; впрочем, от неприятельских стрел и дротиков, легких весом, и это оружие защищало не хуже всякого другого. На пятый день пути в открытом поле внезапно появился Волук, сын

Бокха, с тысячью всадников, не более, но скакали они врассынную, как попало, и потому Сулле и всем прочим почудилось, будто отряд гораздо многочисленнее и намерения у него враждебные. Каждый приготовился к бою, проверил копьё, щит и меч, собрался с духом: страх был немалый, но перевешивала надежда — ведь победители снова встретились с теми, кого побеждали уже неоднократно. Тем временем вернулись копники, высланные в разведку и доложили, — как оно и было на самом деле, — что тревога ложная.

CVI. Приблизился Волук и, обратившись к квестору, объяснил, что он сын Бокха и что отец отправил его навстречу римлянам, для охраны. В тот день и в следующий они шли, соединившись с маврами, без всяких опасений. На третий день к вечеру, когда лагерь был уже разбит, к Сулле вдруг подбегает Волук и боязливо, со смущением в лице передает донесение своих дозорных: Югурта неподалеку. Он настоятельно просит Суллу тайно бежать ночью с ним вместе. Сулла отказывается наотрез: ему не страшен столько раз битый нумидиец, он вполне уверен в храбрости своих людей, и, наконец, даже если бы грозила неминуемая гибель, он и тогда остался бы, но не предал тех, кого ведет, ценой позорного бегства не спасал бы жизни, такой непрочной, быть может, обреченной вскоре же оборваться в недуге. Но совет мавра выступить ночью он одобряет и отдает приказ, чтобы воины поторопились с обедом, потом разожгли в лагере костры почаще, а потом, в первую стражу, молча вышли бы за ворота. На рассвете Сулла распоряжается устраивать лагерь (все были измучены ночным переходом), как вдруг мавританские всадники докладывают, что Югурта расположился примерно в двух милях впереди. Тут уже настоящий ужас охватывает наших: они уверены, что Волук их предал и заманил в засаду. Зазвучали голоса, что его нужно убить, что нельзя оставлять такое злодейство безнаказанным.

CVII. Но Сулла, хотя и сам был того же мнения, помешал незаконной расправе. Он убеждал своих сохранять мужество — ведь и прежде часто бывало, что немногие храбрецы успешно бились против целой толпы врагов. Чем меньше станут они щадить себя в сражении, тем надежнее будут защищены, и если уж кто взял в руки оружие, так стыдно просить помощи у безоружных ног, не дело в миг величайшей опасности обращать к неприятелю спину, ничем не прикрытую и слепую. Затем, призвав всемогущего Юпитера в свидетели преступной измены Бокха, он приказал Волуку, пособнику врага, покинуть лагерь. А тот со слезами молил не давать веры подозрениям: никакого обмана не было, всему причиною одна лишь хитрость Югурты, который выследил путь его отряда. Вдобавок сил у нумидийца немного, а все его виды на будущее связаны с отцом Волука, а потому он, конечно, не отважится на-

пасть открыто, пока сын царя сам сопровождает римлян. А потому лучше всего, заключил Волук, пройти прямо через лагерь Югурты; мавров можно пустить первыми или, наоборот, пусть ждут на месте, а он, Волук, пойдет с Суллою один. Предложение было принято — иного выхода не нашли. Выступили тут же, среди врагов появились совершенно неожиданно и, пока Югурта медлил и колебался, благополучно миновали неприятельскую стоянку. Несколькими днями спустя они были у цели.

СVIII. С Бокхом часто и коротко общался нумидиец по имени Аспар — посол Югурты и вместе с тем тайный соглядатай: Югурта отправил его к мавру, когда прослышал о приглашении, сделанном Сулле. Еще царь высоко ценил ум и дарования Дабара, сына Масуграды; свой род он вел от Масиниссы, но по женской линии происхождения был скверного — отец его родился от наложницы. Этот человек был давним и испытанным другом римлян, и Бокх без промедлений просит его передать Сулле, что он готов исполнить волю римского народа и чтобы Сулла сам назначил место, день и час для встречи, а посланца Югурты чтобы не опасался. Прежние отношения с нумидийцем, заверял Бокх, он сохраняет умышленно — чтобы свободнее вести общее для римлян и мавров дело; иным образом от козней Югурты не уберечься.

Но я знаю заведомо, что не по той причине, какую он приводил, а скорее из «пунийской честности» удерживал Бокх надеждами на мир и римлян и нумидийца разом и что он долго колебался, выдать ли Югурту римлянам или Сулле Югурте; желание подавало советы против нас, страх — в нашу пользу.

СIX. Итак, Сулла объявляет, что при Аспаре будет немногословен, а основные переговоры поведет скрытно, совсем без свидетелей или в присутствии очень немногих. Одновременно он наставляет Дабара, как должен отвечать царь. Когда состоялась встреча, которой хотел Сулла, он сказал, что консул поручил ему спросить, к чему царь склоняется — к миру или к войне. Тут Бокх, по наущению самого же Суллы, велит римлянину прийти за ответом через десять дней: пока, дескать, он еще ничего не решил, а тогда ответит. С тем оба и разошлись по своим лагерям. Но под конец ночи Бокх тайно вызвал Суллу к себе. Допущены были только надежные переводчики от обеих сторон, да еще Дабар, посредник, человек безукоризненный, любезный обоим. Царь начал без отлагательств:

СX. «Никогда не мог я себе представить, что мне, самому великому из царей нашей страны и среди всех государей, каких я только знаю, придется благодарить частного человека. Клянусь тебе, Сулла, до знакомства с тобою я помогал многим просителям, а нередко и по собственному почину, но в чужой помощи не нуж-

дался ни разу. Теперь — не то, и любой на моем месте был бы опечален, а я радуюсь. Нужда, которую узнал, наконец, и я, пусть будет платою за твою дружбу — она моему сердцу дороже всего на свете. Ты легко в этом убедишься: располагай моим оружием, моими войсками, деньгами, коротко говоря — всем, чем надумаешь, и, куда ты жив, никогда не считай долг моей благодарности исчерпанным — она останется неизменно в моей душе, и не будет у тебя такого желания, которое бы я не исполнил. Ибо, на мой взгляд, не столько позорно для царя поражение в бою, сколько в щедрости.

Теперь несколько слов, касающихся вашего государства, доверенным которого ты сюда прислан. Войны против римского народа я не вел и вести никогда не хотел, я только защитил свои пределы, действуя оружием против оружия. Впрочем, воля ваша, умолчим об этом. Войте с Югуртою, как хотите. Я не перейду реку Мулуху, которая была границею между мною и Миципсой, и не пушу за нее Югурту. Затем требуй чего угодно, лишь бы это было совместно с моим и с вашим достоинством, — и ты не встретишь отказа».

СXI. На то, что относилось к нему лично, Сулла ответил коротко и сдержанно, о мире же и общих делах рассуждал очень подробно. В заключение он объяснил царю, что сенат и народ римский силою оружия приобрели намного больше, чем сулит им Бокх, а потому благодарности за свои обещания пусть не ждет. Надо ему совершить такой поступок, который явно для всякого был бы на пользу скорее римлянам, нежели ему самому. А это очень просто: ведь Югурта у него в руках. Если он выдаст нумидийца, то свяжет римлян огромным долгом, и все придет само собою — и дружба, и союз, и часть Нумидии, на которую он притязает. Сперва царь отнекивался — этому противится, говорил он, и кровное родство, и свойство, и союзный договор, наконец; вдобавок он опасается, как бы изменою не восстановить против себя подданных, которые Югурту любят, римлян же терпеть не могут. Но упорство Суллы взяло верх, и Бокх сдался и пообещал все исполнить. Потом они столковались, какими действиями создать видимость близкого мира, о котором мечтал нумидиец, истомившись войною. Так, составивши заговор, они разошлись.

СXII. На другой день царь зовет к себе Аспара, посла Югурты, и сообщает, будто Сулла через Дабара передал, что войну можно окончить на справедливых условиях; пусть Аспар справится у своего государя, какого он об этом мнения. Аспар, обрадованный, выехал в лагерь Югурты. Получивши все наставления, он поспешил обратно и на девятый день вернулся к Бокху. Югурта, известил он, готов на все, что римляне ни прикажут, да только мало доверяет Марнию: ведь и раньше сколько раз уславливались о мире с коман-

дующими римлян, и всякий раз попусту. Если Бокх желает помочь им обоим, если хочет прочного мира, пусть устроит так, чтобы все собрались в одно место,— якобы для мирного совещания,— и там пусть выдаст Суллу ему, Югурте. Когда же столь важное лицо окажется в его власти, тогда, по распоряжению сената или народа, договор наверняка будет заключен: не бросят на произвол судьбы знатного человека, который попался в руки врага не из малодушия, но служа своему государству.

СХІІІ. Долго размышляя мавр над этим предложением и все-таки согласие свое дал. Притворно он колебался или искренне, мы точно не знаем, но решения царей большею частью столь же стремительны, сколько недолговечны и часто самим себе противоречат. Выбрав время и место, где противники должны были сойтись на совещание, Бокх беседовал то с Суллою, то с посланцем Югурты, с обоими был приветлив, обоим сулил одно и то же. И оба ликовали и надеялись одинаково.

Ночью, в канун того срока, что был назначен для совещания, мавр, как рассказывают, созвал друзей, но тут же всех отпустил и надолго погрузился в одинокое раздумье. Взгляд его и выражение лица то и дело менялись,— вместе с настроением духа,— и, вопреки молчанию, обнаруживали то, что тайно совершалось в груди. В конце концов он велел пригласить Суллу и, в согласии с его планом, приготовил засаду нумидийцу.

Наступил день, и царю донесли, что Югурта невдалеке. С немногими друзьями и нашим квестором Бокх выехал к нему навстречу, словно бы в знак почтения, и поднялся на холм, отлично видный тем, кто укрылся в засаде. Туда же поднялся и нумидиец с большою свитою своих приближенных, по взаимному уговору — безоружных; был подан знак, и на них мгновенно ринулись со всех сторон. Все прочие были убиты, а Югурту в оковах выдали Сулле, и Сулла увез его к Марию.

СХІV. В это самое время нашим полководцам Квинту Цепиону и Гнею Манлию нанесено поражение галлы. Вся Италия дрожала от страха. И тогда, и впоследствии, вплоть до наших дней, римляне считали, что все покорно их доблести и только с галлами бьется Рим не ради славы, но на жизнь и на смерть.

И тут приходит известие, что война в Нумидии окончена и что Югурту узником везут в Рим; тогда Мария заочно избирают консулом, провинцией ему назначается Галлия, и в январские календы новый консул с великою славою справил триумф. Все надежды и вся сила государства собрались в ту пору в нем одном.

ТИТ ЛИВИЙ



ИСТОРИЯ ОТ ОСНОВАНИЯ РИМА



КНИГА I

ПРЕДИСЛОВИЕ

Создам ли я нечто, стоящее труда, если опишу деяния римского народа от первых начал города, твердо не знаю, да и знал бы, не решился бы сказать, ибо вижу — затея эта и не нова, и даже избита, ведь являются все новые писатели, которые уверены, что либо в изложении событий подойдут ближе к истине, либо превзойдут неискусную древность в умении писать. Как бы то ни было, я найду радость в том, что и я, в меру своих сил, постараюсь увековечить подвиги главенствующего на земле народа; и если в столь великой толпе писателей слава моя не будет замечна, утешеньем мне будет знатность и величие тех, в чьей тени окажется мое имя. Сверх того, самый предмет требует трудов непомерных — ведь надо углубиться в минувшее более чем на семьсот лет, ведь государство, начав с малого, так разрослось, что страдает уже от своей громадности. Не сомневаюсь также, что рассказ о первоначальных и близких к ним временах доставит немного удовольствия большинству читателей — они поспешат к событиям той недавней поры, когда силы народа, давно уже могущественного,

интересовали сами себя; я же, напротив, и в том буду искать награды за свой труд, что, хоть на время,— пока всеми мыслями устремляюсь туда, к старине,— отвлекусь от зрелища бедствий, свидетелем которых столько лет было наше поколение, и избавлюсь от забот, способных если не отклонить пишущего от истины, то смутить его душевный покой. Рассказы о событиях, предшествовавших основанию города и еще более ранних, приличны скорее твореньям поэтов, чем строгой истории, и того, что в них говорится, я не намерен ни утверждать, ни опровергать. Древности простиительно, мешая человеческое с божественным, возвеличивать начала городов; а если какому-нибудь народу позволительно освящать свое происхождение и возводить его к богам, то военная слава римского народа такова, что, назови он самого Марса своим предком и отцом своего родоначальника, племена людские и это снесут с тем же покорством, с каким сносят власть Рима. Но подобного рода рассказам, как бы на них ни смотрели и что бы ни думали о них люди, я не придаю большой важности. Мне бы хотелось, чтобы каждый читатель в меру своих сил задумался над тем, какова была жизнь, каковы нравы, каким людям и какому образу действий — дома ли, на войне ли — обязана держава своим зарождением и ростом; пусть он далее последует мыслью за тем, как в нравах появился сперва разлад, как потом они зашатались и, наконец, стали падать неудержимо, пока не дошло до нынешних времен, когда мы ни пороков наших, ни лекарства от них переносить не в силах. В том и состоит главная польза и лучший плод знакомства с событиями минувшего, что видишь всякого рода поучительные примеры в обрамление величественного целого; здесь и для себя, и для государства ты найдешь, чему подражать, здесь же — чего избегать: бесславные начала, бесславные концы.

Впрочем, либо пристрастность к самому делу вводит меня в заблуждение, либо и впрямь не было никогда государства, более великого, более благочестивого, более богатого добрыми примерами, куда алчность и роскошь проникли бы так поздно, где так долго и так высоко чтили бы бедность и бережливость. Да, чем меньше было имущество, тем меньшею была и жадность; лишь недавно богатство привело за собою корыстолюбие, а избыток удовольствий — готовность погубить все ради роскоши и телесных утех.

Не следует, однако, начинать такой труд сетованиями, которые не будут приятными и тогда, когда окажутся необходимыми; с добрых знамений и обетов предпочли бы мы начать, а будь то у нас, как у поэтов, в обычае — и с молитв богам и богиням, чтобы они даровали начатому успешное завершение.

1. Прежде всего достаточно хорошо известно, что по взятии Трои ахейцы жестоко расправились с троянцами: лишь с двоими, Энеем и Антенором, не поступили они по законам войны — и в силу старинного гостеприимства и потому, что те всегда советовали предпочесть мир и выдать Елену. Обстоятельства сложились так, что Антенор с немалым числом энетов, изгнанных мятежом из Пафлагонии и искавших нового места и вождя, взамен погибшего под Троей царя Пилемена, прибыл в отдаленнейший залив Адриатического моря, и по изгнании эвганеев, которые жили меж морем и Альпами, энеы с троянцами владели этой землей. Место, где они высадились впервые, зовется Троей; по этой же причине и округа получила имя Троянской, а весь народ называется венеты.

Эней, гонимый от дома таким же несчастьем, но ведомый судьбою к иным, более великим начинаниям, прибыл сперва в Македонию, оттуда, ища где осесть, занесен был в Сицилию, из Сицилии на кораблях направил свой путь в Лаврентскую область. Троей именуют и эту местность. Высадившиеся тут троянцы, у которых после бесконечных скитаний ничего не осталось, кроме оружия и кораблей, стали угонять с полей скот; царь Латин и аборигены, владевшие тогда этими местами, сошлись с оружием из города и с полей, чтобы дать отпор пришельцам. Дальше рассказывают двояко. Одни передают, что разбитый в сражении Латин заключил с Энеем мир, скрепленный потом свойством; другие — что оба войска выстроились к бою, но Латин, прежде чем трубы подали знак, выступил в окружении знати вперед и вызвал вождя пришельцев для переговоров. Расспросив, кто они такие, откуда пришли, что заставило их покинуть дом и чего они ищут здесь в Лаврентской области, и услышав в ответ, что перед ним троянцы, что вождь их Эней, сын Анхиза и Венеры, что из дому их изгнала гибель отечества и что ищут они, где им остановиться и основать город, Латин подивился знатности народа и его предводителя, подивился силе духа, равно готового и к войне и к миру, и протянул руку в залог будущей дружбы. После этого вожди заключили союз, а войска обменялись приветствиями. Эней стал гостем Латина, и тут Латин пред богами-пенатами скрепил союз меж народами союзом между домами — выдал дочь за Энея. И это утвердило троянцев в надежде, что скитания их окончены, что они осели прочно и навеки. Они основывают город; Эней называет его по имени жены Лавинием. Вскоре появляется и мужское потомство от нового брака — сын, которому родители дают имя Асканий.

2. Потом аборигены и троянцы вместе подверглись нападению.

Турн, царь рутулов, за которого была просватана до прибытия Энея Лавиния, оскорбленный тем, что ему предпочли пришлеца, пошел войной на Энея с Латинном. Ни тому, ни другому войску не принесла радости эта битва: рутулы были побеждены, а победители — аборигены и троянцы — потеряли своего вождя Латина. После этого Турн и рутулы, отчаявшись, прибегают к защите могущественных тогда этрусков и обращаются к их царю Мезенцию, который властвовал над богатым городом Цере и с самого начала совсем не был рад рождению нового государства, а теперь решил, что оно возвышается намного быстрее, чем то допускает безопасность соседей, и охотно объединился с рутулами в военном союзе.

Перед угрозой такой войны Эней, чтобы расположить к себе аборигенов и чтобы не только права были для всех едиными, по и имя, нарек оба народа латинянами. С той поры аборигены не уступали троянцам ни в рвении, ни в преданности царю Энею. Полагаясь на такое одушевление двух народов, с каждым днем все более сживавшихся друг с другом, Эней пренебрег могуществом Этрурии, чья слава наполняла и сушу, и даже море вдоль всей Италии от Альп до Сицилийского пролива, и, хотя мог найти защиту в городских стенах, выстроил войско к бою. Сражение было удачным для латинян, для Энея же оно стало последним из земных дел. Похоронен он (человеком ли надлежит именовать его или богом) над рекою Нумиком; его называют Юпитером Родоначальником.

3. Сын Энея, Асканий, был еще мал для власти, однако власть эта оставалась неприкосновенной и ждала его, пока он не возмужал: все это время латинскую державу — отцовское и дедовское наследие — хранила для мальчика женщина: таково было дарование Лавинии. Я не стану разбирать (кто же о столь далеких делах решится говорить с уверенностью?), был ли этот мальчик Асканий или старший его брат, который родился от Креусы еще до разрушения Иллиона, а потом сопровождал отца в бегстве и которого род Юлиев называет Юлом, возводя к нему свое имя. Этот Асканий, где бы ни был он рожден и кто б ни была его мать (достоверно известно лишь, что он был сыном Энея), видя чрезмерную многолюдность Лавинии, оставил матери — или мачехе — уже цветущий и преуспевающий по тем временам город, а сам основал у подножья Альбанской горы другой, новый, протянувшийся вдоль хребта и оттого называемый Альбой Лонгой. Между основанием Лавинии и выведением поселенцев в Альбу прошло около тридцати лет. А силы латинян возросли настолько — особенно после разгрома этрусков, — что даже по смерти Энея, даже когда правила женщина и начинал привыкать к царству мальчик, никто — ни

царь Мезенций с этрусками, ни другой какой-нибудь сосед — не осмеливался начать войну. Границей меж этрусками и латинянами, согласно условиям мира, должна была быть река Альбула, которую ныне зовут Тибром.

Потом царствовал Сильвий, сын Аскания, по какой-то случайности рожденный в лесу. От него родился Эней Сильвий, а от того — Латин Сильвий, который вывел несколько поселений, известных под названием «Старые латиняне». На будущее время прозвище Сильвиев закрепилось за всеми, кто царствовал в Альбе. От Латина родился Альба, от Альбы Атис, от Атиса Капис, от Каписа Капет, от Капета Тиберин, который, утонув при переправе через Альбулу, дал этой реке имя, вошедшее в общее употребление. Затем царем был Агриппа, сын Тиберина, после Агриппы царствовал Ромул Сильвий, унаследовав власть от отца. Пораженный молнией, он оставил наследником Авентина. Тот был похоронен на холме, который ныне составляет часть города Рима, и передал этому холму свое имя. Потом царствовал Прока. От него родились Нумитор и Амулий; Нумитору, старшему, отец завещал старинное царство рода Сильвиев. Но сила одержала верх над отцовской волей и над уважением к старшинству: отеснив брата, воцарился Амулий. К преступлению прибавляя преступление, он истребил мужское потомство брата, а дочь его Рею Сильвию, под почетным предлогом — избрав в весталки — обрек на вечное девство.

4. Но, как мне кажется, судьба предопределила и зарождение столь великого города, и основание власти, уступающей лишь могуществу богов. Весталка сделалась жертвой насилия и родила двойню, отцом же объявила Марса — то ли веря в это сама, то ли потому, что прегрешенье, виновник которому бог, — меньшее бесчестье. Однако ни боги, ни люди не защитили ни ее самое, ни ее потомство от царской жестокости. Жрица в оковах была отдана под стражу, детей царь приказал бросить в реку. Но Тибр как раз волей богов разлился, покрыв берега стоячими водами, — нигде нельзя было подойти к руслу реки, и тем, кто принес детей, оставалось надеяться, что младенцы утонут, хотя бы и в тихих водах. И вот, кое-как исполнив царское поручение, они оставляют детей в ближайшей заводи — там, где теперь Руминальская смоковница (раньше, говорят, она называлась Ромуловой). Пустыни и безлюдны были тогда эти места. Рассказывают, что, когда вода схлынула, оставив лоток с детьми на суше, волчица с соседних холмов, бсжавшая к водопою, повернула на детский плач. Пригнувшись к младенцам, она дала им свои сосцы и была до того ласкова, что облизала детей языком; так и пошел ее смотритель

царских стад, звавшийся, по преданию, Фавстулом. Он принес детей к себе и передал на воспитание своей жене Ларенции. Иные считают, что Ларенция звалась среди пастухов «волчицей», потому что отдавалась любому,— отсюда и рассказ о чудесном спасении.

Рожденные и воспитанные, как описано выше, близнецы, лишь только подросли, стали, не пренебрегая и работой в хлевах или при стаде, охотиться по лесам. Окрепнув в этих занятиях и телом и духом, они не только травили зверей, но нападали и на разбойников, нагруженных добычей, а захваченное делили меж пастухами, с которыми разделяли труды и потехи; и со дня на день отряд юношей становился все многочисленнее.

5. Предание говорит, что уже тогда на Палатинском холме справляли существующее поныне празднество Луперкалий, и что холм этот был назван по аркадскому городу Паллантею Паллатейским, а потом Палатинским. Здесь Эвандр, аркадянин, намного ранее владевший этими местами, установил принесенный из Аркадии ежегодный обряд, чтобы юноши бегали нагими, озорством и забавами чествуя Ликейского Папа, которого римляне позднее стали называть Инуем. Обычай этот был известен всем, и разбойники, обозленные потерей добычи, подстерегли юношей, увлеченных праздничною игрой: Ромул отбилсЯ силой, Рема же разбойники схватили, а схватив, передали царю Амулию, сами выступив обвинителями. Выпили братьев прежде всего в том, что они делают набеги на земли Нумитора и с шайкою молодых сообщников, словно враги, угоняют оттуда скот. Так Рема передают Нумитору для казни.

Фавстул и с самого начала подозревал, что в его доме воспитывается царское потомство, ибо знал о выброшенных по царскому приказу младенцах, а подобрал он детей как раз в ту самую пору; но он не хотел прежде времени открывать эти обстоятельства — разве что при случае или по необходимости. Необходимость явилась первой, и вот, принуждаемый страхом, он все открывает Ромулу. Случилось так, что и до Нумитора, державшего Рема под стражей, дошли слухи о братьях-близнецах, он задумался о возрасте братьев, об их природе, отнюдь не рабской, и его душу смутило воспоминанье о внуках. К той же мысли привели Нумитора расспросы, и он уже был цедалек от того, чтобы признать Рема. Так замыкается кольцо вокруг царя. Ромул не собирает свою шайку — для открытого столкновения силы не были равны,— но, назначив время, велит всем пастухам прийти к царскому дому — каждому иною дорогой,— и нападает на царя, а из

Нумиторова дома спешит на помощь Рем с другим отрядом. И они убили царя.

6. При первых признаках смятения Нумитор, твердя, что, враги, мол, ворвались в город и напали на царский дом, увел всех мужчин Альбы в крепость, которую-де надо занять и удерживать оружием; потом, увидав, что кровопролитие свершилось, а юноши приближаются к нему с приветствиями, тут же созывает сходку и объявляет о братниных против него преступленьях, о происхождении внуков — как были они рождены, как воспитаны, как узнаны — затем об убийстве тирана и о себе как зачинщике всего дела. Юноши явились со всем отрядом на сходку и приветствовали деда, называя его царем; единодушный отклик толпы закрепил за ним имя и власть царя.

Когда Нумитор получил таким образом Альбацское царство, Ромула и Рема охватило желание основать город в тех самых местах, где они были брошены и воспитаны. У альбанцев и латинян было много лишнего народу, и если сюда прибавить пастухов, всякий легко мог себе представить, что мала будет и Альба, и Лавиний в сравнении с тем городом, который предстоит основать. Но в эти замыслы вмешалось наследственное зло, жажда царской власти, и отсюда — недостойная распря, родившаяся из вполне мирного начала. Братья были близнецы, различие в годах не могло дать преимущества ни одному из них, и вот, чтобы боги, под чьим покровительством находились те места, птичьим знаменем указали, кому наречь своим именем город, кому править новым государством, Ромул местом наблюдения за птицами избрал Палатин, а Рем — Авентин.

7. Рассказывают, что Рему первому явилось знамение — шесть коршунов,— и о знамении уже возвестили, когда Ромулу предстало двойное против этого число птиц. Каждого из братьев толпа приверженцев провозгласила царем: одни придавали больше значения первенству, другие — числу птиц. Началась перебранка, и взаимное озлобление привело к кровопролитию; в сумятице Рем получил смертельный удар. Более распространен, впрочем, другой рассказ — будто Рем в насмешку над братом перескочил через новые стены, и Ромул в гневе убил его, крикнув при этом: «Так да погибнет всякий, кто перескочит через мои стены». Теперь единственным властителем остался Ромул, и вновь основанный город получил название от имени своего основателя.

Прежде всего Ромул укрепил Палатинский холм, где был воспитан. Жертвы всем богам он принес по альбанскому обряду, только Геркулесу — по греческому, как установлено было Эвандром. Сохранилась память о том, что, убив Гериона, Геркулес увел

его дивных видом быков в эти места и здесь, возле Тибра, через который перебрался вылавь, гоня пред собою стадо, на обильном травю лугу — чтобы отдых и тучный корм восстановили силы животных — прилег и сам, усталый с дороги. Когда, отягченного едой и вином, сморил его сон, здешний пастух, по имени Как, буйный силач, пленившись красотою быков, захотел отнять эту добычу. Но, загони он быков в пещеру, следы сами привели бы туда хозяина, и поэтому Как, выбрав самых прекрасных, оттащил их в пещеру задом наперед, за хвосты. Геркулес проснувшись на заре, пересчитал взглядом стадо и, убедившись, что счет неполон, направился к ближней пещере поглядеть, не ведут ли случайно следы туда. И когда он увидел, что все следы обращены в противоположную сторону и больше никуда не ведут, то в смущенье и замешательстве погнался прочь от враждебного места. Но иные из коров, которых он уводил, замычали, как это бывает нередко, в тоске по остающимся, и тут ответный зов запертых в пещере животных заставил Геркулеса вернуться; Как попытался было силой преградить ему путь, но, пораженный дубиною, свалился и умер, тщетно призывая пастухов на помощь.

В ту пору Эвандр, изгнанник из Пелопоннеса, правил этими местами — скорее как человек с весом, нежели как властитель; уваженьем к себе он был обязан чудесному искусству письма, новому для людей, незнакомых с науками, и еще более — вере в божественность его матери, Карменты, чьему прорицательскому дару дивились до прибытия Сивиллы в Италию тамошние племена. Этого Эвандра и привлекло сюда волнение пастухов, собравшихся вокруг пришельца, обвиняемого в явном убийстве. Эвандр, выслушав рассказ о проступке и о причинах проступка и видя, что стоящий перед ним несколько выше человеческого роста, да и осанкой величественней, спрашивает, кто он таков; услышав же в ответ его имя, чей он сын и откуда родом, говорит: «Геркулес, сын Юпитера, здравствуй! Моя мать, истинно прорицающая волю богов, возвестила мне, что ты пополнишь число небожителей и что тебе здесь будет посвящен алтарь, который когда-нибудь самый могущественный на земле народ назовет Великим и станет почитать по заведенному тобой обряду». Геркулес, подавая руку, сказал, что принимает пророчество и исполнит веление судьбы — сложит и освятит алтарь. Тогда-то впервые и принесли жертву Геркулесу, взяв из стада отборную корову, а для служения и пира призвали Потициев и Пинариев, самые знатные в тех местах семьи. Вышло так, что Потии были на месте вовремя и внутренности были предложены им, а Пинарии явились к остаткам пиршества, когда внутренности были уж съедены. С тех пор велось, чтобы Пинарии,

покуда существовал их род, не ели внутренностей жертвы. Потипции, выученные Эвандром, были жрецами этого священнодействия на протяжении многих поколений — покуда весь род их не вымер, передав священное служение общественным рабам. Это единственный чужеземный обряд, который перенял Ромул, уже в ту пору ревностный почитатель рожденного доблестью бессмертия, к какому вела его судьба.

8. Воздав должное богам, Ромул созвал толпу на собрание и дал ей законы, — ничем, кроме законов, он и не мог сплотить ее в единый народ. Понимая, что для неотесанного люда законы его будут святы лишь тогда, когда сам он внешними знаками власти внушит почтение к себе, Ромул стал и во всем прочем держаться более важно и, главное, завел двенадцать ликторов. Иные полагают, что число это отвечает числу птиц, возвестивших ему царскую власть, для меня же убедительны суждения тех, кто считает, что и весь этот род прислужников и само их число происходят от соседей-этрусков, у которых заимствованы и курульное кресло, и тога с каймою. А у этрусков так повелось оттого, что каждый из двенадцати городов, сообща избравших царя, давал ему по одному ликтору.

Город между тем рос, занимая укреплениями все новые места, так как укрепляли город в расчете скорей на будущее многолюдство, чем сообразно тогдашнему числу жителей. А потом, чтобы огромный город не пустовал, Ромул воспользовался старой хитростью основателей городов (созывая темный и низкого происхождения люд, они измышляли, будто это потомство самой земли) и открыл убежище в том месте, что теперь огорожено, — по левую руку от спуска меж двумя рощами. От соседних народов сбегались все жаждущие перемен — свободные и рабы без разбора — и тем была заложена первая основа великой мощи. Когда о силах тревожиться было уже нечего, Ромул сообщает силе мудрость и учреждает сенат, избрав сто старейшин, — потому ли, что в большем числе не было нужды, потому ли, что всего-то и набралось сто человек, которых можно было избрать в отцы. Отцами их прозвали, разумеется, по оказанной чести, потомство их получило имя «патрициев».

9. Теперь Рим стал уже так силен, что мог бы как равный воевать с любым из соседних городов, по срок этому могуществу был — человеческий век, потому что женщин было мало и на потомство в родном городе римляне надеяться не могли, а брачных связей с соседями не существовало. Тогда, посоветовавшись с отцами, Ромул разослал по окрестным племенам послов — просить для нового народа союза и соглашения о браках: ведь города, мол,

как и все прочее, родятся из самого низменного, а потом уже те из них, кому помощью собственная доблесть и боги, достигают великой силы и великой славы; римляне хорошо знают, что не без помощи богов родился их город и доблестью скуден не будет,— так пусть не гнушаются люди с людьми мешать свою кровь и род. Эти посольства нигде не нашли благосклонного приема — так велико было презрение соседей и вместе с тем их боязнь за себя и своих потомков ввиду великой силы, которая среди них поднималась. И почти все, отпуская послов, спрашивали, отчего не откроют римляне убежище и для женщин: вот и было бы им супружество как раз под пару.

Римляне были тяжело оскорблены, и дело явно клонилось к насилию. Чтобы выбрать время и место поудобнее, Ромул, затанув обиду, принимается усердно готовить торжественные игры в честь Нептуна Конного, которые называет Консуалиями. Потом он приказывает известить об играх соседей, и всё, чем только умели или могли в те времена придать зрелищу великолепия, пускается в ход, чтобы об играх говорили и с нетерпением их ожидали. Собралось много народу, даже просто из желания посмотреть новый город,— в особенности все ближайшие соседи: ценинцы, крустуминцы, антемняне. Все многочисленное племя сабинян явилось с детьми и с женами. Их гостеприимно приглашали в дома, и они, рассмотрев расположение города, стены, многочисленные здания, удивлялись, как быстро выросло римское государство. А когда подошло время игр, которые заняли собою все помыслы и взоры, тут-то, как было условлено, и случилось насилие: по данному знаку римские юноши бросились похищать девиц. Большею частью хватали без разбора, какая кому попадется, но иных, особо красивых, предназначенных виднейшим из отцов, приносили в дома простолюдины, которым это было поручено. Одну из девиц, самую красивую и привлекательную, похитили, как рассказывают, люди некоего Талассия, и многие спрашивали, кому ее несут, а те, опасаясь насилия, то и дело выкрикивали, что несут ее Талассию; отсюда и происходит этот свадебный возглас.

Страх положил играм конец, и родители девиц бежали в горе, проклиная преступников, поправших закон гостеприимства, и взывая к богам, на чьи празднества их коварно заманили. И у похищенных не слабее было отчаянье, не меньше негодование. Но сам Ромул обращался к каждой в отдельности и объяснял, что всему виною высокомерие их отцов, которые отказали соседям в брачных связях; что они будут замужем, общим с мужьями будет у них имущество, государство и — что всего дороже роду людскому — дети; пусть лишь смягчат свой гнев и тем, кому жребий от-

дал их тела, отдадут души. Со временем из обиды часто рождается привязанность, а мужья у них будут тем лучшие, что каждый будет стараться не только исполнить свои обязанности, но и успокоить тоску жены по родителям и отечеству. Присоединялись к таким речам и вкрадчивые уговоры мужчин, извинявших свой поступок любовью и страстью, а на женскую природу это действует всего сильнее.

10. Похищенные уже совсем было смягчились, а в это самое время их родители, облачившись в скорбные одежды, сеяли смятение в городах слезами и сетованиями. И не только дома звучал их ропот, но отовсюду собирались они к Титу Тацию, царю сабинян; к нему же стекались и посольства, потому что имя Тация было в тех краях самым громким. Тяжесть обиды немалой долей ложилась на ценинцев, крустуминцев, антемнян. Этим трем народам казалось, что Таций с сабинянами слишком медлительны и они стали готовить войну сами. Однако перед пылом и гневом ценинцев недостаточно расторопны были даже крустуминцы с антемнянами, и ценинский народ нападает на римские земли в одиночку. Беспорядочно разоряя поля, на пути встречают они Ромула с войском, который легко доказывает им в сражении, что без силы гнев тщетен,— войско обращает в беспорядочное бегство, беглецов преследует, царя убивает в схватке и обирает с него доспехи, Умертвив неприятельского вождя, Ромул первым же натиском берет город.

Возвратившись с победоносным войском, Ромул, великий не только подвигами, но — не в меньшей мере — умением их показать, взшел на Капитолий, неся доспехи убитого неприятельского вождя, развешанные на остовах, нарочно для того изготовленном, и положил их у священного для пастухов дуба; делая это приношение, он тут же определил место для храма Юпитера и к имени бога прибавил прозвание: «Юпитер Феретрийский,— сказал он,— я, Ромул, победоносный царь, приношу тебе царское это оружие и посвящаю тебе храм в пределах, которые только что мысленно обозначил; да станет он вместилищем для тучных доспехов, какие будут приносить вслед за мной, первым, потомки, убивая неприятельских царей и вождей». Таково происхождение самого древнего в Риме храма. Боги судили, чтобы речи основателя храма, назначившего потомкам приносить туда доспехи, не оказались напрасными, а слава, сопряженная с таким приношением, не была обесценена многочисленностью ее стяжавших. Лишь два раза впоследствии на протяжении стольких лет и стольких войн добыты были тучные доспехи — так редко выпадал этот почет.

11. Пока римляне заняты всем этим, в их пределы вторгается войско антемнян, пользуясь случаем и отсутствием защитников. Но быстро выведенный и против них римский легион застигает их в полях, по которым они разбрелись. Первым же ударом, первым же криком были враги рассеяны, их город взят; и тут, когда Ромул праздновал двойную победу, его супруга Герсилия, сдавшись на мольбы похищенных, просит даровать их родителям пощаду и гражданство: тогда государство может быть сплочено согласием. Ромул охотно уступил. Затем он двинулся против крустуминцев, которые открыли военные действия. Там было еще меньше дела, потому что чужие неудачи уже сломили их мужество. В оба места были выведены поселения; в Крустумерий — ради плодородия тамошней земли — охотников нашлось больше. Оттуда тоже многие переселились в Рим, главным образом родители и близкие похищенных женщин.

Война с сабинянами пришла последней и оказалась самой тяжелой, так как они во всех своих действиях не поддались ни гневу, ни страсти и не грозились, прежде чем нанесли удар. Расчет был дополнен коварством. Начальником над римской крепостью был Снурий Тарпей. Таций подкупил золотом его дочь, деву, чтобы она впустила воинов в крепость (она как раз вышла за стену за водою для священнодействий). Сабиняне, которых она впустила, умертвили ее, завалив щитами, — то ли чтобы думали, будто крепость взята силой, то ли ради примера на будущее, чтобы никто и никогда не был верен предателю. Прибавляют еще и баснословный рассказ: сабиняне, дескать, носили на левой руке золотые хорошего веса запястья и хорошего вида перстни с камнями, и девица выговорила для себя то, что у них на левой руке, а они и завалили ее вместо золота щитами. Некоторые утверждают, будто, прося у сабинян то, что у них на левой руке, она действительно хотела оставить их без щитов, но была заподозрена в коварстве и умерщвлена тем, что причиталось ей, как награда.

12. Во всяком случае, сабиняне удерживали крепость и на другой день, когда римское войско выстроилось на поле меж Палатинским и Капитолийским холмом, и на равнину спустились лишь после того, как римляне, подстрекаемые гневом и желаньем вернуть крепость, пошли снизу на приступ. С обеих сторон вожди торопили битву: с сабинской — Меттий Курдий, с римской — Гостий Гостилий. Невзирая на невыгоды местности, Гостилий без страха и усталости бился в первых рядах, одушевляя своих. Как только он пал, строй римлян тут же подался, и они в беспорядке кипулись к старым воротам Палатина. Ромул, и сам увлеченный толпою бегущих, поднял к небу свой щит и меч и произнес: «Юпитер,

повинуясь твоим знамениям, здесь, на Палатине, заложил я первые камни города. Но сабиняне ценой преступления завладели крепостью, теперь они с оружием в руках стремятся сюда и уже миновали середину долины. Но хотя бы отсюда, отец богов и людей, отрази ты врага, освободи римлян от страха, останови постыдное бегство! А я обещаю тебе здесь храм Юпитера Становителя, который для потомков будет напоминанием о том, как быстрою твоею помощью был спасен Рим». Вознеся эту мольбу, Ромул, как будто почувствовав, что его молитва услышана, возгласил: «Здесь, римляне, Юпитер Всеблагой и Всемогущий повелевает вам остановиться и возобновить сражение!» Римляне останавливаются, словно услышав повеленье с небес; сам Ромул поспешает к передовым. С сабинской стороны первым спустился Меттий Курций и рассеял потерявших строй римлян по всему нынешнему Форуму. Теперь он был уже недалеко от ворот Палатина и громко кричал: «Мы победили вероломных хозяев, малодушных противников: они уже узнали, что совсем не одно и то же похищать девиц и биться с мужами». Пока он так похвалялся, на него налетел Ромул с горсткою самых дерзких юношей. Меттий тогда как раз был на коне — тем легче оказалось обратить его вспять. Римляне пускаются следом, и все римское войско, воспламененное храбростью своего царя, рассеивает противника. А конь, испуганный шумом погони, понес, и Меттий провалился в болото. Опасность, грозившая такому человеку, отвлекла все внимание сабинян; впрочем, Меттию ободряющие знаки, и крики, и сочувствие многих придали духу, и он выбрался на сушу. Посреди долины, разделяющей два холма, римляне и сабиняне вновь сошлись в бою. Но перевес оставался за римлянами.

13. Тут сабинские женщины, из-за которых и началась война, распустив волосы и разорвав одежды, позабывши в беде женский страх, отважно бросились прямо под копыя и стрелы наперерез бойцам, чтобы разнять два строя, унять гнев враждующих, обращаясь с мольбой то к отцам, то к мужьям: пусть не пятнают они — тести и зятья — себя нечестиво пролитую кровью, не оскверняют отцеубийством потомство своих дочерей и жен. «Если вы стыдитесь свойства меж собою, если брачный союз вам претит, на нас обратите свой гнев: мы — причина войны, причина ран и гибели наших мужей и отцов; лучше умрем, чем останемся жить без одних или других, вдовами или сиротами». Растроганы были не только воины, но и вожди; все вдруг смолкло и замерло. Потом вожди вышли, чтобы заключить договор, и не просто примирились, но из двух государств составили одно. Царствовать решили сообща, средоточьем всей власти сделали Рим. Так город удвоился, а

чтобы не обидно было и сабинянам, по их городу Курам гражданам получают имя «квиритов». В память об этой битве место, где Курций конь, выбравшись из болота, ступил на твердое дно, прозвано Курциевым озером.

Война, столь горестная, кончилась внезапным и радостным миром, и оттого сабинянки стали еще дороже мужьям и родителям, а прежде всех — самому Ромулу, и когда он стал делить народ на тридцать курий, то куриям дал имена сабинских женщин. Без сомнения, их было гораздо больше тридцати, и по старшинству ли были выбраны из них те, кто передал куриям свои имена, по достоинству ли, собственному либо мужей, или по жребию, об этом преданье молчит. В ту же пору были составлены и три цензурии всадников: Рамны, названные так по Ромулу, Тиции — по Титу Тацию, и Луцеры, чье имя, как и происхождение, остается темным. Оба царя правили не только совместно, но и в согласии.

14. Несколько лет спустя родственники царя Тация обидели лаврентских послов, а когда лаврентяне стали искать управы законным порядком, как принято между народами, пристрастие Тация к близким и их мольбы взяли верх. Тем самым он обратил возмездие на себя, и когда явился в Лавиний на ежегодное жертвоприношение, был убит толпой. Ромул, как рассказывают, перенес случившееся легче, нежели подобало, — то ли оттого, что меж царями товарищество ненадежно, то ли считая убийство небеспричинным. Поэтому от войны он воздержался, а чтобы оскорбление послов и убийство царя не остались без искупления, договор меж двумя городами, Римом и Лавинием, был заключен наново.

Так, сверх чаянья, был сохранен мир с лаврентянами, но началась другая война, много ближе, почти у самых городских ворот. Фиденяне решили, что в слишком близком с ними соседстве растет великая сила, и поторопились открыть военные действия, прежде чем она достигнет той несокрушимости, какую позволяло провидеть будущее. Выслав вперед вооруженную молодежь, они разоряют поля меж Римом и Фиденами; затем сворачивают влево, так как вправо не пускал Тибр, и продолжают грабить, наводя немалый страх на сельских жителей. Внезапное смятение, с полей перекинувшееся в город, возвестило о войне. Ромул в тревоге — ведь война в такой близости к городу не могла терпеть промедленья — вывел войско и стал лагерем в одной миле от Фиден. Оставив в лагере небольшой отряд, он выступил со всем войском, части воинов приказал засесть в скрытном месте — благо окрестность поросла густым кустарником, — сам же с большей частью войска и всей конницей двинулся дальше и, подскакавши почти что к самым воротам, устрашающим шумом схватки выманил неприятеля,

чего и добивался. Та же конная схватка дала вполне правдоподобный повод к притворному бегству. И вот конница будто бы не решается в страхе, что выбрать, бой или бегство, пехота тоже падает назад, как вдруг ворота распахиваются, и высыпает враги; они нападают на строй римлян и преследуют их по пятам, пылом погони увлекаемые к месту засады. Оттуда внезапно появляются римляне и ударяют по вражескому строю сбоку; страху фиденянам добавляют и двинувшиеся из лагеря знамена отряда, который был там оставлен. Устрашенный грозящей с разных сторон опасностью, неприятель обратился в бегство, едва ли не прежде, чем Ромул и его всадники успели натянуть поводья и повернуть коней.

И куда беспорядочнее, чем недавние притворные беглецы, прежние преследователи в уже настоящем бегстве устремились к городу. Но оторваться от врага фиденянам не удалось; на плечах противника, как бы единым с ним отрядом, ворвались римляне в город прежде, чем затворились ворота.

15. С фиденян зараза войны перекинулась на родственников им (они ведь тоже были этруски) вейян, которым внушала тревогу и самая близость Рима, если бы римское оружие оказалось направленным против всех подряд соседей. Вейяне сделали набег на римские пределы, скорее грабительский, чем по правилам войны. Не разбив лагеря, не дожидаясь войска противника, они ушли назад в Вейи, унося добычу с полей. Римляне, напротив, не обнаружив противника в своих землях, перешли Тибр в полной готовности к решительному сражению. Вейяне, узнав, что те становятся лагерем и пойдут на их город, выступили навстречу, предпочитая решить дело в открытом бою, нежели оказаться в осаде и отстаивать свои кровли и стены. На этот раз никакая хитрость силе не помогала — одною лишь храбростью испытанного войска одержал римский царь победу; опрокинутого врага он преследовал вплоть до городских укреплений, но от города, надежно защищенного и стенами, и самим расположением, отступил. На возвратном пути Ромул разоряет вражеские земли больше в отместку, чем ради наживы. Сокрушенные этой бедою не меньше, чем битвой в открытом поле, вейяне посылают в Рим ходатаев просить мира. Лишившись в наказание части своих земель, они получают перемирие на сто лет.

Таковы главные домашние и военные события Ромулова царствования, и во всем этом нет ничего несовместного с верой в божественное происхождение Ромула и с посмертным его обожествлением — взять ли отвагу, с какою возвращено было дедовское царство, взять ли мудрость, с какою был основан и укреплен военными и мирными средствами город. Ибо, бесспорно, его трудами

город стал так силен, что на протяжении последующих сорока лет мог пользоваться прочным миром. И, однако, толпе Ромул был дороже, чем отцам, а воинам гораздо более по сердцу, нежели прочим; триста вооруженных телохранителей, которых он назвал «быстрыми», всегда были при нем, не только на войне, но и в мирное время.

16. По свершении бессмертных этих трудов, когда Ромул, совав сходку на поле у Козьего болота, производил смотр войску, внезапно с громом и грохотом поднялась буря, которая окутала царя густым облаком, скрыв его от глаз сходки, и с той поры не было Ромула на земле. Когда же непроглядная мгла вновь сменилась мирным сиянием дня и общий ужас, наконец, улегся, все римляне увидели царское кресло пустым; хотя они и поверили отцам, ближайшим очевидцам, что царь был унесен ввысь вихрем, все же, будто пораженные страхом сиротства, хранили скорбное молчание. Потом сперва немногие, а за ними все разом возглашают хвалу Ромулу, богу, богом рожденному, царю и отцу города Рима, молят его о мире, о том, чтобы благой и милостивый, всегда хранил он свое потомство.

Но и в ту пору, я уверен, кое-кто втихомолку говорил, что царь был растерзан руками отцов — есть ведь и такая, хоть очень глухая, молва; а тот, первый, рассказ разошелся широко благодаря преклонению перед Ромулом и живому еще ужасу. Как передают, веры этому рассказу прибавила находчивость одного человека. А именно, когда город был обуреваем тоской по царю и ненавистью к отцам, явился на сходку Прокул Юлий и заговорил с важностью, хоть и о странных вещах. «Квириты,— сказал он,— Ромул, отец нашего города, внезапно сошедший с неба, встретился мне нынешним утром. В благоговейном ужасе стоял я с ним рядом и молился, чтобы не зачлось мне во грех, что смотрю на него, а он промолвил: «Отправляйся и возвести римлянам: угодно богам, чтобы мой Рим стал главой всего мира. А потому пусть будут усердны к военному делу, пусть ведают сами и потомству передают, что нет человеческих сил, способных противиться римскому оружию». И с этими словами удалился на небо». Удивительно, с каким доверием выслушали вестника, пришедшего с подобным рассказом, и как просто тоска народа и войска по Ромулу была утолена верой в его бессмертие.

17. А отцы между тем с вождедением думали о царстве и терзались скрытой враждою. Не то чтобы кто-либо желал власти для себя — в молодом народе ни один еще не успел возвыситься — борьба велась между разрядами сенаторов. Выходцы из сабинян, чтобы не потерять совсем свою долю участия в правлении (ведь

после смерти Тация с их стороны царя не было), хотели поставить царя из своих; старые римляне и слышать не желали о царе-чужеземце. Но, расходясь в желаниях, все хотели иметь над собою царя, ибо еще не была изведена сладость свободы. Вдобавок отцами владел страх, что могут оживиться многочисленные окружающие государства и какой-нибудь сильный враг застанет Рим лишенным власти, а войско лишенным вождя. Всем было ясно, что какой-то глава нужен, но никто не мог решиться уступить другому. А потому сто отцов разделились на десятки, и в каждой десятке выбрали главного, поделив таким образом управление государством. Правила десять человек, но знаки власти и ликторы были у одного; по истечении пяти дней их полномочия истекали, и власть переходила к следующей десятке, никого не минуя; так на год прервалось правление царей. Перерыв этот получил название междуцарствия, чем он на деле и был; слово это в ходу и поныне.

Потом простонародье стало роптать, что рабство умножилось — сто господ заместили одного. Казалось, народ больше не станет терпеть никого, кроме царя, которого сам поставит. Когда отцы почувствовали, какой оборот принимает дело, то, добровольно жертвуя тем, чего сохранить не могли, они снискали расположение народа, верили ему высшую власть, но так, что уступили не больше, нежели удержали: они постановили, что, когда народ назначит царя, решение будет считаться принятым лишь после того, как его утвердят отцы. И до сего дня, если решается вопрос о законах или должностных лицах, сенаторы пользуются тем же правом, хотя уже потерявшим значение: отцы дают свое согласие заранее, прежде чем народ приступит к подаче голосов. А в тот раз междуцарь, созвав собрание, объявил: «Да послужит это ко благу, пользе и счастью! Квириты, ставьте царя: так рассудили отцы. А потом, если поставите достойного преемника Ромулу, отцы дадут свое утверждение». Это так польстило народу, что он, не желая оставаться в долгу, постановил только, чтобы сенат вынес решение, кому быть в Риме царем.

18. В те времена славился справедливостью и благочестием Нума Помпилий. Он жил в сабинском городе Курах и был величайшим, насколько тогда это было возможно, знатоком всего божественного и человеческого права. Наставником Нумы, за немением никого иного, ложно называют самосца Пифагора, о котором известно, что он больше ста лет спустя на краю Италии, подле Метапонта, Гераклеи, Кротона, собирал вокруг себя юношей, искавших знаний. Из этих отдаленнейших мест как дошел бы слух о нем до сабиняц, живи он даже в одно с Нумою время? И на каком языке он снесся бы с сабинянином, чтобы тому захотелось

у него учиться? Или под чьей защитой прошел бы один сквозь столько племен, не схожих ни речью, ни нравами? Стало быть, собственной природе обязан Нума тем, что украсил добродетелями свою душу, и — скорее готов я предположить — возвращен был не столько иноземной наукой, сколько древним сабинским воспитанием, суровым и строгим: недаром в чистоте нравов этот народ не знал себе равных.

Когда названо было имя Нумы, сенаторы-римляне, хотя и считали, что преимущество будет за сабинянами, если царя призовут из их земли, все же не осмелились предпочесть этому мужу ни себя, ни кого-либо из своих, ни вообще кого бы то ни было из отцов или граждан, но единодушно решили передать царство Нуме Помпилию. Приглашенный в Рим, он, следуя примеру Ромула, который принял царскую власть, испытал по птичьим приметам волю богов касательно основания города, повелел и о себе спросить богов. Тогда птицегадатель-авгур, чье занятие отныне сделалось почетною и пожизненною государственною должностью, привел Нуму в крепость и усадил на камень лицом к югу. Авгур, с покрытою головою, сел по левую его руку, держа в правой руке кривую палку без единого сучка, которую называют жезлом. Помолившись богам и взяв для наблюдения город с окрестностью, он разграничил участки от востока к западу; южные участки, сказал он, пусть будут правыми, северные — левыми; напротив себя, далеко, насколько хватал глаз, он мысленно наметил знак. Затем, переложив жезл в левую руку, а правую возложив на голову Нумы, он помолился так: «Отец Юпитер, если боги велят, чтобы Нума Помпилий, чью голову я держу, был царем в Риме, яви надежные знаменья в пределах, которые я наметил». Тут он описал словесно те предзнаменования, какие хотел получить. И они были исполнены, и Нума сошел с места гадания уже царем.

19. Получив таким образом царскую власть, Нума решил город, основанный силой оружия, основать заново на праве, законах, обычаях. Видя, что ко всему этому невозможно привыкнуть среди войн, ибо ратная служба ожесточает сердца, он счел необходимым смягчить нравы народа, отучая его от оружия, и потому в самом низу Аргилета воздвиг храм Януса — показатель войны и мира: открытые врата означали, что государство воюет, закрытые — что все окрестные народы замирены. С той поры, после царствования Нумы, закрывали его дважды: один раз в консульство Тита Манлия по завершении Первой Пунической войны, другой (это боги дали увидеть нашему поколению) — после битвы при Акци, когда император Цезарь Август установил мир на суше и на море. Свяжав союзными договорами всех соседей, Нума запер храм,

а чтобы с избавлением от внешней опасности не развратились праздностью те, кого прежде обуздывал страх перед неприятелем и воинская строгость, он решил вселить в них страх пред богами — действительнейшее средство для непросвещенной и, сообразно тем временам, грубой толпы. А поскольку сделать, чтоб страх этот вошел в их души, нельзя было иначе, как придумав какое-нибудь чудо, Нума притворился, будто по ночам сходитя с богиней Эгерией; по ее-де наущению и учреждает он священнодействия, которые богам всего угоднее, назначает для каждого бога особых жрецов.

Но прежде всего Нума разделил год — в соответствии с движением луны — на двенадцать месяцев, а так как тридцати дней в лунном месяце нет и лунному году недостает одиннадцати дней до полного, образуемого кругооборотом солнца, то, вставляя добавочные месяцы, он рассчитал время так, чтобы на каждый двадцатый год любой день приходился на то же самое положение солнца, что и в исходном году, а совокупная продолжительность всех двадцати лет по числу дней была полной. Нума же учредил дни присутственные и неприсутственные, так как небеснополезно было для будущего, чтобы дела, ведущиеся перед народом, на какое-то время приостанавливались.

20. Затем Нума занялся назначением жрецов, хотя многие священнодействия совершал сам — особенно те, что ныне в ведении Юпитерова фламينا. Но так как в воинственном государстве, думалось ему, больше будет царей, подобных Ромулу, нежели Нуме, и они будут сами ходить на войну, то, чтобы не оказались в пренебрежении связанные с царским саном священнодействия, он поставил безотлучного жреца — фламينا Юпитера, отличив его особым убором и царским курульным креслом. К нему он присоединил еще двух фламингов: одного для служения Марсу, другого — Квирину. Выбрал он и дев для служения Весте; служение это происходит из Альбы и не чуждо роду основателя Рима. Чтобы они ведали храмовыми делами безотлучно, Нума назначил им жалованье от казны, а отличив их девством и прочими знаками святости, дал им общее уважение и неприкосновенность. Точно так же избрал он двенадцать салиев для служения Марсу Градиву; им в знак отличия он дал разукрашенную тунику, а поверх туники бронзовый нагрудник и повелел носить небесные щиты, именуемые «анцилиями», и с песнопениями проходить по городу в торжественной пляске на три счета. Затем он избрал понтифика — Нуму Марция, сына Марка, одного из отцов-сенаторов, — и поручил ему наблюдать за всеми жертвоприношениями, которые сам расписал и назначил, указав, с какими именно жертвами, по

каким дням и в каких храмах должны они совершаться и откуда должны выдаваться потребные для этого деньги. Да и все прочие жертвоприношения, общественные и частные, подчинил он решениям понтифика, чтобы народ имел, к кому обратиться за советом, и в божественном праве ничто не поколебалось от небреженья отеческими обрядами и усвоения чужеземных; чтобы тот же понтифик мог разъяснить не только чин служения небожителям, но и правила погребенья, и средства умиловить подземных богов, а также, какие знамения, ниспосылаемые в виде молний или в каком-либо ином образе, следует принимать в расчет и отвращать. А чтобы их получать от богов, Нума посвятил Юпитеру Эллицию алтарь на Авентине и чрез птицегадание спросил богов, какие знамения должны братья в расчет.

21. К обсуждению этих дел, к попечению о них обратился, забыв о насилиях и оружии, весь народ; умы были заняты, а постоянное усердие к богам, которые, казалось, и сами участвовали в людских заботах, напитало все сердца таким благочестием, что государством правили верность и клятва, а не покорность законам и страх перед карой. А поскольку римляне сами усваивали нравы своего царя, видя в нем непревзойденный образец, то даже соседние народы, которые прежде считали, что не город, но военный лагерь воздвигнут среди них на пагубу всеобщему миру, были пристыжены и теперь почли бы нечестьем обижать государство, всецело занятое служеньем богам.

Была роша, круглый год орошаемая ключом, который бил из темной пещеры, укрытой в гуще деревьев. Туда очень часто приходил без свидетелей Нума, будто бы для свиданья с богиней; эту рошу он посвятил Каменам, уверяя, что они совещались там с его супругою Эгерней. Установил он и праздник Верности. Он повелел, чтобы к святилищу Верности жрецы приезжали на крытой колеснице, запряженной парой, и чтобы жертвоприношение совершали рукою, спеленутою до самых пальцев, в знак того, что верность должно блюсти и что она свята и остается святыней даже в пожатии рук. Он учредил многие другие священнодействия и посвятил богам места для жертвоприношений — те, что понтифики зовут «Аргемни». Но все же величайшая из его заслуг в том, что на протяжении всего царствования он берег мир не меньше, чем царство.

Так два царя сряду, каждый по-своему — один войною, другой миром — возвеличили Рим. Ромул царствовал тридцать семь лет, Нума — сорок три. Государство было не только сильным, но одинаково хорошо приспособленным и к войне, и к мирной жизни.

22. Нума умер, и вновь наступило междоцарствие. Затем на-

род избрал царем Тулла Гостилия, внука того Гостилия, который прославился битвой с сабинянами у подножия крепости; отцы утвердили это решение. Новый царь не только не был похож на предшественника, но воинственностью превосходил даже Ромула. Молодые силы и дедовская слава волновали его. И вот, решив, что в покое государство дряхлеет, стал он повсюду искать повода к войне. Случилось, что римские крестьяне угнали скот с альбанской земли, альбанские, в свой черед, — с римской. Властвовал в Альбе тогда Гай Клуилий. С обеих сторон были отправлены послы требовать возмещения убытков. Своим послам Тулл наказал идти прямо к цели, не отвлекаясь ничем: он твердо знал, что альбанцы ответят отказом и тогда можно будет с чистой совестью объявить войну. Альбанцы действовали намного беспечнее; встреченные Туллом гостеприимно и радушно, они весело пировали с царем. Между тем римские послы и первыми потребовали возмещения, и отказ получили первыми; они объявили альбанцам войну, которая должна была начаться через тридцать дней. О том они и доложили Туллу. Тут он приглашает альбанских послов высказать, ради чего они явились. Те, ни о чем не догадываясь, сначала зря тратят время на оправдания: они-де и не хотели бы говорить ничего, что могло бы не понравиться Туллу, но повинуются приказу: они пришли за удовлетворением, а если получают отказ, им велено объявить войну. А Тулл в ответ: «Передайте вашему царю, что римский царь берет в свидетели богов: чья сторона первой отослала послов, не уважив их просьбы, на нее пусть и падут все бедствия войны».

23. Эту весть альбанцы уносят домой. И вот обе стороны стали всеми силами готовить войну, всего более схожую с гражданской, почти что войну меж отцами и сыновьями, ведь оба противника были потомки троянцев: Лавиний вел начало от Трои, от Лавиния — Альба, от альбанского царского рода — римляне. Исход войны, правда, несколько умеряет горечь размышлений об этой распри, потому что до сражения не дошло, погибли лишь здания одного из городов, а оба народа слились в один. Альбанцы первые с огромным войском вторглись в римские земли. Лагерь они разбивают едва ли дальше, чем в пяти милях от города; лагерь обводят рвом; Клуилиев ров — так, по имени их вождя, звался он несколько столетий, покуда, обветшав, не исчезли и самый ров, и это имя. В лагере Клуилий, альбанский царь, умирает; альбанцы избирают диктатора, Меттия Фуфетия.

Меж тем Тулл, особенно ожесточившийся после смерти царя, объявляет, что кара всемогущих богов за незаконную войну постигнет, начав с головы, весь альбанский народ, и, миповав ночью неприятельский лагерь, ведет войско в земли альбанцев. Это за-

ставило Меттия сняться с места. Он подходит к противнику как можно ближе и, отправив вперед посла, поручает ему передать Туллу, что, прежде чем сражаться, нужны переговоры — он, Меттий, уверен: если полководцы встретятся, то у него найдется сообщение, не менее важное для римлян, нежели для альбанцев. Хотя это выглядело пустым хвастовством, Тулл не пренебрег предложением и выстроил войско. Напротив выстроились альбанцы.

Когда два строя стали друг против друга, вожди с немногими приближенными вышли на середину. Тут альбанец заговорил. «Нанесенная обида и отказ удовлетворить обоснованное договором требование о возмещении ущерба — такова причина нынешней войны, я и сам, кажется, слышал о том из уст нашего царя Клуилия, да и ты, Тулл, не сомневаюсь, выдвигаешь те же доводы. Но если нужно говорить правду, а не красивые слова, это жажда власти толкает к войне два родственных и соседних народа. Хорошо ли это или дурно, я сейчас объяснять не буду: пусть размыслит об этом тот, кто затеял войну, меня же альбанцы избрали, чтобы ее вести. А тебе, Тулл, я хотел бы напомнить вот о чем. Сколь велика держава этрусков, окружающая и наши владения, и особенно ваши, ты как их ближайший сосед знаешь еще лучше, чем мы: велика их мощь на суше, еще сильнее они на море. Помни же: как только подашь ты знак к битве, оба строя окажутся у них на виду, чтобы сразу обоим, и победителю и побежденному, усталым и обессиленным, сделаться жертвою нападения. Видят боги, раз уж мы не довольствуемся верной свободой и в сомнительной игре ставим на кон господство и рабство, так найдем, по крайней мере, какую-нибудь возможность решить без кровопролитья, без гибельного для обеих сторон урона, какому народу властвовать, какому подчиняться».

Тулл согласился, хотя и от природы, и в твердой надежде на успех был склонен к более воинственному решению. Обоим сторонам приходит в мысль воспользоваться случаем, который послала им сама Судьба.

24. Было тогда в каждой из ратей по трое братьев-близнецов, равных и возрастом и силой. Это были, как знает каждый, Горацци и Куриации, и едва ли есть предание древности, известное более широко; но и в таком ясном деле не обошлось без путаницы насчет того, к какому народу принадлежали Горацци, к какому Куриации. Писатели расходятся во мнениях, но большая часть, насколько я могу судить, зовет римлян Горацциями, к ним хотелось бы присоединиться и мне. Цари обращаются к близнецам, предлагая им обнажить мечи, — каждому за свое отечество: той стороне достанется власть, за какую будет победа. Возражений нет, сгова-

риваются о времени и месте. Прежде чем начался бой, между римлянами и альбанцами был заключен договор на таких условиях: чьи граждане победят в схватке, тот народ будет мирно властвовать над другим.

Разные договоры заключаются на разных условиях, но всегда одинаковым способом. В тот раз, как я мог узнать, сделано было так (и нет о договорах сведений более древних). Фециал воззвал к царю Туллу: «Велишь ли мне, царь, заключить договор с отцом-отряженным народа альбанского?» Царь повелел, тогда фециал сказал: «Прошу у тебя, царь, потребное для освящения». Тот в ответ: «Возьми чистой травы». Фециал принес из крепости вырванной с корнем чистой травы. После этого он воззвал к царю так: «Царь, назначаешь ли ты меня с моею утварью и сотоварищами царским вестником римского народа квиритов?» Царь ответил: «Назначаю, если то не во вред мне и римскому народу квиритов». Фециалом был Марк Валерий, отцом-отряженным он назначил Спурия Фузия, коснувшись ветвью его головы и волос. Отец-отряженный назначается для принесения присяги, то есть для освящения договора: он произносит многочисленные слова длинного заклятия, которое не стоит здесь приводить. Потом, по оглашении условий, он говорит: «Внемли, Юпитер, внемли, отец-отряженный народа альбанского, внемли, народ альбанский. От этих условий, в том виде, как они всенародно от начала и до конца оглашены по этим навощенным табличкам без злого умысла и как они здесь в сей день поняты вполне правильно, от них римский народ не отступится первым. А если отступится первым по общему решению и со злым умыслом, тогда ты, Юпитер, порази народ римский так, как в сей день здесь я поражаю этого боровка, и настолько сильнее порази, насколько более твоя мощь и могущество». Сказав это, он убил боровка кремнем. Точно так же и альбанцы, через своего диктатора и своих жрецов, произнесли свои заклятья и клятву.

25. Когда заключили договор, близнецы, как было условлено, берутся за оружие. С обеих сторон ободряют своих: на их оружие, на их руки смотрят сейчас отеческие боги, отечество и родители, все сограждане — и дома, и в войске. Бойцы, и от природы воинственные, и ободряемые криками, выступают на середипу меж двумя ратями. Оба войска сели перед своими лагерями, свободные от прямой опасности, но не от тревоги — спор ведь шел о первенстве и решение зависело от доблести и удачи столь немногих. В напряженном ожидании все чувства обращаются к зрелищу, отнюдь не тещащему глаз.

Подают знак, и шесть юношей с оружием наизготовку, по трое, как два строя, сходятся, вобрав в себя весь пыл двух больших ратей. И те, и другие думают не об опасности, грозящей им самим, но о господстве или рабстве, ожидающем весь народ, о грядущей судьбе своего отечества, находящейся теперь в собственных их руках. Едва только в первой сшибке стукнули щиты, сверкнули блистающие мечи, глубокий трепет охватывает всех, и покуда ничто не обнадеживает ни одну из сторон, голос и дыхание застывают в горле. Когда бойцы сошлись грудь на грудь и уже можно было видеть не только движение тел и мелькающие клинков и щитов, но и раны и кровь, трое альбанцев были ранены, а двое римлян пали. Их гибель исторгла крик радости у альбанского войска, а римские легионы оставила уже всякая надежда, но еще не тревога: они сокрушались об участи последнего, которого обступили трое Куриациев. Волею случая он был невредим, и если против всех вместе бессилен, то каждому порознь грозен. Чтобы разъединить противников, он обращается в бегство, рассчитав, что преследователи бежать будут так, как позволит каждому рана. Уже отбежал он на какое-то расстояние от места боя, как, оглянувшись, увидел, что догоняющие разделены немалыми промежутками и один совсем близко. Против этого и обращается он в яростном натиске, и покуда альбанское войско кричит Куриациям, чтобы поторопились на помощь брату, победитель Гораций, убив врага, уже устремляется в новую схватку. Теперь римляне поддерживают своего бойца криком, какой всегда поднимают при неожиданном обороте поединка сочувствующие зрители, и Гораций спешит закончить сражение. Итак, он, прежде чем смог подоспеть последний, который был недалеко, приканчивает еще одного Куриация: и вот уж военное счастье сравнялось — противники остались один на один, но не равны у них были ни надежды, ни силы. Римлянин, целый и невредимый, одержавший двойную победу, был грозен, идя в третий бой; альбанец, изнемогший от раны, изнемогший от бега, сломленный зрелищем гибели братьев, покорно становится под удар. И то не было боем. Римлянин восклицает, ликуя: «Двоих я принес в жертву теньям моих братьев, третьего отдам на жертвенник того дела, ради которого идет эта война, чтобы римлянин властвовал над альбанцем». Ударом сверху вонзает он меч в горло противнику, едва держащему щит; с павшего снимает доспехи.

Римляне встретили Горация ликованием и поздравлениями, и тем большею была их радость, чем ближе были они прежде к отчаянию. Обе стороны потом занялись погребением своих мертвых, но с далеко не одинаковыми чувствами — ведь одни выиграли власть, а другие подпали чужому господству. Гробницы можно ви-

дети и до сих пор на тех самых местах, где пал каждый: две римские вместе, ближе к Альбе, три альбанские поодаль, в сторону Рима, и врозь — именно так, как бойцы сражались.

26. Прежде чем покинуть место битвы, Метний, повинувшись заключенному договору, спросил, какие будут распоряжения, и Тулл распорядился, чтобы альбанская молодежь оставалась под оружием: она понадобится, если будет война с вейянами. С тем оба войска и удалились в свои города.

Первым шел Гораций, неся тройной доспех; перед Капенскими воротами его встретила сестра-девица, которая была просватана за одного из Куриациев; узнав на плечах брата женихов плащ, вытканый ею самою, она распускает волосы и, плача, окликает жениха по имени. Свирепую душу юноши возмутили сестрины вопли, омрачавшие его победу и великую радость всего народа. Выхватив меч, он заколол девушку, восклицая при этом: «Отправляйся к жениху с твоею не в пору пришедшей любовью! Ты забыла о братьях — о мертвых и о живом, — забыла об отечестве. Так да погибнет всякая римлянка, что станет оплакивать неприятеля!»

Черным делом сочли это и отцы, и народ, но противостояла преступлению недавняя заслуга. Все же Гораций был схвачен и приведен на суд к царю. А тот, чтобы не брать на себя такой прискорбный и неугодный толпе приговор и последующую казнь, созвал народный сход и объявил: «В согласии с законом, назначаю дуумвиров, чтобы они вынесли Горацию приговор за тяжкое преступление». А закон звучал устрашающе: «Совершившего тяжкое преступление да судят дуумвиры; если он от дуумвиров обратится к народу, тягаться ему с ними перед народом; если те выиграют тяжбу, обмотать ему голову, подвесить к зловещему дереву, засечь его внутри городской черты или вне городской черты». Таков был закон, в согласии с которым были назначены дуумвиры. Дуумвиры считали, что закон не оставляет им возможности оправдать даже невиновного. Когда они вынесли свой приговор, то один из них объявил: «Публий Гораций, осуждаю тебя за тяжкое преступление. Ступай, ликтор, свяжи ему руки». Ликтор подошел и стал ладить петлю, и тут Гораций, по совету Тулла, снисходительного истолкователя закона, сказал: «Обращаюсь к народу». Этим обращением дело было передано на рассмотрение народа. На суде особенно сильно тронул собравшихся Публий Гораций-отец, объявивший, что дочь свою он считает убитой по праву: случись по-иному, он сам наказал бы сына отцовскою властью. Потом он просил всех, чтоб его, который так недавно был обилён потомством, не оставляли вовсе бездетным. Обняв юношу и указывая на доспехи Куриациев, прибитые на месте, что ныне зовется «Горациевы копьё», старик

говорил: «Неужели, квинтиты, того же, кого только что видели вступающим в город в почетном убранстве, торжествующим победу, вы сможете видеть с колодкой на шее, связанным, меж плетью и распятием? Даже взоры альбанцев едва ли могли бы вынести столь безобразное зрелище! Ступай, ликтор, свяжи руки, которые совсем недавно, вооруженные, принесли римскому народу господство. Обмотай голову освободителю нашего города; подвесь его к зловещему дереву; секи его, хоть внутри городской черты — по непременно меж этими копиями и вражескими доспехами, — хоть вне городской черты — но непременно меж могил Куриадиев. Куда ни уведете вы этого юношу, повсюду почетные отличия будут защищать его от позора казни!» Народ не вынес ни слез отца, ни равного перед любой опасностью спокойствия духа самого Горация — его оправдали скорее из восхищения доблестью, нежели по справедливости. А чтобы явное кровопролитие было все же искуплено очищением, отцу повелели, чтобы он очистил сына на общественный счет. Совершив особые очистительные жертвоприношения, которые с той поры завещаны роду Горациев, отец перекинул через улицу брус и прикрыв юноше голову, велел ему пройти словно бы под ярмом. Брус существует и по сей день, и всегда его чинят на общественный счет; называют его «сестрин брус». Гробница Горации — на месте, где та пала мертвой, — сложена из тесаного камня.

27. Но недолог был мир с Альбой. Недовольство черни, раздраженной тем, что судьба государства была вручена трем воинам, смутило суетный ум диктатора, и поскольку, действуя прямо, он ничего не выгадал, Меттий принялся бесчестными ухищрениями домогаться прежнего расположения соотечественников. Как прежде, в военное время, он искал мира, так теперь, в мирное, ищет войны, и, сознавая, что боевого духа у его сограждан больше, чем сил, он к прямой и открытой войне подстрекает другие народы, своему же оставляет прикрытое видимостью союза предательство. Фиденяне, жители римского поселения, дали склонить себя к войне с Римом, получив от альбанцев обещание перейти на их сторону. Войдя в соглашение с вейянами, они взялись за оружие. Когда фидепяне отпали, Тулл, вызвав Меттия и его войско из Альбы, повел их на врага. Перейдя Аниен, он разбил лагерь при слиянии рек. Между этим местом и Фиденями перешло Тибр войско вейян. Они в боевом строю не отдалились от реки, занимая правое крыло; на левом, ближе к горам, расположились фиденяне. Против вейян Тулл выстроил своих, а альбанцев разместил против легиона фидепян. Храбрости у альбанского полководца было не больше, чем верности. Не отваживаясь ни остаться на месте, ни открыто пе-

рейти к врагу, он мало-помалу отступает к горам. Решив, что дальше отходить не надо, он выстраивает все войско и в нерешительности, чтобы протянуть время, поправляет ряды. Замысел его был на ту сторону привести свои силы, на какой окажется счастье. Римляне, стоявшие рядом, сперва удивлялись, видя свое крыло обнажившимся из-за отхода союзников; потом во весь опор прискакал конник и сообщил царю, что альбанцы уходят. Среди всеобщего замешательства Тулл принес обет учредить двенадцать салиев и святилища Страху и Смятенью. Всадника он отчитывает громким голосом,— чтоб услышали враги,— и приказывает вернуться в сражение: тревожиться печего, это он, Тулл, послал в обход альбанское войско, чтобы оно напало на незащищенные тылы фиденян. И еще царь распорядился, чтобы всадники подняли копья. Когда это было исполнено, уходившее альбанское войско исчезло из глаз значительной части римской пехоты, а те, кто успел увидеть, доверились речи царя и сражались тем горячее. Страх теперь переходит к врагам; они слышали громкий голос Тулла, а большинство фиденян, жителей римского поселения, знало латинский язык. И вот, чтобы не оказаться отрезанными от своего города, если альбанцы с холмов внезапно двинутся вниз, фиденяне поворачивают вспять. Тулл наступает, и когда крыло, которое занимали фиденяне, было рассеяно, он, с еще большим воинским пылом, вновь обращает рать против вейян, уstraшенных чужим испугом. Не выдержали натиска и они, но бежать, как придется, не давала протекавшая сзади река. Добежав до нее, одни, постыдно бросая щиты, слепо ринулись в воду, другие медлили на берегу, колеблясь меж бегством и битвой, и были раздавлены. Из всех сражений, что до сих пор дали римляне, ни одно не было более ожесточенным.

28. Тогда альбанское войско, остававшееся зрителем битвы, спустилось на равнину. Меттий поздравляет Тулла с полной победою над врагами; со своей стороны, Тулл любезно разговаривает с Меттием. Он велит соединить, в добрый час, альбанский лагерь с лагерем римским и готовит очистительное жертвоприношение к следующему дню.

На рассвете, когда все было приготовлено по заведенному обычаю, Тулл приказывает созвать на сходку оба войска. Глашатаи, начав с дальнего конца лагеря, первыми подняли альбанцев. А тех и самое дело, бывшее им в новинку, побудило стать впереди, чтобы послушать речь римского царя. Их окружает римский легион под оружием — так было условлено заранее; центурионам было вменено в обязанность исполнять приказания без задержки. Тулл начинает так:

«Римляне, если в какой-либо из войн раньше всего следовало благодарить бессмертных богов, а потом вашу собственную доблесть, так это во вчерашнем сражении. Биться пришлось не столько с врагами, сколько с предательством и вероломством союзников, а эта битва и тяжелей и опасней. Пусть не будет у вас заблуждений — без моего приказа поднялись альбанцы к горам, и не распорядился я ходом битвы, но схитрил и притворился, чтобы вы не знали, что брошены союзниками, и не отвлеклись от сраженья, и чтобы враги, вообразив себя обойденными с тыла, в страхе ударились в бегство. Та вина, о которой я говорю, лежит не на всех альбанцах: они пошли за своим вождем, как поступили бы и вы, если бы я захотел увести вас отсюда. Меттий — вот предводитель, за которым они пошли, тот же Меттий — зачинщик этой войны, Меттий — нарушитель договора меж Римом и Альбой. Когда-нибудь и другой дерзнет на подобное, если сегодня не покажу я пример, который будет наукой всем смертным».

Вооруженные центурионы обступают Меттия, а царь продолжает: «Да послужит это ко благу, пользе и счастью римского народа, моему и вашему счастью, альбанцы,— вознамерился я весь альбанский народ перевести в Рим, простому люду даровать гражданство, старейшин зачислить в отцы, создать один город, одно государство. Как один народ, составлявший общину альбанцев, был поделен некогда на два, так теперь пусть они воссоединятся в один». На это альбанцы, безоружные в кольце вооруженных, хоть и думают об этом по-разному, но, объединенные общим страхом, отвечают молчанием. Тогда Тулл говорит: «Меттий Фуфетий, если бы ты мог научиться хранить верность и соблюдать договоры, я бы тебя этому поучил, оставив в живых; но ты неисправим, а потому умри, и пусть твоя казнь научит человеческий род уважать святость того, что было осквернено тобою. Совсем недавно ты раздваивался душою меж римлянами и фиденянами, теперь раздвоишься телом». Тут же подали две четверки, и царь приказал привязать Меттия к колесницам, потом пущенные в противоположные стороны кони рванули и, разорвав тело надвое, поволокли за собой прикрученные веревками члены. Все отвели глаза от гнусного зрелища. В первый раз и в последний воспользовались римляне этим способом казни, мало согласным с законами человечности; в остальном же можно смело сказать, что ни один народ не назначал более мягких наказаний.

29. Между тем уже были посланы в Альбу всадники, чтобы перевести население в Рим, за ними шли легионы разрушать город. Когда они вступили в ворота, не было вовсе смятения и безудержного отчаяния, обычного в только что взятом городе, где

взломаны ворота, или повалены стены, или не устояли защитники крепости,— и вот уже повсюду слышен вражеский крик, по улицам носятся вооруженные, и всё без разбора предается огню и мечу. А тут немая скорбь и молчаливое горе сковали сердца: забывшись в тревожном ожидании, не в силах решиться, люди спрашивали друг у друга, что оставить, что брать с собою, и то застывали на порогах, то блуждали по дому, чтобы бросить на всё последний взгляд. Но вот крики всадников, приказывавших уходить, зазвучали угрожающе, послышался грохот зданий, рушимых на краю города, и пыль, поднявшись в отдалении, окутала всё, словно облако; тогда, второпях унося то, что каждый мог захватить, оставляя и ларов с пенатами, и стены, в которых родились и выросли, альбанцы стали уходить,— вот сплошная толпа переселяющихся заполнила улицы; вид чужого горя и взаимное сострадание исторгали из глаз новые слезы, слышались и жалостные женские вопли, особенно громкие, когда проходили мимо священных храмов, занятых вооруженными воинами, и как бы в плену оставляли богов. После того как альбанцы покинули город, римляне все здания, общественные и частные, сравнивают с землею, в один час предав разрушению и гибели труды четырех столетий, которые стоял город Альба; храмы богов, однако,— так указано было царем,— были пощажены.

30. Рим между тем с разрушением Альбы растет. Удваивается число граждан, к городу присоединяется Целийский холм, а чтобы он заселялся быстрее и гуще, Тулл избирает его местом для царского дома и с той поры там и живет. Альбанских старейшин — Юлиев, Сервилиев, Квинтиев, Геганиев, Куриациев, Клелиев — он записал в отцы, чтобы росла и эта часть государственного целого; построил он и курию, священное место заседаний умноженного им сословия — она вплоть до времени наших отцов звалась Гостилиевой. И чтобы в каждое сословие влилось подкрепление из нового народа, Тулл набрал из альбанцев десять турм всадников, старые легионы пополнил альбанцами, из них же составил новые.

Полагаясь на эти силы, Тулл объявляет войну сабинянам, которые в те времена лишь этрускам уступали в численности и воинской мощи. С обеих сторон были обиды и тщетные требования удовлетворения. Тулл жаловался, что на людном торжище у храма Феронии схвачены были римские купцы; сабиняне,— что еще до того их люди бежали в священную рошу и были удержаны в Риме. Такие выставлялись предлоги к войне. Сабиняне отлично помнили, что в свое время Таций переместил в Рим часть их собственных воинских сил и что вдобавок римское государство еще усилилось недавним присоединением альбанского народа, а потому и

сами стали осматриваться вокруг в поисках внешней помощи. Этрурия была по соседству, ближе всех из этрусков — вейяне. Там еще не остыло после прежних войн озлобленье, умы были особенно возбуждены и склонны к измене, и поэтому оттуда сабиняне привлекли добровольцев, а кое-кого из неимущего сброда соблазнила плата. Но от вейского государства сабиняне никакой помощи не получили, и вейяне остались верны условиям договора, заключенного с Ромулом (то, что прочие этруски не помогли сабинянам, — не так удивительно). Так обе стороны всеми силами готовились к войне, исход которой, казалось, зависел от того, кто нападет первым. Тулл, опережая противника, вторгся в Сабинскую область. Жестокая битва произошла близ Злодейского леса, и победою римляне обязаны были не столько мощной пехоте, сколько недавно пополнившейся копнице. Внезапным ударом всадники смяли ряды сабинян, которые не смогли ни устоять в битве, ни без больших потерь спастись бегством.

31. После победы над сабинянами, когда и царь Тулл, и все римское государство были в великой славе и великой силе, царю и отцам донесли, что на Альбанской горе шел каменный дождь. Так как этому почти невозможно было поверить, послали людей взглянуть на небывалое знамение, и на их глазах, совсем как гонимый ветрами на землю град, без счета сыпались с неба камни. Посланные будто бы слышали даже громовой голос с самой вершины горы — из рощи, — повелевавший, чтобы альбанцы, по отеческому обычаю, совершали жертвоприношения, о которых они забыли (как будто боги были брошены вместе с отечеством), и либо усвоили римские обряды, либо — как это часто бывает, — разгневавшись на судьбу, вовсе бросили почитать богов. Римляне из-за этого знамения тоже устроили девятидневное общественное священнослуженье — то ли, как передают иные, вняв небесному гласу с Альбанской горы, то ли по совету гаруспиков; во всяком случае, и до сих пор, всякий раз, как донесут о таком знамении, устанавливаются девять праздничных дней.

Немногим позже пришло моровое поветрие. Оно привело с собою нежелание воевать, но воинственный царь не разрешал выпускать оружие из рук и был даже уверен, что здоровью молодежи военная служба полезней, чем пребывание дома. Так длилось до тех пор, покуда и сам он не был разбит долгой болезнью. Тут вместе с телом был сломлен и его свирепый дух, и тот, кто раньше ничто не считал менее царственным, чем отдавать свои помыслы священнодействиям, теперь вдруг стал покорен всему — и важным предписаниям благочестия, и жалким суевериям, — обратив к богобоязненности и народ. Все уже тосковали по време-

нам Нумы и верили, что нет от болезни иного средства, кроме как испросить у богов мир и прощенье. Передают, что царь сам, разбирая записки Нумы, узнал из них о пеких тайных жертвоприношениях Юпитеру Элицию и всецело отдался этим священнодействиям, но то ли начал, то ли повел дело не по уставу; и не только что никакое знамение не было ему явлено, но неверный обряд разгневал Юпитера, и Тулл, пораженный молнией, сгорел вместе с домом. Царствовал он с великой воинской славой тридцать два года.

32. По смерти Тулла, вновь, как установилось искони, вся власть перешла к отцам, и они назначили междуцаря. На созванном им сходе народ избрал царем Анк Марция; отцы утвердили этот выбор. Анк Марций был внуком царя Нумы Помпилия, сыном его дочери. Едва вступив на царство, он, памятуя о дедовской славе и единственной слабости прекрасного в остальном предыдущего царствования — упадке благочестия и искажении обрядов, а также полагая важнейшим, чтобы общественные священнодействия совершались в строгом согласии с уставами Нумы, приказал понтифику извлечь из записок царя все относящиеся сюда наставленья и, начертав на доске, обнародовать. Это и гражданам, стосковавшимся по покою, и соседним государствам внушило надежду, что царь вернется к дедовским нравам и установленьям.

И вот латиняне, с которыми при царе Тулле был заключен договор, расхрабрились и сделали набег на римские земли, а когда римляне потребовали удовлетворенья, дали высокомерный ответ, в расчете на бездействие нового царя, который, полагали они, будет проводить свое царствование меж святилищ и алтарей. Анк, однако, был схож нравом не только с Нумою, но и с Ромулом; сверх того он был убежден, что царствованию его деда, при тогдашней молодости и необузданности народа, спокойствие было гораздо нужнее, и что достойного мира, который достался его деду, ему, Анку, так просто не добиться: терпенье его испытывают, чтобы, испытав, презирать, и, стало быть, время сейчас подходящее скорее для Тулла, чем для Нумы. Но, чтобы установить и для войн законный порядок, как Нума установил обряды для мирного времени, и чтобы войны не только велись, но и объявлялись по определенному чину, Анк позаимствовал у древнего племени экви-колов то право, каким ныне пользуются фециалы, требуя удовле-творения.

Посол, придя к границам тех, от кого требуют удовлетворения, покрывает голову (покрывало это из шерсти) и говорит: «Внемли, Юпитер, внемлите, рубежи племени такого-то (тут он называет имя); да слышит меня Вышний Закон. Я вестник всего римского

народа, по праву и чести прихожу я послом, и словам моим да будет вера!» Далее он исчисляет все требуемое. Затем берет в свидетели Юпитера: «Если неправо и нечестиво требую я, чтобы эти люди и эти вещи были выданы мне, да лишишь ты меня навсегда принадлежности к моему отечеству». Это произносит он, когда переступает рубеж, это же — первому встречному, это же — когда входит в ворота, это же — когда войдет на площадь, изменяя лишь немногие слова в извещении и заклятии. Если он не получает того, что требует, то по прошествии тридцати трех дней (таков установленный обычаем срок) он объявляет войну так: «Внемли, Юпитер, и ты, Янус Квирин, и все боги небесные, и вы, земные, и вы, подземные,— внемлите! Вас я беру в свидетели тому, что этот народ (тут он называет, какой именно) нарушил право и не желает его восстановить. Но об этом мы, первые и старейшие в нашем отечестве, будем держать совет, каким образом нам осуществить свое право». Тут посол возвращается в Рим для совещания.

Без промедления царь в таких примерно словах запрашивает отцов: «Касательно тех вещей, требований, дел, о каковых отцу-отряженный римского народа квиритов известил отца-отряженного старых латинян и каждого из старых латинян; касательно всего того, что те не выдали, не выполнили, не возместили; касательно всего того, чему надлежит быть выданным, выполненным, возмещенным, объяви, какое твое суждение»,— так он обращается к тому, кто подает мнение первым. Тот в ответ: «Чистой и честной войной, по суждению моему, должно их взыскать; на это даю свое согласие и одобренье». Потом по порядку были опрошены остальные; когда большинство присутствующих присоединилось к тому же мнению, постановили воевать. Существовал обычай, чтобы фециал приносил к границам противника копьё с железным наконечником или кизиловое древко с обожженным концом и в присутствии не менее, чем троих взрослых свидетелей говорил: «Так как народы старых латинян и каждый из старых латинян провинились и погрешили против римского народа квиритов, так как римский народ квиритов определил быть войне со старыми латинянами и сенат римского народа квиритов рассудил, согласился и одобрил, чтобы со старыми латинянами была война, того ради я и римский народ народам старых латинян и каждому из старых латинян объявляю и приношу войну». Произнесши это, он бросал копьё в пределы противника. Вот каким образом потребовали тогда от латинян удовлетворение и объявили им войну; этот порядок переняли потомки.

33. Поручив попечение о священнодействиях фламинам и другим жрецам, Анк с вновь набранным войском ушел на войну. Ла-

тинский город Политорий он взял приступом, все его население по примеру предыдущих царей, принимавших неприятелей в число граждан и тем увеличивавших римское государство, перевел в Рим, и, подобно тому как подле Палатина — обиталища древнейших римлян — сабиняне заселили Капитолий и крепость, а альбанцы Целийский холм, новому пополнению отведен был Авентин. Там же немного спустя, по взятии Теллен и Фиканы, были поселены еще граждане. На Политорий пришлось двинуться войною еще раз, так как опустевший город заняли старые латиняне; это заставило римлян разрушить Политорий, чтобы он не служил постоянным пристанищем для неприятелей. В конце концов все силы латинян были оттеснены к Медулли, где довольно долго военное счастье было непостоянным — сражались с переменным успехом: и самый город был надежно защищен укреплениями и сильной охраной, и в открытом поле латинское войско, став лагерем, несколько раз схватывалось с римлянами врукопашную. Наконец Анк, бросив в дело все свои силы, выиграл сражение и, обогатившись огромной добычей, возвратился в Рим; тут тоже многие тысячи латинян были приняты в число граждан, для поселения им было отведено место близ алтаря Мурции — чтобы соединился Авентин с Палатином. Яникул был тоже присоединен к городу — не оттого, что не хватало места, но чтобы не смогли здесь когда-нибудь укрепиться враги. Решено было не только обнести этот холм стеною, но и — ради удобства сообщения — соединить с городом Свайным мостом, который тогда впервые был построен на Тибре. Ров Квиритов, немаловажное укрепление на равнинных подступах к городу, — тоже сооружение царя Анка.

Огромная прибыль населения увеличила государство, а в таком многолюдном народе потерялось ясное различие между хорошими и дурными поступками, стали совершаться тайные преступления, и поэтому в утраченности все возраставшей дерзости негодяев возводятся тюрьма посреди города, над самым Форумом. И не только город, но и его владения расширились в это царствование. Отобрав у веян Мезийский лес, римляне распространили свою власть до самого моря, и при устье Тибра был основан город Остия; вокруг него стали добывать соль; в ознаменование военных успехов перестроили наново храм Юпитера Феретрия.

34. В царствование Анка в Рим переселился Лукумон, человек деятельный и сильный своим богатством; в Рим его привело прежде всего властолюбие и надежда на большие почести, каких он не мог достигнуть в Тарквиниях, потому что и там был отпрыском чужеземного рода. Был он сыном коринфянина Демарата, который из-за междоусобиц бежал из родного города, волей случая

поселился в Тарквиниях, там женился и родил двоих сыновей. Звались они Лукумон и Аррунт. Лукумон пережил отца и унаследовал все его добро. Аррунт умер еще при жизни отца, оставив жепу беременной. Впрочем, отец пережил сына ненадолго, он скончался, не зная, что невестка носит в чреве, и потому не упомянул в завещании внука. Родившийся после смерти деда мальчик, не имея никакой доли в его богатстве, получил из-за бедности имя Эгерия. А в Лукумоне, который унаследовал все отцовское добро, уже само богатство порождало честолюбие, еще усилившееся, когда он взял в супруги Танаквиль. Эта женщина была самого высокого рода, и не легко ей было смириться с тем, что по браку положение ее ниже, чем по рождению. Так как этрусски презирали Лукумона, сына изгнанника-пришлеца, она не могла снести унижения и, забыв о природной любви к отечеству, решила покинуть Тарквинии — только бы видеть супруга в почете. Самым подходящим для этого городом она находила Рим: среди молодого народа, где вся знать недавняя и самая знатность приобретена доблестью, там-то и место мужу храброму и деятельному. Ведь и сабинянин Таций там царствовал и призван был туда на царство Нума из Кур, да и Анк, рожденный матерью-сабинянкой, знатен одним только предком — Нумою. Танаквиль без труда убедила мужа, который и сам жаждал почестей; да и Тарквинии были ему отечеством лишь со стороны матери. Снявшись с места со всем имуществом, они отселяются в Рим.

Доезжают они волей случая до Яникула, а там орел плавно, на распростертых крыльях, спускается к Лукумону, восседающему с женою на колеснице, и уносит его шапку, чтобы, покружив с громким клеткотом, вновь возложить ее на голову, будто исполняя поручение божества; затем улетает ввысь. Танаквиль, женщина сведущая, как все вообще этрусски, в небесных знаменьях, с радостью приняла это провозвестье. Обнявши мужа, она велит ему надеяться на высокую и великую участь: такая прилетала к нему птица, с такой стороны неба, такого бога вестница; облетев вокруг самой маковки, она подняла вверх убор, возложенный на чело-веческую голову, чтобы возвратить его как бы от божества. С такими надеждами и мыслями въехали они в город и, обзаведясь там домом, назвались именем Луция Тарквиния Древнего. Человек новый и богатый, Луций Тарквиний обратил на себя внимание римлян и сам помогал своей удаче радушным обхождением и дружескими приглашениями, услугами и благодеяньями, которые оказывал, кому только мог, покуда молва о нем не донеслась и до царского дворца. А сведя знакомство с царем, он охотно принимал порученья, искусно их исполнял и скоро достиг того, что на

правах близкой дружбы стал бывать на советах и общественных, и частных, и в военное, и в мирное время. Наконец, войдя во все дела, он был назначен по завещанию опекуном царских детей.

35. Анк царствовал двадцать четыре года; искусством и славою в делах войны и мира он был равен любому из предшествовавших царей. Сыновья его были уже почти взрослыми. Тем сильнее настаивал Тарквиний, чтобы как можно скорей состоялось собрание, которое избрало бы царя, а к тому времени, на какое оно было назначено, отправил царских сыновей на охоту. Он, как передают, был первым, кто искательством домогался царства и выступил с речью, составленною для привлечения сердец народа. Он говорил Тарквиний, не ищет ничего небывалого, ведь он не первым из чужеземцев (чему всякий мог бы удивиться или негодовать), но третьим притязает на царскую власть в Риме: и Таций из врага даже — не просто из чужеземца — был сделан царем, и Нума, незнакомый с городом, не стремившийся к власти, самими римлянами был призван на царство, а он, Тарквиний, с того времени, как стал распоряжаться собой, переселился в Рим с супругой и всем имуществом. В Риме, не в прежнем отчестве, прожил он большую часть тех лет жизни, какие человек уделяет гражданским обязанностям. И дома и на военной службе, под рукою безукоризненного наставника, самого царя Анка, изучил он законы римлян, обычаи римлян. В повиновении и почтении к царю он мог поспорить со всеми, а в добром расположении ко всем прочим с самим царем. Это не было ложью, и народ с великим единодушием избрал его на царство. Этот человек, в остальном достойный, и на царстве не расстался с тем искательством, какое выказал, домогаясь власти. Не меньше заботясь об укреплении своего владычества, чем о расширении государства, он записал в отцы сто человек, которые с тех пор звались отцами младших родов; они держали, конечно, сторону царя, чье благодеянье открыло им доступ в курию. Войну он вел сначала с латинянами и взял приступом город Апиолы; вернувшись с добычей, большей, чем позволяло надеяться общее мнение об этой войне, он устроил игры, обставленные с великолепием, невиданным при прежних царях. Тогда впервые отведено было место для цирка, который ныне зовется Большим. Были определены места для отцов и всадников, чтобы всякий из них мог сделать для себя сиденья. Смотрели с помостов, насланных на подпорах высотой в двенадцать футов. В представлении участвовали упряжки и кулачные бойцы, в большинстве приглашенные из Этрурии. С этого времени вошли в обычай ежегодные игры, именуемые Римскими или иначе Великими. Тем же

самым царем распределены были между частными лицами участки для строительства вокруг Форума; возведены портик и лавки.

36. Тарквиний собирался также обвести город каменной стеной, но помешала Сабинская война. Она началась столь внезапно, что враги успели перейти Аниен прежде, чем римское войско смогло выступить им навстречу. Поэтому город был в страхе, а первая битва, кровопролитная для обеих сторон, ни одной не дала перевеса. Когда затем враги увели войска назад в лагерь и дали римлянам время подготовиться к войне заново, Тарквиний рассудил, что силам его особенно недостает всадников, и решил к Рамнам, Тициям и Луцерам — центуриям, которые были учреждены Ромулом, — добавить новые, сохранив их на будущее памятником Тарквиниева имени. А так как Ромул учредил центурии по совершении птицегадания, то Атт Навий, славный в то время авгур, объявил, что нельзя ничего ни изменить, ни учредить заново, если того не позволят птицы. Это вызвало гнев царя, и он, как рассказывают, насмехаясь над искусством гадания промолвил: «Ну-ка, ты, божественный, посмотри по птицам, может ли исполниться то, что я сейчас держу в уме». Когда же тот, совершив птицегадание, сказал, что это непременно сбудется, царь ответил: «А загадал-то я, чтобы ты бритвой рассек оселок. Возьми же одно и другое и сделай то, что, как возвестили тебе твои птицы, может быть исполнено». Тогда жрец, как передают, без промедленья рассек оселок. Изваяние Атта с покрытою головой стоит на том месте, где это случилось: на Комиции, на самих ступенях, по левую руку от курии. И камень, говорят, был положен на том же месте, чтобы он напоминал потомкам об этом чуде. А уважение к птицегаданию и достоинству авгуров стало так велико, что с тех пор никакие дела — ни на войне, ни в мирные дни — не велись без того, чтобы не спросить птиц: народные собрания, сбор войска, важнейшие дела отменялись, если не дозволяли птицы. И в тот раз тоже — все касавшееся всаднических центурий Тарквиний оставил неизменным и лишь прибавил к числу всадников еще столько же, так что в трех центуриях их стало тысяча восемьсот. Вновь набранные всадники были названы «младшими» и причислены к прежним центуриям, которые сохранили свои наименования. А нынешнее их прозвание «шесть центурий» происходит от удвоившейся тогда численности.

37. Когда эта часть войска была пополнена, вновь сразились с сабинянами. Но, подкрепив новыми силами свое войско, римляне, кроме того, прибегли и к хитрости: были посланы люди, чтобы зажечь и спустить в Аниен множество деревьев, лежавших по берегам речки; ветер раздувал пламя, горящие деревья, большей

частью паваленные на плоты, застредали у свай, и мост загорелся. И это тоже напугало сабинян во время битвы и вдобавок помешало им бежать, когда они были рассеяны; множество их, хоть и спаслось от врага, нашло свою гибель в реке. Их щиты, принесенные течением к Риму, были замечены в Тибре и дали знать о победе едва ли не раньше, чем успела прийти весть о ней. В этой битве главная слава досталась всадникам. Поставленные, как рассказывают, на обоих крыльях, они, когда пеший строй посреди стал уже поддаваться, ударили с боков так, что не только остановили сабинские легионы, жестоко теснившие дрогнувшую пехоту, но неожиданно обратили их в бегство. Сабиняне врассыпную бросились к горам, но немногие их достигли — большинство, как уже говорилось, было загнано конницей в реку. Тарквиний, решив продолжать наступление на перепуганного врага, отсылает добычу и пленных в Рим и, сложив огромный костер из вражских доспехов (таков был обет Вулкану), ведет войско дальше в землю сабинян. И хотя дела их шли плохо и на лучшее надеяться было нечего, однако, поскольку для размышлений времени не оставалось, сабиняне вышли навстречу с наспех набранным войском; разбитые снова и потеряв на этот раз почти все, они запросили мира.

38. Колляция и все земли по сю сторону Колляции были отняты у сабинян. Эгерий, царский племянник, был оставлен в Колляции с отрядом. Коллатинцы сдались, и, насколько мне известно, порядок сдачи был таков. Царь спросил: «Это вы — послы и ходатан, посланные коллатинским народом, чтобы отдать в наши руки себя самих и коллатинский народ?» — «Мы». — «Властен ли над собою коллатинский народ?» — «Властен». — «Отдаете ли вы коллатинский народ, поля, воду, пограничные знаки, храмы, утварь, все, принадлежащее богам и людям, в мое и народа римского распоряженье?» — «Отдаем». — «А я принимаю». Завершив сабинскую войну, Тарквиний триумфатором возвращается в Рим. Потом он пошел войной на старых латинян. Здесь ни разу не доходило до битвы, от которой зависел бы исход всей войны, — захватывая города по одному, царь покорил весь народ латинян. Корникул, Старая Фикулея, Камерия, Крустумерий, Америола, Медуллия, Номент — вот города, взятые у старых латинян или у тех, кто их поддерживал. Затем был заключен мир.

С этого времени Тарквиний обращается к мирной деятельности с усердием, превышавшим усилия, отданные войне; он хотел, чтобы у народа и дома было не меньше дел, чем в походе. Так, возвратясь к начинанию, расстроеному Сабинской войною, он стал обносить каменною стеной город в тех местах, где не успел еще соорудить укрепления; так, он осушил в городе низкие

места вокруг Форума и другие низины между холмами, проведя к Тибру вырытые с уклоном каналы (ибо с ровных мест нелегко было отвести воду); так, он заложил — во исполнение данного в Сабинскую войну обета — основание храма Юпитера на Капитолии, уже предугадывая душой грядущее величие этого места.

39. В это время в царском доме случилось чудо, дивное и по виду, и по последствиям. На глазах у многих, гласит предание, пылала голова спящего мальчика по имени Сервий Туллий. Многоголосый крик, вызванный столь изумительным зрелищем, привлек и царя с царицей, а когда кто-то из домашних принес воды, чтоб залить огонь, царица остановила его. Прекратила она и шум, запретив тревожить мальчика, покуда тот сам не проснется. Вскоре вместе со сном исчезло и пламя. Тогда, отведя мужа в сторону, Танаквиль говорит: «Видишь этого мальчика, которому мы даем столь низкое воспитание? Можно догадаться, что когда-нибудь, в неверных обстоятельствах, он будет нашим светочем, оплотом униженного царского дома. Давай же того, кто послужит к великой славе и государства и нашей, вскормим со всею заботливостью, на какую способны».

С этой поры с ним обходились, как с сыном, наставляли в пауках, которые побуждают души к служенью великому будущему. Это оказалось нетрудным делом, ибо было угодно богам. Юноша вырос с истинно царскими задатками, и когда пришла пора Тарквинию подумать о зяте, никто из римских юношей ни в чем не сумел сравниться с Сервием Туллием; царь просватал за него свою дочь. Эта честь, чего бы ради ни была она оказана, не позволяет поверить, будто он родился от рабыни и в детстве сам был рабом. Я более склонен разделить мнение тех, кто рассказывает, что, когда взят был Коринкул, супруга Сервия Туллия, первого в том городе человека, осталась после гибели мужа беременной; она была опознана среди прочих пленниц, за исключительную знатность свою избавлена римской царицей от рабства и родила ребенка в доме Тарквиния Древнего. После такого великого благодеяния и женщины сблизились между собою, и мальчик, с малых лет выросший в доме, находился в чести и в холе. Судьба матери, попавшей по взятии ее отечества в руки противника, заставила поверить, что он родился от рабыни.

40. На тридцать восьмом примерно году от воцаренья Тарквиния, когда Сервий Туллий был в величайшей чести не у одного лишь царя, но и у отцов, и народа, двое сыновей Анка — хоть они и прежде всегда почитали себя глубоко оскорбленными тем, что просками опекуна отстранены от отцовского царства, а царствует в Риме пришлец, не только что не соседского, но даже и не ита-

лийского рода — распалются сильнейшим негодованием. Выходит, что и после Тарквиния царство достанется не им, но, безудержно падая ниже и ниже, свалится в рабские руки, так что, спустя каких-нибудь сто лет, в том же городе, ту же власть, какую владел — покуда жил на земле — Ромул, богом рожденный и сам тоже бог, теперь получит раб, порожденье рабыни! Будет позором и для всего римского имени, и в особенности для их дома, если при живом и здоровом мужском потомстве царя Анка царская власть в Риме станет доступной не только пришельцам, но даже рабам.

И вот они твердо решают предотвратить это бесчестье оружием. Но и сама горечь обиды больше подстрекала их против Тарквиния, чем против Сервия, и опасенье, что царь, если они убьют не его, отомстит им страшнее всякого другого; к тому же, думалось им, после гибели Сервия царь еще кого-нибудь избрет себе в зятя и оставит наследником. Поэтому они готовят покушение на самого царя. Для злодеяния были выбраны два самых отчаянных пастуха, вооруженные, тот и другой, привычными им мужицкими орудиями. Затеяв притворную ссору в преддверии царского дома, они поднятым шумом собирают вокруг себя всю прислугу; потом, так как оба призывали царя и крик доносился во внутренние покои, их приглашают к царю. Там и тот и другой сперва вопили наперерыв и старались друг друга перекричать; когда ликтор унял их и велел говорить по очереди, они перестают, наконец, препираться и один начинает заранее выдуманный рассказ. Пока царь внимательно слушает, оборотясь к говорящему, второй заносит и обрушивает на царскую голову топор; оставив оружие в ране, оба выскакивают за дверь.

41. Тарквиния при последнем издыхании принимают на руки окружающие, а обоих злодеев, бросившихся было бежать, схватывают ликторы. Поднимается крик, и сбегается народ, расспрашивая, что случилось. Среди общего смятения Танаквиль приказывает запереть дом, выставляет всех прочь. Тщательно, как если бы еще была надежда, готовится она все нужное для лечения раны, но тут же, на случай, если надежда исчезнет, принимает иные меры: быстро призвав к себе Сервия, показывает ему почти бездыханного супруга и, простерши руку, заклинает не допустить, чтобы смерть тестя осталась неотомщенной, чтобы теща обратилась в посмешище для врагов. «Тебе, Сервий, если ты мужчина, — говорит она, — принадлежит царство, а не тем, кто чужими руками гнуснейшее содеял злодеяние. Воспрянь, и да поведут тебя боги, которые некогда, окружив твою голову божественным сиянием, возвестили ей славное будущее. Пусть воспламенит тебя ныне тот

п небесный огонь, ныне поистине пробудись! Мы тоже чужеземцы и тоже царствовали. Помни о том, кто ты, а не от кого рожден. А если твоя решимость тебе изменяет в нежданной беде, следуй моим решеньям». Когда шум и напор толпы уже нельзя было выносить, Танаквиль из верхней половины дома, сквозь окно, выходящее на Новую улицу (царь жил тогда у храма Юпитера Становителя), обращается с речью к народу. Она велит сохранять спокойствие: царь-де просто оглушен ударом; лезвие проникло неглубоко; он уже пришел в себя; кровь обтерта, и рана обследована; опасности никакой; вскоре, она уверена, они увидят и самого царя, а пока он велит, чтобы народ оказывал повиновение Сервию Туллию, который будет творить суд и исполнять все другие царские обязанности. Сервий выходит, одетый в трабею, в сопровождении ликторов, и, усевшись в царское кресло, одни дела решает сразу, о других для виду обещает посоветоваться с царем. Таким вот образом в течение нескольких дней после кончины Тарквиния, утаив его смерть, Сервий под предлогом исполнения чужих обязанностей упрочил собственное положение. Только после этого о случившемся было объявлено, и в царском доме поднялся плач. Сервий, окруживший себя стражей, первый стал править лишь с соизволения отцов, без народного избрания. Сыновья же Анка, как только схвачены были исполнители преступления и пришло известие, что царь жив, а вся власть у Сервия, удалились в изгнание в Суэссу Помецию.

42. И не только общественными мерами старался Сервий укрепить свое положение, но и частными. Чтобы у Тарквиниевых сыновей не зародилась такая же ненависть к нему, как у сыновей Анка к Тарквинию, Сервий сочетает браком двух своих дочерей с царскими сыновьями Луцием и Аррунтом Тарквиниями. Но человеческими ухищрениями не переломил он судьбы: даже в собственном его доме завистливая жажда власти все пропитала неверностью и враждой.

Как раз вовремя — в видах сохранения установившегося спокойствия — он открыл военные действия (ибо срок перемирия уже истек) против вейян и других этрусков. В этой войне блистательно проявились и доблесть, и счастье Туллия; рассеяв огромное войско врагов, он возвратился в Рим уже несомненным царем, удостоившись в преданности и отцов и народа.

Теперь он приступает к величайшему из мирных дел, чтобы, подобно тому как Нума явился творцом божественного права, Сервий слыл у потомков творцом всех гражданских различий, всех сословий, четко делящих граждан по степеням достоинства и состоятельности. Он учредил ценз — самое благодетельное для бу-

душей великой державы установление, посредством которого повинности, и военные, и мирные, распределяются не подушно, как до того, но соответственно имущественному положению каждого. Именно тогда учредил он и разряды, и центурии, и весь основанный на цензе порядок — украшение и мирного и военного времени.

43. Из тех, кто имел сто тысяч ассов или еще больший ценз, Сервий составил восемьдесят центурий: по сорока из старших и младших возрастов; все они получили название «первый разряд», старшим надлежало быть в готовности для обороны города, младшим — вести внешние войны. Вооружение от них требовалось такое: шлем, круглый щит, поножи, панцирь — все из бронзы, это для защиты тела. Оружие для нападения: копье и меч. Этому разряду приданы были две центурии мастеров, которые несли службу без оружия: им было поручено доставлять для нужд войны осадные сооружения. Во второй разряд вошли имеющие ценз от ста до семидесяти пяти тысяч, и из них, старших и младших, были составлены двадцать центурий. Положенное оружие: вместо круглого щита — вытянутый, остальное — то же, только без панциря. Для третьего разряда Сервий определил ценз в пятьдесят тысяч; образованы те же двадцать центурий, с тем же разделением возрастов. В вооружении тоже никаких изменений, только отменены поножи. В четвертом разряде ценз — двадцать пять тысяч; образованы те же двадцать центурий, вооружение изменено: им не назначено ничего, кроме копья и дротика. Пятый разряд обширнее: образованы тридцать центурий; здесь воины носили при себе лишь пращи и метательные камни. В том же разряде распределенные по трем центуриям запасные, горнисты и трубачи. Этот класс имел ценз одиннадцать тысяч. Еще меньший ценз оставался на долю всех прочих, из которых была образована одна центурия, свободная от военной службы.

Когда лешее войско было снаряжено и подразделено, Сервий составил из виднейших людей государства двенадцать всаднических центурий. Еще он образовал шесть других центурий, взамен трех, учрежденных Ромулом, и под теми же освященными птицегаданием именами. Для покупки коней всадникам было дано из казны по десяти тысяч ассов, а содержание этих коней было возложено на незамужних женщин, которым надлежало вносить по две тысячи ассов ежегодно.

Все эти тяготы были с бедных переложены на богатых. Зато большим стал и почет. Ибо не поголовно, не всем без разбора (как то повелось от Ромула и сохранялось при прочих царях) было дано равное право голоса и не все голоса имели равную силу, но были установлены степени, чтобы и никто не казался исключен-

ным из голосованья, и вся сила находилась бы у виднейших людей государства. А именно: первыми приглашали к голосованию всадников, затем — восемьдесят пехотных центурий первого разряда; если мнения расходились, что случалось редко, приглашали голосовать центурии второго разряда; но до самых низких не доходило почти никогда. И не следует удивляться, что при нынешнем порядке, который сложился после того, как триб стало тридцать пять, чему отвечает двойное число центурий — старших и младших, — общее число центурий не сходится с тем, какое установил Сервий Туллий. Ведь когда он разделил город — по населенным округам и холмам — на четыре части и назвал эти части трибами (я полагаю, от слова «трибут» — налог, потому что от Сервия же идет и способ собирать налог равномерно, в соответствии с цензом), то эти тогдашние трибы не имели никакого касательства ни к распределению по центуриям, ни к их числу.

44. Произведя общую перепись и тем покончив с цензом (для ускорения этого дела был издан закон об уклонившихся, который грозил им оковами и смертью), Сервий Туллий объявил, что все римские граждане, всадники и пехотинцы, каждый в составе своей центурии, должны явиться с рассветом на Марсово поле. Там, выстроив все войско, он принес за него очистительную жертву — борова, барана и быка.

Этот обряд был назван «свершеньем очищения», потому что им завершался ценз. Передают, что в тот раз переписано было восемьдесят тысяч граждан; древнейший историк Фабий Пиктор добавляет, что таково было число способных носить оружие. Поскольку людей стало так много, показалось нужным увеличить и город. Сервий присоединяет к нему два холма, Квиринал и Виминал, затем переходит к расширению Эсквилинского округа, где поселяется и сам, чтобы внушить уважение к этому месту. Город он обвел валом, рвом и стеной, раздвинув таким образом померий. Померий, согласно толкованию тех, кто смотрит лишь на буквальное значение слова, это полоса земли за стеной, скорее, однако, по обе стороны стены. Некогда этруски, основывая города, освящали птицегаданьем пространство по обе стороны намеченной ими границы, чтобы изнутри к стене не примыкали здания (теперь, напротив, это повсюду вошло в обычай), а снаружи полоса земли не обрабатывалась человеком. Этот промежуток, заселять или захламлять который считалось кощунством, и называется у римлян померием — как потому, что он за стеной, так и потому, что стена за ним. И всегда при расширении города насколько выносятся вперед стена, настолько же раздвигаются эти освященные границы.

45. Усилив государство расширением города, упорядочив все внутренние дела для надобностей и войны и мира, Сервий Туллий — чтобы не одним оружием приобреталось могущество — попытался расширить державу силой своего разума, но так, чтобы это послужило и к украшению Рима. В те времена уже славился храм Дианы Эфесской, который, как передавала молва, сообща возвели государства Азии. Беседуя со знатнейшими латинянами, с которыми он заботливо поддерживал государственные и частные связи гостеприимства и дружбы, Сервий всячески расхваливал такое согласие и совместное служенье богам. Часто возвращаясь к тому же разговору, он, наконец, добился, чтобы латинские народы сообща с римским соорудили в Риме храм Дианы. Это было признание Рима главою, о чем и шел спор, который столько раз пытались решить оружием. Но хотя казалось, что все латиняне, столько раз без удачи испытав дело оружием, уже и думать о том забыли, один сабинянин решил, будто ему открывается случай, действуя в одиночку, восстановить превосходство сабинян. Рассказывают, что в земле сабинян в хозяйстве какого-то отца семейства родилась телка удивительной величины и вида; ее рога, висевшие много веков в преддверии храма Дианы, оставались памятником этого дива. Такое событие сочли — как оно и было в действительности — чудесным предзнаменованием, и прорицатели возвестили, что за тем городом, чей гражданин принесет эту телку в жертву Диане, и будет превосходство. Это предсказанье дошло до слуха жреца храма Дианы, а сабинянин в первый же день, какой он счел подходящим для жертвоприношения, привел телку к храму Дианы и поставил перед алтарем. Тут жрец-римлянин, опознав по размерам это жертвенное животное, о котором было столько разговоров, и держа в памяти слова предсказателей, обращается к сабинянину с такими словами: «Что же ты, чужеземец, нечистым собираешься принести жертву Диане? Неужели ты сперва не омоешь в проточной воде? На дне долины протекает Тибр». Чужеземец, смущенный сомнением, желая исполнить все, как положено, чтобы исход дела отвечал предзнаменованию, тут же спустился к Тибру. Тем временем римлянин принес телку в жертву Диане. Этим он весьма угодил и царю и согражданам.

46. Сервий уже на деле обладал несомненною царскою властью, но слуха его порой достигала чванная болтовня молодого Тарквиния, что, мол, без избранья народного царствует Сервий, и он, сперва угодив простому люду подушным разделом захваченной у врагов земли, решился запросить народ: желают ли, повелевают ли они, чтобы он над ними царствовал. Сервий был провозглашен царем столь единодушно, как, пожалуй, никто до него.

Но и это не умалило надежд Тарквиния на царскую власть. Напротив, понимая, что землю плебеям раздадут вопреки желаниям отцов, он счел, что получил повод еще усерднее чернить Сервия перед отцами, усиливая тем свое влияние в курии. Он и сам по молодости лет был горяч, и жена, Туллия, растревляла беспокойную его душу. Так и римский царский дом, подобно другим, явил пример достойного трагедии злодеяния, чтобы опостытели цари и скорее пришла свобода, и чтобы последним оказалось царствование, которому предстояло родиться от преступления.

У этого Лудия Тарквиния (приходился ли он Тарквинию Древнему сыном или внуком, разобрать нелегко; я, следуя большинству писателей, буду называть его сыном) был брат Аррунт Тарквиний, юноша от природы кроткий. Замужем за двумя братьями были, как уже говорилось, две Туллии, царские дочери, складом тоже совсем непохожие друг на друга. Вышло так, что два крутых нрава в браке не соединились — по счастливой, как я полагаю, участи римского народа — дабы продолжительней было царствование Сервия и успели сложиться обычаи государства. Туллия-свирепая тяготилась тем, что не было в ее муже никакой страсти, никакой дерзости. Вся устремившись к другому Тарквинию, им восхищается она, его называет настоящим мужчиной и порождением царской крови, презирает сестру за то, что та, получив настоящего мужа, не равна ему женской отвагой. Сродство душ способствует быстрому сближению — как водится, зло злу под стать, — но зачинщицею всеобщей смуты становится женщина. Привыкнув к уединенным беседам с чужим мужем, она самую последнюю бранью поносит своего супруга перед его братом, свою сестру перед ее супругом. Да лучше бы, твердит она, и ей быть вдовой, и ему безбрачным, чем связываться с неровней, чтобы увядать от чужого малодушия. Дали б ей боги такого мужа, какого она заслужила, — скоро, скоро у себя в доме увидела бы она ту царскую власть, которую видит сейчас в доме отца. Быстро заражает она юношу своим безрассудством. Освободив двумя сряду похоронами дома свои для нового супружества, они сочетаются браком, скорее без запрещения, чем с одобрения Сервия.

47. С каждым днем теперь сильнее опасность, нависшая над старостью Сервия, над его царской властью, потому что Туллия уже устремляется от преступления к новому преступлению, и ни ночью, ни днем не дает мужу покоя, чтобы не оказались напрасными прежние кощунственные убийства. Не мужа, говорит она, ей недоставало, чтобы зваться супругою, не сотоварища по рабству и немой покорности — нет, ей не хватало того, кто считал бы себя достойным царства, кто помнил бы, что он сын Тарквиния

Древнего, кто предпочел бы власть ожиданиям власти. «Если ты тот, за кого, думалось мне, я выхожу замуж, то я готова тебя назвать и мужчиною и царем, если же нет, то к худшему свершилась для меня перемена: ведь теперь я не за трусом только, но и за преступником. Очнись же! Не из Коринфа, не из Тарквиний, как твоему отцу, иди тебе добывать царство в чужой земле: сами боги, отеческие пенаты, отцовский образ, царский дом, царский трон в доме, имя Тарквиния — все призывает тебя, все возводит на царство. А если духа недостает, чего ради морочишь ты город? Чего ради позволяешь смотреть на себя как на царского сына? Прочь отсюда в Тарквинию или в Коринф! Возвращайся туда, откуда вышел, больше похожий на брата, чем на отца!» Такими и другими попреками подстрекает Туллия юношу, да и сама не может найти покоя, покуда она, царский отпрыск, не властна давать и отбирать царство, тогда как у Танаквили, чужестранки, достало силы духа сделать царем мужа и вслед за тем зятя.

Подстрекаемый неистовой женщиной, Тарквиний обходит сенаторов (особенно — из младших родов), хватает их за руки, напоминает об отцовских благодеяниях и требует воздаянья, юношей приманивает подарками. Тут давая непомерные обещанья, там возводя всяческие обвинения на царя, Тарквиний повсюду усиливает свое влияние. Убедившись, наконец, что пора действовать, он с отрядом вооруженных ворвался на Форум. Всех объял ужас, а он, усевшись в царское кресло перед курией, велел через глашатая созывать отцов в курию, к царю Тарквинию. И они тотчас сошлись, одни уже заранее к тому подготовленные, другие — не смея ослушаться, потрясенные чудовишной новостью и решив, вдобавок, что с Сервием уже покончено. Тут Тарквиний принялся порочить Сервия от самого его корня: раб, рабыней рожденный, он получил царство после ужасной смерти Тарквиниева отца — получил без объявления междуцарствия (как то делалось прежде), без созыва собрания, не от народа, который его избрал бы, не от отцов, которые утвердили бы выбор, но в дар от женщины. Вот как он рожден, вот как возведен на царство, он, покровитель подлейшего люда, из которого вышел и сам. Отторгнутую у знатных землю он, ненавидя чужое благородство, разделил между всяческою рванью, а бремя повинностей, некогда общее всем, взвалил на знатнейших людей государства; он учредил ценз, чтобы состояния тех, кто побогаче, были открыты зависти, были к его услугам, едва он захочет показать свою щедрость нищим.

48. Во время этой речи явился Сервий, вызванный тревожною вестью, и еще из преддверия курии громко воскликнул: «Что это значит, Тарквиний? Ты до того обнаглел, что смеешь при моей

жизни созывать отцов и сидеть в моем кресле?» Тарквиний грубо ответил, что занял кресло своего отца, что царский сын, а не раб, — прямой наследник царю, что раб и так уж достаточно долго глумился над собственными господами. Приверженцы каждого поднимают крик, в курию сбегается народ, и становится ясно, что царствовать будет тот, кто победит. Теперь Тарквиний уже и самой силой необходимости вынужден идти до конца. Будучи и много моложе, и много сильнее, он схватывает Сервия в охапку, выносит из курии и сбрасывает с лестницы, потом возвращается в курию к сенату. Царские прислужники и провожатые обращаются в бегство, а сам Сервий, потеряв много крови, едва живой, без провожатых пытается добраться домой, но по пути гибнет под ударами преследователей, которых Тарквиний послал вдогонку за беглецом. Считают, памятуя о прочих злодеяниях Туллии, что и это было совершено по ее наущенью. Во всяком случае, достоверно известно, что она въехала на колеснице на Форум и, не оробев среди толпы мужчин, вызвала мужа из курии и первая назвала его царем. Тарквиний отослал ее прочь из беспокойного скопища; добираясь домой, она достигла самого верха Киприйской улицы, где незадолго до наших дней стоял храм Дианы, и колесница уже поворачивала вправо к Урбиеву взвозу, чтобы подняться на Эсквилинский холм, как возница в ужасе осадил, натянув поводья, и указал госпоже на лежащее тело зарезанного Сервия. Тут, по преданию, и совершилось гнусное и бесчеловечное преступление, памятником которого остается то место: его называют «Проклятой улицей». Туллия, обезумевшая, гонимая фуриями-отмстительницами сестры и мужа, как рассказывают, погнала колесницу прямо по отцовскому телу и на окровавленной повозке, сама запятнанная и обрызганная, привезла пролитой отцовской крови к пенатам своим и мужниным. Разгневались домашние боги, и дурное начало царствования привело за собою в недалеком будущем дурной конец.

Сервий Туллий царствовал сорок четыре года и так, что даже доброму и умеренному преемнику нелегко было бы с ним тягаться. Но слава его еще возросла, оттого что с ним вместе убитая была законная и справедливая царская власть. Впрочем, даже и эту власть, такую мягкую и умеренную, Сервий, как пишут некоторые, имел в мыслях сложить, поскольку она была единоличной, и лишь зародившееся в недрах семьи преступление воспрепятствовало ему исполнить свой замысел и освободить отечество.

49. И вот началось царствование Луция Тарквиния, которому его поступки принесли прозвание Гордого: он не дал похоронить своего тестя, твердя, что Ромул исчез тоже без погребенья; он перебил знатнейших среди отцов, в уверенности, что те одобрили

дело Сервия; далее, понимая, что сам подаж пример преступного похищения власти, который может быть усвоен его противником, он окружил себя телохранителями; и так как, кроме силы, не было у него никакого права на царство, то и царствовал он не избранный народом, не утвержденный сенатом. Вдобавок, как и всякому, кто не может рассчитывать на любовь сограждан, ему нужно было оградить свою власть страхом. А чтобы устрашенным было побольше, он разбирал уголовные дела единолично, ни с кем не советуясь, и потому получил возможность умерщвлять, высылать, лишать имущества не только людей подозрительных или неугодных ему, но и таких, в ком мог видеть разве добычу. Особенно поредел от этого сенат, и Тарквиний постановил никого не записывать в отцы, чтобы самую малочисленностью своей стало ничтожным их сословие и они поменьше бы возмущались тем, что все делается помимо них. Он был первым среди царей, кто уничтожил унаследованный от предпешественников обычай обо всем совещаться с сенатом, и распорядился государством как собственным домом: сам — без народа и сената, — с кем хотел, воевал и мирился, заключал и расторгал договоры и союзы. Сильнее всего он стремился расположить в свою пользу латинян, чтобы поддержка чужеземцев делала надежней его положение среди граждан, а потому старался связать латинских старейшин узами не только гостеприимства, но и свойствá. Октавию Мамилию Тускуланцу, — тот долгое время был главою латинян и происходил, если верить преданью, от Улисса и богини Кирки, — этому самому Мамилию отдал он в жены свою дочь, чем привлек к себе его многочисленных родственников и друзей.

50. Пользуясь уже немалым влиянием в кругу знатнейших латинян, Тарквиний назначает им день, чтобы собраться в роще Ферпентины: есть общие дела, которые хотелось бы обсудить. Многолюдный сход собрался с рассветом, а сам Тарквиний явился, хоть и в назначенный день, но почти на заходе солнца. Много разного успели собравшиеся наговорить там за полный день. Турн Гердоний из Аридии яростно нападал на отсутствовавшего Тарквиния. Не удивительно, мол, что в Риме его прозвали Гордым (прозвище это было уже у всех на устах, хоть и не произносилось вслух). Ну, не предел ли это гордыни, так глумиться над всем народом латинян? Первейшие люди подняты с мест, пришли издалека, а того, кто созвал их, самого-то и нет! Дело ясное, он испытывает их терпение, и если они пойдут под ярем, тут-то придавит покорствующих. Кому не понятно, что он рвется к владычеству над латинянами. Если с пользой для себя вверили ему сограждане власть, или если вообще власть ему вверена, а не захвачена отце-

убийством, то и латиняне должны бы ему довериться, не будь, правда, он чужаком. Но если не рады ему и свои — ведь один за другим они гибнут, уходят в изгнание, теряют имущество, — то что ж подает латинянам надежду на лучшее. Послушались бы его, Турна, и разошлись по домам, и не пеклись бы о соблюдении срока больше того, кто назначил собрание.

И это, и еще многое подобное говорил Турн, человек мятежный и злонамеренный, который и в родном городе вошел в силу, пользуясь такого же рода приемами. В самый разгар его разглаговольствований явился Тарквиний. Тут речь и кончилась — все повернулись приветствовать пришедшего. Наступило молчание, и Тарквиний по совету приближенных начал оправдываться: он-де опоздал оттого, что был приглашен разбирать дело между отцом и сыном; стараясь примирить их, он задержался, а так как потерял на том целый день, то уж завтра обсудит с ними дела, какие наметил. И опять, говорят, не сумел Турн смолчать и сказал, что ничего нет короче, чем разбор дела между отцом и сыном; тут и нескольких слов хватит: не покоришься отцу — хуже будет.

51. С этими словами недовольства арициец ушел из собрания. Тарквиний, задетый сильнее, чем могло показаться, тотчас начинает готовить ему гибель, чтобы и в латинян вселить тот же ужас, каким сковал души сограждан. И так как открыто умертвить Турна своею властью он не мог, то погубил его, облыжно обвинив в преступлении, в котором тот был неповинен. При посредстве каких-то арицийцев из числа противников Турна Тарквиний подкупил золотом его раба, чтобы получить возможность тайно внести в помещение, где Турн остановился, большую грудку мечей. Когда за одну ночь это было сделано, Тарквиний незадолго до рассвета, будто бы получив тревожную новость, вызвал к себе латинских старейшин и сказал им, что вчерашнее промедление было словно внушено ему неким божественным промыслом и оказалось спасительным и для него, и для них. Турн, как доносят, готовил гибель и ему, и старейшинам народов, чтобы забрать в свои руки единоличную власть над латинянами. Нападение должно было произойти вчера в собрании, отложить все пришлось потому, что отсутствовал устроитель собрания, а до него-то Турну особенно хотелось добраться. Потому и поносил он отсутствовавшего, что из-за промедления обманулся в надеждах. Если донос верен, можно не сомневаться, что Турн с рассветом, как только настанет время идти в собрание, явится туда при оружии и с шайкою заговорщиков: ведь к нему, говорят, снесено несметное множество мечей. Напраслина это или нет, узнать недолго. И Тарквиний просит всех, не откладывая, пойти вместе с ним к Турпу.

Многое внушало подозренья — и свирепый нрав Турна, и вчерашняя его речь, и задержка Тарквиния, из-за которой, казалось, покушение могло быть отложено. Латиняне идут, склонные поверить, по готовые, если мечи не найдутся, счесть и все прочее пустым наговором. Они входят, окружают разбуженного Турна стражею, схватывают рабов, которые из привязанности к господину стали было сопротивляться, и вот спрятанные мечи выволакиваются на свет отовсюду. Улика, всем кажется, палицо, Турна заковывают в цепи и, при всеобщем возбуждении, немедленно созывают собрание латинян. Выставленные на обозрение мечи вызвали злобу, столь жестокую, что Турн не получил слова для оправданья и погиб неслыханной смертью: его погрузили в воду Ферентинского источника и утопили, накрыв корзиной и завалив камнями.

52. Потом Тарквиний вновь созвал латинян на сход и, похвалив их за то, что они по заслугам наказали Турна, гнусного убийцу, замышлявшего переворот и схваченного с поличным, внес следующее предложение: хотя он, Тарквиний, мог бы действовать, опираясь на старинные права, поскольку все латиняне происходят из Альбы и связаны тем договором, по которому со времен Тулла все государство альбанцев со всеми их поселениями перешло под власть римского народа, тем не менее он считает, что ради общей выгоды договор этот надо возобновить и что латинянам больше подобает разделять с римским народом его счастливую участь, нежели постоянно терпеть разрушение своих городов и разоренье полей (как то было сперва в царствование Анка, затем при Тарквинии Древнем). Латиняне легко дали себя убедить, хотя договор предоставлял Риму превосходство. Впрочем, и начальники латинского народа, казалось, сочувствуют царю и стоят с ним заодно. Да и свеж был пример опасности, угрожавшей каждому, кто вздумал бы перечить. Так договор был возобновлен, и молодым латинянам было объявлено, чтобы они, как следует из этого договора, в назначенный день явились в рошу Ферентины при оружии и в полном составе. И когда все они, из всех племен, собрались по приказу римского царя, тот, чтобы не было у них ни своего вождя, ни отдельного командования, ни собственных знамен, составил смешанные манипулы из римлян и латинян, сводя воинов из двух прежних манипулов в один, а из одного разводя по двум. Сдвоен таким образом манипулы, Тарквиний назначил центурионов.

53. Насколько несправедлив был он как царь в мирное время, настолько небезрассуден как вождь во время войны; искусством вести войну он даже сравнялся с предшествующими царями, если бы и здесь его славе не повредила испорченность во всем

прочем. Он первый начал войну с вольсками, тянувшуюся после него еще более двухсот лет, и приступом взял у них Суессу Помецию. Получив от распродажи тамошней добычи сорок талантов серебра, он замыслил соорудить храм Юпитера, который велико-лельем своим был бы достоин царя богов и людей, достоин римской державы, достоин, наконец, величия самого места. Итак, эти деньги он отложил на построение храма.

Затем Тарквиния отвлекла война с близлежащим городом Габиями, подвигавшаяся медленнее, чем можно было рассчитывать. После безуспешной попытки взять город приступом, после того как он был отброшен от стен и даже на осаду не мог более возлагать никаких надежд, Тарквиний, совсем не по-римски, принялся действовать хитростью и обманом. Он притворился, будто, оставив мысль о войне, занялся лишь закладкою храма и другими работами в городе, и тут младший из трех его сыновей, Секст, перебежал, как было условлено, в Габии, жалуясь на непереносимую жестокость отца. Уже, говорил он, с чужих на своих обратилось самоуправство гордеца, уже многочисленность детей тяготит этого человека, который обезлюдил курию и хочет обезлюдить собственный дом, чтобы не оставлять никакого потомка, никакого наследника. Он, Секст, ускользнул из-под отцовских мечей и копий и нигде не почувствует себя в безопасности, кроме как у врагов Луция Тарквиния. Пусть не обольщаются в Габиях, война не кончена — Тарквиний оставил ее лишь притворно, чтобы при случае напасть врасплох. Если же нет у них места для тех, кто молит о защите, то ему, Сексту, придется пройти по всему Латию, а потом и у вольсков искать прибежища, и у эквов, и у герников, куда он, наконец, не доберется до племени, умеющего оборонить детей от жестоких и нечестивых отцов. А может быть, где-нибудь встретит он и желание поднять оружие на самого высокомерного из царей и самый свирепый из народов. Казалось, что Секст, если его не уважить, уйдет, разгневанный, дальше, и габийцы приняли его благосклонно. Нечего удивляться, сказали они, если царь наконец и с детьми обошелся так же, как с гражданами, как с союзниками. На себя самого обратит он в конце концов свою ярость, если вокруг никого не останется. Что же до них, габийцев, то они рады приходу Секста и верят, что вскоре с его помощью война будет перенесена от габийских ворот к римским.

54. С этого времени Секста стали приглашать в совет. Там, во всем остальном соглашаясь со старыми габийцами, которые-де лучше знают свои дела, он беспрестанно предлагает открыть военные действия — в этом он, по его мнению, разбирается как раз хорошо, поскольку знает силы того и другого народа и понимает,

что гордыня царя паверняка ненавистна и гражданам, если даже собственные дети не смогли ее вынести. Так Секст исподволь подбивал габийских старейшин возобновить войну, а сам с наиболее горячими юношами ходил за добычею и в набеги; всеми своими обманными словами и делами он возбуждал все большее — и пагубное — к себе доверие, покуда, наконец, не был избран военачальником. Народ не подозревал обмана, и когда стали происходить незначительные стычки между Римом и Габиями, в которых габийцы обычно одерживали верх, то и знать и чернь наперерыв стали изъявлять уверенность, что богами в дар послан им такой вождь. Да и у воинов он, деля с ними опасности и труды, щедро раздавая добычу, пользовался такой любовью, что Тарквиний-отец был в Риме не могущественнее, чем сын в Габиях.

И вот, лишь только сочли, что собрано уже достаточно сил для любого начинания, Секст посылает одного из своих людей в Рим, к отцу, — разузнать, каких тот от него хотел бы действий, раз уже боги дали ему неограниченную власть в Габиях. Не вполне доверяя, думается мне, этому вестнику, царь на словах никакого ответа не дал, но, как будто прикидывая в уме, прошел, сопровождаемый вестником, в садик при доме и там, как передают, расхаживал в молчании, сшибая палкой головки самых высоких маков. Вестник, уставши спрашивать и ожидать ответа, возвратился в Габии, бросив, как ему казалось, дело на половине, и доложил обо всем, что говорил сам и что увидел: из-за гнева ли, из-за ненависти, или из-за природной гордыни не сказал ему царь ни слова. Тогда Секст, которому в молчаливом намеке открылось, чего хочет и что приказывает ему отец, истребил старейшин государства. Одних он погубил, обвинив пред народом, других — воспользовавшись уже окружавшей их ненавистью. Многие убиты были открыто, иные — те, против кого он не мог выдвинуть правдоподобных обвинений, — тайно. Некоторым открыта была возможность к добровольному бегству, некоторые были изгнаны, а имущество покинувших город, равно как и убитых, сразу назначалось к разделу. Следуют щедрые подачки, богатая пожива, и вот уже сладкая возможность урвать для себя отнимает способность чувствовать общие беды, так что, в конце концов, осиротевшее, лишившееся совета и поддержки габийское государство было без всякого сопротивления предано в руки римского царя.

55. Овладев Габиями, Тарквиний заключил мир с эквами и возобновил договор с этрусками. После этого он обратился к городским делам, первым из которых было оставить по себе на Тарпейской горе памятник своему царствованию и имени — храм Юпитера, воздвигнутый попечением обоих Тарквиниев: обедал

отец, выполнил сын. И чтобы отведенный участок был свободен от святынь других богов и всецело принадлежал Юпитеру и его строившемуся храму, царь постановил снять освящение с нескольких храмов и жертвенников, находившихся там со времен царя Тация, который даровал их богам и освятил во исполнение обета, данного им в опаснейший миг битвы с Ромулом. Рассказывают, что при начале строительных работ божество обнаружило свою волю, возвестив будущую силу великой державы. А именно: хотя птицы дозволили снять освящение со всех жертвенников, для храма Термина они такого разрешения не дали. Предзнаменование истолковали так: то, что Термин, единственный из богов, остался не вызванным из посвященных ему рубежей и сохранил прежнее местопребывание, предвещает, что все будет и прочно и устойчиво. За этим предзнаменованием незыблемости государства последовало другое чудо, предрекавшее величие державы: при закладке храма, как рассказывают, землекопы нашли человеческую голову с невредимым лицом. Открывшееся зрелище ясно предвещало, что быть этому месту оплотом державы и главой мира — так объявили все прорицатели, и римские, и призванные из Этрурии, чтобы посоветоваться об этом деле. Царь становится все щедрей на расходы, и выручки от пометийской добычи, которая была назначена, чтобы поднять храм до кровли, едва достало на закладку основания. По этой причине, а не только потому, что Фабий более древний автор, я скорее поверил бы Фабию, по чьим словам денег было только сорок талантов, нежели Пизону, который пишет, что на это дело было отложено четыреста тысяч фунтов серебра — такие деньги немислимо было получить от добычи, захваченной в любом из тогдашних городов, и к тому же их с избытком хватило бы даже на нынешнее пышное сооружение.

56. Стремясь завершить строительство храма, для чего были призваны мастера со всей Этрурии, царь пользовался не только государственной казной, но и трудом рабочих из простого люда. Хотя этот труд, и сам по себе нелегкий, добавлялся к военной службе, все же простолюдины меньше тяготились тем, что своими руками сооружали храмы богов, нежели теми, на вид меньшими, но гораздо более трудными работами, на которые они потом были поставлены: устройством для зрителей мест в цирке и рытьем подземного Большого канала — стока, принимающего все нечистоты города. С двумя этими сооружениями едва ли сравнятся наши новые при всей их пышности. Покуда народ был занят такими работами, царь, считая, что многочисленная чернь, когда для нее не найдется уже применения, будет обременять город, и желая выво-

дом поселений расширить пределы своей власти, вывел поселенцев в Сигннию и Цирцеи, чтобы защитить Рим с суши и с моря.

Среди этих занятий явилось страшное знамение: из деревянной колонны выползла змея. В испуге забегали люди по царскому дому, а самого царя зловещая примета не то чтобы поразила ужасом, но, скорее, вселила в него беспокойство. Для истолкования общественных знаменений призывались только этрусские прорицатели, но это предвестие как будто бы относилось лишь к царскому дому, и встревоженный Тарквиний решился послать в Дельфы к самому прославленному на свете оракулу. Не смея доверить таблички с ответами никому другому, царь отправил в Грецию, через незнакомые в те времена земли и того менее знакомые моря, двоих своих сыновей. То был Тит и Аррунт. В спутники им был дан Луций Юний Брут, сын царской сестры Тарквинии, юноша, скрывавший природный ум под принятой личиной. В свое время, услышав, что виднейшие граждане, и среди них его брат, убиты дядею, он решил: пусть его нрав ничем царя не страшит, имущество — не соблазняет; презираемый — в безопасности, когда в праве нету защиты. С твердо обдуманном намереньем он стал изображать глупца, предоставляя распоряжаться собой и своим имуществом царскому произволу и даже принял прозвище Брута — «Тупицы», — чтобы под прикрытием этого прозвища сильный духом освободитель римского народа мог выжидать своего времени. Вот кого Тарквинии взяли тогда с собой в Дельфы, скорее посмешником, чем товарищем, а он, как рассказывают, понес в дар Аполлону золотой жезл, скрытый внутри полого рогового — иносказательный образ собственного ума.

Когда юноши добрались до цели и исполнили отцовское поручение, им страстно захотелось выпросить у оракула, к кому же из них перейдет Римское царство. И тут, говорит преданье, из глубины расселины прозвучало: «Верховную власть в Риме, о юноши, будет иметь тот из вас, кто первым поцелует мать». Чтобы не проведать об ответе и не заполучил власти оставшийся в Риме Секст, Тарквинии условились хранить строжайшую тайну, а между собой жребию предоставили решить, кто из них, вернувшись, первым даст матери свой поцелуй. Брут же, который рассудил, что пифийский глас имеет иное значение, припал, будто бы оступившись, губами к земле — ведь она общая мать всем смертным. После того они возвратились в Рим, где шла усердная подготовка к войне против рутулов.

57. Рутулы, обитатели города Арден, были самым богатым в тех краях и по тем временам народом. Их богатство и стало причиной войны: царь очень хотел поправить собственные дела — ибо

дорогостоящие общественные работы истощили казну — и смягчить добычею недовольство своих соотечественников, которые и так ненавидели его за всегдашнюю гордыню, а тут еще стали роптать, что царь так долго держит их на ремесленных и рабских работах. Попробовали, не удастся ли взять Ардею сразу, приступом. Попытка не принесла успеха. Тогда, обложив город и обведя его укреплениями, приступили к осаде.

Здесь, в лагерях, как водится при войне более долгой, нежели жестокой, допускались довольно свободные отлучки, больше для начальников, правда, чем для воинов. Царские сыновья меж тем проводили праздное время в своем кругу, в пирах и попойках. Случайно, когда они пили у Секста Тарквиния, где обедал и Тарквиний Коллатин, сын Эгерия, разговор заходит о женах, и каждый хвалит свою сверх меры. Тогда в пылу спора Коллатин и говорит: к чему, мол, слова — всего ведь несколько часов, и можно убедиться, сколь выше прочих его Лукреция. «Отчего ж, если мы молоды и бодры, не вскочить нам тотчас на коней и не посмотреть своими глазами, каковы наши жены? Неожиданный приезд мужа покажет это любому из нас лучше всего». Подогретые вином, все в ответ: «Едем!» И во весь опор унеслись в Рим. Прискакав туда в сгущавшихся сумерках, они двинулись дальше в Коллацию, где позднюю ночью застали Лукрецию за прядением шерсти. Со всем не похожая на царских невесток, которых нашли проводящими время на пышном пиру среди сверстниц, сидела она посреди покоя в кругу прислужниц, работавших при огне. В состязании жен первенство осталось за Лукрецией. Приехавшие муж и Тарквинии находят радушный прием: победивший в споре супруг дружески приглашает к себе царских сыновей. Тут-то и охватывает Секста Тарквиния грязное желанье насилем обесчестить Лукрецию. И красота возбуждает его, и несомненная добродетель. Но пока что, после ночного своего развлечения, молодежь возвращается в лагерь.

58. Несколько дней спустя, втайне от Коллатина, Секст Тарквиний с единственным спутником прибыл в Коллацию. Он был радушно принят не подозревавшими о его замыслах хозяевами; после обеда его проводили в спальню для гостей, но едва показалось ему, что вокруг достаточно тихо и все спят, он, распаленный страстью, входит с обнаженным мечом к спящей Лукреции и, придавив ее грудь левой рукой, говорит: «Молчи, Лукреция, я Секст Тарквиний, в руке моей меч, умрешь, если крикнешь». В трепете освобождаясь от сна, женщина видит: помощи нет, рядом — грозящая смерть; а Тарквиний начинает объясняться в любви, уговаривать, с мольбами мешая угрозы, со всех сторон ищет доступа

в женскую душу. Видя, что Лукреция непреклонна, что ее не поколебать даже страхом смерти, он, чтобы утратить ее еще сильнее, пригрозил ей позором: к ней-де мертвой в постель он подбросит, прирезав, нагого раба — пусть говорят, что она убита в грязном прелюбодеянии. Этой ужасной угрозой он одолел ее непреклонное целомудрие. Похоть как будто бы одержала верх, и Тарквиний вышел упоенный победой над женскою честью. Лукреция, сокрушенная горем, посылает вестника в Рим к отцу и в Ардею к мужу, чтобы прибыли с немногими верными друзьями: есть нужда в них, пусть поторопятся, случилось страшное дело. Спуррий Лукреций прибывает с Публием Валерием, сыном Волезия, Коллатин с Луцием Юнием Брутом — случайно вместе с ним возвращался он в Рим, когда был встречен вестником. Лукрецию они застают в спальне, сокрушенную горем. При виде своих на глазах женщины выступают слезы; на вопрос мужа: «Хорошо ли живешь?» — она отвечает: «Как нельзя хуже. Что хорошего остается в женщине с потерей целомудрия? Следы чужого мужщины на ложе твоём, Коллатин; впрочем, тело одно подверглось позору — душа невинна, да будет мне свидетелем смерть. Но поклянитесь друг другу, что не останется прелюбодей без возмездия. Секет Тарквиний — вот кто прошлою ночью вошел гостем, а оказался врагом; вооруженный, насильем похитил он здесь гибельную для меня, но и для него — если вы мужчины — усладу». Все по порядку клянутся, утешают отчаявшуюся, отводя обвинение от жертвы насилия, обвиняя преступника: грешит мысль — не тело, у кого не было умысла, нету на том и вины. «Вам, — отвечает она, — рассудить, что причитается ему, а себя я, хоть в грехе не виню, от кары не освобождаю; и пусть никакой распутнице пример Лукреции не сохранит жизни». Под одежду у нее был спрятан нож, вонзив его себе в сердце, налегает она на нож и падает мертвой. Громко зывают к ней муж и отец.

59. Пока те предавались скорби, Брут, держа пред собою вытащенный из тела Лукреции окровавленный нож, говорит: «Этою чистойшею прежде, до царского преступления, кровью клянусь — и вас, боги, беру в свидетели, — что отныне огнем, мечом, чем только сумею, буду преследовать Луция Тарквиния с его преступной супругой и всем потомством, что не потерплю ни их, ни кого другого на царстве в Риме». Затем он передаст нож Коллатину, потом Лукрецию и Валерию, которые оцепенели, недоумевая, откуда это в Брутовой груди неизвестный прежде дух. Они повторяют слова клятвы, и общая скорбь обращается в гнев, а Брут, призывающий всех немедленно идти на Рим, становится вождем. Тело Лукреции выносят из дома на площадь и собирают народ, привле-

ченый, как водится, новостью, и неслыханной и возмутительной. Каждый, как умеет, жалуется на преступное насилие царей. Все взволнованы и скорбью отца, и словами Брута, который порицает слезы и праздные сетования и призывает мужчин поднять, как подобает римлянам, оружие против тех, кто поступил, как враг. Храбрейшие юноши, вооружившись, являются добровольно, за ними следует вся молодежь. Затем, оставив в Коллации отряд и к городским воротам приставив стражу, чтобы никто не сообщил царям о восстании, все прочие под водительством Брута с оружием двинулись в Рим.

Когда они приходят туда, то вооруженная толпа, где бы она ни появилась, всюду сеет страх и смятение; но, вместе с тем, когда люди замечают, что во главе ее идут виднейшие граждане, всем становится понятно: что бы там ни было, это — неспроста. Столь страшное событие и в Риме породило волнение не меньшее, чем в Коллации. Со всех концов города на Форум сбегаются люди. Едва они собрались, глашатай призвал народ к трибуну «быстрых», а волею случая должностью этой был облечен тогда Брут. И тут он произнес речь, выказавшую в нем дух и ум, совсем не такой, как до тех пор представлялось. Он говорил о самоуправстве и похоти Секста Тарквиния, о несказанно чудовищном поруганье Лукреции и ее жалостной гибели, об отцовской скорби Триципитина, для которого страшнее и прискорбнее смерти дочери была причина этой смерти. К слову пришлось и гордыня самого царя, и тягостные труды народа, загнанного в канавы. Римляне, победители всех окрестных народов, из вонтелей сделаны черно-рабочими и каменотесами. Упомянуто было и гнусное убийство царя Сервия Туллия, и дочь, переехавшая отцовское тело нечестивой своей колесницей; боги предков призваны были в мстители. Вспомнив обо всем этом, как, без сомненья, и о еще более страшных вещах, которые подсказал ему живой порыв негодованья, по которые трудно восстановить историку, Брут воспламенил народ и побудил его отобрать власть у царя и вынести постановление об изгнании Луция Тарквиния с супругою и детьми. Сам произведя набор младших возрастов — причем записывались добровольно — и вооружив набранных, он отправился в лагерь поднимать против царя стоявшее под Ардеей войско; власть в Риме он оставил Лукрецию, которого в свое время еще царь назначил префектом города. Среди этих волнений Туллия бежала из дома, и где бы ни появлялась она, мужчины и женщины проклинали ее, призывая отцовских богинь-отмстительниц.

60. Когда вести о случившемся дошли до лагеря и царь, встревоженный бунтом, двинулся на Рим подавлять восстание, Брут,

узнав о его приближении, пошел кружным путем, чтобы избежать встречи. И почти что одновременно прибыли разными дорогами Брут к Ардее, а Тарквиний — к Риму. Перед Тарквинием ворота не отворились, и ему было объявлено об изгнании; освободитель города был радостно принят в лагере, а царские сыновья оттуда изгнаны. Двое, последовав за отцом, ушли изгнанниками в Цере, к этрускам. Секст Тарквиний, удалившийся в Габии, будто в собственное свое царство, был убит из мести старыми недругами, которых нажил в свое время казнями и грабежом.

Луций Тарквиний Гордый царствовал двадцать пять лет. Цари правили Римом от основания города до его освобождения двести сорок четыре года. На собрании по центуриям префект города в согласии с записками Сервия Туллия провел выборы консулов. Избраны были Луций Юний Брут и Луций Тарквиний Коллатин.

КНИГА XXI

[Начало Второй Пунической войны]

1. Нижеследующую часть моего труда я могу начать теми же словами, которые многие писатели предпосылали целым сочинениям: я приступаю к описанию самой замечательной из войн всех времен — войны карфагенян под начальством Ганнибала с римским народом. Никогда еще не сражались между собою более могущественные государства и народы, никогда сражающиеся не стояли на более высокой ступени развития своих сил и своего могущества. Не могли они пускать в ход неведомые противникам приемы военного искусства, так как обе стороны познакомились одна с другой в Первую Пуническую войну; а до какой степени было изменчиво счастье войны и непостоянен исход сражений, видно уже из того, что гибель была наиболее близка именно к тем, которые вышли победителями. Но ненависть, с которой они сражались, была едва ли не выше самих сил: римляне были возмущены дерзостью побежденных, по собственному почину подымавших оружие против победителей; пунийцы — надменностью и жадностью, с которой победители, по их мнению, злоупотребляли своею властью над побежденными. Рассказывают даже, что когда Гамилькар, окончив Африканскую войну, собирался переправить войско в Испанию и приносил, по этому случаю, жертву богам, то его девятилетний сын Ганнибал, по-детски ласкаясь, стал просить отца взять его с собой; тогда, говорят, Гамилькар велел ему по-

дойти к жертвеннику и, коснувшись его рукой, произнести клятву, что он будет врагом римского народа, как только это ему позволит возраст.

Гордую душу Газдрубала терзала мысль о потере Сицилии и Сардинии: карфагеняне, полагал он, уж слишком поторопились в припадке малодушия отдать врагу Сицилию, что же касается Сардинии, то римляне захватили ее обманом, благодаря африканским смутам, наложив сверх того еще дань на побежденных.

2. Под гнетом этих тяжелых дум он в пять лет окончил Африканскую войну, разразившуюся вслед за заключением мира с римлянами, а затем в течение девяти лет расширил пределы пунийского владычества в Испании; ясно было, что он задумал войну гораздо значительнее той, которую вел, и что если бы он прожил дольше, пунийцы еще под знаменами Гамилькара совершили бы то нашествие на Италию, которое им суждено было осуществить при Ганнибале. К счастью, смерть Гамилькара и юный возраст Ганнибала принудили карфагенян отложить войну.

Промежуток между отцом и сыном занял Газдрубал, приблизительно в течение восьми лет пользовавшийся верховной властью. Сначала, говорят, он понравился Гамилькару своей красотой, но позже сделался его зятем, конечно, уже за другие, душевные свои свойства; располагая же, в качестве его зятя, влиянием баркидов, очень внушительным среди воинов и простого народа, он был утвержден в верховной власти вопреки желанию первых людей государства. Действуя чаще умом, чем силой, он заключал союзы гостеприимства с царьками и, пользуясь дружбой вождей, привлекал новые племена на свою сторону; такими-то средствами, а не войной и набегами, умножал он могущество Карфагена. Но его миролюбие нимало не способствовало его личной безопасности. Кто-то из варваров, озлобленный казнью своего господина, убил Газдрубала на глазах у всех, а затем дал схватить себя окружающим с таким радостным лицом, как будто избежал опасности; даже когда на пытке разрывали его тело, радость превозмогала в нем боль, и он сохранял такое выражение лица, что казалось, будто он смеется. Вот с этим-то Газдрубалом, видя его замечательные способности возмущать племена и приводить их под свою власть, римский народ возобновил союз под условием, чтобы река Гибера служила границей между областями, подвластными тому и другому народу, сагунтинцы же, обитавшие посредине, сохраняли полную независимость.

3. Относительно преемника Газдрубала никаких сомнений быть не могло. Тотчас после его смерти войны по собственному почину

понесли молодого Ганнибала в палатку главнокомандующего и провозгласили полководцем; этот выбор был встречен громкими сочувственными возгласами всех присутствующих, и народ впоследствии одобрил его.

Газдрубал пригласил Ганнибала к себе в Испанию письмом, когда он едва достиг зрелого возраста, и об этом был возбужден вопрос даже в сенате. Баркиды домогались утвердительно его решения, желая, чтобы Ганнибал привык к военному делу и со временем унаследовал отцовское могущество; но Ганнион, глава противного стана, сказал: «Требование Газдрубала, на мой взгляд, справедливо; однако я полагаю, что исполнять его не следует». Когда же эти странные слова возбудили всеобщее удивление и все устремили свои взоры на него, он продолжал: «Газдрубал, который некогда сам предоставил отцу Ганнибала наслаждаться цветом его нежного возраста, считает себя вправе требовать той же услуги от его сына. Но нам несколько не подобает посылать нашу молодежь, чтобы она, под видом приготовления к военному делу, служила похоти военачальников. Или, быть может, мы боимся, как бы сын Гамилькара не познакомился слишком поздно с соблазном неограниченной власти, с блеском отцовского царства? Боимся, как бы мы не сделались слишком поздно рабами сына того царя, который оставил наши войска в наследство своему зятю? Я требую, чтобы мы удержали этого юношу здесь, чтобы он, подчиняясь законам, повинуваясь должностным лицам, учился жить на равных правах с прочими; в противном случае это небольшое пламя может зажечь огромный пожар».

4. Меньшинство, то есть почти вся знать, согласилось с ним; но, как это обыкновенно бывает, большая часть восторжествовала над лучшей. Итак, Ганнибал был послан в Испанию. Одним своим появлением он обратил на себя взоры всего войска. Старым воикам показалось, что к ним вернулся Гамилькар, каким он был в лучшие свои годы: то же мощное слово, тот же повелительный взгляд, то же выражение, те же черты лица! Но вскоре он достиг того, что его сходство с отцом сделалось наименее значительным из качеств, которые располагали к нему воинов. Никогда еще душа одного и того же человека не была так равномерно приспособлена к обеим, столь разнородным обязанностям, — повелеванию и повиновению; и поэтому трудно было различить, кто им более дорожил — главнокомандующий или войско. Никого Газдрубал не назначал охотнее начальником отряда, которому поручалось дело, требующее отваги и стойкости; но и воины ни под чьим начальством не были более уверены в себе и более храбры. Насколько он был смел, бросаясь в опасность, настолько же бывал осмотрителен

в самой опасности. Не было такого труда, от которого бы он уставал телом или падал духом. И зной, и мороз он переносил с равным терпением; ел и пил ровно столько, сколько требовала природа, а не ради удовольствия; выбирал время для бодрствования и сна, не обращая внимания на день и ночь — покою уделял лишь те часы, которые у него оставались свободными от работы; притом он не пользовался мягкой постелью и не требовал тишины, чтобы легче заснуть; часто видели, как он, завернувшись в военный плащ, спит на голой земле среди караульных или часовых. Одеждой он ничуть не отличался от ровесников; только по вооружению да по коню его можно было узнать. Как в коннице, так и в пехоте он далеко оставлял за собою прочих; первым устремлялся в бой, последним оставлял поле сражения. Но в одинаковой мере с этими высокими достоинствами обладал он и ужасными пороками. Его жестокость доходила до бесчеловечности, его вероломство превосходило даже пресловутое пунийское вероломство. Он не знал ни правды, ни добродетели, не боялся богов, не соблюдал клятвы, не уважал святых. Будучи одарен этими хорошими и дурными качествами, он в течение своей трехлетней службы под начальством Газдрубала с величайшим рвением исполнял все, присматривая ко всему, что могло развить в нем свойства великого полководца.

5. Но вернемся к начатому рассказу. Со дня своего избрания полководцем Гашибал действовал так, как будто ему назначили провинцией Италию и поручили вести войну с Римом. Не желая откладывать свое предприятие, — он боялся, что и сам, если будет медлить, может пасть жертвой какого-нибудь несчастного случая, подобно своему отцу, Гамилькару, и затем Газдрубалу, — он решился пойти войной на Сагунт. Зная, однако, что нападением на этот город он неминуемо вызовет войну с Римом, он повел сначала свое войско в землю олькадов, которые жили по ту сторону Гибера, но, хоть и находились в пределах владычества карфагенян, власти их не признавали: он хотел, чтобы создалось впечатление, будто он и не думал о захвате Сагунта, по самый ход событий и вызванная покорением соседних народов необходимость объединить свои владения втянули его в войну. Взяв приступом богатую Карталу, столицу олькадов, и разграбив ее, он нагнал такой страх на более мелкие племена, что они согласились платить дань и приняли карфагенское подданство. После этого он отвел свое победоносное войско с богатой добычей в Новый Карфаген на зимние квартиры. Там он щедро разделил между воинами добычу и заплатил им честно все жалованье за истекший год. Укрепив этим образом действий расположение к себе всего войска, как

карфагенских граждан, так и союзников, он с наступлением весны двинулся еще дальше, в страну вакцеев. Их главными городами, Германдикой и Арбокалой, он завладел силой, причем, однако, Арбокала долго защищалась, благодаря и мужеству и численности горожан. Между тем спасшиеся бегством жители Германдики, соединившись с изгнанниками из олькадов, покоренного предыдущим летом племени, побудили к восстанию карпетанов, и когда Ганнибал возвращался из страны вакцеев, то они напали на него недалеко от реки Тага и привели в замешательство его войско, отягченное добычей. Но Ганнибал уклонился от боя, разбивши лагерь на самом берегу; когда же наступила почь и на столике врага водворилась тишина, он переправился через реку вброд и вновь укрепился — таким образом, чтобы враги, в свою очередь, свободно могли пройти на левый берег: Ганнибал решил напасть на них во время переправы. Всадникам своим он приказал, лишь только они завидят полчища неприятелей в воде, броситься на них, пользуясь их затруднительным положением; на берегу он расположил своих слонов, числом сорок. Карпетанов с вспомогательными отрядами олькадов и вакцеев было сто тысяч, — сила непобедимая, если сразиться с ней в открытом поле. Они были по природе смелы, а сознание численного превосходства еще увеличивало их самоуверенность; полагая поэтому, что враг отступил пред ними из страха и что только река, разделяющая противников, замедляет победу, они подняли крик и вразброд, где кому было ближе, кинулись в быстрину, не слушаясь ничьих приказаний. Вдруг с противного берега устремилась в реку несметная конная рать, и на самой середине русла произошла стычка при далеко не равных условиях: пехотинец и без того едва мог стоять и даже на мелком месте насилу перебирал ногами, так что и безоружный всадник нечаянным толчком лошади мог сбить его с ног; всадник, напротив, свободно располагал и оружием, и собственным телом, сидя на коне, уверенно двигавшемся даже среди пучины, и мог поэтому поражать и далеких, и близких. Многих поглотила река; других течение занесло к неприятелю, где их раздавили слоны. Тем, которые вошли в воду последними, легче было вернуться к своему берегу; но пока они из разных мест, куда занес их страх, собирались в одну кучу, Ганнибал, не дав им опомниться, выстроил свою пехоту, повел ее через реку и прогнал их с берега. Затем он пошел опустошать их поля и в течение немногих дней заставил и карпетанов подчиниться. И вот уже вся земля по ту сторону Гибера была во власти карфагенян, за исключением одного только Сагунта.

6. С Сагунтом войны еще не было, но Ганнибал, желая создать предлог для вооруженного вмешательства, уже сеял раздоры между горожанами и соседними племенами, главным образом турдетанами. А так как виновник ссоры предлагал свои услуги и в качестве третейского судьи и было ясно, что ищет он не правосудия, а насилия, то сагунтийцы отправили послов в Рим просить помощи для неизбежной уже войны. Консулами были тогда в Риме Публий Корнелий Сципион и Тиберий Семпроний Лонг. Они ввели послов в сенат и сделали доклад о положении государства; решено было направить посольство в Испанию, для рассмотрения дел союзников, предоставив послам, если они сочтут это уместным, объявить Ганнибалу, чтобы он воздерживался от нападения на Сагунт, как союзный с римским народом город, а затем отправиться в Карфаген Африканский и доложить там о жалобах союзников римского народа. Не успели еще послы оставить Рим, как уже прибыло известие — раньше, чем кто-либо мог ожидать, — что осада Сагунта началась. Тогда дело было доложено сенату вторично. Одни требовали, чтобы Испания и Африка были назначены провинциями консулам, и чтобы Рим начал войну и на суше, и на море; другие — чтобы вся война была обращена против Испании и Ганнибала. Но раздалась и голоса, что подобное дело нельзя затевать так опрометчиво, что следует обождать, какой ответ принесут послы из Испании. Это мнение показалось самым благоразумным и одержало верх; тем скорее послы Публий Валерий Флакк и Квинт Бебий Тамфил были отправлены в Сагунт к Ганнибалу. В случае, если бы Ганнибал не прекратил военных действий, они должны были оттуда проследовать в Карфаген и потребовать выдачи самого полководца для наказания за нарушение договора.

7. Но пока в Риме занимались этими приготовлениями и совещаниями, Сагунт уже подвергся крайне ожесточенной осаде. Это был самый богатый из всех городов по ту сторону Гибера, расположенный в расстоянии приблизительно одной мили от моря. Основатели его были родом, говорят, из Закнифа; к их дружине присоединились и некоторые рутулы из Ардеи. В скором времени город значительно разбогател, благодаря выгодной морской торговле, плодородию местности, быстрому росту населения, а также и строгости правов; лучшее доказательство последней — верность, которую они хранили союзникам до самой гибели. Ганнибал, торгнувшись с войском в их пределы, опустошил, насколько мог, их поля и затем, разделив свои силы на три части, двинулся к самому городу. Его стена одним углом выходила на долину более ровную и открытую, чем остальные окрестности; против этого

угла решил он направить осадные навесы, чтобы с их помощью подвести к стене таран. Издали, действительно, местность оказалась достаточно удобной, но как только надо было пустить в ход навесы, дело пошло очень неудачно. Возвышалась огромных размеров башня, да и стена, ввиду ненадежности самой местности, была возведена на большую против остального ее протяжения вышину; к тому же и отборные воины оказывали наиболее деятельное сопротивление именно там, откуда всего больше грозили страх и опасность. На первых порах защитники ограничились тем, что стрельбою держали врага на известном расстоянии и не давали ему соорудить никакого мало-мальски надежного окопа; но со временем стрелы стали уже сверкать не только со стен и башен — у осаждаемых хватило духу делать вылазки против неприятельских караулов и осадных сооружений. В этих беспорядочных стычках падало обыкновенно отнюдь не меньше карфагенян, чем сагунтийцев. Когда же сам Ганнибал, неосторожно приблизившийся к стене, был тяжело ранен дротиком в бедро и упал, кругом распространилось такое смятение и такая тревога, что навесы и осадные работы едва не были брошены.

8. Отказавшись пока от приступа, карфагеняне несколько дней довольствовались одной осадой города, чтобы дать ране полководца зажить. В это время сражений не происходило, но с той и с другой стороны безостановочно работали над окопами и укреплениями. Поэтому, когда вновь приступили к военным действиям, борьба была еще ожесточеннее; а так как кое-где земляные работы не были возможны, осадные навесы и тараны продвинули во многих местах одновременно. На стороне пунийцев было значительное численное превосходство — по достоверным сведениям, их было под оружием до полутора ста тысяч, — горожане же, будучи принуждены разделить на много частей, чтобы наблюдать за всем и всюду принимать меры предосторожности, чувствовали недостаток в людях. И вот тараны ударили в стены; вскоре там и сям начался разрушение; вдруг сплошные развалины одной части укреплений обнажили город — обрушились с оглушительным треском три башни подряд и вся стена между ними. Пунийцы подумали было, что их падение решило взятие города; но вместо того обе стороны бросились через пролом вперед, в битву, с такой яростью, как будто стена до тех пор служила оплотом для обеих. Вдобавок эта битва ничуть не походила на те беспорядочные стычки, какие обыкновенно происходят при осадах городов, когда выбор времени зависит от расчетов одной только стороны. Воины выстроились надлежащим образом в ряды среди развалин стен на узкой площади, отделяющей одну линию домов от другой, словно

па открытом поле. Одних воодушевляла надежда, других отчаяние; пуниец думал, что город, собственно, уже взят и что ему остается только немного понатужиться; сагунтийцы помнили, что стен уже не стало и что их грудь — единственный оплот беспомощной и беззащитной родины, и никто из них не отступал, чтобы оставленное ими место не было занято врагом. И чем больше было ожесточение сражающихся, чем гуще их ряды, тем больше было ран: так как промежутков не было, то каждое копьё попадало или в человека, или в его щит. А копьем сагунтийцев была фаларика с круглым сосновым древком; только близ железного наконечника древко было четырехгранным, как у дротика; эта часть обертывалась паклей и смазывалась смолой. Наконечник был длиною в три фута и мог вместе со щитом пронзить и человека. Но и помимо того, фаларика была ужасным оружием, даже в тех случаях, когда оставалась в щите и не касалась тела; среднюю ее часть зажигали, прежде чем метать, и загоревшийся огонь разрастался в силу самого движения; таким образом воин был принужден бросать свой щит и встречать следующие удары открытою грудью.

9. Исход сражения долгое время оставался неясен; вследствие этого сагунтийцы, видя неожиданный успех своего сопротивления, воспрянули духом, и пуниец, не сумевший довершить свою победу, показался им как бы уже побежденным. И вот горожане внезапно поднимают крик, отгоняют врага к развалинам стен, затем, пользуясь его стесненным положением и малодушием, выбивают его и оттуда и, наконец, в стремительном бегстве гонят до самого лагеря. Тем временем Ганнибала извещают о прибытии римского посольства. Он посылает к морю людей и велит сказать послам, что для них доступ к нему среди мечей и копий стольких необузданных племен небезопасен, сам же он в столь опасном положении не считает возможным их принять. Было, однако, ясно, что, не будучи допущены к нему, они тотчас же отправятся в Карфаген. Поэтому Ганнибал отправил к вожакам баркидов гонцов с письмами, в которых приглашал их подготовить друзей к предстоящим событиям, чтобы противники не имели возможности сделать какие бы то ни было уступки Риму.

10. По этой причине и вторая часть миссии римских послов оказалась столь же тщетной и безуспешной; вся разница состояла в том, что их все-таки приняли и выслушали. Один только Ганнон выступил защитником договора, имея против себя весь сенат; благодаря уважению, которым он пользовался, его речь была выслушана в глубоком молчании. Взывая к богам, посредникам и свидетелям договоров, он заклинал сенат не возбуждать, вместе с сагунтийской войной, войны с Римом. «Я заранее предостерегал

вас, — сказал он, — не посылать к войску отродья Гамилькара. Дух этого человека не находит покоя в могиле, и его беспокойство сообщается сыну; не прекратятся покушения против договоров с римлянами, пока будет в живых хоть один наследник крови и имени Барки. Но вы отправили к войскам юношу, пылающего страстным желанием завладеть царской властью и видящего только одно средство к тому — разжигать одну войну за другой, чтобы постоянно окружать себя оружием и легионами. Вы дали пищу пламени, вы своей рукой запалили тот пожар, в котором вам суждено погибнуть. Теперь ваши войска, вопреки договору, осаждают Сагунт; вскоре Карфаген будет осажден римскими легионами под предводительством тех самых богов, которые и в прошлую войну дали им наказать нарушителей договора. Неужели вы не знаете врага, не знаете самих себя, не знаете счастья обоих народов? Ваш бесподобный главнокомандующий не пустил в свой лагерь послов, которые от имени наших союзников пришли заступиться за наших же союзников; право народов для него, как видно, не существует. Они же, будучи изгнаны из того места, куда принято допускать даже послов врага, пришли к нам; опираясь на договор, они требуют удовлетворения. Они требуют выдачи одного только виновника, не возлагая ответственности за преступление на все наше государство. Но чем мягче и сдержаннее они начинают, тем настойчивее, боюсь я, и строже будут действовать, начавши. Подумайте об Эгатских островах и об Эрике, подумайте о том, что вы претерпели на суше и на море в продолжение двадцати четырех лет! А вождем ведь был тогда не ваш молодчик, а его отец, сам Гамилькар, второй Марс, как эти люди его называют. Но мы заплатились за то, что вопреки договору покусились на Тарент, на италийский Тарент, точно так же как теперь мы покушаемся на Сагунт. Боги победили людей; вопрос о том, который народ нарушил договор, — вопрос, о котором мы много спорили, — был решен исходом войны, справедливым судьей: он дал победу тем, за кем было право. К Карфагену придвигает Ганнибал теперь свои осадные навесы и башни, стены Карфагена разбивает таранами; развалины Сагунта — да будут лживы мои прорицания! — обрушатся на нас. Войну, начатую с Сагунтом, придется вести с Римом. Итак, спросят меня, нам следует выдать Ганнибала? Я знаю, что в отношении к нему мои слова не очень вески, вследствие моей вражды с его отцом. Но ведь и смерти Гамилькара я радовался потому, что, останься он жив, мы уже теперь воевали бы с римлянами; точно так же я и этого юношу потому ненавижу столь страстно, что он, подобно фурии, разжег эту войну. По моему мнению, его не только следует выдать как очистительную жертву за

нарушение договора, но даже если бы никто не требовал, и тогда его следовало бы увезти куда-нибудь за крайние пределы земель и морей, заточить в таком месте, откуда бы ни имя его, ни весть о нем не могли дойти до нас, где бы он не имел никакой возможности тревожить наш мирный город. Итак, вот мое мнение: следует тотчас же отправить посольство в Рим, чтобы выразить римскому сенату наши извинения; другое посольство должно приказать Ганнибалу отвести войско от Сагунта и затем, в удовлетворение договору, выдать его самого римлянам; наконец, я требую, чтобы третье посольство было отправлено в Сагунт для возмещения убытков жителям».

11. Когда Ганнон кончил, никто не считал нужным ему отвечать: до такой степени весь сенат, за немногими исключениями, был предан Ганнибалу. Замечали только, что он говорил с еще большим раздражением, чем римский посол Валерий Флакк. Затем римлянам дали такого рода ответ: войну начали сагунтийцы, а не Ганнибал, и Рим поступил бы несправедливо, жертвуя ради Сагунта своим старинным союзником — Карфагеном.

Пока римляне тратили время на отправление посольств, Ганнибал дал своим войскам, измученным и битвами и осадными работами, несколько дней отдыха, расставив караулы для охраны навесов и других сооружений; тем временем он возбуждал в войсках то гнев против врагов, то надежду на награды, и этим воспламенял их отвагу. Когда же он в обращении к войску объявил, что по взятии города добыча достанется солдатам, все они до такой степени воспылали рвением, что, если бы сигнал к наступлению был дан тотчас же, никакая сила, казалось, не могла бы им противостоять. Что же касается сагунтийцев, то и они приостановили военные действия, не подвергаясь нападениям и не атакуя сами в продолжение нескольких дней; зато они не предавались отдыху ни днем, ни ночью, пока не возвели новой стены с той стороны, где разрушенные укрепления открыли врагу доступ в город. Вслед за тем им пришлось выдержать новый приступ, много ожесточеннее прежнего. Они не могли даже знать, куда им прежде всего обратиться, куда направить свои главные силы: отовсюду неслись разногласные крики. Сам Ганнибал руководил нападением с той стороны, где везли передвижную башню, превосходившую вышиной все укрепления города. Когда она была подвезена и под действием катапульт и баллист, расположенных по всем ее ярусам, стена опустела, тогда Ганнибал, считая время удобным, послал приблизительно пятьсот африканцев с топорами разбивать нижнюю часть стены. Это не представляло особой трудности, так как камни не

были прочно скреплены известью, а просто швы залеплены были глиной, как в старинных постройках. Вследствие этого стена рушилась на гораздо большем пространстве, чем то, на котором она непосредственно подвергалась ударам, и через образовавшиеся проломы отряды вооруженных вступали в город. Им удалось даже завладеть одним возвышением; снесши туда катапульты и баллисты, они окружили его стеной, чтобы иметь в самом городе укрепленную стоянку, наподобие грозной твердыни.

И сагунтийцы, в свою очередь, соорудили внутреннюю стену для защиты той части города, которая не была еще взята. Обе стороны одновременно и сражаются, и работают; но, будучи принуждены отодвигать защищаемую черту все более и более внутрь города, сагунтийцы сами с каждым днем делали его меньше и меньше. В то же время недостаток во всем необходимом становился, вследствие продолжительности осады, все ощутительнее, а надежда на помощь извне слабела; римляне, единственный народ, на который они уповали, были далеко, а вся земля кругом была во власти врага. Все же некоторым облегчением в их удрученном положении был внезапный поход Ганнибала на оретанов и карпетанов. Эти два народа, возмущенные строгостью производимого среди них набора, захватили Ганнибаловых вербовщиков и были, по-видимому, не прочь отпасть; но, пораженные быстрым нашествием Ганнибала, они отказались от своих намерений.

12. А осада Сагунта велась тем временем ничуть не медленнее, так как Магарбал, сын Гимилькоиа, которого Ганнибал оставил начальником, действовал с такой энергией, что ни свои, ни враги не замечали отсутствия главнокомандующего. Он дал врагу несколько успешных сражений и с помощью трех таранов разрушил часть стены; когда Ганнибал вернулся, он мог показать ему свежие развалины на протяжении всей новой черты. Тотчас же Ганнибал повел войско против самой крепости; произошло ожесточенное сражение, в котором пало много людей с обеих сторон, но часть крепости была все-таки взята.

Тогда два человека, сагунтиец Алкон и испанец Алорк, сделали попытку примирить враждующие стороны — правда, без особой надежды на успех. Алкон, без ведома сагунтийцев, вообразив, что его просьбы сколько-нибудь помогут делу, ночью перешел к Ганнибалу; но, видя, что слезы никакого впечатления не производят, что Ганнибал, как и следовало ожидать от победителя, ставит ужасные условия, он, из посредника превратившись в перебежчика, остался у врага; по его мнению, тот, кто осмелился бы предлагать сагунтийцам мир на таких условиях, был бы убит ими. Требования же состояли в следующем: сагунтийцы должны были

дать турдетанам полное удовлетворение, передать все золото и серебро врагу и, взяв с собою лишь по одной одежде на человека, покинуть город, чтобы поселиться там, где прикажет пуниец. Но между тем как Алкон утверждал, что сагунтийцы никогда не примут этих условий, Алорк заявил, что душа человека покоряется там, где все средства к сопротивлению истощены, и взялся быть истолкователем условий предлагаемого мира: он служил тогда в войске Ганнибала, но считался, согласно постановлению сагунтийцев, соединенным с ними союзом дружбы и гостеприимства. И вот он открыто передает свое оружие неприятельскому караулу и проходит за их укрепления; по его собственному желанию, его ведут к начальнику Сагунта. Тотчас же сбежалось к нему множество людей всех сословий; но начальник, удалив толпу посторонних, ввел Алорка в сенат. Там он произнес такую речь.

13. «Если бы ваш согражданин Алкон, отправившийся к Ганнибалу просить его о мире, исполнил свой долг и принес вам условия, которые ставит Ганнибал, то я счел бы излишним приходить к вам — не то послом Ганнибала, не то перебежчиком. Но так как он, по вашей ли, или по своей вине, остался у врагов — по своей, если его боязнь была притворной, по вашей, если у вас действительно подвергается опасности тот, кто говорит вам правду,— то я, в силу старинного союза гостеприимства с вами, решился отправиться к вам, чтобы вы знали, что есть еще возможность для вас — на известных условиях — спасти себя и заключить мир. А что все мои слова подсказаны мне исключительно заботою о вас, а не какими бы то ни было посторонними расчетами,— доказательством да будет уже одно то, что я никогда не обращался к вам с предложениями о мире, пока вы или могли сопротивляться собственными силами, или надеялись на помощь со стороны римлян. Теперь же, когда надежда на римлян оказалась тщетной, а ваше оружие и ваши стены уже не служат вам защитой, я явился к вам с условиями мира, невыгодного, но необходимого. Но этот мир возможен только в том случае, если вы согласны выслушать его условия в сознании, что вы побеждены и что Ганнибал ставит их как победитель, если вы, памятуя, что победителю принадлежит все, согласны считать подарком то, что он оставляет вам, а не потерей то, что он у вас отнимает. Итак, он отнимает у вас город, который и без того уже в его власти, будучи в значительной части разрушен и почти весь взят им; зато он оставляет вам землю, предоставляя себе указать вам место для основания нового города. Сверх того он требует, чтобы вы передали ему все золото и серебро, находящееся как в общественной казне, так и у частных лиц; зато он обеспечивает вам жизнь, честь и свободу, как вашу соб-

ственную, так и ваших жен и детей,— если вы согласны оставить Сагунт без оружия, взяв по две одежды на человека. Таков приказ победоносного врага, таков же и совет — совет тяжкий и грустный — вашей судьбы. Я, со своей стороны, не теряю надежды, что Ганнибал, видя вашу покорность, несколько умерит свои требования; но и теперь я полагаю, что лучше подчиниться им, чем допустить, чтобы враг по праву войны убивал вас или же перед вашими глазами поволок в рабство ваших жен и детей».

14. Между тем толпа, желая слушать речь Аморка, мало-помалу окружила здание, и сенат с народом составлял уже одно собрание. Вдруг первые в городе лица, прежде чем Аморку мог быть дан ответ, отделились от сената, начали сносить на площадь все золото и серебро, как общественное, так и свое собственное, и, поспешно разведши огонь, бросили его туда, причем многие из них сами бросались в тот же огонь. Но вот в то время, когда страх и смятение, распространившись вследствие этого отчаянного поступка по городу, еще не улеглись, — раздался новый шум со стороны крепости: после долгих усилий врагов обрушилась, наконец, башня, и когорта пунийцев, ворвавшаяся через образовавшийся пролом, дала знать полководцу, что город врагов покинут обычными караульными и часовыми. Тогда Ганнибал, решившись немедленно воспользоваться этим обстоятельством, со всем своим войском напал на город. В одно мгновение Сагунт был взят; Ганнибал распорядился предавать смерти всех взрослых подряд. Приказ этот был жесток, но исход дела как бы оправдал его. Действительно, возможно ли было пощадить хоть одного из этих людей, которые, частью запершись вместе со своими женами и детьми, сами подожгли дома, в которых находились, частью же бросались с оружием в руках на врага и дрались с ним до последнего дыхания.

15. Город был взят с несметной добычей. Много, правда, было испорчено нарочно самими владельцами; правда и то, что ожесточенные войны резали всех, редко различая взрослых и малолетних, и что пленники были добычей самих воинов. Все же не подлежит сомнению, что при продаже ценных вещей выручили значительную сумму денег и что много дорогой утвари и тканей было послано в Карфаген.

По свидетельству некоторых, Сагунт пал через восемь месяцев, считая с начала осады, затем Ганнибал удалился на зимние квартиры в Новый Карфаген, а затем, через пять месяцев после своего выступления из Карфагена, прибыл в Италию. Если это так, то Публий Корнелий и Тиберий Семпроний не могли быть теми

консулами, к которым в начале осады были отправлены сагунтские послы, и одновременно теми, которые сразились с Ганнибалом, один на реке Тицине, а оба, несколько времени спустя, на Требии. Или все эти промежутки были значительно короче, или же на первые месяцы консульства Публия Корнелия и Тиберия Семпрония приходилось не начало осады, а взятие Сагунта; допустить же, что сражение на Требии произошло в год Гнея Сервилия и Гая Фламиния, невозможно, так как Гай Фламиний вступил в консульскую должность в Аримине, будучи избран под председательством консула Тиберия Семпрония, который явился в Рим ради консульских выборов уже после сражения на Требии, а затем, когда комиции состоялись, отправился обратно к войску на зимние квартиры.

16. Почти одновременно с возвращением из Карфагена послов, которые доложили о преобладающем всюду враждебном настроении, было получено известие о разгроме Сагунта. Тогда сенаторами овладела такая жалость о недостойно погибших союзниках, такой стыд за отсрочку помощи, такой гнев против карфагенян и вместе с тем — как будто враг стоял уже у ворот города — такой страх за благосостояние собственного отечества, что они, под ошеломляющим напором стольких одновременных чувств, могли только предаваться тревожным думам, а не рассуждать. «Никогда еще, — твердили они, — не приходилось Риму сражаться с более деятельным и воинственным противником, и никогда еще римляне не вели себя столь вяло и столь трусливо. Все эти войны с сардами да корсами, истрами да иллирийцами только раздражали воинов, нисколько не упражняя их в военном деле; да и война с галлами была скорее целью беспорядочных свалок, чем войною. Пуниец, напротив, — закаленный в бою неприятель, в продолжение своей двадцатипрехлетней суровой службы среди испанских народов ни разу не побежденный, привыкший к своему грозному вождю. Он только что разгромил богатейший город; он уже переправляется через Гибер и влечет за собою столько испанских народов, поднятых им со своего места; вскоре он призывает к оружию и всегда мятежные галльские племена, и нам придется вести войну с войсками всей вселенной, вести ее в Италии и — кто знает? — не перед стенами ли Рима!»

17. Провинции были назначены консулам уже заранее; теперь им предложили бросить жребий о них; Корнелию досталась Испания, Семпронию Африка с Сицилией. Определено было набрать в этом году шесть легионов, причем численность союзнических отрядов была предоставлена усмотрению самих консулов, и спустить в море столько кораблей, сколько окажется возможным;

всего же было набрано 24 000 римских пехотинцев, 1800 римских всадников, 40 000 союзнических пехотинцев и 4400 союзнических всадников; кораблей же было спущено 220 пентер и 20 вестовых; затем было внесено в народное собрание предложение: «Благоволите, квинриты, объявить войну карфагенскому народу», — и по случаю предстоящей войны было провозглашено молебствие по всему городу; граждане просили богов дать хороший и счастливый исход предпринятой римским народом войне. Войска были разделены между консулами следующим образом: Семпронию дали два легиона по 4000 человек пехоты и 300 всадников, и к ним 16 000 пехотинцев и 1800 всадников из союзников, да 160 военных судов с 12 вестовыми кораблями. С такими-то сухопутными и морскими силами Тиберий Семпроний был послан в Сицилию, с тем чтобы в случае, если другой консул сумеет сам удержать пунийцев вне пределов Италии, перенести войну в Африку. Корнелию дали меньше войска ввиду того, что претор Луций Манлий с значительной силой был послан по тому же направлению, в Галлию; в особенности флотом Корнелий был слабее. Всего ему дали 60 пентер — в уверенности, что враг придет не морем и уже ни в каком случае не затеет войны на море, — и два римских легиона с установленным числом конницы и 14 000 союзнических пехотинцев при 1600 всадниках. Провинция Галлия получила два римских легиона с 10 000 союзнической пехоты и к ним 1000 союзнических и 60 римских всадников, с тем же назначением — сражаться с пунийцами.

18. Когда все было готово, римляне — чтобы исполнить все обычаи прежде, чем начать войну, — отправляют в Африку послов в почтенных летах: Квинта Фабия, Марка Ливия, Луция Эмилия, Гая Лициния и Квинта Бебия. Им было поручено спросить карфагенян, государством ли дано Ганнибалу полномочие осадить Сагунт, и в случае если бы они (как и следовало ожидать) ответили утвердительно и стали оправдывать поступок Ганнибала, как совершенный по государственному полномочию, объявить карфагенскому народу войну. Когда римские послы прибыли в Карфаген и были введены в сенат, Квинт Фабий, согласно поручению, сделал свой запрос, ничего к нему не прибавляя. В ответ один карфагенянин произнес следующую речь:

«Опрометчиво, римляне, и оскорбительно поступили вы, отправляя к нам свое первое посольство, которому вы поручили требовать от нас выдачи Ганнибала, как человека, на собственный страх осаждающего Сагунт; впрочем, требование вашего нынешнего посольства только на словах мягче прежнего, на деле же оно еще круче. Тогда вы одного только Ганнибала обвиняли и требо-

вали выдать только его одного; теперь вы явились, чтобы всех нас заставить признаться в вине и чтобы тотчас же наложить на нас пеню, как на уличенных собственным признанием. Я же позволю себе думать, что не в том суть, осаждал ли Ганнибал Сагунт по государственному полномочию или на свой страх, а в том, имел ли он на это право или нет. Расследовать, что сделал наш согражданин по нашему, и что — по собственному усмотрению, и наказывать его за это — дело исключительно наше; переговоры же с вами могут касаться только одного пункта: было данное действие разрешено договором или нет. А если так, то я — предварительно напомнив вам, что вы сами пожелали отличать самовольные действия полководцев от тех, на которые их уполномочило государство, — укажу вам на наш договор с вами, заключенный вашим консулом Гаем Лутацием; в нем ограждены права союзников того и другого народа, но права сагунтийцев не оговорены ни словом, что и понятно: они тогда еще не были вашими союзниками. «Но, скажете вы, в том договоре, который мы заключили с Газдрубалом, есть оговорка о сагунтийцах». Против этого я возражу лишь то, чему выучился от вас. Когда ваш консул Гай Лутаций заключил с нами первый договор, вы объявили его недействительным, ввиду того что он был заключен без утверждения сенаторов и без разрешения народа; пришлось заключить новый договор на основании данных Гаю Лутацию государством полномочий. Но если вас связывают только те ваши договоры, которые заключены с вашего утверждения и разрешения, то и мы не можем считать обязательным для себя договор, который заключен с Газдрубалом без нашего ведома. Перестаньте поэтому ссылаться на Сагунт и на Гибера, дайте, наконец, вашей душе разрешиться от бремени, с которым она так давно уже ходит». Тогда римлянин, подобрав переднюю полу тоги так, что образовалось углубление, сказал: «Вот здесь я приношу вам войну и мир; выбирайте любое!» На эти слова он получил не менее гордый ответ: «Выбирай сам!» А когда он, распустив тогу, воскликнул: «Я даю вам войну», — присутствующие единодушно ответили, что они принимают войну и будут вести ее с такою же решимостью, с какой приняли.

19. Повести дело напрямик и объявить войну немедленно показалось послу более соответствующим достоинству римского народа, чем спорить насчет обязательности договоров, тем более теперь, когда Сагунта уже не стало. Опасаться этого спора он не имел причин: правда, если бы дело решалось словесным спором, возможно ли было сравнивать договор Газдрубала с первым договором Лутация, тем, который впоследствии был изменен? Ведь в договоре Лутация нарочно было прибавлено, что он будет дей-

ствительным только в том случае, если его утвердит народ, а в договоре Газдрубала никакой такой оговорки, во-первых, не было, а кроме того, многолетнее молчание Карфагена еще при жизни Газдрубала до того скрепило его действительность, что и после смерти заключившего ни один пункт не подвергся изменению. Но если даже опираться на прежний договор, то и тогда независимость сагунтийцев была достаточно обеспечена оговоркой относительно союзников того и другого народа. Там ведь не было прибавлено ни «тех, которые были таковыми к сроку заключения договора», ни «с тем, чтобы договаривающиеся государства не заключали новых союзов», а при естественном праве приобретать новых союзников, кто бы мог признать справедливым обязательство никого ни за какие услуги не делать своим другом или же отказывать в своей защите тому, кому она обещана? Главное — это чтобы Рим не побуждал к отложению карфагенских союзников и не заключал союзов с теми, которые отложились бы по собственному почину.

Согласно полученному в Риме предписанию, послы из Карфагена переправились в Испанию, чтобы посетить отдельные общины и заключить с ними союзы, или, по крайней мере, воспрепятствовать их присоединению к пунийцам. Прежде всего они явились к баргузиям; будучи приняты ими благосклонно, — пунийское иго было им ненавистно, — римляне во многих народах по ту сторону Гибера возбудили желание, чтобы пришли для них новые времена. Оттуда они обратились к вольцианам, но ответ этих последних, получивший в Испании широкую огласку, отбил у остальных племен охоту дружить с римлянами. Когда народ собрался, старейшина ответил послам следующее: «Не совестно ли вам, римляне, требовать от нас, чтобы мы карфагенской дружбе предпочли вашу, после того как сагунтийцы, следовавшие вашему совету, более пострадали от предательства римлян, своих союзников, чем от жестокости пунийца, своего врага? Совету вам искать союзников там, где еще не знают о несчастьи Сагунта; для испанских народов развалины Сагунта будут грустным, но внушительным уроком, чтобы никто не полагался на римскую верность и римскую дружбу». После этого послам велено было немедленно удалиться из земли вольцианов, и они уже нигде более не нашли дружелюбного приема в собраниях испанских народов. Совершив, таким образом, понапрасну путешествие по Испании, они перешли в Галлию.

20. Тут им представилось странное и грозное зрелище: по обычаю своего племени, галлы явились в Народное собрание вооруженными. Когда же послы, воздав честь славе и доблести римского

народа и величие его могущества, обратились к ним с просьбою, чтобы они не дозволили пунийцу, когда он двинется войной на Италию, проходить через их поля и города, в рядах молодежи поднялся такой ропот и хохот, что властям и старейшинам с трудом удалось водворить спокойствие, до такой степени показалось им глупым и наглым требование, чтобы они, в угоду римлянам, боявшимся, как бы пунийцы не перенесли войну в Италию, приняли удар на себя и вместо чужих полей дали бы разграбить свои. Когда негодование, наконец, улеглось, послам дали такой ответ: «Римляне не оказывали нам никакой услуги, карфагеняне не причиняли никакой обиды; мы не сознаем надобности поэтому подымать оружие за римлян и против пунийцев. Напротив, мы слышали, что римский народ наших единоплеменников изгоняет из их отечественной земли и из пределов Италии или же заставляет их платить дань и терпеть другие оскорбления». Подобного рода речи были произнесены и выслушаны в собраниях остальных галльских народов; вообще послы не услышали ни одного мало-мальски дружественного и миролюбивого слова раньше, чем прибыли в Массилию. Здесь они убедились, что союзники все разведали усердно и честно: «Ганнибал, говорили они, заблаговременно настроил галлов против римлян; но он ошибается, полагая, что сам встретит среди этого дикого и неукротимого народа более ласковый прием, если только он не задобрит вождей, одного за другим, золотом, до которого эти люди, действительно, большие охотники». Побывав, таким образом, у народов Испании и Галлии, послы вернулись в Рим через несколько времени после отбытия консулов в провинции. Они застали весь город в волнении по случаю ожидаемой войны; молва, что пунийцы уже перешли Гибер, держалась довольно упорно.

21. Между тем Ганнибал по взятии Сагунта удалился на зимние квартиры в Новый Карфаген. Узнав там о прениях в Риме и Карфагене и о постановлениях сенатов обоих народов и убедившись, что он не только оставлен полководцем, но и сделался причиною войны, он отчасти разделил, отчасти распродал остатки добычи и затем, решившись не откладывать более войны, созвал своих воинов испанского происхождения. «Вы и сами, полагаю я, видите, союзники, — сказал он им, — что теперь, когда все народы Испании вкушают блага мира, нам остается или прекратить военную службу и распустить войска, или же перенести войну в другие земли; лишь тогда все эти племена будут пользоваться плодами не только мира, но и победы. если мы будем искать добычи и славы среди других народностей. А если так, то ввиду предстоящей вам службы в далекой стране, причем даже неизвестно, когда вы

увидите вновь свои дома и все то, что в них есть дорогого вашему сердцу, я даю отпуск всем тем из вас, которые пожелают повестить свою семью. Приказываю вам вернуться к началу весны, чтобы с благосклонною помощью богов начать войну, сулящую нам несметную добычу и славу». Почти все обрадовались позволению побывать на родине, которое полководец давал им по собственному почину: они и теперь уже скучали по своим и предвидели в будущем еще более долгую разлуку. Отдых, которым они наслаждались в продолжение всей зимы после тех трудов, которые они перенесли, и перед теми, которые им вскоре предстояло перенести, возвратил им силы тела и бодрость духа и готовность сызнова испытать все невзгоды. К началу весны они, согласно приказу, собрались вновь.

Сделав смотр всем вспомогательным войскам, Ганнибал отправился в Гадес, где он исполнил данные Геркулесу обеты и дал повые — на случай благоприятного исхода своих дальнейших предприятий. Затем, заботясь одинаково и о наступательной и об оборонительной войне и не желая, чтобы во время его сухопутного похода через Испанию и обе Галлии в Италию Африка оставалась беззащитной и открытой для римского нападения с острова Сицилии, он решил обеспечить ее сильными сторожевыми отрядами. Взамен их он потребовал, чтобы ему выслали из Африки пополнение, состоявшее главным образом из легковооруженных метателей. Его мыслью было — заставить африканцев служить в Испании, а испанцев в Африке, с тем чтобы и те и другие, находясь вдали от своей родины, сделались лучшими воинами и обе страны более привязались одна к другой, как бы обменявшись заложниками. Он послал в Африку 13 850 пеших пельтастов, 870 балеарских пращников и 1200 всадников разных народностей, требуя, чтобы эти силы частью служили гарнизоном Карфагену, частью же были разделены по Африке. Вместе с тем он разослал вербовщиков по разным городам, велел набрать 4000 отборных молодых воинов и привести их в Карфаген в качестве и защитников, и заложников одновременно.

22. Но и Испанию он не оставил своими заботами, тем более что знал о поездке римских послов, предпринятой с целью возмутить против него вождей; ее он назначил провинцией своему брату, ревностному Газдрубалу, дав ему войско главным образом из африканцев. Оно состояло из 11 850 африканских пехотинцев, 300 лигурийцев и 500 балеарцев; к этой пешей охране было прибавлено 450 конных ливифиникийцев (это был народ, происшедший из смешения пунийцев с африканцами), до 1800 нумидийцев и мавританцев (живших на берегу Океана), небольшой отряд ис-

панских илергетов, всего 300 всадников, и — чтобы не упустить ни одного средства сухопутной защиты — 21 слон. Сверх того, он дал ему для защиты побережья флот — полагая, вероятно, что римляне и теперь пустят в ход ту часть своих военных сил, которая уже раз доставила им победу, — всего 50 пентер, 2 тетреры и 5 триер; из них, впрочем, только 32 пентеры и 5 триер были готовы к плаванью и снабжены гребцами.

Из Гадеса он вернулся в Новый Карфаген, где зимовало войско; отсюда он повел войско мимо Онуссы и затем вдоль берега к реке Гиберу. Здесь, говорят, ему привиделся во сне юноша божественной наружности; сказав, что он посланный ему Юпитером проводник в Италию, он велел Ганнибалу идти за ним без оглядки. Объятый ужасом, Ганнибал повиновался и вначале не глядел ни назад, ни по сторонам; но мало-помалу, по врожденному человеку любопытству, его стала тревожить мысль, что бы это могло быть такое, на что ему запрещено оглянуться; под конец он не выдержал. Тогда он увидел змея чудовищной величины, который полз за ним, сокрушая на огромном пространстве деревья и кустарники, а за змеем двигалась туча, оглашавшая воздух раскатами грома. На его вопрос, что значит это чудовище и все это явление, он получил ответ, что это — опустошение Италии; вместе с тем ему было сказано, чтобы он шел дальше, не задавая вопросов и не пытаясь сорвать завесу с решений рока.

23. Обрадованный этим видением, Ганнибал тремя колоннами перевел свои силы через Гибер, отправив предварительно послов к галлам, жителям той местности, через которую ему предстояло вести войско, чтобы расположить их в свою пользу и разузнать об альпийских перевалах. Всего он переправил через Гибер 90 000 пехотинцев и 18 000 всадников. Идя далее, он принял в подданство илергетов, баргузию, авзетанов и жителей Лацетании, лежащей у подножия Пиренеев, и начальником всего этого побережья сделал Ганнона; чтобы иметь в своей власти проходы между Испанией и Галлией, Ганнибал дал ему для охраны этой местности 1000 пехотинцев и 1000 всадников. Когда переход войска через Пиренейские горы уже начался, под влиянием распространившейся среди варваров более точной молвы о том, что им предстоит война с Римом, 3000 пехотинцев из карпетанов оставили знамена Ганнибала; все знали, что их смущала не столько война, сколько далекий путь и превышающий, по их мнению, человеческие силы переход через Альпы. Возвращать их уговорами или силой было небезопасно: могли взволноваться и остальные вонны, и без того строптивные. Поэтому, делая вид, что и карпетаны отпущены им добровольно, Ганнибал отпустил домой еще

свыше 7000 человек, которые, как ему было известно, тяготились службой.

24. А затем он, не желая, чтобы под влиянием проволоочки и бездействий умы его воинов пришли в брожение, быстро переходит с остальными своими силами Пиренеи и располагается лагерем близ города Илиберриса. Что же касается галлов, то, хотя им и говорили, что война задумана против Италии, они все-таки всполошились, слыша, что народы по ту сторону Пиренеев покороны силой и их города заняты значительными караульными отрядами, и в страхе за собственную свободу взяли за оружие; несколько племен сошлись в Русцинон. Когда об этом известили Ганнибала, он, опасаясь траты времени еще более, чем войны, отправил к их царькам послов сказать им следующее: «Полководец желал бы переговорить с вами лично и поэтому просит вас либо придвинуться ближе к Илиберрису, либо позволить ему приблизиться к Русцинону; свидание состоится легче, когда расстояние между обеими стоянками будет поменьше. Он с радостью примет вас в своем лагере, но и не задумается сам отправиться к вам. В Галлию пришел он гостем, а не врагом, и поэтому, если только ему позволят это сами галлы, намерен обнажить меч не раньше, чем достигнет Италии». Таковы были слова, переданные его послами; когда же галльские царьки с полной готовностью двинулись тотчас же к Илиберрису и явились в лагерь пунийца, он окончательно задобрил их подарками и добился того, что они вполне миролюбиво пропустили войско через свои земли мимо города Русцинона.

25. Едва массилийские послы успели принести в Италию одно известие, что Ганнибал перешел Гибер, как вдруг, словно бы он перешел уже и Альпы, возмутились боии, подговорив к восстанию и инсубров. Они сделали это не столько по старинной ненависти против римского народа, сколько негодуя по поводу недавнего основания на галльской земле колоний Плацентии и Кремоны по обе стороны реки Пада. Итак, они, взявшись внезапно за оружие, произвели нападение именно на те земли, которые были отведены под эти колонии, и распространили такой ужас и такое смещение, что не только толпа переселенцев, но и римские триумвиры, явившиеся для раздела земли, бежали в Мутину, не считая стены Плацентии достаточно надежным оплотом. Это были Гай Лутаций, Гай Сервилий и Марк Анний. (Относительно имени Лутация не существует никаких разногласий, но вместо Анния и Сервилия в некоторых летописях названы Маний Ацилий и Гай Геренний, в других — Публий Корнелий Азинна и Гай Папирий Мазон. Неизвестно также, были ли они оскорблены в качестве послов, отправленных к боиям требовать удовлетворения, или же

подверглись нападению в то время, когда, в качестве триумвиров, занимались размежеванием земли.) В Мутине их осадили, но так как боям, по совершенной неопытности в осадных работах и по лености, мешавшей им заниматься делом, пришлось сидеть сложа руки, не трогая стен, то они стали притворяться, будто желают завести переговоры о мире. Приглашенные галльскими вождями на свидание послы вдруг были схвачены — вопреки не только общему праву народов, но и особому обещанию, данному по этому случаю; галлы заявили, что отдадут послов лишь тогда, когда им будут возвращены их заложники.

Узнав о случившемся с послами, претор Л. Манлий вспылал гневом и — ввиду опасности, которая угрожала Мутине и ее гарнизону, — торопливо повел свое войско к этому городу. Тогда дорога вела еще по местности почти невозделанной, с обеих сторон ее окаймляли леса. Отправившись по этой дороге и не произведя разведки, Манлий попал в засаду и с трудом выбрался в открытое поле, потеряв убитыми многих из своих воинов. Там он расположился лагерем, а так как галлы отчаялись в возможности напасть на него, то воины ободрились, хотя для них не было тайной, что погибло до 600 их товарищей. Затем они снова двинулись в путь; пока войско шло открытым полем, враг не показывался; но лишь только они снова углубились в лес, галлы бросились на их задние отряды и среди всеобщего страха и смятения убили 700 воинов и завладели шестью знаменами. Конец нападением галлов и страху римлян наступил лишь тогда, когда войско миновало непроходимые дебри; идя дальше по открытой местности, они защищались без особого труда и достигли таким образом Таннета, местечка, лежащего недалеко от реки Пада. Там они, воздвигнув временное укрепление, оборонялись против растущего с каждым днем числа галлов, благодаря припасам, которые подвозились им по реке, и содействию галльского племени бриксанов.

26. Когда весть об этом внезапном возмущении проникла в Рим и сенат узнал, что сверх Пунической войны придется еще вести войну с галлами, он велел претору Гаю Атилию идти на помощь Манлию с одним римским легионом и 5000 союзников из вновь набранных консулами; Атилией достиг Таннета, не встретив сопротивления, — враги заранее из страха удалились.

Публий же Корнелий, набрав новый легион взамен того, который был отослан с претором, оставил Рим и на 68 кораблях отправился мимо этрусского берега, лигурийского и затем салувийского горного хребта в Массилию. Затем он расположился лагерем у ближайшего устья Родана (река эта изливается в море несколькими рукавами), не будучи еще вполне убежден, что Ганнибал

перешел Пиренеи. Узнавши, однако, что тот готовится уже переправиться через Родан, не зная, куда выйти к нему навстречу, и видя, что воины еще не оправились от морской качки, он выслал пока вперед отборный отряд в 300 всадников, дав ему масиллийских проводников и галльских конников из вспомогательного войска; он поручил этим всадникам разузнать обо всем и с безопасного места наблюдать за врагом.

Ганнибал, действуя на одних страхом, а на других подарками, заставил все племена соблюдать спокойствие и вступил в пределы могущественного племени вольков. Они живут, собственно, по обеим сторонам Родана; но, отчаиваясь в возможности преградить пунийцу доступ к землям по ту сторону Родана, они решили использовать реку как укрепление: почти все перебрались они через Родан и грозною толпой занимали его левый берег. Остальных же приречных жителей, а также и тех из вольков, которых привязанность к своим полям удержала на правой стороне, Ганнибал подарками склонил собрать все суда, какие только можно было найти, и построить новые; да и сами они желали, чтобы войско поскорее переправилось и их родина избавилась от разорительного присутствия такого множества людей. Они собрали поэтому несметное число кораблей и лодок, сделанных на скорую руку и приспособленных только для плавания по соседству; галлы, подавая пример, принялись долбить и новые челноки из цельных стволов, а глядя на них, и воины, соблазненные изобилием леса и легкостью работы, торопливо сооружали какие-то безобразные корыта, чтобы перевезти себя самих и свои вещи, заботясь лишь о том, чтобы эти их изделия держались на воде и могли вмещать тяжести.

27. И вот уже все было готово для переправы, а враги все еще шумели на том берегу, занимая его на всем протяжении своею конницей и пехотой. Чтобы заставить их удалиться, Ганнибал велел Ганнону, сыну Бомилькара, в первую ночную стражу выступить с частью войска, преимущественно из испанцев, идти вверх по реке на расстояние одного дня пути, затем — на первом удобном месте — как можно незаметнее переправиться и вести отряд в обход, чтобы, когда будет нужно, напасть на неприятеля с тылу. Галлы, которых Ганнибал дал ему с этой целью в проводники, сказали, что на расстоянии приблизительно 25 миль от стоянки карфагенян река разделяется на два рукава, образуя небольшой остров, так что то самое место, где она разделяется, вследствие большой ширины и меньшей глубины русла наиболее удобно для переправы. Там-то Ганнон и велел поспешно рубить деревья и изготовлять плоты, чтобы перевезти на них людей, лошадей и грузы.

Испанцы, впрочем, без всякого труда переплыли реку, бросив сдежду и меха, прикрыв их своими небольшими щитами и ложась сами грудью на щиты; остальное же войско пришлось перевезти на плотках. Разбив лагерь недалеко от реки, воины, уставшие от ночного похода и от работ по переправе, отдыхали в продолжение одного дня, причем начальник зорко следил за всем, что могло способствовать успешному исполнению его поручения. На следующий день они пошли дальше и дымом костров, разведенных на вершухе холма, дали знать Ганнибалу, что они перешли реку и находятся недалеко. Тогда Ганнибал, чтобы не упустить удобного случая, дал сигнал к переправе. Все уже было приготовлено заранее, для пехоты — лодки, корабли — для конницы, которая нуждалась в них для переправы одних только коней. Суда переправлялись выше по течению, чтобы разбить напор волн; благодаря этому плывущие ниже лодки были в безопасности. Лошади большей частью переправлялись вплавь, будучи привязаны ремнями к корме кораблей; исключение составляли те, которых нарочно погрузили на суда оседланными и взнузданными, чтобы они могли служить всадникам тотчас после высадки.

28. Галлы между тем толпами высыпали на берег, по своему обычаю — с разноголосым воем и пением, потрясая над головой щитами и размахивая дротиками; все же они испытывали некоторый страх, видя перед собою такое множество кораблей, приближающихся при грозном шуме волн, резком крике гребцов и всинов — тех, что боролись с течением реки, и тех, что с другого берега ободряли плывущих товарищей. Но пока неприятели не без робости глядели на подплывающую к ним с диким гулом толпу, вдруг раздался с тылу оглушительный крик: лагерь был взят Гапном. Еще мгновение — и он сам ударил на них, и вот они были окружены ужасом с обеих сторон: здесь полчища вооруженных людей с кораблей высаживались на берег, там теснило галлов войско, появления которого они и ожидать не могли. Сначала галлы пытались оказывать сопротивление и здесь и там, но были отброшены и, завидев более или менее открытый путь, прорвались и, объятые ужасом, разбежались, как попало, по своим деревням. Тогда Ганнибал спокойно перевез остальные свои силы и расположился лагерем, не обращая более внимания на галльские буйства.

Относительно переправы слонов, полагаю я, предлагались различные планы; по крайней мере, источники на этот счет не согласны. По иным, слоны предварительно все были собраны на берегу; затем самый сердитый из них, будучи приведен в ярость своим провожатым, бросился за ним; провожатый бежал в воду,

слон последовал за ним туда и своим примером увлек все стадо; если же животные попадали в глубокие места и теряли брод, то самое течение реки относило их к другому берегу. По более достоверным известиям, они были перевезены на плотях; действительно, такая мера, если бы пришлось затевать дело теперь, показала бы более безопасной, а потому и в данном случае, когда идет речь о делах прошлого, она внушает больше доверия. Плот, длиною в 200 футов, а шириною в 50, был укреплен на берегу так, чтобы он вдавался в реку; а чтобы его не унесло течением вниз, его привязали крепкими канатами к высокой части берега. Затем сго, наподобие моста, покрыли землею, чтобы животные смело вошли на него, как на твердую почву. К этому плоту привязали другой, одинаковой с первым ширины, а длиною в 100 футов, приспособленный к переправе через реку. Тогда слонов погнали по первому плоту, как по дороге, причем самок пустили вперед; когда же они перешли на прикрепленный к нему меньший плот, тотчас же канаты, которыми он был не особенно прочно соединен с первым, были развязаны, и несколько легковых судов потянули его к другому берегу. Высадив первых, вернулись за другими и перевезли и их. Они шли совершенно бодро, пока их вели как бы по сплошному мосту; но когда один плот был отвязан от другого и их вывезли на середину реки, тут они обнаружили первые признаки беспокойства. Они сплотились в одну кучу, так как крайние отступали от воды как можно дальше, и дело не обошлось без некоторого замешательства; но наконец, под влиянием самого страха, водворилось спокойствие. Некоторые, правда, взбесились и упали в воду; но и они, вследствие своей тяжести, не теряли равновесия и только сбросили провожатых, а затем мало-помалу, отыскав брод, вышли на берег.

29. Во время переправы слонов Ганнибал послал 500 нумидийских всадников по направлению к римскому лагерю разведать, где находится враг, много ли у него войска и что он замышляет. С этим отрядом конницы столкнулись те 300 римских всадников, которые, как я сказал выше, были посланы вверх от устья Родана. Схватились они с гораздо большим ожесточением, чем можно было ожидать от таких немногочисленных отрядов; не говоря уже о ранах, даже потери убитыми были почти одинаковы с обеих сторон, и только испугу и бегству нумидийцев римляне, находившиеся в крайнем изнеможении, были обязаны победой. Победителей пало до 160, и притом не все римляне, а частью галлы, побежденных — более 200. Таково было начало войны и вместе с тем — знамение ее исхода: оно предвещало, что, хотя вся война и кончится благополучно для римлян, но победа будет стоить им

потоков крови и последует только после долгой и чрезвычайно опасной борьбы.

После такого-то исхода дела каждый отряд вернулся к своему полководцу. Сципион не знал, на что решиться, и постановил действовать сообразно с планами и начинаниями врага; но и Ганнибал колебался, продолжать ли ему путь в Италию или сразиться с тем римским войском, которое первое вышло к нему навстречу. Прибытие послов от бойев и их царька Магала заставило его отказаться от мысли дать сражение теперь же. Они предложили ему быть его проводниками и товарищами в опасностях, но убеждали напасть на Италию со свежим еще войском, не тратя сил в других местах. Войско, напротив, хотя и боялось врага,— память о первой войне не успела изгладиться,— но еще более боялось бесконечного похода и, главным образом, Альп; о последних войны знали только понаслышке, и они казались им, как людям несведущим, чем-то ужасным.

30. Ввиду этого настроения войска Ганнибал, решившись поспешно продолжать поход в Италию, созвал воинов на сходку и различными средствами, то стыдя их, то ободряя, старался воздействовать на умы. «Какой странный ужас,— сказал он,— объял внезапно ваши неустрашимые доселе сердца? Не вы ли сплошными победами ознаменовали свою долголетнюю службу и не раньше покинули Испанию, чем подчинили власти Карфагена все народы и земли, которые лежат между обоними морями? Не вы ли, негодуя на римлян за их требование, чтобы все те, кто осаждал Сагунт, были выданы им как преступники, перешли Гибер, чтобы уничтожить самое их имя и вернуть свободу земному кругу? И никому из вас не казался тогда слишком долгим задуманный путь от заката солнца до его восхода; теперь же, когда большая часть дороги уже за вами, когда вы перешли лесистые ущелья Пиренеев среди занимающих их диких народов, когда вы переправились через широкий Родан, одолев сопротивление стольких тысяч галлов и течение самой реки, когда перед вашими глазами возвышаются Альпы, другой склон которых именуется уже Италией,— теперь вы в изнеможении останавливаетесь у самых ворот неприятельской земли? Да что же такое Альпы, по-вашему, как не высокие горы? Допустим, что они выше Пиренейского хребта; но нет, конечно, такой земли, которая бы упиралась в небо и была бы непроходимой для человеческого рода. Альпы же населены людьми, возделываются ими, рожают животных и доставляют им корм; вот эти самые послы, которых вы видите,— не на крыльях же они поднялись в воздух, чтобы перелететь через Альпы. Доступны они небольшому числу людей — будут доступны и войскам. Предки

этих послов были не исконными жителями Италии, а пришельцами; не раз переходили они эти самые Альпы громадными толпами с женами и детьми, как это делают переселенцы, и не подверглись никакой опасности. Неужели же для воина, у которого ничего с собою нет, кроме оружия, могут быть непроходимые и непреодолимые места? Сколько опасностей, сколько труда перенесли вы в продолжение восьми месяцев, чтобы взять Сагунт! Возможно ли, чтобы теперь, когда цель вашего похода — Рим, столица мира, какая бы то ни было местность казалась вам слишком дикой и слишком крутой и заставила вас остановиться? А некогда ведь галлы завладели тем городом, к которому вы, пунийцы, не считали возможным даже подойти. Выбирайте поэтому одно из двух: или сознайтесь, что вы уступаете отвагой и доблестью тому племени, которое вы столько раз в это последнее время побеждали, или же вдохновитесь решимостью признать поход конечным не раньше, чем когда вы будете стоять на той равнине, что между Тибром и стенами Рима!»

31. Убедившись, что его воины воодушевлены этим обращением, Ганнибал велит им отдохнуть некоторое время, а затем готовиться в путь.

На следующий день он отправился вверх по берегу Родана по направлению к центральной Галлии, не потому, чтобы это был кратчайший путь к Альпам, но полагая, что чем дальше он отойдет от моря, тем труднее будет римлянам преградить ему путь; дать же им битву он желал не раньше, как после прибытия в Италию. После четырех дней пути он достиг Острова: это имя местности, где реки Изара и Родан, берущие начало в разных частях Альп, охватывают известную часть равнины и затем сливаются; полям, лежащим между обеими реками, посредине, и дано имя Острова. Недалеко отсюда живут аллоброги, уже в те времена один из первых галльских народов, как по могуществу, так и по славе. Тогда у них были междоусобицы: два брата спорили из-за царской власти. Старшего брата, по имени Браней, правившего страной до тех пор, пытался свергнуть с престола меньший брат, окружив себя толпою молодежи, которая, хотя и не имела на своей стороне права, но силою превосходила противников. Присутствие Ганнибала пришлось аллоброгам как нельзя более кстати, и они поручили ему решение этого спора. Сделавшись, таким образом, третьей стороной по вопросу о царстве, Ганнибал, убедившись, что этого желают старейшины и начальники, вернул власть старшему брату. За эту услугу его снабдили съестными припасами и вообще всем, в чем он нуждался, главным же образом одеждой: печально

известные своими морозами Альпы заставляли заботиться о теплой одежде.

Примилив споривших аллоброгов, Ганнибал направился уже к Альпам; он пошел не по прямой дороге, а повернул к востоку, в землю трикастинов; отсюда он вдоль по границе области воконциев двинулся к трикориям, нигде не встречая препятствий до самой Друенции. Она также принадлежит к числу альпийских потоков и из всех галльских рек представляет наиболее затруднений для переправы. Водой она чрезвычайно обильна, а на судах все-таки через нее переправляться нельзя: определенных берегов она не имеет, течет в одно и то же время несколькими руслами, да и их постоянно меняет, порождая все новые броды и новые пучины. По той же причине и пешему идти через нее опасно; вдобавок она катит острые камни, которые не дают твердой ногой ступить на ее дно. А тогда она разлилась еще шире вследствие дождей; поэтому переход войска сопровождался крайним замешательством, тем более что к остальным причинам присоединилась еще тревога воинов, пугавших друг друга беспричинным криком.

32. Консул Публий Корнелий между тем, приблизительно через три дня после того, как Ганнибал оставил берег Родана, с выстроенным в боевой порядок войском прибыл к неприятельскому лагерю, намереваясь немедленно дать сражение. Когда же он увидел, что укрепления покинуты и что ему нелегко будет нагнать неприятеля, так далеко зашедшего вперед, он вернулся к морю и к своим кораблям, думая, что ему будет и легче, и безопаснее, переправив войско в Италию, выйти Ганнибалу навстречу, когда он будет спускаться с Альп. А чтобы Испания, его провинция, не осталась без римских подкреплений, он послал туда для войны с Газдрубалом своего брата Гнея Сципиона с большей частью войска, поручив ему не только защищать прежних союзников и привлекать на свою сторону новых, но и изгнать Газдрубала из Испании. Сам он с очень незначительными силами отправился в Геную, чтобы защищать Италию с помощью того войска, которое находилось в долине Пада.

Ганнибал же, перешедши Друенцию, отправился вверх по лугам, не встречая никаких препятствий со стороны населявших эту местность галлов, пока не приблизился к Альпам. Здесь, однако, всины, хотя они и были заранее подготовлены молвой, обыкновенно преувеличивающей то, о чем человек не имеет ясного понятия,— все-таки были вторично поражены ужасом, видя вблизи эти громадные горы, эти ледники, почти сливающиеся с небесным сводом, эти безобразные хижины, разбросанные по скалам, эту скотину, которой стужа, казалось, даже расти не давала, этих лю-

дей, обросших волосами и одетых в лохмотья. Вся природа, как одушевленная, так и неодушевленная, казалась очоленевшей от мороза, все производило удручающее впечатление, не поддающееся описанию. Вдруг, когда войско поднималось по откосу, показались горцы, занявшие господствующие высоты. Если бы они устроили такую засаду в более скрытой части долины и затем внезапно бросились бы в бой, то прогнали бы неприятеля со страшным уроном. Ганпибал велел войску остановиться и выслал вперед галлов разведать местность; узнав от них, что взять проход невозможно, он расположился на самой широкой ровной полосе, какую только мог найти, имея на всем протяжении лагеря по одну руку крутизну, по другую пропасть. Затем он велел тем же галлам, которые ни по языку, ни по нравам особенно не отличались от туземцев, смешаться с ними и принять участие в их разговорах. Узнав таким образом, что проход оберегается только днем, почью же осаждающие удаляются восвояси, он с рассветом опять двинулся под занятые неприятелем высоты, как бы желая открыто и при свете дня пробиться через теснину. Проведши целый день в попытках, ничего общего с его настоящими намерениями не имеющих, он снова укрепился в том же лагере, в котором войско находилось в предыдущую ночь. А как только он убедился, что горцы покинули высоты, оставивши только редкие караулы, он для отвода глаз велел развести гораздо больше костров, чем этого требовало число остающихся в долине, а затем, покинув обоз, конницу и основную часть пехоты и взяв с собою только самых смелых из легковооруженных, быстро прошел через теснину и занял высоты, на которых до тех пор сидели враги.

33. С наступлением дня остальное войско вышло из лагеря и двинулось вперед. Горцы, по условленному знаку, уже покинули свои крепостцы и с разных сторон приближались к прежним позициям, как вдруг заметили, что одна часть врагов заняла их твердыню и находится над их головами, а другая по тропинке переходит через теснину. И то и другое представилось их взорам одновременно и произвело на горцев такое впечатление, что некоторое время они стояли на месте неподвижно; но затем, убедившись, что в ущелье царит замешательство, что войско своей же собственной тревогой расстроено и более всего беснуются лошади, они решили, что стоит им хоть сколько-нибудь увеличить это смятение — и врагу не избежать гибели. И вот, одинаково привыкшие лазить как по доступным, так и по недоступным скалам, горцы с двух различных склонов стремительно спускаются на тропинку. Тогда пунийцам пришлось одновременно бороться и с врагами, и с неблагоприятной местностью; каждый старался поскорее

спастись от опасности, и потому пунийцы едва ли не более дрались между собою, чем с врагом. Более всего подвергали войско опасности лошади. Уже один резкий крик неприятелей, раздававшийся с особенной силой в лесистой местности и повторяемый эхом гор, пугал их и приводил в замешательство; когда же в них случайно попадал камень или стрела, они приходили в бешенство и сбрасывали в пропасть и людей, и всякого рода поклажу в огромном количестве. В этом ужасном положении много людей было низринуто в бездонную пропасть, так как дорога узкой полосой вела между стеной и обрывом; погибло и несколько воинов. Но особенно страдали вьючные животные: со своей поклажей они скатывались вниз, как лавина. Ганнибал, хотя и был возмущен этим зрелищем, стоял, однако, неподвижно и сдерживал свой отряд, не желая увеличивать ужас и замешательство войска. Когда же он увидел, что связь между обеими частями колонны прервана и что ему грозит опасность совсем потерять обоз,— а в таком случае мало было бы пользы в том, что вооруженные силы прошли бы невредимыми,— он спустился с высот и одною силой своего натиска прогнал врага, но зато и увеличил смятение своих. Это смятение, впрочем, тотчас же улеглось, как только распространилась уверенность, что враг бежал и проход свободен; все войско было переведено спокойно и даже, можно сказать, при полной тишине. Затем Ганнибал взял главную крепостцу в этих местах и окрестные хутора и добыл в них столько хлеба и скота, что войску хватило продовольствия на три дня; а так как испуганные горцы в первое время не возобновляли нападения, а местность особенных препятствий не представляла, то он в эти три дня проделал довольно длинный путь.

34. Продолжая свой поход, он прошел в другую область, довольно густо населенную, насколько это возможно в горах, земледельческим людом. Здесь он едва не сделался жертвой не открытой борьбы, а тех приемов, в которых сам был мастером,— обмана и хитрости. Почтенные годами представители селений приходят к Ганнибалу в качестве послов и говорят ему, что они, будучи научены спасительным примером чужих несчастий, предпочитают быть друзьями пунийцев и не желают испытать на себе их силу; они обещают повиноваться его приказаниям, а пока предлагают съестных припасов, проводников и — в виде поруки своей верности — заложников. Ганнибал решил не доверять им слепо, но и не отвергать их предложения, чтобы они, оскорбленные его отказом, не превратились в открытых врагов; поэтому он дал им ласковый ответ, принял заложников, которых они предлагали, и воспользовался припасами, которые они сами вынесли на дорогу,

но последовал за их проводниками далеко не в том порядке, в каком он провел бы свое войско через дружественно расположенную область. Впереди шли слоны и конница, а сам он с лучшими отрядами пехоты замыкал шествие, заботливо оглядываясь по сторонам. Едва успели они войти в тесный проход, над которым с одной стороны повисала гора, как вдруг варвары отовсюду высыпали из своих засад; и с фронта, и с тыла папали они на войско, то стреляя в него издали, то вступая в рукопашный бой, то скатывая на идущих громадные камни. Главные их силы беспокоили задние ряды войска; пехота обернулась, чтобы отразить их нападение, и скоро стало ясно, что, не будь тыл войска защищен, поражение, которое они могли потерпеть в том ущелье, было бы ужасным. Да и так они подверглись крайней опасности и едва не погибли. Пока Ганнибал стоял на месте, не решаясь повести в теснину пехоту,— ведь никто не оберегал ее тыла подобно тому, как он сам оберегал тыл конницы,— горцы с фланга ударили на идущих, прорвали шествие как раз посередине и заняли дорогу, так что Ганнибалу пришлось провести одну ночь без конницы и без обоза.

35. Но на другой день ряды врагов, занимавших срединю между обеими частями войска позицию, стали редеть, и связь была восстановлена. Таким образом, пунийцам удалось миновать это ущелье хотя и не без урона, но все же потеряв не столько людей, сколько вьючного скота. Во время дальнейшего шествия горцы нападали на них уже в меньшем числе, и это были скорее разбойничьи набеги, чем битвы; собравшись, они бросались то на передние ряды, то на задние, пользуясь благоприятными условиями местности и неосторожностью пунийцев, то заходивших вперед, то отстававших. Слоны очень замедляли шествие, когда их приходилось вести по узким и крутым дорогам, но зато они доставляли безопасность той части войска, в которой шли, так как враги, никогда этих животных не выдавшие, боялись подходить к ним близко. На девятый день достигли они альпийского перевала, часто пролагая себе путь по непроходимым местностям и несколько раз сбиваясь с дороги: то их обманывали проводники, то они сами, не доверяя им, выбирали путь наугад и заходили в глухие долины. В продолжение двух дней они стояли лагерем на перевале; воинам, утомленным работами и битвами, было дапо время отдохнуть; а несколько вьючных животных, скатившихся прежде со скал, ступая по следам войска, пришли в лагерь. Вонны все еще были удручены обрушившимися на них несчастьями, как вдруг, к их ужасу, в ночь заката Плесд выпал снег. На рассвете лагерь был спят, и войско лениво двинулось вперед по дороге, на всем протяжении

занесенной снегом; у всех на лице лежал отпечаток тоски и отчаяния. Тогда Ганнибал, опередив знамена, велел воинам остановиться на горном выступе, откуда можно было обозревать широкое и далекое пространство, и показал им Италию и расстилающуюся у подножия Альп равнину Пада. «Теперь вы одолеваете,— сказал он им,— стены не Италии только, но и Рима. Отныне все пойдет как по ровному, отлогому склону; одна или, много, две битвы отдадут в наши руки, под нашу власть крепость и столицу Италии».

Отсюда войско пошло дальше в таком бодром настроении, что даже враги не посмели тревожить его и ограничивались незначительными грабительскими вылазками. Надобно, однако, заметить, что спуск был гораздо затруднительнее восхождения, так как альпийские долины почти повсеместно на италийской стороне короче, но зато и круче. Почти на всем своем протяжении тропинка была крута, узка и скользка, так что воину трудно было не поскользнуться, а раз, хотя и слегка, поскользнувшись,— удержаться на ногах. Таким образом, одни падали на других, животные — на людей.

36. Но вот они дошли до скалы, где тропинка еще более суживалась, а крутизна была такой, что даже воин налегке только после долгих усилий мог бы спуститься, цепляясь руками за кусты и выступавшие там и сям корни. Скала эта и раньше, по природе своей, была крута; теперь же, вследствие недавнего обвала, она уходила отвесной стеной на глубину приблизительно тысячи футов. Пришедши к этому месту, всадники остановились, не видя далее перед собой тропинки, и когда удивленный Ганнибал спросил, зачем эта остановка, ему сказали, что перед войском — неприступная скала. Тогда он сам отправился осматривать местность и пришел к заключению, что, несмотря на большую трату времени, следует повести войско в обход по местам, где не было ни тропинки, ни следа человеческого ног. Но этот путь оказался решительно невозможным. Сначала, пока старший снег был покрыт достаточно толстым слоем нового, ноги идущих легко находили себе в нем опору вследствие его рыхлости и умеренной глубины. Но когда под ногами стольких людей и животных его не стало, им пришлось ступать по голому льду и жидкому месиву полурастаявшего снега. Страшно было смотреть на их усилия: нога даже следа не оставляла на скользком льду и совсем не могла держаться на покато́м склоне, а если кто, упав, старался подняться, опираясь на руку или колено, то и эта опора скользила, и он падал вторично. Не было кругом ни колод, ни корней, о которые они могли бы опереться ногой или рукой; в своей беспомощной борьбе они ни-

чего вокруг себя не видели, кроме голого льда и тающего снега. Животные подчас вбивали копыта даже в нижний слой; тогда они падали и, усиленно работая копытами, чтобы подняться, вовсе его пробивали, так что многие из них оставались на месте, завязши в твердом и насквозь заледеневшем снегу, как в капкане.

37. Убедившись наконец, что и животные, и люди только напрасну истощают свои силы, Ганнибал опять велел разбить лагерь на перевале, с трудом расчитив для этого место: столько снегу пришлось срыть и вынести прочь. На следующий день он повел воинов пробивать тропинку в скале — единственном месте, где можно было пройти. А так как для этого нужно было ломать камень, то они валят огромные деревья, которые росли недалеко, и складывают небывалых размеров костер. Обождав затем появления сильного и благоприятного для разведения огня ветра, они зажигают костер, а затем, когда он выгорел, заливают раскаленный камень уксусом, превращая его этим в рыхлую массу. Потом, ломая железными орудиями растрескавшуюся от действия огня скалу, они делают ее проходимой, смягчая плавными поворотами чрезмерную ее крутизну, так что могли спуститься не только вьючные животные, но и слоны. Всего у этой скалы было проведено четыре дня, причем животные едва не издохли от голода; действительно, верхние склоны гор почти везде состоят из голых скал, а если и есть какой корм, то его заносит снегом. В долинах низовья, напротив, есть согреваемые солнцем холмы, и ручьи, окаймляющие рощи, и вообще места, заслуживающие быть жилищем человека. Здесь лошадей пустили пастись, а людям, утомленным сооружением тропы, был дан отдых. Отсюда они через три дня достигли равнины; чем дальше, тем мягче делался и климат страны, и нравы жителей.

38. Таким-то образом Ганнибал совершил путь в Италию, употребив — по мнению некоторых историков — пять месяцев на дорогу от Нового Карфагена до подножия Альп и 15 дней на переход через Альпы. Сколько было войска у Ганнибала после его прихода в Италию, относительно этого пункта источники совершенно не согласны друг с другом: самая высокая цифра — 100 000 пехоты и 20 000 конницы, и самая низкая — 20 000 пехоты и 6000 конницы. Более всех поверил бы я Луцию Цинцию Алменту, который, по его собственному признанию, был взят в плен Ганнибалом; но он не дает определенной численности пунического войска, а прибавляет галлов и лигурийцев и говорит, что, вместе с ними, Ганнибал привел (я думаю скорее, что эти силы соединились с Ганнибалом уже в Италии, как то и сообщают некоторые источники) 80 000 пехоты и 10 000 конницы; сверх того, он сооб-

щает, что Ганнибал, по его собственным словам, со времени своего перехода через Родан, потерял 36 000 человек и несметное число лошадей и других вьючных животных. Первым народом, в пределы которого Ганнибал вступил, спустившись в Италию, было полу-галльское племя тавринов. В этом все согласны; тем более я нахожу странным, что относительно дороги, которой он перешел через Альпы, может существовать разногласие; а между тем наиболее распространено мнение, по которому Ганнибал перешел Пеннинские Альпы, и отсюда этот хребет получил свое имя; Целлий же утверждает, что он избрал для перехода Кремонский перевал. Но и тот, и другой путь привел бы его не к тавринам, а к горному племени салассов и отсюда к либуйским галлам; к тому же невероятно, чтобы эти два прохода в Галлию уже тогда были доступны, и, во всяком случае, долины, ведущие к Пеннинским Альпам, были заняты полугерманскими народами. Если же кого убеждает название, то пусть он знает, что ни седунам, ни вераграм, жителям этой области, ничего не известно о том, будто их горы получили свое имя от какого бы то ни было перехода пунийцев; а получили они это имя, по их словам, от бога, которого горцы называют Пенном и почитают в капище, выстроенном на главной вершине.

39. Очень выгодным обстоятельством для открытия военных действий со стороны Ганнибала оказалась война между тавринами — первым народом, в область которого он вошел, — и инсубрами. Все же он не мог сразу дать своему войску оружие в руки, чтобы подать помощь этим последним, так как именно теперь, во время отдыха, воины наиболее страдали от последствий испытанных раньше невзгод. Внезапный переход от труда к покою, от недостатка к изобилию, от грязи и вони к опрятности различным образом действовал на этих уже свыкшихся с нечистотой и почти одичалых людей. По этой-то причине консул Публий Корнелий и счел нужным, прыдя на судах в Пизу и затем приняв от Маплия и Атилия войско, состоявшее частью из вобранцев, частью же из людей, оробевших после недавних позорных поражений, поспешить к реке Паду, чтобы вступить в бой с неприятелем, не дав ему времени оправиться. Но пока консул дошел до Плацентии, Ганнибал успел уже покинуть лагерь и взять силой один город тавринов, именно их столицу, так как на его предложение добровольно заключить с ним союз жители ответили отказом. И ему удалось бы привлечь на свою сторону живших в равнине Пада галлов, притом не одним только страхом, но и по доброй воле, если бы внезапное прибытие консула не застигло их еще тогда, когда они выжидали удобного для отпадения времени. Но и Ганнибал двинулся далее из области тавринов, полагая, что те из гал-

лов, которые еще не знали, к которой стороне им присоединиться, последуют за тем, кто явится к ним лично. И вот уже оба войска стояли почти в виду друг друга, и небольшое пространство отделяло обоих предводителей, которые, не зная еще хорошенько один другого, все-таки уже успели проникнуться взаимным уважением. Имя Ганнибала и до разгрома Сагунта пользовалось громадной известностью у римлян, Сципиона же Ганнибал считал замечательным человеком уже по тому одному, что он был назначен полководцем именно против него. К тому же каждый из них еще умножил высокое мнение о себе противника: Сципион — тем, что он, будучи оставлен Ганнибалом в Галлии, успел преградить ему путь, когда он перешел в Италию, Ганнибал же — столь смело задуманным и успешно совершенным переходом через Альпы.

Все же Сципион первым переправился через Пад и расположился лагерем на берегу Тицина. Но прежде чем вывести воинов на поле брани, он счел нужным произнести пред ними ободряющее слово. Речь его была такова:

40. «Если бы, воины, вы, кого я теперь вывожу в поле, были тем самым войском, над которым я начальствовал в Галлии, то я счел бы за лишнее обращаться к вам с речью. В самом деле, какой смысл имели бы ободрительные слова, обращенные к тем всадникам, которые одержали блистательную победу над неприятельской конницей на берегу Родана, или к тем легионам, с которыми я преследовал вот этого самого врага, когда он бежал передо мною, и именно тем, что отступал и уклонялся от битвы, доставил мне если не победу, то равносильное ей признание в своей слабости? Но то войско было набрано для провинции Испании; под началом моего брата Гнея Сципиона и под моими ауспигиями оно воюет там, где ему велел воевать римский сенат и народ; я же, чтобы предводителем против Ганнибала и пунийцев вы имели консула, по собственной воле взял на себя эту борьбу. А новому главнокомандующему прилично сказать несколько слов своим новым воинам.

Прежде всего вы не должны оставаться в неведении относительно рода предстоящей войны и качеств противника. Ваши враги — те самые, кого вы одолели на суше и на море в первую войну, кого в продолжение двадцати лет заставляли платить дань, у кого вы отняли Сицилию и Сардинию, как награду за успешно оконченную войну. Поэтому вы будете драться с подобающим победителям воодушевлением, а они — со свойственной побежденным робостью. Да и ныне они решились дать битву не от избытка мужества, а потому, что иначе нельзя; или вы, быть может, думаете, что те самые, кто уклонялся от боя тогда, когда войско

было еще невредимо, теперь, после того как две трети их пехоты и конницы погибло при переходе через Альпы, воодушевлены большей надеждой? Но, возразите вы, их, правда, мало, зато они бодры телом и душой, и нет такой силы, которая могла бы противостоять их мощному напору. Совершенно напротив! Это — призраки, едва сохранившие внешнее подобие людей, изнуренные голодом и холодом, грязью и вонью, изувеченные и обессиленные лезаньем по скалам и утесам, с отмороженными конечностями, онемевшими в снегах мышцами, окоченевшим от стужи телом, притупленным и поломанным оружием, хромыми и еле живыми лошадьми. С такой-то конницей, с такой-то пехотой вам придется иметь дело; это жалкие остатки врага, а не враг. И более всего меня заботит мысль, что сражаться придется вам, а люди подумают, будто Ганнибала победили Альпы. Но, быть может, так и следует: справедливо, чтобы с нарушившими договоры полководцем и народом начали и решили войну сами боги, не прибегая к помощи человека, а мы, будучи оскорблены первыми после богов, только довершили начатую и решенную ими войну.

41. Никто из вас — я в этом уверен — не подумает, что я только хвастаюсь, чтобы внушить вам бодрость, а сам в душе настроен иначе. Я имел возможность идти с войском в свою провинцию Испанию, куда я было и отправился; там я имел бы брата сотрудником в совете и товарищем в опасностях, сражался бы с Газдрубалом, а не с Ганнибалом и, разумеется, легче справился бы с войной. И все-таки я, плывя на кораблях вдоль галльского побережья и узнав по одному только слуху о присутствии этого неприятеля, высадился, выслал вперед конницу, стал лагерем у берега Родана. В конном сражении, — так как только конная часть моего войска имела счастье вступить в бой, — я разбил врага; пешие силы, которые уходили сломя голову, словно спасаясь бегством, я на суше настигнуть не мог; поэтому я вернулся к кораблям и как можно скорее, совершив такой огромный обход и по морю и по суше, пошел навстречу этому страшному неприятелю и встретил его почти у подножия Альп. Как же вам кажется теперь, наткнулся ли я на врага по неосторожности, стараясь избежать битвы, или же, напротив, нарочно ищу столкновения, встречи с ним, вызываю и влеку его на бой? Было бы любопытно убедиться на опыте, подлинно ли теперь, после двадцатилетнего промежутка, земля родила вдруг новых карфагенян, или они все те же, что и прежние, которые сражались у Эгатских островов, которых вы выпустили с Эрика, оценив их в 18 динариев за штуку; подлинно ли этот Ганнибал — соперник Геркулеса в его походах, как он это воображает, или же данник и раб римского народа,

унаследовавший это звание от отца. Его, очевидно, преследуют тени злодейски умерщвленных сагунтийцев; а не то бы он вспомнил если не о поражении своего отечества, то, по крайней мере, о своей семье, об отце, о договорах, писанных рукою Гамилькара, того Гамилькара, который, по приказанию нашего консула, увел гарнизон с Эрика, с негодованием и скорбью принял тяжкие условия, поставленные побежденным карфагенянам, покинул Сицилию и обязался уплатить дань римскому народу. Поэтому я желал бы, воины, чтобы вы сражались не только с тем воодушевлением, с которым у вас вообще принято сражаться против врага, но и с особенной злобой и гневом, как будто вы видите своих же рабов, поднявших внезапно оружие против вас. А ведь мы имели возможность переморить запертых на Эрике худшею среди людей казнью — голодом; имели возможность переплыть с победоносным флотом в Африку и в течение нескольких дней без всякого сопротивления уничтожить Карфаген. Между тем мы вняли их мольбам, выпустили осажденных, заключили мир с побежденными, приняли их даже под свое покровительство, когда они изнемогали в Африканской войне. А они, взамен этих благодеяний, последовали за одержимым мальчишкою и идут осаждать наш родной город!

Да, как это ни горько, но вам предстоит ныне битва не за славу только, но и за существование отечества; вы будете сражаться не ради обладания Сицилией и Сардинией, как некогда, но за Италию. Нет за нами другого войска, которое могло бы, в случае нашего поражения, преградить путь неприятелю; нет других Альп, которые могли бы задержать его и дать нам время набрать новые войска. Здесь мы должны защищаться с такою стойкостью, как будто сражаемся под стенами Рима. Пусть каждый из вас представит себе, что он обороняет не только себя, но и жену, и малолетних детей; пусть, не ограничиваясь этой домашнею тревогой, постоянно напоминает себе, что взоры римского сената и народа обращены на нас, что от нашей силы и доблести будет зависеть судьба города Рима и римской державы».

Таковы были слова консула к римскому войску.

42. Ганнибал между тем счел за лучшее предпослать своей речи поучительный пример. Велев войску окружить место, на котором он готовил ему зрелище, он вывел на арену связанных пленников из горцев, приказал бросить им под ноги галльское оружие и спросил их через толмача, кто из них согласится, если его освободят от оков, сразиться с оружием в руках, с тем чтобы в случае победы получить доспехи и коня. В ответ на это предложение все до единого потребовали, чтобы им дали оружие и назначили противника; когда был брошен жребий, каждый молился, чтобы судь-

ба избрала его в бойцы, и те, кому выпадал жребий, не помнили себя от радости и среди всеобщих поздравлений торопливо хватали оружие, с веселыми прыжками, как в обычае у этих племен; когда же происходил бой, воодушевление было так велико,— не только среди их товарищей по неволе, но и повсеместно среди зрителей,— что участь храбро умершего борца прославлялась едва ли не более, чем победа его противника.

43. Когда несколько пар таким образом сразилось, Гапинбал, убедившись в благоприятном настроении войска, прекратил зрелище и, созвав воинов на сходку, произнес, говорят, пред ними такую речь:

«Если вы, воины, пожелаете отпестись к оценке вашей собственной участи с таким же воодушевлением, с каким вы только что отнеслись к чужой судьбе, представленной вам для примера, то победа наша. Знайте: неспроста было дано вам это зрелище; оно было картиной вашего положения. Я думаю даже, что судьба связала вас более крепкими оковами и влечет вас с более непреодолимой силой, чем ваших пленников. С востока и запада вы заключены между двух морей, не имея для бегства ни одного корабля. Впереди извивается река Пад, более широкая и более стремительная, чем даже Родан; а сзади угрожают вам Альпы, пройденные вами с трудом, когда вы еще не растратили своих сил. Здесь, воины, ждет вас победа или смерть, здесь, где вы впервые встретились с врагом. Но, ставя вас перед необходимостью сражаться, судьба в то же время предлагает вам, в случае победы, самые высокие награды, какие только могут представить себе люди, обращаясь с молитвами к бессмертным богам. Если бы мы готовились лишь Сицилию да Сардинию, отнятые у отцов наших, завоевать вновь своею доблестью, то и это было бы щедрым вознаграждением. Но все, что римляне добыли и собрали цепью стольких побед, все это должно перейти к вам вместе с самими владельцами. Имея перед собой такую щедрую добычу, смело беритесь за оружие, и боги да благословят вас. Слишком долго уже гоняли вы овец на пустынных горах Лузитании и Кельтиберии, не получая никакого вознаграждения за столько трудов и опасностей; пора вам перейти на службу привольную и раздольную, пора потребовать богатой награды за свои труды; недаром же вы совершили такой длинный путь, через столько гор и рек, среди стольких вооруженных народов. Здесь назначенный вам судьбою предел ваших трудов; здесь она, по истечении срока вашей службы, готовит вам награду по заслугам.

Не думайте, чтобы победа была столь же трудной, сколь громко имя начатой нами войны: часто покорение презренного врага

стоит потоков крови, а знаменитые народы и цари одолеваются чрезвычайно легко. В данном же случае возможно ли даже сравнить врагов с вами, если оставить в стороне пустой блеск римского имени? Не буду я говорить вам о вашей двадцатилетней службе, ознаменованной столькими подвигами, увенчанной столькими победами. Но вы пришли сюда от Геркулесовых Столпов, от Океана, от последних пределов земли, через страны стольких диких народов Испании и Галлии; а сразиться вам предстоит с новонабранным войском, в течение нынешнего же лета разбитым, побежденным и осажденным галлами, с войском, которое до сих пор еще неизвестно своему предводителю и не знает его. Вот каковы войска; что же касается полководцев, то мне ли, только что не рожденному и, во всяком случае, воспитанному в палатке отца моего, знаменитого полководца, мне ли, покорителю Испании и Галлии, мне ли, победителю не только альпийских народов, но (что гораздо важнее) самих Альп, сравнивать себя с этим шестимесячным начальником, бежавшим от собственного войска? Да ведь если сегодня же поставить перед ним римское и пунийское войска, но без их знамен, то я ручаюсь вам, он не сумеет сказать, которому войску он назначен в консулы. Немало цены, войны, придаю я тому обстоятельству, что нет среди нас никого, перед глазами которого я не совершил бы множества воинских подвигов, нет никого, которому бы я не мог перечесть, с указанием времени и места, его доблестных дел, который не имел бы во мне зрителя и свидетеля своей удали. И вот я, некогда ваш питомец, ныне же ваш предводитель, с вами, моими товарищами, тысячу раз похваленными и награжденными мною, намереваюсь выступить против людей, не знающих друг друга, друг другу незнакомых.

44. Куда я ни обращаю свои взоры, все кругом меня дышит отвагой и силой. Здесь вижу я закаленных в войне пехотинцев, там — всадников благороднейших племен, одних — на взнузданных, других — на невзнузданных конях; здесь — наших верных и храбрых союзников, там — карфагенских граждан, влекомых в бой как любовью к отечеству, так и справедливым чувством гнева. Мы начинаем войну, мы грозною ратью надвигаемся на Италию; мы потому уже должны обнаружить в сражении более смелости и стойкости, чем враг, что надежда и бодрость всегда в большей мере сопутствуют нападающему, чем отражающему нападение. К тому же нас воспаляет и подстрекает гнев за нанесенное нам возмутительное оскорбление: они ведь потребовали, чтобы им выдали для казни первым делом меня, предводителя, а затем и вас, осадивших Сагунт, и собирались, если бы нас им выдали, предать нас самым жестоким мучениям! Этот кроважадный и высокомер-

ный народ воображает, что все принадлежит ему, все должно слушаться его воли. Он считает своим правом предписывать нам, с кем нам вести войну, с кем жить в мире. Он назначает нам границы, запирает нас между гор и рек, не позволяя переходить их, и сам первый переступает им же положенные границы. «Не переходи Гибера!» — «Не буду». — «Не трогай Сагунта!» — «Да разве Сагунт на Гибере?» — «Нужды нет; не смей двигаться с места!» — «Стало быть, тебе мало того, что ты отнял у меня мои исконные провинции, Сицилию и Сардинию? Ты отнимаешь и Испанию, а если я уступлю ее тебе, согласишься перейти в Африку?» Да что я говорю, « согласишься перейти!» Уже перешел! Из двух консулов нынешнего года один отправлен в Африку, другой в Испанию. Нигде не оставлено нам ни клочка земли, кроме той, которую мы отвоюем с оружием в руках.

У кого есть пристанище, кто, в случае бегства, может по безопасным и мирным дорогам добраться до родных полей, тому позволено быть робким и малодушным. Вы же должны быть храбры; в вашем отчаянном положении всякий иной исход, кроме победы или смерти, для вас отрезан. Поэтому старайтесь победить; если же счастье станет колебаться, то предпочтите смерть воинов смерти беглецов. Если вы твердо запечатали в своих сердцах эти мои слова, если вы исполнены решимости следовать им, то повторяю — победа ваша: бессмертные боги не дали человеку более сильного и победоносного оружия, чем презрение к смерти».

45. Увещания эти в обоих лагерях произвели на воинов ободряющее впечатление. Римляне построили мост через Тицин и, сверх того, для защиты моста заложили крепостцу. Ганнибал же, в то время как враги были заняты работой, посылает Магарбала с отрядом нумидийцев в 500 всадников опустошать поля союзных с римским народом племен, наказав им, однако, по мере возможности щадить галлов и вести переговоры с их знатью, чтобы склонить их к отпадению. Когда мост был готов, римское войско перешло в область инсубров и расположилось лагерем в пяти милях от Виктумул, где стояло войско Ганнибала. Тот быстро отозвал Магарбала и, ввиду предстоящего сражения, полагая, что никогда не следует жалеть слов и увещаний, способных воодушевить воинов, созвал их на сходку и сказал им в определенных словах, на какие награды им следует рассчитывать, сражаясь. «Я дам вам землю, — сказал он им, — в Италии, в Африке, в Испании, где кто захочет, и освобожу от повинностей и вас самих, и ваших детей; если же кто вместо земли предпочтет деньги, я выдам ему вознаграждение деньгами. Если кто из союзников пожелает сделаться гражданином Карфагена, я доставлю ему гражданские права; если

же кто предпочтет вернуться домой, я позабочусь, чтобы он ни с кем из своих соотечественников не пожелал поменяться судьбою». Даже рабам, последовавшим за своими господами, он обещал свободу, обязавшись отдать их господам по два невольника взамен каждого из них. А чтобы все были уверены, что он исполнит свои обещания, он, схватив левой рукой ягненка, а правой камень, обратился к Юпитеру и прочим богам с молитвой, чтобы они, в случае если он изменит своему слову, предали его такой же смерти, какой он предаст ягненка, и вслед за молитвою разбил животному череп камнем. При этом зрелище все, как будто сами боги поручились им за осуществление их надежд, единодушно и в один голос потребовали битвы, лишь в том одном видя отсрочку исполнения своих желаний, что их еще не повели на бой.

46. Настроение римлян было далеко не такое бодрое: независимо от других причин, они были испуганы недавними предзнаменованиями тревожного свойства. В лагерь ворвался волк и, искушав тех, кто попался ему навстречу, невредимый ушел восвояси; а на дерево, возвышавшееся над палаткой полководца, сел рой пчел. Совершив, по поводу этих предзнаменований, умиловительные жертвоприношения, Сципион с конницею и легким отрядом метателей отправился вперед, чтобы на близком расстоянии осмотреть лагерь неприятеля и разузнать, какого рода его силы и какова их численность. Вдруг с ним встречается Ганнибал, который также, взяв с собою конницу, выступил вперед, чтобы исследовать окрестную местность. В первое время они друг друга не видели, но затем ныль, поднимавшаяся все гуще и гуще под ногами стольких людей и лошадей, дала знать о приближении врагов. Тогда оба войска остановились и стали готовиться к бою.

Сципион поставил впереди метателей и галльских всадников, а римлян и лучшие силы союзников расположил в тылу; Ганнибал взял в центр тяжелую конницу, а крылья образовал из нумидийцев. Но лишь только поднялся воинский крик, метатели бросились бежать ко второй линии и остановились в промежутках между тыловыми отрядами. Начавшееся тогда конное сражение некоторое время велось с обеих сторон без решительного успеха; но в дальнейшем присутствие в строю пеших начало тревожить коней, и они сбросили многих всадников, другие же спешили сами, видя, что их товарищи, попав в опасное положение, теснимы неприятелем. Таким образом, сражение в значительной части шло уже пешее, как вдруг нумидийцы, стоявшие по краям строя, сделали небольшой обход и показали в тылу римской конницы. Появление их испугало римлян, испуг увеличило ранение консула и опасность, ему угрожавшая; последняя, однако, была устранена вмешатель-

ством его сына, который тогда был еще совсем юн. (Это — тот самый юноша, который прославился завершением этой войны и был назван «Африканским» за блистательную победу над Ганнибалом и пунийцами.) Впрочем, в беспорядочное бегство обратились в основном одни только метатели, первыми подвергшиеся нападению нумидийцев; всадники же сплотились вокруг консула и, защищая его не только оружием, но и своими телами, вернулись вместе с ним в лагерь, отступая без страха и в полном порядке.

Целий приписывает рабу лигурийского происхождения подвиг спасения консула. Что касается меня, то мне было бы приятнее, если бы участие его сына оказалось достоверным; в пользу этого мнения и большинство источников, и народная молва.

47. Это первое сражение с Ганнибалом доказало с очевидностью, что пунийская конница лучше римской и поэтому война на открытых полях, вроде тех, что между Падом и Альпами, для римлян неблагоприятна. Ввиду этого Корнелий в следующую ночь велел потихоньку собраться и, оставив Тицин, поспешил к Паду, чтобы спокойно, не подвергаясь нападению со стороны врага, перевести свое войско по мосту, наведенному им через реку, пока мост еще не разрушен. И действительно, римляне достигли Плацентии раньше, чем Ганнибал получил достоверное известие о том, что они покинули Тицин; все же он захватил до 600 отставших воинов, слишком медленно разрушавших мост на левом берегу Пада. По мосту он пройти не мог, так как, лишь только оба конца были разрушены, вся средняя часть понеслась вниз по течению.

Целий утверждает, что Магон с конницей и испанской пехотой немедленно переплыл через реку, а сам Ганнибал перевел остальное войско вброд несколько выше, выстроив слонов в один ряд, чтобы ослабить напор реки. Это вряд ли покажется вероятным тем, кто знаком с этой рекой; неправдоподобно, чтобы всадники без вреда для оружия и коней могли преодолеть столь стремительную реку, даже если допустить, что все испанцы переплыли ее на своих надутых мехах; а чтобы найти брод через Пад, по которому можно было перевести отягченное обозом войско, следовало сделать обход, на который, полагаю я, потребовалось бы немало дней. По моему мнению, гораздо более заслуживают доверия те источники, по которым Ганнибал после двухдневных поисков едва мог найти место для наведения моста через реку; по мосту были посланы вперед всадники и легкие отряды испанцев. Пока Ганнибал, который задержался у реки Пада, выслушивая галльские посольства, переправлял тяжелую пехоту, Магон со всадниками, оставивши мост и пройдя вниз по реке на расстояние одного дня пути, достиг Плацентии, где стояли враги. Несколько дней спустя Ган-

нибал укрепился лагерем в шести милях от Плацентии, а на следующий день, выстроив войско в виду неприятеля, предложил ему битву.

48. В следующую ночь воины из галльских вспомогательных отрядов произвели в римском лагере резню, причинившую, впрочем, более тревоги, чем вреда. Около 2000 пехотинцев и 200 всадников, умертвив стоявших у ворот лагеря караульных, бежали к Ганнибалу. Пуниец принял их ласково, воспламенил их усердие, обещав им несметные награды, и в этом настроении разослал их по домам, с тем чтобы они побудили к восстанию своих соплеменников. Сципион решил, что эта резня — сигнал к возмущению всех галлов, что все они, зараженные этим злодеянием, точно бешенством, поднимут оружие против него; и вот он, несмотря на страдания, которые ему все еще причиняла рана, в четвертую стражу следующей ночи тихо, без сигналов, снял лагерь и двинулся к Требни, где местность была выше и изобиловала холмами, недоступными для копницы. Это движение не прошло так же незаметно, как раньше, на Тицине: Ганнибал послал нумидийцев, а затем и всю остальную конницу, и расстроил бы, по крайней мере, последние ряды уходивших, если бы нумидийцы, жадные до добычи, не свернули в пустой римский лагерь. Пока они там обшаривали все углы и теряли время, не находя ничего такого, что могло бы их мало-мальски достойным образом вознаградить за эту потерю, враг ускользнул у них из рук. Увидав, что римляне уже перешли Требию и заняты размежеванием своего лагеря, они убили тех немногих оставших воинов, которых им удалось захватить по сю сторону реки. А Сципион, не в силах долее переносить мучения, которые ему причиняла рана, разбредившаяся дорогою, и считая, сверх того, нужным обождать прибытия коллеги, об отозвании которого из Сицилии он уже слышал, стал укреплять облюбованное им место недалеко от реки, которое показалось ему наиболее безопасным для лагеря.

В некотором расстоянии от него расположился лагерь Ганнибал. Насколько он радовался победе, одержанной его конницей, настолько же был озабочен недостатком продовольствия, который становился с каждым днем ощутительнее для его войска, шедшего по вражеской земле и нигде поэтому не находившего заготовленных припасов; чтобы помочь беде, он послал часть своего войска к местечку Кластидию, в котором римляне устроили чрезвычайно богатый склад хлеба. В то время, как его воины готовились действовать силой, возникла надежда на измену со стороны осажденных; и действительно, за небольшую сумму — всего 400 золотых монет — начальник сторожевого отряда Дазий из Брундизия дал

себя подкупить, и Кластидий сдался Ганнибалу. Этот город служил пунийцам житницей все время, пока они стояли на Требии. С пленными из сдавшегося гарнизона Ганнибал обошелся мягко, чтобы с самого же начала военных действий приобрести славу кроткого человека.

49. Таким образом, сухопутная война остановилась на берегах Требии; тем временем флот действовал на море около Сицилии и близких к Италии островов и под начальством консула Семпрония, и до его прибытия. Из 20 пентер, посланных карфагенянами с 1000 вооруженных опустошать италийское побережье, 9 пристало к Липаре, 8 к острову Вулкана, а 3 были занесены волнами в Пролив. Когда в Мессане их заметили, сиракузский царь Гиерон, дожидавшийся тогда в Мессане прибытия римского консула, отправил против них 12 кораблей, которые и захватили их, не встретив никакого сопротивления, и отвели в Мессанскую гавань. От пленников узнали, что независимо от посланного в Италию флота в 20 кораблей, к которому принадлежали они сами, еще 35 пентер плывут в Сицилию, чтобы побудить к восстанию старинных союзников. «Их главное назначение, — говорили пленные, — занять Лилибей; но, вероятно, та же буря, которая разбросала наш флот, занесла их к Эгатским островам». Царь тогда написал претору Марку Эмилию, провинцией которого была Сицилия, письмо, в котором он сообщал ему известие в том виде, в каком его слышал, и дал совет занять Лилибей сильным караульным отрядом. Тотчас же претор разослал по городам легатов и трибунов с поручением призвать тамошние римские отряды к возможно большей бдительности, но прежде всего поспешил сосредоточить в Лилибее свои военные силы; зачисленным во флот союзникам был дан приказ снести на корабли готовой пищи на десять дней, чтобы они могли по первому же сигналу без всякого промедления сесть на суда, а по всему побережью были разосланы часовые наблюдать с вышек за приближением неприятельского флота. Благодаря этим мерам карфагеняне, хотя они и старались дать кораблям такой ход, чтобы подплыть к Лилибею до рассвета, были все-таки замечены, тем более что и луна светила всю ночь, а корабли неслись на всех парусах. Тотчас с вышек был подан сигнал, в городе подняли тревогу, и суда наполнились матросами; часть воинов заняла стены и сторожевые посты у ворот, другая часть села на корабли. Карфагеняне, заметив, что им придется иметь дело с людьми, приготовившимися их встретить, до восхода солнца держались в некотором отдалении от гавани, снимая тем временем паруса и приспособляя свой флот к битве. Когда же рассвело, они отступили к открытому морю, чтобы самим иметь более простора для

битвы и дать врагу возможность свободно вывести свои корабли из гавани. Римляне, с своей стороны, не уклонялись от сражения; их всодушевляло воспоминание о подвигах, совершенных ими вблизи этих мест, и они полагались на многочисленность и храбрость воинов.

50. Итак, они выплыли в открытое море. Римляне хотели померяться силами на близком расстоянии и вступить в рукопашный бой; пунийцы, напротив, уклонялись от него, предпочитали действовать искусством, а не силой, и сражаться корабль с кораблем, а не человек с человеком и меч с мечом. Они поступали вполне разумно: насколько их флот изобиловал матросами и гребцами, настолько он уступал римскому числом воинов, так что всякий раз, когда их корабль сцеплялся с римским, число вооруженных, вступавших в схватку, было далеко не одинаково. Когда это отношение было замечено, то римляне еще более ободрились в сознании своего численного превосходства, а карфагеняне, убедившись в своей сравнительной слабости, окончательно пали духом. Тотчас же семь пунийских кораблей были захвачены, остальные бежали. Матросов и воинов на пленных кораблях было 1700 человек, в их числе — три знатных карфагенянина. Римский флот вернулся в гавань невредимый; только один корабль оказался с пробитым бортом, но и его удалось спасти.

Вслед за этим сражением, еще до распространения вести о нем среди мессанцев, прибыл в Мессану консул Тиберий Семпроний. В Проливе его встретил царь Гиерон с выстроенным в боевой порядок флотом; перешедши с царского корабля на консульский, он поздравил консула с благополучным прибытием его самого, войска и флота и пожелал ему счастья и успехов в Сицилии. Затем он изложил ему положение дел на острове, рассказал о покушениях карфагенян, обещал быть на старости лет таким же верным союзником римского народа, каким был в молодости, в первую войну, и обязался безвозмездно доставлять легионам и флоту хлеб и одежду. «Большая опасность,— прибавил он,— грозит Лилибею и приморским городам; есть в них люди, которым перемена правления пришлась бы по вкусу». Ввиду этих обстоятельств, консул решил без всякой проволочки отправиться с флотом в Лилибей; царь и царский флот отправились вместе с ним. Уже во время плавания они узнали, что под Лилибеем состоялось сражение и что неприятельские корабли частью были захвачены, частью бежали.

51. В Лилибее консул отпустил Гиерона с царским флотом, оставил для охраны сицилийского побережья претора, а сам отправился к острову Мелите, который был занят карфагенянами. При его прибытии начальник гарнизона Гамилькар, сын Гисгона, сдался ему без малого с 2000 воинов, городом и всем островом. Отсю-

да римляне через несколько дней вернулись в Лилибей, и пленные, которых взял претор, равно как и те, которые сдались консулу, были проданы с торгов. Рассудив, что с этой стороны никакая опасность Сицилии более не угрожает, консул отправился к островам Вулкана, где, по слухам, стоял пунийский флот. Но вблизи этих островов не нашли уже ни одного неприятельского воина: враг отправился опустошать италийское побережье, совершил набег на окружавшие Вибон поля и стал угрожать самому городу. Возвращаясь в Сицилию, консул получил известие о высадке врагов в окрестностях Вибона, а также и письмо сената, гласившее, что Ганнибал перешел в Италию и что ему следует без всякого промедления спешить на помощь товарищу. Под гнетом стольких одновременных забот он тотчас же посадил войско на суда и послал его по Адриатическому морю в Аримин, поручил своему легату Сексту Помпонию охранять с 25 военными кораблями окрестности Вибона и вообще италийское побережье, пополнил флот претора Марка Эмилия, доведя его численность до 50 кораблей, а сам, упорядочив сицилийские дела, на 10 кораблях поплыл вдоль берега Италии и достиг Аримина. Застав здесь свое войско, он отправился вместе с ним к Требии, где и соединился со своим товарищем.

52. И вот уже оба консула и все римские силы были выставлены против Ганнибала; этим ясно было высказано, что если не удастся защитить римское государство этими войсками, то другой надежды уже нет. Все же один консул, проученный несчастным исходом последнего конного сражения и полученной рапой, советовал ждать; напротив, другой, будучи свеж духом, стирал нетерпением и не хотел даже слышать об отсрочке. Галлы, населявшие в те времена всю местность между Требией и Падом, в этом споре двух могущественных народов заискивали у обеих сторон, и было ясно, что они стараются обеспечить себе милость того, кто выйдет победителем. Римляне относились к этому достаточно благосклонно, довольные и тем, что они не бунтуют; пуниец, напротив, был возмущен: сами же они, твердил он, призвали его для возвращения им свободы! Чтобы излить на них свой гнев и вместе с тем доставить воинам добычу, он велел отряду из 2000 пехотинцев и 1000 всадников — последние были большею частью нумидийцы, но были между ними и галлы — опустошать весь край сплошь до берегов Пада. Тогда беспомощные галлы, до тех пор колебавшиеся, поневоле отшатнулись от обидчиков и пристали к тем, в которых они видели мстителей за причиненную им обиду: отправив послов к консулам, они просили их прийти на помощь стране, бедствующей будто бы вследствие чрезмерной преданности ее жителей рим-

лянам. Корнелий не считал время благоприятным для вооруженного вмешательства, да и повод ему не нравился: он не питал никакого доверия ко всему галльскому племени после недавней измены бойев, — не говоря уже о многих других его коварных поступках, которые могли быть забыты вследствие их давности. Семпроний, напротив, утверждал, что лучшим средством к удержанию союзников в верности будет защита тех из них, которые первые попросили о помощи. А так как его товарищ продолжал колебаться, то он послал свою конницу, прибавив к ней 1000 пехотинцев, большею частью из метателей, за Требию защищать землю галлов. Напав неожиданно на рассыпавшихся без всякого порядка неприятелей, большинство из которых к тому же было обременено добычей, они произвели между ними страшное смятение: многих они убили, а остальных преследовали до самого лагеря и сторожевых постов врага. Здесь они принуждены были отступить перед выспавшей из лагеря толпой вооруженных, но, получив подкрепление, возобновили бой. С этого времени ход битвы был разнообразен: римляне то напирали, то отступали, в конце концов успех был одинаков с обеих сторон. Всё же потери, понесенные карфагенянами, были крупнее, а потому слава победы осталась за римлянами.

53. Никому эта слава не казалась такой великой и такой несомненной, как самому консулу. Он был вне себя от радости, что победил именно той частью войска, которая под начальством другого консула была разбита. «Воины, — говорил он, — вновь ободрились и воспрянули духом, и никто, кроме товарища по должности, не желает отсрочки сражения. Он один, большой душой еще более, чем телом, помня о своей ране, бьется строя и оружия. Но нельзя же всем предаваться малодушию по милости одного большого человека. К чему отлагать битву и напрасно терять время? Какого еще третьего консула и войска ожидаем мы? А лагерь карфагенян находится в Италии, почти в виду Рима! Они нападают уже не на Сицилию и Сардинию, которую мы отняли у побежденных, не на Испанию по сю сторону Гибера — они изгоняют нас, римлян, из нашего же отечества, из земли, в которой мы родились! Как застонали бы наши отцы, не раз рубившиеся под стенами Карфагена, если бы они могли видеть, как мы, их дети, два консула с двумя консульскими войсками, находясь в середине Италии, в ужасе прячемся в своем лагере, между тем как пунец поработил всю землю между Альпами и Апенниннами!» Это твердил он и своему большому товарищу, сидя у его постели, и в своей палатке, несколько не стесняясь присутствием воинов. Его подзадоривали и приближающиеся выборы, после которых дальнейшее ведение

войны могло быть поручено новым консулам, и возможность, пользуясь болезнью товарища, присвоить всю славу себе одному. При таких обстоятельствах возражения Корнелия ни к чему не вели: Семпроний велел воинам готовиться к скорой битве.

Ганнибал, понимавший, какой образ действия всего целесообразнее для врагов, собственно не мог рассчитывать, что консулы станут действовать неосторожно и наобум; все же он знал, как опрочетчив и самонадеян один из них, ознакомившись с его характером заранее, по слухам, а затем и на опыте, и полагал, что удачный исход его стычки с грабителями сделал его еще самонадеяннее: ввиду этого он не терял надежды, что ему представится удобный случай дать сражение. С своей стороны, он заботливо старался не пропустить такого случая именно теперь, пока воины врага были неопытны, пока более дельный из обоих предводителей вследствие своей раны был не способен руководить военными действиями, пока, наконец, галлы были бодры духом: он знал, что эта густая толпа последует за ним тем неохотнее, чем дальше он уведет ее из дому. Итак, он надеялся, что сражение вскоре состоится, и во что бы то ни стало желал дать его, даже если бы враги стали медлить. А когда лазутчики из галлов (они безопаснее всего могли доставлять ему требуемые сведения, так как их соплеменники служили в обоих лагерях) донесли ему, что римляне готовы вступить в бой, пуниец стал отыскивать место, удобное для засады.

54. Между его лагерем и Требией протекал ручей с высокими берегами, обросшими камышом и разными кустарниками и деревьями, какие обыкновенно вырастают на невозделанной почве. Ганнибал лично осмотрел это место и убедился, что тут легко можно скрыть даже всадников. Вернувшись, он сказал своему брату Магону: «Вот то место, которое тебе следует занять. Выбери по сотне человек из пехоты и конницы и явись с ними ко мне в первую стражу; теперь пора отдохнуть». С этими словами он отпустил военный совет. Вскоре Магон с избранными воинами явился. «Я вижу, что вы могучи,— сказал им Ганнибал,— но чтобы вы были сильны не только удачью, но и числом, каждый из вас пусть выберет из своей турмы или манипула по девяти похожих на него храбрецов. Магон покажет вам место, которое вам следует занять; перед вами враги, ничего в такого рода хитростях не смыслящие». В конце концов он отослал Магона с 1000 всадников и 1000 пехотинцев. На рассвете Ганнибал велит нумидийской коннице перейти Требию, подскочить к воротам неприятельского лагеря и, бросая дротиками в караульных, вызвать врага на бой, а затем, когда сражение загорится, медленным отступлением заманить его на эту

сторону реки. Таково было поручение, данное нумидийцам; остальным же начальникам как пехоты, так и конницы было предписано, чтобы они велели всем воинам закусить, а затем надеть оружие, оседлать коней и ждать сигнала к битве.

Лишь только нумидийцы произвели тревогу, Семпроний, сгорая жаждой вступить в бой, по установленному уже заранее плану вывел в поле сначала всю конницу, — на эту часть своих сил он более всего полагался, — затем 6000 пехотинцев, а затем и все другие силы. Было как раз время зимнего солнцеворота, шел снег; местность, лежавшая между Альпами и Апеннинскими, была особенно сурова от близости рек и болот. К тому же и люди, и лошади были выведены торопливо, не успев ни позавтракать, ни каким бы то ни было образом защитить себя от холода; они и так уже зябли, а чем далее они входили в поднимавшийся из реки туман, тем сильнее пробирала их дрожь. Но вот они пустились преследовать бегущих нумидийцев и вошли в воду; а она, поднявшаяся вследствие ночного дождя, достигала им до груди. Когда они вышли на тот берег, все до того окоченели, что едва были в состоянии держать оружие в руках; к тому же они, так как часть дня уже прошла, изнемогали от усталости и от голода.

55. Все это время воины Ганнибала грелись у костров, разведенных перед палатками, натирали тело оливковым маслом, которое им разослали по манипулам, и на досуге завтракали. Когда был дан сигнал, что враги перешли реку, они, бодрые душой и телом, взялись за оружие и выступили в поле. Балеарцев и легкую пехоту (их было около 8000 человек) Ганнибал поместил впереди знамени, за ними — тяжеловооруженных пехотинцев, ядро и силу своего войска; по обоим крыльям была рассыпана десятитысячная конница, на крыльях же поставлены и слоны. Консул, заметив, что его конница, понесшаяся врассыпную вслед за нумидийцами, слишком неосторожно зашла вперед и встретила неожиданное сопротивление, отозвал ее обратно, дав знак к отступлению, и поставил по крыльям, взяв в центр пехоту. Римлян было 18 000, союзников и латинян 20 000; к ним следует прибавить вспомогательные отряды ценоманов, единственного галльского племени, сохранившего верность римлянам. Таковы были силы сразившихся.

Начали сражение балеарцы. Встретив, однако, сильный отпор со стороны легионов, легкая пехота поспешно разделилась и была разведена по крыльям. Вследствие этого ее движения положение римской конницы сразу стало очень затруднительным. И без того уже трудно было держаться 4000 всадников против 10 000, людям уставшим против людей большею частью еще свежих, а тут еще балеарцы засыпали их градом дротиков. В довершение всего сло-

ны, шествовавшие на краях впереди конницы, наводили ужас на воинов, но еще более пугали лошадей, притом не только своим видом, но и непривычным запахом. И вот поле на широком пространстве покрылось беглецами. Римская пехота дралась не менее храбро, чем карфагенская, но была значительно слабее. Пуннец, незадолго до битвы отдохавший, выступил в бой со свежими еще силами; римлянам, напротив, голодным, уставшим, с окоченевшими от мороза членами, всякое движение стоило труда. Все же они взяли бы одной храбростью, если бы против них стояла только пехота; но здесь балеарцы, прогнав конницу, метали свои дротики им во фланги, тут слоны напирали уже на самую средину переднего строя, а там вдруг Магон с нумидийцами, мимо засады которых пехота пронеслась, ничего не подозревая, появился в тылу и привел задний ряд в неопишное замешательство. И все-таки среди всех этих бедствий, окружавших ее со всех сторон, пехота крепко держалась некоторое время; наиболее успешно отразила она, вопреки всеобщему ожиданию, натиск слонов. Легкие пехотинцы, особо для этого отряженные, забросали их дротиками и обратили в бегство, а затем, преследуя бегущих, кололи под хвост, где у них кожа тоньше и ранить их поэтому легче.

56. Заметив, что слоны, в исступлении, начинают уже браться на своих, Ганнибал велел удалить их из средины и отвести на левый край, чтобы они пришли против вспомогательных отрядов галлов. Тут они сразу вызвали повсеместное бегство, и ужас римлян достиг пределов, когда они заметили, что их союзники разбиты. Пришлось им образовать круг. При таких обстоятельствах приблизительно 10 000, не видя другой возможности спастись, прорубились через центр африканской пехоты, укрепленной галльскими вспомогательными отрядами, нанеся врагу страшный урон. Отсюда они, не будучи в состоянии вернуться в лагерь, от которого их отделяла река, и не видя из-за дождя, куда им направиться, чтобы прийти на помощь своим, прямым путем следовали в Плацентию. По их примеру было сделано много попыток пробиться в различные стороны; направившиеся к реке были либо поглощены водоворотами, или застигнуты врагами, если не решались войти в реку; те, которые в беспорядочном бегстве рассыпались по равнине, последовали за отступающим отрядом и достигли Плацентии; другим страх перед врагами внушил смелость войти в реку, и они, перешедши ее, добрались до лагеря.

У карфагенян слякоть и невыносимые холода погубили много людей и вьючных животных и почти всех слонов. Далее Требии они врага не преследовали и вернулись в лагерь до того оцепеневшими от холода, что едва радовались своей победе. Поэтому в

ночь, когда воины, оставленные в римском лагере для его охраны, а равно и спасшиеся туда бегством и большею частью почти безоружные, на плотах переправлялись через Требию, карфагеняне или действительно ничего не заметили среди шума, производимого дождем, или же, не будучи уже в состоянии двигаться от усталости и ран, притворились, что ничего не замечают. Таким образом консул Сципион тихо и беспрепятственно привел войско в Плацентию, а оттуда через Пад в Кремону, чтобы зимовка двух войск не ложилась непосильной тяжестью на одну колонию.

57. Ужас, распространившийся в Риме при известии об этом поражении, не поддается никакому описанию. «Вот-вот,— думали римляне,— появятся знамена врага, приближающегося к городу Риму, и нет надежды, нет помощи, нет возможности спасти от его натиска ворота и стены столицы. Когда один консул был побежден на Тицине, мы могли отозвать другого из Сицилии. Теперь оба консула, оба консульских войска разбиты; откуда взять других предводителей, другие легионы?» Так рассуждали они в испуге, как вдруг вернулся консул Семпроний. Подвергаясь страшной опасности, он пробрался сквозь рассеявшуюся повсюду для грабежа неприятельскую конницу, ведомый лишь отвагою, а не расчетом и даже не надеждой обмануть бдительность врага или оказать ему сопротивление, если бы его открыли. Он провел консульские выборы, что было тогда наиболее насущной потребностью, и затем вернулся на зимние квартиры. Консулами были избраны Гней Сервилий и Гай Фламиний.

Римлянам, впрочем, даже зимовать не дали спокойно. Всюду рыскали нумидийские всадники, или же — если местность была для них слишком неровной — кельтиберы и лузитанцы. Римляне были, таким образом, отрезаны решительно от всякого подвоза продовольствия, не считая лишь того, что доставлялось им на кораблях по реке Паду. Была недалеко от Плацентии торговая пристань, окруженная сильными укреплениями и охраняемая многочисленным гарнизоном. В надежде взять эту крепость силой, Ганнибал выступил, взяв с собой конницу и легкую пехоту; а так как он в тайне видел главный залог успешности предприятия, то нападение было произведено ночью. Все же ему не удалось обмануть караульных, и внезапно был поднят такой крик, что его было слышно даже в Плацентии. Таким образом, на рассвете явился консул с конницей, велел легионам следовать за ним в боевом порядке. Еще до их прибытия обе конницы сразились, а так как Ганнибал, получив рану, был вынужден оставить битву, то враги пали духом, и караульный отряд был блестящим образом спасен. Но отдых продолжался всего несколько дней. Едва дав ране зажить, Ганнибал

быстро двинулся к Виктумулам, чтобы захватить их приступом. В галльскую войну это место служило римлянам житницей; затем, так как оно было укреплено, туда стали стекаться со всех сторон окрестные обитатели, принадлежавшие к различным племенам; тогда же страх перед опустошениями заставил многих крестьян поселиться там. И вот эта толпа, услышав о доблестной защите крепости под Плацентией, воодушевилась мужеством, взялась за оружие и вышла навстречу Ганнибалу. Войска встретились на дороге, скорее в походе, чем в боевом порядке; а так как с одной стороны дралась нестройная толпа, а с другой — уверенные друг в друге вожди и войско, то 35 000 человек были обращены в бегство сравнительно немногими. На следующий день город сдался и принял в свои стены пунийский отряд. Горожанам было велено выдать оружие; они тотчас повиновались; вдруг раздался сигнал грабить город, как будто победители взяли его с боя. Ни одно из бедствий, которые летописцы в подобных случаях считают достойными упоминания, не миновало жителей; все, что только могли придумать своеволие, жестокость и бесчеловечная надменность, обрушилось на этих несчастных.

Таковы были зимние походы Ганнибала.

58. Затем был дан воинам кратковременный отдых, пока стояли невыносимые морозы; а с первыми, еще сомнительными, признаками приближения весны Ганнибал оставил зимние квартиры и повел войско в страну этрусков, рассчитывая убеждением или силой привлечь и этот народ на свою сторону, подобно тому как сделал это с галлами и лигурийцами. Но во время перехода через Апеннины его застигла такая страшная буря, что в сравнении с ней даже ужасы Альп показались почти ничем. Дождь и ветер хлестали пунийцев прямо в лицо и с такой силой, что они или были принуждены бросать оружие, или же, если пытались сопротивляться, сами падали наземь, пораженные силой выюги. На первых порах они только остановились. Затем, чувствуя, что ветер захватывает им дыхание и щемит грудь, они присели, повернувшись к нему спиной. Вдруг над их головами застонало, заревело, раздалось ужасающие раскаты грома, засверкали молнии; пока они, оглушенные и ослепленные, от страха не решались двинуться с места, грянул ливень, а ветер подул еще сильнее. Тут они, наконец, убедились в необходимости расположиться лагерем на том самом месте, где были застигнуты непогодой. Но это оказалось лишь началом новых бедствий. Нельзя было ни развернуть полотнище, ни водрузить столбы, а если и удавалось раскинуть палатку, то она не оставалась на месте: все разрывал и уносил ураган. А тут еще тучи, занесенные ветром повыше холодных вер-

шин гор, замерзли и стали сыпать градом в таком количестве, что воины, махнув рукой на все, бросились на землю, скорее погребенные под своими палатками, чем прикрытые ими; за градом последовал такой сильный мороз, что, если кто в этой жалкой куче людей и животных хотел приподняться и встать, он долго не мог этого сделать, так как жили оконечели от стужи и суставы едва могли сгибаться. Наконец резкими движениями они размялись и несколько ободрились духом; кое-где были разведены огни; если кто чувствовал себя слишком слабым, то прибегал к чужой помощи. В продолжение двух дней оставались они на этом месте, как бы в осаде; погибло много людей, много вьючных животных, а также и семь слонов из тех, которые уцелели после сражения на Трении.

59. Спустившись с Апеннин, Ганнибал двинулся назад, к Плацентии, и остановился в десяти милях от города; в следующий день он повел против врага 12 000 пехотинцев и 5000 всадников. Консул Семпроний, вернувшийся уже к этому времени из Рима, не уклонился от боя; в этот день расстояние между обоими лагерями не превышало трех миль. На другой день они сразились с замечательным мужеством, но с переменным счастьем. В первой стычке римляне имели решительный перевес: они не только победили в поле, но, погнав врага, преследовали его до самого лагеря, а затем произвели нападение и на самый лагерь. Ганнибал, расставив немногих защитников вдоль вала и у ворот, остальным велел сплотиться вокруг него на средней площади лагеря и с напряженным вниманием ждать сигнала к вылазке. В девять часов дня римский полководец, видя, что воины только напрасно истощают свои силы и что все еще нет никакой надежды взять лагерь, дал знак к отступлению. Узнав об этом и заметив, что бой прекратился и неприятель отступает от его лагеря, Ганнибал тотчас же из правых и из левых ворот выпускает против врага конницу, а сам с отборной пехотой устремляется через средние ворота. Если бы время дня позволяло обоим войскам дать более продолжительный бой, то вряд ли какое-нибудь иное сражение ознаменовалось бы большим ожесточением и большим числом убитых с обеих сторон; теперь же, как ни храбро дрались воины, а ночь заставила их разойтись. Таким образом, потери были меньше, чем можно было ожидать по остервенению, с каким противники бросились друг на друга; а так как обе стороны сражались с одинаковым почти успехом, то и число убитых к окончанию боя было одинаково; пало не более как по 600 пехотинцев и вполовину против этого числа всадников. Все же потери римлян были ощутительнее, чем можно было предположить, судя по одному числу павших: было убито доволь-

но много людей всаднического сословия, пять военных трибунов и три начальника союзников. После этого сражения Ганнибал отступил к лигурийцам, а Семпроний к Луке. Лигурийцы выдали входящему в их пределы Ганнибалу двух римских квесторов, Гая Фульвия и Луция Лукреция, которых они захватили обманом, и, сверх того, двух военных трибунов и пять лиц всаднического сословия, большою частью сыновей сенаторов; это они сделали для того, чтобы он убедился в их мирном настроении и желании быть союзниками карфагенян.

60. Пока все это происходит в Италии, Гней Корнелий Сципион, посланный с флотом и войском в Испанию, отправился от устьев Родана и, обогнув Пиренеи, пристал в Эмпориях. Высадив здесь войско, он начал с леетанов и мало-помалу подчинил Риму все побережье до реки Гибера, то возобновляя прежние союзы, то заключая новые. Приобретя при этом славу кроткого и справедливого человека, он распространил свое влияние не только на приморские народы, но и на более дикие племена, населявшие гористую область внутри страны, и не только заключил с ними мир, но и сделал их своими союзниками и набрал среди них несколько сильных вспомогательных отрядов.

Испания по сию сторону Гибера была провинцией Ганнона; его Ганнибал оставил защищать эту страну. Полагая, что следует идти навстречу врагу, не дожидаясь всеобщего бунта, он остановился лагерем в виду неприятеля и вывел свое войско в поле. Римский полководец также счел лучшим не откладывать сражений; зная, что ему войны с Ганноном и Газдрубалом не миновать, он предпочитал иметь дело с каждым порознь, чем с обоими вместе. Сражение было не особенно напряженным; 6000 неприятелей было убито, 2000 взято в плен, сверх того еще охрана лагеря, который также был взят, и сам полководец с несколькими вельможами. При этом было завоевано и местечко Циссис, лежавшее недалеко от лагеря; впрочем, найденная в нем добыча состояла из предметов небольшой стоимости — главным образом грубой утвари и негодных рабов. Зато захваченная в лагере добыча обогатила римских воинов, так как не только побежденное войско, но и то, которое под знаменами Ганнибала служило в Италии, оставило всю свою более или менее ценную собственность по ту сторону Пиренеев, чтобы она не оказалась тяжелым бременем для несущих.

LXI. Газдрубал, прежде чем достоверная весть об этом поражении могла дойти до него, переправился через Гибер с 8000 пеших и 1000 всадников в тщетной надежде выйти навстречу римлянам при первом их появлении в стране. Узнав, что карфагеняне разбиты наголову под Циссисом и их лагерь взят, он повернул

к морю. Недалеко от Тарракона он застиг флотских воинов и матросов, бродивших отдельными шайками по полям, как это бывает обыкновенно после успеха. Пустив против них врассыпную свою конницу, он многих перебил, а остальных в крайнем замешательстве прогнал к кораблям. Не решаясь, однако, более оставаться в этих местах, чтобы его не застиг Сципион, он удалился за Гибер. В самом деле, Сципион, узнав о прибытии новых врагов, поспешно двинулся со своим войском против них; наказав нескольких начальников кораблей и оставив в Тарраконе небольшой отряд, он вернулся с флотом в Эмпории. Не успел он удалиться, как вдруг опять появился Газдрубал, побудил к возмущению племя илергетов, которое дало было Сципиону заложников, и с их же молодежью стал опустошать поля верных римлянам союзников. Но лишь только Сципион выступил с зимних квартир, он опять оставил всю область по сю сторону Гибера; Сципион же вторгнулся с войском в пределы илергетов, брошенных виновником их возмущения, загнал всех в их главный город Атанагр и осадил. Через несколько дней ему удалось снова принять в подданство илергетов; он велел им поставить еще больше против прежнего заложников и наказал их сверх того еще денежной пеней. Отсюда он двинулся к авсетанам, которые также были союзниками пунийцев, и осадил их город. Когда же лацетаны поспешили выручать соседей, Сципион ночью, недалеко от города, когда лацетаны намеревались войти в него, устроил им засаду. Около 12 000 было убито; почти все потеряли оружие и, рассеявшись по полям, убежали восвояси. Да и осаждающие терпели много невзгод. Тридцать дней продолжалась осада, и все это время глубина снега редко бывала менее четырех футов; но зато он так завалил римские осадные щиты и навесы, что только им они были спасены от поджигательных снарядов, которые враги неоднократно бросали в них. В конце копцов, когда начальник авсетанов Амузик спасся бегством к Газдрубалу, они сдались, обязавшись уплатить двадцать талантов серебра. Римляне вторично отправились на зимние квартиры, на этот раз в Тарракон.

62. В Риме и его окрестностях много тревожных знамений или действительно было замечено в эту зиму, или же — как это обыкновенно бывает, коль скоро умы объаты суеверным страхом, — о них только доносили часто, и рассказчикам слепо верили. В числе прочих передают, будто шестимесячный ребенок свободных родителей на Овощном рынке крикнул: «Триумф!»; на Бычьем рынке бык сам собою взобрался на третий этаж и бросился оттуда, испуганный тревогой, которую подняли жильцы; на небе по-

казались огненные изображения кораблей; в храм Надежды, что на Овощном рынке, ударила молния; в Ланувии копы шевельнулось, и ворон влетел в храм Юноны и сел как раз на ложе богини; в окрестностях Амитерна во многих местах показывались издали призраки в белой одежде, но ни с кем не повстречались; в Пицене шел каменный дождь; в Цере вещи дощечки утончились; в Галлии волк выхватил у караульного меч из ножен и унес его. Относительно всех прочих знамений было определено, чтобы децемвиры справились в Сивиллиных книгах; по поводу же каменного дождя в Пицене было объявлено девятидневное празднество. По истечении его приступили к другим очистительным обрядам, в которых приняли участие почти все граждане. Прежде всего было произведено очищение города; богам, по определению децемвигов, заклали известное число взрослых животных; в Ланувии поднесли Юноне дар из сорока фунтов золота, а замужние женщины посвятили Юноне на Авентине медную статую; в Цере, где вещи дощечки утончились, был объявлен лектистерний, и вместе с тем молебствие Фортуне на горе Альгиде; также и в Риме был объявлен лектистерний Юности и молебствие в храме Геркулеса для отдельных избранных, а затем для всего народа молебствие во всех храмах. Гению было заклано пять взрослых животных, и сверх того определено, чтобы претор Гай Атилиий Серран произнес обеты на случай, если бы положение государства не изменилось к худшему в течение следующих десяти лет. Эти обряды и обеты, совершенные и произнесенные по откровению Сивиллиных книг, в значительной степени успокоили взволнованные суеверным страхом умы.

63. Фламиний, один из назначенных консулов следующего года, получив по жребию зимовавшие в Плацентии легионы, послал консулу письмо с приказом, чтобы это войско к мартовским идам стояло лагерем в Аримине. Он, действительно, намеревался вступить в должность там, в провинции, помня о своих старинных спорах с сенатом в бытность свою трибуном, а позже и консулом, когда у него сначала хотели отнять консульство, а затем триумф; к тому же ненависть к нему сенаторов увеличилась по случаю нового закона, предложенного народным трибуном Гаем Клавдием против воли сената и при содействии одного только Гая Фламиния из среды сенаторов,— чтобы никто из сенаторов или сыновей сенаторов не владел морским кораблем вместимостью свыше трехсот амфор. Эта вместимость считалась законодателем достаточной, чтобы привезти в город из деревни припасы для собственного употребления; торговля же признавалась для сенаторов безусловно позорной. Закон этот, наделавший очень много шума, принес Фла-

минию, который отстаивал его, ненависть знати, но зато любовь народа и, таким образом, вторичное консульство. Ввиду этого он стал опасаться, как бы его не пожелали задержать в городе вымышленными ауспигиями, откладыванием Вселатинского праздника и другими помехами, которыми обыкновенно пользовались против консулов, и поэтому, под предлогом поездки по частным делам, тайком уехал в свою провинцию. Когда об этом узнали, негодование сенаторов, и без того уже сильное, еще возросло. «Гай Фламиний,— говорили они,— ведет войну уже не с одним только сенатом, но и с бессмертными богами. Еще прежде он, выбранный консулом при зловещих ауспигиях, отказал в повиновении богам и людям, когда они отзывали его с самого поля битвы; теперь он, помня о своей тогдашней непочтительности, бегством уклонился от обязанности произнести в Капитолии торжественные обеты. Он не пожелал в день вступления своего в должность помолиться в храме Юпитера Всеблагого и Всемогущего, увидеть кругом себя собранный для совещания сенат, который его ненавидит и ему одному ненавистен, назначить день Вселатинского праздника и совершить на горе торжественное жертвоприношение Латинскому Юпитеру; не пожелал, после ауспигий, отправиться в Капитолию для произнесения обетов и затем в военном плаще, в сопровождении ликторов, уехать в провинцию. Он предпочел отправиться на подобие какого-нибудь торговца, промышленяющего при войске, без знаков своего достоинства, без ликторов, украдкой, как будто удалялся в изгнание. По-видимому, ему показалось более соответствующим величию своей власти вступить в должность в Ариминне, чем в Риме, надеть окаймленную пурпуром тогу в каком-нибудь постоялом дворе, чем подле своих пенатов!» Все решили, что его следует — честью ли, или силой — вернуть и заставить сначала лично исполнить все обязанности перед богами и людьми, а затем уже отправиться к войску и в провинцию. Послами (постановлено было отправить таковых) избраны были Квинт Теренций и Марк Антистий; по их слова так же мало подействовали на него, как в его первое консульство письмо сената. Через несколько дней он вступил в должность; но когда он приносил жертву, теленок, раненный уже, вырвался из рук священнослужителей и обрызгал своей кровью многих из присутствовавших; вдали же смятения и тревоги было еще больше, так как не знали, в чем причина испуга. Многие видели в этом предзнаменование больших ужасов. Затем он принял два легиона от прошлогоднего консула Семпрония и два от претора Гая Атилия и повел свое войско по горным тропинкам Апеннин в Этрурию.



КОРНЕЛИЙ
ТАЦИТ



КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ

1. ...Решив, что дважды консул Валерий Азиатик был когда-то любовником Поппеи, Мессалина подговаривает Суилия выступить обвинителем их обоих. Ее толкало на этот шаг, помимо всего прочего, желание завладеть садами, которые некогда были созданы Лукуллом; теперь они принадлежали Азиатiku, и он украшал их с невиданным великолепием. На помощь ей пришел воспитатель Британника Сосибий — сделав вид, будто помышляет лишь о благе императора, он принялся убеждать Клавдия остерегаться человека, чье влияние и богатство представляют угрозу власти принцев. «Азиатик, — говорил он, — был главным зачинщиком убийства Гая Цезаря. Он не только не побоялся признаться в этом перед собранием граждан Рима, но и ставил это злодеяние себе в заслугу. С тех пор слава его гремит в Риме и разошлась по провинциям. Теперь он добивается разрешения на отъезд в германскую армию, рассчитывая, что ему, как уроженцу Виенны, располагающему поддержкой многочисленной и влиятельной родни, без труда удастся взбунтовать племена своих соотечественников». Клавдий не стал ничего выяснять. Тут же он отдает приказ префекту претория Криспину взять отряд легковооруженных солдат и срочно

будто дело идет о подавлении взявшегося за оружие врага, выступить в путь. Криспин находит Азиатика в Байях и, заковав его в кандалы, везет в Рим.

2. Ему не дали возможности оправдаться перед сенатом. Клавдий выслушал его у себя в спальне в присутствии Мессалины и Суиллия, предъявившего Азиатике обвинения в том, что он подкупал солдат и, стремясь обеспечить себе их поддержку в осуществлении любого преступного замысла, дарил им деньги и втягивал в свои развратные похождения; что он состоял в незаконной связи с Поппеей и, наконец, что он как женщина отдавался чужим ласкам. Здесь обвиняемый, до тех пор упорно молчавший, не выдержал: «Спроси своих сыновей, Суиллий,— крикнул он,— они тебе скажут, что я мужчина». Раз начав, он защищался теперь со все растущим одушевлением. Клавдий был сильно взволнован, даже у Мессалины на глазах появились слезы. Выходя из комнаты, чтобы отереть их, она приказывает Вителлию ни в коем случае не дать обвиняемому ускользнуть, сама же обращает все силы на то, чтобы ускорить гибель Поппеи. Подосланные ею люди запугали Поппею ужасами тюрьмы и убедили ее добровольно принять смерть. Цезарь до такой степени не подозревал обо всем этом, что несколько дней спустя спросил у обедавшего с ним мужа Поппеи Сципиона, почему жена не с ним; Сципион ответил, что она скончалась.

3. Клавдий размышлял над тем, как оправдать Азиатика, когда к нему явился Вителлий. Заливаясь слезами, он напомнил о своей старой дружбе с Азиатиком, о его заслугах перед государством, о знаках внимания, некогда оказанных ими обоими матери принцепса Антонии, упомянул о его недавнем походе против британцев и, перечислив множество других обстоятельств, говоривших в пользу обвиняемого и способных внушить к нему сострадание, стал просить императора предоставить Азиатике самому выбрать род смерти. Клавдий тут же согласился явить подобную милость. Некоторые советовали Азиатике перестать принимать пищу, дабы уйти из жизни без страданий, но он ответил, что должен доставить удовольствие тем, кто был к нему столь милостив. Исполнив обычные телесные упражнения, выкупавшись и весело отобедав, он сказал, что ему было бы больше чести погибнуть от коварства Тиберия или ярости Гая, чем от пронсков женщины и бесстыдной болтовни Вителлия; затем Азиатик вскрыл себе вены. Перед этим он осмотрел приготовленный для него погребальный костер и велел перенести его в другое место, чтобы густая листва деревьев не пострадала от огня,— столько твердости духа сохранил он в последние минуты жизни.

4. На созванном вскоре за тем заседании сената Суиллий снова выступил с обвинениями — в этот раз против известных всему городу римских всадников по прозванию Пётра. Их убили потому, что они якобы предоставляли свой дом для свиданий Мнестора с Пoppеей. Поводом же для обвинения, предъявленного одному из них, послужил сон: будто бы ему приснился Клавдий в венке из колосьев, остью вниз, и будто бы он потом говорил, что это предкает скорое вздорожанье хлеба. Другие рассказывают, что ему приснился венец из увядших виноградных листьев и что он толковал это как указание на кончину принцепса, которал-де наступит в конце осени. Бесспорно, во всяком случае, что и его самого, и брата погубило какое-то сновидение.

Сенат постановил наградить Криспина полутора миллионами сестерциев и даровать ему преторские знаки отличия. По предложению Вителлия миллион сестерциев дали еще и Сосибью за помощь, которую он оказывает Британнику своими наставлениями, а Клавдию — советами. Когда очередь высказать свое мнение дошла до Сципиона, он произнес: «Раз к преступлениям Пoppей я отношусь так же, как все, считайте, что и сейчас я думаю то же, что все», выразив в этих удачно найденных словах и любовь к жене, и чувства, которые он обязан был испытывать как сенатор.

5. С тех пор, не зная ни отдыха, ни часа, Суиллий все яростнее преследовал людей своими обвинениями, а многие старались даже превзойти его в паглости. Дело в том, что, сосредоточив в своих руках власть, принадлежавшую ранее законам и должностным лицам, принцепс открыл возможность для самых различных злоупотреблений; но самым ходким товаром все же оказалось вероломство судебных защитников. Дошло до того, что известный римский всадник Самий, заплативший Суилию четыреста тысяч сестерциев, закололся в его же доме, узнав о тайном содействии, которое тот оказывал его противникам. Наконец в одном из заседаний консул следующего года Гай Силий, о чьем могуществе и гибели я расскажу в свое время, а за ним и другие сенаторы вскакивают со своих мест и требуют вернуть силу старинному закону Цинция, запрещавшему ораторам принимать деньги или подарки за защитительную речь в суде.

6. Те, кому было невыгодно это предложение, недовольно зашумели, но когда, опираясь на их поддержку, Суиллий попытался выступить с возражениями, Силий обрушился на него, приводя в пример ораторов былых времен, считавших, по его словам, лучшей наградой за свое красноречие славу в потомстве. «Теперь все переменилось,— продолжал он,— и первое из благородных искусств втоптано в грязь теми, кто им занимается. Где помышляют лишь

о наживе, нет места ни честности, ни доверию. Если бы тяжбы никому не приносили прибыли, их было бы меньше, сейчас же распри и взаимные обвинения, ненависть и беззакония поощряются в расчете на то, что эта разъедающая наше правосудие моровая язва обогатит судебных защитников, как особенно опасные болезни приносят выгоду врачам. Вспомните Гая Азиния и Мессалу, из более близких к нам — Аррунция и Эзернина, которых вознесли на вершину почета их непорочная жизнь и красноречие». После такой речи консула следующего года, сочувственно встреченной присутствующими, сенат приступил к подготовке постановления, согласно которому взимание крупных вознаграждений за защитительную речь в суде должно было караться по закону о вымогательстве. Тогда Сулий, Коссутнан и другие, видевшие, что принимаемое решение означает для них не просто угрозу судебного преследования, а безусловное осуждение, настолько очевидна была их вина, обступают цезаря и умоляют его лишить постановление обратной силы. Едва Клавдий согласился, они перешли в наступление.

7. «Найдется ли человек, столь самонадеянный, чтобы уповать на славу в веках? Задача ораторского искусства — оказывать людям помощь в их делах, и нельзя допустить, чтобы кто-либо попал в зависимость от власть имущих потому лишь, что не смог найти человека, готового защитить его в суде. Но красноречие никому не дается даром — занимаясь чужими делами, пренебрегаешь своими собственными. Одни добывают средства к существованию, служа в армии, другие — возделывая землю, но никто не возьмется за работу, не подсчитав заранее, сколько дохода она ему принесет. Азинию и Мессале, осыпанным наградами во время войны Антония с Августом, или наследникам богатых родителей Эзернину и Аррунцию нетрудно было выставить напоказ свое бескорыстие. Но легко найти и примеры, говорящие в нашу пользу, — достаточно вспомнить, какие деньги брали за свои выступления Публий Клодий и Гай Курион. Мы всего-навсего скромные сенаторы, мы живем в государстве, где царит спокойствие, и рассчитываем лишь на доходы, возможные в мирное время. Подумай, цезарь, о людях из народа, которые теперь все чаще начинают блистать на гражданском поприще. Если рвение не вознаграждать, исчезнет и само рвение». Хотя эти доводы звучали менее благородно, принцепс решил, что они не лишены основания, и установил предельный размер вознаграждения в десять тысяч сестерциев; защитник, взявший больше, подлежал преследованию по закону о вымогательстве.

8. Примерно тогда же, по указанию Клавдия, вернулся в свою страну армянский царь Митридат, который, как я уже упоминал, потерпел в свое время поражение от Гая Цезаря... Возвращаясь

домой, он рассчитывал на поддержку своего брата, иберийского царя Фарасмана, который дал ему знать, что парфяне, занятые борьбой за престол и поглощенные внутренними распрями, на остальные дела не обращают внимания. Положение там было следующее. Готардз, подстроив убийство своего брата Артабана, его жены и сына, внушил своими бесконечными злодеяниями такой ужас окружавшим его парфянам, что они призвали Вардана. Вардан, человек предприимчивый и дерзкий, за два дня проходит расстояние в три тысячи стадиев, обрушивается на ничего не подозревавшего, перепуганного Готардза, обращает его в бегство и без промедления захватывает соседние области; его власти отказывается подчиниться только Селевкия. Помня, что тамошние жители когда-то изменили его отцу, и движимый одной лишь яростью, не рассмотрев трезво все выгодные и невыгодные стороны складывающегося положения, он приступает к осаде хорошо укрепленного города, защищенного стенами и рекой и располагающего большими запасами продовольствия. Тем временем Готардз, получив подкрепления от дахов и гирканов, возобновляет войну; Вардан вынужден оставить осаду Селевкии и располагается лагерем на равнинах Бактрианы.

9. Видя, что силы восточных властителей разобщены и исход борьбы неясен, Митридат счел время подходящим и решил захватить Армению, поручив римским войскам овладеть горными крепостями, а иберийской армии занять долины. Армяне не стали сопротивляться, особенно после того, как их правитель Демонакт, ставившийся дать бой, потерпел жестокое поражение. Война тем бы и кончилась, если бы не царь Малої Армении Котис, которому несколько знатных армян предложили занять престол. Однако Котис, получив письмо от цезаря, также прекратил сопротивление; вся Армения перешла под власть Митридата, и он сразу же повел себя более круто, чем подобает новому властителю.

Тем временем Готардз получил сведения о зреющем в народе заговоре, поделился ими с братом, и оба властителя Парфии, уже было готовившиеся вступить в бой, неожиданно заключили союз. Встретившись, они сначала вели себя осторожно, но вскоре, сплетя правые руки, договорились перед алтарями богов покарать коварство своих недругов, а споры уладить любовно. Было решено, что у Вардана больше оснований сохранить за собой власть, и Готардз, дабы устранить всякий повод к соперничеству, удалился во внутренние области Гиркании. После его отъезда Вардану сдалась Селевкия. Она продержалась семь лет, навлекши немало позора и насмешек на армию парфян, которые так долго не могли справиться с одним-единственным городом.

10. Вскоре Вардан стал с завистью поглядывать также на другие богатые области и мечтал даже вернуть себе Армению, но легат Сирии Вибий Марс заставил его отказаться от этих замыслов. Между тем Готардз вновь взялся за оружие — он уже раскаялся, что так легко уступил престол, да и знать, которой в мирную пору приходится нести более тяжелую и унизительную службу, звала его вернуться на царство. Высланные против Готардза войска встретились с его армией при переправе через реку Эринд; в длительной и упорной битве Вардан разбил противника и, выиграв затем еще множество сражений, покорил все народы вплоть до реки Синд, отделяющей дахов от ариев. Здесь его успехам наступил предел, ибо парфяне, несмотря на одержанные победы, упрямо отказывались вести войну так далеко от дома. Установив надписи, где говорилось о его подвигах и о покорении племен, которые еще ни одному из Аршакидов не платили дани, Вардан возвратился домой, покрытый славой и оттого еще более свирепый и безжалостный к своим подданным. Они же, заранее и тайно договорившись между собой, захватили Вардана врасплох, когда он был увлечен охотой, и убили его. Он был еще совсем молод, но мало кто из царей, даже проводивших на троне долгие годы, смог бы превзойти его славой, если бы он так же старался внушить любовь своему народу, как страх своим врагам. После гибели Вардана снова начались распри, на этот раз особенно ожесточенные, ибо парфяне никак не могли решить, кого призвать на царство. Многие предпочитали Готардза, некоторые стояли за внука Фраата Мегердата, в свое время отданного нам в заложники. Вскоре сторонники Готардза победили, но, поселившись в царском дворце, он настолько погряз в жестокости и разврате, что парфяне оказались вынуждены тайно обратиться к римскому принцепсу и умолять его вернуть Мегердата на престол предков.

11. При этих же консулах римлянам были показаны Столетние игры — на восьмисотом году от основания города и на шестьдесят четвертом после тех, что устраивал Август. Я не буду говорить о соображениях, которыми руководились, устраивая их, оба принцепса, ибо рассказал об этом достаточно подробно в книгах, посвященных правлению императора Домициана. Он ведь тоже устраивал Столетние игры, в которых я принимал самое непосредственное участие и как жрец-квиндецимвир, и как претор. Упоминаю об этом не из тщеславия, а с намерением показать, что подготовкой Столетних игр издавна ведала коллегия квиндецимвиров, исполненне же самих обрядов почти всегда поручалось тем из ее членов, кто занимал магистратуру. Когда на арену цирка для участия в Троянских ристаниях выехали верхами мальчики из знат-

ных семей, и среди них сын императора Британик и Луций Домиций, которого принцепс вскоре усыновил, даровав ему власть и имя Нерона, народ, несмотря на присутствие Клавдия, приветствовал Домиция более громкими и радостными криками, в чем многие усмотрели предугадание на ожидающее мальчика великое будущее. В то время всюду говорили также, будто в младенчестве Домиция, как часовые, охраняли драконы — пустые басни, навеленные чужеземными рассказами о всякого рода чудесах; по крайней мере, сам Нерон, отнюдь не склонный опровергать слухи, способные его возвеличить, не раз повторял, что лишь однажды видел у себя в спальне обыкновенную змею.

12. На самом деле, расположение к нему народа объяснялось той любовью, которой все еще было окружено имя Германика, ибо Домиций был единственным его потомком мужского пола, оставшимся к тому времени в живых. Ярость, с которой Мессалина преследовала мать его Агриппину, тоже увеличивала общую к нему симпатию. Мессалина ненавидела ее всегда, а в ту пору особенно люто, и если не подсылала к ней людей, которые оклеветали бы ее в глазах принцепса, не возводила на нее одно обвинение за другим, то потому лишь, что была поглощена новой любовью, больше походившей на безумие. Она воспылала такой страстью к самому красивому из молодых людей Рима, Гаю Силию, что развела с ним Юнию Силану, женщину знатного рода, и безраздельно завладела его ложем. Силий понимал, насколько преступны и опасны подобные отношения, но, оттолкнув Мессалину, он обрек бы себя на верную гибель, теперь же у него оставалась хоть какая-то надежда, что Клавдий ничего не заметит. Кроме всего, он получал одну награду за другой, а потому предпочитал ждать, что покажет будущее, и наслаждаться сегодняшним днем. Мессалина то и дело ходила к нему домой, и не украдкой, а с целой свитой, сопровождала его во время выходов, осыпала деньгами и почестями. Под конец могло показаться, что Силий уже стал принцепсом, ибо дом его, переполненный рабами и отпущенниками цезаря, блистал всей роскошью императорского двора.

13. Между тем Клавдий, не подозревая, что творится в его семье, исполнял обязанности цензора: выпустил несколько распоряжений, сурово осуждавших непристойное поведение народа в театре, где подверглись оскорблениям бывший консул Публий Помпоний (автор стихов, исполнявшихся во время представлений) и многие знатные женщины; обуздал кровожадную алчность ростовщиков, особым законом запретив им ссужать деньги молодым людям с отдачей после смерти родителей; завершил строительство акведука, который дал Риму воду из источников, расположенных

на Симбруинских холмах, и, узнав, что греческий алфавит совершенствовался в течение долгого времени, добавил также несколько новых букв к латинской азбуке и настоял на повсеместном их употреблении.

14. Египтяне первые, использовав для этого изображения животных, стали передавать знаками содержание мысли: камни, на которых выбиты подобные надписи, древнейшие из всех оставленных людям, можно видеть и по сей день; на этом основании египтяне считают себя изобретателями букв. У них заимствовали письмо финикийцы; лучшие мореходы своего времени, они завезли его в Грецию, где прославились как создатели искусства, на самом деле перенятого ими у других. С этим и связано предание, приписывающее изобретение письма Кадму, будто бы прибывшему в Грецию на финикийском корабле и научившему грамоте тамошнее население, не знавшее дотолы ни наук, ни искусств. Некоторые рассказывают, что первые шестнадцать букв придумал афинянин Кекроп, либо фиванец Лин, или живший во времена Троянской войны Паламед, а остальные были изобретены вскоре после того другими, и главным образом Симонидом. В Италии же этрусски научились письму у коринфянина Демарата, аборигены — у аркадянина Эвандра, и латинские буквы совпадают по начертанию с древнейшими греческими. Однако у нас тоже сначала их было немного, а остальные добавили позднее. Следуя этим образцам, Клавдий и ввел три новые буквы, бывших в употреблении, пока он находился у власти, а после забытых; их, впрочем, и сейчас еще можно увидеть в надписях на меди, выставленных на всеобщее обозрение на рынках и в храмах.

15. Вскоре затем Клавдий произнес в сенате речь по поводу коллегии гаруспиков, в которой требовал не дать равнодушию довести до гибели это старейшее в Италии искусство. «В тяжелые для государства дни, — сказал он, — римляне много раз призывали людей, сведущих в гаруспициях; их трудами забытые были обряды восстанавливались и в дальнейшем исполнялись более тщательно. Самые знатные люди Этрурии, иногда по своей воле, иногда побуждаемые к тому римским сенатом, сохраняли необходимые в этом деле познания и передавали их из рода в род. Теперь небрежение благородными искусствами и засилие чужеземных суеверий привели к тому, что знания эти почти вывелись. Действительно, государство наше сейчас процветает, но за это надо быть благодарным богам, а не допускать, чтобы в счастливую пору оказались преданы забвению обряды, столь тщательно соблюдавшиеся в пору невзгод». На основании этих доводов сенат издал постановление,

обязывавшее понтификов позаботиться о том, чтобы деятельность гаруспиков пользовалась поддержкой и поощрялась.

16. В том же году племя херусков обратилось к Риму с просьбой дать им царя — знать их была истреблена в междоусобных войнах, и единственный оставшийся в живых отпрыск царского рода, по имени Италик, содержался в столице империи. По отцу Италик происходил от брата Арминия, Флава, по матери — от Актумера, вождя хаттов; он был красив собой и хорошо владел оружием и на германский, и на римский лад. Цезарь убедил его без колебаний принять на себя власть, подобавшую ему по рождению, снабдил его деньгами и дал охрану. «Ты первый, — добавил он, — кто, родившись здесь, — причем не заложником, а гражданином Рима, — покидаешь наш город, дабы встать во главе чужого народа». Германцы с радостью встретили Италика и на первых порах относились к нему хорошо, главным образом потому, что, посторонний царившим у них распрям, он ко всем был равно благожелателен. Спокойное, ласковое обращение делало его приятным каждому, участие в попойках и развлечениях особенно располагало к нему варваров, так что он с каждым днем стяжал все больше похвал и уважения. Когда же молва о нем начала распространяться по соседним и даже отдаленным землям, некоторые из херусков, выдвинувшиеся во время междоусобных распрей и теперь со злобной подозрительностью следившие за растущим могуществом Италика, бежали к окрестным племенам и стали убеждать их, что древняя свобода Германии гибнет, а римляне все больше забирают верх. «Разве, — говорили они, — мы не в состоянии найти на место царя человека, родившегося и выросшего у нас, здесь? Разве единственный, кто достоин верховной власти, — это сын сегоглядатая Флава? Напрасно на нас пытаются подействовать именем Арминия — если бы и родной сын его вырос в земле, нам враждебной, был вскормлен в неволе и, как раб, служил там своим господам, привык к обычаям чужестранцев и был запятан всеми их пороками, а затем явился бы сюда царствовать, даже он не мог бы вызвать у нас ничего, кроме страха. Италик же, по всему судя, идет по стопам отца — злейшего врага своего народа, не дрогнувшего поднять оружие против родины и ее богов».

17. Подобными доводами они привлекли множество сторонников; не меньше приверженцев было, однако, и у Италика, который обратился к своему войску со следующими словами: «Я не явился сюда, как захватчик, вопреки вашей воле. Вы сами призвали меня, потому что я превосходил других благородством происхождения. Теперь вам предстоит проверить, достоин ли я сравняться также и доблестью с Арминием, моим дядей, или с дедом моим Актумером.

Отца мне тоже не приходится стыдиться — по воле германцев он сделался союзником римлян и ни разу не нарушил своего долга. Лицемерные же разговоры о свободе — лишь предлог для тех, кто, потеряв уважение соплеменников, готов теперь погубить весь свой народ, лишь бы развязать смуту, на которую они возлагают свои последние надежды». Толпа отвечала ему возгласами, исполненными бодрой уверенности. В начавшейся битве — для варваров весьма значительной — царь одержал победу, но затем, опьяненный успехами, стал вести себя столь надменно, что подданные прогнали его. Лангобарды помогли ему вернуться на престол, на котором он и своими успехами, и своими неудачами лишь содействовал упадку племени херусков.

18. Около того же времени хавки стали донимать своими набегами Нижнюю Германию. Никакие внутренние неурядицы не толкали их на это, но они осмелели после смерти Санквиния и решили воспользоваться тем, что Корбулон еще не прибыл. Во главе их стоял Ганнаск — каннинифат родом, долго и с почетом служивший в наших вспомогательных войсках, но потом перебежавший к варварам. На своих легких суденышках он нападал на прибрежных жителей и самым жестоким опустошениям подвергал селения галлов, так как знал, что они богаты и трусливы. Между тем Корбулон, вступив в пределы провинции, действовал с большой энергией и вскоре добился славы; этот поход и положил ей начало. Он провел триремы основным руслом Рейна, остальные суда, в зависимости от размеров и осадки каждого, протоками и каналами, потопил вражеские челны и заставил Ганнаска бежать. Наведя таким образом порядок, он восстановил старинную дисциплину в легионах, отвыкших от тягот и трудов и находивших удовольствие только в грабеже, запретил покидать свое место в строю и вступать в бой без приказа. Солдаты теперь должны были стоять на часах, нести службу днем и ночью в полном боевом снаряжении. Рассказывают, что Корбулон казнил двух солдат за то, что на строительстве вала один работал без оружия, другой — вооруженный только кинжалом. Такие требования были чрезмерны, может быть все это и несправедливо приписали Корбулону, но отсюда видно, с какой суровостью он действовал: если люди могли поверить, что он так строго наказывал даже незначительные проступки, как же молниеносно и безжалостно должен он был карать подлинные преступления!

19. Принятые им жестокие меры оказали прямо противоположное действие на солдат и на врагов. Римляне исполнились доблести, варвары утратили наглость. Племя фризиев, которое после восстания, начавшегося с разгрома Луция Апрония, оставалось нам

явно или тайно враждебным, выдало заложников и осело на землях, указанных им Корбулоном. Он дал им также законы, назначил сенат и магистратов, а чтобы они не нарушили эти установления, разместил у них сильный гарнизон. К великим хавкам он отправил людей, которым поручил посулами склонить племя к капитуляции, а Ганнаска заманить в ловушку; прибегнуть к хитрости против перебежчика и изменника было и выгодно, и вполне честно. Смерть Ганнаска вызвала волнения среди хавков, что входило в расчеты Корбулона, стремившегося дать им повод для мятежа, и хотя большинство в столице горячо одобряло эти действия, кое у кого они встретили осуждение. «Зачем,— говорили такие люди,— вызывать противника на восстание? Если Корбулон потерпит поражение, пострадает государство, если одержит победу — пострадает он сам: столь выдающийся человек — угроза спокойствию Рима и обуза для слабого и нерешительного принцепса». В итоге Клавдий не только запретил новые военные действия против германских племен, но и распорядился отвести войска на западный берег Рейна.

20. Корбулон получил письмо с этим приказом, когда собирался уже перенести лагерь на земли врага. Множество мыслей и чувств нахлынуло на него при столь неожиданном известии — он опасался, что внушил подозрения императору, предвидел презрение варваров и насмешки союзников, но вслух произнес только: «Счастливы были некогда римские полководцы», — и велел отступить. Чтобы не дать, однако, солдатам облениться, он провел между Мозой и Рейном канал длиной в двадцать три мили, позволивший отказаться от опасных плаваний по Океану. Цезарь, сам же запретивший Корбулону вести войну, тем не менее награждал его триумфальными отличиями.

Немного спустя той же чести добился Курций Руф, вырывший в окрестностях Маттия шахту с целью обнаружить залежи серебра. Месторождение он нашел бедное и вскоре истощившееся, а на долю легионов достался изнурительный труд, стоивший немало жертв — копать канавы и вести под землей работы, которые тяжелы даже на ее поверхности. Измученные всем этим солдаты тайно составили письмо, в котором от имени нескольких армий — ибо подобные вещи им приходилось терпеть во многих провинциях — умоляли императора при назначении командующих жаловать им триумфальные знаки отличия заранее.

21. Про Курция Руфа иные говорили, что он сын гладиатора; передавать выдумки о его происхождении мне не хочется — достаточно противно рассказывать даже правду. Выйдя из отроческого возраста, он попал в свиту квестора провинции Африки и таким

образом оказался в городе Гадрумете. Здесь, когда он как-то прогуливался в одиночестве под опустевшими от полдневного зноя портиками, ему явился призрак, имевший облик женщины, но роста среди людей невиданного, и послышался голос: «Настанет день, Руф, и ты проконсулом вступишь в эту провинцию». Исполненный надежд, вызванных в нем таким предзнаменованием, он возвращается в Рим, где, благодаря деньгам друзей и собственной предприимчивости становится квестором, а вскоре и претором по рекомендации принцепса, оказавшего ему предпочтение перед соискателями из знатных семей и следующими словами пресекшего все разговоры о его позорном происхождении: «Курций Руф, по моему, породил себя сам». После этого он жил еще долго, до глубокой старости, — льстивый с высшими, хоть и скрывавший угодливость под напускной резкостью, наглый с низшими, неспособный с равными; он достиг консульской власти, получил триумфальные отличия и проконсульство в Африке, где и умер, исполнив все, что было ему назначено судьбой.

22. Между тем в столице у римского всадника Гнея Нония, когда он стоял в толпе людей, собравшихся приветствовать принцепса, был обнаружен спрятанный кинжал. Что замышлял Ноний, не знал никто, не удалось это выяснить и впоследствии — себя он сразу признал виновным, но, даже истерзанный пытками, не назвал ни одного сообщника, то ли потому, что их не было, то ли потому, что решил скрыть их имена.

При тех же консулах по предложению Публия Долабеллы было принято решение, обязывавшее каждого, кто в данном году добился должности квестора, устранивать на свои средства гладиаторские игры. У наших предков избрание квестором было наградой за доблесть, и вообще каждый, кто добрым поведением завоевал доверие сограждан, мог добиваться любой магистратуры; даже возраст не имел значения, и самые молодые люди становились и консулами, и диктаторами. Что касается квестуры, то она, как показывает закон, принятый в куриях и впоследствии подтвержденный Луцием Брутом, была введена царями, правившими в ту пору нашим государством. Право назначать квесторов перешло от них к консулам и оставалось в их руках до тех пор, пока и эта магистратура не стала замещаться по воле народа. Первыми, кто сделался квестором таким образом, были Валерий Потит и Эмилиий Мамерк, избранные на шестьдесят третьем году после изгнания Тарквиниев, с поручением сопровождать в походах армии республики. Впоследствии обязанностей у них прибавилось, а потому было создано еще две должности квесторов, ведавших делами в Риме. Вскоре число квесторов пришлось удвоить, ибо вся Италия уже платила

нам подати, а позже добавились еще и растущие доходы с провинций. Затем Сулла, заботясь о пополнении сената, довел их количество до двадцати и вменил в обязанность заниматься судебными разбирательствами. Впоследствии судопроизводство было возвращено в ведение всадников, но квесторское достоинство по-прежнему присваивалось безвозмездно — на основании заслуг кандидатов или по великодушью тех, кто ведал этими назначениями, и лишь теперь, после принятия предложенного Долабеллой закона, оно стало как бы продаваться за деньги.

23. В консульство Авла Вителлия и Луция Випстана, когда встал вопрос о пополнении сената, богатые и знатные галлы, выходцы из той части этой провинции, которую обычно называют Косматой, прежде уже достигшие положения союзников и римских граждан, теперь стали добиваться права занимать почетные магистратуры в столице. Дело это вызвало множество толков, и защитники различных точек зрения старались убедить принцепса в своей правоте. «Не настолько ведь истощила Италия свои силы, — утверждали одни, — чтобы не достало в ней людей, способных занять место в сенате ее столицы. Было время, когда уроженцы этого города управляли также и родственными народами, те были вполне довольны их правлением, и нам не приходилось краснеть за нашу древнюю республику. Примеры доблести и славы, оставленные нам римлянами, которые действовали по заветам предков, живут в нашей памяти до сих пор. Разве недостаточно, что венеты и инсубры уже проложили себе путь в курию? — еще шаг, и мы начнем чувствовать себя пленниками на этом сборище иноплеменников. О каких почестях могут теперь помышлять последние сохранившиеся среди нас потомки древних родов? Что осталось на долю немущих сенаторов из Латия? Скоро уже все магистратуры окажутся в руках этих богачей, чьи деды и прадеды, во главе враждебных Риму племен, огнем и мечом истребляли наши армии, кольцом сжимали под Алезией легионы божественного Юлия. И это примеры лишь из недавнего прошлого. А что, если вспомнить тех, кто пытался разграбить Капитолийский храм и твердыню Рима, силой захватить достояние богов? Пусть уж они пользуются своими правами римских граждан, но не оскверняют знаки достоинства сенаторов и магистратов».

24. Ни эти доводы, ни другие, им подобные, не возымели действия на принцепса; он с самого начала был несогласен с ними и, созвав сенат, так начал свою речь: «Предки мои требуют, чтобы мое правление было исполнено того же духа, который царил здесь в их времена; первый из них, Клавз, был сабинянин родом, но его приняли сразу в число римских граждан и в число патрициев; ото-

всюду стягивать сюда лучшие силы — такова и моя цель. Я не могу не помнить, что Юлии вышли из Альбы, Корункании — из Камерия, Порции из Тускула, а если не касаться такой седой старины, — что в сенате заседают уроженцы Этрурии, Лукании и самых разных краев Италии, что Италией постепенно стали называться все земли вплоть до Альп, а само имя римлянина присваивают уже не отдельным людям за особые заслуги, но населению целых областей, народам и племенам. Лишь тогда в нашем доме настал твердый порядок и перед мощью нашей склонились чужие народы, когда мы включили в свое государство транспаданскую Галлию и, как бы расселив по всему миру легионы, привлекли к себе все самое здоровое, что было в провинциях, восстановив таким образом пришедшую было в упадок власть Рима. Надо ли стыдиться того, что Бальбы пришли к нам из Испании, а мужи, не уступающие им своими достоинствами — из Нарбоннской Галлии? Потомки их живут среди нас, и не менее горячо, чем мы, любят свою новую родину. Что погубило лакедемонян и афинян, несмотря на всю их военную мощь, как не обыкновение видеть в побежденных иноплеменников и силой подчинять их своей воле? В отличие от них, основатель нашего города Ромул действовал столь мудро, что при нем римскими гражданами становились многие народы. Нами правили пришельцы из чужих земель, и сыновья отпущенников не раз занимали высшие государственные должности, причем назначения эти вовсе не представляют собой новшества, как многие ошибочно полагают, но производились также в былые времена. Разве не сражались мы с сенонами? Можно подумать, что не ходили на нас войной ни вольски, ни эквы, что не покоряли нас галлы, что мы не давали заложников тускам и не проходили под ярмом самнитов. И вот, если вспомнить все эти войны, ни одна из них не кончалась так быстро, как война против галлов, мир же, наступивший после нее, и прочен, и длится до сего дня. Во всем подобные нам нравами и занятиями, связанные с нами родством, галлы не столько владеют сами своим золотом и богатствами, сколько делят их с нами. Всё, отцы сенаторы, что сейчас считается древним, было когда-то новым. После патрициев стали занимать государственные должности и плебей, после плебеев — латиняне, после латинян — другие народы Италии. Когда-нибудь станут древними и законы, которые мы сейчас обсуждаем, а то, что мы сегодня стремимся обосновать примерами из прошлого, само будет подобным примером».

25. После этой речи принцепса было принято постановление, на основании которого эдуям первым предоставили право становиться римскими сенаторами. Оно было дано им как старейшим

союзникам и как единственному галльскому племени, имевшему звание братьев Римского народа.

Тогда же Цезарь ввел в число патрициев ряд сенаторов — отчасти самых старых, отчасти же таких, чьи родители стяжали особенно громкую славу; ибо семей, которых приняли в это сословие Ромул, а позже Луций Брут, оставалось уже мало и перевелось даже потомки тех, кого сделали патрициями диктатор Цезарь по закону Кассия и принцепс Август на основании закона Сепия. Мера эта была встречена во всем государстве радостно, и сам цензор проводил ее в жизнь с превеликим удовольствием. Клавдий был весьма озабочен тем, каким образом удалить из сената людей, ославивших себя бесчестными поступками, и, наконец, отказавшись от суровых мер, применявшихся в подобных случаях в старину, выбрал мягкий и лишь недавно вошедший в употребление способ — посоветовал каждому взвесить и самому решить, не воспользоваться ли ему правом выхода из сената. «Подобная просьба, — говорил принцепс, — будет легко удовлетворена, я же не стану разграничивать исключенных и тех, кто сам захотел бы сложить с себя обязанности сенатора; люди, удаленные из сената цензорами, смешаются с теми, кто покидает его добровольно, и это смягчит чувство унижения». В связи с этим консул Випстан предложил присвоить Клавдию имя отца сената, ибо, как он говорил, звание отца отечества стало уже обычным, особые же заслуги перед родиной следует отмечать столь же особыми словами. Клавдий сам отверг это предложение консула как слишком отдающее лестью. Он провел перепись, показавшую, что число римских граждан составило пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьдесят два.

Здесь его неведению своих домашних дел настал конец. Вскоре ему предстояло узнать о преступлениях жены, покарать ее и воспылать новой любовью, приведшей его к кровосмесительному браку.

26. Мессалине наскучили столь легко дававшиеся ей любовные похождения, и она уже начинала искать новых, еще не изведанных утех, когда Силий, то ли движимый роковым легкомыслием, то ли решив, что спасение от грозящих отовсюду опасностей — в самих же опасностях, принялся убеждать Мессалину отбросить всякое притворство. «Не таковы мы, — говорил он ей, — чтобы спокойно ждать, пока Клавдий окончательно состарится. Долгие размышления могут быть на пользу лишь тем, кто ни в чем не повинен; явным преступникам единственное спасение — дерзость. Есть люди, боящиеся того же, чего боимся мы, и на которых мы поэтому можем опереться. Холостой и бездетный, я готов вступить с тобой в

брак и усыновить Британника. У тебя останется прежняя власть, а если мы сумеем нанести решительный удар раньше Клавдия, столь же доверчивого, сколь и вспыльчивого, ты к тому же законодатель почувствуешь себя в безопасности». Мессалина холодно отнеслась к этому предложению не потому, что любила мужа, а из опасения, как бы Силий, поднявшись на вершину власти, не отвернулся бы тут же от своей любовницы и не оценил по достоинству те низости, на которые соглашался в минуту опасности. Мысль о том, чтобы назваться женой Силия, однако, ее привлекала, ибо это сулило ей крайнее бесчестие, а для прожигателей жизни чем больше позор, тем острее наслаждение. Она не стала ждать дольше и, едва лишь Клавдий отправился в Остию для совершения жертвоприношений, торжественно и со всеми полагавшимися обрядами отпраздновала свадьбу.

27. Я понимаю, как трудно поверить, чтобы нашлись люди столь неслыханной дерзости, решившиеся среди города, где всегда все известно и никто ничего не держит в секрете, будучи один консулом следующего года, другая — супругой принцепса, заранее назначить день своей свадьбы, пригласить, как бы заботясь о будущем потомстве, свидетелей, согласных подписать брачный договор; понимаю, что лишь в невероятном сне можно вообразить, как она выслушивает сватов, проходит под свадебным покрывалом, приносит жертвы богам и, окруженная гостями, возлежит на пиру, представить себе их поцелуи и объятия, а потом и их ночь, полную страстных супружеских ласк. Но я ничего не придумываю и не стараюсь поразить ничье воображение; здесь и в дальнейшем я передаю лишь правду, лишь то, что слышали и записали старые люди.

28. Все это привело в ужас домочадцев принцепса и, прежде всего, тех, кто держал в своих руках власть, а потому подвергался в случае переворота наибольшей опасности. Раньше они тайно обсуждали складывающееся положение, сейчас стали высказывать свое возмущение открыто. «Шут, прежде осквернявший императорское ложе, навлек позор на голову принцепса, но никогда не представлял угрозу его жизни. Теперь место шута занял молодой человек знатного рода; красота, ум и ожидающее его в скором времени консульство внушают ему самые честолюбивые надежды. Каков будет его следующий шаг после такой свадьбы — ясно каждому». Страх овладевал ими с новой силой всякий раз, когда они вспоминали о нерешительности Клавдия, о его готовности слушаться своих жен, обо всех, кто был убит по проискам Мессалины. В то же время доверчивость принцепса внушала им надежду, что, ошеломив его сообщением о чудовищном злодеянии Мессали-

ны, они сумеют добиться ее осуждения без разбора дела. Главная опасность для них состояла в том, что, едва услышав голос жены, Клавдий перестал бы верить рассказам о ее преступлениях, даже если бы она сама в них призналась.

29. Сначала Каллист, о котором я упоминал в связи с убийством Гая Цезаря, Нарцисс, некогда подстроивший гибель Аппиана, и Паллант, пользовавшийся в то время наибольшей благосклонностью принцепса, решили было тайными угрозами заставить Мессалину расстаться с Сином, а все происшедшее скрыть. Затем, однако, Паллант и Каллист отказались от этого плана — один из трусости, другой — зная по опыту предыдущего царствования, что для сохранения власти осторожность иногда бывает важнее решительности. Нарцисс продолжал действовать один, с той лишь разницей, что теперь он старался не вспугнуть Мессалину и не обронить ни слова о своих намерениях. Привыкши ничего не упускать из виду, он сообразил, что цезарь находится в Остии уже давно, и послал туда двух его наложниц, к которым принцепс был особенно привязан: Нарцисс осыпал их деньгами, надавал обещаний, объяснил, насколько усилится их влияние, если удастся избавиться от Мессалины, и убедил, наконец, рассказать Клавдию обо всем происходящем.

30. Когда они остались наедине с цезарем, Кальпурния (так звали одну из этих женщин) бросилась ему в ноги и закричала, что Мессалина вышла замуж за Силия. Тут же она обращается к нарочно стоявшей рядом Клеопатре и спрашивает, слышала ли она об этом; та ответила, что слышала, и Кальпурния стала заклинать Клавдия вызвать Нарцисса. Явившись, он начал просить прощения за прошлое, за то, что не рассказывал цезарю о Веттиях и Плавтиях. «Да и теперь, — продолжал он, — я обращаюсь к тебе не для того, чтобы осудить ее за измену супружеской верности, не затем, чтобы ты потребовал возвращения своего дворца, своих рабов, всех богатств, принадлежащих тебе как принцепсу. Пусть Силий пользуется всем этим на здоровье, но пусть вернет жену, пусть уничтожит брачный договор. Понимаешь ли ты, что уже отрешен от власти? О браке Силия знают народ, сенат, преторианцы, и если не принять срочные меры, он станет хозяином столицы».

31. Клавдий призывает близких ему людей, с мнением которых особенно считался, расспрашивает их — сначала Туррания, ведавшего подвозом продовольствия в Рим, затем командира преторианцев Лузия Гету. Они рассказывают, что происходит в городе, и тут же остальные наперебой начинают убеждать императора отправиться в лагерь преторианцев, обеспечить себе их поддержку,

подумать сначала о собственной безопасности и лишь затем о возмездии. Как явствует из всех рассказов об этих событиях, Клавдий был так перепуган, что непрерывно спрашивал, он ли еще правит империей, по-прежнему ли Силий его подданный?

Между тем наступила середина осени, и Мессалина, больше чем когда-либо погруженная в наслаждения, устроила у себя дома представление, изображавшее сбор спелых гроздьев. Работали виноградные жомы, сок переполнял чаны, женщины, опоясанные шкурами, металась в танце, как вакханки, безумствующие во славу своего бога или приносящие ему жертвы. Сама хозяйка, с распущенными волосами, потрясая тирсом, и Силий, опутанный хмелем, оба в котурнах, раскачивали головами в лад хору, распевавшему непристойные песни. Говорят, будто кто-то крикнул Веттию Валенту, взобравшемуся из озорства на вершину высокого дерева, что он оттуда видит. «Из Остии надвигается страшная буря», — ответил он, то ли действительно увидев нечто подобное, то ли случайно произнеся слова, которые оказались пророческими.

32. Между тем уже не слухи, а бесспорные вести шли отовсюду, показывая, что Клавдий все знает, что он торопится в Рим и возмездие близко. Мессалина спешит скрыться в Лукулловых садах; Силий, дабы не выдать владевшего им страха, возвращается к делам на форуме; остальные бросаются кто куда, но подоспевшие центурионы хватают их на улицах и в тайных убежищах и волокут в тюрьму. Мессалина, хоть и потеряла голову от всех этих несчастий, решается предпринять шаг, столько раз выручавший ее в прошлом, но теперь требовавший особого присутствия духа, — она отправляется навстречу мужу, чтобы любым способом попасться ему на глаза, и велит Британинку с Октавией тоже поспешить в объятия отца. Ей удастся даже уговорить Вибидию, старшую из дев-весталок, обратиться к великому понтифику и молить его о прощении. Сама она тем временем, в сопровождении лишь трех спутников — такая пустота мгновенно образовалась вокруг нее — пешком пересекает город и в повозке для нечистот выезжает на Остийскую дорогу. Ни в одном человеке не пробудило она чувства, ибо отвращение к ее безобразиям заглушало жалость.

33. В ближайшем окружении цезаря, однако, царило смятение. Здесь сомневались в верности префекта претория Геты — человека, с равной легкостью шедшего и на добрые и на дурные поступки. Собрав всех, разделявших эти страхи, Нарцисс стал убеждать Клавдия, что единственный путь к спасению — передать командование преторианцами на один день кому-либо из отпущенников, и прибавил, что готов взять это на себя. Опасаясь, как бы по дороге в Рим Луций Вителлий и Ларг Цецина не переубедили принцепса

и не заставили его устыдиться принятого решения, он настойчиво просит предоставить ему место в императорских посылках, и получает на это разрешение.

34. По дороге, как многие рассказывают, принцепс то поносил жену за ее преступления, то вспоминал их супружескую жизнь и своих малых детей, по к чему бы ни клонилась его речь, Вителлий повторял только: «О, мерзость! О, злодейство!» Нарцисс несколько раз требовал, чтобы он оставил свои уловки и высказался прямо, но не добился ничего, кроме двусмысленностей, которые, в зависимости от дальнейшего хода событий, можно было толковать как угодно. Ларг Цецина вел себя так же, как Вителлий. Когда на дороге показалась Мессалина, заклиная Клавдия выслушать мать Октавии и Британника, Нарцисс набросился на нее с обвинениями, стал говорить о Силии, о ее с ним браке и тут же, чтобы отвлечь внимание цезаря, вручил ему записку, где перечислялись ее распутные похождения. Немного позже, при въезде в город, глазам Клавдия должны были предстать его дети от Мессалины, но Нарцисс заранее распорядился их убрать. Не в его силах было помешать встрече с Вибидией, которая настойчиво и резко требовала у цезаря не обречь жену на смерть, не выслушав ее объяснений; поэтому он ответил, что принцепс выслушает Мессалину и даст ей возможность оправдаться, пока же пусть дева идет и займется своими обязанностями.

35. Самым удивительным при этом было молчание, которое хранил Клавдий; Вителлий делал вид, будто ничего не знает; всем распоряжался отпущенник. Он приказал открыть дома, где происходили любовные свидания Мессалины и Силия, и отвести туда императора. Первое, на что он сразу же при входе обратил внимание Клавдия, была маска отца Силия, которую в свое время сенат особым постановлением распорядился уничтожить, после чего показал ему вещи из родового имущества Неронов и Друзов, ставшие платой за разврат. Видя, что принцепс взбешен, что с уст его срываются угрозы, он повез его в преторианский лагерь, где солдаты были уже созваны на сходку. Сначала говорил Нарцисс; Клавдий произнес всего лишь несколько слов — стыд подавил в нем справедливое чувство обиды. Когорты ответили ему долгим криком, требовали назвать имена виновных и наказать их. Приведенный к трибуналу Силий не защищался, не искал отсрочки, напротив — просил быстрой смерти. Такую же твердость проявили и известные римские всадники. (Все они жаждали умереть как можно скорее.) Клавдий приказал казнить Тития Прокула, которого Силий приставил к Мессалине в качестве телохранителя и который теперь пытался выступить с разоблачениями, и Веттия Валента,

полностью признавшего свою вину, а из соучастников — Помпея Урбика и Сауфея Трога. Той же участи подверглись префект городской стражи Декрий Кальпурниан, Сульпиций Руф — прокуратор, ведавший устройством зрелищ, и сенатор Юнк Вергилиан.

36. Задержка вышла только из-за Мнестра. Разорвав на себе одежды, он кричал, чтобы Клавдий посмотрел на рубцы от розог на его теле, чтобы вспомнил те слова, которыми он сам же обрек его на полную зависимость от Мессалины. «Другие,— продолжал он,— шли на преступление ради корысти или из тщеславия, я же потому, что не имел другого выхода. Приди Силлий к власти, и я первый был бы обречен на гибель». Доводы Мнестра действовали на цезаря, и он готов был сжалиться над ним, но отпущенники воспрепятствовали этому, уверив Клавдия, что нечего думать о шуте там, где погибло столько знатных мужей, и что не стоит разбираться, охотой или неволей совершал он столь тяжкие злодеяния. Никто не стал слушать и оправданий римского всадника Травла Монтана. Это был скромный юноша, отличавшийся, однако, красивой внешностью; Мессалина неожиданно призвала его к себе, но, равно неукротимая в своих желаниях и своем отвращении, прогнала его после первой же ночи. Жизнь сохранили Сулию Цезонину и Плавтию Латерану — последнему из-за выдающихся заслуг его дяди, Цезонина же спасли его пороки — говорили, что на всех этих омерзительных сборищах он играл роль женщины.

37. Между тем, укрывшись в Лукулловых садах, Мессалина делала все, чтобы продлить свою жизнь. Она составляла прошения о помиловании, в которых — столько высокомерной самоуверенности сохраняла она еще в этих гибельных обстоятельствах — выражала надежды на будущее, а иногда и неудовольствие происходящим, и, если бы Нарцисс не ускорил ее смерть, ей удалось бы погубить своего обвинителя. Дело в том, что, когда Клавдий вернулся домой и вовремя подоспевший обед разогнал его дурное настроение, когда вино распалило его, он распорядился пойти и объявить несчастной (говорят, он употребил именно это выражение), чтобы на следующий день она явилась для оправданий. Слова эти показывали, что гнев императора проходит, а любовь возвращается; особенно приходилось опасаться предстоящей ночи и воспоминаний, которые охватят Клавдия в супружеской спальне. Нарцисс быстро вышел и от имени императора приказал центурионам и случившемуся здесь трибуну свершить казнь. Наблюдать за ходом дела и проверить его исполнение поручили вольноотпущеннику Эводу. Опередив других, он первым вошел в Лукулловы сады и увидел Мессалину, лежавшую на земле; рядом с ней сидела ее мать Лепида. Она не была близка с дочерью, пока та была в силе,

но не могла не проникнуться к ней жалостью, когда она оказалась на краю гибели. «Не жди, чтобы к тебе явился палач,— убеждала Лепида дочь.— Жизнь твоя кончена, и расстаться с ней — единственный достойный выход, который тебе остается». Но помыслам о чести уже не было доступа в эту подточенную развратом душу, Мессалина предавалась слезам и проводила время в пустых жалобах, пока ворота не распахнулись под натиском солдат и перед ней не появились трибун и отпущенник. Первый молчал, второй осыпал ее отвратительной бранью, достойной только раба.

38. Теперь лишь она поняла, что ее ждет, и взяла поданный кинжал, но руки ее дрожали, оружие скользило, едва касаясь то горла, то груди, пока, наконец, трибун не пронзил ее мечом. Мертвое тело отдала матери. Клавдий обедал, когда ему доложили, что Мессалина погибла — убита или покончила с собой, установить не удалось. Он не задал ни одного вопроса, попросил чашу с вином и продолжал пировать, как обычно. Также и в последующие дни не обнаружил он ни возмущения или радости, ни гнева или скорби, ни одного человеческого чувства, безразличный и к ликованию обвинителей, и к слезам детей. Сенат, со своей стороны, постарался как можно быстрее уничтожить всякую память о Мессалине, постановив стереть ее имя в надписях и разбить ее статуи как в частных домах, так и в общественных местах. Нарциссу присудили квесторские знаки отличия — награда незначительная в глазах человека, ставившего себя выше и Палланта, и Каллиста.

Все эти действия знаменовали торжество справедливости, но привели к ужасным последствиям.

КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ

1. Мессалина была убита, и в доме принцепса воцарилось смятение. Отпущенники препирались о том, кто из них сумеет выбрать лучшую супругу императору, не выносившему холостой жизни и схотно подчинявшемуся власти жен. Не менее яростно ссорились и сами женщины — каждая старалась затмить соперниц знатностью, красотой, богатством, дабы показать, что именно она достойна столь почетного брака. Выделялись среди них две — дочь консулара Марка Лоллия, Лоллия Паулина, и Юлия Агриппина, дочь Германика; притязания первой поддерживал Каллист, второй — Паллант; Нарцисс же покровительствовал Элии Петине из семьи Туберонов. Клавдий склонялся то к одному решению, то к другому, в зависимости от того, кого выслушал последним. Наконец, видя, что отпущенники не могут договориться, он вызвал их на

негласное совещание и приказал каждому высказать и обосновать свое мнение.

2. Нарцисс напомнил о прежнем браке Клавдия с Элией, о семейных узлах, которые их связывают (ибо Антония была дочерью императора от Петины), и особенно долго говорил о том, что, вернувшись к бывшей жене, Клавдий сохранит у себя в доме все как было и избавит Британника и Октавию от преследований мачехи, потому что Элия станет смотреть на них почти как на собственных детей. Каллист доказывал, что Петина слишком долго находилась в положении отверженной жены и непомерно возгордится, если теперь вернуть ее во дворец; насколько разумнее взять в дом Лоллию: она бездетна, не сможет поэтому искать преимуществ для своих детей в ущерб пасынку и падчерице и заменит мать Британнику и Октавию. Паллант, в свою очередь, расхваливал Агриппину больше всего за то, что она введет в семью принцепса внука Германика, благородного отрока, вполне достойного в будущем стать императором, и тем самым объединит в одном доме всех потомков Юлиев-Клавдиев; к тому же, — продолжал он, — нельзя допустить, чтобы женщина такого происхождения, доказавшая свою способность иметь детей, в расцвете молодости, вошла в другую семью и перенесла на нее всю славу рода Цезарей.

3. Доводы Палланта оказались убедительнее других, чему содействовала и привлекательность Агриппины. На правах родственницы она часто бывала во дворце и, наконец, соблазнила Клавдия; опираясь на предпочтение, оказанное ей перед другими, она, даже и не став еще женой императора, уже располагала всей властью супруги. Удостоверившись, что брак ее дело решенное, Агриппина начала лелеять еще более обширные замыслы и подготавливать женитьбу Домиция, своего сына от Гнея Агенобарба, на дочери цезаря Октавии. Ради этого ей предстояло пойти на преступление, ибо по воле цезаря Октавия была еще ранее обручена с Луцием Силаном — юношей, и без того пользовавшимся громкой известностью, а теперь, после того как он получил триумфальные отличия и устроил невиданно пышные гладиаторские игры, привлекавшим к себе особенное расположение черни. Но все казалось возможным с принцепсом, который всегда думал то, что ему внушили, и ненавидел тех, кого велели.

4. Вителлий, пользуясь положением цензора, вел себя как ловкий раб. Привыкши безошибочно угадывать, кто сейчас входит в силу, он решил добиться расположения Агриппины и, чтобы помочь ей, выступил с обвинениями против Силана. Сестра последнего Юния Кальвина, женщина очень красивая и весьма распущенная, была незадолго перед тем невесткой Вителлия; на этом

он и построил свой донос, представив любовь брата и сестры, пусть недостаточно скромную, но ничего общего не имевшую с кровосмешением, как постыдное влечение друг к другу. Цезарь с тем большей готовностью поверил этому навету, что любовь к дочери заставляла его относиться к зятю с особой подозрительностью. Ничего не зная об этих кознях, Силан исполнял свои обязанности претора, и известие об исключении из сенатского сословия явилось для него полнейшей неожиданностью; эдикт об исключении был издан Вителлием, хотя срок его цензорских полномочий истек и пополнение сената было закончено. Одновременно Клавдий порвал связывавшие его с Силаном узы родства; тот оказался вынужден сложить с себя звание претора, и на оставшиеся дни его передали Эприю Марцеллу.

5. В тот год, когда консулами стали Гай Помпей и Гней Вераний, весь город уже говорил о предстоящем браке Клавдия и Агриппины, а они по-прежнему не решались освятить свои любовные отношения свадебной церемонией, ибо не было известно еще ни одного случая, когда дядя женился бы на племяннице. В то же время кровосмешение приводило их в ужас, и они боялись, что, не будучи освящена браком, их связь может навлечь беду на государство. Колебания длились до тех пор, пока Вителлий не взялся уладить все дело так, как он один был способен. Спросив цезаря, готов ли тот подчиниться велению народа и власти сената, и услышав в ответ, что Клавдий считает себя таким же гражданином, как другие, и не может идти против общей воли, Вителлий велит ему ждать во дворце исхода событий, сам же отправляется в курию и, едва войдя, требует предоставить ему слово вне очереди, в связи с делом высшей государственной важности. «Управление судьбами вселенной,— начал он,— требует от принцепса постоянных и тяжких трудов. В трудах этих ему нужен помощник, который освободил бы его от домашних забот и позволил сосредоточиться на управлении государством. Какого же лучшего помощника можно пожелать суровому цензору, с юности привыкшему не к роскоши и утехам, а к строгому соблюдению законов, чем жену, готовую разделить его горести и радости, жену, которой он сможет доверить самые сокровенные мысли и малых детей своих?»

6. Слова эти вызвали общее одобрение, и сенаторы принялись паперебой доказывать, что принцепсу следует жениться. Тогда Вителлий, искусно вернувшись к началу своей речи, заговорил о необходимости выбрать женщину, которая бы превосходила всех других благородством происхождения, плодовитостью и благочестием. «Вполне очевидно,— продолжал он,— что знатностью рода

никто не в силах состязаться с Агриппиной; она доказала, что может иметь детей; поведение ее тоже достойно всяческого уважения. Самое удивительное, что боги как бы предусмотрели наш выбор: Агриппина — вдова, и поэтому принцепс, который никогда не нарушает святость семейных уз, может спокойно соединиться с ней. Разве мы не слышали от родителей о женах, вырванных из семьи сладострастием цезарей, разве не видели их своими глазами? Как все это чуждо скромности нынешнего принцепса! Настало, наконец, время создать порядок, при котором император женился бы по указанию сената и народа. Нам может показаться вновь, что дядя женится на племяннице. Но у других народов такие браки встречаются сплошь да рядом, и нет такого закона, который их запрещал бы. Ведь привились же постепенно браки между двоюродными братом и сестрой, прежде у нас неведомые. Обычай следует сообразовывать с пользой, и то, что сегодня кажется новшеством, завтра станет повседневным делом».

7. Нашлись сенаторы, которые тут же выбежали из курии, крича, что, если Цезарь и дальше будет медлить, они силой заставят его жениться. Сбежавшаяся отовсюду толпа вопила, что такова же воля и римского народа. Клавдий не стал далее ждать и сам вышел на форум навстречу спешившим поздравить его. Явившись в сенат, он предложил принять постановление, на основании которого женитьба на дочери брата считалась бы законной, и распространить его действие также на будущее. Правда, желающих вступить в подобный брак не нашлось; единственным исключением был римский всадник Алледей Север, который, как говорили, решился на это в расчете на благодарность Агриппины.

С этого момента государство стало иным; все отныне подчинилось одной женщине, которая не руководилась, подобно Мессалине, собственной распушенностью, а с подлинно мужской суровостью ведала дела римского народа и требовала беспрекословного выполнения своих приказов. На людях она вела себя строго, а еще чаще надменно; дома не допускала никаких нарушений нравственности, если они не содействовали укреплению ее власти; непомерную свою алчность выдавала за заботу о нуждах государства.

8. В день бракосочетания Клавдия и Агриппины Силан наложил на себя руки — то ли он еще питал до этого времени какие-то надежды, то ли рассчитывал, что таким образом сумеет вызвать особую ненависть к своим преследователям. Сестру его Кальвину выслали из Италии. Не ограничившись этим, Клавдий велел совершить обряды, полагавшиеся по закону царя Туллия, и приказал понтификам принести в роще Дианы очистительные жертвы. Весь город потешался над тем, как удачно он выбрал время для нака-

зания за кровосмесительство и для искупления его. Агриппина между тем, дабы не одни только злодеяния связывались с ее именем, выхлопотала разрешение вернуться из ссылки и должность претора для Аннея Сенеки. Общее уважение, которым он был окружен из-за своих ученых трудов, навело ее на мысль доверить ему воспитание Домиция. Ее приближенные рассчитывали также, что Сенека своими советами поможет Агриппине укрепить власть, ибо, как все полагали, он был преисполнен благодарности к ней за оказанную милость и ненависти к Клавдию за нанесенное некогда оскорбление.

9. Медлить далее не имело смысла. Агриппина и ее друзья обещают консулу следующего года Меммию Поллиону огромное вознаграждение и уговаривают его обратиться к Клавдию в сенате с просьбой обручить Октавию с Домицием; возраст обоих делал подобное предложение естественным, а осуществление его открывало путь дальнейшим, еще более честолюбивым замыслам. Поллион произносит в сенате речь, сходную с недавней речью Вителлия; Октавия обручается с Домицием, и последний, бывший и прежде родственником Клавдия, становится также женихом его дочери и будущим зятем принцепса. Теперь благодаря пронскам матери и людей, погубивших Мессалину, а потому опасавшихся мести ее сына, он почти сравнялся с Британником.

10. Около того же времени парфянские послы, отправленные, как я уже говорил, в Рим с поручением истребовать обратно Меггердата, явились в сенат и в следующих словах стали излагать цели своего посольства: «Мы помним о союзе, соединяющем наши государства, и прибыли сюда не с тем, чтобы строить козни против династии Аршакидов. Мы пришли за сыном Вонона и внуком Фраата, пришли искать управы на Готардза, чью тиранию не в силах выносить долее ни знать, ни простой народ. Перебиты уже не только братья царя, его родственники и даже те, кто стоял в стороне от трона; ярость Готардза не щадит ни беременных женщин, ни малых детей. Неспособный управлять страной, трусливый и беспомощный на войне, он стремится жестокостью прикрыть свое бессилие и глупость. Наша дружба началась с заключения договора между обоими государствами, она освящена временем, и вы должны прийти на помощь союзникам, равным вам силами и уступающим первенство только из уважения. Мы для того и отдаем царских детей в заложники, чтобы иметь возможность, когда не станет больше сил сносить самоуправство властителей, обратиться сюда и обрести царя, который вырос в общении с принцепсом и сенаторами, а потому превосходит достоинствами своих соперников».

11. Послы продолжали и дальше говорить в том же духе, а когда они кончили, с речью выступил цезарь. Начав с рассуждения о власти римлян над миром и о подчиненном положении, которое занимают в нем парфяне, он далее сравнил себя с Августом, напомнив, что и к этому принцепсу обращались с просьбой о назначении царя, но умолчал о Тиберии, хотя последний тоже дал правителя парфянам. Клавдий присовокупил несколько наставлений Мегердату, находившемуся в зале заседаний,— посоветовал ему считать себя не владыкой, повелевающим рабами, а правителем, призванным руководить гражданами, с подданными обращаться милосердно и справедливо, ибо,— добавил он,— они тем более высоко оценят эти достоинства, чем менее привыкли к ним. В этом месте принцепс повернулся к послам и с величайшей похвалой отозвался о Мегердате — подлинном воспитаннике Рима, отличавшемся до сих пор образцовой скромностью и умеренностью. «Нрав царей,— сказал Клавдий в заключение,— следует сносить терпеливо; частые смены правителей приносят государству только вред. Рим ныне сыт славой, а положение его столь блистательно, что он может пожелать мира и спокойствия также и пограничным с ним народам». Затем наместнику Сирии Гаю Кассию было дано распоряжение доставить юношу на берег Евфрата.

12. Кассий более всех своих современников был сведущ в законах: судить о том, что человек представляет собой как полководец, нельзя, если нет войны, а когда кругом царит мир, людей деятельных и энергичных не отличить от слабых и ленивых. Так или иначе, Кассий старался, насколько это возможно в мирную пору, восстановить в войсках старинную дисциплину, не дать легионам разлениться, и действовал все время обдуманно и предусмотрительно, будто готовясь к столкновению с врагом. Он полагал, что этого требует от него достоинство предков и слава рода Кассиев, гремевшая также и среди местных племен. Став лагерем возле Зевгмы, где переправа через реку наиболее удобна, он вызвал к себе тех, кто ходатайствовал перед Клавдием о присылке нового правителя; когда парфянские вельможи и арабский царь Акбар явились к нему, Кассий сказал им, что, начав дело, надо идти до конца, и посоветовал Мегердату затягивать войну, пока варвары не израсходуют первый пыл, а может быть, и перейдут на его сторону. Неопытный юноша, однако, предавшийся, едва судьба вознесла его, утехам и безделью, не стал следовать этим советам и поддался уговорам Акбара, который с коварными намерениями задержал его на много дней у города Эдессы.

13. Карен звал их, обещая, если они явятся немедленно, быстрый успех, но Мегердат и его сторонники, вместо того чтобы всту-

пить в расположенную поблизости Месопотамию, двинулись большим обходом в Армению, хотя приближавшая зима делала этот край неблагоприятным для ведения военных действий. Лишь при выходе на равнину обессилевшая скитаниями по заснеженным горам армия соединилась с войсками Карена. Перейдя реку Тигр, они вступили в земли адиабенов, царь которых Идзат явно поддерживал Мегердата, втайне же хранил верность Готардзу. По дороге они захватили древнюю столицу Ассирии город Нины и знаменитую крепость, возле которой произошла решающая битва между Дарием и Александром и закатилось могущество персов.

Между тем Готардз около горы Санбул возносил молитвы местным богам, среди которых главный — Геркулес. Жрецы его время от времени во сне получают от бога повеление поставить подле храма лошадей, снаряженных для охоты. Едва почувствовав на себе тяжесть наполненных стрелами колчанов, кони мчатся в лес и возвращаются, едва дыша от усталости, поздно ночью Бог же снова насылает на жрецов сон, в котором показывает им леса, где он охотился, и, придя туда, они повсюду находят распростертые трупы диких животных.

14. Готардз, пока не накопил достаточно сил, предпочитал отсиживаться за рекой Кормой; враги нападали на его войско, писали ему письма, всячески стараясь вызвать на бой, он же тянул время, передвигаясь с места на место и засылал в армию противника людей, которые подкупали сторонников Мегердата и убеждали их изменить своему вождю. Идзат-адиабен, а вскоре и Акбар со своими арабами, действительно, отложились от Мегердата, отчасти по непостоянству, столь свойственному этим народам, отчасти же потому, что варвары, как показал опыт, охотнее просят у Рима царей, чем подчиняются им. Лишившись столь сильной поддержки, опасаясь, что и остальные могут последовать примеру изменников, Мегердат решился на единственный шаг, который ему оставался — положиться на судьбу и дать бой. Теперь и Готардз, видя, как тает армия врага, поверил в свои силы и перестал уклоняться от сражения. Войска сошлись и долго бились, обливаясь кровью; победа клонилась то в одну сторону, то в другую; но вот обратились в бегство ряды, стоявшие напротив армии Карена, преследуя их, он вырвался далеко вперед, и его со всех сторон окружил свежий отряд противника. Потеряв все надежды, Мегердат доверился клиенту своего отца Парраксу, а тот обманул его, заковал в цепи и выдал победителю. Готардз не признал в нем ни родственника, ни Аршакида; назвав его чужеземцем и римлянином, он приказал отрубить ему уши и оставил жить — как свидетельство собственного великодушия и презрения к нам. Впоследствии

Готардз умер от болезни и на царство был призван Воноп, правивший в ту пору мидянами. После краткого и бесславного его царствования, не ознаменованного ни удачами, ни бедами и вообще ничем, достойным упоминания, власть над парфянами перешла к Вологезу — сыну Вонона.

15. Между тем Митридат Боспорский, лишенный власти и богатства и скитавшийся по чужим землям, узнал, что римский командующий Дидий с главными силами своей армии ушел из Боспора. Посаженный на новое царство Котис был юн и неопытен, оставленный при нем римский всадник Юлий Аквила располагал лишь несколькими когортами. Не обращая на них никакого внимания, Митридат объединяет местные племена, переманивает на свою сторону недовольных и, собрав, наконец, войско, изгоняет царя дандаридов и захватывает его престол. Узнав об этом и видя, что Митридат вот-вот вторгнется в пределы Боспора, Аквила и Котис решили не полагаться на свои силы, занятые борьбой со вновь взявшимся за оружие сиракским царем Дзорсином, а искать помощи на стороне. Они отправили послов к Евнону, правившему племенем аорсов, объяснили ему, сколь несоизмеримы силы римской державы и мятежника Митридата, и без труда добились союза. Договорились, что Евнон даст всадников, которые станут сражаться с конницей врага, а римляне возьмут на себя осаду городов.

16. Построившись, армия выступила в поход. Во главе и в хвосте ее двигались аорсы, середину составляли наши когорты и шедшие в римском строю боспорцы. Оттеснив противника, армия продвинулась до расположенного в земле дандаридов города Созы. Митридат еще раньше оставил этот город, но, так как настроение жителей казалось подозрительным, решено было разместить здесь гарнизон. Затем войска выступили против племени сираков и, перейдя реку Панду, обложили город Успе, расположенный на возвышенности и обнесенный стенами и рвами. Стены его, однако, сложенные, вместо камней, из корзин с землею и укрепленные плетнями, не могли удержать нападающих, которые построили высокие башни и оттуда бросали в город зажженные факелы и дроты, вызывавшие большое смятение среди осажденных. Если бы ночь не положила конец битве, осаду удалось бы начать и кончить в один и тот же день.

17. Назавтра жители выслали своих представителей, которые просили сохранить жизнь свободным гражданам и предлагали выдать десять тысяч рабов. Отказавшись принять капитуляцию, ибо убивать сдавшихся было бы слишком жестоко, содержать же такую массу людей под стражей — трудно, победители решили луч-

ше уничтожить их по праву войны и дали солдатам, уже поднявшимся на стены, сигнал начать резню. Гибель Успе навела ужас на жителей края. Ничто, казалось, не могло спасти их от армии, которую не в силах были остановить ни оружие и крепости, ни бездорожье или горы, ни реки и укрепленные города. Теперь и Дзорсин, до того долго колебавшийся между верностью Митридату, чье положение становилось все более безнадежным, и стремлением сохранить отцовский перстол, решил, наконец, подумать о спасении своего народа и, выдав заложников, простерся перед статуей цезаря. Все это принесло великую славу римскому войску — без потерь одержало оно множество побед и дошло почти до самой реки Танаиса, до которой теперь оставалось лишь три дневных перехода. На обратном пути, однако, счастье им изменило; часть армии возвращалась морем, суда выбросило на берега Тавриды, и варвары захватили их, убив при этом префекта когорты и много солдат вспомогательных войск.

18. Тем временем Митридат, убедившись, что на силу оружия ему рассчитывать не приходится, стал искать, кто бы согласился помочь ему из жалости. Брат его Котис, — некогда предатель, а впоследствии враг, — не внушал ему ничего, кроме страха. Среди римлян ни один не обладал такой властью, чтобы на его обещание сохранить Митридату жизнь можно было положиться. Наконец он остановил свой выбор на Евноне — личной вражды между ними не существовало, а недавно заключенный с нами союз делал царя аорсов весьма влиятельным. Одевшись так, чтобы весь его облик говорил о переживаемых бедствиях, и придав лицу соответствующее выражение, он вступил во дворец и пал к ногам Евнона. «Тот самый Митридат, — сказал он, — которого римляне столько лет тщетно ищут на суше и на море, ныне добровольно отдает себя в твои руки. Распоряжайся, как знаешь, судьбой одного из потомков великого Ахемена. Это имя — единственное, что враги не сумели у меня отнять».

19. Слава, сопутствовавшая имени Митридата, превратности его судьбы и благородство его речи произвели на Евнона сильное впечатление. Заставив Митридата встать и воздав ему хвалу за то, что он выбрал себе в заступники народ аорсов и их царя, Евнон тут же отправил к цезарю послов с письмом. Дружба между римскими императорами и царями великих народов, — писал он, — проистекает прежде всего из сходства их судеб. Его, Евнона, связывает с Клавдием, кроме того, и совместно одержанная победа. Но конец войны лишь тогда прекрасен, когда за ним следует прощение побежденных. Ничего ведь не отняли, например, у потерпевшего поражение Дзорсина. Вица Митридата несравненно

больше, и поэтому Евнон не просит ни сохранить ему власть, ни вернуть ему царство; единственное, о чем он молит,— не вести его за колесницей победителя во время триумфа и сохранить ему жизнь.

20. Клавдий, обычно милостивый к знатым чужеземцам, сомневался, принять ли Митридата как пленника, тем самым сохраняя ему жизнь, или лучше захватить его силой. Боль от нанесенного оскорбления и жажда мести толкали его к этому последнему решению, но против него возражали многие из приближенных императора. «Войну,— говорили они,— предстоит вести в краю, где на суше нет дорог, а на море гаваней, где цари свирепы, племена не знают оседлой жизни, почва скудна и бесплодна; воевать там долго — нестерпимо, действовать быстро — рискованно; победа принесет нам мало славы, поражение — много позора. Не лучше ли принять предложения Евнона и сохранить жизнь изгнаннику? Чем дольше он будет влачить свое нищенское существование, тем более жестокой казнью оно для него станет». Эти доводы возымели действие; Клавдий написал Евнону, что Митридат заслуживает образцового наказания и Рим располагает необходимыми силами, дабы покарать его. «Однако,— продолжал он,— уже наши предки положили, что с теми, кто молит о пощаде, надлежит обращаться столь же милостиво, сколь упорно и беспощадно следует карать врагов. Что касается триумфов, то на них место лишь народам и царям, не знавшим поражений».

21. После этого Евнон выдал Митридата, и тот был доставлен в Рим прокуратором Понта Килоном. Рассказывают, что он говорил с Клавдием более высокомерно, чем можно было ожидать в его положении, и повсюду передавали следующие, будто бы произнесенные им, слова: «Я не выдан тебе, а прибыл сам, по своей воле. Если не веришь, отпусти и попробуй сыскать». Лицо Митридата оставалось бесстрастным и тогда, когда его, окруженного стражей, выставили у ростр на обозрение народу. Килон получил консульские знаки отличия, Аквила — преторские.

22. При тех же консулах Агриппина, безудержная в своей ярости, оклеветала Лоллию, которую ненавидела как соперницу, в прошлом оспаривавшую у нее руку принцепса. Подосланный ею человек сообщил, будто Лоллия связана со звездочетами и магами и обращалась к идолу Аполлона Кларского с вопросами, касавшимися бракосочетания императора. Не выслушав обвиняемую, Клавдий выступил в сенате с речью, где сначала долго рассуждал о знатности Лоллии, напомнил, что она дочь сестры Луция Волузия, внучатная племянница Котты Мессалина, а в прошлом — жена Меммия Регула (о браке ее с Гаем Цезарем он умышленно не

сказал ни слова). После этого он заговорил о ее преступных замыслах, о необходимости лишить ее возможности нанести ущерб государству и кончил требованием выслать Лоллию из Италии, а имущество отобрать в казну. Из всех несметных богатств ей оставили только пять миллионов сестерциев. Тогда же едва не погибла и Кальпурния, женщина знатного рода, потому лишь, что Клавдий с похвалой отзывался о ее красоте; поскольку, однако, он упомянул об этом просто к слову и не проявил к ней никакого интереса, ярость Агриппины остыла на полпути, и Кальпурния осталась в живых. К Лоллии был послан трибун, ускоривший ее смерть. Был осужден также и Кадий Руф — на основании закона о вымогательстве, по обвинению, возбужденному жителями Вифинии.

23. За особое почтение к римскому сенату, проявляемое жителями Нарбоннской Галлии, сенаторам этой провинции было разрешено пользоваться правом, которым обладали представители Сицилии, и посещать свои владения, не испрашивая каждый раз разрешения принцепса. Земли итуреев и иудеев, после смерти правивших этими народами царей Сохэма и Агриппы, были включены в состав провинции Сирии. Принято решение восстановить не исполнявшийся в течение семидесяти пяти лет обряд вопрошения о благах мира и впредь отправлять его ежегодно. Цезарь расширил также границы города, следуя старинному установлению, согласно которому тот, кто раздвинул пределы державы, имел право увеличить и площадь Рима. Из римских полководцев, однако, никто, за исключением Луция Суллы и божественного Августа, не пользовался этим правом, хотя среди них и были мужи, подчинившие великие народы.

24. О том, что заставляло царей расширять границы города — пустое тщеславие или жажда подлинной славы — говорят по-разному, однако каждому, я думаю, будет небезынтересно узнать, как строились стены города и какие пределы положил ему Ромул. Так вот, — борозда, очерчивавшая границы поселения, начиналась от Бычьего рынка, с того места, где теперь стоит бронзовое изваяние быка (ибо в плуг запрягают быков), и была проведена с таким расчетом, чтобы захватить большой жертвенник Геркулеса. Отсюда расставленные через определенные промежутки камни шли вдоль основания Палатинского холма к жертвеннику Конса, а оттуда мимо Старой Курии и ограды жертвенника Ларам — к Римскому Форуму. Что касается самого Форума и Капитолия, то их, как принято считать, включил в черту города не Ромул, а Тит Татий. Позже, с ростом могущества Рима, расширялись и его пределы. Границы же, которые провел Клавдий, узнать нетрудно; о них рассказано в надписях, выставленных на всеобщее обозрение.

25. В консульство Гая Антия и Марка Суллия Паллант, который был близок к Агриппине, благодаря роли, сыгранной им в устройстве ее брака, а теперь еще и вступивший с ней в преступную связь, стал торопить Клавдия с усыновлением Домиция, убеждая его подумать о будущем государства и о необходимости дать защитника малолетнему Британнику. Ссылаясь на пример божественного Августа, который, имея возможность опереться на внуков, тем не менее всячески выдвигал сыновей жены от первого брака, и на Тиберия, усыновившего Германика и оказавшего ему предпочтение перед собственными детьми, Паллант советовал Клавдию приблизить к себе юношу, способного разделить с ним государственные заботы. Соображения эти возымели свое действие, и принцепс выступил в сенате с речью, где повторил доводы, внушенные ему отпущенником; так Домиций оказался вознесенным над Британником, старше которого он был на три года. Сведущие люди отметили по этому поводу, что до той поры среди патрициев Клавдиев не было ни одного случая усыновления, и род этот длился без перерывов, начиная от Атта Клавза.

26. С целью сделать приятное принцепсу, а скорее для того, чтобы польстить новому наследнику, было принято постановление, по которому Домиций вводился в семью Клавдиев и получал имя Нерона. Возвеличили также и Агриппину, присвоив ей имя Августы. После всего этого ни один, самый жестокосердный, человек не мог не сокрушаться при мысли о судьбе, ожидавшей Британика. Постепенно даже рабы перестали ему прислуживать; мачеха время от времени оказывала ему любезности, но мальчик лишь потешался над этими неуклюжими попытками, неискренность которых была ему очевидна. Многие, действительно, рассказывают, что он отличался неробким правом — то ли так оно и было на самом деле, а может быть, молва эта и не основана ни на чем, кроме обрушившихся на него несчастий.

27. Дабы показать свое могущество также и союзным народам, Агриппина добилась вывода ветеранов в то поселение в земле убиев, где она родилась, и создания там колонии, которой было присвоено ее имя. По случайному стечению обстоятельств, когда это племя еще только перешло Рейн, его принимал в число союзников дед Агриппины Агриппа.

Около того же времени в Верхней Германии начались волнения, вызванные вторжением хаттов, чинивших грабежи и насилие. Легат Публий Помпоний выслал против них вспомогательные войска, состоявшие из вангионов и неметов, присоединив к ним отряд союзнической конницы, и приказал им либо сразиться с врагами в открытую, либо неожиданно напасть на них, когда те раз-

бредутся по округе. Солдаты постарались выполнить все, что велел командующий. Они разделились на две колонны, и та из них, что пошла налево, окружила и уничтожила хаттов, которые только перед этим вернулись с добычей, пропили награбленное и во время нападения крепко спали. Радость победы была тем большей, что солдатам удалось освободить здесь несколько человек, попавших в рабство сорок лет назад при разгроме армии Вара.

28. Та колонна, которая пошла направо, более коротким и удобным путем, нанесла врагу, решившемуся двинуться ей навстречу и вступить в бой, еще более тяжелое поражение. Нагруженные добычей и покрытые славой, солдаты вернулись к горе Тауну, где стоял Помпоний с легионами; он рассчитывал, что охваченный жаждой мести противник даст ему повод для нового сражения. Опасаясь, однако, что на них с одной стороны могут напасть римляне, а с другой их вечные враги херуски, хатты отправили в Рим послов и выдали заложников. Помпонию были присуждены почести, подобающие триумфатору. Среди потомков, однако, об этом помнят немногие, ибо слава, которую он завоевал своими стихами, затмила его известность как полководца.

29. Тогда же примерно был свергнут со своего престола Ванний, которого посадил царем над свевами еще Друз Цезарь. В начале своего правления он завоевал любовь народа и громкую славу, но после долгих лет пребывания у власти изменился, стал презирать всех и вся, и вскоре вокруг него не осталось ничего, кроме ненависти, которую питали к нему соседи, и козней, которые строили против него соплеменники. Зачинщиками всего дела стали царь гермундуров Вибиллий и дети сестры Ванния Вангион и Сидон. Клавдий, несмотря на многочисленные просьбы, не стал посылать войска и вмешиваться в борьбу варваров между собой, обещав, однако, Ваннию надежное убежище на случай, если он будет изгнан из своих владений. Он написал также наместнику Паннонии Пальпелию Гистеру и велел ему расположить вдоль берега один из легионов и набранные в самой провинции вспомогательные войска, готовые прийти на помощь побежденным и навести страх на победителей, если последние, опьяненные успехами, решатся перейти границу и нарушить царящий у нас мир, ибо молва о богатствах свевов, которые Ванний умножал грабежами и поборами в течение тридцати лет, привлекла сюда несметные полчища лугиев и других народов. Силы, которыми располагал Ванний, — свевское ополчение в пешем строю и конница, набранная среди сарматов и язигов, — явно уступали врагу в численности, и он поэтому решил отсиживаться за своими укреплениями и всячески затягивать войну.

30. Однако язиги, слишком нетерпеливые, чтобы выносить осаду, рассыпались по соседним равнинам, луги и гермундуры бросились на них, и Ванний оказался вынужденным принять бой. Армия его вышла из своих укреплений и была разбита; однако сам он, несмотря на поражение, стяжал громкую хвалу, ибо не только командовал войсками, но лично участвовал в сражении, грудью шел на врага и был ранен в бою. Так или иначе, ему пришлось бежать и искать спасения на кораблях, ожидавших его на Дунае. Вскоре за ним последовали его клиенты, всем им дали землю и разместили в Паннонии. Вангион и Сидон разделили между собой царство и на редкость добросовестно выполняли свои обязательства по отношению к Риму.

Теперь, когда они достигли престола, подданные — то ли каждый по своим причинам, то ли так уж свойственно всем, кто находится в подчиненном положении — возненавидели обоих братьев еще более страстно, чем любили их в пору борьбы за власть.

31. Между тем Британния встретила пропретора Публия Остория волнениями и беспорядками. Рассчитав, что наступает зима и новый, еще незнакомый с армией, командующий не решится выступить против них, враги вторглись в пределы союзных племен. Осторий знал, однако, что страх врагов и доверие солдат — все зависит от первых его шагов. Во главе легковооруженных когорт он уничтожает тех, кто пытается оказать ему сопротивление, и стремительно преследует бегущего в беспорядке противника. Мир, заключенный в этих условиях, когда враги еще пылали ненавистью к победителям и каждую минуту могли опять взяться за оружие, не принес бы отдыха ни командующему, ни солдатам. Чтобы помешать варварам снова собраться с силами, Осторий решил разрушить племена, внушавшие ему подозрения, и постоянно держать их под угрозой, построив с этой целью лагеря между реками Авонной и Сабриной. Против этих его намерений первыми восстали ицены — сильное племя, добровольно вступившее с нами в союз и потому не ослабленное войной; окружающие народности последовали их примеру. Вскоре они нашли место, где собирались дать нам бой — окруженное чем-то вроде вала, с узкими и неудобными подходами, по которым, как они рассчитывали, не сумеет пройти конница. Легионов у римского полководца не было, он располагал лишь силами союзников, но решил тем не менее прорвать укрепления врага и, распределив обязанности между когортами, приказал конникам действовать в пешем строю. Прозвучал сигнал, солдаты преодолели насыпь и обратили в замешательство противника, стесненного своими же укреплениями. Понимая, что мятежникам пощады не будет, и видя, что путей к отступлению нет, варвары

доблестно сражались и совершили множество славных подвигов. Сын легата Марк Осторий заслужил в этом бою почетную награду, полагающуюся за спасение жизни римского гражданина.

32. После разгрома иценов все, кто дотоле еще колебался между войной и миром, пришли в повиновение, и армия выступила против племени цеангов. Поля их были опустошены, имущество разграблено; вступить в битву они не решились, те же, кто пытался нападать из засады, подверглись наказанию. Армия была уже недалеко от моря, омывающего остров Ибернию, когда вспыхнувшие среди бригантов волнения заставили командующего повернуть назад — он всегда оставался верным правилу не начинать нового дела, не доведя до конца прежнего. После того, как немногие мятежники были перебиты, а остальные прощены, среди бригантов воцарилось спокойствие. Племя силуров, однако, не удавалось подчинить нашей власти ни жестокостью, ни добром. По всякому поводу они брались за оружие, и, чтобы справиться с ними, решено было расположить в их владениях лагерь легионов. Кроме того, на отнятых у силуров землях основали комулудунскую колонию ветеранов в надежде, что это поможет быстрее сломить сопротивление племени: ветераны представляли собой значительную боевую силу, готовы были в любой момент выступить против врага, союзников же могли научить подчиняться законам.

33. Лишь после всего этого Осторий выступил против силуров. Люди этого племени рассчитывали не только на собственную храбрость, но и на способности царя Каратака, который прославился и своими несчастьями, и своими удачами и теперь слыл первым среди вождей британских племен. Каратак был хитер, ловок, умел использовать местность, где врага на каждом шагу подстерегали тайные опасности; армия его, однако, уступала нашей в численности, и он перенес войну на земли племени ордовиков; после того как к Каратаку стеклись все, кому не по душе был вводимый римлянами порядок, он отважился на решающее сражение и выбрал для него место, подступы к которому, пути отхода и все вокруг было неблагоприятно для нас и выгодно для них: с одной стороны круто поднимались горы, там же, где склон становился более пологим, его перегородили нагроможденными в виде вала камнями; перед валом протекала река, брода через которую никто не знал; впереди всех укреплений расположились толпы вооруженных британцев.

34. Вожди племен расхаживали среди своих бойцов, подбадривали их, убеждали держаться стойко, преуменьшали опасности, преувеличивали надежды — повторяли все, что принято говорить для поднятия духа армии. Каратак появлялся всюду и, обращаясь

к войскам, твердил, что ныне они вступают в битву, которой суждено «положить начало нашему освобождению или сделать нас рабами навеки», он взывал к теням предков, «что прогнали с нашей земли диктатора Цезаря, доблестью своей оградили нас от казней и поборов, а жен и детей наших — от поругания». Толпа гулом отвечала ему всякий раз, как он произносил эти или подобные слова, люди клялись перед богами своих племен, что ни оружие, ни раны не заставят их отступить.

35. Римский полководец стоял, ошеломленный видом бушующего варварского войска. Перед ним текла река, за ней виднелся вал, в небо уходили кряжи гор, все сулило гибель, все было усыпано врагами. Но солдаты требовали боя, кричали, что для доблести нет преград, префекты и трибуны вторили им, растущее возбуждение охватывало армию. Осторий стал оглядывать местность, увидел, что некоторые позиции противника, действительно, неприступны, другие же вполне преодолимы, двинулся с армией вперед и вскоре без труда выбрался на противоположный берег реки. Пока римляне стояли под валом и обе стороны осыпали друг друга стрелами и камнями, наши потери ранеными и убитыми были больше. Но вот построилась «черепаша», под ее прикрытием солдаты разметали беспорядочные нагромождения каменных глыб, завязался бой на ровном месте, и, когда он перешел в рукопашную, варвары отступили в горы. Солдаты преследовали их и там. Легковооруженные рвались вперед, метали в противника дротики, легионеры двигались сомкнутым строем; ряды британцев смешались. Ни панцирей, ни шлемов у них не было, и, если они пытались дать отпор бойцам вспомогательных отрядов, их поражали мечи и копья легионеров, стоило им обернуться против этих новых врагов, как они падали под ударами копий союзников и их широких обоюдоострых мечей. То была славная победа. В плен попали жена и дочь Каратака, а братья его сдались добровольно.

36. Сам Каратак решил укрыться у Картимандуи, но, если человек в беде, нет для него надежного убежища — царица бригантов приказала заковать его в цепи и выдала победителям. Девять лет сражался Каратак против римлян, и это принесло ему славу, которая перешагнула пределы его родного острова, распространилась по соседним провинциям и гремела даже в Италии. Все хотели увидеть человека, сумевшего столько лет противостоять нашему могуществу. В Риме он тоже пользовался немалой известностью, и цезарь, хотя и стремился лишь возвеличить самого себя, придал еще больше блеска его имени: как будто в ожидании невиданного зрелища, собрался отовсюду народ, когорты преторианцев в полном вооружении выстроились на поле, простиравшемся перед их

лагерем, и лишь тогда на него вступили кленты царя; следом несли фалеры, шейные украшения и другую добычу, взятую Каратаком в войнах с врагами, затем появились его братья, жена, дочь и, наконец, он сам. Речи их, вынужденные страхом, были жалки, один Каратак не склонил лица, не произнес ни слова о пощаде. Став перед трибуналом, он начал так.

37. «Если бы среди всех удач я сумел не только быть богатым и знатым, но также остаться трезвым и умеренным, то сейчас, наверно, как друг, а не как пленник вступал бы я в этот город, и ты не счел бы для себя зазорным заключить союз с человеком, происходящим от славных предков и повелевающим многими народами. Положение, в котором я нахожусь сейчас, — свидетельство твоего величия и моего позора. Я владел конями и воинами, оружием и деньгами — надо ли удивляться, что я не хотел их отдавать? Вы стремитесь покорить себе все народы; отсюда не следует, что все согласны стать рабами. Сдайся я сразу, без борьбы, это не принесло бы славы ни тебе, ни мне — я был бы казнен и обречен забвению. Но если теперь ты даруешь мне жизнь, память обо мне, а тем самым и о твоём великодушии сохранится на века». Выслушав эту речь, цезарь даровал прощение самому Каратаку, его жене и братьям. С них сняли оковы, и они с теми же словами хвалы и благодарности, какими только что славили принцепса, обратились к Агриппине, находившейся тут же, на другом помосте. Женщина, стоящая во главе боевых значков римской армии, — то было странное зрелище, чуждое правам наших предков, но Агриппина хотела, чтобы в ней видели соправительницу империи, созданной ее дедами и прадедами.

38. Вскоре сенаторов созвали на заседание, где они долго и возвышенно рассуждали о пленении Каратака и сравнивали его с подвигами Публия Сципиона, захватившего Сифака, Луция Павла, полонившего Персея, и других полководцев, приводивших в Рим и выставлявших на обозрение народа закованных в цепи царей. Осторожно были присуждены триумфальные отличия. Дела его, до той поры шедшие удачно, вскоре расстроились, то ли потому, что падение Каратака воспринималось всеми как признак скорого окончания войны и войска наши стали сражаться с меньшей энергией, то ли скорбь, вызванная утратой столь значительного полководца, заставила врагов мстить за него с удвоенной яростью. Они окружили префекта лагерей и когорты легионеров, оставленных для строительства укреплений на землях силуров, и, если бы из соседних крепостей не сумели вовремя выслать гонцов и осажденным не была срочно оказана помощь, они бы погибли все до единого. И так убиты были префект, восемь центурионов и самые

отважные бойцы в манипулах. Некоторое время спустя нападению подверглись действовавшие самостоятельно наши фуражиры и конные отряды, высланные на их поддержку.

39. Осторий бросил против врага легковооруженные когорты, однако и это не остановило бегства; только когда в дело вступили легионы, ход битвы выравнился; вскоре победа начала склоняться на нашу сторону, но наступившие сумерки позволили противнику ускользнуть, отделавшись незначительными потерями. Теперь сражения завязывались чуть не каждый день; чаще всего, правда, они походили на стычки разбойников — противники, движимые то слепым случаем, а то и жадной славой, сгоряча или по заранее обдуманному плану схватывались в лесах и болотах, стремясь дать выход своей ярости или захватить побольше добычи, действуя иногда по приказу командиров, а иногда и без их ведома. Особенно упорно сражались силуры; римский командующий как-то сказал, что это племя должно быть стерто с лица земли, подобно тому как некогда были уничтожены или переселены в Галлию сугамбры; слова эти дошли до силуров, и ненависть их разгорелась еще пуще. Они неожиданно напали на две вспомогательных когорты, бойцы которых, подстрекаемые алчными префектами, увлеклись грабежом и не приняли нужных мер предосторожности. Захваченную здесь добычу и пленных силуры принялись щедро раздавать по соседним племенам, стремясь увлечь на путь мятежа и их, как вдруг Осторий, измученный делами и заботами, все более его угнетавшими, неожиданно умер. Враги были весьма обрадованы тем, что столь незаурядный полководец погиб, если и не в бою с британцами, то все же во время войны с ними.

40. Узнав о смерти легата, цезарь, дабы не оставлять провинцию без наместника, послал в Британию Авла Дидия. Несмотря на быстроту, с которой Дидий проделал весь путь, он застал дела в еще худшем состоянии, чем прежде, ибо тем временем произошла битва, где был разбит легион под командованием Манлия Валента. Враги распространили преувеличенные слухи об этом сражении, дабы запугать новоприбывшего командующего, он же, в свою очередь, раздувал их, рассчитывая, что это поможет ему в случае победы стяжать больше славы, а в случае неудачи легче оправдаться. Это поражение нам опять напесли силуры; набеги их захватывали все новые земли, пока поспешно прибывший сюда Дидий не заставил их отступить.

После того как Каратак попал в плен, самым сведущим в военном искусстве у британцев оказался Венуций из племени бригантов. Как я уже говорил, пока он был мужем царицы Картимандуи, он неизменно хранил верность римлянам и пользовался их воору-

женной поддержкой. Впоследствии он расстался с царицей, между ними вспыхнула война, и Вепуций обратил оружие также и против нас. На первых порах, однако, они враждовали только между собой; в этой борьбе Картимандуя сумела хитростью и коварством захватить брата и родных Вепуция, что вызвало ярость ее противников; одна мысль о возможности попасть под власть женщины казалась им нестерпимой. Они отобрали самых крепких среди своих молодых людей, дали им оружие, и те устремились ко дворцу царицы. Наши предвидели это и выслали ей на помощь когорты, вступившие в ожесточенный бой, который сначала шел с переменным успехом, но к концу принял более благоприятный для нас оборот. Неплохо показал себя в этом сражении и легион, которым командовал Цезий Назика: обремененный годами и почестями, Дидий предпочитал действовать через доверенных лиц и их руками наносить поражения врагу.

Я объединил в одном рассказе события, в действительности происходившие на протяжении многих лет при двух разных пропреторах, Остории и Дидии, ибо, изложенные разбросанно и без связи, они могли бы утратить свою значительность и стереться из памяти людей. Возвращаюсь к описанию событий по порядку.

41. В консульство Тиберия Клавдия (в пятый раз) и Сервия Корнелия Орфита Нерону, как бы с целью показать всем, что он уже созрел для управления государством, было до срока разрешено надеть мужскую тогу. Цезарь охотно уступил также лъстивым настояниям сенаторов, требовавших присвоить Нерону на двадцатом году жизни консульское достоинство, а еще до того вручить ему как кандидату на эту должность проконсульскую власть вне Рима и дать право называться принцепсом юношества. От его имени солдатам роздали денежные подарки, а народу — угощение. Чтобы завоевать расположение черни, устроили цирковые игры, во время которых перед зрителями проехали Британник, в претексте, и Нерон — в одеянии триумфатора. Предполагалось, что, увидев одного в императорском облачении, а другого в детском платье, народ яснее поймет, какая судьба ожидает каждого из них. Одновременно были устранены центурионы и трибуны, с сочувствием относившиеся к Британнику, — одних, придумав какой-нибудь повод, перевели, другим предложили почетное повышение по службе. Убрали также самых неподкупных и верных его отпущенников, воспользовавшись следующим случаем. Однажды, приветствуя брата при встрече, Нерон назвал его Британником, тот, отвечая, употребил имя «Домиций». Агриппина тут же доложила мужу об этом происшествии, в котором она, горько сетуя, усматривала начало грядущей смуты. «Здесь, в нашем доме, — жаловалась она, — пре-

небрегают законом об усыновлении, законом, который принял сенат, которого требовал народ. Все это козни наставников Британика, и если не принять против них меры, они могут стать опасны для общества». Клавдий, взволнованный ее словами так, будто перед ним раскрылся целый государственный заговор, приказал сослать или казнить лучших наставников своего сына и окружил его людьми, которые были назначены Агриппиной и больше напоминали стражников, чем воспитателей.

42. О свершении самых далеко идущих своих замыслов, однако, Агриппина не смела помышлять до тех пор, пока преторианскими когортами командовали Лузий Гета и Руфрий Криспин, ибо она полагала, что оба до сих пор помнят о Мессалине и преданы ее детям. Поэтому она убедила мужа, будто соперничество префектов ведет к распрям в когортах и будто дисциплина станет строже, если сосредоточить власть в руках одного человека. Командование преторианцами было передано Афранию Бурру, который славился как выдающийся военачальник и при этом хорошо понимал, кому он обязан своим возвышением. Еще больших почестей добилась Агриппина для себя — она в колеснице поднялась на Капитолий, присвоив себе право, с древних пор принадлежавшее лишь жрецам и изображениям богов; имя ее теперь оказалось окружено подлинно религиозным поклонением: она и доньне остается единственной женщиной, которая, родившись от императора, была также сестрой, женой и матерью верховных правителей империи. При всем том главный ее защитник, Вителлий, осыпанный милостями и на склоне лет, едва не попал в число государственных преступников — таким уж превратностям подвержена судьба людей, находящихся на вершине власти. Сенатор Юний Луп донес на него, обвинив в оскорблении величия и стремлении к захвату власти. Цезарь готов был прислушаться к этим обвинениям, но Агриппина скорее угрозами, чем просьбами заставила его изменить мнение и лишить доносчика воды и огня. На большем Вителлий не настаивал.

43. В тот год было множество чудесных знамений. Зловещие птицы опустились на Капитолий, от частых землетрясений рушились дома, и толпа, в ужасе метавшаяся по улицам в ожидании новых подземных толчков, затаптывала увечных. Не хватало продовольствия, началась голод, и в этом тоже люди видели кару, ниспосланную богами. Недовольство перестало быть тайным — когда Клавдий вел дела в суде, толпа со злобными криками окружила его, оттеснила, угрожая расправой, в дальний угол форума, и только отряд солдат вызволил принцепса, разогнав разъяренную чернь. Было известно, что в столице осталось припасов не больше,

чем на пятнадцать дней; лишь великая милость богов да мягкая зима спасли нас от беды. А ведь в старицу Италия отправляла обозы с продовольствием своим разбросанным по дальним провинциям легионам, не страдает она от недородов и теперь, но мы сами предпочитаем возделывать поля в Африке и в Египте и ставить жизнь римских граждан в зависимость от случая и от воли ветров.

44. В тот год между армянами и иберами началась война, ставшая причиной серьезных раздоров также между парфянами и римлянами. Парфянами в ту пору правил Вологез, он был сыном гречанки-наложницы и сделался царем лишь потому, что братья сами уступили ему престол; иберами владел Фарасман по праву, издавна принадлежавшему его роду, армянами брат его Митридат — по милости римлян, оказывавших ему поддержку оружием и деньгами. У Фарасмана был сын по имени Радамист, благородной внешности и невиданной силы, преданный обычаям родной страны; добрая слава шла о нем также и среди соседних племен. Радамист столь часто и раздраженно говорил о своем отце, который-де, несмотря на старость, до сих пор владеет маленьким иберским царством, что вряд ли можно было сомневаться в его намерениях. Видя приближение старости, Фарасман решил привлечь к другим целям внимание юноши, внушавшего ему ужас своим нетерпеливым стремлением к власти и любовью, которой он пользовался в народе. Он стал говорить сыну об Армении, напомнил, что после изгнания парфян сам уступил этот край брату, но посоветовал до времени держать планы нападения в тайне и действовать хитростью, дабы застать Митридата врасплох. Сделав вид, будто он не в состоянии сносить ненависть мачехи и потому поссорился с отцом, Радамист бежал к дяде. Тот принял его весьма ласково, как собственного сына, осыпал наградами и почестями, Радамист же за спиной ничего не подозревавшего дядя переманил самых знатных армян на свою сторону.

45. Затем он прикинулся, будто примирился с отцом, и, вернувшись, сообщил ему, что в той мере, в какой можно было действовать хитростью, сделано все и что остального можно добиться только оружием. Тем временем Фарасман нашел предлог, чтобы начать военные действия: в своей борьбе с царем альбанов он хотел использовать силы римлян, Митридат воспрепятствовал этому, и теперь-де ему, Фарасману, не остается ничего, кроме как выступить против брата и заставить его смертью искупить нанесенное оскорбление. Тут же он собирает большое войско и поручает сыну командование над ним. Внезапно вторгшись в пределы Армении, Радамист вынуждает перепуганного Митридата уйти с равнины и запереться в крепости Горнах, где он мог чувствовать себя в без-

опасности как из-за неприступного местоположения, так и благодаря находившемуся здесь гарнизону, которым командовали префект Целий Поллион и центурион Касперий. Нет искусства более чуждого варварам, чем применение военных машин и приемы осады городов, тогда как нам эта сторона военного дела известна лучше всего. Попытки Радамиста преодолеть укрепления не принесли ему ничего, кроме потерь, он начал было осаду крепости, но, убедившись, что силой здесь не справиться, решил использовать алчность префекта и подкупить его деньгами. Касперий протестовал, доказывая, насколько недопустимо, чтобы царь — союзник Рима, и Армения, полученная некогда в дар собственностью римского народа, пали жертвой коварства и любви к деньгам, но ничего не мог поделать ни с Поллионом, ни с Радамистом — один ссылаясь на невозможность бороться с численно превосходящим врагом, другой утверждал, что не вправе ослушаться отцовского приказа. Наконец, видя, что он не может силой заставить Фарасмана прекратить войну, Касперий убедил противников заключить хотя бы временное перемирие и уехал к префекту Сирии Уммидию Квадрату, дабы доложить ему об обстановке, которая складывается в Армении.

46. С отъездом центуриона префект точно вырвался из-под стражи и принялся убеждать Митридата пойти на заключение мирного договора. Он говорил о единении, которое должно существовать между братьями, о том, что Фарасман старший по возрасту, о других связывающих их родственных отношениях, напоминал, что Митридат женат на дочери Фарасмана, а сам приходится Радамисту тестем. «Ведь иберы, несмотря на перевес сил, не отказываются от примирения, коварство же армян известно всем. У нас не осталось ничего, кроме этой крепости, где продовольствие тает с каждым днем. Ясно, что договор, избавляющий нас от кровопролития, следует предпочесть войне, исход которой сомнителен». Митридат выслушивал его доводы, но продолжал медлить. Он знал, что префект некогда силой овладел царской наложницей, что он продажен и способен на любую мерзость, и намерения его внушали царю подозрения. Тем временем Касперий успел добраться до Фарасмана и потребовал, чтобы иберы прекратили осаду. В разговорах с центурионом Фарасман держал себя уклончиво, заверял его в своей готовности пойти на примирение, сам же тем временем слал к сыну одного тайного гонца за другим, требуя взять крепость немедленно и любыми средствами. Радамист обещал префекту за измену еще больше денег. Поллион тайком подкупил солдат, и те потребовали перемирия, угрожая в противном случае прекратить оборону. Митридат оказался вынуж-

ден согласиться на встречу в то время и в том месте, которые были предложены ему для заключения мирного договора, и вышел из крепости.

47. Сначала Радамист бросился к нему в объятия, назвал тестем и родным, всячески показывая, будто готов удовольствоваться подчиненным положением, и поклялся ни ядом, ни оружием не посягать на его жизнь. Тут же он предложил Митридату пройти в расположенную неподалеку рощу, где все было приготовлено для жертвоприношения, ибо, много раз повторил он, «надо, чтобы боги своим присутствием освятили наш договор». У царей существует обычай — при заключении союза сплести правые руки и тугим узлом охватывать большие пальцы, от легкого удара скопившаяся в последнем суставе кровь выступает наружу, и каждый слизывает ее с руки другого; договор, заключенный при исполнении этого колдовского обряда, считается как бы освященным кровью. На этот раз человек, подошедший, чтобы перевязать им руки, сделал вид, будто оступился и, охватив колени Митридата, повалил его на землю, еще несколько тут же набросились на него, связали и поволокли на веревке, что считается у варваров высшим бесчестьем. Сбежался народ, он привык к жестокости властителей и с тем большей яростью осыпал теперь царя проклятиями и побоями; другие, пораженные столь внезапной переменой судьбы и исполненные жалости, пытались помешать им; царица, окруженная малыми детьми, шла вслед за мужем и оглашала воздух жалобами. Их посадили в разные, закрытые пологом, повозки, а к Фарасману отправили гонцов за дальнейшими распоряжениями. В этой душе, готовой на любое преступление, жажда власти давно уже заглушила чувства и брата, и отца, и он был озабочен лишь тем, чтобы убийство совершилось не у него на глазах. Радамист, как бы помня о данном слове, действительно не посягнул на жизнь сестры и дяди ни ядом, ни оружием; он приказал бросить их на землю и завалить множеством тяжелых ковров, под которыми они и задохнулись. Сыновей Митридата убили тоже — за то, что они оплакивали гибель родителей.

48. Тем временем Квадрат, узнав, что Митридат пал жертвой предательства и Армения находится в руках его убийц, созвал своих приближенных, рассказал им о происшедшем и спросил, следует ли наказывать врагов. Лишь очень немногие думали о достоинстве государства, большинство советовало не вмешиваться. «Распри среди врагов и преступления их друг против друга,— говорили они,— не должны вызывать у нас ничего, кроме радости. Более того, нам следует давать им все новые поводы для раздоров. Именно так поступали многие римские принцепсы, щедро предо-

ставлявшие тому или иному царю власть над Арменией с единственной целью вызвать волнения среди варваров. Заставьте Радамиста бежать, и он тут же окажется изгнанником, окруженным почетом и славой; нам несравненно выгоднее, чтобы он владел царством, захваченным с помощью злодеяния, и продолжал вызывать презрение и ненависть». Однако, дабы не создавать впечатления, что злодеяние остается безнаказанным, и опасаясь, как бы цезарь не прислал иных распоряжений, к Фарасману послали гонца с требованием оставить Армению и отозвать сына.

49. Прокуратором Каппадокии был в эту пору Юлий Пелигн — человек всеми презираемый за трусость и уродство, но тем не менее близкий Клавдию, который, не став еще принцепсом, любил тешить свою лень беседой с подобными шутами. Собрав из жителей провинции вспомогательные когорты, этот Пелигн двинулся в путь как бы для того, чтобы восстановить положение в Армении, но больше грабил союзников, чем врагов. Войско его разбежалось, для защиты от варваров, тревоживших его своими набегами, ему нужны были силы, и он явился за помощью к Радамисту. Последний подарками привлек прокуратора на свою сторону. Пелигн сам посоветовал ему возложить на себя царский венец, присутствовал при этом и играл роль пособника в той церемонии, которая на самом деле и состояться-то могла только с его разрешения. Слухи о его позорном поведении разошлись весьма широко, и решено было принять меры, дабы люди не думали, что все римляне похожи на Пелигна. В Армению во главе своего легиона был отправлен легат Гельвидий Приск с поручением навести порядок, сообразуясь с обстоятельствами. Гельвидий быстро переправлял через горы Тавра и, действуя больше умеренностью, чем силой, уладил было положение, но получил приказ вернуться в Сирию, ибо дальнейшее пребывание его в Армении грозило вызвать войну с парфянами.

50. Дело в том, что Вологез счел обстановку благоприятной и намеревался захватить Армению, которая некогда была достоянием его предков, отторгнутым, как он уверял, лишь происками чужеземных властителей. Он собрал войско и рассчитывал посадить на армянский престол своего брата Тиридата — таким образом, у каждого члена его семьи было бы свое царство. Парфяне перешли границу, иберы оставили страну без боя, и новые хозяева подчинили себе армянские города Артаксаты и Тигранокерт. Вскоре, однако, наступила зима; из-за лютых морозов и нехватки продовольствия в армии начался мор, и Вологез был вынужден отказаться от своих завоеваний. Страна больше не принадлежала никому, и в ее пределы вновь вступил Радамист, еще более свирепый

и безжалостный, чем прежде, в каждом видевший теперь изменника, каждого подозревавший в намерении взбунтоваться при первом удобном случае. Армяне привыкли к рабству, но на этот раз даже они не выдержали и с оружием в руках окружили царский дворец.

51. Теперь Радамисту оставалось надеяться только на быстроту коней, уносивших его вместе с женой. Жена его была беременна, сначала она крепилась из страха перед врагами и любви к мужу, но скачка продолжалась, ей растрясло живот, и она стала просить, чтобы ее лучше убили, но не оставляли на плен и поругание. Обняв жену, Радамист снова усаживал ее в седло, убеждал взять себя в руки, то восхищался ее доблестью, то бледнел от ужаса при мысли, что она может достаться врагам. Наконец, любовь заставила его решиться, злодейство было ему не внове, и он вытащил свой кривой меч. Он отнес к Араксу израненное тело и бросил его в реку, чтобы даже труп ее не достался преследователям, сам же еще быстрее помчался к иберской границе и вскоре добрался до отцовских владений. Однако Зенобия (так звали эту женщину), попав в прибрежное мелководье, вскоре начала дышать и постепенно ожила. Пастухи нашли ее, увидели, как она красива, как богато одета, решили, что то должна быть женщина знатная, перевязали ей раны и стали лечить своими народными средствами; когда же они узнали, как ее зовут и что с ней произошло, то отнесли ее в город Артаксаты. Отсюда Зенобию на средства города отправили к Тиридату; он принял ее ласково и обращался с ней как с царицей.

52. В консульство Фавста Суллы и Сальвия Отона был отправлен в ссылку Фурий Скрибониан за то, что он якобы пытался выяснить у магов, скоро ли умрет принцепс. В обвинении говорилось и о поведении матери его Вибии, которая была сослана еще раньше и недостаточно покорно сносила свою участь. Отец Скрибониана был тот самый Камилл, который в свое время поднял восстание в Далмации, и цезарь, вторично сохраняя жизнь члену этой враждебной ему семьи, хотел доказать всем свое великодушие. Скрибониан, однако, недолго прожил в изгнании и вскоре умер, случайно или от яда, сказать трудно; на этот счет были разные мнения. Сенат принял постановление об изгнании из Италии звездочетов — очень суровое и ничего не давшее. Принцепс произнес речь, в которой воздал хвалу сенаторам, которые из-за бедности своих семей добровольно покинули сенаторское сословие; не сделавшие этого и таким образом к бедности своей добавившие еще и наглость, были из сената исключены.

53. Тогда же отцы-сенаторы рассмотрели доклад о мерах наказания женщинам, прелюбодействующим с рабами. Постановили,

что, если прелюбодеяние совершалось без ведома хозяина, их следует обращать в рабство, если же хозяин дал свое согласие — считать вольноотпущенниками. Консул следующего года Барей Соран внес предложение присвоить Палланту — который, как объявил Цезарь, был автором этого законопроекта — преторское достоинство и наградить его пятнадцатью миллионами сестерциев. Цицион Корнелий, в свою очередь, предложил всенародно выразить Палланту благодарность за то, что он, потомок аркадских царей, ради общей пользы забыл о своем знатном происхождении и согласился стать одним из помощников принцепса. Клавдий вполне серьезно сообщил, что Паллант рад оказанным ему почестям, но от денег отказывается, ибо предпочитает и дальше жить в бедности. И на всеобщее обозрение выставлены были медные доски с текстом сенатского постановления, в котором отпущеннику с состоянием в триста миллионов сестерциев воздавалась хвала за достойные наших предков умеренность и бережливость.

54. Столь похвальная умеренность была совершенно чужда его брату, по прозванию Феликс. Он давно уже был назначен ведать Иудеей и полагал, что, благодаря всеилию Палланта, может безнаказанно позволять себе любые злодеяния, используя в качестве повода для них недовольство, действительно существовавшее среди иудеев. Волнения в этой провинции возникли после того, как Гай Цезарь приказал поставить в храмах свои статуи; когда до Иудей дошло известие о его гибели, приказ этот выполнять не стали, но опасение, что кто-либо из следующих принцепсов может потребовать того же самого, осталось. Своими бессмысленными попытками подавить недовольство Феликс лишь обострял положение. Не отставал от него и Вентидий Куман, ведавший той частью провинции, где обитали галилеяне, тогда как в землях, подчинявшихся Феликсу, жили самаритяне. Народы эти издавна враждовали между собой; теперь же, при правителях, не вызывавших у них ничего, кроме презрения, распри между ними начались еще пуще. Они грабили друг друга, засылали в земли противников разбойничьи шайки, устраивали засады, а иногда и подлинные сражения; награбленное добро и захваченные трофеи они неизменно отправляли прокураторам. Те на первых порах только радовались, но, видя, что смута растет, послали на подавление ее солдат, которых иудеи перебили. Если бы не вмешательство наместника Сирии Умидия Квадрата, война запыхала бы по всей провинции. Как следовало поступить с иудеями, стало ясно тут же — бунтовщики, повинные в гибели наших солдат, без сомнения заслуживали смертной казни. Не так просто было решить вопрос с Куманом и Фе-

ликсом (узнав о причинах волнений, Клавдий дал наместнику право суда также и над прокураторами). Феликса Квадрат провел на трибунал, дабы все могли увидеть его среди судей, и показал таким образом тем, кто собирался выступить против него с обвинениями, что это не сулит им ничего хорошего. Куман один заплатил за преступления, которые совершали двое, и в провинции настало спокойствие.

55. Некоторое время спустя дикие киликийские племена, известные под именем клитов и раньше много раз чинившие всяческие беспорядки, построили укрепления в неприступных горах и, предводимые своим вождем Троксобором, предпринимали оттуда набег на побережье и города, творя насилия над земледельцами и горожанами, а больше всего над купцами и владельцами кораблей. Они осадили город Анемурий и обратили в бегство высланный против них из Сирии конный отряд под командованием Курция Севера — дикая и суровая местность, весьма удобная для пешего боя, не давала возможности развернуться всадникам. Наконец, правивший этим побережьем царь Антиох, действуя против черни посулами и лестью, против вождя интригами и обманом, сумел разъединить силы клитов. Казнив Троксобора и нескольких вожakov и простив остальных, он восстановил мир и порядок.

56. Около того же времени было закончено строительство канала, который, пройдя сквозь гору, соединил Фуцинское озеро с рекой Лирисом, а чтобы как можно больше народу могло осмотреть это великолепное сооружение, на озере был устроен потешный морской бой. Подобную битву на пруду, нарочно сооруженном с этой целью на другом берегу Тибра, устраивал некогда и Август, но при нем сражались только легкие корабли и меньшее число бойцов. Клавдий заставил участвовать в бою триремы и квадриремы, вооружил двадцать одну тысячу человек и, чтобы никто из них не мог скрыться, расположил вдоль берегов плоты, предоставив кораблям середину озера. Здесь гребцы показывали свою силу, кормчие — свое искусство, здесь устремлялись друг на друга суда и завязывались схватки. На плотях выстроились манипулы и конные отряды преторианцев, перед ними на выдвинутых вперед мостках поставили готовые к бою катапульты и баллисты. Дальнюю часть озера занимали палубные корабли с морской пехотой. По берегам, холмам и склонам, как в театре, расположились бесчисленные толпы народа. Люди собрались из соседних муниципиев, а некоторые, движимые любовью к зрелищам или желанием почтить принцепса, приехали даже из столицы; впереди прочих сидел Клавдий, в роскошном боевом плаще, и неподалеку от него Агриппина в затканной золотом хламиде.

57. Когда представление кончилось, воду пустили в канал, и тут-то обнаружилось, как недобросовестно он был сооружен — глубина его не составляла и половины глубины озера. Канал стали углублять, а тем временем, на специально сооруженных помостах, дававших возможность вести бой пешим, устроили сражение гладиаторов, которое, по расчетам, должно было снова привлечь неслетные толпы зрителей. Там, где канал выходил из озера, расставили обеденные столы, но вода неслась здесь с такой силой и грохотом, срывала и уносила столь огромные глыбы земли и так сотрясала берега, что пирующие были охвачены ужасом. Принцепс взволновался, и Агриппина, ловко используя его состояние, стала упрекать Нарцисса, ответственного за производившиеся здесь работы, в алчности и хищениях. Тот тоже не смолчал и обвинил ее в женском тщеславии и непомерно честолюбивых замыслах.

58. В консульство Децима Юния и Квинта Гатерия шестнадцатилетний Нерон сочетался браком с дочерью цезаря Октавией. Дабы показать свою начитанность и красноречие, он взялся защищать интересы жителей Илиона и, напомнив о троянском происхождении римлян, об Энее, давшем начало роду Юлиев, ярко описав и другие, впрочем, больше похожие на вымыслы, события давних времен, добился освобождения граждан этого города от всех общественных повинностей. После им же произнесенной речи была оказана помощь в размере десяти миллионов сестерциев выгоревшей от больших пожаров Бононской колонии, жителям Апамен, пострадавшим от землетрясения, отложена на пять лет выплата податей и возвращена свобода Родосу, который уже много раз ее обретал и утрачивал в зависимости от услуг, оказанных жителями этого острова в борьбе с внешними врагами, или от ущерба, причиненного Риму их внутренними распрями.

59. Тем временем Агриппина искусно толкала Клавдия на все новые и новые жестокости. Так, она погубила Статилия Тавра, потому что сады этого знаменитого богача вызвали ее зависть. С доносом на него выступил Тарквиний Приск, служивший при Тавре легатом, когда тот был проконсулом Африки. После возвращения обоих в Рим Тарквиний поставил ему в вину несколько случаев вымогательства, но особенно настанвал на том, что Тавр якобы занимался магией и чернокнижьем. Не в силах сносить долее наветы и поношение своего имени, Тавр не стал ждать решения сената и наложил на себя руки. Тарквиния, правда, изгнали из курии — ненависть сенаторов к доносчику восторжествовала над всеми происками Агриппины.

60. В тот год принцепс много раз говорил о необходимости придать постановлениям его прокураторов ту же силу, которой

обладают его собственные решения. Дабы мнение это не было сочтено случайно высказанным и впоследствии забыто, ему придали форму сенатского постановления, где вопрос ставился шире и рассматривался подробнее, чем раньше. Дело в том, что еще божественный Август вручил римским всадникам, управлявшим Египтом, право производить суд и следствие и придал их постановлениям ту же силу, которую имели постановления римских магистратов. Впоследствии и в остальных провинциях, и в Риме многие дела, некогда решавшиеся преторами, тоже оказались в ведении всадников. Наконец Клавдий передал им вообще все права, бывшие в старину предметом стольких мятежей и стольких кровавых столкновений. Именно это право судопроизводства отдал некогда Семпрониевы законы в руки всадников, именно его Сервилиевы законы вернули сенату, из-за него главным образом шла борьба между Марием и Суллою. Каждое сословие в ту пору отстаивало свои интересы, и обладание этим правом обеспечивало ему главенство в государстве. Гай Оппий и Корнелий Бальб были первыми, кто стал решать вопросы войны и мира, опираясь на могущество цезаря. Можно было бы назвать имена Матиев, Ведиев и других римских всадников, располагавших в позднейшие времена огромной властью, но вряд ли есть смысл это делать после того, как даже вольноотпущенников, прежде занимавшихся одними его домашними делами, Клавдий поставил наравне с собой и законами.

61. Позже Клавдий произнес в сенате речь, в которой доказывал необходимость освободить от налогов жителей Коса и вспомнил события древнейшей истории этого острова. Первыми, кто начал возделывать здесь землю, были, по его словам, аргивяне, а может быть, и сам Кей — отец Латоны. Вскоре здесь поселился Эскулап, он научил жителей лечить болезни, и потомки его широко прославились своим врачебным искусством; Клавдий перечислил их по именам, указав, когда каждый из них пользовался известностью [к какому времени относится деятельность каждого]. Он добавил, что и его собственный врач Ксенофонт происходит из этого же рода, почему и надлежит удовлетворить его просьбу, освободить на будущее его соотечественников от налогов и предоставить им возможность отдаться целиком служению богу к вящей славе своего священного острова. Бесспорно, можно было вспомнить и о других заслугах жителей Коса перед римским народом, в частности, о войнах, в которых они участвовали как наши союзники, но Клавдий со своим обычным простодушием не счел нужным прикрить чисто личную услугу государственным соображениями.

62. Получив разрешение выступить перед сенатом, представители Византия стали жаловаться на то, что взимаемые с них подати непомерно тяжелы. В своей речи они напоминали о связях их города с Римом, начиная с того времени, когда они вступили с нами в союз и поддержали нас в войне против македонского царя, прозванного из-за своего темного происхождения Лже-Филиппом. Они упомянули далее о войсках, выставленных ими против Антиоха, Персея и Аристоника, о помощи, предоставленной Антиохию в войне с пиратами, обо всем, что они сделали для Суллы, Лукулла и Помпея, наконец, о недавних своих заслугах перед Цезарями, связанных с тем, что их город, благодаря своему местоположению, неизменно использовался римскими полководцами для переброски войск по морю и суше и для снабжения армии.

63. Византий был основан греками на самой оконечности Европы, в том месте, где пролив, отделяющий ее от Азии, уже всего. Перед тем как приступить к строительству, они обратились к Пифии Аполлона с просьбой указать им место, наиболее пригодное для основания города, и услышали в ответ, что он должен быть заложен «противу земель, где обитают слепые». Загадочные слова оракула относились к халкедонам, которые прибыли в эти края задолго до того и, несмотря на очевидные преимущества здешних мест, выбрали другие, худшие. Византий же и в самом деле стоит на плодороднейших землях и на берегу моря, отличающегося редким изобилием — несметные косяки рыбы, рвущейся из Понта, наталкиваются здесь на подводные скалы, пугаются их и, минуя противоположный берег, подходят к самому порту. Все это принесло предприимчивым жителям большие богатства, но впоследствии они были разорены непомерными налогами и теперь ходатайствовали об отмене или снижении их. Принцепс поддержал их просьбу, сказав, что недавние войны во Фракии и Боспоре истощили силы города и ему следует помочь. Было принято решение отложить срок уплаты налогов на пять лет.

64. В консульство Марка Азиния и Мания Ацилия явлено было множество зловещих знамений. Молния сожгла воинские значки и палатки солдат, пчелы роем облепили крышу Капитолийского храма, родилась свинья с когтями, как у ястреба. Недобрым знаком сочли все и гибель многих магистратов — на протяжении нескольких месяцев один за другим скончались квестор, эдил, трибун, претор и консул. Агриппине, однако, страшнее всех знамений показались слова, которые вырвались однажды у пьяного Клавдия. «Мне суждено, — сказал он, — сносить преступления моих жен, чтобы затем карать их». Она решила, что дольше медлить нельзя и начала дей-

ствовать. Еще прежде, движимая женским тщеславием, она погубила Домицию Лепиду. Дочь Антонии Младшей, внучатная племянница Августа, Лепида была двоюродной сестрой отца Агриппины и родной сестрой ее мужа Гнея, а потому считала, что не уступает ей знатностью. Красотой, возрастом и богатством они тоже были почти равны. Обе развратные, обе способные на что угодно и равно не знавшие удержу в страстях, они старались затмить друг друга своими пороками не меньше, чем достоинствами, дарованными им судьбой. Теперь мать и тетка старались каждая привлечь на свою сторону Нерона, и борьба между ними разгорелась с невиданной дотоле силой. Лепида, обходительная и щедрая, все больше покоряла юношу, прежде всего, своим несходством с Агриппиной — вечно суровой, вечно готовой разразиться гневом, изо всех сил стремившейся передать сыну верховную власть, но неспособной примириться с мыслью, что он будет этой властью пользоваться.

65. Лепиду обвинили в намерении чарами известить супругу принцепса и в том, что толпы ее своевольных рабов, разбросанные по всей Калабрии, возмущают спокойствие Италии. На этом основании она и была приговорена к смерти, несмотря на сопротивление Нарцисса, которому поведение Агриппины день ото дня казалось все более подозрительным. Передавали содержание бесед, которые он вел с близкими ему людьми и в которых говорил, что его все равно ждет верная гибель, кто бы ни захватил власть, Британник или Нерон, но что он всем обязан принцепсу, а потому готов отдать за него жизнь. «Я добился осуждения Мессалины и Силия, — повторял он, — но, если теперь власть попадет в руки Нерона, можно считать, что я не принес принцепсу никакой пользы. Скрыть от него распутные похождения его бывшей жены было бы преступно, но еще большее преступление смотреть теперь, как новая жена губит своими кознями императорскую семью. Впрочем, распутства хватает и сейчас — чего стоит одна связь Агриппины с Паллантом; за обладание властью эта женщина готова отдать все — и честь, и чистоту, и женский стыд». Произнося подобные речи, Нарцисс обнимал Британника, закинул его скорее становиться мужчиной и, простирая руки то к нему, то к изображениям богов, умолял его набраться сил, рассеять врагов отца и отомстить убийцам матери.

66. От всех волнений Нарцисс внезапно заболел и уехал в Сицилию, ибо рассчитывал, что свежий воздух и вода целебных источников быстро восстановят его силы. Агриппина давно уже решила на последнее злодеяние, и теперь ей важно было не упустить удобный случай. Помощников у нее было достаточно, и,

посоветовавшись с ними, она решила отказаться как от быстродействующих ядов, ибо внезапная смерть принцепса могла навлечь на нее подозрения, так и от ядов, исподволь подтачивающих здоровье, — чувствуя приближение конца, Клавдий мог разгадать, что произошло, и любовь к сыну вспыхнула бы в нем с новой силой. Ей нужно было средство, которое бы медленно разрушало здоровье человека и в то же время лишало его рассудка. Мастер, способный изготовить такое средство, нашелся. То была женщина по имени Локуста, незадолго до того осужденная как отравительница и с давних пор выполнявшая поручения властителей. Она составила зелье, поднести же его поручили Галоту — евнуху, который обычно подавал к столу кушанья и отведывал их.

67. Все это стало вскоре настолько широко известно, что писатели того времени рассказывают со всеми подробностями, как Клавдию подали яд, налив его в особенно красивый и вкусный белый гриб, как он, то ли по своей тупости, то ли потому, что был пьян, не сразу ощутил действие зелья, как его внезапно прослабило, и он, казалось, освободился от яда. Страх охватил Агриппину. Она думала лишь о смертельной опасности, ей угрожавшей, и, не обращая внимания на присутствующих, подала знак врачу Ксенофону, заранее вовлеченному в сговор. Тот знал, что идти на крупное преступление опасно, но довести его до конца — выгодно; как рассказывают, он сделал вид, будто хочет облегчить охватившие Клавдия рвотные судороги и ввел ему в горло перо, смоченное мгновенно действующим ядом.

68. В созванном между тем заседании сената консулы и жрецы возносили молитвы о здравии принцепса, тогда как он уже лежал бездыханный, весь перевитый повязками и укутанный одеялами, а Агриппина торопливо принимала меры, чтобы закрепить за Нероном императорскую власть. Прежде всего, как бы ища утешения в своей скорби, она обняла Британника, прижала его к себе и, то называя вылитым отцом, то придумывая разные другие уловки, не давала выйти из комнаты. Она задержала также сестер его, Антонию и Октавию, расставив стражу, закрыла доступ в покои и, дабы успокоить солдат и дожидаться часа, который по исчислению звездочетов был благоприятен для осуществления ее плана, все время распускала слухи, будто принцепс чувствует себя лучше.

69. Но вот, в третий день перед октябрьскими идами, в полдень, внезапно распахнулись ворота Палатинского дворца. Сопровождаемый Бурром Нерон появился перед солдатами дежурной когорты и, встреченный приветственными криками, которыми по знаку префекта разразились преторианцы, сел в носилки. Рассказа-

зывают, будто часть солдат сначала растерялась; они оглядывались, спрашивали, где Британик, но, видя, что никто не пытается воспрепятствовать происходящему, подчинились ходу событий. Доставленный в лагерь, Нерон сказал несколько приличествующих случаю слов, пообещав преторианцам денежный подарок, щедростью не уступавший подаркам Клавдия, и был провозглашен императором. Отцы-сенаторы скрепили своим постановлением выбор, сделанный солдатами, провинции без колебаний последовали за ними. Клавдию решено было воздать божеские почести, похороны его проходили столь же торжественно, как похороны божественного Августа, и Агриппина постаралась затмить величием свою прабабку Ливию. Завещание, однако, оглашено не было, дабы злобная несправедливость, с которой отец отдавал пасынку предпочтении перед собственным сыном, не вызвала возмущения черни.



КНИГА ПЕРВАЯ

1. Началом моего повествования станет год, когда консулами были Сервий Гальба во второй раз и Тит Виний. События предыдущих восьмисот двадцати лет, прошедших с основания нашего города, описывали многие, и, пока они вели речь о деяниях римского народа, рассказы их были красноречивы и искренни. Но после битвы при Акции, когда в интересах спокойствия и безопасности всю власть пришлось сосредоточить в руках одного человека, эти великие таланты перевелись. Правду стали всячески искажать — сперва по неведению государственных дел, которые люди начали считать себе посторонними, потом — из желания польстить властителям или, напротив, из ненависти к ним. До мнения потомства не стало дела ни хулителям, ни льстецам. Но если лезть, которой историк пользуется, чтобы преуспеть, противна каждому, то к наветам и клевете все охотно прислушиваются; это и понятно — лезть несет на себе отвратительный отпечаток рабства, тогда как коварство выступает под личиной любви к правде. Если говорить обо мне, то от Гальбы, Отона и Вителлия я не видел ни хорошего, ни плохого. Не буду отрицать, что начало моим успехам по службе положил Веспасиан, Тит умножил их, а Домициан возвысил меня еще больше; но тем, кто решил непоколебимо держаться ис-

тины, следует вести свое повествование, не поддаваясь любви и не зная ненависти. Старость же свою, если только хватит жизни, я думаю посвятить труду более благодарному и не столь опасному — рассказать о принципате Нервы и о владычестве Траяна, о годах редкого счастья, когда каждый может думать, что хочет, и говорить, что думает.

2. Я приступаю к рассказу о временах, исполненных несчастий, изобилующих жестокими битвами, смутами и распрями, о временах, диких и неистовых даже в мирную пору. Четыре принцепса, погибших насильственной смертью; три гражданских войны, множество внешних и немало таких, что были одновременно гражданскими и внешними; удачи на Востоке и беды на Западе — Иллирия объята волнениями, колеблется Галлия, Британния покорена и тут же утрачена, племена сарматов и свевов объединяются против нас, растет слава даков, ударом отвечающих Риму на каждый удар, и даже парфяне, следуя за шутом, надевшим личину Нерона, готовы взяться за оружие. На Италию обрушиваются беды, каких она не знала никогда или не видела с незапамятных времен: цветущие побережья Кампании где затоплены морем, где погребены под лавой и пеплом; Рим опустошают пожары, в которых гибнут древние храмы, выгорел Капитолий, подоженный руками граждан. Поруганы древние обряды, осквернены брачные узы; море покрыто кораблями, увозящими в изгнание осужденных, утесы заляпнаны кровью убитых. Еще худшая жестокость бушует в самом Риме: все вменяется в преступление — знатность, богатство, почетные должности, которые человек занимал или от которых он отказался, и неминуемая гибель вознаграждает добродетель. Денежные награды, выплачиваемые доносчикам, вызывают не меньше негодования, чем их преступления. Некоторые из них получают за свои подвиги жреческие и консульские должности, другие управляют провинциями императора и вершат делами в его дворце. Внушая ужас и ненависть, они правят всем по своему произволу. Рабов подкупами восстанавливают против хозяев, вольноотпущенников — против патронов. Если у кого нет врагов, его губят друзья.

3. Время это, однако, не вовсе было лишено людей добродетельных и оставило нам также хорошие примеры. Были матери, которые сопровождали детей, вынужденных бежать из Рима; жены, следовавшие в изгнание за своими мужьями; друзья и близкие, не отступившиеся от опальных; зятья, сохранившие верность попавшему в беду тестю; рабы, чью преданность не могли сломить и пытки; мужи, достойно сносившие несчастья, стойко встречавшие смерть и уходившие из жизни, как прославленные герои древности. Не только на людей обрушились бесчисленные бедствия: небо и

земля были полны чудесных явлений; вещая судьбу, сверкали молнии, и знамения — радостные и печальные, смутные и ясные — предрекали будущее. Словом, никогда еще боги не давали римскому народу более очевидных и более ужасных доказательств того, что их дело — не заботиться о людях, а карать их.

4. Однако, прежде чем приступить к задуманному рассказу, нужно, я полагаю, оглянуться назад и представить себе, каково было положение в Риме, настроение войск, состояние провинций и что было в мире здорово, а что гнило. Это необходимо, если мы хотим узнать не только внешнее течение событий, которое по большей части зависит от случая, но также их смысл и причины. Поначалу смерть Нерона была встречена бурной радостью и ликованием, но вскоре различные чувства охватили, с одной стороны, сенаторов, народ и расположенные в городе войска, а с другой — легионы и полководцев, ибо разглашенной оказалась тайна, окутывавшая приход принцепса к власти, и выяснилось, что им можно стать не только в Риме. Сенаторы, неожиданно обретя свободу, радовались и забирали все больше воли, как бы пользуясь тем, что принцепс лишь недавно приобрел власть и находится вдали от Рима. Немногим меньше, чем сенаторы, радовались и самые именитые среди всадников; воспрянули духом честные люди из простонародья, связанные со знатными семьями, клиенты и вольноотпущенники осужденных и сосланных. Подлая чернь, привыкшая к циркам и театрам, худшие из рабов, те, кто давно растратил свое состояние и кормился, участвуя в постыдных развлечениях Нерона, ходили мрачные и жадно ловили слухи.

5. Преторианцы издавна привыкли по долгу присяги быть верными цезарям, и Нерона они свергли не столько по собственному побуждению, сколько поддавшись уговорам и настояниям. Теперь же, не получив денежного подарка, обещанного им ранее от имени Гальбы, зная, что в мирное время труднее обратить на себя внимание и добиться наград, чем в условиях войны, поняв, что легионы, выдвинувшие нового государя, имеют больше надежд на его благосклонность, и к тому же подстрекаемые префектом Нимфидием Сабинном, который сам рассчитывал стать принцепсом, они жаждали перемен. Хотя попытка Нимфидия захватить власть была подавлена и мятеж обезглавлен, многие преторианцы помнили о своей причастности к заговору. Немало было людей, говоривших о том, что Гальба стар, и избобличавших его в скупости. Сама его суровость, некогда прославленная в войсках и стяжавшая ему столько похвал, теперь пугала солдат, испытывавших отвращение к дисциплине былых времен и привыкших за четырнадцать лет правления Нерона так же любить пороки государей, как когда-то

они чтили их доблести. Стали известны и слова Гальбы — достойные с точки зрения интересов государства, но опасные для него самого — о том, что он «набирает солдат, а не покупает»; впрочем, поступки его мало соответствовали этому правилу.

6. Положение немощного старика подрывали Тит Виний, отвратительнейший из смертных, и Корнелий Лакон, ничтожнейший из них; Виния все ненавидели за подлость, Лакона презирали за бездельность. Путь Гальбы к Риму был долог и кровав. Погибли — и, как полагали, невинно — консул следующего года Цингоний Варрон и бывший консул Петроний Турпилиан; их не выслушали, им не дали защитников, и обоих убили, первого — как причастного к заговору Нимфидия, второго — как полководца Нерона. Вступление Гальбы в Рим было омрачено недобрым предзнаменованием — убийством нескольких тысяч безоружных солдат, вызвавшим отвращение и ужас даже у самих убийц. После того как в Рим, где уже был размещен легион, составленный Нероном из морской пехоты, вступил еще и легион из Испании, город наполнился войсками, ранее здесь не виданными. К ним надо прибавить множество воинских подразделений, которые Нерон набрал в Германии, Британии и Иллирии и, готовясь к войне с альбанами, отправил к Каспийским ущельям, но вернул с дороги для подавления вспыхнувшего восстания Виндекса. Вся эта масса, склонная к мятежу, хоть и не обнаруживала явных симпатий к кому-либо, была готова поддержать каждого, кто рискнет на нее опереться.

7. Случилось так, что в это же время было объявлено об убийстве Клодия Макра и Фонтея Капитона. Макр, который бесспорно готовил бунт, был умерщвлен в Африке по приказу Гальбы прокуратором Требонием Гаруцианом; Капитона, затевавшего то же самое в Германии, убили, не дожидаясь приказа, легаты Корнелий Аквин и Фабий Валент. Кое-кто, однако, полагал, что Капитон, хотя и опорочивший себя стяжатель и развратник, о бунте все же не помышлял, а убийство его было задумано и осуществлено легатами, когда они поняли, что им не удастся убедить его начать войну; Гальба же, или по непостоянству характера, или стремясь избежать более тщательного расследования, лишь утвердил то, что уже нельзя было изменить. Так или иначе, оба эти убийства произвели гнетущее впечатление, и отныне, что бы принцепс ни делал, хорошее или дурное, — все стяжало ему равную ненависть. Общая продажность, всевластие вольноотпущенников, жадность рабов, неожиданно вознесшихся и торопившихся, пока старик еще жив, добиться своих целей, — все эти пороки старого двора свирепствовали и при новом, но снисхождения к ним было гораздо меньше. Даже возраст Гальбы вызывал смех и отвращение у черни,

привыкшей к юному Нерону и, по своему обыкновению, сравнивавшей, какой император более красив и статен.

8. Таково было настроение в Риме — если можно говорить об общем настроении у столь великого множества людей. Что касается провинций, то Испанией управлял Клувий Руф, человек красноречивый, сведущий в политике, но в военном деле неопытный; Галлия была предана Гальбе, не только памятуя о восстании Виндекса, но также из благодарности за недавно дарованное ей право римского гражданства и снижение налогов. Между тем племена галлов, жившие по соседству с стоявшими в Германии армиями, не получили подобных льгот, в некоторых случаях даже лишились части своей земли и с равным возмущением вели счет чужим выгодам и своим обидам. Германские армии были встревожены и раздражены; они гордились недавней победой, но боялись, что их обвинят в поддержке противников Гальбы — сочетание чувств крайне опасное там, где сосредоточено столько оружия и сил. Эти войска с опозданием отступились от Нерона, а Вергиний не сразу встал на сторону нового принцепса; никто не знал, захочет ли он сам сделаться императором, но было известно, что солдаты ему это предлагали. Убийство Фонтя Капитона возмутило здесь даже тех, кто не имел права выражать свое мнение. После того как Гальба, притворившись другом Вергиния, вызвал его к себе, армия осталась без вождя; когда же он был в Риме не только задержан, но против него возбуждено судебное дело, солдаты восприняли это как угрозу самим себе.

9. Верхнегерманские легионы презирали своего легата Гордеония Флакка за телесную немощь, вызванную старостью и подагрой, за слабый и нерешительный характер. Он не умел командовать, даже пока солдаты вели себя спокойно, теперь же, когда они были раздражены, его беспомощные попытки навести порядок лишь разжигали их ярость. Легионы Нижней Германии долго оставались без командующего — консулара, пока, наконец, Гальба не прислал к ним Авла Вителлия — сына цензора и трижды консула Вителлия; этого, по-видимому, и оказалось достаточно. В войсках, расположенных в Британии, не было никаких беспорядков: среди потрясенней, вызванных гражданскими войнами, именно эти легионы вели себя лучше других — то ли потому, что они были удалены от Рима и отрезаны от него Океаном, то ли трудные походы научили их обращать свою ненависть прежде всего на врагов. Спокойно было и в Иллирии, хотя легионы, выведенные оттуда Нероном в Италию и бесцельно стоявшие здесь, через своих представителей предлагали императорскую власть Вергинию. Однако эти воинские части были размещены на большом расстоянии одна от

другой (что всегда является наилучшим средством сохранить среди них верность присяге), так что не могли ни заражать друг друга мятежными настроениями, ни объединить свои силы.

10. Восток пока оставался спокойным. Здесь командовал четырьмя легионами и управлял Сирией Лициний Муциан — человек, равно известный своими удачами и своими несчастьями. В молодости он из честолюбия искал дружбы с людьми знатными и богатыми и тщательно поддерживал эти отношения. Когда же вскоре состояние его оказалось расстроенным и положение безвыходным, когда над ним готов был разразиться гнев Клавдия, его отправили в один из безвестных городков Азии, и он жил чуть ли не на положении ссыльного в тех самых местах, где позже пользовался почти неограниченной властью. В нем уживались изнеженность и энергия, учтивость и заносчивость, добро и зло, величайшая доблесть в походах и излишняя преданность наслаждениям во время отдыха; на людях он вел себя похвально, о тайных сторонах его жизни говорили много дурного; с подчиненными, с близкими, с коллегами — с каждым он умел быть обаятельным по-своему; власть он охотнее уступал другим, чем пользовался ею сам. Войну в Иудее вел Флавий Веспасиан с тремя легионами, во главе которых его поставил еще Нерон. Веспасиан тоже не помышлял о борьбе против Гальбы; как мы расскажем в своем месте, он даже послал к нему своего сына Тита в знак почтения и преданности. В то, что императорская власть была суждена Веспасиану и его детям тайным роком, знаменами и пророчествами, мы уверовали лишь позже, когда судьба вознесла его.

11. В Египте уже со времен божественного Августа место монархов заняли римские всадники, которые управляли страной и командовали войсками, охранявшими здесь порядок: императоры сочли за благо держать под своим личным присмотром эту труднодоступную провинцию, богатую хлебом, склонную из-за царивших здесь суеверий и распушенности к волнениям и мятежам, незнакомую с законами и государственным управлением. В ту пору во главе ее стоял Тиберий Александр, египтянин. Африка и расположенные здесь легионы, достаточно натерпевшиеся от местных властей, были рады служить любому принцепсу, избавившему их от Клодия Макра. Обе Мавритании, Ретия, Норик, Фракия и прочие провинции, управлявшиеся прокураторами, склонялись в пользу нового государя или против него в зависимости от настроения стоявших поблизости армий. Провинции, в которых не было войск, и в первую очередь сама Италия, были обречены хранить рабскую покорность победителю и играть роль военной добычи.

Таково было положение дел, когда Сервий Гальба, во второй раз, и Тит Виний вступили в свой консульский год — ставший последним для них и едва не принесший гибель государству.

КНИГА ТРЕТЬЯ

1. Гораздо удачнее и с большей преданностью своему вождю готовились к войне полководцы флавианцев. Они собрались в Петовионе, в зимних лагерях тринадцатого легиона, и между ними возник спор о том, укрепляться ли в Паннонских Альпах и ждать, пока с востока придут основные силы, или избрать более решительный образ действий — двигаться прямо на врага и завязать бой за Италию. Командиры, предпочитавшие медлить и ждать подкреплений, много говорили о славе и мощи германских легионов, об отборных частях британской армии, только что присоединившихся к Вителлию. «Наши легионы, — утверждали они, — недавно лишь потерпели поражение и уступают противнику не только числом, — какие бы грозные речи солдаты ни произносили, боевой дух у них далеко не тот, что у вителлианцев. Если же мы зайдем Альпы и там остановимся, к нам присоединятся Муциан и его восточные армии, а Веспасиану останутся флоты и преданные ему провинции — с такими силами впору начать еще одну войну. Разумное промедление, таким образом, в будущем умножит наши силы, а в настоящее время ничему не вредит».

2. Антоний Прим, самый рьяный среди сторонников войны, доказывал, что быстрота действий восставшим выгодна, а для Вителлия — губительна. «Победа, — говорил Антоний, — скорее ослабила наших противников, чем укрепила их силы. Они не готовятся к боям, не живут в лагерях, а бездельничают по городам Италии, где внушают страх лишь хозяевам, у которых стоят на постое; чем тяжелее было их прежнее существование, тем более жадно набрасываются они на удовольствия, прежде им неведомые. От цирков и театров, от удобств столичной жизни силы их тают, здоровье слабеет. Если же дать им время, то и они вспомнят о походах и войнах, снова обретут былую мощь. Германия, откуда они черпают силы, — недалеко, лишь узкий пролив отделяет от них Британию, рядом — провинции Галлии и Испании, которые шлют им подати, людей и коней; в их руках Италия и сокровища Рима. Захотят они перейти в наступление — к их услугам два флота, и на всем Иллирийском море ни одного корабля, способного дать им отпор. Что проку будет тогда от наших горных укреплений? Какой смысл затягивать войну еще на одно лето? Откуда тем временем добы-

вать деньги и продовольствие? Не лучше ли воспользоваться тем, что паннонские легионы, скорее обманутые, чем разбитые, только и мечтают о мести, что мы располагаем нетронутыми силами мезийской армии? Если вести расчет не по числу легионов, а по количеству солдат, то мы сильнее вителлианцев — наши войска храбрее и не развращены, да и самый стыд, который они испытывают, помогает укреплению дисциплины. Что же касается конницы, то она ведь даже и не была разбита; напротив, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, она сумела разгромить пехоту Вителлия. Всего два конных отряда — паннонский и мезийский — смогли тогда нанести противнику поражение; теперь же на врага разом устремятся шестнадцать таких отрядов — пыль, несущаяся из-под копыт, облаком окутает вителлианцев, топот коней и грохот оружия оглушат отвыкших от сражений лошадей и всадников. Я не просто убеждаю вас в преимуществах этого плана — я готов сам и осуществить его, если только никто мне не помешает. Ваш час еще не настал — оставайтесь с легионами, мне довольно одних легковооруженных когорт. Скоро вы услышите, что путь в Италию открыт, а Вителлию нанесен решительный удар. И тогда вы радостно двинетесь вслед за мной по пути, проложенному победителем».

3. Глаза Антония горели, он говорил резким громким голосом, стараясь, чтобы его слышало возможно больше народа: в помещение, где шел совет, понемногу собрались и центурноны, и кое-кто из солдат. Ошеломлены были и заколебались даже люди осторожные и предусмотрительные; толпа признавала теперь только одного вождя, только одного человека превозносила до небес и презирала всех прочих за слабость и нерешительность. Славу эту Антоний завоевал еще раньше, когда на солдатской сходке было оглашено обращение Веспасиана. В отличие от других командиров, выступавших уклончиво и нерешительно, он не шел на уловки, не выжидал, как развернутся события; он открыто встал на сторону солдат, и солдаты, видя, что он готов разделить с ними и вину, и славу, прониклись к нему уважением.

4. Прокуратор Корнелий Фуск пользовался почти таким же влиянием, как Антоний. Он тоже так часто и яростно нападал на Вителлия, что и у него не осталось никакой надежды на примирение с властями. Подозрительность солдат вызывал Тампий Флавиан; он был медлителен — и по натуре, и из-за своего преклонного возраста, они же считали, что он сохраняет верность Вителлию, помня о своем родстве с ним. Кроме того, Флавиан в начале восстания бежал, потом неожиданно вернулся, и в этом тоже усматривали какой-то коварный умысел. Флавиан, действительно,

уехав из Паннонии, вернулся в Италию и был уже вне всякой опасности, как вдруг снова принял звание легата и вмешался в гражданскую войну — отчасти из стремления к переменам, отчасти под влиянием Корнелия Фуска. Фуск убеждал Флавиана присоединиться к восставшим не потому, что нуждался в его помощи, а для того, чтобы имя консулара придало вид законности зарождавшемуся движению.

5. Апонию Сатурнину написали письмо с просьбой привести возможно скорее войска из Мезии, — их помощь позволила бы осуществить вторжение в Италию быстро и без потерь. Чтобы лишившиеся защиты провинции не подверглись нападению варваров, вождям сарматских язигов, правившим тамошними племенами, предоставили возможность участвовать в войне. Они предложили также привести с собой своих людей и конницу, которая одна лишь и составляет подлинную боевую силу сарматов. Эта их услуга, однако, не была принята из опасения, что они воспользуются гражданской войной в своих целях, а может быть, и переметнутся к тем, кто больше заплатит. Повстанцам удалось привлечь на свою сторону свевских вождей Сидона и Италика. Спевы издавна отличались верностью Риму, и с людьми этого племени легче было договориться, обращаясь с ними не как с подчиненными, а как с союзниками. Фланг наступающей армии укрепили вспомогательными отрядами, так как из соседней Ретии можно было ожидать нападения: прокуратор этой провинции Порций Септимин сохранял непоколебимую верность Вителлию. После всех этих приготовлений вперед был выслан Секстилий Феликс во главе Аурианской конницы, весьми когорт и ополчения, состоявшего из молодежи провинции Норик; он получил задание занять берег отделяющей Норик от Ретии реки Эна. Ни сам Феликс, ни противники его не стремились к сражению, и судьбам флавианского движения предстояло решаться далеко от этих мест.

6. Отобрав часть всадников, Антоний поспешно создавал из них конные отряды и набирал по когортам бойцов для вторжения в Италию. Ему помогал в этом Аррий Вар, известный как решительный воин, особенно прославившийся благодаря службе под началом Корбулона и победам, одержанным в Армении. Говорили, впрочем, что именно он тайными наветами очернил доблестного Корбулона в глазах Нерона и в награду за подлость был назначен примипларием; это добытое бесчестным путем звание на первых порах доставило ему много радости, но вскоре и погубило его. После того, как Прим и Вар заняли Аквилею, все окрестные города, — в частности, Опитергий и Альтин, — с радостью открыли им свои ворота. В Альтине решили оставить гарнизон для защиты

края от возможных нападений Равеннского флота, ибо о его измене Вителлию в эту пору еще не было известно. Патавий и Атесте тоже вынуждены были перейти на сторону флавианцев. Здесь полководцы получили сведения о том, что три вителлианских когорты и конный отряд, известный под именем Себосианского, выстроили мост, открывавший им доступ к Форуму Алиена, и заняли этот город. Флавианцы знали, что солдаты расположившихся там когорт не ожидают нападения, сочли момент подходящим и на заре бросились на ничего не подозревавшего противника. Нападавшим было приказано убить лишь некоторых, остальных же заставить перейти на свою сторону. Действительно, нашлись солдаты, которые тут же сдались флавианцам, большинство, однако, предпочло уничтожить мост и закрыть дорогу наступавшему противнику.

7. Итак, война началась благоприятно для флавианцев; когда же разнеслась весть о последней победе, седьмой Гальбанский легион и тринадцатый Сдвоенный в бодром и радостном настроении вступили во главе с легатом Ведием Аквиллой в Патавий. Войскам дали несколько дней отдыха. Здесь же пришлось спасать от раздраженных солдат префекта лагерей седьмого легиона Муниция Юста, обращавшегося с легионерами более сурово, чем это допустимо в условиях гражданской войны; его отправили к Веспасиану. Антоний приказал восстановить во всех городах изображения Гальбы, уничтоженные во время гражданских неурядиц. Мера эта, которой все давно и с нетерпением ожидали, была воспринята с тем большей радостью, что каждый на свой лад истолковывал причины, ее вызвавшие; Антоний же прибег к ней просто потому, что считал выгодным для своей партии, если люди станут говорить, будто флавианцы ценят принципат Гальбы и возрождают его дело.

8. Затем стали искать место, где было бы удобнее всего развернуть военные действия. Выбор пал на Верону — поля, окружавшие город, хорошо подходили для маневров конницы, которая составляла главную силу наступавшей армии, отнять же у Вителлия богатую колонию казалось флавианцам делом, сулящим и выгоду и славу. По пути к Вероне заняли Вицетию — небольшой муниципий со слабым гарнизоном, неожиданно приобретший, однако, немалое значение: здесь, как говорили, родился Цецина, и, захватив этот городок, повстанцы овладели родиной вражеского полководца. Важным событием стало взятие Вероны — молва о нем и захваченные здесь богатства принесли флавианцам большую пользу; кроме того, их войска, проникнув в долину между Ретисий и Юлиевыми Альпами, овладели горными проходами и закрыли

пути германской армии. Веспасиан ничего не знал об этих действиях или был против них. Он велел войскам остановиться возле Аквилена, ждать там Муциана и приводил доводы в пользу этого плана. «Пока мы владеем Египтом, держим в руках ключ от житницы империи и располагаем доходами от богатейших провинций, — говорил он, — мы можем принудить вителлианцев к сдаче, лишив их денег и продовольствия». О том же самом много раз писал Антонию и Муциан. Он утверждал, что можно добиться победы без крови и слез, приводил множество других подобных же доводов, в то время как на самом деле, снедаемый честолюбием, стремился единственно к тому, чтобы сохранить всю славу за собой. Их письма, впрочем, проходили столь долгий путь, что, когда они попадали в руки Антония, дело так или иначе оказывалось уже сделанным.

9. Внезапным набегом Антоний проник за передовые укрепления врага; после небольшой стычки, в которой обе стороны лишь прошупывали силы друг друга, противники, так и не добившись победы, разошлись. Вскоре после этого Цецина отстроил хорошо укрепленный лагерь между Гостилией, деревней неподалеку от Вероны, и болотистым берегом реки Тартар, — в безопасном месте, прикрытом с тыла рекой, а с боков болотом. Если бы он хотел выполнить свой долг, он свободно мог разгромить соединенными силами вителлианцев оба легиона противника до их соединения с мезийской армией и не оставить им иного выхода, кроме отступления из Италии, позора и бегства. Вместо этого Цецина отдал начало войны в руки противника; имея все возможности изгнать флавианцев из Италии силой оружия, он довольствовался тем, что писал им грозные письма и медлил до тех пор, пока посланные им люди не договорились окончательно об условиях, на которых он соглашался предать Вителлия. Тем временем к флавианцам прибыл Апоний Сатурнин с седьмым Клавдиевым легионом. Командовал легионом трибун Випстан Мессала — человек знатного рода, выдающихся достоинств и единственный, кто участвовал в этой войне по искреннему убеждению. Этой-то армии, которая, располагая тремя легионами, была пока слабее вителлианской, Цецина направил письмо, где упрекал противников в том, что, однажды потерпев поражение, они вновь безрассудно ввязываются в войну. В своем письме он восхвалял доблесть германских легионов, Вителлия упоминал лишь между прочим и не позволял себе никаких выпадов против Веспасиана — словом, не делал ни малейшей попытки запугать врагов или перетянуть их на свою сторону. В ответном письме флавианские полководцы не стали оправдывать прошлые неудачи своей армии. Они с восторгом писали о Веспасиане,

выражали уверенность в победе и заранее объявляли Вителлия своим врагом. Флавианцы намекали, что перешедшим на их сторону трибунам и центурионам будет сохранено все, что даровал им Вителлий, и без обиняков призывали Цецину к измене. Оба письма были прочитаны на сходке и только укрепили солдат во мнении, что Цецина решил не оказывать настоящего сопротивления и поэтому старается ничем не задеть Веспасиана, а что их собственные вожди презирают своих противников и Вителлия, их императора.

10. Вскоре к восставшим прибыли еще два легиона — третий во главе с Диллием Апонианом и восьмой под командованием Нумизия Лупа. Чтобы показать всем, какие несметные силы собрались под Вероной, было решено соорудить укрепленный вал вокруг всего города. Солдатам Гальбанского легиона досталось работать на участке, ближе всего подходившем к неприятельским позициям. Заметив вдали отряд союзнической коппицы, они приняли его за противника, решили, что их предали, и, придя в ужас от опасности, которую сами выдумали, схватились за оружие. Ярость солдат обратилась против Тампия Флавиана. Никаких оснований для этого не было, но легионеры были давно уже злы на него и, охваченные безрассудным гневом, стали требовать его казни. Они кричали, что Флавиан — родственник Вителлия, что он предал Отона и присвоил деньги, присланные для раздачи солдатам. Разорвав на себе одежды, содрогаясь от рыданий, Флавиан простирался на земле перед легионерами, с мольбой протягивая к ним руки. Никто не слушал его оправданий — солдаты считали, что такой страх может испытывать только человек с нечистой совестью, и озлоблялись еще больше. Апоний пытался говорить, но рев толпы заглушил его голос. Слова других командиров тоже тонули в общем крике и грохоте оружия. Солдаты согласились выслушать только Антония; он один обладал нужным красноречием и умением ладить с чернью, один внушал настоящее уважение. Видя, что бунт разгорается и что мятежники готовы перейти от крика и брани к драке и резне, он приказал заковать Флавиана в кандалы, но солдаты почувствовали обман и, охваченные жаждой крови, бросились к трибуналу, разогнав стражу, его охранявшую. Тогда Антоний сорвал с пояса меч и, подставив грудь ударам солдат, стал клясться, что, если его не зарубят, он покончит с собой сам. Он обращался к самым известным и отличившимся в боях легионерам, называя их по именам, и требовал, чтобы они убили его. Повернувшись к боевым значкам с изображениями богов, Антоний молил их вдохнуть бешенство и дух раздора, владеющие его армией, в сердца неприятелей, — молил до тех пор,

пока бунт не пошел на убыль. День клонился к вечеру, и солдаты разошлись по своим палаткам. Той же ночью Флавиан выехал из лагеря. По дороге он встретил гондов, везших в армию письмо Веспасиана. Письмо это отвлекло внимание солдат и избавило Флавиана от опасности.

11. Будто охваченные заразой, легионы набросились потом на легата мезийской армии Апония Сатурнина, набросились с тем большей яростью, что не были, как во время прежнего бунта, утомлены работой; бунт вспыхнул около полудня под влиянием распространившегося слуха о письме, которое Сатурнин якобы написал Вителлию. Когда-то воины состязались между собой в доблести и послушании, теперь они старались превзойти друг друга дерзостью и преследовали Апония с тем же яростным упорством, с каким только что требовали казни Флавиана. Солдаты из Мезии напоминали паннонским легионам о том, что помогли им отомстить за обиды; паннонские же войска, видя, что другие тоже бунтуют и это как бы освобождает их от ответственности, устремились на поддержку мезийцев и, готовые на новые преступления, вместе с ними ворвались в сады, окружавшие дом Сатурнина. Хотя Антоний, Апонин и Мессала пытались сделать все, что могли, им не удалось бы спасти Сатурнина, если бы он сам не спрятался в таком месте, где никому не могло прийти в голову его искать — в печи одной из бань, в ту пору случайно не топившейся. Вскоре затем он, бросив своих ликторов, бежал в Патавий. После отъезда консуларов Антоний оказался полновластным хозяином обеих армий — товарищи уступали ему первое место, солдаты любили и уважали только его. Были люди, считавшие, что Антоний сам подстроил оба бунта, чтобы все плоды победы достались ему одному.

12. В стане вителлианцев тоже царили распри, тем более опасные, что порождали их не бессмысленные подозрения черни, а коварные интриги полководцев. Моряки Равеннского флота были в большинстве своем родом из Далмации и Паннонии, то есть из провинций, находившихся под властью флавианцев, и префекту флота Луцилию Бассу без труда удалось склонить их на сторону Веспасиана. Заговорщики наметили ночь для выступления и решили, что они одни, никого ни о чем не предупредая, сойдутся в условленный час на центральной площади лагеря. Басс, то ли мучимый стыдом, то ли от страха, остался дома, выжидая, чем кончится дело. Триерархи, крича и гремя оружием, набросились на изображения Вителлия и перебили тех немногих, кто пытался оказать им сопротивление; остальная масса, движимая обычной жаждой перемен, сама перешла на сторону Веспасиана. Тогда-то выступил Луцилий и признался, что заговор устроил он. Моряки выбрали

себе в префекты Корнелия Фуска, который, едва узнав об этом, поспешил явиться. Басс, в сопровождении почетного эскорта из либурнских кораблей, направился в Атрию, где префект конницы Вибенний Руфин, командовавший гарнизоном города, немедленно посадил его в тюрьму. Правда, его тут же освободили, благодаря вмешательству вольноотпущенника цезаря Горма, — оказывается, и он входил в число руководителей восстания.

13. Узнав, что флот изменил Вителлию, Цецина дождался времени, когда большинство солдат было разослано на работы, и собрал на центральной площади лагеря несколько легионеров и самых заслуженных центурионов якобы для того, чтобы обсудить кое-какие вопросы, не подлежащие разглашению. Здесь он заговорил о доблести Веспасиана и мощи его сторонников, о том, что флот перешел на его сторону, об угрозе голода, нависшей над вителлианской армией; рассказал о положении в галльских и испанских провинциях, готовых выступить против принцепса, о настроении в Риме, где вителлианцам тоже не на кого положиться; напомнил о слабостях и пороках Вителлия и начал поспешно приводить присутствующих к присяге Веспасиану — те, кто знали все заранее, присягнули первыми, остальные, ошеломленные неожиданностью, последовали их примеру. Изображения Вителлия были тут же сорваны с древков, к Антонию отправлены гонцы с сообщением о случившемся. Весть об измене вскоре распространилась. Сбежавшиеся солдаты, увидев надписи с именем Веспасиана и валяющиеся на земле изображения Вителлия, остановились в молчании, но тут же разразились яростными криками. «Так вот где суждено закатиться славе германской армии! Сдать оружие, позволить связать себе руки — без боя, без единой рапы? Кому сдаваться — легионам, над которыми мы же сами одержали победу? Даже не первому, не четырнадцатому — единственному в армии Отона, с кем стоило считаться, хотя мы и их били, — били на этих же самых полях, на которых сейчас стоим. Допустить, чтобы тысячи вооруженных солдат пригнали, словно стадо наемников, в подарок ссыльному преступнику Антонию? Подарить ему восемь легионов вдобавок к его единственному отряду кораблей? Это все Басс с Цециной... Мало им домов, садов, денег, которые они накрали у Вителлия, теперь они хотят украсть у принцепса армию, а у армии принцепса. Мы не потеряли ни одного человека, не пролили ни капли крови — даже флавианцы станут нас презирать; а что мы скажем тем, кто спросит нас об одержанных победах, о понесенных поражениях?»

14. Так кричали солдаты, так кричала вся охваченная скорбью армия. Сначала пятый легион, а за ним и остальные снова вздели

на свои знамена изображения Вителлия. Цеципу заковали в кандалы. Армия выбрала полководцами легата пятого легиона Фабия Фабуллу и префекта лагеря Кассия Лонга. Легионеры набросились на случайно встретившихся им, ничего не понимавших и ни в чем не повинных солдат с трех либурнских кораблей и изрубили их в куски. Уничтожив мосты, армия выступила из лагеря на Гостилию, а оттуда — в Кремону, на соединение с первым Италийским и двадцать первым Стремительным легионами, которые Цецина еще раньше отправил вместе с частью конницы вперед, чтобы занять этот город.

15. Услышав об этих событиях, Антоний решил напасть на вителлианцев теперь же, пока войска их охвачены брожением и разделены на части. Он опасался, что с течением времени полководцы противника сумеют вновь овладеть положением, их солдаты опять начнут подчиняться приказам, и вся вражеская армия снова обретет уверенность в своих силах. Антоний догадывался, что Фабий Валент уже выехал из Рима и, узнав об измене Цецины, постарается возможно скорее прибыть в армию, а Валент был опытный военачальник и предан Вителлию. Антоний знал, кроме того, что через Ретию на него угрожают двинуться значительные силы германцев, что Вителлий еще раньше начал стягивать подкрепления из Британии, Галлии и Испании и что если сейчас не дать бой и не добиться победы, то война обрушится на него всей своей тяжестью. Он вывел всю армию из Вероны и после двух дней пути остановился возле Бедриака. На следующее утро легионы получили приказ заняться укреплением лагеря. Вспомогательные войска Антоний послал в окрестности Кремоны — якобы за продовольствием, на самом деле, чтобы дать солдатам пограбить и втянуть их таким образом в гражданскую войну. Сам он с четырьмя тысячами всадников выехал к восьмому мильному камню от Бедриака и решил заняться грабежом, не мешая другим. Как обычно, на большое расстояние вокруг были разосланы отряды разведчиков.

16. Шел пятый час дня, когда прискакавший во весь опор верховой сообщил Антонию, что противник начал наступление, на пути его находится лишь несколько человек и со всех сторон доносится шум движущейся армии и грохот оружия. Пока Антоний советовался с окружающими, Аррий Вар, нетерпеливо стремившийся начать бой, врезался с лучшими своими конниками в строй вителлианцев и заставил их отступить. Едва он начал рубить врагов, как к ним подоспели новые силы, положение изменилось, и те, что наступали первыми, оказались в хвосте обратившегося в бегство отряда. Антоний предвидел, что из затен Вара ничего не получит-

ся, и теперь не спешил прийти ему на помощь. Он обратился к своим солдатам с краткой речью, призвал их мужественно встретить врага и велел рассыпаться по обеим сторонам дороги, чтобы оставить свободный проход конникам Вара. Легионам был дан приказ готовиться к бою, тем, кто находился в соседних поместьях — прекратить грабеж и присоединиться к ближайшему отряду. Тем временем в ужасе несшиеся обратно конники Вара внесли смятение в ряды своих же отрядов, сталкиваясь на узких тропинках с еще не вступившими в бой товарищами.

17. Среди общей сумятицы Антоний делал все, что подобает опытному командиру и храброму солдату. На глазах врагов и своих он бросается навстречу бегущим, удерживает колеблющихся; всюду, где нависает опасность, всюду, где появляется надежда, мелькает его фигура, раздаются его распоряжения, слышится его голос. Охваченный воодушевлением, он пронзает копьем убегающего знаменосца, выхватывает у него вымпел и устремляется на врага. Увидев это, около сотни всадников, устыдившись своего бегства, поворачивают коней. Сама природа помогла Антонию — дорога, все более сужаясь, уперлась, наконец, в реку, мост через реку был разрушен, берега круты и русло неизвестно. Бегущие остановились. То ли они поняли, что другого выхода нет, то ли сама судьба им помогла, но они снова построились и, поставив лошадей вплотную одна к другой, ожидали противника. Вителлианцы налетели на сомкнутые ряды и врассыпную бросились назад. Антоний преследовал бегущих, поражая мечом всех, кто оказывал сопротивление. Солдаты пустились грабить, вязать пленных, захватывать оружие и лошадей, — кому что больше было по нраву. Услыхав крики радости, вернулись и вмешались в ряды победителей даже беглецы, попрятавшиеся было в соседних полях.

18. Вдруг на дороге к Кремоне засверкали значки легионов — это Стремительный и Италийский, услышав о первых успехах своей конницы, двинулись вперед и дошли до четвертого камня от города. Однако они не сумели, когда положение изменилось, ни перестроить свои ряды, ни расступиться, чтобы пропустить отступавших всадников, ни перейти в наступление, а уж тем более опрокинуть врага, хоть он и был ослаблен боем и длительным переходом. Оба легиона выступили самовольно, и пока дела шли успешно, даже не вспоминали о своих полководцах, но когда над ними нависла угроза поражения, они пожалели, что командиров с ними нет. Строй их дрогнул, в этот момент на них обрушилась конница, а следом за ней трибун Випстан Мессала со вспомогательными отрядами из Мезии, которые даже после изнурительного перехода

мало чем уступали легионам. Соединившись, пехота и конница флавианцев прорвали строй противника. Кремона была рядом. Легионеры понимали, что за ее стенами легко скрыться от поражения, и не очень старались отразить атаку врага. Антоний тоже не стал двигаться дальше — в течение этого дня, в конце концов принесшего победу флавианцам, боевое счастье столько раз обманывало их, что теперь они были ослаблены потерями и измучены усталостью.

19. Под вечер прибыли основные силы флавианской армии. Увидав горы трупов и следы недавнего сражения, солдаты решили, будто война кончена, и стали требовать, чтобы их вели на Кремону — принимать капитуляцию противника или брать город с бою. Все вместе они повторяли эти красивые слова, про себя же каждый думал совсем другое. «Колония лежит на равнине, и захватить ее внезапным натиском нетрудно. Что днем, что ночью, мужество от нас потребуется то же, а грабить в темноте свободнее. Если дожждаться дня, пойдут мольбы и просьбы, разговоры о мире, за все труды, за всю кровь нам достанутся только пустые почести и никчемная слава великодушных воинов, а богатства Кремоны присвоят префекты да легаты. Каждый ведь знает, что, если город взят, добыча принадлежит солдатам, если он сдался — командирам». Солдаты не давали говорить центурионам и трибунам, заглушали их слова звоном оружия, потрясали мечами и копьями, угрожая бунтом, если их не поведут на Кремону.

20. Тогда Антоний вошел в гущу толпы. Вид его и почтительный страх, который он всегда вызывал, заставили солдат затихнуть. «Я не хочу лишать вас ни почестей, ни добычи, столь вами заслуженных, — начал он. — Но существует разделение обязанностей: дело воинов — стремиться к бою, дело командиров — не топиться, приносить пользу не пылкостью, а проникательностью и зрым размышлением. Как простой солдат, с оружием в руках, я внес свою долю в нашу сегодняшнюю победу; теперь я должен помочь ей, как подобает полководцу — умом и знаниями. Кругом ночь, расположение города нам неизвестно, враг укрыт за стенами, на каждом шагу нас подстерегают ловушки — не ясно ли, что нас ждет, если мы сейчас двинемся на Кремону? Даже среди бела дня, даже если бы ворота Кремоны стояли распахнутые, и тогда нельзя было бы входить туда, не выяснив все заранее. Разве можно идти на город, не зная условий местности, высоты стен, не решив, достаточно ли будет одних баллист и стрел или придется строить навесы и осадные машины?» Антоний обращался то к одному, то к другому солдату и спрашивал, взяли ли они топоры, захватили ли лопаты, есть ли у них с собой все прочие орудия, необходимые

для осадных работ; слыша отовсюду отрицательные ответы, он продолжал: «Вы что же, собираетесь подкапывать стены мечами и долбить их дротами? А если понадобится насыпать валы, плести щиты и вязать прутья в связки, чтобы было где скрыться? Если мы ничего не предусмотрим, нам останется только стоять толпой под стенами вражеского города и без толку смотреть на его башни и укрепления. Разве не лучше выждать одну ночь, но зато явиться с машинами и осадными орудиями, веря в свои силы и предстоящую победу?» Он тут же послал в Бедрик за продовольствием и необходимым снаряжением обозных слуг и тех конников, что были меньше других утомлены дневным сражением.

21. Всякая отсрочка казалась солдатам невыносимой, и в армии готов был вспыхнуть бунт, но тут всадники, выехавшие под стены города, захватили нескольких случайно там оказавшихся жителей Кремоны. Жители эти рассказали, что шесть вителлианских легионов и остальные войска, стоявшие в Гостилии, совершили за один день переход в тридцать миль, только что узнали о понесенном поражении, начали готовиться к бою и вот-вот должны появиться. Эта грозная весть заставила солдат послушаться своего полководца. Антоний приказал тринадцатому легиону остаться на насыпи Постумиевой дороги, слева вплотную к ней, в открытом поле, расположил седьмой Гальбанский и еще левее, используя в качестве естественного прикрытия проходившую здесь канаву, — седьмой Клавдиев. Справа от дороги, на открытом месте встал восьмой легион, за ним в рощице — третий. В таком порядке располагались только орлы легионов и значки когорт; солдаты в темноте не могли найти свои легионы и становились в ряды тех, которые оказывались поблизости. Отряд преторианцев поместился возле третьего легиона, вспомогательные когорты — на флангах, конница прикрывала армию с боков и с тыла; перед строем передвигались отборные бойцы-свевы во главе со своими вождями — Сидоном и Италиком.

22. Вместо того, чтобы, как то подсказывал здравый смысл, переночевать в Кремоне, восстановить свои силы сном и едой, а наутро разгромить голодного и промерзшего противника, вителлианская армия, лишённая руководства, не имевшая никакого плана действий, в третьем часу ночи обрушилась на флавианцев, в боевом строю ожидавших нападения. В темноте взволнованные и раздраженные солдаты сбили строй легионов, и я не берусь описать, в каком порядке располагались части вителлианской армии. Некоторые, правда, рассказывают, будто на правом фланге находился четвертый Македонский легион, в центре — пятый и пятнадцатый, а с ними — отряды, набранные в британских легионах — девятым,

втором и двадцатом, на левом фланге — шестнадцатый, двадцать второй и первый. Солдаты Стремительного и Италийского легионов разошлись по чужим манипулам, конные отряды и вспомогательные когорты встали кто куда. Всю ночь шел жестокий бой, исход его клонился то в ту, то в другую сторону, всю ночь то одной, то другой армии грозила гибель. Ни доблестный дух, ни могучая рука, ни острый глаз, ясно видевший приближающуюся опасность, — ничто не спасало от смерти: вооружение солдат — одинаковое у своих и у врагов, пароль обеих армий известен каждому — столько раз приходилось его спрашивать и кричать в ответ, выпелы, которые противники без конца отбивали друг у друга, перемешались. Хуже всего пришлось недавно созданному Гальбой седьмому легиону. Здесь было убито шестеро первых центурионов, захвачены значки нескольких когорт, даже орел легиона едва не попал в руки врага. Его спас центурион первого пила Атилий Вер, нагромоздивший вокруг себя груды вражеских трупов и под конец погибший сам.

23. Чтобы поддержать колеблющийся строй своих легионов, Антоний вызвал преторианцев. Они отвлекли на себя основные силы противника и обратили его в бегство, но вскоре сами были отброшены. Дело в том, что вителлианцы сосредоточили на дорожной насыпи метательные орудия, которые осыпали камнями и кольями ничем не защищенных врагов; прежде их орудия стояли в разных местах и стреляли по зарослям, в которых противника не было. Невиданных размеров баллиста шестнадцатого легиона метала огромные камни, прорывавшие боевую линию противников. Она погубила бы еще больше народу, если бы не славный подвиг, на который отважились двое солдат: подобрав щиты мертвых вителлианцев, они прокрались, никем не узванные, к самой баллисте и перерубили скрученные тяжи и канаты. Оба были тут же убиты, и имена их до нас не дошли, но того, что они сделали, не отрицает никто. Поздней ночью взошла луна и озарила своим обманчивым светом ряды сражающихся, а исход битвы все еще не был ясен. К счастью для флавианцев, луна вставала у них за спиной, от копей и бойцов ложились длинные тени, и в эти-то тени, принимая их за людей, метали враги свои дроты и стрелы. Вителлианцам же луна светила в лицо, и они были хорошо видны противнику, поразившему их из темноты.

24. В лунном свете Антоний увидел свои легионы, и легионы увидели его. Он обратился к войскам, порицая и стыдя одних, хваля и ободряя других, внушая надежду и раздавая обещания всем. Солдат паннонской армии он спрашивал, зачем они взялись за оружие, напоминал, что только здесь, на этих полях, могут они

смыть с себя позор и вернуть свою былую славу. «Вы зачинщики войны,— говорил он мезийским войскам.— Зачем вы угрожали вителлианцам, оскорбляли их, вызывали на бой, если теперь не только не имеете сил выдержать их натиск, но дрожите при одном взгляде на них?» Так обращался Антоний к каждому легиону. Дольше всех говорил он с солдатами третьего — о подвигах былых времен, о недавних победах, напоминал, как под водительством Марка Антония они разгромили парфян, как вместе с Корбулоном нанесли поражение армянам, как только что разбили сарматов. Более суровой и грозной была его речь к преторианцам: «Упустите победу сейчас, и никогда больше вам не видать Рима. Какой император возьмет вас на службу? Какой лагерь откроет вам свои ворота? Вот ваши знамена, вот ваше оружие. Потеряете вы их — и одна только смерть останется вам, ибо позором вы уже сыты». В это время поле загремело от крика — солдаты третьего легиона по обычаю, усвоенному ими в Сирии, приветствовали восходящее солнце.

25. Многие, однако, решили, что то прибыли войска Муциана и что приветственные клики относились к ним; может быть, сам Антоний нарочно распустил этот слух. Солдаты ринулись в бой, будто и в самом деле получили подкрепление. Вителлианцы к этому времени уже понесли тяжелые потери, командующего у них не было, и каждый действовал на свой лад — люди мужественные теснее сплывали ряды, трусы разбегались. Почувствовав, что вителлианцы дрогнули, Антоний бросил против них свои сомкнутым строем двигавшиеся когорты. Ряды вителлианцев оказались порванными, солдаты, не в силах восстановить их, метались среди повозок и машин. Увлеченные преследованием победители устремились вперед по обочинам дороги. Началась резня, знаменитая тем, что в ней сын убил отца; я передаю это событие и имена участников так, как рассказал о них Випстап Мессала. Юлий Мансуэт, родом из Испании, стал солдатом и проходил службу в рядах Стремительного. Дома он оставил малолетнего сына, который вскоре подрос, был призван Гальбой в седьмой легион и теперь, случайно встретив Мансуэта на поле боя, смертельно его ранил; обшаривая распростертое тело, он узнал отца, и отец узнал сына. Обняв умирающего, жалобным голосом стал он молить отцовских манов не считать его отцеубийцей, не отворачиваться от него. «Все,— взывал он,— повинны в этом злодеянии; один солдат — лишь ничтожная частица бушующей повсюду гражданской войны!» Он тут же выкопал яму, на руках перенес к ней тело и воздал отцу последние почести. Это сначала привлекло внимание тех, кто находился поблизости, потом остальных. Вскоре по всей армии

только и слышались возгласы удивления и ужаса, все проклинали безжалостную войну, но каждый с прежним остервенением убивал и грабил близких, родных и братьев, повторял, что это преступление, — и снова совершал его.

26. Под Кремоной наступающих ждали новые, едва одолжимые препятствия. Еще во время отонианской войны солдаты германской армии окружили город своими лагерями, стены его обнесли валами, а на валах возвели еще дополнительные укрепления. Увидев эти оборонительные сооружения, победители заколебались, командиры не знали, что им приказывать. Начинать осаду было едва ли по силам войску, утомленному дневным переходом и ночным боем, да и успех ее представлялся сомнительным, так как никаких подкреплений под руками не было; возвращаться в Бедриах — значило не только обречь армию на мучительный бесконечный переход, но и оставить нерешенным исход сражения; соорудить лагерь так близко к вителлианцам было рискованно — враги могли внезапно напасть на рассеянных по равнине и занятых работой легионеров. Больше всего, однако, беспокоило командиров настроение солдат, предпочитавших любую опасность промедлению, предосторожности казались им бесплодными, надежду сулила лишь безрассудная дерзость, алчность и страсть к добыче заставляли забывать о смерти, ранах и крови.

27. Антоний не стал спорить с солдатами и приказал им охватить полукругом вал лагеря. Сначала бой шел на расстоянии — камни и стрелы причиняли великий урон флавианцам, которые стояли внизу под валами. Тогда Антоний распределил участки вала и лагерные ворота между отдельными легионами; он рассчитывал, что соперничество заставит солдат сражаться еще лучше, а ему так будет виднее, кто ведет себя мужественно и кто трусит. Третьему и седьмому легионам досталась та часть вала, что примыкала к бедриахской дороге, восьмой и седьмой Клавдиев встали правее, тринадцатый устремился к Бриксийским воротам. Наступило короткое затишье: солдаты свозили с соседних полей мотыги, заступы, лестницы, длинные шесты с железными крючьями. Но вот бойцы выстроились тесными рядами вплотную друг к другу, взметнулись над головами щиты, и «черепаша» двинулась к валу. Однако обе стороны владели римским искусством ведения боя: вителлианцы обрушили на наступавших огромные камни, панцирь «черепашки» закачался, изогнулся и треснул, вителлианцы стали вонзать в щели дроты и копья; крыша из щитов распалась, и груды растерзанных трупов покрыли землю. И снова наступило затишье. Ни приказы, ни подбадриванья не действовали больше на обесси-

ленных солдат. Тогда полководцы указали солдатам на Кремсву и пообещали отдать город на разграбление.

28. Прав ли Мессала, утверждающий, будто план этот придумал Горм, или следует больше полагаться на слова Гая Плиния, который обвиняет во всем Антония,— решить нелегко; и жизнь, которую Горм и Антоний прожили, и слава, которая о них идет, показывают, что оба были готовы на самые гнусные преступления. Ни кровь, ни раны не могли больше удержать солдат. Они подкапывают валы, таранят ворота, снова строят «черепашу» и по щитам, образующим ее панцирь, по спинам товарищей, устремляются на вителлианцев, вырывают у них оружие, хватают их за руки. Мертвые скатываются, увлекая живых, истекающие кровью стаскивают за собой раненых. Многоликая смерть обращает к гибнущим то одно, то другое свое лицо.

29. Главную тяжесть боя, соревнуясь в храбрости, приняли на себя третий и седьмой легионы. Антоний со вспомогательными войсками устремился им на помощь. Вителлианцы не выдержали столь упорного натиска; видя, что их дроты отскакивают от панциря черепахи, они обрушили на нападающих баллисту. Машина раздавила множество солдат и на мгновение расстроила их ряды, но, падая, увлекла за собой верхнюю площадку вала и зубцы, ее защищавшие. Одновременно под градом камней осела стоявшая рядом башня. В образовавшуюся брешь устремились, построившись клиньями, солдаты седьмого легиона. В это же время третий легион топорами и мечами разбил ворота. Первым ворвался в лагерь, как утверждают в один голос все историки, солдат третьего легиона Гай Волузий. Разбросав тех, кто еще сопротивлялся, он взбежал на вал и, вставши там на виду у всех, объявил, что лагерь взят. За ним, в то время как охваченные смятением вителлианцы скатывались с вала, последовали остальные. На всем пространстве между лагерем и стенами Кремоны шла кровопролитная резня.

30. Новые преграды встали перед наступающими — отвесные стены города, каменные башни, ворота, запертые окованными железом бревнами. На стенах стояли солдаты и потрясали дротами. Многочисленные жители Кремоны все были преданы Вителлию; в эти дни там был торг, на который съехался народ почти со всей Италии,— защитники города надеялись на множество приезжих, и это питало их веру в победу, нападающие видели в них свою добычу и еще яростнее рвались к грабежу. Антоний приказал захватить и поджечь лучшие здания, расположенные вне города, так как надеялся, что кремонцы, опасаясь за свое имущество, перейдут на его сторону. На крышах домов, расположенных поблизости от городских стен и возвышавшихся над ними, он разместил во

множестве лучших своих солдат, которые метали в обороняющихся бревна, черепицу, зажженные факелы, стараясь прогнать защитников Кремоны со стен.

31. Легионы уже строили «черепашу», а солдаты вспомогательных войск осыпали противника дротами и камнями. Мужество вителлианцев мало-помалу начало слабеть. Первыми отказались от сопротивления командиры; они понимали, что после взятия города у них не останется надежды на прощение и что вся ярость победителей обратится не на бедняков-солдат, а на трибунов и центурионов, у которых было что отнять. Рядовые еще держались — как люди подневольные, они не подвергались особой опасности, а будущее их не заботило. Однако и они разбрелись по улицам и попрятались в домах; мира они не просили, но воевать перестали. Префекты лагерей убрали изображения Вителлия и старались не упоминать его имени. С Цецины, которого до сих пор держали в кандалах, сняли оковы, и командиры стали просить его заступиться за них перед флавианцами. Цецина отказывался, чванился, они принялись плакать и умолять его. Что может быть отвратительнее такого зрелища — толпа доблестных воинов молит предателя о защите? Вскоре на стенах показались обвитые лентами масличные ветви, замелькали священные головные повязки. Антоний приказал опустить дроты; из города вынесли орлов легионов и значки когорт; следом, опустив головы и глядя в землю, шли удрученные безоружные солдаты. Победители окружили их, посыпались проклятья, угрозы. Побежденные, забыв о былой заносчивости, молча, покорно выслушивали оскорбления. Видя это, флавианцы вспомнили, что перед ними те самые люди, которые совсем недавно одержали победу у Бедриака и проявили столько умеренности и снисходительности. Но в ту же минуту ярость и возмущение снова охватили их: в воротах города показался Цецина, со знаками консульского достоинства — в тоге с пурпурной каймой, окруженный ликторами, разгонявшими толпу. Обвинения в высокомерии, жестокости и даже — такую лютую ненависть вызывают у людей изменники — в предательстве полетели со всех сторон. Антоний приказал солдатам молчать и под стражей отправил Цецину к Веспасиану.

32. Между тем жители Кремоны в ужасе метались по улицам, наводненным вооруженными воинами. Резня чуть было не началась, но командирам удалось уговорить солдат сжалиться. Антоний собрал войска на сходку и обратился к ним с речью, в которой воздал хвалу победителям, милостиво отозвался о побежденных и не сказал ничего определенного о жителях города. Солдаты, однако, были движимы не только обычной жадой грабежа, — легионеры

издавна ненавидели жителей Кремоны и рвались перебить их всех. Считалось, что еще во время отоннианской войны они поддерживали Вителлия; солдаты тринадцатого легиона, оставленные в свое время в городе для сооружения амфитеатра, не забыли насмешек и оскорблений, которых им пришлось тогда послушаться от распущенной, как всегда, городской черни; флавянцы приходили в ярость оттого, что здесь, в Кремоне, Цецина устраивал свои гладиаторские бои, что именно тут дважды происходили кровопролитные сражения, жители выносили пищу сражающимся вителлианцам, и даже кремонские женщины принимали участие в битве — до того велика была их преданность Вителлию. Кроме всего, происходившая в городе ярмарка придавала и без того зажиточной колонии еще более богатый вид. Позже виноватым за все, здесь случившееся, оказался, в глазах людей, один Антоний, — остальные полководцы сумели остаться в тени. Сразу после боя Антоний поспешил в баню, чтобы смыть покрывавшую его кровь; вода оказалась недостаточно теплой, он рассердился, кто-то крикнул: «Сейчас поддадим огня!» Слова эти, принадлежавшие одному из домашних рабов, приписали Антонию, истолковав их так, будто он приказал поджечь Кремону, и общая ненависть обратилась на него; на самом же деле, когда он находился в бане, колония уже пылала.

33. Сорок тысяч вооруженных солдат вломлись в город, за ними — обозные рабы и слуги, еще более многочисленные, еще более распущенные. Ни положение, ни возраст не могли оградить от насилия, спасти от смерти. Седых старцев, пожилых женщин, у которых нечего было отнять, волокли на потеху солдатне. Взрослых девушек и красивых юношей рвали на части, и над телами их возникали драки, кончавшиеся убийством. Солдаты тащили деньги и сокровища храмов, другие, более сильные, нападали на них и отнимали добычу. Некоторые не довольствовались богатствами, бывшими у всех на виду, — в поисках спрятанных кладов они рыли землю, избивали и пытали людей. В руках у всех пылали факелы, и, кончив грабеж, легионеры кидали их, потехи ради, в пустые дома и разоренные храмы. Ничего не было запретного для многоязыкой многоплеменной армии, где перемешались граждане, союзники и чужеземцы, где у каждого были свои желания и своя вера. Грабеж продолжался четыре дня. Когда все имущество людей и достояние богов сгорело дотла, перед стенами города продолжал высылаться один лишь храм Мефитиды, сохранившийся благодаря своему местоположению или заступничеству богини.

34. Так, на двести восемьдесят шестом году своего существования, погибла Кремона. Когда в Италию вторгся Ганнибал, при кон-

сулах Тиберию Семпронию и Публию Корнелию, ее основали как передовую крепость, выдвинутую против транспаданских галлов и других народов, которые могли нахлынуть из-за Альп. Впоследствии, благодаря притоку колонистов, удачному расположению на водных путях, плодородию почвы, мирным отношениям и родственными связям с окружающими племенами, город окреп и расцвел. Внешние войны его не коснулись, гражданские же принесли горести и беды. Антоний, стыдясь преступлений, которым он потворствовал, чувствуя, что ненависть к нему все растет, издал приказ, запрещающий кому бы то ни было держать в неволе жителей Кремоны. Пленные эти оказались для солдат невыгодной добычей, так как вся Италия единодушно и с отвращением отказывалась покупать рабов, захваченных таким образом. Солдаты стали их убивать; прослышав об этом, родные и друзья начали тайком выкупать своих близких. Вскоре вернулись на прежние места уцелевшие жители; благодаря щедрой помощи соседних муниципиев вновь отстроились рынки и храмы; Веспасиан также поощрял жителей восстанавливать город.

35. Пока что вокруг победителей расстилалась дышащая вредными испарениями земля, и долго оставаться в погребенном под развалинами городе было невозможно. Встав лагерем возле третьего камня от Кремоны, солдаты ловили разбредшихся по всей округе перепуганных вителлианцев и возвращали каждого в его когорту. Гражданская война еще продолжалась, и эти разбитые легионы могли вновь стать опасными; поэтому их рассеяли по Иллирику. Флавианцы решили, что не одни гонцы, но и молва донесут весть о победе до испанских провинций, а затем и до Британии; в Галлию был послан трибун Юлий Кален, в Германию — префект когорты Альпиний Монтан. Вестников выбирали с расчетом произвести особое впечатление на жителей этих провинций — Кален был эдуй, Монтан — тревир, и оба в прошлом вителлианцы. В альпийских проходах расположились сторожевые заставы, дабы из Германии никто не мог прийти на помощь Вителлию.

36. Между тем Вителлий через несколько дней после отъезда Цицины сумел отправить из Рима в армию также Фабию Валента и теперь, стараясь забыть обрушившиеся на него беды, предавался развлечениям. Он даже не помышлял о том, чтобы обеспечить себя оружием, укрепить воинов телом и духом, показаться народу. Укрывшись в тени своих садов, подобный бессмысленным животным, которые, едва насытятся, погружаются в оцепенение, Вителлий не заботился ни о прошлом, ни о настоящем, ни о будущем. Вялый, неподвижный, сидел он в Аридийской роще, когда пришла весть о предательстве Луцилия Басса и переходе Равеннского фло-

та на сторону Веспасиана. Через некоторое время ему доложили о том, что случилось с Цециной. Это известие одновременно и огорчило и обрадовало Вителлия — его удручало, что Цецина ему изменил, но рассказ о том, что солдаты заковали Цецину в капдалы, доставил ему удовольствие. В этой ничтожной душе приятные впечатления всегда заслоняли серьезные. С великим ликованием Вителлий возвратился в Рим и на многолюдном собрании граждан воздал солдатам хвалу за проявленную ими верность, приказал заточить в тюрьму префекта претория Публия Сабина, который был дружен с Цециной, и назначил на его место Альфена Вара.

37. Некоторое время спустя он выступил в сенате с тщательно составленной пышной речью, и сенаторы осыпали его выражениями самой льстивой преданности. На Цецину обрушились все — первым Луций Вителлий, за ним остальные. Старательно изображая возмущение, они клеймили консула, предавшего государство, полководца, изменившего своему императору, предателя, обманувшего друга, который осыпал его богатствами и почестями. Каждый сетовал на обиды, нанесенные Вителлию, но в глубине души думал лишь о себе. Никто из выступавших не сказал ни одного дурного слова о Веспасиане — говорили о заблуждении, в которое впали солдаты, о неосмотрительности, ими проявленной, и тщательно избегали упоминать имя, бывшее у всех на уме. Срок консульства Цецины истекал через день; нашелся человек, упросивший Вителлия разрешить ему занять эту должность на оставшиеся сутки; просьба была удовлетворена, что вызвало множество насмешек и над тем, кто оказал подобное благодеяние, и над тем, кто его принял. В течение одного дня — накануне ноябрьских календ — Росий Регул и принял консульские полномочия, и сложил их с себя. Впервые, как говорили сведущие в этих делах люди, магистрат был назначен без законного решения, без освобождения от обязанностей того, кто раньше занимал эту должность. Консулы одного дня были известны и прежде — так диктатор Гай Цезарь, торопясь вознаградить Каниния Ребила за услуги, оказанные во время гражданской войны, назначил его консулом при сходных обстоятельствах.

38. В эти же дни умер Юний Блез, смерть его привлекла к себе всеобщее внимание и вызвала много разговоров. Вот что мне удалось о ней узнать. Тяжело заболевший Вителлий ночевал в Сервилиевых садах; вдруг он заметил, что один из расположенных поблизости дворцов ярко освещен. Вителлий послал узнать, в чем дело; ему доложили, что Цецина Туск устроил многолюдное пиршество в честь Юния Блеза, и со всяческими преувеличениями

описали пышность пира и распушенность, якобы там царящую; нашли и такие, кто вменил в преступление Туску, его гостям и в первую очередь Блезу, что они веселятся, когда принцепс болен.

Когда людям, постоянно высматривающим, не нанес ли кто оскорбления принцепсу, стало ясно, что Вителлий рассержен, они уговорили Луция Вителлия выступить обвинителем. Запятнанный всеми пороками, он издавна завидовал безупречной репутации Блеза и ненавидел его. Явившись в комнату принцепса, Луций Вителлий бросился на колени, а потом принялся горячо обнимать и прижимать к груди сына Вителлия. На вопрос, в чем дело, Луций отвечал, что боится не за себя, что пришел слезно умолять брата защитить лишь свою жизнь и оградить от опасности детей. «Не Веспасиана надо бояться,— говорил он,— между ним и нами германские легионы, провинции, верные своему долгу, бескрайние моря и земли. Другого врага нам следует опасаться — того, кто здесь, в Риме, у нас на глазах, хвастается своими предками — Юниями и Антониями, кичится своим происхождением из императорского рода и выставляет напоказ перед солдатами свою доброту и щедрость. Он привлек к себе все сердца, он пирует, спокойно взирая на муки и страдания принцепса. Не разобрав, где враг и где друг, ты пригрел на своей груди соперника. Надо наказать этого человека за неуместное веселье, пусть эта ночь станет для него ночью ужаса и скорби. Пусть знает, что Вителлий жив, что он правит и у него есть сын, который в случае роковой необходимости заменит его».

39. Вителлий трепетал от страха, но не мог решиться на преступление. Он боялся, что, сохраняя Блезу жизнь, подвергает себя смертельной опасности, но в то же время знал, что, приказав убить его, рискует вызвать к себе лютую ненависть. Поэтому он счел за лучшее отравить его. Радость, которую он не сумел скрыть при виде мертвого тела Блеза, еще раз показала всем, кто повинен в этом злодеянии. Передавали сказанные им мерзкие слова (я привожу их точно), будто видом мертвого врага он насыщает свой взор. Блез был человек не только знатный и отлично воспитанный, но и на редкость верный своему долгу. Вителлию еще ничто не угрожало, когда Цецина и другие главари вителлианцев уже возненавидели его и стали всячески обхаживать Блеза; однако Блез упорно отвергал все их домогательства. Он был чист душой, держался в стороне от интриг, не стремился ни к незаслуженным почестям, ни к власти принцепса, которой его едва не сочли достойным.

40. Между тем Фабий Валент двигался к месту военных действий во главе целой армии изнеженных наложниц и скопцов, и

далеко не так поспешно, как подобает полководцу. Когда ему с нарочным доставили сведения об измене Луцилия Басса и переходе Равеннского флота на сторону Веспасиана, он еще мог, двинувшись быстрее, опередить колебавшегося Цецину или присоединиться к легионам до того, как над ними нависла опасность разгрома. Один из его приближенных советовали свернуть с главной дороги и с группой верных людей, окольными тропами, в обход Равенны, поспешить к Гостилии или Кремоне, другие настаивали на том, чтобы вызвать из Рима преторианские когорты и, собрав достаточно сил, прорваться вперед. Валент медлил и вместо того, чтобы действовать, проводил время в бесполезных разговорах. В конце концов он отверг оба плана и, не обладая ни подлинной смелостью, ни мудрой предусмотрительностью, выбрал самое худшее, что можно в таком положении, — среднюю линию.

41. Валент написал Вителлию, прося подкреплений. Ему прислали три когорты и британскую конницу; для скрытого маневра, рассчитанного на обман врага, этого было слишком много, для открытого прорыва — слишком мало. Валент и в этих крайних обстоятельствах не хотел отказываться от своих подлых привычек — ходили слухи об извращенных наслаждениях, которым он предается, о прелюбодеяниях и преступлениях, творимых им в домах, где он останавливался. Силы и деньги у него еще были, но он видел, что звезда его закатывается, и стремился натешиться напоследок. Как только к Валенту прибыли вызванные им из Рима пехотные и конные подразделения, нелепость его плана стала очевидна всем: с такими ограниченными силами нечего было и думать выступать против врага, даже если бы прибывшие солдаты и были готовы стоять за Вителлию до конца, а они подобной преданностью не отличались. Свои подлинные настроения они проявили не сразу — поначалу стыд и почтение, которое обычно внушает присутствие командующего, удерживали их. Однако люди, которые опасностей страшатся, а позора нет, не надолго поддаются подобным чувствам. Валент хорошо понимал это и, отправив пешие когорты к Аримину, а конному отряду поручив защищать их с тыла, в сопровождении немногих солдат, сохранивших ему былую верность, свернул в Умбрию, а оттуда в Тоскану, где его застало известие об исходе битвы под Кремоной. Тогда-то у него и возник новый план, не лишенный дерзости, а в случае удачи грозивший ужасными последствиями: добраться морем до Нарбоннской провинции и оттуда поднять Галлию, римские армии и германские племена на новую войну.

42. Когорты, оставленные Валентом в Аримине, после отъезда командующего совсем пали духом. Корнелий Фуск подтянул сюда

войска, приказал быстроходным судам передвигаться вдоль берегов и, таким образом, запер противника с суши и с моря. Теперь долины Умбрии и омываемая Адриатическим морем часть Пицены оказались запяты; между Италией Веспасиана и Италией Вителлия единственной преградой остался Апеннинский хребет. Фабий Валент тем временем вышел на кораблях из Писанского залива, но затишье на море или встречные ветры заставили его пристать в порту Геркулеса Монекского, неподалеку от которого действовал прокуратор Приморских Альп Марий Матур, пока еще сохранявший верность Вителлию, хотя все кругом уже перешло на сторону его врагов. Марий Матур хорошо принял Валента и отговорил его от безрассудной поездки в Нарбоннскую Галлию. Доводы Матура навели ужас на Валента, а вскоре и солдат его страх заставил забыть о долге и присяге.

43. Расположенные поблизости города перешли на сторону Веспасиана. Принудил их к этому прокуратор Валерий Павлин — опытный военачальник, связанный с Веспасианом узами старинной дружбы, начавшейся еще до того, как судьба вознесла будущего принцепса. Павлин собрал людей, уволенных Вителлием из армии и жаждавших принять участие в войне, и занял колонию Форум Юлия, закрывавшую выход к морю. Власть Павлина была тем более велика, что сам он происходил из этой колонии; преторианцы его поддерживали, потому что он некогда был у них трибуном; даже крестьяне из окрестных деревень помогали ему, стремясь завоевать расположение городских властей и рассчитывая на поддержку со стороны Павлина в будущем. Когда слух об его успехах, и без того значительных, да еще приукрашенных молвой, распространился среди колебавшихся, неуверенных в себе вителлианцев, Фабий Валент поспешил вернуться на свои корабли. За ним последовали четверо телохранителей, трое друзей и три центуриона; Матур и остальные решили остаться и присягнуть Веспасиану. Валент хорошо понимал, откуда ему грозит опасность, гораздо хуже он представлял себе, на кого ему можно было бы положиться; будущее казалось смутным, и в море он чувствовал себя увереннее, чем на берегу или в городах. Непогодой корабли его отнесло к Стехадам — островам, находившимся под властью города Массилии. Здесь его и схватили моряки либурнских кораблей, которые Павлин еще раньше выслал к Стехадам.

44. После ареста Валента дела Веспасиана повсюду пошли на лад. К нему присоединились сначала Испания, где первый Вспомогательный легион, верный памяти Отона и потому враждебный Вителлию, увлек за собой десятый и шестой, затем — галльские провинции и, наконец, Британния. Солдаты расположенного здесь

второго легиона любили Веспасиана, который при Клавдии командовал ими и стяжал славу в боях. Они сумели перетянуть на свою сторону и остальные войска, правда, не без сопротивления и споров: большинство центурионов и солдат получили от Вителлия повышения по службе и очень неохотно отказывались от принцепса, доказавшего им на деле свою благосклонность.

45. Все эти распри и непрерывно доходявшие слухи о междоусобиях в Риме вдохнули новые силы в сердца британцев. Больше всех подстрекали их к восстанию Венуций — человек неукротимый, лютей враг римлян и к тому же имевший свои причины ненавидеть царицу Картиманду. Эта царица, происходившая из старого знатного рода, правила племенем бригантов. Могущество ее сильно возросло после того, как она, обманом захватив царя Каратака, как бы своими руками устроила триумф Клавдия Цезаря. Вместе с богатством и удачей пришли, как обычно, роскошь и разврат. Картиманду отвергла своего мужа Венуция и разделила ложе и власть с его оруженосцем Веллокатом. Это преступление вызвало целую бурю — на сторону Венуция стало все государство, на сторону Веллоката — царица, ослепленная страстью и готовая на любую жестокость. Венуций сумел собрать силы, британцы изменили Картиманде, и, доведенная до последней крайности, она обратилась за помощью к римлянам. После нескольких сражений, кончавшихся победой то одной, то другой стороны, римские когорты и конные отряды спасли царицу от нависшей над ней опасности. Победа осталась за нами, царство — за Венуцием.

46. В эти же дни вспыхнули волнения в Германии. Здесь власть римлян едва не была свергнута из-за слабости полководцев, распушенности легионов, коварства союзных племен и обилия сил, которыми располагали варвары. О причинах и ходе этой надолго затянувшейся войны я вскоре расскажу особо.

Возмущение захватило также и племя даков; они никогда не были по-настоящему верны Риму, а после ухода войск из Мезии потеряли всякий страх. В начале событий даки хранили спокойствие и только наблюдали за происходящим. Когда же война заполыхала и в Италии, а армии одна за другой стали втягиваться в борьбу, они захватили зимние лагеря когорт и конных отрядов, овладели обоими берегами Дуная и уже собирались напасть на лагерь легионов, когда Муциан, получивший тем временем сведения о победе под Кремоной и понимавший, что если даки и германцы с разных сторон вторгнутся в пределы империи, то ему придется иметь дело с вдвое более грозным противником, двинул против даков шестой легион. Опять, как во многих других случаях, сама судьба позаботилась о римском народе — Муциан с восточными

армиями вовремя оказался на месте, а Кремону мы тем временем окончательно закрепили за собой. Во главе Мезии был поставлен Фонтей Агриппа, переведенный из Азии, которой он в течение года управлял в качестве проконсула. В помощь ему дали армию, набранную из бывших вителлианцев — и здравый смысл, и интересы мира требовали расщедоточить их по провинциям и занять войной с противником, угрожавшим Риму извне.

47. Непокойшы были и другие племена. В Понте неожиданно взялся за оружие раб, варвар, некогда командовавший царским флотом, — отпущенник Полемона Аникет. Прежде он пользовался большой властью в этой стране; когда же она сделалась римской провинцией, стал нетерпеливо стремиться к перевороту. Именем Вителлия он привлек на свою сторону пограничные с Понтом племена, пообещал самым горьким беднякам дать возможность пограбить и во главе значительных сил неожиданно ворвался в Трапезунт — славный древний город, основанный греками в наиболее отдаленной части Понтийского побережья. Расположенная здесь когорта, составлявшая в прошлом царскую охрану, была перебита: хотя этим солдатам недавно дали римское гражданство, значки и оружие, принятые в нашей армии, они остались ленивыми, распущенными греками. Аникет сжег римские суда, забросав их горящими факелами, и стал полновластным хозяином на море, так как лучшие либурнские корабли и всех солдат Муциан еще прежде увел отсюда в Византий. Варвары быстро понастроили себе кораблей и дерзко нападали на прибрежные селения. Корабли эти называются у них камары, наверху борта их сближены, а ниже корпус расширяется; варвары не пользуются при постройке кораблей ни медными, ни железными скрепами; в бурную погоду чем сильнее волнение, тем больше накладывают они поперек бортов досок, образующих что-то вроде крыши, и защищенные таким образом суда легко движутся по волнам. Грести на них можно в любую сторону, так как они кончаются носом спереди и сзади и могут безопасно причаливать к берегу и одним и другим концом.

48. Мятеж Аникета привлек внимание Веспасиана, и он послал против повстанцев легионеров во главе с опытным военачальником Вирдием Геминиом. Напав на занятых грабежом, разбредшихся по всей округе варваров, тот принудил их вернуться на корабли. Поспешно выстроив несколько быстроходных судов, Гемини погнался на них за Аникетом и настиг его в устье реки Хоба, где последний чувствовал себя в безопасности, так как успел деньгами и подарками привлечь на свою сторону местного царя Седохеза и теперь рассчитывал на его поддержку. Царь сначала действительно оказывал покровительство своему гостю, умолявшему его о помо-

щи, и даже грозил римлянам оружием. Вскоре, однако, Гемин дал ему понять, что, предав повстанцев, он может получить деньги, продолжая же защищать Аникета, рискует подвергнуть свою страну нападению римских войск. Непостоянный, как все варвары, царь решился погубить Аникета и выдал римлянам тех, кто искал у него спасения. На том и кончилась эта война с рабами.

Все приносило Веспасиану еще больше удачи, нежели он рассчитывал; не успел он нарадоваться победе над Аникетом, как к нему в Египет пришла весть о битве под Кремоной. Тем быстрее устремился он к Александрии, чтобы теперь, когда войска Вителлия были разгромлены, закрыть подвоз припасов в Рим и голодом принудить к сдаче столицу, вечно нуждавшуюся в продовольствии. С этой целью он собирался вторгнуться с моря и суши в расположенную по соседству провинцию Африку и, приостановив поставки хлеба, вызвать в стане врага смятение и голод.

49. Все эти потрясения, охватившие целый мир, изменили судьбы империи, изменился после победы под Кремоной и Прим Антоний. То ли он решил, что хватит с него воинских подвигов и теперь можно ни о чем не заботиться, то ли удача обнажила присущие ему жадность, высокомерие и прочие пороки, которые он прежде тщательно скрывал, но он повел себя в Италии, как в завоеванной стране, а с легионами начал обращаться так, будто то было его собственное войско. Теперь в каждом его слове, в каждом поступке сказывалось желание проложить себе путь к власти. Чтобы поддержать мятежные настроения солдат, он разрешил им самим выбрать себе центурионов на место погибших; в результате избранными оказались отъявленные смутьяны. Теперь уже не солдаты подчинялись командирам, а командиры зависели от произвола солдат. Вскоре Антоний попытался извлечь выгоду из этого разложения и упадка дисциплины. Он не подумал о том, что Муциан уже близко, а между тем встать на пути этого человека было гораздо опаснее, чем оскорбить самого Веспасиана.

50. Приближалась зима, сырость ложилась на поля в пойме Пада, когда армия налегке, без поклажи и обозов, выступила в поход. Значки и орлы легионов, раненых, престарелых, а с ними и многих здоровых солдат победители оставили в Вероне. Они считали, что конец войны уже не за горами и можно справиться с помощью конных отрядов, отдельных когорт и набранных по легионам добровольцев. Одиннадцатый легион, который в начале войны медлил и выжидал, теперь, после победы флавианцев, испугавшись, что можно опоздать к дележу добычи, присоединился к победителям. С ним шли шесть тысяч новобранцев-далматов. Командовал им консулар Помпей Сильван, решал же все легат

легиона Аннии Басс. Делая вид, будто он полностью подчиняется своему командиру, Басс спокойно и энергично руководил легионом и направлял все поступки Сильвана, который был неопытен в военном искусстве, а вместо того, чтобы действовать, произносил речи. Моряки Равеннского флота требовали, чтобы их перевели в число легионеров; из них выбрали лучших, включили в состав армии, а на их место поставили далматов. У Святилища Судьбы армия и полководцы остановились и стали решать, что делать дальше: ходили слухи, будто преторианские когорты выступили из Рима; проходы в Апеннинах, по всей вероятности, охранялись сторожевыми заставами; местность, где остановились войска, была разорена войной; командиры боялись солдат, буйно требовавших выплаты клавария. Никто в свое время не позаботился ни о пополнении казны, ни о запасах пищи. Алчность и нетерпеливость солдат делали положение еще более трудным, — они грабили население и отнимали у жителей продовольствие, которое те готовы были отдать даром.

51. В сочинениях самых прославленных историков я нахожу сведения о том, сколь бессовестно преступали победители все заповеди богов. Один рядовой конник пришел к командирам, заявил, что убил в последнем сражении своего брата, и потребовал вознаграждения. Награждать его было бесчеловечно, наказывать невозможно. Командиры ответили, что совершенный им подвиг заслуживает почестей, воздать которые в походных условиях нельзя, поэтому лучше отложить дело до другого времени. Позже об этом случае уже не вспоминали. Подобные преступления случались во время гражданских войн и раньше. В битве с Цинной у Яникульского холма один из воинов-помпеянцев, как рассказывает Сизенна, убил родного брата, а узнав его, покончил с собой: вот насколько превосходили нас наши предки — и вознаграждая доблесть, и карая преступление. Такие примеры из прошлого, если только они к месту, я и впредь буду приводить всякий раз, когда нужно прославить доблесть или найти утешение в беде.

52. Антоний и полководцы его армии решили выслать вперед конников, дабы найти самые удобные во всей Умбрии дороги, ведущие к Апеннинам. Они договорились также стянуть в одно место легионы, самостоятельно действовавшие когорты и оставшихся в Вероне солдат, а поклажу и продовольствие отправить по реке Паду и морем. Кое-кто из полководцев нарочно мешал осуществлению этих планов, — они теперь уже не нуждались в Антонии и рассчитывали больше выиграть, помогая Муциану. Дело в том, что Муциан был обеспокоен молниеносными успехами Антония, опасаясь, как бы Антоний не двинулся на Рим один и не лишил его тем самым славы победителя. Он непрерывно писал Приму и Вару

письма, в которых то требовал спешно завершить начатое дело, то рассуждал о преимуществах мудрой медлительности. Письма были составлены так, что, в случае неудачи, Муциан мог бы от всего отказаться, в случае же победы — приписать ее своим попечениям. С Плотием Грипом, которого Веспасиан недавно возвел в сенаторское достоинство и назначил командовать легионом, и с другими своими сторонниками Муциан был откровеннее и побуждал их противодействовать Антонию. В ответных письмах они старались расположить Муциана к себе и дурно отзывались о причинах, заставлявших Прима и Вара торопиться. Муциан пересылал эти письма Веспасиану и добился того, что император стал относиться к поступкам и замыслам Антония совсем не так, как тот рассчитывал.

53. Все это с каждым днем сильнее раздражало Антония, и он решил, не дожидаясь, пока Муциан своими интригами уничтожит плоды всех его трудов, сам бросить вызов сопернику. Невоздержный на язык, не привыкший кому-либо подчиняться, Антоний не слишком щадил Муциана в разговорах с окружающими. Он составил письмо Веспасиану, написанное с самоуверенностью, недопустимой при обращении к принцепсу, и содержавшее скрытые нападки на Муциана. Антоний писал о своих заслугах, говорил, что это он поднял паннонские легионы, он увлек правителей Мезии, он перешел Альпы, занял Италию, помешал германцам и ретам прийти на помощь Вителлию. А битва, начатая атакой конницы на рассеянные беспорядочные легионы вителлианцев и завершенная наступлением пехоты, в течение суток громившей разбитого противника? Разве это не блестящая победа и разве не он, Антоний, добился ее? В гибели Кремоны повинна война; гражданские распри былых времен, уничтожившие не один, а множество городов, обходились государству гораздо дороже. Боевыми делами, а не доносениями и письмами служит он своему императору. При этом он вовсе не хочет умалять заслуги людей, наводивших тем временем порядок в Даккии: их дело было охранять мир в этой провинции, сто — обеспечивать спасение и безопасность Италии. Кто, как не он, убедил галльские и испанские провинции — эти лучшие земли империи — перейти на сторону Веспасиана? Неужели теперь плодами всех его трудов воспользуются люди, не принимавшие в них никакого участия, а Антоний останется ни при чем?

Муциан хорошо понимал, чем грозит ему это письмо. Отсюда и возникла та взаимная ненависть, которую Антоний высказывал открыто, Муциан, хитрый и безжалостный, — лелеял в глубине души.

54. Поражение под Кремоной разрушило все планы Вителлия. Он старался утаить, что произошло, но эта бессмысленная скрытность не столько пресекала зло, сколько мешала найти средства

борьбы с ним. В самом деле, если бы Вителлий был откровенен и не отказывался просить совета, у него нашлись бы еще и надежды и силы; он же, наоборот, делал вид, что все обстоит прекрасно, и тем лишь ухудшал свое положение. Его окружало удивительное молчание обо всем, связанном с войной; в городе было приказано о ней не говорить, и потому только ее повсюду и обсуждали. Если бы подобные разговоры не запрещались, люди вели бы речи о действительно происшедших событиях, теперь же, когда говорили тайно, по городу расползались слухи, один ужаснее другого, и полководцы Веспасиана всячески содействовали их распространению. Захваченных в плен разведчиков Вителлия водили по всему лагерю флавианцев, давали им воочию убедиться в силе победоносной армии, после чего отпускали. Всех их Вителлий тайно допрашивал, а потом казнил. Замечательную верность долгу проявил в эту пору центурион Юлий Агрест. Он не раз говорил с Вителлием, тщетно пытаясь возбудить его мужество, и, наконец, испросил разрешения отправиться в армию противника, дабы выяснить, что произошло под Кремоной, и посмотреть, какими силами располагают флавианцы. Явившись к Антонию, он не пытался обмануть его и собрать нужные сведения незаметно, а откровенно рассказал о возложенном на него поручении, о своих намерениях и потребовал, чтобы ему дали взглянуть на все своими глазами. Антоний отрядил людей, которые показали Агресту место сражения, развалины Кремоны, захваченные в плен легионы вителлианцев. Агрест вернулся к Вителлию, но тот отказался верить принесенным сведениям и даже обвинил его в измене. На это Агрест ответил: «Если тебе нужно бесспорное свидетельство моей преданности и никакой другой пользы ни жизнью своей, ни смертью я принести не могу, то ты получишь доказательство, которому поверишь». И, выйдя от принцепса, он наложил на себя руки, добровольной смертью скрепив истину своих слов. Некоторые говорят, что его убили по приказу Вителлия, но все в один голос признают его верность и мужество.

55. Вителлий как бы очнулся от сна; он приказал Юлию Приску и Альфену Вару взять четырнадцать преторианских когорт, всю наличную конницу и встать заставой в Апеннингах; вслед им отправили еще легион морской пехоты. Будь во главе стольких тысяч отборных пехотинцев и конников другой командующий, сил этих могло бы хватить даже для наступления. Командовать остальными когортами и защищать столицу Вителлий поручил своему брату Луцию. Сам же он и не подумал отказаться от постоянно окружавших его роскоши и разврата. Подгоняемый сознанием непрочности своей власти, он поспешно собрал комиции, где назначил консулов на много лет вперед, с бессмысленной щедростью стал жаловать

союзникам права федератов, иностранцам — латинское гражданство, одним отложил взнос налогов, других освободил от повинностей и, наконец, нимало не заботясь о будущих поколениях, принялся раздавать государственное имущество. Чернь только диву давалась, глядя на этот поток благодеяний; глупцы старались добиться их за деньги, люди умные не придавали им никакой цены, понимая, что, будь государство здорово, никто не стал бы ни оказывать подобные милости, ни принимать их. Армия между тем заняла Меванию и требовала, чтобы Вителлий присоединился к ней. Сопровождаемый толпой сенаторов, из которых одних привело сюда желание выслужиться, а большинство — страх, он прибыл в лагерь, растерянный, готовый послушаться любого коварного совета.

56. Когда Вителлий говорил речь на солдатской сходке, над его головой, — дивно сказать, — закружились какие-то отвратительные крылатые существа, и было их столько, что они как туча затмили день. К этому прибавилось недоброе предзнаменование: бык разбросал священную утварь, убежал от алтаря и был убит далеко от того места, где обычно совершают жертвоприношения. Но наиболее мрачное зрелище являл собой сам Вителлий. Невежественный в военном деле, неспособный что-либо предвидеть и рассчитать, он не умел ни построить войско, ни собрать нужные сведения, ни ускорить или замедлить ход военных действий. Он обо всем спрашивал совета у окружающих, при каждом новом известии ужасался, дрожал, а потом напивался. Наконец, лагерная жизнь ему надоела. Получив сведения о переходе мизенского флота на сторону противника, он поспешил в Рим, озабоченный лишь последними событиями и вовсе не думая об угрожающей ему гибели. Каждый понимал, что следовало перевести через Апеннины всю армию и со свежими войсками обрушиться на ослабевшего от голода и холода противника, но Вителлий дробил свои силы и посылал лучших солдат, готовых идти за него на смерть, против врага, где их ждали гибель или плен. Даже центурионы, из тех, что больше других понимали дело, не одобряли такого поведения и раскрыли бы Вителлию глаза, если б он посоветовался с ними. Но ближайшие друзья Вителлия не давали центурионам высказать свое мнение, а уши императора были устроены так, что он оставался глух ко всему, что могло его спасти, и выслушивал лишь приятные, но губительные советы.

57. Во времена гражданских неурядиц даже один человек может сделать многое, если он дерзок и решителен: центурион Клавдий Фавентин, которого Гальба некогда оскорбил, уволив из армии, сумел склонить к измене весь мизенский флот; он показывал морякам подложные письма Веспасиана, в которых тот якобы обещал им награду, если они предадут Вителлия. Командовавший этим

флотом Клавдий Аполлингарий не был ни настолько мужественным, чтобы остаться верным присяге, ни настолько честолюбивым, чтобы изменить ей. Во главе мятежников стал только что отслуживший претору Апиний Тирон, который в это время случайно оказался в Минтурне. Под влиянием восставших началось брожение также в муниципиях и колониях; к вражде между вителлианцами и флавианцами здесь добавлялось соперничество городов друг с другом: жители Путеол горячо встали на сторону Веспасиана, капуанцы наперекор им решили хранить верность Вителлию. Чтобы вернуть себе расположение солдат, Вителлий отправил к ним Клавдия Юлиана; Юлиан незадолго перед тем руководил мизенским флотом и проявил себя как мягкий и не слишком требовательный командир. Ему в помощь дали когорту солдат городской стражи и гладиаторов, которыми он заведовал. Они разбили лагерь рядом с лагерем мятежников, и Юлиан, недолго поколебавшись, перешел на сторону Веспасиана, после чего все вместе заняли Таррацину,— здесь они могли считать себя в безопасности, полагаясь, правда, не столько на собственное мужество, сколько на стены города и его неприступное местоположение.

58. Узнав об этих событиях, Вителлий оставил в Нарнии префектов претория с частью войск, а брата своего Луция отправил с шестью когортами и пятьюстами всадниками в Кампанию, чтобы преградить путь войне, надвигавшейся на него оттуда. Мрачное настроение его начало рассеиваться: солдаты выражали ему свою преданность, народ громкими криками требовал оружия, и он уже стал называть эту толпу, не способную ни на что, кроме болтовни, новой армией и новыми легионами. По совету своих вольноотпущенников (он предпочитал их друзьям, которым доверял тем меньше, чем более достойные люди среди них встречались) Вителлий приказывает созвать трибы. Сначала он сам принимает присягу у добровольцев, но, видя, что толпа жаждущих записаться все растет, поручает набор консулам. Он устанавливает, сколько рабов и какую сумму денег должен дать каждый сенатор; римские всадники наперебой предлагают свою помощь и свои сбережения; даже вольноотпущенникам, настаивающим, чтобы и их допустили участвовать в общем деле, разрешают принять на себя такие же обязательства. Все это порожденное страхом воодушевление постепенно перерастало в сострадание и жалость. Большинство, однако, скорбело не о Вителлии, а о принципате, над которым нависла угроза. Вителлий стремился вызвать к себе сочувствие печальным выражением лица, жалобным голосом и слезами и раздавал невыполнимые обещания, как это обычно бывает с людьми, дрожащими от страха. Прежде он отвергал звание цезаря, теперь же пожелал

называться этим именем — отчасти возлагая на него суеверные надежды, а отчасти и потому, что, когда человек в опасности, пересуды толпы значат для него столько же, сколько голос благоразумия. Впрочем, как всегда бывает при внезапно возникающих безрассудных порывах, которые сильны на первых порах, а со временем остывают, воодушевление сенаторов и всадников начало постепенно спадать. Они стали отходить от Вителлия, сперва втихомолку, пользуясь его отсутствием, потом, уверовав в собственную безнаказанность, — с откровенным пренебрежением. Наконец, видя, что из всей затеи ничего не получается, Вителлий, мучимый стыдом, решил не брать у сенаторов и всадников того, что они все равно ему не давали.

59. Захват Мевании поразил ужасом всю Италию; казалось, война начинается заново; однако трусливое бегство Вителлия вновь изменило положение — теперь люди с новым рвением стремились доказать свою преданность флавианскому делу. Самниты, пелигны, марсы, уязвленные тем, что жители Кампании опередили их, поднялись в свой черед и ревностно, как подобает новым подданным, выполняли обязанности, возложенные на них в связи с войной. Армия тем временем, изнемогая в борьбе со снегами и холодом, с трудом прокладывала себе путь через Апеннины. Даже во время этого мирного перехода у людей едва хватало сил выбраться из снегов; теперь солдатам стало ясно, какие бы их ждали опасности, если бы судьба, приходившая на помощь флавианским полководцам не реже, чем их военные таланты, не вернула Вителлия в Рим. В пути флавианцы неожиданно встретили Петилия Цериала; хорошее знание местности и крестьянская одежда помогли ему ускользнуть от приставленной Вителлием стражи. Цернал был близкий родственник Веспасиана, известный своими удачными походами, и его тут же сделали одним из командующих армией. Многие авторы утверждают, будто у Флавия Сабина и Домициана тоже была полная возможность скрыться; лазутчики Антония всякими правдами и неправдами сумели пробраться к ним и убеждали их бежать, обещая провидеть под крепкой охраной в надежное место. Сабин отказался, говоря, что слабое здоровье не позволяет ему отважиться на побег, сопряженный с трудностями и риском. Домициан обладал нужной решительностью, но Вителлий приставил к нему сторожей, которые, хотя и говорили, будто готовы содействовать побегу, внушали ему опасения. Впрочем, Вителлий, думая об угрозе, которая может возникнуть и для него самого, не собирался трогать Домициана.

60. Дойдя до Карсул, полководцы флавианской армии остановились на несколько дней, чтобы отдохнуть и дать время остальным легионам присоединиться к ним. Место для лагеря оказалось очень удачным: его окружали открытые поля, дороги, по которым

подвозилось продовольствие, были безопасны, в тылу лежали цветущие многолюдные города. Вителлианцы стояли в десяти милях; это облегчало ведение переговоров, внушало надежду, что их удастся переманить на сторону Веспасиана. У солдат такие надежды вызывали лишь раздражение. Они стремились не к перемирию, а к победе и не хотели ждать прихода остальных легионов, видя в них скорей соперников в дележе добычи, чем товарищей в борьбе. Антоний собрал сходку. Он заговорил о том, что Вителлий разбит еще не до конца, что можно вступить в переговоры и склонить его войска к измене, но если довести вителлианцев до крайности, у них еще хватит сил оказать ожесточенное сопротивление. «В гражданской войне,— утверждал он,— на первых порах все зависит от удачи, но окончательной победы можно добиться, лишь действуя мудро и осмотрительно». Антоний напомнил, что мизенский флот и цветущая, омываемая морем Кампания уже отвернулись от Вителлия, что из всей мировой державы у него осталась лишь полоска земли между Таррациной и Нарнией. «Битва под Кремоной принесла вам довольно славы,— продолжал он,— но еще больше ненависти к вам вызвала гибель этого города. Теперь, когда Рим перед вами, следует думать не о том, как им овладеть, а о том, как оградить его от бед. Не лучшая ли награда и не высшая ли честь, не пролив ни капли крови, защитить безопасность сената и римского народа?» Этими и подобными доводами Антоний сумел успокоить солдат.

61. Некоторое время спустя подошли отставшие легионы, и флавианская армия стала еще более многочисленной. Слухи об этом распространились среди противников и внесли смятение в их ряды. Вителлианцы заколебались — никто их не призывал продолжать борьбу, напротив, все убеждало в том, что лучше перейти на сторону врага; командиры наперебой сдавались флавианцам, принося в дар победителям свои конные отряды и центурии, в надежде, что это зачтется им в будущем. От них стало известно, что расположенный неподалеку на равнине город Интерамна охраняется гарнизоном в четыреста всадников. Против них немедленно выслали летучий отряд во главе с Варом. Немногие, оказавшие сопротивление, были перебиты, другие побросали оружие и сдались, кое-кто бежал в лагерь. Чтобы оправдаться и объяснить, почему они изменили своему долгу, беглецы всячески преувеличивали доблесть и численность противника, и слухи о грозящей опасности тут же схватили весь лагерь. Трусов у вителлианцев не наказывали, изменники были явно не в накладе, и это окончательно подрывало дух армии, остальные состязались в подлости и коварстве. Трибуны и центурионы все чаще перебежали на сторону врага, хотя рядовые солдаты упорно хранили верность Вителлию. Наконец Приск

и Альфен бросили лагерь на произвол судьбы и вернулись к Вителлию, тем самым сняв ответственность и со всех остальных.

62. В эти же дни в Урбине в тюрьме был убит Фабий Валент. Голову его выставили на обозрение вителлианцам, дабы лишить их всяких надежд на будущее: до сих пор они верили, будто Валент бежал в Германию, сплачивает там свои старые войска и набирает новые. Видя, что полководец их убит, они впали в отчаяние; флавианцы же ликовали и решили, что смерть Валента означает конец войны.

Валент родился в Анагнии, во всаднической семье. Развратный и неглупый, он предался распутству, дабы прослыть светским человеком. При Нероне, во время Ювеналовых игр, он неоднократно выступал в качестве мима, сначала делая вид, будто его к этому вынуждают, потом — не скрывая, что выступает по собственной охоте, отчего и прослыл скорее умелым актером, чем порядочным человеком. В бытность свою легатом легиона он поддерживал Вергиния и его же оклеветал, убил Фонтеля Капитона, склонив его раньше к измене, — а может быть, именно потому, что тот не соглашался на измену, предал Гальбу. Он сохранил верность Вителлию, когда другие ему изменяли, — и это принесло ему славу.

63. Надеяться солдатам вителлианской армии было больше не на что, и они тоже решили перейти на сторону противника, но позаботились о том, чтобы их капитуляция выглядела достойно. С развернутыми вымпелами и поднятыми значками они спустились на лежавшие ниже Нарнии поля. Флавианское войско, изготовленное к бою, в парадном вооружении, выстроилось сомкнутыми рядами по обеим сторонам дороги. Вителлианцы вошли в образовавшийся проход, их немедленно окружили, и Антоний обратился к ним с приветливой речью; часть их оставили в Нарнии, часть разместили в Интерамие. Тут же расположили и несколько легионов из армии победителей: они не трогали побежденных, пока те вели себя спокойно, но в случае необходимости готовы были подавить любые волнения. В эти дни Прим и Вар несколько раз писали Вителлию, обещая сохранить ему жизнь, предлагая деньги и тайное убежище в Кампании, если он согласится сложить оружие и сдастся вместе с детьми на милость Веспасиана. О том же самом писал ему и Муциан. Вителлию все чаще приходила в голову мысль согласиться на эти предложения. Он уже начал поговаривать о том, сколько рабов он с собой возьмет и какое место на побережье предпочел бы. Полное безразличие овладело им. Если бы другие не помнили, что он принцепс, сам он давно бы забыл об этом.

64. Самые видные люди в государстве втайне уговаривали префекта столицы Флавия Сабина принять участие в победоносном

завершении войны, обеспечить себе свою долю славы и не уступать ее целиком Антонию и Вару. Они напоминали ему о когортах, расположенных в столице и находящихся в его распоряжении, о солдатах городской стражи, которые, конечно, тоже поддержат его, о том, что события сами всегда складываются в пользу победителей, обещали свою помощь, призывали префекта подумать о судьбе флавианского дела. «У Вителлия,— говорили они,— солдат мало, да и те удручены сыплющимися на них со всех сторон мрачными вестями. Народ непостоянен в своих привязанностях; если ты объявишь себя его вождем, он станет так же раболепствовать перед Веспасианом. Вителлий и при благоприятных обстоятельствах не умел быть настоящим принцепсом, а теперь, когда все кругом идет прахом, и вовсе впал в ничтожество. Честь завершить войну выпадет на долю человека, который овладеет Римом. Естественней всего именно тебе из рук в руки передать власть Веспасиану, ему же будет приятно оказаться обязанным в первую очередь брату и лишь затем всем остальным».

65. Сабин был стар, страсти в его душе давно утихли, и он неохотно выслушивал подобные речи. Находились люди, тайно распространявшие оскорбительные для Сабина слухи, будто он ненавидит брата и из зависти не хочет помочь ему. Дело в том, что Сабин был старше Веспасиана, и пока они оба оставались частными лицами, превосходил его также богатством и пользовался большим уважением. Рассказывали, будто в трудную для Веспасиана минуту, когда ему перестали верить в долг, Сабин ссудил ему весьма умеренную сумму, забрав в обеспечение долга его дом и земли. С тех пор оба брата втайне остерегались друг друга, хотя внешне сохраняли хорошие отношения. Гораздо вероятнее, однако, другое объяснение. Сабин был человек мягкий, кровопролитие и убийства внушали ему отвращение, поэтому он не раз убеждал Вителлия заключить перемирие и договориться об условиях, на которых можно будет прекратить вооруженную борьбу. Они обсуждали эти вопросы сначала дома, потом в храме Аполлона, где, как уверяла в то время молва, в конце концов и пришли к соглашению. Голоса обоих собеседников и слова, ими произносимые, слышали только два человека — Клувий Руф и Силий Италик, остальные могли лишь издали наблюдать за обоими собеседниками. Вителлий выглядел унылым и жалким, лицо Сабина выражало не столько высокомерие, сколько сострадание.

66. Если бы Вителлию удалось с такой же легкостью убедить своих приближенных согласиться на перемирие, с какой принял эту мысль он сам, войска Веспасиана вступили бы в Рим, не пролив ни капли крови. Но все близкие Вителлию люди и слушать не

хотели о прекращении войны на каких бы то ни было условиях: перемирие, по их мнению, отдало бы их на волю победителя и не принесло ничего, кроме опасностей и позора. Веспасиан, утверждали люди, окружавшие Вителлия, не настолько тщеславен, чтобы принять бывшего императора в число своих подданных, побежденные тоже не смирятся с этим, так что само милосердие нового принцепса обернется для Вителлия еще худшей опасностью. Вителлий, говорили они, прожил долгую жизнь, изведая радость и горе и теперь утомлен и тем и другим; но пусть он подумает о славном имени своего рода, об участи, ожидающей его сына Германика. «Сейчас тебе предлагают деньги, обещают сохранить жизнь родным, сулят безмятежный отдых в Кампании на берегу одной из ее прелестных бухт. Но когда Веспасиан станет повластным хозяином, ни он сам, ни друзья его, ни солдаты не смогут чувствовать себя спокойно, пока не уничтожат соперника. Даже Фабий Валент, скованный по рукам и ногам, сохраняемый как заложник на случай возможных осложнений, и тот оказался им слишком опасным. Так что же еще мог приказать Веспасиан Мудриану и берущим с него пример Приму и Фуску, как не убить Вителлия? Цезарь не пощадил Помпея, Август — Антония; можно ли ожидать большего великодушия от Веспасиана — клиента одного из Вителлиев в те времена, когда последний вместе с Клавдием управлял империей? Вспомни же, что твой отец был цензором и трижды консулом, вспомни о почете, окружающем ваш славный дом, и пусть овладевшее тобой отчаяние отступит перед мужественной решительностью. По-прежнему верны тебе твои солдаты, по-прежнему любят тебя граждане, и те, и другие готовы на все. Ничего, хуже того, к чему мы сами стремимся, с нами произойти не может. Смерть ждет нас, если мы сдадимся врагам, и смерть настигнет нас, если мы потерпим поражение. Нам остается один выбор — или погибнуть в бою, как подобает мужчинам, или умереть под градом насмешек и оскорблений».

67. Вителлий оставался глух к советам доблести. Он жалел самого себя, боялся, что раздраженный затянувшимся сопротивлением противник не пощадит его жену и детей, и все эти мысли сокрушали его душу. Думал он и о своей престарелой матери; судьба, правда, жалилась над ней — она скончалась за несколько дней до гибели всех своих родных; принципат сына не принес ей ничего, кроме горя и общего уважения.

В пятнадцатый день перед январскими календами Вителлий получил сообщение о том, что остававшийся в Нарнии легион вместе с приданными ему когортами изменил своему долгу и сдался врагу. Облаченный в черные одежды, окруженный плачущими род-

ыми, клиентами и рабами, спустился он с Палатина. За ним, как на похоронах, несли в носилках его маленького сына. Странно звучали льстивые приветствия, которыми встретил его народ. Солдаты хранили мрачное молчание.

68. Не было ни одного, даже самого бесчувственного человека, которого не потрясла бы эта картина: римский принцепс, еще так недавно повелевавший миром, покидал императорский дворец и шел по улицам города, сквозь заполнившую их толпу, сложить с себя верховную власть. Никто еще не видел такого зрелища, никто не слышал ни о чем подобном. Диктатор Цезарь пал жертвой внезапного нападения, Гая унес тайный заговор, только почь да безвестная деревня видели бегство Нерона, Пизон и Гальба погибли как бойцы на поле боя. Один лишь Вителлий уходил от власти среди своих же солдат, среди народа, который он сам еще так недавно созывал здесь на сходку, уходил, не стыдясь присутствия женщин. В нескольких кратких, приличествующих обстоятельствам словах он объявил, что отказывается от власти в интересах мира и государства, просит сохранить память о нем и брате и сжалиться над его женой и невинными детьми. Протягивая ребенка окружавшей толпе, он обращался то к одному, то к другому, то ко всем вместе, слезы не давали ему говорить. Наконец он отстегнул от пояса кинжал и подал его стоявшему рядом консулу Цецилию Симплексу, как бы передавая ему власть над жизнью и смертью сограждан. Консул отказался принять кинжал; толпа шумно протестовала; Вителлий двинулся к храму Согласия с намерением там сложить с себя знаки верховной власти и затем укрыться в доме брата. Вокруг кричали еще громче, требуя, чтобы он отказался от мысли поселиться в частном доме и вернулся на Палатин. Пройти по улицам, забитым народом, оказалось невозможно; свободна была только Священная Дорога. Вителлий поколебался и вернулся во дворец.

69. Слух, будто Вителлий отрекся от власти, опережая события, пополз по городу; Флавий Сабин отдал трибунам когорт письменное распоряжение принять меры против возможных выступлений солдат. Казалось, государство целиком отдало себя в руки Веспасиана; видные сенаторы, многие всадники, все солдаты из гарнизона и когорт городской стражи заполнили дом Флавия Сабина. Вскоре, однако, здесь стало известно, что городская чернь приняла сторону Вителлия, а германские когорты грозят уничтожить всякого, кто выступит против принцепса. Сабин зашел уже слишком далеко и отступить было поздно; толпившиеся у него в доме люди не решались разойтись, опасаясь, как бы вителлианцы не перебили их поодиночке; поэтому каждый, дрожа за свою жизнь, уговаривал Сабина не колебаться долее и взяться за оружие. Как

обычно бывает в подобных случаях, все наперебой давали советы и почти никто не хотел рисковать своей жизнью. Когда Сабин со своими сторонниками, успевшими к тому времени вооружиться, спускался с холма, возле Фунданнева бассейна на него напали опередившие своих товарищей вителлианцы. В мимолетной стычке, которая началась неожиданно для одних и других, вителлианцы одержали верх. Сабин был на краю гибели, он предпочел не рисковать и заперся в крепости на Капитолии. За ним последовали солдаты, кое-кто из сенаторов и всадников; перечислить их по именам затруднительно — слишком уж многие после победы Веспасиана хвастались участием в этой обороне. Среди осажденных оказались и женщины, самая известная из них — Верулана Гратилла, покинувшая своих детей и близких ради тревог и опасностей войны. Вителлианцы обложили крепость, но охраняли подступы к ней настолько небрежно, что Сабин в первую же ночь сумел провести на Капитолий своих детей и племянника Домициана. Были ворота, возле которых осаждающие и вовсе забыли поставить караул, и Сабин, воспользовавшись этим, отправил гонца к полководцам флавиянской армии. Он писал, что находится в осаде и что положение его, если только ему не придут на помощь, скоро станет безвыходным. Ночь прошла так спокойно, что Сабин, если бы захотел, мог незамеченным уйти с Капитолия. Вителлианские солдаты, такие мужественные перед лицом опасности, не были способны к длительному усилию и не умели нести караульную службу; к тому же внезапно хлынувший зимний ливень мешал им что-либо расслышать или рассмотреть.

70. На заре следующего дня Сабин, не дожидаясь возобновления военных действий, отправил к Вителлию примпилярна Корнелия Марциала, поручив ему спросить, на каком основании Вителлий нарушает заключенное между ними соглашение. Неужели отказ от власти был лишь притворством, рассчитанным на обман стольких достойнейших людей? В самом деле, почему Вителлий пытался скрыться в доме брата, возвышающемся над Форумом и привлекающем всеобщее внимание, а не захотел удалиться на Авентин, в дом жены, который стоит поодаль от остальных и, казалось бы, гораздо больше подходит человеку, собирающемуся жить как частное лицо и избегать малейшего напоминания о власти принцепса? Вместо этого Вителлий возвращается на Палатин, — эту твердыню императорской власти, — высылает оттуда вооруженных солдат, обгаряющих кровью невинных самые многолюдные кварталы города, посягает на святыню Капитолия, в то время как брат Веспасиана, сенатор и гражданин Рима, глядя на кровавые столкновения легионов, на захваченные города, на сдающиеся против-

нику когорты, спокойно ждет исхода борьбы между Веспасианом и Вителлием, остается, несмотря на отпадение испанских и германских провинций, несмотря на измену Британии, верным своему долгу и соглашается вести переговоры. Мир и согласие приносят пользу побежденным, но украшают только победителей. Если уж Вителлий решил отступить от заключенного соглашения, зачем поднимать оружие на противника, захваченного врасплох, и на сына Веспасиана, который едва вышел из отроческих лет, — какую пользу принесет ему убийство одного старика и одного подростка? Пусть идет навстречу вражеским легионам и с ними вступает в решительный бой. Если исход сражения будет для него благоприятен, все остальное устроится само собой. Перепуганный, движимый одним лишь желанием оправдаться, Вителлий отвечал очень кратко: он возложил всю вину на солдат, чей пыл — по его словам — не имел ничего общего с его собственным смирением перед обстоятельствами. Он уговорил Марциала выйти из дома незаметно, через задние комнаты, так как солдаты убили бы его, если бы узнали, что он явился для переговоров о ненавистном им перемирии; сам Вителлий уже ничего не мог ни приказать, ни запретить. Он не был больше императором, он был лишь поводом для раздоров.

71. Едва Марциал успел вернуться на Капитолий, как к крепости устремились разъяренные вителлианские солдаты. Никто ими не командовал, каждый действовал на свой страх и риск. Быстро миновав Форум и возвышающиеся над ним храмы, они сомкнутыми рядами устремились вверх по холму к первым воротам капитолийской крепости. Осажденные выбрались на крыши древних портиков, идущих по правой стороне улицы, и оттуда осыпали вителлианцев камнями и черепицами. Наступающие были вооружены одними мечами, свободных людей у них не было, подвозить же осадные и метательные машины показалось им слишком долгим. Они забросали факелами крайний портик и двинулись вверх следом за огнем. Через запылавшие ворота они проложили бы себе путь на Капитолий, но Сабин велел завалить проход статуями, которые были расставлены здесь повсюду для прославления предков. Тогда вителлианцы решили проникнуть на Капитолий от роши Убежища и по ста ступеням, ведущим на Тарпейскую скалу. Оба нападения явились для осажденных совершенно неожиданными, но особенно угрожающим было то, что началось из роши Убежища — путь этот короче других, и вителлианцы сражались здесь с особенной яростью. Дома на этом склоне холма строились в ту пору, когда никто не думал о возможности войны; они стояли вплотную друг к другу, и крыши их составляли как бы лестницу, ведущую прямо на Капитолий; по этой-то лестнице солдаты

и бросились наверх. До сих пор нелсно, кто поджег крыши этих домов — нападающие или осажденные, стремившиеся таким способом отбросить прорвавшихся вперед врагов; последнее мнение приходится слышать чаще. Огонь перекинулся на портики, окружавшие храм, и вскоре запылали деревянные орлы на скатах кровли. Коснувшись иссохшего дерева, пламя вспыхнуло ярче и устремилось вперед. Так сгорел Капитолий, сгорел при запертых воротах, уже не защищаемый, но еще не захваченный.

72. Со времени основания города республика народа римского не видела столь тяжкого и отвратительного злодеяния. Святыня Юпитера Всеблагого и Всемогущего перестала существовать, когда мир царил на границах и боги, насколько то допускали наши нравы, были к нам милостивы. Созданный предками по указанию богов залог римского могущества, на который не смогли посягнуть ни Порсенна, когда город ему сдался, ни галлы, когда они взяли его силой, погубили яростные распри принципсов. Пожары случались в храме и раньше, в пору гражданских войн, но тогда поджигатели действовали поодиночке, тайно, теперь же он подвергся осаде и был предан огню на виду у всего города. Зачем был затян этот бой? Для чего совершено такое злодеяние? Разве ради родины вели мы эту войну?

Капитолийский храм был основан по обету, данному во время войны с сабинянами царем Тарквинием Древним. Заложил он его, сообразуясь больше с надеждами на будущее, чем с тогдашними скромными возможностями римского народа. Позже Сервий Туллий с помощью союзников, а затем и Тарквиний Гордый, использовавший для строительства богатства, захваченные при взятии Суессы Помеции, продолжали возведение храма. Честь завершить работу выпала на долю уже свободного Рима: после изгнания царей Гораций Пульвилл во второе свое консульство освятил храм, столь великолепный, что огромные богатства, доставшиеся римскому народу позже, использовались чаще на доделки и украшения, чем на расширение здания: простояв четыреста пятьдесят лет, Капитолийский храм сгорел в консульство Луция Сципиона и Гая Норбана и был затем возведен на прежнем месте. Восстановление его — после окончательной победы — взял на себя Сулла. Однако освятить новый храм суждено было не Сулле, — в этом одном отказали ему боги, — а Лутацию Катулу. Несмотря на все, что сделали для Капитолия цезари, новое здание вплоть до принципата Вителлия называли именем Катула.

Вот какой храм погибал теперь в огне.

73. Пожар Капитолия испугал осажденных больше, чем осаждающих. В трудную минуту вителлианцы сумели проявить лов-

кость и мужество; совсем по-другому вели себя их противники. Солдаты трепетали от страха; беспомощный, как бы впавший в оцепенение вождь не был в состоянии ни говорить, ни слушать, ни командовать сам, ни следовать советам других; он поворачивался то в одну, то в другую сторону, прислушиваясь к крикам врагов, запрещал то, что раньше приказывал, и приказывал то, что раньше запрещал. Как часто бывает в минуты смертельной опасности, все командовали и никто не выполнял распоряжений. Наконец осажденные побросали оружие и заметались по крепости, пытаясь обмануть противника и скрыться. Вителлианцы врываются на Капитолий. Повсюду бушует пламя, сверкают мечи, льется кровь. Немногие настоящие воины, среди которых самые известные — Корнелий Марциал, Эмилий Папенз, Касперий Нигер, Дидий Сцева, вступают в бой, но тут же падают мертвыми. Победители окружают безоружного, не оказывающего никакого сопротивления Флавия Сабина и консула Квинкция Аттика, который еще так недавно, движимый тщеславием и желанием показать свою призрачную власть, обращался к народу с воззваниями, прославляя Веспасиана и понося Вителлия. Остальные теми или другими способами ухитрились бежать: одни переделались рабами, других вынесли, спрятав в тюках с вещами, верные клиенты. Были люди, которых собственная дерзость защитила надежнее, нежели любое тайное убежище: подслушав пароль, по которому вителлианцы узнавали друг друга, они воспользовались им и даже сами требовали отзыва у встречных.

74. Еще когда первые солдаты ворвались на Капитолий, Домициан спрятался у сторожа храма. Вскоре один из вольноотпущенников сумел ловко вывести его оттуда: закутавшись в полотняный плащ, Домициан смешался с толпой жрецов и, никем не узнанный, добрался до Велабра, где его приютил клиент отца, Корнелий Прим. После прихода к власти Веспасиана Домициан снес домик сторожа, где когда-то прятался, и построил на его месте небольшой храм Юпитеру Охранителю, а в храме — мраморный алтарь с изображением событий, с ним здесь случившихся. Ставши вскоре императором, он воздвиг Юпитеру Стражу огромный храм, после чего осыятил и храм и статую, изображавшую его самого в объятиях бога. Сабина и Аттика заковали в цепи и привели к Вителлию, который встретил их спокойно, без всяких угроз и оскорблений, несмотря на ярость солдат, кричавших, что они имеют право распоряжаться жизнью побежденных и требовавших награды за оказанные Вителлию услуги. Толпа присоединилась к ним, самая подлая часть черни то угрозами, то лестью добивалась от Вителлия приказа казнить Сабина. Вителлий, стоя на ступенях Палати-

на, собирався вымолить у толпы жизнь пленных, но приближенные убедили его уйти во дворец. Едва Вителлий удалился, Сабин пал под ударами солдат. Ему отрубили голову, а растерзанное тело бросили на ступени Гемоний.

75. Таков был конец этого довольно примечательного человека. Тридцать пять раз участвовал он в походах, прославив свое имя и на военном и на гражданском поприще. Его честность и справедливость неоспоримы. Семь лет правил он Мезией, двенадцать лет был префектом Рима, и единственное, что могли ставить ему в вину, — это излишнюю говорливость. Некоторые считали, будто под конец жизни он сделался человеком слабым, большинство же объясняло его поведение в ту пору умеренностью и нежеланием проливать кровь сограждан. До того как Веспасиан стал принцепсом, по общему мнению, именно Сабин пользовался в этой семье наибольшим влиянием и почетом. Муциан, как уверяют, воспринял весть о его гибели с большой радостью. Многие даже утверждали, что смерть эта избавила нас от новых гражданских войн: один был братом императора, другой считал себя его соправителем, и только гибель Сабина предотвратила новые междоусобия. Аттик признал себя виновным в поджоге Капитолия. Может быть, с его стороны это был только ловкий ход: он принял на себя всю ненависть, которую вызвало это злодеяние, и тем самым сумел отвести ее от Вителлия и его сторонников; поэтому, когда народ стал требовать казни консула, Вителлий счел себя обязанным воздать за услугу услугой и сумел отстоять его.

76. Тем временем Луций Вителлий разбил лагерь у Феронии и угрожал Таррацине. Запершиеся в крепости гладиаторы и гребцы не решались ни на вылазку, ни на открытое сражение. Как я уже говорил, гладиаторами командовал Юлиан, гребцами Аполлипарий — оба сами больше похожие на гладиаторов, чем на полководцев. Они не выставляли караулов, не чинили обветшалые стены. Дни и ночи оглашали они живописные уголки побережья своими разгульными криками, рассылали солдат на поиски новых мест для развлечения и толковали о войне лишь за винными чашами. Апиний Тирон несколькими днями раньше вышел из города и теперь самыми крутыми мерами выжимал из муниципиев деньги и подарки, что не столько умножало его силы, сколько возбуждало к нему ненависть.

77. К Луцию Вителлию явился перебежчик — раб Вергилия Капитона — и пообещал, если ему дадут отряд солдат, без боя передать город вителлианцам. Глубокой ночью он вывел в горы легковооруженные когорты и расположил их над головой у противника. Оттуда солдаты устремились вниз — не для битвы, а для резни:

только что очнувшись от сна люди, не имевшие оружия или едва успевшие за него схватиться, падали под их мечами; темнота, страх, рев боевых труб, крики наступающих увеличивали смеление. Несколько гладиаторов оказали отпор врагу и дорого продали свою жизнь, остальные устремились к кораблям, где их ждала та же гибель: они попали здесь в толпу местных жителей, которых вителлианцы убивали, не встречая никакого сопротивления. Шесть быстроходных судов — на одном из них находился префект флота Аполлинарий — вышли в море еще в самом начале сражения, прочие были захвачены на стоянке либо потонули, перегруженные людьми. Юлиана привели к Луцию Вителлию и зарезали у него на глазах, сначала избив плетью. Некоторые рассказывали, будто жена Луция Вителлия Триария, опоясанная солдатским мечом, нагло тешила свою жестокость на улицах захваченного города среди трупов и общего горя. Муж ее в знак одержанной победы отправил брату лавровый венок и спрашивал, что ему надлежит делать дальше — немедленно возвращаться, раз он и так уже слишком задержался, или оставаться в Кампании для полного покорения края. Сомнения Луция Вителлия оказались спасительными не только для сторонников Веспасиана, но и для всего государства: если бы солдаты, и прежде безрассудно преданные Вителлию, а теперь еще ободренные победой, успели вернуться в Рим, сражение там было бы тяжелым и сама столица могла бы погибнуть. При всей своей дурной славе Луций Вителлий был человек деятельный и выдающийся — если не своими достоинствами, как бывает у людей доблестных, то, как это бывает у негодяев, своими пороками.

78. Пока в стане вителлианцев происходили описанные события, войско Веспасиана оставило Нарнию и, остановившись в Окриккуле, спокойно праздновало Сатурналии. Пытаясь хоть как-то оправдать столь странную неторопливость, приближенные Антония говорили, что надо подождать Муциана. Правда, находились люди, утверждавшие, будто Антоний медлит неспроста; будто Вителлий прислал ему письмо, в котором предлагал изменить Веспасиану, обещая за это должность консула, женитьбу на дочери принцепса и огромное приданое. Другие возражали, что все это выдумки, сочиненные в угоду Муциану. Существовало, наконец, и еще одно мнение, согласно которому полководцы Веспасиана условились держать Рим под угрозой и, не начиная сражение за город, подождать, пока Вителлий, покинутый своими лучшими когортами и лишенный всякой опоры, сам откажется от власти; план этот якобы не удалось осуществить по вине Сабина, который сначала вел себя безрассудно, а потом струсил: прометчиво было с его стороны

браться за оружие, и только трусостью можно объяснить, что он не сумел отстоять от каких-то трех когорт неприступную Капитолийскую крепость, способную выдержать нападение большой армии. Нелегко, видно, признать кого-нибудь одного виноватым в ошибках, которые совершали все. В самом деле, Муциан своими окончившими письмами задерживал движение победителей; Антония же осуждали за неожиданное послушание, которое либо было бессмысленно, либо имело целью лишь вызвать ненависть к Муциану; другие полководцы считали, что война выиграна, и думали только о том, как бы под конец отличиться. Даже Петилий Цериал, которому было поручено провести тысячу всадников через Сабинское поле и вступить в Рим по Соляной дороге, откуда вителианцы их меньше всего ожидали, и тот не торопился. Весть об осаде Капитолия положила конец всем колебаниям.

79. Антоний двигался к Риму по Фламиниевой дороге. Глубокой ночью дошел он до Красных камней и тут понял, что опоздал: его ждали вести о страшных событиях в столице — убит Сабин, Капитолий горит, в городе смятение. Говорили также, что народ и рабы вооружаются, готовясь выступить на защиту Вителлия. Потерпел поражение со своими конниками и Петилий Цериал. Считая, что враг уже разбит, он стремительно двигался вперед, не соблюдая никакой осторожности, и вдруг наткнулся на засаду из всадников и пехотинцев. Битва развернулась под самым Римом, среди садов и строений, на кривых извилистых улицах, хорошо знакомых вителианцам, но внушавших страх конникам Цериала. Последние, к тому же далеко не все сражались с одинаковым пылом: среди них было немало солдат, перешедших к флавианцам совсем недавно, под Нарнией, и теперь они старались угадать, какая сторона возьмет верх. В этой битве префект конного отряда Юлий Флавиан был захвачен в плен; остальные в беспорядке бежали: победители преследовали их только до Фидеп.

80. Этот успех еще усилил рвение народа. Городская чернь взялась за оружие. Мало у кого были настоящие боевые щиты, большинство вооружилось чем попало, толпа гремела оружием, требуя сигнала к началу битвы. Вителлий поблагодарил и приказал двигаться на защиту города. Собравшийся тут же сенат назначил послов, которые отправились в войско противника, чтобы убедить его, якобы ради интересов государства, согласиться на мир и прекращение военных действий. Судьба этих послов сложилась по-разному. Явившиеся к солдатам Петилия Цериала, которые и слышать не хотели о перемирии, едва не погибли. Ранен был претор Арулен Рустик — ярость солдат вызвало не только звание посла и претора, над которым они надругались, но и горделивое достоин-

ство, отличавшее этого мужа. Свиту его разогнали, первый ликтор, осмелившийся расчищать в толпе дорогу претору, был убит. Охваченные бешеной ненавистью к своим же согражданам, забыв о неприкосновенности послов, которую чтут даже чужеземные племена, они убили бы Рустика и его спутников под самыми стенами родного города, если бы Цериал не приказал окружить прибывшего охраной. Несколько лучший прием встретили посланцы сената, явившиеся к Антонию — не потому, что солдаты здесь были скромнее, а потому, что командующий крепче держал их в руках.

81. В число послов замешался всадник Музоний Руф — ревностный последователь философов и поклонник стоицизма, который принялся толковать окружившим его вооруженным солдатам о благах мира и ужасах войны. Некоторые смеялись, большинству было противно. Его бы, наверное, избили и выгнали, но он вовремя послушался людей, которым стало его жалко, и, испугавшись сыпавшихся со всех сторон угроз, прекратил свои неуместные поучения. Павстречу армии вышли также девы-весталки, несшие Антонию письмо Вителлия. Он просил отложить решающее сражение на один день и уверял, что, благодаря этой отсрочке, легче удастся все уладить. Антоний с почетом отпустил весталок, Вителлию же написал, что после убийства Сабина и пожара Капитолия ни о каких переговорах не может быть и речи.

82. Все же Антоний, собрав войска на сходку, пытался уговорить их разбить лагерь возле Мульвийского моста и отложить вступление в город до следующего дня. Он стремился добиться этой отсрочки, ибо опасался, что разгоряченные битвой солдаты не пощадят ни народ, ни сенат, ни даже храмы и святилища богов. Но солдаты были уверены, что любое промедление только на руку врагу. К тому же они видели вымпелы, развевавшиеся на окружающих холмах: хотя под этими вымпелами стояли всего-навсего мирные граждане, солдатам казалось, что там их ждет готовая к бою вражеская армия. Войско разделилось на три колонны: одна осталась на Фламиниевой дороге, другая пошла в наступление берегом Тибра, третья двигалась по Соляной дороге к Коллинским воротам. Одного налета конников оказалось достаточно, чтобы разогнать чернь, и наступавшие столкнулись с войсками вителлианцев, тоже разделенными на три колонны. Битва на подступах к городу шла во многих местах и с переменным успехом, но в большинстве случаев все же победа оставалась за флавианцами, у которых были лучше командиры. Особенно тяжело пришлось тем, которые, вступив в город, свернули налево и оказались на узких, скользких улицах, примыкающих к Саллюстиевым садам. Вителлианцы, взобравшись на стены садов, забрасывали наступав-

ших камнями и дротами и до самых сумерек не давали им продвинуться вперед, пока, наконец, их самих не окружили конники, прорвавшиеся в город через Коллинские ворота. Местом битвы стало и Марсово поле. Удача сопутствовала флавианцам, которых окрыляла память о множестве прежних побед, вителлианцам же придавало сил одно лишь отчаяние; их обращали в бегство, но они снова и снова собирались то в одной, то в другой части города.

83. Жители, наблюдавшие за этой борьбой, вели себя как в цирке — кричали, рукоплескали, подбадривали то тех, то этих. Если одни брали верх и противники их прятались в лавках или домах, чернь требовала, чтобы укрывшихся выволакивали из убежища и убивали; при этом большая часть чужого добра доставалась толпе — поглощенные убийством и борьбой, солдаты представляли добычу ей. Город был неузнаваем и безобразен. Бушует битва, падают раненые, а рядом люди моются в баях или пьянствуют; среди потоков крови и валяющихся мертвых тел разгуливают уличные женщины и те, кого едва отличишь от них; роскошь и распутство мирного времени, а рядом — жестокости и преступления, как в городе, захваченном врагом; безумная ярость и ленивый разврат владеют столицей. Бои между вооруженными армиями бывали в Риме и раньше, — дважды приносили они победу Луцию Сулле, один раз Цинне, и в ту пору тоже совершалось не меньше жестокостей. Но только теперь появилось это чудовищное равнодушие. Никому и в голову не пришло хоть на минуту отказаться от обычных развлечений; можно было подумать, что в городе праздник. Все ликовали, все захлебывались от восторга — и не оттого, что сочувствовали какой-либо из борющихся сторон, а потому, что радовались несчастьям своего государства.

84. Труднее всего оказалось взять лагерь — последнюю опору немногих оставшихся в живых смельчаков. Сопrotивление их еще больше ожесточило флавианцев, особенно бойцов старых когорт. «Черепеха», осадные машины, зажигательные снаряды, насыпи — все приемы, используемые при осаде укрепленных городов, были пущены в ход разом. «Награда за все сражения, бедствия, труды, — кричали нападающие, — здесь. Город принадлежит сенату и римскому народу, храмы — богам, а лагерь — солдату: честь его, родина и дом там. Если не удастся захватить лагерь сейчас, будем сражаться всю ночь, а своего добьемся!» Вителлианцы уступали противнику числом, удача покинула их, и они обратились к последнему, что остается в утешение побежденным, — стали затягивать борьбу, противиться наступлению мира, обагрять кровью дома и алтари. На площадках башен и на валах испускали дух умпрающие. Наконец ворота рухнули, но оставшиеся в живых защитники лагеря сбились

в кучу и отвечали ударом на каждый удар врага. Они погибли все до единого, но падали только лицом к противнику и, даже расставаясь с жизнью, думали лишь о том, чтобы умереть со славой.

Когда город был взят, Вителлий вышел через задние комнаты дворца, сел в носилки и приказал отнести себя на Авентин в дом жены. Он рассчитывал незамеченным переждать здесь день, а затем пробраться в Таррацину — к брату и его когортам. Вителлий отличался редким непостоянством мыслей; к тому же, когда человек испуган, ему всегда самым ненадежным представляется именно то положение, в котором он сейчас находится; Вителлий колебался и вернулся на Палатин. Дворец стоял пустой и безлюдный. Даже самые ничтожные рабы разбежались или, едва завидев приближающегося принцепса, прятались. Тишина и одиночество наводили жуть. Вителлий открывал двери и отшатывался в ужасе: покои были пусты. Устав скитаться по дворцу, он было спрятался в постыдное место, но трибун когорты Юлий Плацид вытащил его оттуда. Со скрученными за спиной руками, в разодранной одежде его повели по городу. Зрелище было отвратительное — многие выкрикивали ругательства и оскорбления, не плакал никто: когда смерть так позорна, состраданию нет места. Какой-то солдат из германской армии попался им навстречу и неожиданно с неистовой злобой набросился на Вителлия. Так и осталось непонятным, чего он хотел — излить свою ярость на принцепса, избавить его от издевательств или заколоть трибуна. Он успел отрубить трибуну ухо, но был тут же убит.

85. Подталкиваемый со всех сторон остриями мечей и копий, Вителлий вынужден был высоко поднимать голову; удары и плевки попадали ему прямо в лицо, он видел, как валятся с пьедесталов его статуи, видел ростральные трибуны, узнал место, где был убит Гальба. Наконец его поволокли к Гемониям, куда еще так недавно бросили тело Флавия Сабина. Глумившемуся над ним трибуну он сказал: «Ведь я был твоим императором», — то были единственные достойные слова, которые пришлось от него услышать. Произнеся их, он тут же упал, покрытый бесчисленными ранами, и чернь надругалась над мертвым так же подло, как пресмыкалась перед живым.

86. Вителлий был родом из Луцернии. Прожил он неполных пятьдесят семь лет. Консульские и жреческие должности, славное имя, место среди первых людей государства — все досталось ему без всяких заслуг, лишь благодаря славе отца. Люди, вручившие ему принципат, толком его не знали. Мало кому удавалось, действуя честно и разумно, добиться такой преданности солдат, какую Вителлий завоевал своей глупостью и беспомощностью. Были в нем, правда, и простосердечие, и широта, но ведь это свойства, ко-

торые, если не управлять ими, обращаются на погибель человека. Он искренне думал, что дружбу приобретают не верностью, а богатыми подарками, и поэтому окружали его не столько друзья, сколько наемники. Свержение Вителлия было, бесспорно, на пользу государству, но людям, покинувшим его ради Веспасиана, не стоит изображать свое предательство как заслугу: немногим ранее они так же изменили Гальбе.

День клонился к вечеру. Магистраты и сенаторы либо бежали из города, либо прятались у своих клиентов, так что созвать заседание сената оказалось невозможным. Убедившись, что ему ничто не грозит, Домициан явился к полководцам флавиянской армии и тут же был провозглашен цезарем. Солдаты, как были после боя, увешанные оружием, толпой проводили его в дом отца.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

1. Вителлий был убит; война кончилась, но мир не наступил. Победители, полные ненасытной злобы, с оружием в руках, по всему городу преследовали побежденных; всюду валялись трупы; рынки и храмы были залиты кровью. Сначала убивали тех, кто случайно попадался под руку, но разгул рос, вскоре флавиянцы принялись обшаривать дома и выволакивать укрывавшихся там. Любого, кто обращал на себя внимание высоким ростом или молодостью, будь то воин или житель Рима, тотчас же убивали. На первых порах победители еще помнили о своей вражде к побежденным и жаждали только крови, но вскоре ненависть отступила перед алчностью. Под тем предлогом, что жители могут скрывать у себя вителлианцев, они запретили что-либо прятать или запирать и стали врывать в дома, убивая всех сопротивлявшихся. Среди бедняков и простонародья и самых подлых рабов нашлись такие, что выдали своих богатых хозяев; других предавали друзья. Казалось, будто город захвачен врагами; отовсюду неслись стоны и жалобы; люди с сожалением вспоминали о наглых проделках солдат Отона и Вителлия, вызывавших у них в свое время такую ненависть. Полководцы флавиянской партии сумели разжечь гражданскую войну, но оказались не в силах справиться с победившими солдатами; во время смут и беспорядков чем хуже человек, тем легче ему взять верх; править же в мирное время способны лишь люди честные и порядочные.

2. Домициан принял титул цезаря и поселился во дворце. Он не спешил взять на себя заботы, сопряженные с этим званием, и походил на сына принцепса лишь своими постыдными и разврат-

ными похождениями. Префектом претория стал Аррий Вар, высшая власть сосредоточилась в руках Прима Антония. Он присваивал принадлежавшие принцепсу деньги и рабов и вел себя в императорском дворце, как в захваченной Кремоне. Остальные командиры, то ли по скромности, то ли из-за низкого происхождения, никак не смогли проявить себя во время войны и теперь, при дележе добычи, тоже остались в стороне. Жители столицы, запуганные и готовые пресмыкаться перед новым принцепсом, требовали послать войска навстречу возвращавшемуся из Таррацины Луцию Вителлию, дабы затушить последний очаг войны. Вскоре конница, действительно, получила приказ выступить к Ариции, а легионы расположились в Бовиллах. Луций Вителлий не стал медлить и сразу же, вместе со всеми своими когортами, сдался на милость победителя; его солдаты, испуганные и раздраженные, побросали оружие, принесшее им столько несчастий. Нескончаемая колонна пленных, окруженная вооруженными легионерами, вступила в столицу. Вителлианцы шли мрачные, суровые, не замечая ни рукоплесканий, ни насмешек толпы; ни на одном из лиц ни малейшего признака слабости; несколько человек вырвались из рядов и были тут же убиты; остальных отвели в тюрьму. Никто из пленных не проронил ни одного недостойного слова, и подобающая их мужеству слава осталась, несмотря на унижительное положение, незапятнанной. Луций Вителлий был убит. Пороками равный брату, он с большей энергией защищал принципат Вителлиев и разделил с Авлом не столько власть, сколько гибель.

3. В это же время Луций Басс был отправлен во главе летучих конных отрядов на усмирение Кампании, хотя города этой провинции больше ссорились между собой, чем бунтовали против власти принцепса. С появлением солдат всюду водворилось спокойствие, и мелкие города не понесли никакого наказания. В Капуе разрушили несколько лучших домов и разместили на зимние квартиры третий легион, зато жители Таррацины не получили ничего в возмещение понесенного ими ущерба: всегда легче воздать за зло, чем за добро; люди тяготятся необходимостью проявлять благодушие, но с радостью ищут случая отомстить. Единственным утешением была казнь принадлежавшего Вергилию Капитону раба, который выдал Таррацину врагу, о чем я уже рассказывал; его распяли с тем самым кольцом на пальце, которое он получил от Вителлия и постоянно носил. В Риме тем временем сенат присвоил Веспасиану все почести и звания, обычно полагающиеся принцепсу. Сенаторы были полны радостных надежд: гражданская война, вспыхнувшая в Галлии и Испании, перекинувшаяся сначала в Германию, потом в Иллирик, наконец — в Египет, Иудею и Сирию,

охватившая все провинции и все армии, подобно искупительной жертве, очистила мир и теперь, казалось, близилась к концу. Еще более обрадовало всех письмо Веспасиана, написанное им якобы до окончания войны, — во всяком случае, в таких выражениях было оно составлено. Веспасиан писал как настоящий принцепс, все внимание уделяя важным государственным вопросам, а о себе упоминал как о простом гражданине. Сенат, со своей стороны, проявил готовность ему служить: Веспасиан и сын его Тит получили звание консулов, Домициан стал претором с консульскими полномочиями.

4. Муциан тоже прислал сенату письмо, вызвавшее много разговоров. «Если мы имеем дело с частным человеком, — рассуждали сенаторы, — то на каком основании обращается он с посланием к сенату? Разве не мог он несколькими днями позже сказать то же самое на словах? Запоздалые нападки на Вителлия тоже не свидетельствуют о благородстве, а хвастливое заявление о том, что он, Муциан, держал в своих руках императорскую власть и сам даровал ее Веспасиану, непочтительно по отношению к государству и оскорбительно для принцепса». Впрочем, Муциана ненавидели тайно, превозносили явно: после многословных восхвалений ему присудили триумфальные знаки отличия — как говорилось, за поход против сарматов, на самом деле за победу в гражданской войне. Консульские знаки отличия получил Прим Антоний, преторские — Корнелий Фуск и Аррий Вар. Потом вспомнили и о богах и приняли решение восстановить Капитолий. Все эти меры, одну за другой, предлагал консул следующего года Валерий Азиатик, остальные улыбками и жестами выражали свое одобрение, и лишь немногие — либо занимавшие особо почетное положение, либо особо изощренные в лести, — заявляли о своем согласии в тщательно составленных речах. Когда очередь дошла до претора следующего года Гельвидия Приска, он произнес речь, в которой, отдав должное заслугам нового принцепса, не сказал ни одного слова неправды. Выступление его вызвало восторг сенаторов. Этот день стал для Гельвидия самым важным в жизни — с той минуты громкая слава и тяжкие несчастья сопутствовали ему повсюду.

5. Имя этого мужа встречается нам уже второй раз, и дальше о нем придется говорить еще чаще. Как видно, сам ход повествования требует, чтобы здесь я остановился и сказал несколько слов о его жизни, образе мыслей и судьбе. Гельвидий Приск родился в Карендинской области, в муниципии Клувиях, от отца примиплара. Еще юношей он посвятил все свои блестящие способности занятию возвышенными науками — не для того, чтобы, подобно многим, прикрывать громкими словами постыдное безделье, но дабы укрепить свой дух мужеством, очиститься от всего пустого и

случайного и затем предаться государственной деятельности. Он последовал за наставниками, учившими, что лишь честность есть благо, лишь подлость есть зло, власть же, знатность и все прочее, постороннее душе человеческой, — не благо и не зло. Гельвидий только еще отбыл службу в должности квестора, когда Пет Тразея выбрал его себе в зятя; ценить свободу было главное, чему он научился у тестя. Как гражданин и сенатор, как муж, зять и друг, он был всегда неизменен; презирал богатство, неуклонно соблюдал справедливость и не ведал страха.

6. Некоторые считали чрезмерным его стремление к славе — известно, что даже самым мудрым людям от честолюбия удастся избавиться позже, чем от других страстей. После гибели тестя Гельвидий был сослан, но при Гальбе вернулся в Рим и выступил обвинителем против Эприя Марцелла, по доносу которого казнили Тразею. Сенат разделился, одни считали стремление Гельвидия отомстить за тестя справедливым, другие — чрезмерным: если бы Марцелл был осужден, по этому же обвинению пришлось бы казнить целые толпы людей. Насколько напряженной на первых порах была борьба, можно судить по замечательным речам, произнесенным обоими противниками. Вскоре, однако, Гельвидий снял свое обвинение — его просили об этом многие сенаторы, и неясно было, к какому решению склоняется Гальба. Мнения людей всегда несходны, и поступок Гельвидия вызвал самые разные толки: одни хвалили его за умеренность, другие порицали за недостаток настойчивости. В тот день, когда сенат признал Веспасиана верховным владыкой империи, было решено отправить к нему послов. По этому поводу между Гельвидием и Эприем снова началась бурная ссора — Приск наставлял на том, чтобы принесшие присягу магистраты назначили послов поименно, Марцелл поддерживал мнение консула следующего года и требовал решить дело жребием.

7. Марцелл тем более упорно отстаивал это предложение, что защищал свои собственные интересы: если бы его не назначили, все бы решили, что его считают хуже других. Постепенно противники перешли от колких замечаний к длинным речам, полным взаимной ненависти. Гельвидий язвительно спрашивал Марцелла, почему он так боится решения магистратов, — ведь он богат, красноречив и превосходил бы многих, если бы за ним по пятам не шла память о былых злодеяниях. Жребий не разбирает, кто хорош, кто дурен; голосование же и обсуждение потому и приняты в сенате, что таким образом можно ясно представить себе и жизнь человека, и славу, которой он пользуется. Интересы государства, уважение к Веспасиану требуют, чтобы ему навстречу были посланы те, кого сенат считает лучшими, люди, от которых император

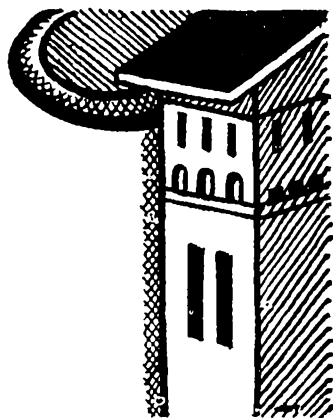
услышит лишь достойные речи. Веспасиан был другом Тразен, Сорана, Сентия; может быть, сейчас и не время карать тех, кто выступал с обвинениями против этих мужей, но выдвигать их обвинителей тоже не следует. Выбирая послов, сенат как бы указывает Веспасиану, кому следует доверять и кого опасаться. Хорошие друзья — главная опора всякой справедливой власти. Довольно с Марцелла и того, что по его навету Нерон погубил столькоких невинных людей, пусть наслаждается полученными за это деньгами и собственной безнаказанностью и не пытается свискать расположение Веспасиана, заслуживающего более достойных советников.

8. Марцелл в своей речи говорил, что все эти нападки направлены против предложений, внесенных не им, а консулом следующего года; мнение последнего, впрочем, вполне соответствует древним установлениям, согласно которым состав посольства определялся жребием, дабы не дать проявиться честолюбию и личной вражде. Не случилось ничего, что заставляло бы считать эти древние установления устаревшими или позволяло бы использовать почести, подобающие принцепсу, для унижения других. Можно любым способом выразить новому принцепсу свою покорность, но более всего надо опасаться, как бы кто-либо не рассердил его своим упрямством именно сейчас, когда он еще не освоился со своим положением, внимательно вглядывается во все лица и прислушивается ко всем речам. «Я хорошо знаю,— продолжал Марцелл,— в какое время живем мы и какое государство создали наши отцы и деды. Древностью должно восхищаться, но сообразовываться приходится с нынешними условиями. Я молюсь, чтобы боги ниспосылали нам хороших императоров, но смиряюсь с теми, какие есть. Тразей погиб не столько от моей речи, сколько по общему решению сената — Нерон любил тешить свою жестокость такого рода зрелищами, и дружба его была для меня не менее ужасна, чем для других изгнание. Пусть Гельвидий равняется мужеством и доблестью с Катонами и Брутами; я — всего лишь один из членов этого сената, пресмыкавшийся и унижавшийся вместе со всеми. Я даже дал бы Приску совет: не ставить себя выше принцепса, не пытаться навязывать Веспасиану свои мнения — он старик, триумфатор, отец взрослых детей. Плохим императорам нравится неограниченная власть, хорошим — умеренная свобода». Доводы обоих противников, изложенные в яростном споре, были восприняты по-разному; победили те, кто настаивал на избрании легатов по жребию: сенаторы не слишком влиятельные предпочитали не отступать от обычая, люди выдающиеся сочли за благо согласиться с ними, опасаясь возбудить зависть, если окажутся избранными.



ГАЙ
СВЕТОНИЙ
ТРАНКВИМ

ЖИЗНЬ ДВЕНАДЦАТИ ЦЕЗАРЕЙ



БОЖЕСТВЕННЫЙ ВЕСПАСИАН

1. Державу, поколебленную и безначальную после мятежей и гибели трех императоров, принял наконец и укрепил своей властью род Флавиев. Род этот был незнатен, изображений предков не имел, но стыдиться его государству не пришлось, хотя и считается, что Домициан за свою алчность и жестокость заслуженно понес кару.

Тит Флавий Петрон из города Реате был у Помпея в гражданской войне то ли центурионом, то ли солдатом на сверхсрочной службе; после битвы при Фарсале он вернулся домой, добился прощения и отставки и занялся сбором денег на распродажах. Сын его, по прозванию Сабин, в войсках уже не служил — впрочем, некоторые говорят, что он был центурионом или даже старшим центурионом и получил увольнение от службы по нездоровью: он был в Азии сборщиком сороковой доли, и позднее там еще можно было видеть статуи, поставленные городами в его честь, с надписью: «Справедливому сборщику». Затем он был ростовщиком в земле гелветов; там он и умер, оставив жену Веспасию Поллу с двумя сыновьями, из которых старший, Сабин, стал потом

городским префектом, а младший, Веспасиан, — императором. Полла происходила из Нурсии, из именитого рода; отец ее Веспасий Поллион трижды был военным трибуном и начальником лагеря, а брат — сенатором преторского звания. Есть даже место под названием Веспасии, наверху горы у шестой мили, как идти из Нурсии в Сполеций; здесь можно видеть много памятников Веспасиев — явное свидетельство древности и славы этого рода. Я не отрицаю, что некоторые говорят, будто отец Петрона был родом из Транс-паданской области и занимался подрядами в артелях, каждый год ходивших из Умбрии к сабицам на сельские работы, а потом поселился в городе Реате и там женился; но сам я при всем моем старании не мог отыскать об этом никаких свидетельств.

2. Веспасиан родился в земле сабинов, близ Реате, в деревушке под названием Фалакрины, вечером, в пятнадцатый день декабрьских календ, в консульство Квинта Сульпиция Камерина и Гая Поппея Сабина, за пять лет до кончины Августа. Рос он под надзором Тертуллы, своей бабки по отцу, в ее поместье близ Кобы. Уже став правителем, он часто посещал места своего детства: виллу он сохранял в прежнем виде, чтобы все, к чему привык его взгляд, оставалось нетронутым. А память бабки чтил он так, что на праздниках и торжествах всегда пил только из ее серебряного кубка.

Достигнув совершеннолетия, он долго не хотел надевать сенаторскую тогу, хотя брат ее уже носил; только мать наконец сумела этого добиться, да и то скорее бранью, чем просьбами и родительской властью: она все время попрекала его, твердя, что он остался на побегушках у брата. Служил он войсковым трибуном во Фракии, после квестуры получил по жребию провинцию Крит и Кирену; выступив сонскателем должностей эдила и претора, одну должность он получил не без сопротивления, и только шестым по списку, зато другую — по первой же просьбе и в числе первых. В бытность претором он не упускал ни одного случая угодить Гаю, который был тогда не в ладах с сенатом: в честь его германской победы он потребовал устроить игры вне очереди, а при наказаниях заговорщиков предложил вдобавок оставить их тела без погребения. А удостоенный от него приглашения к обеду, он произнес перед сенатом благодарственную речь.

3. Женился он тем временем на Флавии Домицилле, бывшей любовнице римского всадника Статилия Капеллы из Сабраты в Африке: она имела лишь латинское гражданство, но потом судом рекуператоров была объявлена свободнорожденной и римской гражданкой по ходатайству ее отца Флавия Либерала, который был родом из Ферентина и всего лишь писцом в казначействе. От нее он имел детей Тита, Домициана и Домициллу. Жену и дочь он

пережил, потеряв обенх еще в бытность свою простым гражданином. После смерти жены он снова взял к себе свою бывшую наложницу Цениду, вольноотпущенницу и письмоводительницу Антонии, и она жила с ним почти как законная жена, даже когда он стал уже императором.

4. В правление Клавдия он, по милости Нарцисса, был направлен в Германию легатом легиона, а потом переведен в Британию, где участвовал в тридцати боях с неприятелем и покорил два сильных племени, более двадцати городов и смежный с Британией остров Вектис, сражаясь под началом то Авла Плавтия, легата в консульском звании, то самого императора Клавдия. За это он получил триумфальные украшения, затем вскоре — два жреческих сана и, наконец, — консульство: в этой должности он был два последних месяца в году. После этого до самого своего проконсульства жил он на покое и в уединении, опасаясь Агриппины, которая была еще в силе при сыне и ненавидела друзей уже умершего Нарцисса. В управление он по жребию получил Африку и правил ею честно и с большим достоинством, если не считать, что однажды в Гадрумете во время мятежа его забросали репой. Во всяком случае, вернулся он из провинции, ничуть не разбогатев, потерял доверие заимодавцев и вынужден был все свои имения заложить брату, а для поддержания своего положения заняться торговлей мулами: за это в народе и называли его «ослятником». Говорят также, что он получил двести тысяч сестерциев с одного юноши, которому выхлопотал сенаторскую одежду против воли его отца, и за это получил строгий выговор. А сопровождая Нерона в поездке по Греции, он навлек на себя жестокую немилость тем, что часто или выходил во время его пения, или засыпал на своем месте. Ему было запрещено не только сопровождать, но и приветствовать императора, и он удалился на покой в дальний маленький городок, где и жил в безвестности и страхе за жизнь, пока вдруг не получил неожиданно провинцию и войско.

На Востоке распространено было давнее и твердое убеждение, что судьбой назначено в эту пору выходцам из Иудеи завладеть миром. События показали, что относилось это к римскому императору; но иудеи, приняв предсказание на свой счет, возмутились, убили наместника, обратили в бегство даже консульского легата, явившегося из Сирии с подкреплениями, и отбили у него орла. Чтобы подавить восстание, требовалось большое войско и сильный полководец, которому можно было бы доверить такое дело без опасения; и Веспасиан оказался избран как человек испытанного усердия и нимало не опасный по скромности своего рода и имени. И вот, получив вдобавок к местным войскам два легиона, восемь

отрядов конницы, десять когорт и взяв с собою старшего сына одним из легатов, он явился в Иудею и тотчас расположил к себе и соседние провинции: в лагерях он быстро навел порядок, а в первых же сражениях показал такую отвагу, что при осаде одной крепости сам был ранен камнем в колено, а в щит его вонзилось несколько стрел.

5. После Нерона, когда за власть боролись Гальба, Отон и Вителлий, у него явилась надежда стать императором. Внушена она была ему еще раньше, и вот какими знаменьями. В загородном имени Флавиев был древний дуб, посвященный Марсу, и все три раза, когда Веспасия рожала, на стволе его неожиданно вырастали новые ветви — явное указание на будущее каждого младенца. Первая была слабая и скоро засохла — и действительно, родившаяся девочка не прожила и года; вторая была крепкая и длинная, что указывало на большое счастье; а третья сама была как дерево. Поэтому, говорят, отец его Сабин, ободренный вдобавок и гаданием, прямо объявил своей матери, что у нее родился внук, который будет цезарем, но та лишь расхохоталась на это и удивилась, что она еще в здравом уме, а сын ее уже спятил. Потом, когда он был эдлом, Гай Цезарь рассердился, что он не заботится об очистке улиц, и велел солдатам навалить ему грязи за пазуху сенаторской тоги; но нашлись толкователи, сказавшие, что так когда-нибудь попадет под его защиту и как бы в его объятия все государство, заброшенное и попранное в междоусобных распрях. Однажды, когда он завтракал, бродячая собака принесла ему с перекрестка человечью руку и бросила под стол. В другой раз за обедом в столовую вломился бык, вырвавшийся из ярма, разогнал слуг, но вдруг, словно обессилев, рухнул перед ложем у самых его ног, склонив перед ним свою шею. Кипарис на его наследственном поле без всякой бури вывернуло с корнем, но на следующий день поваленное дерево вновь стояло, еще зеленее и крепче. В Ахайе ему приснилось, что счастье к нему и его дому придет тогда, когда вырвут зуб у Нерона; и на следующий день в атрий вышел врач и показал ему только что вырванный зуб. В Иудее он обратился к оракулу бога Кармела, и ответы его обнадежили, показав, что все его желанья и замыслы сбудутся, даже самые смелые. А один из знатных пленников, Иосиф, когда его заковывали в цепи, с твердой уверенностью объявил, что вскоре его освободит тот же человек, но уже император. Вести о предзнаменованиях доходили и из Рима; Нерону в его последние дни было велено во сне отвести священную колесницу Юпитера Всеблагого и Всемогущего из святилища в дом Веспасиана, а потом в цирк; немного спустя, когда Гальба открывал собрание, чтобы приять

второе консульство, статуя божественного Юлия сама собой повернулась к востоку; а перед битвой при Бетриаке на глазах у всех сразились в воздухе два орла, и когда один уже был побежден, со стороны восхода прилетел третий и прогнал победителя.

6. Тем не менее он ничего не предпринимал, несмотря на поддержку и настояния близких, пока неожиданно не поддержали его люди неизвестные и далекие. Мезийское войско отправлено на помощь Отону по две тысячи от каждого из трех легионов. В пути они узнали, что Отоп разбит и наложил на себя руки; тем не менее, как бы не поверив слуху, они дошли до самой Аквилен. Там они, воспользовавшись случаем и безначалием, стали вволю разбойничать и грабить; а потом, опасаясь, что по возвращении им придется дать ответ и понести наказание, они решили избрать и провозгласить нового императора — испанское войско поставило императором Гальбу, преторианское — Отона, германское — Вителлия, а они ничуть не хуже других. Были названы имена всех консульских легатов, сколько и где их тогда было, и все по разным причинам отвергнуты. Но когда солдаты из третьего легиона, переведенного перед самой смертью Нерона в Мезию из Сирии, стали расхваливать Веспасиана, все их поддержали и тотчас написали его имя на всех знаменах. Правда, в тот раз дело заглохло, и солдаты на время вернулись к покорности. Однако слух о том распространился, и наместник Египта Тиберий Александр первый привел легионы к присяге Веспасиану, — это было в календы июля, и впоследствии этот день отмечался как первый день его правления. А потом, в пятый день до июльских ид, иудейское войско присягнуло ему уже лянчо.

Начинанию содействовало многое. По рукам ходило в списке послание к Веспасиану с последней волей погибшего Отона — неизвестно, настоящее или подложное, — где тот завещал отомстить за него и умолял спасти государство. В то же время разошелся слух, будто Вителлий после победы собрался поменять легионы стоянками и на Восток, где служба спокойнее, перевести германские войска. Наконец из провинциальных наместников Лициний Муциан, забыв о соперничестве и уже явной вражде, предложил Веспасиану сирийское войско, а парфянский царь Вологез — сорок тысяч стрелков.

7. Так началась междоусобная война. В Италию Веспасиан отправил полководцев с передовыми войсками, а сам тем временем занял Александрию, чтобы держать в руках ключ к Египту. Здесь он оди, без спутников, отправился в храм Сераписа, чтобы гаданием узнать, прочна ли его власть: и когда после долгой молитвы он обернулся, то увидел, что ему, по обычаю, подносит лепешки,

ветки и венки вольноотпущенник Басилид — а он знал, что Басилид был далеко и по слабости сил не мог ходить, да никто бы его и не впустил. И тотчас затем пришли допесения, что войска Вителлия разбиты при Кремоне, а сам он убит в Риме.

Новому и неожиданному императору еще недоставало, так сказать, величия и как бы веса, но и это вскоре пришло. Два человека из престолярды, один слепой, другой хромой, одновременно подошли к нему, когда он правил суд, и умоляли излечить их помощью, как указал им во сне Серапис: глаза прозреют, если он на них плюнет, нога исцелится, если он удостоит коснуться ее пяткой. Нимало не надеясь на успех, он не хотел даже и пробовать; наконец, уступив уговорам друзей, он на глазах у огромной толпы попытал счастья, и успех был полным. В то же время и в аркадской Тегее по указанию прорицателей откопаны были в священном месте сосуды древней работы, и на них оказалось изображение, лицом похожее на Веспасиана.

8. Таков был Веспасиан и такова была его слава, когда он вернулся в Рим и отпраздновал триумф над иудеями. После этого он восемь раз был консулом, не считая прежнего, был и цензором; и во все время своего правления ни о чем он так не заботился, как о том, чтобы вернуть дрогнувшему и поколебленному государству устойчивость, а потом и блеск.

Войска дошли до совершенной распушенности и палости: одни — возгордившись победой, другие — озлобленные бесчестьем; даже провинции, вольные города и некоторые царства враждовали между собой. Поэтому многих солдат Вителлия он уволил и наказал, но победителям тоже ничего не спускал сверх положенного, и даже законные награды выплатил им не сразу. Он не упускал ни одного случая навести порядок. Один молодой человек явился благодарить его за высокое назначение, благоухая ароматами, — он презрительно отвернулся и мрачно сказал ему: «Уж лучше бы ты вонял чесноком!» — а приказ о назначении отобрал. Моряки, что пешком переходят в Рим то из Остии, то из Путеол, просили выплачивать им что-нибудь на сапоги — а он, словно мало было отпустить их без ответа, приказал им с этих пор ходить разутыми: так они с тех пор и ходят. Ахайю, Ликию, Родос, Византий, Самос он лишил свободы; горную Киликию и Коммагену, ранее находившиеся под властью царей, обратил в провинции; в Каппадокию, где не прекращались набеги варваров, он поставил добавочные легионы и вместо римского всадника назначил наместником консулара.

Столица была обезображена давними пожарами и развалинами. Он позволил всякому желающему занимать и застраивать пустые

участки, если этого не делали владельцы. Приступив к восстановлению Капитолия, он первый своими руками начал расчищать обломки и выносить их на собственной спине. В пожаре расплавилось три тысячи медных досок — он позаботился их восстановить, раздобыв отовсюду их списки: это было древнейшее и прекраснейшее подспорье в государственных делах, среди них хранились чуть ли не с самого основания Рима постановления сената и народа о союзах, дружбе и льготах, кому-нибудь даруемых.

9. Предпринял он и новые постройки: храм Мира близ Форума, храм божественного Клавдия на Целийском холме, начатый еще Агриппиной, но почти до основания разрушенный Нероном, и, наконец, амфитеатр посреди города, задуманный, как он узнал, еще Августом.

Высшие сословия поредели от бесконечных казней и пришли в упадок от давнего пренебрежения. Чтобы их очистить и пополнить, он произвел смотр сенату и всадничеству, удалив негодных и включив в списки самых достойных из италиков и провинциалов. А чтобы было известно, что различаются два сословия не столько вольностями, сколько уважением, он однажды, разбирая ссору сенатора и всадника, объявил: «Не пристало сенаторам навлекать брань, но отвечать на брань они могут и должны».

10. Судебные дела повсюду безмерно умножились: затянулись старые из-за прекращения заседаний, прибавились новые из-за беспоконного времени. Он выбрал по жребию лиц, чтобы возвращать пострадавшим имущество, отнятое во время войны, и чтобы решать вне очереди дела, подведомственные центумвирам: с этими делами нужно было справиться поскорее, так как набралось их столько, что тяжущиеся могли не дожиться до их конца.

11. Безнравственность и роскошь усиливались, никем не обуздываемые. Он предложил сенату указ, чтобы женщина, состоящая в связи с чужим рабом, сама считалась рабыней, и чтобы ростовщикам запрещено было требовать долг с сыновей, еще не вышедших из-под отцовской власти, даже после смерти отцов.

12. Во всем остальном был он достоин и снисходителен с первых дней правления и до самой смерти. Свое бывшее низкое состояние он никогда не скрывал и часто даже выставлял напоказ. Когда кто-то попытался возвести начало рода Флавиев к основателям Реате и к тому спутнику Геркулеса, чью гробницу показывают на Соляной дороге, он первый это высмеял. К наружному блеску он нисколько не стремился, и даже в день триумфа, измученный медленным и утомительным шествием, не удержался, чтобы не сказать: «Поделом мне, старику: как дурак, захотел триумфа, словно предки мои его заслужили или сам я мог о нем мечтать!» Трибун-

скую власть и имя отца отечества он принял лишь много спустя; а обыскивать приветствующих его по утрам он перестал еще во время междоусобной войны.

13. Вольности друзей, колкости стряпчих, строптивость философов нимало его не беспокоили. Лициний Муциан, известный развратник, сознавая свои заслуги, относился к нему без достаточного почтения, но Веспасиан никогда не бранил его при всех и, только жалуясь на него общему другу, сказал под конец: «Я-то ведь все-таки мужчина!» Сальвий Либерал, защищая какого-то богача, не побоялся сказать: «Пусть у Гиппарха есть сто миллионов, а цезарю какое дело?» И он первый его похвалил. Ссылный киник Деметрий, повстречав его в дороге, не пожелал ни встать перед ним, ни поздороваться и даже стал на него лаяться, но император только обозвал его псом.

14. Обиды и вражды он несколько не помнил и не мстил за них. Для дочери Вителлия, своего соперника, он нашел отличного мужа, дал ей приданое и устроил дом. Когда при Нероне ему было отказано от двора и он в страхе спрашивал, что ему делать и куда идти, один из заведующих приемами, выпроваживая его, ответил: «На все четыре стороны!» А когда потом этот человек стал просить у него прощения, он удовольствовался тем, что почти в точности повторил ему его же слова. Никогда подозрение или страх не толкали его на расправу: когда друзья советовали ему остерегаться Меттия Помпузиана, у которого, по слухам, был императорский гороскоп, он вместо этого сделал его консулом, чтобы тот в свое время вспомнил об этой милости.

15. Ни разу не оказалось, что казнен невинный, — разве что в его отсутствие, без его ведома или даже против его воли. Гельвидий Приск при возвращении его из Сирии один приветствовал его Веспасианом, как частного человека, а потом во всех своих преторских эдиктах ни разу его не упомянул, но Веспасиан рассердился на него не раньше, чем тот разбранил его нещадно, как плебей. Но и тут, даже сослав его, даже распорядившись его убить, он всеми силами старался спасти его: он послал отозвать убийц и спас бы его, если бы не ложное донесение, будто он уже мертв. Во всяком случае, никакая смерть его не радовала, и даже над заслуженною казнью случалось ему сетовать и плакать.

16. Единственное, в чем его упрекали справедливо, это сребролюбие. Мало того что он взыскивал недоимки, прощенные Гальбою, наложил новые тяжелые подати, увеличил и подчас даже удвоил дань с провинций, — он открыто занимался такими делами, каких стыдился бы и частный человек. Он скупал вещи только затем, чтобы потом распродать их с выгодой; он без колебания про-

давал должности соискателям и оправдания подсудимым, невиновным и виновным, без разбору; самых хищных чиновников, как полагают, он нарочно продвигал на все более высокие места, чтобы дать им нажиться, а потом засудить, — говорили, что он пользуется ими, как губками, сухим дает намокнуть, а мокрые выжимает. Одни думают, что жаден он был от природы: за это и бранил его старый пастух, который умолял Веспасиана, только что ставшего императором, отпустить его на волю безвозмездно, но получил отказ и воскликнул: «Лисица шерстью слиняла, да нрав не сменяла!» Другие, напротив, полагают, что к поборам и вымогательству он был вынужден крайней скудостью и государственной и императорской казны: в этом он сам признался, когда в самом начале правления заявил, что ему нужно сорок миллиардов сестерциев, чтобы государство стало на ноги. И это кажется тем правдоподобнее, что и худо нажитому он давал наилучшее применение.

17. Щедр он был ко всем сословиям: сенаторам пополнил их состояния, нуждавшимся консуларам назначил по пятьсот тысяч сестерциев в год, многие города по всей земле отстроил еще лучше после землетрясений и пожаров, о талантах и искусствах обнаруживал величайшую заботу.

18. Латинским и греческим риторам он первый стал выплачивать жалованье из казны по сто тысяч в год; выдающихся поэтов и художников, как, например, восстановителя Колосса и Венеры Косской, он награждал большими подарками; механику, который обещался без больших затрат поднять на Капитолий огромные колонны, он тоже выдал за выдумку хорошую награду, но от услуг отказался, промолвив: «Уж позволь мне подкормить мой народец».

19. На зрелищах при освящении новой сцены в театре Марцелла он возобновил даже старинные представления. Трагическому актеру Аппелларию он дал в награду четыреста тысяч сестерциев, кифаредам Терпну и Диодору — по двести тысяч, другим — по сотне тысяч, самое меньшее — по сорок тысяч, не говоря о множестве золотых венков. Званные пиры он также устраивал частые и роскошные, чтобы поддержать торговцев съестным. На Сатурналиях он раздавал подарки мужчинам, а в мартовские календы — женщинам.

Все же загладить позор былой своей скупости ему не удалось. Александрийцы неизменно называли его селедочником, по прозвищу одного из своих царей, грязного скряги. И даже на его похоронах Фавор, главный мим, выступая, по обычаю, в маске и изображая слова и дела покойника, во всеуслышанье спросил чиновников, во сколько обошлось погребальное шествие? И, услышав,

что в десять миллионов, воскликнул: «Дайте мне десять тысяч — и бросайте меня хоть в Тибр!»

20. Роста он был хорошего, сложения крепкого и плотного, с патужным выражением лица: один остроумец метко сказал об этом, когда император попросил его пошутить и над ним: «Пошучу, когда опорожнишься». Здоровьем он пользовался прекрасным, хотя ничуть о том не заботился, и только растирал сам себе в бане горло и все члены, да один день в месяц ничего не ел.

21. Образ жизни его был таков. Находясь у власти, вставал он всегда рано, еще до свету, и прочитывал письма и доклады от всех чиновников; затем впускал друзей и принимал их приветствия, а сам в это время одевался и обувался. Покончив с текущими делами, он совершал прогулку и отдыхал с какой-нибудь из наложниц: после смерти Цениды у него их было много. Из спальни он шел в баню, а потом к столу: в это время, говорят, был он всего добрее и мягче, и домашние старались этим пользоваться, если имели какие-нибудь просьбы.

22. За обедом, как всегда и везде, был он добродушен и часто отпускал шутки: он был большой насмешник, но слишком склонный к шутловству и пошлости, даже до непристойностей. Тем не менее некоторые его шутки очень остроумны; вот некоторые из них. Консулар Местрий Флор уверял, что правильнее говорить не «plostra», а «plaustra»; на следующий день он его приветствовал не «Флором», а «Флавром». Одна женщина клялась, что умирает от любви к нему, и добилась его внимания: он провел с ней ночь и подарил ей четыреста тысяч сестерциев; а на вопрос управителя, по какой статье занести эти деньги, сказал: «За чрезвычайную любовь к Веспасиану».

23. Умел он вставить к месту и греческий стих: так, о каком-то человеке высокого роста и непристойного вида он сказал:

Шел, широко выступая, копьем длиннотенным колебля.

А о вольноотпущеннике Кериле, который, разбогатеv и не желая оставлять богатство императорской казне, объявил себя свободно-рожденным и принял имя Лахета:

О Лахет, Лахет,
Ведь ты помрешь — и снова станешь Керилом.

Но более всего подсмеивался он над своими неблагоприятными доходами, чтобы хоть насмешками унять недовольство и обратить его в шутку. Один из его любимых прислужников просил управительского места для человека, которого выдавал за своего брата; Веспасиан велел ему подождать, вызвал к себе этого человека, сам

взял с него деньги, выговоренные за ходатайство, и тотчас назначил на место; а когда опять вмешался служитель, сказал ему: «Ищи себе другого брата, а это теперь мой брат». В дороге однажды он заподозрил, что погонщик остановился и стал перековывать мулов только затем, чтобы дать одному просителю время и случай подойти к императору; он спросил, много ли принесла ему ковка, и потребовал с выручки свою долю. Тит упрекал отца, что и нужники он обложил налогом; тот взял монету из первой прибыли, поднес к его носу и спросил, воняет ли она. «Нет», — ответил Тит. «А ведь это деньги с мочи», — сказал Веспасиан. Когда посланцы доложили ему, что решено поставить ему на общественный счет колоссальную статую немалой цены, он протянул ладонь и сказал: «Ставьте немедленно, вот постамент».

Даже страх перед грозящей смертью не остановил его шуток: когда в числе других предзнаменований двери Мавзолея вдруг раскрылись, а в небе появилась хвостатая звезда, он сказал, что одно знаменье относится к Юнии Кальвине из рода Августа, а другое к парфянскому царю, который носит длинные волосы; когда же он почувствовал приближение смерти, то промолвил: «Увы, кажется, я становлюсь богом».

24. В девятое свое консульство, он, находясь в Кампании, почувствовал легкие приступы лихорадки. Тотчас он вернулся в Рим, а потом отправился в Кутилии и в реатинские поместья, где обычно проводил лето. Здесь недомогание усилилось, а холодной водой он вдобавок застудил себе живот. Тем не менее он продолжал, как всегда, заниматься государственными делами и, лежа в постели, даже принимал послов. Когда же его прослабило чуть не до смерти, он заявил, что император должен умереть стоя; и, пытаясь подняться и выпрямиться, он скончался на руках поддерживавших его в девятый день до июльских календ, имея от роду шестьдесят девять лет, один месяц и семь дней.

25. Всем известно, как твердо он верил всегда, что родился и родил сыновей под счастливой звездой: несмотря на непрекращавшиеся заговоры, он смело заявлял сенату, что наследовать ему будут или сыновья, или никто. Говорят, он даже видел однажды во сне, будто в сенях Палатинского дворца стоят весы, на одной их чашке — Клавдий и Нерон, на другой — он с сыновьями, и ни одна чашка не перевешивает. И сон его не обманул, потому что те и другие правили одинаковое время — ровно столько же лет,



1. Тит, унаследовавший прозвище отца, любовь и отрада рода человеческого, наделенный особенным даром, искусством, или счастьем снискать всеобщее расположение, — а для императора это было нелегко, так как и частным человеком, и в правление отца не избегал он не только людских нареканий, но даже и ненависти, — Тит родился в третий день до январских календ, в год памятный гибелью Гая, в бедном домишке близ Септизония, в темной маленькой комнатке: она еще цела, и ее можно видеть.

2. Воспитание он получил при дворе, вместе с Британником, обучаясь тем же наукам и у тех же учителей. В эту пору, говорят, Нарцисс, вольноотпущенник Клавдия, привел одного физиогнома, чтобы осмотреть Британника, и тот решительно заявил, что Британник никогда не будет императором, а Тит, стоявший рядом, будет. Были они такими друзьями, что, по рассказам, даже питье, от которого умер Британник, пригубил и Тит, лежавший рядом, и после того долго мучился тяжелой болезнью. Памятуя обо всем этом, он впоследствии поставил Британнику на Палатине статую из золота и посвятил ему в своем присутствии другую, конную, из слоновой кости, которую и по сей день выносят в цирке во время шествия.

3. Телесными и душевными достоинствами блистал он еще в отрочестве, а потом, с годами, все больше и больше: замечательная красота, в которой было столько же достоинства, сколько при-

ятности; отменная сила, которой не мешали ни невысокий рост, ни слегка выдающийся живот; исключительная память и, наконец, способности едва ли не ко всем военным и мирным искусствам. Копем и оружием он владел отлично; произносил речи и сочинял стихи по-латыни и по-гречески с охотой и легкостью, даже без подготовки; был знаком с музыкальной игрой, что пел и играл на кифаре искусно и красиво. Многие сообщают, что даже писать скорописью умел он так проворно, что для шутки и потехи состязался со своими писцами, а любому почерку подражал так ловко, что часто восклицал: «Какой бы вышел из меня подделыватель завещаний!»

4. Военным трибуном он служил и в Германии и в Британнии, прославив себя великой доблестью и не меньшей кротостью, как видно по статуям и надписям в его честь, в изобилии воздвигнутым этими провинциями. После военной службы он стал выступать в суде, больше для доброй славы, чем для практики. В это же время женился он на Аррецине Тертулле, отец которой, римский всадник, был когда-то начальником преторианских когорт, а после ее смерти — на Марции Фурнилле из знатного рода, с которой он развелся после рождения дочери. После должности квестора он получил начальство над легионом и покорил в Иудее две сильнейшие крепости — Тарихею и Гамалу. В одной схватке под ним была убита лошадь — тогда он пересел на другую, чей всадник погиб.

5. Когда вскоре к власти пришел Гальба, Тит был отправлен к нему с поздравлением и повсюду привлекал к себе внимание: думали, что его вызвал Гальба, чтобы усыновить. Но при вести о новом общем возмущении он вернулся с дороги. По пути он спросил оракула Венеры Пафосской, опасно ли плыть дальше, а в ответ получил обещание власти. Надежда вскоре исполнилась: он был оставлен для покорения Иудеи, при последней осаде Иерусалима сам поразил двенадцатью стрелами двенадцать врагов, взяв город в день рождения своей дочери и заслужил такую любовь и ликование солдат, что они с приветственными кликами провозгласили его императором, а при его отъезде не хотели его отпускать из провинции, с мольбами и даже угрозами требуя, чтобы он или остался с ними, или всех их увел с собою. Это внушило подозрение, что он задумал отложиться от отца и стать царем на востоке; и он сам укрепил это подозрение, когда во время поездки в Александрию, при освящении мемфисского быка Аписа выступил в диадеме: таков был древний обычай при этом священном обряде, но нашлись люди, которые истолковали это иначе. Поэтому он поспешил в Италию, на грузовом судне добрался до Регия и до Путеол, оттуда, не мешкая, бросился в Рим и, словно опровергая пустые о себе слухи, приветствовал не ожидавшего его отца: «Вот и я, батюшка, вот и я!»

6. С этих пор он бесценно был соучастником и даже блюстителем власти. Вместе с отцом он справлял триумф, вместе был цензором, делил с ним и трибунскую власть, и семикратное консульство; он принял на себя заботу почти о всех ведомствах, и от имени отца сам диктовал письма, издавал эдикты, зачитывал вместо квестора речи в сенате. Он принял начальство над преторианцами, хотя до этого оно поручалось только римским всадникам.

Однако в этой должности повел он себя не в меру сурово и круто. Против лиц, ему подозрительных, он подсылал в лагерь и театры своих людей, которые словно от имени всех требовали их наказания, и тотчас с ними расправлялся. Среди них был консулар Авл Цецина: его он пригласил к обеду, а потом приказал умертвить, едва тот вышел из столовой. Правда, опасность была слишком близка: он уже перехватил собственноручно составленную Цециной речь к солдатам. Этими мерами он обезопасил себя на будущее, но возбудил такую ненависть, что вряд ли кто приходил к власти с такой дурной славой и с таким всеобщим недоброжелательством.

7. Не только жестокость подозревали в нем, но и распушенность — из-за его попок до поздней ночи с самыми беспутными друзьями; и сладострастие — из-за множества его мальчиков и внуков и из-за пресловутой его любви к царице Беренике, на которой, говорят, он даже обещал жениться; и алчность — так как известно было, что в судебных делах, разбивавшихся отцом, он торговал своим заступничеством и брал взятки. Поэтому все видели в нем второго Нерона и говорили об этом во всеулышанье.

Однако такая слава послужила ему только на пользу: она обернулась высочайшей хвалой, когда ни единого порока в нем не нашлось и, напротив, обнаружили великие добродетели. Пирь его были веселыми, но не расточительными. Друзей он выбирал так, что и последующие правители в своих и в государственных делах не могли обходиться без них и всегда к ним обращались. Беренику он тотчас выслал из Рима, против ее и против своего желания. Самых изысканных своих любимчиков он не только перестал жаловать, но даже не желал на них смотреть на всепародных зрелищах, хотя танцовщиками они были замечательными и вскоре прославились на сцене. Ничего и ни у кого он не отнял, чужую собственность уважал, как никто другой, и отвергал даже обычные и дозволенные приношения. Щедростью он, однако, никому не уступал: при освящении амфитеатра и спешно выстроенных поблизости бань он показал гладиаторский бой, на диво богатый и пышный; устроил он и морское сражение на прежнем месте, а затем и там вывел гладиаторов и выпустил в один день пять тысяч разных диких зверей.

8. От природы он отличался редкостной добротой. Со времён Тиберия все цезари признавали пожалования, сделанные их предшественниками, не иначе, как особыми соизволениями,— он первый подтвердил их сразу, единым эдиктом, не заставляя себя просить. Непременным правилом его было никакого просителя не отпущать, не обнадежив; и когда домашние упрекали его, что он обещает больше, чем сможет выполнить, он ответил: «Никто не должен уходить печальным после разговора с императором». А когда однажды за обедом он вспомнил, что за целый день никому не сделал хорошего, то произнес свои знаменитые слова, памятные и достохвальные: «Друзья мои, я потерял день!»

К простому народу он всегда был особенно внимателен. Однажды, готовя гладиаторский бой, он объявил, что устроит его не по собственному вкусу, а по вкусу зрителей. Так оно и было: ни в какой просьбе он им не отказывал и сам побуждал их просить, что хочется. Сам себя он объявил поклонником гладиаторов-фракцинцев, и из-за этого пристрастия нередко перешучивался с народом и словами и знаками, однако никогда не терял величия и чувства меры. Даже купаясь в своих банях, он иногда впускал туда народ, чтобы и тут не упустить случая угодить ему.

Его правления не миновали и стихийные бедствия: извержение Везувия в Кампании, пожар Рима, бушевавший три дня и три ночи, и моровая язва, какой никогда не бывало. В таких и стольких несчастиях обнаружил он не только заботливость правителя, но и редкую отеческую любовь, то утешая народ эдиктами, то помогая ему в меру своих сил. Для устройства Кампании он выбрал попечителей по жребию из числа консуларов; безнаследные имущества погибших под Везувием он пожертвовал в помощь пострадавшим городам. При пожаре столицы он воскликнул: «Все убытки — мои!» — и все убранство своих усадеб отдал на восстановление построек и храмов, а для скорейшего совершения работ поручил их нескольким распорядителям из всаднического сословия. Для изгнания заразы и борьбы с болезнью изыскал он все средства, божеские и человеческие, не оставив без пробы никаких жертвоприношений и лекарств.

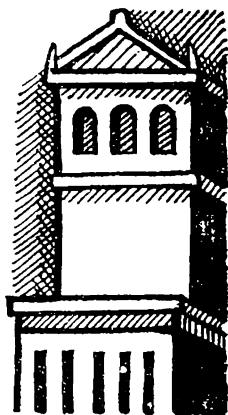
Одним из бедствий времени был застарелый произвол доносчиков и их подстрекателей. Их он часто наказывал на Форуме плетми и палками и, наконец, приказал провести по арене амфитеатра и частью продать в рабство, частью сослать на самые дикие острова. А чтобы навсегда пресечь подобные посягательства, он в числе других постановлений запретил подводить одно дело под разные законы и оспаривать права умерших дольше известного срока после их смерти.

9. Сан великого понтифика, по его словам, он принял затем, чтобы руки его были чисты, и этого он достиг: с тех пор он не был ни виновником, ни соучастником ничьей гибели, и хотя не раз представлялся ему случай мстить, он поклялся, что скорее погибнет, чем погубит. Двое патрициев были уличены в посягательстве на власть — он не наказал их, а только увещевал оставить эти попытки, так как императорская власть даруется судьбой, а все остальное он готов им дать добровольно. Так как мать одного из них была далеко, он тотчас послал к ней скороходов с вестью, что сын ее вне опасности, а их самих пригласил к семейному обеду; а на следующий день на гладиаторском зрелище нарочно посадил их рядом с собой, и когда ему поднесли оружие бойцов, протянул его им для осмотра. Говорят, он даже рассмотрел их гороскоп и объявил, что обоим будет грозить беда, но не теперь и не от него: так оно и случилось. Брат не переставал строить против него козни и почти открыто волновал войска, замышляя к ним бежать — однако он не казнил его, не сослал и не перестал его жаловать, но по-прежнему, как с первых дней правленья, называл его своим соправителем и пресмником, и не раз наедине молитвенно и слезно просил его хотя бы отвечать ему любовью на любовь.

10. Среди всех этих забот застигла его смерть, поразив своим ударом не столько его, сколько все человечество. По окончании представлений, на которых под конец он плакал горько и не таясь, он отправился в свое сабинское имение. Был он мрачен, так как при жертвоприношении животное у него вырвалось, а с ясного неба грянул гром. На первой же стоянке он почувствовал горячку. Дальше его понесли в носилках; раздвинув занавески, он взглянул на небо и горько стал жаловаться, что лишается жизни невинно: ему не в чем упрекнуть себя, кроме разве одного поступка. Что это был за поступок, он не сказал, и догадаться об этом нелегко. Некоторые думают, что он вспомнил любовную связь с женой своего брата; но Домиция клялась торжественной клятвой, что этого не было, а она бы не стала отрицать, если бы что-нибудь было: она хвалилась бы этим, как готова была хвастаться любым своим распутством.

11. Скончался он на той вилле, что и отец, в сентябрьские иды, на сорок втором году жизни, спустя два года, два месяца и двадцать дней после того, как он наследовал отцу. Когда об этом стало известно, народ о нем плакал, как о родном, а сенат сбежался к курии, не дожидаясь эдикта, и перед закрытыми, а потом за открытыми дверями воздал умершему такие благодарности и хвалы, каких не приписал ему при жизни и в его присутствии.

ДОМИЦИАН



1. Домициан родился в десятый день до ноябрьских календ, когда отец его был назначенным консулом и должен был в следующем месяце вступить в должность; дом, где он родился, на Гранатовой улице, в шестом квартале столицы, был им потом обращен в храм рода Флавиев. Детство и раннюю молодость провел он, говорят, в нищете и пороке: в доме их не было ни одного серебряного сосуда, а бывший претор Клодий Поллион, на которого Нероном написано стихотворение «Одноглазый», хранил и изредка показывал собственноручную записку Домициана, где тот обещал ему свою ночь; некоторые вдобавок утверждали, что его любовником был и Нерва, будущий его преемник.

Во время войны с Вителлием он вместе с дядей своим Сабиним и отрядом верных им войск укрывался на Капитолии: когда ворвались враги и загорелся храм, он тайно переночевал у привратника, а поутру в одежде служителя Испиды, среди жрецов различных суеверий, с одним лишь спутником ускользнул на другой берег Тибра к матери какого-то своего товарища по учению, и там он спрятался так хорошо, что преследователи, гнавшиеся по пятам, не могли его найти. Только после победы он вышел к людям и был провозглашен цезарем.

Он принял должность городского претора с консульской властью, но лишь по имени, так как все судопроизводство уступил

своему ближайшему коллеге; однако всей властью своего положения он уже тогда пользовался с таким произволом, что видно было, каков он станет в будущем. Не вдаваясь в подробности, достаточно сказать, что у многих он отбивал жен, а на Домиции Лепиде даже женился, хотя она и была уже замужем за Элием Ламией, и что в один день он роздал двадцать должностей в столице и в провинциях, так что Веспасиан даже говаривал, что удивительно, как это сын и ему не прислал преемника.

2. Затеял он даже поход в Галлию и Германию, без всякой нужды и наперекор отцовским советникам, только затем, чтобы сравняться с братом влиянием и саном.

За все это он получил выговор и совет получше помнить о своем возрасте и положении. Поэтому жил он при отце, и во время выходов его несли в носилках за качалкой отца и брата, а во время иудейского триумфа он сопровождал их на белом коне. Поэтому же из шести его консульств только одно было очередным, да и то уступил ему и просил за него брат. Он и сам изумительно притворялся человеком скромным и необыкновенным любителем поэзии, которой до того он совсем не занимался, а после того с презрением забросил; однако в это время он устраивал даже открытые чтения. Тем не менее, когда парфянский царь Вологез попросил у Веспасиана помощи против аланов с одним из его сыновей во главе, Домициан приложил все старания, чтобы послали именно его; а так как из этого ничего не вышло, он стал подарками и обещаниями побуждать к такой же просьбе других восточных царей.

После смерти отца он долго колебался, не предложить ли ему войскам двойные подарки. Впоследствии он не стеснялся утверждать, что отец оставил его сонаследником власти и завещание его было подделано, а против брата не переставал строить козни явно и тайно. Во время тяжелой болезни брата, когда тот еще не испустил дух, он уже велел всем покинуть его как мертвого, а когда тот умер, он не оказал ему никаких почестей, кроме обожествления, и часто даже задевал его косвенным образом в своих речах и эдиктах.

3. В первое время своего правления он каждый день запирался один на несколько часов и занимался тем, что ловил мух и протыкал их острым грифелем. Поэтому, когда кто-то спросил, нет ли кого с цезарем, Вибий Крисп метко ответил: «Нет даже и мухи». Жена его Домиция во второе его консульство родила ему сына, который умер на другой год его правления. Он дал жене имя Августы, но развелся с ней, когда она запятнала себя любовью к актеру Парису; однако разлуки с нею он не вытерпел и

спустя недолгое время, якобы по требованию народа, снова взял ее к себе.

Его управление государством некоторое время было неровным: достоинства и пороки смешивались в нем поровну, пока, наконец, сами достоинства не превратились в пороки — можно думать, что вопреки его природе жадным его сделала бедность, а жестоким — страх.

4. Зрелища он устраивал постоянно, роскошные и великолепные, и не только в амфитеатре, но и в цирке. Здесь, кроме обычных состязаний колесниц четверкой и парой, он представил два сражения, пешее и конное, а в амфитеатре еще и морское. Травли и гладиаторские бои показывал он даже ночью при факелах, и участвовали в них не только мужчины, но и женщины. На квесторских играх, когда-то вышедших из обычая и теперь возобновленных, он всегда присутствовал сам и позволял народу требовать еще две пары гладиаторов из его собственного училища: они выходили последними и в придворном наряде. На всех гладиаторских зрелищах у ног его стоял мальчик в красном и с удивительно маленькой головкой; с ним он болтал охотно и не только в шутку: слышали, как император его спрашивал, знает ли он, почему при последнем распределении должностей наместником Египта был назначен Меттий Руф? Показывал он и морские сражения, и сам на них смотрел, невзирая на сильный ливень; в них участвовали почти настоящие флотилии, и для них был выкопан и окружен постройками новый пруд поблизости от Тибра.

Он отпраздновал и Столетние игры, отсчитав срок не от последнего торжества при Клавдии, а от прежнего, при Августе; на этом празднестве в день цирковых состязаний он устроил сто заездов и, чтобы это удалось, сократил каждый с семи кругов до пяти. Учредил он и пятилетнее состязание в честь Юпитера Капитолийского; оно было тройное — музыкальное, конное и гимнастическое, — и наград на нем было больше, чем теперь: здесь состязались и в речах по-латыни и по-гречески, здесь, кроме кифаредов, выступали и кифаристы, в одиночку и в хорах, а в беге участвовали даже девушки. Распоряжался на состязаниях он сам, в сандалиях и в пурпурной тоге на греческий лад, а на голове золотой венец с изображениями Юпитера, Юноны и Минервы; рядом сидели жрец Юпитера и жрецы Флавиев в таком же одеянии, но у них в венцах было еще изображение самого императора. Справлял он каждый год и Квинкватрии в честь Минервы в Альбанском поместье: для этого он учредил коллегию жрецов, из которой по жребию выбирались распорядители и устраивали великолепные травли, театральные представления и состязания ораторов и поэтов.

Денежные раздачи для народа, по триста сестерциев каждому, он устраивал три раза. Кроме того, во время зрелищ на празднике Семи холмов он устроил щедрое угощение — сенаторам и всадникам были розданы большие корзины с кушаньями, плебеям — поменьше, и император первый начал угощаться. А на следующий день в театре он бросал народу всяческие подарки: и так как большая часть их попала на плебейские места, то для сенаторов и всадников он обещал раздать еще по пятидесяти тессер на каждую полосу мест.

5. Множество великолепных построек он восстановил после пожара, в том числе и Капитолий, сгоревший во второй раз; но на всех надписях он поставил только свое имя, без всякого упоминания о прежних строителях. Новыми его постройками были храм Юпитера Охранителя на Капитолии и форум, который носит теперь имя Нервы, а также храм рода Флавиев, стадион, одеон и пруд для морских битв — тот самый, из камней которого был потом отстроен Большой Цирк, когда обе стены его сгорели.

6. Походы предпринимал он отчасти по собственному желанию, отчасти по необходимости: по собственному желанию — против хаттов, по необходимости — один поход против сарматов, которые уничтожили его легион с легатом, и два похода против даков, которые в первый раз разбили консулара Оппия Сабина, а во второй раз начальника преторианцев Корнелия Фуска, предводителя в войне против них. После переменных сражений он справил двойной триумф над хаттами и даками, а за победу над сарматами только поднес лавровый венок Юпитеру Капитолийскому.

Междоусобная война, которую поднял против него Луций Антоний, наместник Верхней Германии, закончилась еще в его отсутствие, и удивительно счастливо: как раз во время сражения внезапно тронулся лед на Рейне и остановил подходившие к Антонию полчища варваров. Об этой победе он узнал по знаменьям раньше, чем от гонцов: в самый день сражения огромный орел слетел в Риме на его статую и охватил ее крыльями с радостным клекотом; а весть о гибели Антония распространилась так быстро, что многие уверяли, будто сами видели, как несли в Рим его голову.

7. В общественных местах он также завел много нового: отменил раздачу съестного, восстановив настоящие застольные угощения; к четырем прежним цветам цирковых возниц прибавил два новых, золотой и пурпуровый; запретил актерам выступать на сцене, но разрешил показывать свое искусство в частных домах; запретил холостить мальчиков, а на тех евпухов, которые оставались у работорговцев, понизил цены. Однажды по редкому изобилию

вина при недороде хлеба он заключил, что из-за усиленной заботы о виноградниках остаются заброшенными пашни, и издал эдикт, чтобы в Италии виноградные посадки более не расширялись, а в провинциях даже были сокращены, по крайней мере, наполовину; впрочем, на выполнении этого эдикта он не настаивал. Некоторые важнейшие должности он передал вольноотпущенникам и всадничеству. Запретил он соединять два легиона в одном лагере и принимать на хранение от каждого солдата больше тысячи сестерциев: дело в том, что Луций Антоний затеял переворот как раз на стоянке двух легионов и, по-видимому, главным образом надеялся именно на обилие солдатских сбережений. А жалование солдатам он увеличил на четверть, прибавив им по три золотых в год.

8. Суд он правил усердно и прилежно, часто даже вне очереди, на Форуме, с судейского места. Пристрастные приговоры центумвиров он отменял; рекуператоров не раз призывал не поддаваться ложным притязаниям рабов на свободу; судей, уличенных в подкупе, увольнял вместе со всеми советниками. Он же предложил народным трибунам привлечь к суду за вымогательство одного запятнавшего себя эдила, а судей для него попросить от сената. Столичных магистратов и провинциальных наместников он держал в узде так крепко, что никогда они не были честнее и справедливее; а между тем после его смерти многие из них на наших глазах попали под суд за всевозможные преступления.

Приняв на себя попечение о нравах, он положил конец своеволию в театрах, где зрители без разбора занимали всаднические места; ходившие по рукам сочинения с порочащими нападкамии на именитых мужчин и женщин он уничтожил, а сочинителей наказал бесчестием; одного бывшего квестора за страсть к лицедейству и пляске он исключил из сената; дурным женщинам запретил пользоваться носилками и принимать по завещаниям подарки и наследства; римского всадника он вычеркнул из списка судей за то, что он, прогнав жену за прелюбодеяние, снова вступил с ней в брак; несколько лиц из всех сословий были осуждены по Скаптиниеву закону. Весталок, нарушивших обет девственности, — что даже отец его и брат оставляли без внимания, — он наказывал на разный лад, но со всей суровостью: сперва смертной казнью, потом по древнему обычаю. А именно, сестрам Окулатам и потом Варронилле он приказал самим выбрать себе смерть, а любовников их сослал; но Корнелию, старшую весталку, однажды уже оправданную и теперь, много спустя, вновь уличенную и осужденную, он приказал похоронить заживо, а любовников ее до смерти засечь розгами на Комиции — только одному, бывшему претору,

позволил он уйти в изгнание, так как тот сам признал свою вину, когда дело было еще не решено, а допросы и пытки ничего не показали. Не оставил он безнаказанными и преступлений против святынь: гробницу, которую один его вольноотпущенник построил для сына из камней, предназначенных для храма Юпитера Капитолийского, он разрушил руками солдат, а кости и останки, что были в ней, бросил в море.

9. В начале правления всякое кровопролитие было ему непамятливо: еще до возвращения отца он хотел эдиктом запретить приношение в жертву быков, так как вспомнил стих Вергилия:

Как нечестивый парод стал быков закалать себе в пищу...

Не было в нем и никаких признаков алчности или скупости, как до его прихода к власти, так и некоторое время позже: напротив, многое показывало, и не раз, его бескорыстие и даже великодушие. Ко всем своим близким относился он с отменной щедростью и горячо просил их только об одном: не быть мелочными. Наследств он не принимал, если у завещателя были дети. Даже в завещании Русция Цепиона он отменил ту статью, которая предписывала наследнику ежегодно выдавать известное количество денег каждому сенатору, впервые вступающему в сенат. Всех, кто числился должниками государственного казначейства дольше пяти лет, он освободил от суда, и возобновлять эти дела дозволил не раньше, чем через год, и с тем условием, чтобы обвинитель, не доказавший обвинения, отправлялся в ссылку. Казначейским писцам, которые, как водилось, занимались торговлей вопреки Клодиеву закону, он объявил прощение за прошлое. Участки, остававшиеся кое-где незанятыми после раздела полей между ветеранами, он уступил в пользование прежним владельцам. Ложные доносы в пользу казны он пресек, сурово наказав клеветников, — передавали даже его слова: «Правитель, который не наказывает доносчиков, тем самым их поощряет».

10. Однако такому милосердию и бескорыстию он оставался верен недолго. При этом жестокость обнаружил он раньше, чем алчность. Ученика пантомима Париса, еще безусого и тяжелобольного, он убил, потому что лицом и искусством тот напоминал учителя. Гермогена Тарсийского за некоторые намеки в его «Истории» он тоже убил, а писцов, которые ее переписывали, велел распять. Отца семейства, который сказал, что гладиатор-фракиец не уступит противнику, а уступит распорядителю игр, он приказал вытащить на арену и бросить собакам, выставив надпись: «Щитоносец — за дерзкий язык».

Многих сенаторов, и среди них нескольких консуларов, он отправил на смерть (в том числе Цивику Цереала — когда тот управлял Азией), а Сальвидиена Орфита и Ацилия Глабриона — в изгнании. Эти были казнены по обвинению в подготовке мятежа, остальные же — под самыми пустяковыми предложениями. Так, Элия Ламию он казнил за давние и безобидные шутки, хотя и двусмысленные: когда Домициан увел его жену, Ламия сказал человеку, похвалившему его голос: «Это из-за воздержания!», а когда Тит советовал ему жениться вторично, он спросил: «Ты тоже ищешь жену?» Сальвий Кокцеян погиб за то, что отмечал день рождения императора Отона, своего дяди; Меттий Помпузиан — за то, что про него говорили, будто он имел императорский гороскоп и носил с собою чертеж всей земли на пергамене и речи царей и вождей из Тита Ливия, а двух своих рабов назвал Магоном и Ганнибалом; Саллюстий Лукулл, легат в Британнии, — за то, что копия нового образца он позволил называть «Лукулловыми»; Юний Рустик — за то, что издал похвальные слова Тразее Пету и Гельвидию Приску, назвав их мужами непорочной честности; по случаю этого обвинения из Рима и Италии были изгнаны все философы. Казнил он и Гельвидия Младшего, заподозрив, что в исходе одной трагедии он в лицах Париса и Эноны изобразил развод его с женою; казнил и Флавия Сабина, своего двоюродного брата, за то, что в день консульских выборов глашатай по ошибке объявил его народу не будущим консулом, а будущим императором.

После междоусобной войны свирепость его усилилась еще более. Чтобы выпытывать у противников имена скрывающихся сообщников, он придумал новую пытку: прижигал им срамные члены, а некоторым отрубал руки. Как известно, из видных заговорщиков помилованы были только двое, трибун сенаторского звания и центурион: стараясь доказать свою невиновность, они притворились порочными развратниками, презираемыми за это и войском и полководцем.

11. Свирепость его была не только безмерной, но к тому же изощренной и коварной. Управителя, которого он распял на кресте, накануне он пригласил к себе в опочивальню, усадил на ложе рядом с собой, отпустил успокоенным и довольным, одарив даже угощением со своего стола. Аррецина Клемента, бывшего консула, близкого своего друга и соглядатая, он казнил смертью, но перед этим был к нему милостив не меньше, если не больше, чем обычно, и в последний его день, прогуливаясь с ним вместе и глядя на доносчика, его погубившего, сказал: «Хочешь, завтра мы послушаем этого негодного раба?» А чтобы большее оскорбить людское терпение, все свои самые суровые приговоры начинал он заявля-

нием о своем милосердии, и чем мягче было начало, тем вернее был жестокий конец. Нескольких человек, обвиненных в оскорблении величества, он представил на суд сената, объявив, что хочет на этот раз проверить, очень ли его любят сенаторы. Без труда он дождался, чтобы их осудили на казнь по обычаю предков, но затем, уstraшенный жестокостью наказания, решил унять негодование такими словами — не лишним будет привести их в точности: «Позвольте мне, отцы-сенаторы, во имя вашей любви ко мне, попросить у вас милости, добиться которой, я знаю, будет нелегко: пусть дано будет осужденным самим избрать себе смерть, дабы вы могли избавить глаза от страшного зрелища, а люди поняли, что в сенате присутствовал и я».

12. Истошив казну издержками на постройки, на зрелища, на повышенное жалование солдатам, он попытался было умерить хотя бы военные расходы, сократив количество войска, но убедился, что этим только открывает себя нападению варваров, а из денежных трудностей не выходит; и тогда без раздумья он бросился обогащаться любыми средствами. И имущества живых и мертвых захватывал он повсюду, с помощью каких угодно обвинений и обвинителей: довольно было заподозрить малейшее слово или дело против императорского величества. Наследства он присваивал самые дальние, если хоть один человек объявлял, будто умерший при нем говорил, что хочет сделать наследником цезаря. С особой суровостью по сравнению с другими взыскивался иудейский налог: им облагались и те, кто открыто вел иудейский образ жизни, и те, кто скрывал свое происхождение, уклоняясь от наложенной на это племя дани. Я помню, как в ранней юности при мне в многолюдном судилище прокуратор осматривал девяностолетнего старика, не обрезан ли он.

Скромностью он не отличался с молодых лет, был самоуверен и груб на словах и в поступках. Когда Ценна, наложница его отца, воротясь из Истрии, хотела его поцеловать, как обычно, он подставил ей руку; а рассердившись, что зять его брата тоже одевает слуг в белое, он воскликнул:

Не хорошо многовластье!..

13. А достигнув власти, он беззастенчиво хвалился в сенате, что это он доставил власть отцу и брату, а они лишь вернули ее ему; принимая к себе жену после развода, он объявил в эдикте, что вновь возводит ее на священное ложе; а в амфитеатре в день всенародного угощения с удовольствием слушал клики: «Владыке и владычице слава!» Даже на Капитолийском состязании, когда

Пальфурий Сура, изгнанный им из сената, получил венок за краспоречие и все вокруг с небывалым единодушием умоляли вернуть его в сенат, он не удостоил их ответом и только через глашатая приказал им смолкнуть. С не меньшей гордыней он начал однажды правительственное письмо от имени прокураторов такими словами: «Владыка наш и бог повелевает...» — и с этих пор повелось называть его и в письменных и в устных обращениях только так. Статуи в свою честь он дозволял ставить в Палатине только золотые и серебряные и сам назначал их вес. Ворота и арки, украшенные колесницами и триумфальными отличиями, он строил по всем кварталам города в таком множестве, что на одной из них появилась греческая надпись: «Довольно!» Консулом он был семнадцать раз, как никто до него, в том числе семь раз подряд, год за годом; но все эти консульства были только званием, обычно он оставался в должности только до январских ид и никогда дольше майских календ. А после двух триумфов он принял прозвище Германика и переименовал по своим прозвищам месяцы сентябрь и октябрь в Германик и Домициан, так как в одном из этих месяцев он родился, а в другом стал императором.

14. Снискав всем этим всеобщую ненависть и ужас, он погиб, наконец, от заговора ближайших друзей и вольноотпущенников, о котором знала и его жена. Год, день и даже час и род его смерти давно уже не были для него тайной: еще в ранней молодости все это ему предсказали халдеи, и когда однажды за обедом он отказался от грибов, отец его даже посмеялся при всех, что сын забыл о своей судьбе и боится иного больше, чем меч. Поэтому жил он в вечном страхе и трепете, и самые ничтожные подозрения повергали его в несказанное волнение. Даже эдикт о вырубке виноградников он, говорят, не привел в исполнение только потому, что по рукам пошли подметные письма с такими стихами:

Как ты, козел, ни грызи виноградник, вина еще хватит
Довольно напиться, когда в жертву тебя принесут.

Тот же страх заставил его, великого охотника до всяческих почестей, отвергнуть новое измышление сената, когда постановлено было, чтобы в каждое его консульство среди ликторов и посыльных его сопровождали римские всадники во всаднических тогах и с босвыми копытами.

С приближением грозящего срока он день ото дня становился все более мнительным. В портиках, где он обычно гулял, он отделал стены блестящим лунным камнем, чтобы видеть по отражению все, что делается у него за спиной. Многих заключенных он

допрашивал только сам и наедине, держа своими руками их цепи. Чтобы дать понять домочадцам, что даже с добрым намерением преступно поднимать руку на патрона, он предал смертной казни Эпафродита, своего советника по делам прошений, так как думали, что это он своею рукою помог всеми покинутому Нерону покончить с собой.

15. Наконец он убил по самому ничтожному подозрению своего двоюродного брата Флавия Клемента чуть ли не во время его консульства, хотя человек это был ничтожный и ленивый и хотя его маленьких сыновей он сам открыто прочил в свои наследники, переименовав одного из них в Веспасиана, а другого в Домициана. Именно этим он больше всего ускорил свою гибель.

Уже восемь месяцев подряд в Риме столько видели молний и о стольких слышали рассказы, что он, наконец, воскликнул: «Пусть же разит, кого хочет!» Молнии ударили в Капитолий, в храм рода Флавиев, в Палатинский дворец и его собственную спальню, буря сорвала надпись с подножия его триумфальной статуи и отбросила к соседнему памятнику, дерево, которое было опрокинуто и выпрямилось еще до прихода Веспасиана к власти, теперь внезапно рухнуло вновь. Пренестинская Фортуна, к которой он во все свое правление обращался каждый новый год и которая всякий раз давала ему один и тот же добрый ответ, дала теперь самый мрачный, вещавший даже о крови. Минерва, которую он суеверно чтит, возвестила ему во сне, что покидает свое святилище и больше не в силах оберегать императора: Юпитер отнял у нее оружие. Но более всего потрясло его пророчество и участь астролога Асклетариона. На него донесли, что он своим искусством предугадывает и разглашает будущее, и он не отрицал; а на вопрос, как же умрет он сам, он ответил, что скоро его растерзают собаки. Домициан приказал тотчас его умертвить, но для изблечения лживости его искусства похоронить с величайшей заботливостью. Так и было сделано: но внезапно налетела буря, разметала костер, и обгорелый труп разорвали собаки; а проходивший мимо актер Латин заметил это и вместе с другими дневными новостями рассказал за обедом императору.

16. Накануне гибели ему подали грибы; он велел оставить их на завтра, добавив: «Если мне суждено их съесть», — и, обернувшись к окружающим, пояснил, что на следующий день Луна обгритя кровью в знаке Водолея и случится нечто такое, о чем будут говорить по всему миру. Около полуночи он вдруг вскочил с постели в страшном испуге. Наутро к нему привели германского гадателя, который на вопрос о молнии предсказал перемену власти;

император выслушал его и приговорил к смерти. Почесывая лоб, он царапнул по нарыву, брызнула кровь: «Если бы этим и кончилось!» — проговорил он. Потом он спросил, который час; был пятый, которого он боялся, но ему нарочно сказали, что шестой. Обрадовавшись, что опасность миновала, он поспешил было в баню, но спальник Парфений остановил его, сообщив, что какой-то человек хочет спешно сказать ему что-то важное. Тогда, отпустивши всех, он вошел в спальню и там был убит.

17. О том, как убийство было задумано и выполнено, рассказывают так. Заговорщики еще колебались, когда и как на него напасть — в бане или за обедом; наконец им предложил совет и помощь Стефан, управляющий Домициллы, который в это время был под судом за растрату. Во избежание подозрения он притворился, будто у него болит левая рука, и несколько дней подряд обматывал ее шерстью и повязками, а к назначенному часу спрятал в них кинжал. Обещав раскрыть заговор, он был допущен к императору; и пока тот в недоумении читал его записку, он нанес ему удар в пах. Раненый пытался сопротивляться, но корникуларий Клодиан, вольноотпущенник Парфения Максим, декурион спальников Сатур и кто-то из гладиаторов набросились на него и добились семью ударами. При убийстве присутствовал мальчик-раб, обычно служивший спальным ларам; он рассказывал, что при первом ударе Домициан ему крикнул подать из-под подушки кинжал и позвать рабов, но под изголовьем лежали только пустые ножны, и все двери оказались на запоре; а тем временем император, сцепившись со Стефаном, долго боролся с ним на земле, стараясь то вырвать у него кинжал, то выцарапать ему глаза окровавленными пальцами.

Погиб он в четырнадцатый день до октябрьских календ, на сорок пятом году жизни и пятнадцатом году власти. Тело его на дешевых носилках вынесли могильщики. Филлида, его кормилица, предала его сожжению в своей усадьбе по Латинской дороге, а останки его тайно принесла в храм рода Флавиев и смешала с останками Юлии, дочери Тита, которую тоже выкормила она.

18. Росту он был высокого, лицо скромное, с ярким румянцем, глаза большие, но слегка близорукие. Во всем его теле были красота и достоинство, особенно в молодые годы, если не считать того, что пальцы на ногах были кривые; но впоследствии лысина, выпяченный живот и тощие ноги, исхудавшие от долгой болезни, обезобразили его. Он чувствовал, что скромное выражение лица ему благоприятствует, и однажды даже похвастался в сенате: «До сих пор, по крайней мере, вам не приходилось жаловаться на мой вид и нрав...» Зато лысина доставляла ему много горя, и если

кого-нибудь другого в насмешку или в обиду попрекали плешью, он считал это оскорблением себе. Он издал даже книжку об уходе за волосами, посвятив ее другу, и в утешение ему и себе вставил в нее такое рассуждение:

«Видишь, каков я и сам, и красив и величествен видом? —

А ведь мои волосы постигла та же судьба! Но я стойко терплю, что кудрям моим суждена старость еще в молодости. Верь мне, что ничего нет пленительней красоты, но ничего нет и недолговечней ее».

19. Утомлять себя он не любил: недаром он избегал ходить по городу пешком, а в походах и поездках редко ехал на коне, и чаще в носилках. С тяжелым оружием он вовсе не имел дела, зато стрельбу из лука очень любил. Многие видели не раз, как в своем Альбапском поместье он поражал из лука по сотне зверей разной породы, причем некоторым нарочно метил в голову так, чтобы две стрелы, вонзившись, торчали, как рога. А иногда он приказывал мальчику стать поодаль и подставить вместо цели правую ладонь, раздвинув пальцы, и стрелы его летели так метко, что пролетали между пальцами, не задев.

20. Благородными искусствами он в начале правления пренебрегал. Правда, когда при пожаре погибли библиотеки, он не жалел денег на их восстановление, собирал списки книг отовсюду и посылал в Александрию людей для переписки и сверки. Однако ни знакомства с историей или поэзией, ни простой заботы о хорошем слоге он не обнаруживал никогда: кроме записок и указов Тиберия Цезаря, не читал он ничего, а послания, речи и эдикты составлял с чужой помощью. Однако речь его не лишена была изящества, и некоторые его замечания даже запомнились. Так, он говорил: «Я хотел бы стать таким красивым, каким Меций сам себе кажется!» Чью-то голову, где росли вперемежку волосы седые и рыжие, он назвал: снег с медом.

21. Правителям, говорил он, живется хуже всего: когда они обнаруживают разговоры, им не верят, покуда их не убьют.

На досуге он всегда забавлялся игрою в кости, даже в будни и по утрам. Купался он среди дня, и за дневным завтраком наедался так, что за обедом ничего не брал в рот, кроме матианского яблока и вина из бутылочки. Пиршества он устраивал частые и богатые, но недолгие: кончал он их всегда засветло и не затягивал попойками. Вместо этого он потом до отхода ко сну прогуливался в одиночестве.

22. Сладострастием он отличался безмерным. Свои ежедневные сонтия называл он «постельной борьбой», словно это было

упражнение; говорили, будто он сам выщипывает волосы у своих наложниц и возится с самыми непотребными проститутками. Когда Тит предлагал ему в жены свою дочь, еще девушкою, он упорно отказывался, ссылаясь на свой брак с Домицией, но когда вскоре ее выдали за другого, он первый обольстил ее, еще при жизни Тита; а потом, после кончины ее отца и мужа, он любил ее пылко и не таясь и даже стал виновником ее смерти, заставив вытравить плод, который она от него понесла.

23. К умерщвлению его народ остался равнодушным, но войско негодовало: солдаты пытались тотчас провозгласить его божественным и готовы были мстить за него, но у них не нашлось предводителей; отомстили они немного спустя, решительно потребовав на расправу виновников убийства. Сенаторы, напротив, были в таком ликовании, что наперебой сбсжались в курию, безудержно поносили убитого самыми оскорбительными и злобными возгласами, велели втащить лестницы и сорвать у себя на глазах императорские щиты и изображения, чтобы разбить их оземь, и даже постановили стереть надписи с его именем и уничтожить всякую память о нем.

За несколько месяцев до его гибели ворон на Капитолии выговорил: «Все будет хорошо!» — и нашлись люди, которые истолковали это знаменье так:

«Будет ужо хорошо!» — прокаркал с Тарпейской вершины
Ворон,— не мог он сказать: «Вам и сейчас хорошо».

Говорят, и сам Домициан видел во сне, будто на спине у него вырос золотой горб, и не сомневался, что это обещает государству после его смерти счастье и благополучие. Так оно вскоре и оказалось, благодаря умеренности и справедливости последующих правителей.



АММИАН
МАРЦЕЛИН



ИЗ КНИГИ XVII

[Сарматская война императора Констанция]

12. К Августу, спокойно зимовавшему у Сирмия, одно за другим стали поступать достоверные известия о том, что на Паннонию и Нижнюю Мезию совершают набеги разрозненные стряды сарматов и квадов; соседство, схожие нравы и одинаковое оружие делали их союзниками.

Сарматы и квады хороши скорее в разбойничьих набегах, чем в правильных сражениях; у них очень длинные копья и панцири из гладко обточенных роговых пластинок, нашитых на льняные рубахи наподобие перьев. Большую часть своих коней они холостят, чтобы те не рвались, возбужденные видом кобылиц, а укрытые в засаде не волновались и громким ржанием не выдавали всадников. Когда они преследуют врага или отступают, покрывая на своих быстрых и послушных конях большие расстояния, то ведут на привязи еще одну, а то и две лошади, чтобы животные, отдыхая по очереди, восстанавливали силы.

Итак, после весеннего равноденствия император, стянув большие силы и под водительством благосклонной судьбы выступив в поход, дошел до удобного места, по палубам судов навел мосты

через вышедший из берегов Истр (снега уже растаяли), переправился и вторгся в варварские земли, чтобы их опустошить. Таким образом, варваров опередили, и они, сидя, что враг готов схватить их за горло (а им-то казалось, что в это время года еще нельзя собрать войска), не осмеливались ни перевести дух, ни остановиться, но, спасаясь от нежданной гибели, обратились в бегство. Однако большинство погибло, скованное страхом, а те, кого избавили от смерти быстрые ноги, скрылись в потайных горных ущельях и оттуда наблюдали, как гибнет от меча их отечество, которое они сумели бы защитить, если бы оборонялись так же хорошо, как и бежали. Все это происходило в той части Сарматии, которая обращена ко Второй Паннонии, но война с той же силой обрушилась и на Валерию, разоряя все на своем пути, предавая опустошению и огню варварские владения.

Потрясенные чудовищным поражением, сарматы отказались от мысли скрываться, разделили войско на три части и сочли более надежным напасть на нас, сделав вид, будто просят о мире: они рассчитывали, что мы не сможем ни обнажить оружие, ни уберечься от ран, ни воспользоваться последней возможностью в тяжелых обстоятельствах — бегством. Разделить опасность с сарматами явились квады — почти неперемненные соучастники их преступлений, но открытая дерзость не помогла, и они попали в явную беду. Большая часть квадов была убита, а те, кому удалось уцелеть, ушли по известным им горным тропам. Успех поднял силы и дух наших людей, войско сомкнутым строем поспешно двинулось в царство квадов, а те, напуганные прошлым и страшась будущего, решили смиренно просить мира и с этой целью доверчиво явились к императору, столь снисходительному в подобных делах.

В день, назначенный для определения условий, Зизаис, рослый юноша — в то время царевич — выстроил в боевой порядок сарматов, чтобы тоже обратиться с мольбами к императору. Однако при виде Августа Зизаис бросил оружие и, ни жив ни мертв, упал навзничь; в тот самый миг, когда надо было говорить, он от страха потерял дар речи, чем вызвал к себе еще большее сострадание. Нескольким раз Зизаис принимался говорить, но рыдания душили его, и он сумел сказать лишь небольшую часть того, что хотел. Наконец Зизаис пришел в себя, получил приказ выпрямиться, встал на колени, вновь обрел голос и обратился с мольбой простить ему вину и оказать милость. Получив разрешение податься, Зизаис подал долгожданный знак многочисленным сарматам, допущенным вместе с ним к императору; и вот все те, чьи уста были скованы страхом, пока судьба их вождя была в опасности, теперь побросали щиты и копья, в мольбе воздели вверх

руки и как только ни изошрялись, чтобы превзойти царевича в униженных просьбах.

Среди прочих сарматов Зизанс привел с собой царьков Румона, Зинафра, Фрагиледа и многих из числа знати, чтобы они, в надежде на успех, обратились с теми же просьбами. Радуясь дарованному спасению, они обещали возместить причиненное зло обременительным для себя договором и готовы были отдать под власть Рима себя, свое имущество, детей, жен и все земли. В конце концов восторжествовала милость, сочетающаяся со справедливостью: им позволили безбоязненно оставаться на своих местах и только велели вернуть наших пленных. Кроме того, они привели заложников, которых у них потребовали, и поклялись в будущем беспрекословно подчиняться нашим распоряжениям.

Такой пример милосердия побудил варварских вождей — царевича Арагария с его людьми и принадлежавшего к высшей знати Усафера — поспешно явиться к императору; один из них правил частью трансюгитан и квадов, другой — сарматскими племенами, которые роднило между собой соседство и дикость нравов. Император боялся, что собравшиеся толпы стремятся к миру только для виду и могут неожиданно взяться за оружие, поэтому он разделил их и велел сарматским ходатаям ненадолго удалиться, пока он будет разбирать дело Арагария и квадов.

Как преступники перед судом, согнувшись в поклоне, стояли квады и не могли оправдаться в своих тяжких преступлениях; в страхе перед самой суровой расплатой они подчинились приказу выдать заложников, хотя раньше и отказывались представить ручательства мира. Таким образом, с ними обошлись по добру и справедливости. Затем к императору допустили для просьб Усафера, хотя против этого упорно возражал Арагарий, доказывавший, что дарованный ему мир должен распространяться и на Усафера, как на его соратника, — пусть и младшего, — обычно подчиняющегося его приказам. Однако, по размышлении, сарматов, как исконных римских клиентов, изъяли из-под чужой власти и обязали для обеспечения договора выдать заложников. Это решение сарматы приняли с благодарностью.

Когда народам и царям стало известно, что Арагария отпустили без наказания, они стали многочисленными толпами стекаться к императору и умоляли его приставить мечи к их глоткам. Получив на тех же условиях мир, которого добивались, они вызвали из отдаленных областей знатных юношей и с быстротой, превзошедшей все ожидания, выдали их в качестве заложников; то же самое сделали они по нашему требованию и с пленниками, причем, расставаясь, плакали о них не меньше, чем о своих соотечественниках.

Когда эти дела были улажены, мысли императора обратились к сарматам, достойным скорее жалости, чем гнева. Уму непостижимо, сколько блага принесло им внимание императора. Воистину правы те, кто полагает, что во власти государя и одолеть судьбу, и творить ее. Могущественны и знатны были некогда обитатели этого царства, однако тайный заговор толкнул их рабов к злодеянию, а так как право у варваров всегда на стороне сильного, рабы одержали верх над своими господами, равными им по отваге, но уступающими в числе. Страх помутил разум побежденных, и они бежали к обитателям дальних стран — виктогалам, считая, что в такой беде лучше покориться защитникам, чем служить рабам. Жалуясь на судьбу, они теперь добивались милости, а заручившись покровительством, стали просить защитить их свободу. Тронутый их несчастиями, император на виду у всего войска обратился к собравшимся сарматам с речью, где в мягких выражениях запретил им повиноваться кому-либо, кроме его самого и римских полководцев. А чтобы придать достоинства восстановленной свободе, он поставил над ними царем Зизанса, который уже тогда был вполне достоин столь высокой участи и, как показали его дела, остался нам верен. Впрочем, хотя все завершилось так великодушно, никому не было позволено удалиться, пока, в согласии с договором, не вернулись наши пленные.

Заключив эти дела в стране варваров, император передвинул лагерь к Брегецию, чтобы слезами или кровью погасить остатки войны с квадами, обитавшими в тех местах. Когда их царевич Витродор, сын царя Видуара, царек Агилимунд и другие вельможи и судьи — правители разных племен — увидели на своей земле, в самом сердце родной страны, вражеское войско, они упали к ногам воинов и, добившись милости, сделали все, что им велели: выдали своих детей в залог того, что будут выполнять назначенные им условия мира, и поклялись на обнаженных мечах, которые почитают за богов, хранить нам верность.

13. После счастливого завершения тех событий, о которых я рассказывал, ради блага государства мы должны были быстрее обратиться воинские знамена против лимигантов, сарматов-рабов, ибо не подобало оставить без наказания их многочисленные злодеяния. Ведь они улучили время, когда взбунтовались свободные сарматы, и, будто забыв о прошлом, вторглись в римские владения — единственный раз оказались они в этом коварном поступке союзниками своих господ и недругов. Тем не менее и сейчас лимигантов покарала мягче, чем полагалось за их тяжкое преступление: было решено ограничить наказание переселением в отдаленные области, откуда они уже не могли бы тревожить наши вла-

дения. Сознание прошлых провинностей заставляло сарматов-рабов ожидать большой беды: опасаясь грозной войны, они готовили и хитрости, и оружие, и мольбы. Однако один вид нашего войска поразили их, как удар молнии; страшась наихудшего, они просили сохранить им жизнь, обещали выплачивать ежегодную подать и поставлять нам сильных молодых новобранцев и рабов, но, как показывал их вид и жесты, были готовы отвергнуть предложение куда-нибудь переселиться, ибо верили, что их защищает местность, где они обосновались после изгнания господ.

Дело в том, что в эти земли устремляет свои воды и смешивает их с Истром извилистый Парфиск, который, пока привольно течет один, спокойно пересекает обширную равнину, а у самого устья превращает ее в узкую полосу; вместе с руслом Дуная Парфиск ограждает жителей от натиска римлян и сам служит надежным препятствием для варварских набегов, ибо из-за болотистой почвы и разливов рек большие пространства там занимают поросшие ивняком трясины, пройти через которые могут лишь люди опытные. Кроме того, почти у самого впадения Парфиска, Дунай омывает изрезанные берега небольшого островка, отделяя его от суши.

Явившись по настоянию императора на наш берег, лимиганты со свойственной им спесью стояли с вызывающим видом, давая понять, что приблизились только затем, чтобы отвергнуть любые повеления: как стало потом ясно, их целью было не исполнить распоряжение, а показать, будто они вовсе не страшатся присутствия воинов. Предвидя такую возможность, император незаметно разделил войско на несколько частей и, пока сарматы мешкали, со стремительной быстротой окружил их своими отрядами. Затем, стоя под защитой телохранителей и с немногочисленной свитой на высокой насыпи, он стал спокойно увещать варваров прекратить безумные выходки. Однако нерешительные сарматы склонялись то к одному, то к другому мнению и, движимые одновременно коварством и гневом, были готовы испробовать и мольбы и оружие. Собираясь напасть на нас с близкого расстояния, они нарочно стали метать подалеже щиты, чтобы, подбирая их, шаг за шагом продвигаться вперед и таким образом, не вызывая подозрений, сократить промежуток.

Когда день уже клонился к вечеру и сгущающиеся сумерки больше не позволяли медлить, наши воины подняли бевые значки и с быстротой огня понеслись на неприятеля. Сарматы сосредоточились, сомкнули строй и, направив весь свой натиск на самого императора, который — об этом уже говорилось — стоял на возвышении, двинулись на него со сверкающими взорами и дикими кри-

ками. Наши воины в гневе не пожелали терпеть безумия свирепых варваров, они встали заостряющимся спереди строем (в солдатском просторечии он зовется «свиная голова») и сокрушительным натиском рассеяли тех, кто, как было сказано, упорно наступал на императора; на правом крыле пехотинцы истребляли отряды пехоты, на левом конники врубались в строй легкой конницы.

Преторианская когорта, заслонив Августа, нанесла удары в грудь обороняющимся, а после — в спину бегущим; умирающие варвары проявляли неодолимое упорство, и в их ужасных воплях слышалось не сожаление о жизни, а горе по поводу нашей радости. На земле, помимо мертвецов, лежало, не имея возможности бежать, немало воинов с перерезанными сухожилиями на ногах, у других были обрублены правые руки, некоторых же меч не коснулся, но придавил груз навалившихся тел — все они в глубоком молчании переносили пытки. Среди многих мучений ни один из них не просил о снисхождении, не отбрасывал меча и не призывал скорой смерти; даже поверженные, они крепко сжимали в руках оружие и считали для себя меньшим злом быть побежденными силой, чем признать поражение по собственной воле; «Не мы, а судьба виновна в случившемся», — слышалось бормотание варваров. Таким образом, в битве, продолжавшейся полчаса, пало такое число варваров, что, кроме победы, не было иных свидетелей происшедшего сражения.

Едва только враг был уничтожен, как наши принялись, не различая пола и возраста, выволакивать из убогих хижин толпы родственников убитых, и те, забыв о былой спеси, превращались в жалких и послушных рабов. Вскоре вокруг можно было видеть горы убитых и вереницы пленных. Затем, возбужденные жаром боя и плодами победы, воины решили истребить тех, кто покинул сражение или прятался в хижинах. Прибыв на место, они, жадные до варварской крови, раскидали легкие соломенные крыши и перебили всех; даже дома, сложенные из толстенных бревен, никого не спасли от смерти. В конце концов все было предано огню, никто уже не мог скрыться, и не осталось больше средств к спасению; поэтому одни, продолжая упорствовать, гибли в огне, другие, спасаясь от пламени, выбегали на улицу и, избежав одной казни, падали, пронзенные вражескими мечами. Все же некоторые бежали и от оружия, и от бушующего пламени и, рассчитывая на свое искусство пловцов, бросались в волны реки, протекающей поблизости. Они надеялись добраться до другого берега, но большая часть их утонула, другие погибли от стрел, и воды огромной реки вспенились от обильно пролитой крови. Так, с помощью двух стихий гнев и мужество победителей уничтожили сарматов.

После этой расправы было принято решение отнять у сарматов всякую надежду и радость жизни. И вот, когда дома сарматов были сожжены, а семьи уведены в рабство, последовал приказ собрать лодки, чтобы настичь тех, кого укрыл от наших мечей другой берег реки. Тотчас же, чтобы не остыл боевой пыл, легковооруженные воины, сев в челны, незаметно переправились и достигли сарматских укрытий; внезапно появившиеся лодки ввели в заблуждение варваров, ибо они увидели свои челны и знакомые весла. Но по сверкающему издалека оружию сарматы поняли: приближается то, чего они так боялись, и в поисках убежища бежали к болотам, а наши воины еще быстрее двинулись за ними и, перебив множество врагов, завоевали победу там, где казалось немислимым ни стать твердой ногой, ни отважиться на что-либо.

Когда амицензы были разогнаны и почти полностью истреблены, мы без промедления выступили против пицензов, именуемых так по названию соседней области; известия о бедах союзников постоянно доходили до них, и они уже приняли меры защиты. Не легко было, не зная дорог, преследовать рассеявшихся в разные стороны пицензов, и чтобы покорить их, на помощь пригласили таифалов и свободных сарматов. По условиям местности, пришедшие на помощь отряды должны были разделиться; наши воины выбрали себе границу с Мезией, таифалы заняли область по соседству со своими владениями, а свободные сарматы — земли напротив своей страны. Лимигантов, с которыми случилось все это, страшила судьба покоренных и внезапно павших; они долго колебались и не знали, умереть или просить о милости, — для того и другого решения были веские доводы. Но, наконец, по настоянию собрания старейшин, они предпочли сдаться. Таким образом, к нашим многочисленным победным лаврам добавилась покорность людей, завоевавших себе свободу оружием, и оставшиеся в живых склонили с мольбой головы перед своими господами, убедившись в превосходстве тех, кого раньше презирали как жалких побежденных.

Получив ручательства безопасности, большая часть лимигантов ушла из-под защиты гор, поспешно явилась к римскому лагерю и рассеялась по обширным степям с родителями, детьми, женами и жалким скарбом, какой успели захватить в спешке. И вот те, кто, как полагали, готов был скорее расстаться с жизнью, чем уйти в другие земли (ибо свобода в их представлении — это разнузданное безрассудство), повиновались приказу и дали согласие переселиться в другие, надежные и спокойные места, где бы их не могли тревожить войны и беспокоить внутренние смуты. Они приняли такое решение, как казалось, по собственной воле и на некоторое

время затихли, но затем природная свирепость толкнула их на пагубное преступление, — но об этом я расскажу в подходящем месте.

Благодаря этому успеху необходимая безопасность Иллирика была упрочена двояким образом, и император, взявшись за два великих дела, оба довел до конца. Он разбил и покорил вероломных, а изгнанный народ, почти столь же непостоянный, вернул и поселил на его исконной земле в надежде, что в будущем тот будет действовать немного осмотрительней. В довершение милости император поставил их царем не какого-нибудь неизвестного человека, а царевича, которого они сами раньше избрали, человека, украшенного добродетелями души и тела.

Став после этих непрерывных успехов выше всяких страхов, вторично, с согласия воинов, получив титул «Сарматского» (по названию покоренного племени), Констанций уже перед уходом созвал когорты, центурии и манипулы и, стоя на возвышении, среди значков и орлов, в свите из всевозможных должностных лиц, встреченный, как и обычно, возгласами одобрения, обратился к войску с речью:

«Божество судило нам победу, и воспоминание о славных подвигах (для храбрых людей оно приятней всех радостей) побуждает меня с должной скромностью бросить взгляд на то, что мы, верные стражи Римской державы, привели в порядок как до войны, так и в пылу самих битв. Да и что может быть прекрасней, что имеет больше оснований остаться в памяти потомства, чем гордость война мужественными делами, а полководца разумными решениями? Бешеный враг хозяйничал в Иллирике, исполнился в наше отсутствие тщеславной спеси и, пока мы стерегли Италию и Галлию, постоянными набегами опустошал наши крайние пределы, переправляясь через реки в выдолбленных бревнах, а нередко и переходя их вброд. При этом он не полагался на открытые схватки, свое оружие и силы, а по привычке действовал исподтишка, разбойничьими налетами, — ведь это племя уже с самого своего появления хитростью и разнообразными ловкими проделками вызывало страх у наших предков. Находясь вдали, мы терпели то, что еще можно было терпеть, и надеялись, благодаря усердию полководцев, избежать более серьезных потерь. Но когда дерзкий враг пошел еще дальше и стал тревожить наши провинции частыми и губительными набегами, мы укрепили проходы в Ретию, обезопасили надежной охраной границы Галлии и, уже не опасаясь удара в спину, явились в Паннонию, дабы, если будет угодно вечному божеству, привести в порядок пошатнувшиеся дела. И лишь завершив все приготовления, мы, как вам известно, с приходом весны выступили в поход и взяли на себя великое

бремя дел. Тучей стрел враги хотели прежде всего помешать нам соорудить плотно сбитый мост через реку, но мы легко с ними справились, увидели неприятельскую землю, вступили на нее, одолели без потерь упрямых сарматов, когда те, презрев смерть, попытались сопротивляться, и разбили квадов, которые пришли им на помощь и с той же отвагой ринулись на наши славные легионы. Во время своих набегов и отчаянных попыток бороться с нами квады узнали на себе, что означает наша доблесть, поэтому они побросали оружие — свою защиту, дали связать себе за спиной привычные к бою руки и, видя, что у них осталась одна надежда на спасение — мольбы, упали к ногам милосердного Августа, чьи битвы, как они неоднократно убеждались, имеют счастливый исход.

Устранив их, мы так же доблестно одолели лимигантов: много их было убито, других желание уйти от опасности заставило искать убежища в непроходимых болотах. После благополучного исхода этих событий настало время проявить снисходительность. Мы принудили лимигантов переселиться в отдаленные места, чтобы они не могли больше губить наших людей; многих мы пощадили, а во главе свободных поставили Зизаиса, который и в дальнейшем будет нам верен и предан, — ибо считаем, что лучше дать царя, чем отнять его у варваров. Это торжественное событие приобрело еще больше блеска от того, что назначенный нами правитель уже был прежде избран и принят ими самими.

Итак, одна война принесла нам и государству четыре награды. Прежде всего мы отомстили зловредным разбойникам. Далее, вы в избытке получите добычу, взятую у врага, ведь доблестный воин должен быть вознагражден тем, что добыл своим потом и десницей. А в нашем распоряжении в изобилии будут деньги и несметные сокровища, если только это общее достояние сохранят в целости наши труды и мужество. Не они ли подобают мудрому правителю и вам, добившимся блистательных успехов? Наконец, и у меня есть добыча из имени покоренного народа: второй титул Сарматского, который вы единодушно и — не считите меня тщеславным — по заслугам мне дали».

После такого завершения речи собравшихся охватило необычайное воодушевление; надежды на наживу и будущие блага возросли, воины славили императора, призывая в свидетели бога, кричали, что Констанций непобедим, и в радостном настроении разошлись по палаткам.

Отправился назад в царскую палатку и император. После двухдневного отдыха в триумфальном шествии он вернулся в Сирмию, а воинские отряды возвратились в предназначенные им места.

1. Царь радовался этому ужасному событию — пленению наших людей; в надежде на такие же успехи он выступил и на третий день, не спеша, подошел к Амиде. С первыми утренними лучами все кругом, насколько хватал глаз, озарилось блеском сверкающего оружия, и закованная в броню конница заполнила равнины и холмы. Верхом на коне, с золотой бараньей головой в драгоценных камнях вместо диадемы, двигался впереди всего строя сам царь, величественно возвышаясь среди свиты и множества разных племен. Было, однако, совершенно ясно: по совету Антонина царь торопится в другую сторону, а защитников стен только попытается склонить к переговорам.

Но небесная воля, собрав в одном месте все беды Римского государства, так распалила спесь этого человека, что он возомнил, будто осажденные придут в ужас от одного его вида и сами явятся к нему с мольбами. Когда он в сопровождении царской когорты доехал до ворот и дерзко приблизился на расстояние, с которого хорошо можно было разглядеть лицо, в него, приметного из-за сверкающих украшений, полетели стрелы и копья, и царь был бы убит, если бы поднявшаяся пыль не скрыла его от глаз целившихся; все же копье с одного бока разорвало его одежду. Царь исчез из вида, чтобы позже погубить множество людей.

Из-за этого он возненавидел нас как святотатцев, кричал, что мы оскорбили повелителя стольких царей и народов, и стал усиленно готовиться разрушить город. Но главные военачальники попросили царя не поддаваться гневу и не отказываться от славных дел; смягченный их кроткими мольбами, он решил на следующий день еще раз предложить сдаться защитникам города.

С первыми лучами солнца царь хионитов Грумбат, желая проявить усердие перед своим господином, во главе отряда преданных телохранителей отправился к стенам города. Когда он приблизился на расстояние выстрела, его заметил опытный наблюдатель, который, наведя баллисту, ядром пробил панцирь и грудь сына Грумбата, ехавшего бок о бок с отцом, — юноши на пороге возмужания, ростом и красотой превосходившего сверстников. Его гибель обратила в бегство земляков Грумбата, однако, справедливо опасаясь, что тело похитят, они немедленно вернулись и нестройными криками стали призывать взяться за оружие многочисленные племена; те собрались, стрелы, как град, полетели со всех сторон, и жаркий бой начался. Уже в сумерках после губи-

тельного сражения, длившегося весь день, под покровом темноты они, наконец, вызволили тело, едва отбив врага среди гор трупов и потоков крови. Так некогда и под Троей вступили друзья в жестокую битву за бездыханное тело друга фессалийского вождя.

Царский двор был опечален этой смертью, вся знать вместе с отцом больно переживала неожиданное несчастье, а когда было объявлено перемирие, знатного и прекрасного юношу стали оплакивать по обычаю его народа: одетого, как и всегда, в боевые доспехи, его подняли на широкий и высокий помост, а вокруг поставили десять лож, где находились искусно выполненные и очень похожие изображения мертвеца, и в течение семи дней все мужчины, разделившись по отрядам и манипулам, пировали, танцевали, пели особые погребальные песни и горевали о царственном юноше. В это время женщины в отчаянии били себя в грудь и, причитая, оплакивали погибшую во цвете лет надежду своего племени — так нередко рыдают на торжественных праздниках Адониса жрицы-почитательницы Венеры, что, согласно мистическим верованиям, является знаком созревания плодов.

2. Тело юноши сожгли, а кости собрали в серебряную урну, так как отец хотел их увезти и предать земле на родине. После этого, обсудив положение, они решили разрушить и спалить город и этим умиловить манов погибшего юноши: ведь не мог Грумбат продолжить путь, пока тень его единственного и любимого сына оставалась неотмыщенной. После двухдневного отдыха персы, выслав многочисленные отряды, опустошили тучные возделанные поля, которые, как и в мирные дни, никем не охранялись, окружили город пятью рядами щитов, а на рассвете третьего дня сверкающие отряды копников заполнили все видимое пространство и, медленно продвигаясь вперед, заняли места, доставшиеся им по жребию.

Персы осадили стены со всех сторон: хиониты расположились с востока, в том месте, где был убит злополучный для нас юноша, манов которого должно было умиловить разорение города, геласы — с юга, северный участок сторожили альбаны, а самые искусные бойцы — сегестаны встали перед западными воротами; с ними медленно двигались страшные, морщинистые и огромные, как горы, слоны с воинами на спинах — я уже не раз говорил, не было зрелища отвратительней этих ужасных животных. Видя брошенные на нашу гибель бесчисленные толпы персов, давно готовых испепелить Римскую державу, мы потеряли надежду на спасение и помышляли лишь о достойной смерти, казавшейся уже всем нам желанной.

С восхода и до позднего вечера отряды простояли как застывшие, войны не меняли положения, не было слышно ни человеческого голоса, ни ржания коней; затем враги, в том же порядке, что и пришли, отступили назад, подкрепились пищей и сном, а к концу ночи по звуку труб сомкнули страшное кольцо вокруг обреченного города. Едва только Грумбат, по законам своей страны и обычаю наших фециалов, метнул окропленное кровью копьё, как войско, бряцая оружием, кинулось к стенам, и злосчастная битва сразу же стала свирепой: во весь опор ринулись в бой конные отряды противника, наши встретили их стойким и решительным сопротивлением. Многим вражеским воинам размозжили головы огромные каменные ядра из скорпионов, других пропзили стрелы или поразили метательные копьё, и одни усеяли своими телами землю, остальные, израненные, пустились стремительно бежать к своим.

Но не меньше горя и смертей было и в городе: из-за густой тучи стрел померк солнечный свет, а метательные орудия, которые персы захватили в разграбленной Сингаре, наносили раны многим нашим. Защитники города поочередно выходили из боя, восстановив силы, возвращались, раненные в пылу защиты падали и расшибались, убитые, скатываясь, увлекали за собой рядом стоявших, а те, кто еще был жив, искали опытных людей, чтобы вытащить влипшие стрелы; даже вечерние сумерки не смогли прекратить убийств, следовавших одно за другим: с таким упорством сражались обе стороны. Уже встали вооруженные до зубов ночные стражи, когда холмы там и здесь огласились криками: наши славили доблесть цезаря Констанция — владыки государства и мира, а персы провозглашали Шапура «Saansaan» и «pirosen», что в переводе означает «царь, повелитель царей» и «победитель в битвах».

Еще не взошло солнце пятого дня, как звуки труб созвали отовсюду бесчисленные толпы врагов, которые, подобно стаям птиц, понеслись в новые жаркие битвы, и вскоре на полях и равнинах, вдоль и вширь, уже не было видно ничего, кроме сверкающего оружия диких племен. Они с криками, беспорядочно бросились вперед, а со стен понеслись тучи стрел, которые, попадая в густую толпу врагов, надо надеяться, не миновали цели. Среди всех бед, я уже говорил об этом, мы не столько заботились о спасении, сколько горячо желали храбро умереть и сражались скорей отважно, чем осмотрительно. С восхода и до заката победа не склонялась ни на ту, ни на другую сторону, все кричали, одни — чтобы вселить ужас во врага, другие — от страха, и вряд ли кто-нибудь в пылу боя мог уберечься от ран.

Наконец ночь положила предел убийствам, и пресытившиеся несчастиями противники получили более продолжительную пере-

дышку. Но хотя нам дано было время для отдыха, непрерывный труд без сна истощал остаток наших слабых сил; кроме того, нас пугали бледные лица и кровь умирающих, которым мы даже не могли отдать последний долг: для погребений не хватало места. Ведь, кроме семи легионов, этот сравнительно небольшой город вместил в себя и жителей обоего пола, и пеструю толпу пришельцев, и некоторое число других воинов — всего до ста двадцати тысяч человек.

Насколько позволяли возможности и хватало людей для ухода, все занялись лечением ран. Некоторые, тяжело изувеченные, испускали дух от потери крови, других, пронзенных стрелами и расставшихся с жизнью, потому что лечение им не помогло, оттащивали в сторону, у третьих тела были так искалечены, что люди опытные запрещали трогать их, чтобы не причинять душам умирающих напрасных мучений. А кое-кто переносил страдания более тяжкие, чем сама смерть: подвергался опасному лечению — извлечению стрел.

3. Пока обе стороны ожесточенно сражались у Амиды, Урзици, тяготясь зависимостью от воли человека, более влиятельного в войске, чем он, неоднократно советовал Сабиниану, все еще не отходившему от могил, либо, собрав всех легковооруженных воинов, провести их тайными тропами у подножья гор, если будет удача, с помощью этих отрядов перебить сторожевые посты и напасть на вражеские ночные караулы, опоясавшие стены, либо непрерывными налетами отвлекать тех, кто упорно осаждал город. Но Сабиниан отвергал его советы как вредные; вслух он ссылаясь на императорские письма, недвусмысленно повелевавшие во что бы то ни стало всегда беречь воинов, но в глубине души хранил наказ, полученный при дворе: пресекать честолюбивые помыслы своего жадного до славы предшественника, даже если они могли бы принести пользу государству.

Даже ценой гибели провинций старался Сабиниан не допустить, чтобы этот воинственный человек приобрел славу вдохновителя или соучастника какого-нибудь подвига. Очутившись в таком бедственном положении, Урзицин непрерывно отправлял к нам лазутчиков, хотя ни один из них из-за сплошной цепи постов не мог беспрепятственно проникнуть в город. Он строил много полезных планов, но не сумел ничего осуществить и был похож на огромного и свирепого льва, который, лишившись зубов и когтей, не осмеливается освободить из тенет запутавшихся в них детенышей.

4. В это время в городе, где не было возможности похоронить огромное количество валявшихся на улицах трупов, ко множеству бедствий добавилась еще и зараза, причиной которой были киша-

щие червями тела, жаркие испарения, а также истощение людей. Я коротко расскажу, почему начинаются подобные болезни.

Философы и знаменитые врачи утверждают, что зараза происходит от чрезмерного холода или тепла, обилия или отсутствия влаги. Поэтому жители болотистых и влажных мест страдают кашлем, глазами и им подобными заболеваниями, в то время как обитателей теплых стран иссушает своим жаром лихорадка. Однако как огонь — самая действенная из стихий, так сухость — самая губительная. И во время изнурительной десятилетней войны, которую вела Греция, чтобы покарать чужеземца, разлучившего царственную чету, свирепствовала эта же болезнь, и много людей погибло от стрел Аполлона, под которым подразумевается солнце. Да и то бедствие, что в виде жестокого недуга постигло афинян в начале Пелопоннесской войны, согласно Фукидиду, возникло в жарких эфиопских землях и мало-помалу распространилось, охватив Аттику.

По мнению других, здоровью большей частью вредят воздух и вода, отравленные, как нередко бывает, трупным зловонием или еще чем-либо, а более легкие заболевания вызываются внезапными переменами погоды. Третьи же полагают, что некоторых людей губит воздух, сгустившийся от земных испарений и мешающий телу дышать. Как известно из сочинений Гомера и опыта последующих поколений, первыми во время этого бедствия мрут не люди, а животные, морды которых обращены к земле.

Первый вид заразы, который называется «пандемос», мучит непрерывными лихорадками обитателей жарких стран; второй вид — «эпидемос», появляется время от времени, притупляет остроту зрения и вызывает опасное выделение влаги; третий вид — «лимодес», тоже возникает не во всякое время, но очень быстро развивается и приводит к смерти. Из тех, кто подвергся этой губительной болезни, немногие умирали от невыносимой жары, а большинство — от скученности; наконец в ночь на одиннадцатый день небольшой дождь рассеял густой и тяжелый воздух, и к больным вернулись здоровье и бодрость.

5. В разгар этих событий беспокойные персы окружили город осадными навесами и щитами, начали воздвигать валы, соорудили высокие, обитые спереди железом башни и установили на их крышах баллисты, чтобы смести со стен защитников; все это время пращники и лучники ни на миг не прекращали бой. Вместе с нами находилось два Магненциевых легиона, недавно выведенных, как я уже говорил, из Галлии и состоявших из храбрых, ловких и весьма искусных в открытом бою воинов, которые, однако, не только оказались неприспособленными для того вида сражения, что был нам

навязан, но даже были явной помехой, поскольку не оказывали помощи ни на машинах, ни в сооружении укреплений, но совершали безрассудные вылазки, храбро сражались и возвращались с потерями, принося этим, как говорится, пользы не больше, чем человек, таскающий на большой пожар воду в ладонях. Поэтому трибуны вскоре закрыли ворота и запретили им выходить из города. В бессильной ярости, как дикие звери, скрежетали они зубами, но в дальнейшем (я еще расскажу об этом) их деятельная натура обнаружила себя.

С южной стороны на дальнем участке стены, обращенной к реке Тигру, возвышалась башня, под ней зияла глубокая пропасть, в которую нельзя было заглянуть без сильного головокружения. Оттуда до самого уровня города шел подземный ход с лестницей, по которой из реки незаметно доставляли воду; лестница эта была искусно сделана, как и во всех крепостях, что я видел в тех областях по берегам рек. По этому-то темному, крутому и потому неохраняемому ходу провел семьдесят персидских лучников из царской охраны перебежчик, переметнувшийся к врагу из города; пользуясь тишиной и удаленностью места, эти верные и искусные воины в полночь неожиданно по одному поднялись на третий этаж башни, спрятались там, утром выбросили пурпурного цвета плащ — знак начавшейся битвы, а когда увидели, что войско, хлынувшее на город, обошло его со всех сторон, опорожнили и бросили к ногам колчаны и с криками и улюлюканьем принялись проворно метать стрелы во все стороны; в этот миг враг всеми силами, с еще большим ожесточением, чем раньше, сплотив строй, двинулся на город.

Мы же колебались и не знали, кому прежде давать отпор: то ли засевшим наверху, то ли толпе воинов, уже добравшихся по приставным лестницам до зубцов стены. Наконец, решившись, мы перенесли пять легких баллист, установили их против башни и принялись быстро метать деревянные стрелы, нередко поражая сразу двоих. Одни персы, тяжело раненные, падали с башни, другие сами бросались вниз из страха перед скрежещущими машинами, калечились и разбивались насмерть. Быстро с ними расправившись, мы поставили машины на прежние места, собрались все вместе и смогли уже без страха оборонять стены.

Преступное предательство перебежчика еще больше разъярило воинов, и они, будто в открытом поле, с такой силой метали всевозможные снаряды, что к полдню враждебные племена потерпели полное поражение, были рассеяны и, проливая слезы о множестве павших, устремились к палаткам, чтобы уберечься от ран.

6. Судьба вдохнула в нас некоторую надежду на спасение, ибо тот день для нас прошел без ущерба, а врагу причинил огромный урон; остаток дня мы посвятили отдыху и восстановлению сил, а на следующее утро заметили со стены огромную толпу, ее гнал в свой лагерь враг, захвативший крепость Знату — укрепленный и очень большой (десять стадиев в окружности) город, в котором нашло убежище множество разных людей. В те дни были захвачены и сожжены и другие крепости, и тысячи людей — среди них немало дряхлых стариков и пожилых жещин — шли теперь в рабство; утомленные длинной дорогой, они по той или иной причине теряли силы, и тех, кто не хотел больше жить, с перебитыми икрами или бедрами бросали на дороге.

Галльские воины заметили вереницу этих несчастных и, подавшись вполне понятному, но несвоевременному чувству, потребовали, чтобы им позволили схватиться с неприятелем, грозя при этом смертью трибунам и старшим начальникам, если те станут им препятствовать. Как хищные звери приходят в неистовство от запаха падали и бьют лапой по вращающемуся бруску в надежде вырваться из клетки, так и они рубили мечами запертые (об этом я упоминал выше) ворота. Они очень боялись, что город будет разорен и они бесславно погибнут, не совершив никаких подвигов, а если опасность минует, потом скажут, будто они не сделали ничего, достойного величия галльского духа — хотя они не раз выходили за стены, убивали врагов, пытались помешать строителям вала, и сами несли потери.

Не имея никакого плана, мы колебались и не знали, как обуздать их ярость, но в конце концов пришли к наилучшему решению, с которым галлы, хотя и неохотно, согласились: поскольку удержать их было уже нельзя, им позволили через некоторое время пасть на вражеские посты, находившиеся чуть дальше расстояния выстрела от стены, прорваться через них и двинуться вперед. Было ясно: добившись своего, они учинят большую резню. Пока они готовились к вылазке, мы всячески обороняли стены: трудились, выставляли караулы и расположили свои машины так, чтобы метать камни и стрелы во всех направлениях. Но и противник исподволь готовил захват города: отряд персидских пехотинцев соорудил два высоких вала. А мы, чтобы защититься, с большими трудами возвели вровень с вражескими сооружениями огромные насыпи, способные выдержать тяжесть любого числа воинов.

Между тем истомленные ожиданием галлы одной темной и безлунной ночью вооружились секирами и мечами, открыли задние ворота и вышли из города, моля небо о покровительстве и благоволении. Стараясь не дышать, они приблизились к противнику,

стремительным натиском в плотном строю смяли сторожевые посты, умертвили воинов внелагерного караула (те спали и не подозревали об опасности) и в глубине души стали даже помышлять — если только случай им поможет — о нападении на царскую палатку. Однако, когда стоны раненых и легкий шум шагов разбудили персов и многие, вскочив, громкими криками стали призывать к оружию, галлы застыли на месте и не осмелились двинуться дальше, не желая неосмотрительно подвергать себя опасности, когда проснулись те, кому они подстроили эту ловушку, и уже отовсюду стекались на бой толпы взбешенных и разгневанных персов.

Сильные и отважные галлы рубили мечами врагов и, пока могли, стояли непоколебимо, хотя многие уже пали или были пронзены стрелами, летевшими со всех сторон. Увидев, однако, что опасность всей своей тяжестью нависла над ними и уже сбегаются вражеские отряды, они поспешили, не поворачиваясь спиной к противнику, выйти из боя; они двигались как бы в такт музыке, постепенно были оттеснены за вал и, не имея сил выдержать натиск плотного строя вражеских манипулов, отступали под звуки лагерных труб. В ответ зазвучали многочисленные горны из города, и ворота распахнулись, чтобы принять наших, если у них хватит сил дойти; не посылая стрел, заскрежетали машины, чтобы те, кто стал во главе караулов после смерти товарищей, не действовали вслепую; находившиеся перед стенами вышли из опасного места, и храбрецы без потерь достигли ворот.

Таким образом, галлам, хотя число их и уменьшилось, удалось перед самым рассветом войти в городские ворота; одни из них были ранены серьезно, другие легко, вообще же той ночью они недосчитались четырехсот человек, и если бы случай не оказался сильнее их, то не Реса, не фракийцев под илионскими стенами, а персидского царя посреди стотысячного войска зарубили бы они в самой его палатке.

Уже после гибели города император приказал воздвигнуть в людном месте Эдессы статуи вооруженных воинов в честь галльских начальников — первых в этом славном деле, — статуи целы и поныне. Когда на следующий день персы, опознав трупы, нашли среди павших знатных людей и сатрапов, нестройные крики и рыдания возвестили о несчастии, и повсюду раздались горестные и негодующие возгласы персов, раздосадованных тем, что римлянам удалось прорваться сквозь посты вокруг стен. По этим причинам было заключено с общего согласия трехдневное перемирие, и мы получили время перевести дух.

7. Эта неожиданная вылазка ошеломила и взбесила персов, не надеясь на силу, они решили немедленно ввести в дело осадные соору-

жения и в воинственном пылу были готовы либо со славой умереть, либо разрушить город и умиловать души павших. Приготовления были спешно закончены, и с восходом утренней звезды пришли в движение всевозможные орудия с обитыми железом башнями, на которых были установлены баллисты, чтобы рассеять сверху защитников города. На рассвете железные доспехи скрыли все небо, и на нас устремились сплошные ряды машин, прикрытых навесами и спереди защищенных плетеными щитами; двигались они не беспорядочно, как раньше, а повинувая тихим звукам труб и не вырываясь из строя.

Когда машины приблизились на расстояние выстрела, персидские пехотинцы, хотя и выставили вперед щиты, едва-едва могли избежать стрел, которые извергали со стен наши орудия. Мы не делали впустую почти ни одного выстрела, поэтому персы разомкнули строй, и даже их катафракты, пав духом, начали отступать, что придало еще больше сил нашим воинам. Однако вражеские баллисты, стреляя вниз с высоты обитых железом башен, имели преимущество и наносили многим нашим кровавые раны; при неравных позициях и успех был разным. Лишь внезапно спустившийся вечер дал отдых противникам; большую часть ночи мы раздумывали над тем, как предотвратить грозившую нам жестокую гибель.

Перебрав много возможностей, мы, наконец, остановились на плане, успех которого зависел от быстроты действий: выставить против баллист четыре скорпиона. Пока мы переносили и осторожно устанавливали их (это дело требует немалого искусства), занялся горестный для нас день, при свете которого стали видны страшные персидские манипулы и колонны слонов рядом с ними; человеческое воображение не может себе представить ничего более ужасного, чем огромные туши и рев этих животных. В то время как нас со всех сторон теснили воины, машины и гигантские животные, со стен из железных пращей скорпионов в неприятеля полетели круглые каменные ядра, которые разбивали скрепы вражеских башен, а баллисты и прислугу сшибали на землю с такой силой, что одни воины гибли, не получая ран, а других придавливали своим огромным весом орудия. Затем сильным ударом мы оттеснили слонов и, окружив их со всех сторон, стали метать в животных горящие факелы; когда огонь коснулся их тел, слоны попятились назад и отказались слушаться погонщиков. И тем не менее, хотя мы подожгли еще и осадные сооружения, битва не прекращалась.

Все эти неудачи заставили персидского царя, который сам никогда не принимал участия в сражениях, решиться на поступок, неожиданный и до той поры неслыханный: как простой воин, бро-

сился он в гущу боя и вызвал на себя дождь стрел, так как был приметен из-за множества телохранителей и виден издалека. И хотя многие его воины пали, царь, отходя, снова и снова бросал в бой свои послушные отряды и, не страшась ужасного вида мертвых и раненых, лишь в конце дня позволил короткую передышку.

8. Ночь прервала сражение, но после короткого сна, на рассвете, царь, вне себя от досады и гнева, двинул на нас свои племена: стремись к цели, он не собирався останавливаться ни перед чем. Осадные сооружения, как уже говорилось, были сожжены, и противник пытался вести бой с высоких валов у самых стен города, а наши с трудом, но не меньшим упорством сопротивлялись на насыпях, которые, насколько позволили возможности и силы, были сооружены изнутри.

Долго шла кровопролитная битва, но ни в одном воине, ни с той, ни с другой стороны, страх смерти не пересилил желания сражаться, а когда напряжение так возросло, что исход мог решить только неумолимый случай, дрогнул, как при землетрясении, и обрушился возведенный с такими трудами вал. Ров между стеной и насыпью с внешней стороны сровнялся, и образовалась как бы плотина или перекидной мост, по которому открылся беспрепятственный и свободный проход врагу. Наши же воины, упав, в большинстве своем прекратили бой, придавленные обвалом или изнемогшие. Тем не менее для отражения неожиданной опасности отовсюду стали стекаться защитники; торопясь, они мешали друг другу, а отвага врага еще возросла от успеха.

Царь бросил в бой всех своих разбойников; обнажив мечи, противники бились лицом к лицу; из-за чудовищной резни кровь потоками текла с обеих сторон, ров заполнился телами, проход еще больше расширился, и толпы разъяренных врагов, заполнив город, принялись вырезать, как скот, воинов и мирных жителей обоего пола, у нас же не осталось надежды ни защититься, ни бежать.

В вечерних сумерках, когда множество наших, вопреки противодействию несправедливой судьбы, все еще билось врукопашную, я вместе с двумя другими воинами спрятался в дальнейшей части города, а затем под покровом темноты вышел через никем не охраняемые задние ворота. Я знал пустынные места, мои слутники шли быстро, и в конце концов мы достигли десятого мильного камня, где немного отдохнули. Затем мы двинулись дальше, и когда я крайне устал от долгой ходьбы, к которой, как свободнорожденный, не был приучен, то увидел зрелище очень печальное, но сулящее мне весьма своевременное облегчение.

Как видно, какой-то слуга ехал на резвом коне без седла и узды и, чтобы удержаться, по обычаю, крепко обвязал вокруг левой руки

повод, которым управлял лошадью; потом он упал, не успев распустить узел, лошадь поволокла его по лесам и кустарникам, и только тяжесть искалеченного тела заставила, в конце концов, остановиться обессиленное бегом животное; конь сослужил мне на время хорошую службу, и на его спине я с теми же спутниками, усталый, добрался до серных источников с горячей от природы водой.

Истомленные зноем и жаждой, мы долго бродили в поисках воды и, наконец, увидели очень глубокий колодез, однако спуститься в него не смогли, — веревок не было. Крайняя нужда все-таки надумила нас, и мы, разорвав на большие куски свои льняные одежды, сплели длинную веревку, и к концу ее прикрепили шапку, которую один из нас носил под шлемом; опущенная на веревке, она, как губка, впитывала воду, и мы легко утолили мучившую нас жажду.

Оттуда мы помчались к реке Евфрату, рассчитывая переправиться в лодке, которая, по давнему обычаю, стояла на берегу для перевозки скота и людей. Но тут мы увидели, как множество внезапно и неизвестно откуда появившихся персов, зайдя с тыла, преследует рассеявшийся римский отряд с кавалерийскими знаками.

На этом примере можно видеть, что знаменитые «сыны земли» не возникли из лоа земли, а были необычайно проворны по своей природе, — я имею в виду тех, кого называли «спарты», так как они неожиданно появились в разных местах и, по мнению древности, склонной к сказочным преувеличениям, вышли из почвы.

Это заставило нас, поскольку все наше спасение было в быстроте, через леса и чащи двинуться к более высоким горам, а оттуда — в Мелитену, город Малой Армении, где мы разыскали уже готового выступить начальника, вместе с которым неожиданно для себя вернулись в Антиохию.

9. Между тем в разгар осени, когда взошло зловещее созвездие Козлят и уже нельзя было двигаться в глубь страны, персы во главе с Шапуром собрались вернуться на родину с добычей и пленными. Пока в разрушенном городе происходили грабежи и убийства, персы злодейски пригвоздили к кресту комита Элиана и трибунов, стараниями которых долго держались стены и было погублено много врагов; Якова и Цезия — казначеев при начальнике конницы — и других со скрученными за спиной руками увели в плен, а тех, кто явился с другой стороны Тигра, выловили всех до одного и казнили без разбора, кто бы они ни были.

Только жена Краугазия, сумев сохранить честь, как знатная женщина пользовалась уважением персов, но она горевала без мужа и готова была умереть, хотя, судя по всему, и могла надеяться на лучшую участь. Раздумывая над своим положением и

предугадывая события надолго вперед, она одинаково опасалась как вдовства, так и нового брака. Поэтому она тайно отправила к супругу своего верного слугу, знающего Месопотамию, который должен был, перевалив через горы Изалы и пройдя между двумя сторожевыми крепостями, Маридой и Лорне, явиться в Нисибис и передать Краугазию вместе с просьбами предметы, знакомые только им двоим, чтобы тот, узнав обо всем случившемся, вернулся и счастливо жил с нею.

С такими наставлениями проворный вестник быстро прошел по лесным тропинкам и чащам и прибыл в Нисибис, где сказал, будто вовсе не видел своей госпожи, которую скорее всего убили, а сам он, как только представилась возможность, бежал из вражеского плена. Благодаря этому он сумел, не привлекая внимания, передать Краугазию суть дела, а когда тот вскоре поклялся, что только выберет безопасный момент и с радостью последует за супругой, ушел, чтобы доставить своей госпоже желанную весть. Получив ее, женщина через посредство полководца Тамшапура обратилась с мольбой к царю, чтобы он, если можно, прежде чем покинуть пределы Римской империи, милостиво повелел принять под свою власть ее супруга.

Неожиданное для всех исчезновение пришельца, который вернулся из плена, был по закону восстановлен в правах, но тут же, никого не предупредив, скрылся, вызвало подозрение у полководца Кассиана и других важных лиц; они нападали на Краугазия, грозили ему расправой и кричали, что тот человек и ушел и пришел не без его воли. Краугазий боялся обвинений в предательстве и опасался, как бы из-за прихода перебежчика не открылось, что его жена осталась жива и с ней обходятся весьма почтительно. Поэтому, сделав вид, будто хочет вступить в брак с одной прекрасной девушкой и ему нужно приготовить все для брачного пира, он отправился на виллу в восьми милях от города, а оттуда, прищипорив коня, примчался к отряду персидских грабителей, пожившихся, как ему стало известно, в тех местах. Персы приняли его с распростертыми объятиями, поняли из его рассказа, кто он такой, и на шестой день передали Тамшапуру, а тот уже представил его царю. Краугазий вновь обрел свои богатства, близких и жену, умершую через несколько месяцев, и занял второе место после Антонина — от которого, говоря словами знаменитого поэта, «намного отстал, хоть шел следом». Антонин, человек одаренный и многоопытный в делах, во всех своих начинаниях опирался на разум, Краугазий же по своей природе был более прост, хотя и носил не менее славное имя. Все это произошло вскоре после тех событий, которые были описаны выше.

Персидский царь сохранял безмятежное выражение лица и, как казалось со стороны, гордился разорением города, однако в глубине души жестоко терзался мыслью о том, сколько горестных утрат принесли ему злосчастные осады, когда он потерял своих людей больше, чем взял у врага живыми или даже убил в различных сражениях. Так не раз случалось с ним у Нисибиса и Сингары, так было и сейчас, когда в течение семидесяти трех дней с огромным войском он осаждал Амиду и потерял тридцать тысяч воинов, как подсчитал вскоре трибун и писец Дисцен, легко распознавший трупы следующим образом: тела наших воинов быстро разлагаются и распадаются, и на пятый день уже ни одного мертвеца нельзя узнать в лицо, трупы же павших персов высыхают, как стволы деревьев, члены их покрываются слизью и не источают гной; причина этого — умеренный образ жизни и выжженная зноем земля их родины.

ИЗ КНИГИ XXV

[*Смерть императора Юлиана*]

2. Затем, когда на три дня было заключено перемирие и все принялись лечить свои или чужие раны, подвоз прекратился, и голод, мучивший нас, стал невыносим; зерно и корм для животных были сожжены, люди, как и вьючный скот, дошли до крайности, и простым воинам, испытывавшим отчаянные лишения, роздали значительную часть того хлеба, что везли на лошадях трибунов и комитов. Император отказался от царских яств и под кровом скромной палатки обедал приготовленной для него жалкой похлебкой, вызывавшей отвращение даже у рядовых воинов; о себе он не заботился и пищу, предназначенную для его стола, распределял по беднейшим отрядам. Однажды, когда император, по обыкновению, проснувшись после короткого и тревожного сна, подобно Юлию Цезарю, что-то писал темной ночью в своей палатке и был поглощен глубокой мыслью какого-то философа, ему явился (он сам рассказывал об этом приближенным) Гений Римского государства, которого он уже раз видел в Галлии, возносясь на вершину императорской власти: с покрытой головой и рогом изобилия Гений печально прошел сквозь занавес палатки. На миг император замер в оцепенении, но сразу же, оставив всякий страх, предоставил будущее небесной воле, а сам поднялся с расстеленного на земле ложа и уже глубокой ночью вышел из палатки, чтобы умили-вить богов отвращающими беду жертвами. В это время проборо-

дил часть неба и исчез, как падающая звезда, пылающий факел; ужас объял императора, не явилась ли открыто на небе грозная звезда самого Марса.

А было это то самое огненное сияние (мы его называем *διδιττων*), которое никогда не падает с неба и не касается земли (того же, кто полагает, будто небесные тела могут опускаться на землю, по праву следует признать невеждой и глупцом). Такое явление случается по разным причинам, расскажу только о некоторых из них. Возможно, это гаснут после недолгого полета искры, вспыхнувшие под воздействием силы эфира, возможно, это испускают искры огненосные лучи, столкнувшись с густыми облаками, а возможно, и в самом облаке заключено какое-то свечение. Приняв форму звезды, оно мчится по небу, пока его питает сила огня, а затем истощается от длительного полета, растворяется в воздухе и превращается в то самое вещество, от сильного трения с которым возникло.

Когда немедля, еще до восхода солнца, призвали этрусских гаруспиков и попросили их объяснить, что предвещает появление необычной звезды, те настоятельно посоветовали избегать всяких действий и сослались на Тарквициевы книги, где в главе «О небесных знамениях» запрещается начинать сражение или делать что-либо подобное, если на небе показалось сияние. Но император, отвергавший всякую науку предсказаний, как и многими другими, пренебрег и этим предостережением и, не обратив внимания на гаруспиков, просивших отложить выступление хотя бы на несколько часов, уже на рассвете снялся с лагеря.

3. Когда мы выступили, не раз терпевшие поражение персы не решались на открытый бой; устраивая засады, они незаметно сопровождали нас и следили за отрядами с высоких холмов. Подозревая об этом, наши воины в течение всего дня не воздвигали вала и не огораживались частоколом. Пока войско, надежно прикрытое с боков, двигалось вперед в свободном строю, хотя и было построено по условиям местности четырехугольником, императору, который без оружия выехал разведать путь, донесли о внезапном нападении с тыла. Обеспокоенный этим сообщением, забыв в суматохе панцирь, с мечом в руке бросился он было на помощь воинам, замыкавшим строй, по его заставило вернуться известие о новой угрозе: передовые отряды, которые он покинул, тоже подверглись нападению. Пока император, пренебрегая опасностью, старался восстановить порядок, отряд парфянских катафрактосов с другой стороны атаковал центурии в середине колонны; наши воины не могли вынести вони и рева слонов, левое крыло дрогнуло, и враг, пустив в ход копыта и всевозможные метательные

спаряды, яростно набросился на нас. Когда император появился в первых рядах сражающихся, персы и слоны повернули назад, а вырвавшиеся вперед легковооруженные воины принялись наносить удары по их ногам и спинам.

Забывший об осторожности Юлиан голосом и жестами указывал на бегущего в ужасе врага; возбуждая ярость преследователей, он отважно ринулся в бой, а в страхе разбежавшиеся телохранители закричали, чтобы он поостерегся бегущей толпы, которая раздавит его, как рухнувшая кровля. И вот тут неизвестно откуда появившееся шальное кавалерийское копье, оцарапав кожу на руке императора, пробило ребра и застряло в нижней доле печени. Попытавшись правой рукой вытащить копье, император почувствовал, что заточенным с обоих концов железом перерезал себе сухожилия на пальцах, и упал с коня. Присутствовавшие при этом быстро к нему сбежались, отнесли в лагерь и вверили заботам врачей.

Вскоре боль немного утихла, император перестал бояться и, мужественно борясь со смертью, потребовал оружие и коня, чтобы вернуться в бой, вселить в воинов надежду и показать, как он, пренебрегая собой, тревожится лишь о спасении других. Такую же силу духа, хотя и в других обстоятельствах, проявил знаменитый полководец Эпаминонд. Когда смертельно раненного под Мантинеей его вынесли с поля боя, Эпаминонд стал беспокойно искать щит и, лишь увидев его рядом с собой, успокоенный, скончался от раны: тот, кто был готов бестрепетно испустить дух, пришел в ужас от мысли потерять щит. Однако силы императора были намного слабей, чем воля, он страдал от потери крови и оставался недвижим. Вскоре покинула Юлиана и надежда на спасение, так как в ответ на свой вопрос он услышал, что был ранен в месте, которое называется Фригия. А он знал, что именно там ему предназначено судьбою погибнуть. Императора перенесли в палатку. Невозможно описать, какой болью и гневом были охвачены воины, с каким пылом ринулись мстить, как ударяли мечами о щиты, готовые, если нужно, и к смерти. Поднявшаяся столбом пыль застила глаза, палящий зной замедлял шаги, но, не щадя себя, бросались они на вражеские мечи, словно гибель полководца освобождала их от службы. Персы ответили тучей стрел, совершенно скрывшей их войско от глаз противника, а наши воины и кони были испуганы огромными размерами и ужасным ревом медленно передвигавшихся слонов. Крики сражавшихся, стоны павших, ржание копей, бряцание мечей раздавались по всей округе, пока сгустившиеся сумерки не положили конец битве измученных и израненных противников.

В тот день, кроме множества простых воинов, пало пятьдесят знатных персов и сатрапов, среди них также два высокопоставленных военачальника — Мерена и Погодар. Пусть самоуверенные предки восторгаются двадцатью сражениями, что дал в разных местах Марцелл, пусть присоединят к нему Сициния Дентата, стяжавшего немало победных венков, пусть прибавят и Сергия, который, как утверждают, получил в различных битвах двадцать три раны (на лучезарное сияние славы Сергия навеки пала тень позорных деяний последнего из его потомков — Катилины). Однако печаль омрачила счастливый исход событий.

Все это случилось уже после выхода из боя императора. Правое крыло войска было измотано, Анатолий — в то время главный распорядитель двора — убит, а префект Саллюстий оказался на краю гибели и был вызволен из беды стараниями своего помощника; состоявший при нем советник Фосфорий исчез, и спасли Саллюстия счастливый случай и бегство. Соседняя крепость оказалась захваченной, и некоторые из служащих императорского двора и воинов, испытав много опасностей, лишь через три дня соединились с войском.

В разгар этих событий Юлиан, лежа в палатке, обратился с речью к тем, кто в печали и отчаянии столпился вокруг него. «Друзья, ныне наступил назначенный срок, и я, как честный должник, верну природе свою жизнь, раз она ее требует. Не думайте, будто я делаю это в скорби и горести, ведь я хорошо усвоил главную философскую мысль о том, что дух выше тела, и понимаю, что надо радоваться, а не огорчаться, когда лучшая часть отделяется от худшей. Знаю и то, что некоторым благочестивым людям небесные боги даруют смерть как высшую награду. Я совершенно уверен, милость эта оказана мне, чтобы я не согнулся в тяжких испытаниях, не пал и не унизил себя, ибо, как мне по опыту известно, все несчастья одолевают людей малодушных и отступают перед мужественными. Меня не гложет раскаяние и не гнетет воспоминание о каком-нибудь тяжком проступке, который бы я совершил еще в безвестности и ничтожестве или уже как император. Напротив, думаю, мне удалось сохранить незапятнанной душу, как бы родную сестру небожителей, ведь гражданскими делами я управлял с умеренностью, а войны начинал или отвергал, лишь рассмотрев все обстоятельства; впрочем, мудрое решение и счастливый исход отнюдь не всегда одно и то же, ибо успех решают высшие силы. Я считал целью справедливого правления пользу и благоденствие подданных и, как вам известно, всегда стремился к миру, а в своих поступках избегал всякого произвола,

который портит дело и развращает нравы. Я уйду радостный и гордый, сознавая, что, каким бы опасностям навстречу ни посылало меня повелевающее мною отечество, я всегда стоял насмерть и умел обуздать бешеную игру случая. Не постыжусь признаться: я давно знал из вещего прорицания, что погибну от железа. И я благодарен предвечному божеству за то, что уйду из жизни не жертвой тайных козней или тяжкого и длительного недуга, умираю не смертью преступника, а заслужил достойную кончину в сиянии славы, на полпути жизни. Ведь одинаково труслив и малодушен и тот, кто ищет преждевременной смерти, и тот, кто бежит от нее, когда настал срок. Силы покидают меня, я кончаю; о выборах нового императора умолчу из осторожности, чтобы по неведению не обойти человека достойного и не подвергнуть величайшей опасности того, кого сочту подходящим, если предпочтение будет отдано другому. Но как верный сын родины, желаю вам найти после меня хорошего правителя».

Спокойно высказал все это император, а затем как бы последней росписью пожелал распределить среди близких людей свое имущество и стал искать главного распорядителя двора Анатолия. Когда префект Саллюстий ответил: «Он блажен», — император понял, что Анатолий погиб, и вот тот, кто презрел собственную смерть, стал горько плакать о друге. Зарыдали и все присутствующие, но он властным голосом остановил их, говоря, что стыдно скорбеть об императоре, если он соединяется с солнцем и звездами. Все смолкли, и только сам император заплетающимся языком беседовал с философами Максимом и Приском о величии души. Но рана в его пронзенном боку раскрылась еще шире, раздувшиеся вены не давали дышать, он попросил и выпил холодной воды и в полуночной тишине спокойно испустил дух на тридцать втором году жизни. Он родился в Константинополе и с детства остался сиротой; его родителями были брат Константина Констанций, которого после смерти императора, в числе многих других, убили наследники престола, и Василина, происходившая из древней знати.

4. Этот муж, благодаря славным делам и врожденному величию, по праву может быть причислен к героям. Если действительно, как полагают философы, существуют четыре главные добродетели: умеренность, мудрость, справедливость и храбрость — и примыкающие к ним внешние свойства: щедрость, удачливость, сила власти и знание военного дела, — то император все их вместе и каждую в отдельности с великим усердием воспитывал в себе. Прежде всего, он отличался столь незапятнанной чистотой, что,

как известно, после смерти супруги ни разу не отведал любовных утех. Он любил приводить рассказ Платона о Софокле, которого уже на склоне лет как-то спросили, имеет ли он еще сношения с женщинами. «Нет,— ответил трагический поэт и добавил: — Я избавился от этой страсти с радостью, как освобождаются от сумасбродного и жестокого хозяина». В подтверждение этой мысли он часто напоминал также слова лирика Вакхилида, которого читал с большим удовольствием. «Как хороший художник,— говорил Вакхилид,— сообщает прелесть лицу, так целомудрие придает красоту возвышенной жизни». В расцвете юношеских сил он вовсе избегал этого порока, и даже слуги, хотя это случается нередко, не подозревали его в похоти.

Умеренность в делах любовных еще более укреплялась в нем благодаря воздержанию в пище и сне, в которых он очень себя ограничивал и на родине, и за ее пределами. В мирную пору люди, близко его знавшие, поражались тому, что и как мало ест император, казалось даже, будто он намерен вскоре одеть плащ философа; и во время разных военных походов можно было наблюдать, как он, по солдатскому обычаю, на ходу принимал грубую и скудную пищу. Силы своего закаленного в трудах тела император восстанавливал очень коротким сном, затем пробуждался, лично проверял смену постов и караулов, а после этих серьезных дел принимался за науки. Если бы могли заговорить светильники, служившие императору по ночам, они бы поведали о том, как непохож был на других императоров Юлиан, который — они тому очевидцы — не уступал страстям даже в той мере, в какой требует природа.

Вот некоторые из многочисленных свидетельств его мудрости. Великий знаток военных и гражданских дел, он очень ценил вежливое обхождение и требовал его от окружающих постольку, поскольку считал нужным избавить себя от их высокомерия и надменности. Он был старше добродетелью, чем возрастом; он внимательно следил за всеми судебными разбирательствами, сам не раз проявлял негибаемую волю на судейской скамье, был строгим блюстителем нравов, совершенно равнодушен к богатствам, пренебрегал всем смертным — одним словом, всегда считал, что человеку мудрому стыдно кичиться телом, когда у него есть душа. Многое говорит и о его справедливости. Прежде всего, Юлиан по-разному подходил к каждому делу и к каждому человеку, был грозен, но не жесток; далее, он обуздывал пороки, наказывая лишь некоторых, и чаще грозил мечом, чем пользовался. И последнее (многое я опускаю): император, как известно, столь сни-

сходительно отнесся к нескольким своим открытым врагам — заговорщикам, что со свойственной ему добротой смягчил тяжелые наказания.

Храбрость его доказывают непрерывные битвы, военные походы и способность выносить и лютый холод, и жару. Сила тела нужна воину, сила духа — императору, но он сам однажды храбро сразил копьем грозного врага в бою и не раз, грудью преграждая путь бегущим, один останавливал отступление. Разоряя царство неистовых германцев, воюя в дымящихся песках Персии, он бился в первых рядах и вселял мужество в воинов. Многие хорошо известные примеры выдают в Юлиане знатока военного дела: он осаждал крепости и города в самых опасных обстоятельствах, строил боевые порядки разными способами, разбивал лагерь со всеми мерами предосторожности и в здоровых местах, располагал дозорные и полевые посты наиболее разумным образом.

Сила власти Юлиана была настолько велика, что его горячо любили даже тогда, когда боялись. Разделяя общие опасности и труды, он карал трусов в разгар битвы, и когда еще был цезарем, водил воинов против диких племен, даже не платя им жалования. Но об этом говорилось раньше. Обращаясь как-то с речью к взбунтовавшимся воинам, он пригрозил им, что вернется к частной жизни, если те не успокоятся. В конце концов из многих примеров достаточно привести следующий: одними словами он убедил выросших среди рейнских снегов галльских воинов пересечь обширные пространства и через знойную Ассирию дойти до рубежей Мидии.

Удачливость Юлиана проявлялась так часто, что порой казалось, будто он победно преодолевает невероятные трудности, оседлав самое судьбу — свою давнюю добрую покровительницу. И когда император покинул западные области, все народы до конца его дней жили в нерушимом мире, как бы успокоенные неким земным кадуцеем.

Немало есть достовернейших свидетельств и его щедрости. Отметим среди них сокращение податей, отказ от «денег на корону», отмену долгов, накопившихся за долгое время, установление равных прав в тяжбах казны с частными лицами, возвращение городам налогов и имений, кроме тех что были изъяты прежними властями через продажу, по-видимому, законную. Да и вообще император никогда не был жаден до денег и полагал, что они будут сохраннее у своих хозяев, вспоминая нередко, что Александр Великий на вопрос, где находятся его сокровища, добродушно ответил: «У друзей».

Перечислив известные мне добродетели императора, расскажу, пусть и не по порядку, о его дурных свойствах. Он был легкомыслен, но, оступившись, позволял вернуть себя на путь истины и таким похвальным обычаем смягчал этот свой недостаток. Он был словоохотлив, почти никогда не умолкал и с особой страстью искал предзнаменований, чем походил на императора Адриана. Скорее суеверный человек, чем истинный исследователь жертвенных животных, Юлиан без всякой жалости предавал закланию бесчисленные стада, и говорили даже, будто не хватит быков, если император вернется из Парфии, ведь именно так случилось с императором Марком, о котором дошли следующие слова:

οἱ βίες οἱ λευκοὶ Μάρκῳ τῷ καίσαρι χαίρειν
 ἄν πάλιν νικῆσις, ἄμμες ἀπωλήμεθα¹.

Неравнодушный к рукоплесканиям черни, он нетерпеливо добивался похвал даже за самые незначительные дела и, стремясь заслужить любовь, нередко вступал в беседы с недостойными людьми. Как бы то ни было, сам император утверждал, будто при нем вернулась обратно на землю та древняя Справедливость, которая, по словам Арата, взошла на небо в обиде на пороки людей, и с этим можно бы согласиться, если бы кое в чем Юлиан не поступал по произволу и подчас не оказывался недостойным самого себя. Законы, которые он издавал, за малым исключением не были суровы, но давали строгие предписания или налагали запреты. Правда, среди них был жестокий указ, не позволявший заниматься преподаванием христианам — грамматикам и учителям риторики, если те не перейдут к почитанию богов. Незаконным было и то, что он разрешал вводить в городские советы лиц, которые не могли быть их членами либо как чужеземцы, либо из-за своего происхождения, либо из-за особых прав.

Теперь расскажу о его внешности и сложении. Был он среднего роста, с мягкими пушистыми волосами, с косматой, заостренной книзу бородой и живыми глазами, светившимися обаянием и умом, у него были красивые брови, совершенно прямой нос, чересчур большой, с опущенной нижней губой рот, толстая и искривленная шея, сильные и широкие плечи; крепко сбитый с головы до ног, он отличался силой и быстротой бега.

Недоброжелатели обвиняют императора в том, что он начал новые губительные для государства войны, но пусть они узнают очевидную истину: не Юлиан разжег пламя парфянской войны,

¹ С белою шкурой быки приветствуют цезаря Марка.

Если ты вновь победишь, все мы погибнем тогда (греч.).

а жадный Констанций, поверивший лживым утверждениям Метродора,— об этом я подробно рассказывал раньше. Поэтому и гибли все до единого наши воины, не раз попадали в плен легионы, уничтожались города, разрушались или захватывались крепости, истощались непомерными расходами провинции; а персы осуществляли свои угрозы и отнимали у нас все земли до Вифинии и берегов Пропонтиды. Немало тяжких страданий вынесли обитатели Галлии, где спесь варваров увеличилась еще больше, когда германцы, проникнув в наши пределы, уже готовились перевалить через Альпы, чтобы опустошить Италию, и ничего не оставалось, кроме слез и ужаса там, где воспоминание о прошлом было мучительным, а ожидание грозящих бед еще более мрачным. И вот все это с удивительной быстротой привел в порядок юноша, который был послан на запад с титулом цезаря и помыкал там царями, как жалкими рабами. Затем Юлиан выступил против персов, чтобы с таким же рвением отвоевать восточные области; и он бы вернулся оттуда с триумфом и почетным прозвищем, если бы воля небес соответствовала его замыслам и славным деяниям.

Как известно, некоторые неосторожно пренебрегающие опытом люди, стремясь в бой после поражения или в море после кораблекрушения, сами ищут те трудности, которые неоднократно испытали. А императора еще упрекают в том, что он пожелал новых успехов после многократных побед!

5. Не время было тогда для горя и слез. Насколько позволяли обстоятельства, тело императора убрали, чтобы похоронить там, где он сам заранее распорядился, а на рассвете — это был пятый день до июльских календ, — хотя враг окружал нас со всех сторон, собрались вожди войска и, призвав начальников легионов и турм, стали совещаться о выборе императора. Начались распри. Ариффей, Виктор и остальные уцелевшие из свиты Констанция искали подходящего человека среди своих, а им возражали Невитта, Дагалайф и предводители галлов, добивавшиеся выдвижения кого-нибудь из их соратников. После споров все единодушно, без возражений сошлись на Саллюстия, и когда тот стал отказываться и ссылаться на болезни и старость, один из почтенных воинов, видя его упорство, сказал: «Как бы вы поступили, если бы император, отлучившись, по обыкновению, поручил вести эту войну вам? Разве вы не отложили бы все прочие дела и не постарались бы сначала вызволить воинов из грозящей беды? Так делайте это и сейчас. Если же удастся нам увидеть Месопотамию, оба войска подадут свои голоса и изберут законного государя».

После недолгого для такого случая промедления, не взвесив хорошенько различные доводы, собравшиеся, как это часто происходит в крайних обстоятельствах, уступили настояниям нескольких крикунов и избрали императором начальника телохранителей Иовиана, в чью пользу в какой-то степени говорили отцовские заслуги: он был сыном знаменитого комита Варрониана, который незадолго до того сложил с себя бремя военной службы и удалился на покой.

Иовиана в императорских одеяниях тут же вывели из палатки, и он стал обходить ряды уже готового к выступлению войска. Строй был растянут на четыре мили, передние, услышав, как провозглашают имя августа Иовиана, сами подняли еще больший шум; обманутые сходством имен, различавшихся только одной буквой, они решили, что это обычное проявление большой любви к Юлиану, который выздоровел и вышел к войску. Но когда новый император — сутулый и высокого роста — приблизился, они догадались о случившемся и все, как один, скорбно заплакали. Быть может, какой-нибудь суровый блюститель справедливости сочтет, что в этом отчаянном положении мы поступили неосмотрительно, но пусть он тогда обвиняет и моряков, если они, лишившись в жестокую бурю опытного кормчего, вручили управление кораблем первому попавшемуся из своих товарищей по несчастью.

ПРИМЕЧАНИЯ

Заговор Катилины

Перевод выполнен по изданию С. Sallusti Crispi Catilina.— Iugurtha.— Fragmenta ampliora. Post A. W. Ahlberg edidit Alphonsus Kurfess. Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, MCMLIV.

Стр. 35. *Кир* — персидский царь Кир Старший (ок. 558—529 гг. до н. э.), основатель древней персидской державы.

Стр. 37. *...когда после многих бедствий и опасностей я возвратился к покою...*— Саллюстий участвовал в войнах Цезаря против Помпея и его приверженцев (49—45 гг. до н. э.), а после убийства Цезаря (44 г. до н. э.) ушел от политической жизни полностью.

Еще мальчишкою полюбил он междоусобицы, резню, грабежи...— Луций Сергий Катилина родился в 108 г. до н. э. и печально прославился еще во время террора Суллы, расправлявшегося со своими противниками, марианцами (после 82 г. до н. э.).

После единовластия Луция Суллы...— Победивший в гражданской войне Луций Корнелий Сулла был назначен пожизненным диктатором (82 г. до н. э.) — в нарушение всех римских законов и обычаев.

Стр. 38. *Выборные в преклонных годах...*— речь идет о сенате; первоначальное значение этого латинского слова — «совет старейшин».

Стр. 39. *...укрощены войною великие цари...*— Эпирский царь Пирр был окончательно разгромлен римлянами в 275 г. до н. э., сирийский царь Антиох III Великий — в 188 г. до н. э., македонский царь Персей — в 168 г. до н. э., понтийский царь Митридат VI — в 63 г. до н. э.

...исчез с лица земли Карфаген...— в 146 г. до н. э., в результате Третьей Пунической войны (149—146 гг. до н. э.).

Стр. 40. *...к доброму началу присоединив худой исход...*— «Добрым началом» Саллюстий называет успехи Суллы в войне с Югуртой (см. далее, в этом же томе), «худым исходом» — его тиранническое правление.

...войско, которое он водил в Азию...— Сулла воевал в Малой Азии против Митридата VI (Первая Митридатова война) в 88—84 гг. до н. э.

Стр. 40. ...*бескорыстие* — *недоброжелательством* — то есть отказ принять подарок (а по сути дела, взятку) стал рассматриваться как признак затаенной злобы.

Стр. 41. ...*забирают у союзников то, что... оставил... победитель*.— Речь идет о наместниках, грабящих покоренные Римом и подвластные ему земли, население которых получало звание «союзников римского народа».

Стр. 42. ...*блудил... со жрицею Весты*.— Весталка, нарушившая обет целомудрия, подлежала смертной казни — ее зарывали в землю живою; смертью карали и ее соблазнителя. У Катилины, однако, нашлись могущественные покровители, и он, вместе с возлюбленной, был оправдан.

...*Гней Помпей вел войну на краю света*.— С 67 г. до н. э. Помпей вел войны в Малой и Передней Азии и в Закавказье. В Рим он возвратился в 61 г. до н. э.

Календы — первое число каждого месяца по римскому календарю.

Консульство Луция Цезаря и Гая Фигула — 64 г. до н. э.

Сервий Сулла — родной брат Луция Корнелия Суллы. То есть в числе заговорщиков были племянники умершего диктатора.

Стр. 43. *Всадническое сословие* — второе (после сенатского) из привилегированных сословий римского общества. В руках всадников была крупная торговля и — в значительной части — судопроизводство.

...*многие из колоний и муниципиев*.— *Колонии* — военные поселения римских граждан, основывавшиеся на покоренных территориях. *Муниципии* — города и поселения, пользовавшиеся самоуправлением и правом римского гражданства.

Марк Лициний Красс (ок. 115—53 гг. до н. э.) — крупный государственный деятель Рима и первый богач Римского государства.

В консульство Луция Туллы и Манья Лепида — 66 г. до н. э.

...*вновь избранных консулов*.— Консульские выборы происходили обыкновенно за несколько месяцев до вступления новых консулов в должность.

...*за лихоимство*.— Катилина в 67 г. до н. э. управлял провинцией Африка, и как только полномочия его истекли, население тут же обвинило своего управителя в вымогательствах и грабежах.

...*в законный срок* — то есть по меньшей мере за семнадцать дней до выборов; как раз в это время шло следствие, начатое по жалобе африканцев.

Ионы — по римскому календарю, 7-е число марта, мая, июля и октября и 5-е число остальных месяцев.

...*на Капитолии, в январские календы* — то есть в день вступления новых консулов в должность и во время торжественного по этому случаю жертвоприношения в главном храме государства — храме Юпитера на вершине Капитолийского холма (один из семи холмов Рима).

...обеих провинций.— На Иберийском полуострове римляне создали две провинции Испании — Ближнюю и Дальнюю.

Курия — здесь: здание, где заседал сенат.

...квестором с преторскими полномочиями...— Наместниками провинций назначались обычно отслужившие свой годичный срок в Риме консулы и преторы. На этот раз назначается бывший квестор, то есть человек, занимавший лишь первую из четырех высших выборных должностей (магистратур), но его облачают теми же полномочиями, какие мог получить бывший претор.

Стр. 44. *...клиентами Гнея Помпея...*— Древнеримское понятие «клиенты», особой зависимости группы простолюдинов от знатного покровителя (патрона), распространилось впоследствии на города и целые провинции, имевшие в столице своих заступников и покровителей.

...наше государство попало в ничем не ограниченную зависимость от немногих сильных...— то есть во власть партии знати, оптиматов.

Тетрарх — букв. «четверовластник» (греч.) — то есть правитель четвертой части царства, раздробленного победителями. Римляне пользовались этим греческим термином для обозначения мелких властителей, недостойных, по их суждению, царского титула.

Стр. 45. *...проскрипцию богачей...*— то есть обнародование официальных списков с именами граждан, объявляемых вне закона; имущество таких граждан подлежало конфискации в пользу властей, доносчиков и убийц.

Стр. 44. *...впоследствии* — пять лет спустя, когда демагог и смутьян Клодий сумел добиться осуждения и изгнания Цицерона за то, что тот казнил заговорщиков без следствия и суда.

...консульская должность... достанется человеку новому...— «Новыми людьми» называли людей неродовитых. По традиции высшие магистратуры должны были принадлежать лишь тем, кто мог похвастаться знатными предками, в прошлом уже управлявшими государством.

Фезулы — городок неподалеку от нынешней Флоренции.

Стр. 47. *...легко и полностью подчинит себе Антония.*— Консул, избранный на следующий год, уже и до вступления в должность обладал немалым весом и мог влиять на действующих магистратов.

...уговором насчет провинции...— Консулы, еще не вступая в должность, жребием решали, в какую провинцию каждый из них отправится по истечении срока службы в Риме. Цицерону досталась Македония, сулившая богатую военную добычу и воинские почести, но он отказался в пользу Антония, рассчитывая внушить Антонию надежду обогатиться и тем оторвать его от Катилины.

Поле — Марсово Поле на берегу Тибра, где происходили выборы собрания.

Этрурия — область средней Италии к северо-западу от Рима.

Стр. 47. *Камерин* — город в средней части Италии.

Пицен, Апулия — приморские (вдоль Адриатики) области Италии.

Стр. 48. *...созвал главарей заговора.* — Собрание заговорщиков в доме Леки состоялось 7 ноября 63 г. до н. э.

...а господство Суллы потерял свою землю и все добро... — Земля для наделов ветеранам большею частью конфисковывалась.

...из сулланских колоний — то есть из числа самих ветеранов, селившихся кучно, колониями (в римском смысле слова — см. прим. к стр. 43).

...сделал доклад сенату — 21 октября 63 г. до н. э. Саллюстий излагает события не в хронологическом порядке или — скорее — просто путает хронологию.

Стр. 49. *...оба они стояли у стен Рима, не слагая воинской власти, потому что клевета немногих... мешала им получить триумф...* — Квинт Марций Рекс был наместником Киликии (в Малой Азии), а Квинт Метелл Критекский управлял островом Крит; оба вели успешные военные действия, и оба претендовали на высшую воинскую награду — триумфальный вход в Рим. Полководец, удостоившийся триумфа, вступал в столицу, облеченный воинской властью, чтобы сложить ее после окончания триумфального шествия. Во всех прочих случаях должностным лицам с воинской властью доступ в столицу был закрыт; поэтому военачальники, претендовавшие на триумф, должны были ждать решения сената за стенами Рима.

Сестерций — римская серебряная монета.

...гладиаторские трупы разместить в Капуе и в прочих муниципиях... — то есть удалить их из Рима, поскольку Катилина считал возможным обратиться за поддержкой к рабам, в том числе — и даже в первую очередь — к гладиаторам.

...на основании Плавтиева закона. — Этот закон, принятый за 15 лет до описываемых событий, был направлен против тех, кто нарушает покой государства с оружием в руках.

...произнес блестящую и полезную для государства речь... — Она вошла в историю под названием «Первой речи против Катилины» и была произнесена 8 ноября.

Стр. 50. *...Огонь... погребу под развалинами* — то есть потушу пожар, разрушив горящее здание.

Император — в республиканском Риме военачальник, облеченный высшей военной властью («импернум»). Кроме того, это был почетный титул, который сами воины давали своему начальнику в награду за удачные боевые действия.

...прибегнуть, по обычаю предков, к защите закона... — Еще в 326 г. до н. э. был издан закон, запрещающий отнимать у несостоятельных должников все имущество и обращать их в рабство.

...вместо серебра уплатили заимодавцам медью — то есть вместо серебряного сестерция платили медный асс, стоивший вчетверо дешевле сестерция. Этот закон был принят в 86 г. до н. э.

...народ... брался за оружие и уходил от патрициев.— Римский плебс неоднократно уходил из города (V—III вв. до н. э.) в знак протеста против социальных или политических притеснений. Эти демонстративные массовые уходы получили название «сецессий».

Стр. 51. *Массилия* (нынешний Марсель) — старинная греческая колония, сохранявшая политическую независимость и, следовательно, способная предоставить убежище добровольному изгнаннику из Рима.

Твоя исключительная верность, испытанная на деле...— Возможно, Катилина намекает на то, что Квинт Катул выступил его защитником, когда его обвиняли в растлении весталки Фабии.

Арретий — город в Этрурии.

...с ликторскими связками и прочими знаками верховной военной власти...— Знаками этой власти, кроме почетных охранялков-ликторов со связками розог и воткнутыми в них топорами, были: тога с широкой пурпурной каймой, особое кресло, называвшееся курульным, и скипетр слоновой кости.

Стр. 52. ...в консульство Гнея Помпея и Марка Красса была восстановлена должность народных трибунов...— в 70 г. до н. э. Трибунат был фактически ликвидирован Суллой в 81 г. до н. э.

Стр. 53. ...Гней Помпей был отправлен на войну с пиратами и с Митридатом...— в 67 г. до н. э. Пираты, гнездом которых была Киликия (в юго-восточном углу Малой Азии), до того усилились и обнаглели, что судоходство на Средиземном море почти замерло, и Рим был вынужден выслать против них своего лучшего полководца. Война Помпея с Митридатом — Третья (и последняя) Митридатова война.

...некто более сильный вырвал бы у них... и власть и самое свободу — по-видимому, намек на Помпея, который не преминул бы воспользоваться новой гражданской войной.

Аллоброги — галльское племя, обитавшее на юго-востоке нынешней Франции. Они были покорены примерно за шестьдесят лет до описываемых событий и за эти годы успели окончательно обнищать под римским управлением.

Стр. 54. *Семпрония* — супруга Децима Юния Брута.

...в Галлии, Ближней и Дальней — то есть на галльских землях по обе стороны Альп. *Бруттий* — область на крайнем юго-западе Апеннинского полуострова.

Стр. 55. *Кротон* — город в Бруттии.

Ты должен искать помощи у всех, даже у самых низших — то есть поднимать рабов, суля им свободу.

Мульвийский мост — через реку Тибр, в 9 км к северу от Рима.

Стр. 56. *Террацинец* — житель Террацины, приморского города к юго-востоку от Рима.

Лентула, который был претором, консул повел в сенат сам...— поскольку закон гарантировал личную неприкосновенность высшим должностным лицам. Это заседание сената состоялось 3 декабря 63 г. до н. э.

Сивиллины книги — пророческие книги, одна из важнейших святынь Римского государства. По преданию, они были куплены последним римским царем Тарквинием Гордым у пророчицы Сивиллы.

Цинна — Луций Корнелий Цинна, консул 87 г. до н. э. После отъезда Суллы на войну с Митридатом Цинна совместно с вождем демократической партии Марием силой захватил власть в Риме, а после смерти Мариа, в 85 и 84 гг. до н. э., по сути дела единовластно правил всей западной половиною Римской державы.

...под вольною стражею — то есть под своего рода домашним арестом, только не в собственном доме, а в доме того лица, под охрану которого передавали арестованного.

Стр. 57. *...чтобы сенату об этом было доложено особо* — то есть чтобы консул лично занялся этим донощиком и о результатах расследования доложил сенату.

Стр. 58. *...в ходе суда за вымогательства...*— Пизон управлял Транспаданской (т. е. расположенной по дальнюю от Рима сторону реки Пад, ныне По) Галлией (другой ее границей были Альпийские горы) и был обвинен в ограблении провинции.

...исправляя должность, устраивал небывало пышные зрелища...— Речь идет о должности эдила, которую Цезарь занимал в 65 г. до н. э. и которая в I в. до н. э. непременно была сопряжена с устройством на собственный счет развлечений для народа.

...созвал сенат...— 5-го декабря.

Тиберий Нерон — дед будущего императора Тиберия.

...после того, как будут сняты караулы — то есть когда опасность гражданской войны минует и обстановка станет более спокойной.

Стр. 60. *...тебя, консула следующего года...*— Цезарь иронически намекает на то, что человеку, которому в следующем году предстоит возглавить государство, неизвестны законы и обычаи этого государства.

Порцеев закон — закон, принятый в 198 г. до н. э. и запрещающий подвергать римских граждан телесным наказаниям.

После победы над афинянами...— в Пелопоннесской войне (431—404 гг. до н. э.).

Стр. 61. *...умертвить Дамасиппа и прочих того же разбора людей...*— Претор Дамасипп, прославившийся во время владычества марианцев жестокими расправами над сторонниками Суллы, был убит в числе остальных захваченных в плен марианцев (82 г. до н. э.).

Самниты — италийское племя, обитавшее к востоку от Латия (земли латинян).

Стр. 62. ...*микому по этому поводу ни к сенату, ни к народу не обращаться* — то есть не поднимать вопроса о помиловании или освобождении заговорщиков.

Марк Порций Катон — видный политический деятель, впоследствии — самый принципиальный и последовательный противник рвавшегося к единоличной власти Цезаря. В описываемое время он был избран народным трибуном на следующий, 62 г. до н. э. Строгий моралист и приверженец староримской доблести, последовательный стоик, человек высочайшей нравственной силы, Катон уже теперь считает Цезаря беспринципным политиканом, прожженным циником и, разумеется, безбожником. После победы Цезаря над Помпеем в Гражданской войне Катон покончил с собой, хотя Цезарь, бесспорно, сохранил бы ему жизнь.

Стр. 64. *В Галльскую войну Авл Манлий Торкват...*— Это событие из древней истории Рима передано Саллюстием неточно: оно произошло во время войны римлян со своими ближайшими соседями, латинянами (IV в. до н. э.), и консула, который казнил своего сына за нарушение дисциплины, звали не Авл, а Тит.

...*если это он впервые затевает войну против отечества.*— Цетег (отнюдь не юноша) принимал участие и в первом заговоре Катилины.

Стр. 65. ...*совершенно новой войны...*— Цезарь хотел воевать в таких краях, где еще не ступала нога римского солдата, и его желание сбылось: восемь лет (58—51 гг. до н. э.) он провел за Альпами, покоряя римской власти галльские и германские племена и земли, и проник даже в Британию.

Триумвиры — особая коллегия из трех человек, ведавшая тюрьмами, казнями, а также охраною порядка в ночное время.

...*в тюрьму.*— Речь идет о так называемой «Мамертинской тюрьме» у подножья Капитолийского холма.

Стр. 66. *Туллиева темница* — называлась так потому, что, по преданию, была сооружена царем Сервием Туллием.

Фут — Римский фут равен примерно 30 см.

...*на два легиона...*— Он действует в согласии с древней традицией, по которой каждому консулу на войне сенат, как правило, подчинял два легиона.

...*легионы достигли надлежащей численности...*— Число воинов в легионе было тогда около 6000, в когорте — около 600.

...*полное воинское вооружение* — щит, шлем, панцирь, копьё, меч.

...*через крутые горы* — то есть через Апеннины.

Пистория — городок в Этрурии.

Стр. 68. *Центурионы* — букв. «сотники», младшие командиры в римском войске.

Колонисты — ветераны Суллы.

Стр. 68. ...*подле орла, который... был у Гая Мария во время войны с кимврами.*— Серебряное изображение орла на длинном древке служило знаменем легиона. Очень опасная для Рима война с германскими племенами кимвров и тевтонов происходила в 105—101 гг. до н. э. Командующим в этой войне, начиная со 104 г., был Гай Марий, понесший германцам несколько страшных поражений.

...*то трибуном, то префектом, то легатом.*— Военные трибуны — выборные должностные лица, которые прикомандировывались к главнокомандующему, чтобы по очереди нести начальство над легионами (на каждый легион было по шести трибунов). *Префект* — здесь: командующий конницей. *Легат* — здесь: помощник главнокомандующего (легатов главнокомандующий выбирал себе сам).

Стр. 69. *Преторская когорта* — личная охрана командующего, составленная из отборных бойцов.

...*кто гостеприимца.*— Союзы взаимного гостеприимства связывали жителей различных городов: гостеприимец не только принимал и содержал чужеземца в своем доме, но и оказывал ему, обычно совершенно бесправному на чужбине, помощь и защиту. Такие связи передавались из рода в род.

Война с Югуртой

Стр. 71. ...*и Квинт Максим, и Публий Сципион.*— Речь идет, скорее всего, о родных братьях, Квинте Фабии Максиме Эмилиане и Публии Корнелии Сципионе Эмилиане Африканском Младшем (II в. до н. э.). По рождению они принадлежали к знатному и древнему роду Эмилиев, а затем, через усыновление, вошли в не менее древние и не менее прославленные в римской истории роды — Фабиев Максимов и Корнелиев Сципионов.

...*изображения предков.*— Знатные семьи хранили в парадных залах своих домов восковые изображения предков (маски), начиная с того, кто первым занял одну из высших выборных должностей; по торжественным случаям маски выставлялись на всеобщее обозрение. Это было одною из привилегий знати.

Стр. 72. ...*война и опустошение Италии положили предел гражданским смутам.*— Речь идет о многолетней борьбе приверженцев Мария и Суллы.

Масинисса.— Он управлял восточной частью Нумидии и сперва был союзником Карфагена, но в последние годы войны перешел на сторону римлян.

Публий Сципион — Публий Корнелий Сципион Африканский Старший, крупнейший римский полководец; под его командованием римляне высадились в Африке и победоносно завершили Вторую Пуническую войну. До высадки в Африке Сципион воевал в Испании и полностью

изгнал карфагенян с Иберийского полуострова. Там и состоялось его первое знакомство с Масиниссой.

Сифак — царь западной Нумидии. Его путь противоположен пути Масиниссы: он изменил римлянам и поддержал Карфаген.

...конец его жизни... — Масинисса умер ок. 150 г. до н. э.

Стр. 73. *Пумантинская война* (143—133 г. до н. э.) — война в Испании, получившая свое имя от города Нуманции, пятнадцатимесячной осадой которого она завершилась.

Вспомогательные отряды — отряды «союзников римского народа» (к числу которых принадлежали и нумидийцы), в отличие от римских легионов, составлявших ядро войска.

Публий Сципион — упоминавшийся выше Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Младший, победитель Карфагена в Третьей Пунической войне (149—146 г. до н. э.).

Стр. 74. *...совсем недавно...* — Сильное преувеличение: со времени Пумантинской войны миновало около 15 лет.

В Испании вновь прогремело имя нашего рода. — Во Вторую Пуническую войну Масинисса (еще на стороне карфагенян) действовал в Испании с большим успехом.

Стр. 76. *...был прежде старшим миктором у Югурты...* — У Саллюстия (как и вообще в античной историографии) сугубо римские термины часто употребляются в применении к чуждым, перимским условиям жизни.

...бежал в Провинцию... — Римская провинция Африка занимала территорию к востоку от Нумидийского царства.

Стр. 78. *Неужели всегда утопать ей в крови, в насилии, страдать в изгнании?* — Во время Второй Пунической войны Сифак лишил Масиниссу царства, и тот скитался на чужбине, пока римляне не разгромили и Сифака, и самих карфагенян.

Стр. 80. *...в свое консульство...* — Луций Опиций (так же, как названный выше Марк Эмилиий Скавр) был одним из влиятельнейших вождей аристократической партии (оптиматов). В 121 г. до н. э., будучи консулом, он разгромил реформаторское движение Гракхов, возглавленное (после гибели Тиберия в 133 г. до н. э.) младшим из Гракхов, Гаем; среди прочих были убиты Гай Гракх и его ближайший единомышленник Фульвий Флакк, консул 125 г. до н. э. Эта победа была началом своего рода террора оптиматов. Посольство Опиция приходится, по-видимому, на 117 г. до н. э. А восемь лет спустя Опиций был изобличен в лихоимстве, осужден и умер в изгнании.

Стр. 81. *Наше море.* — Так римляне называли Средиземное море.

Катабатм — греческое слово, обозначающее «спуск»; Саллюстий вычитал его у кого-либо из греческих писателей, послуживших источниками для этих глав «Войны с Югуртой». Равнина, о которой здесь говорится, расположена к западу от Египта: Египет древние включали в Азию,

Стр. 81. *Гиемпса* — царь Нумидии, вступивший на престол в 88 г. до н. э.

После гибели Геракла... — Именем греческого героя Геракла в греко-римском мире называли пунийского бога Мелькарта, чей культ завезли в Испанию финикийские колонисты.

...персы — ближе к Океану — то есть персы заселили крайний запад средиземноморского побережья и часть земель, выходящих к Атлантике.

...сами прозвали себя номадами. — Происхождение слова «нумидиец» неизвестно. Древние греки — путем ложного этимологизирования — возводили его к своему *nomades*, то есть пастухи или кочевники. Это толкование и предлагает здесь Саллюстий.

Стр. 82. *Африканское море* — та часть Средиземного моря, что омывает берега Африки.

...финикийцы... основали на берегу моря города... — Начало финикийской колонизации в Испании и северной Африке относится к XII—XI вв. до н. э.

Ферейцы — греки, жители острова Фера (Тера) в Эгейском море (ныне Санторин).

Оба Сирта — заливы Большой и Малый Сирт.

Стр. 83. *И вот внезапно вторгается он...* — в 113 г. до н. э.

Цирта — столица нумидийского царства, стояла на месте нынешней Константины в Алжире. «Невдалеке от моря» — ошибка Саллюстия.

...множество италийцев... — купцы из Италии, имевшие постоянное жительство в нумидийской столице.

Стр. 85. *...в прошлом консул, а тогда первый в сенаторском списке.* — Консульство Скавра — 115 г. до н. э. Списки членов сената составлялись цензорами раз в пять лет; первым в список заносили того из сенаторов, кто пользовался наибольшим уважением. При обсуждении дел этот «первоприсутствующий» первым подавал свое мнение и, таким образом, мог оказать существенное воздействие на ход дебатов и голосование.

Утика — столица римской провинции Африка и резиденция наместника.

Стр. 86. *Семпрониев закон* — закон, предложенный Гаем Семпронием Гракком в 123 или 122 г. до н. э. и устанавливавший, что сферы деятельности консулов будущего года (провинции — таково первоначальное значение этого слова) должны назначаться сенатом еще до консульских выборов.

Стр. 87. *Регий* — город на юго-западной оконечности Апеннинского полуострова.

...перед советом... — Военный совет при командующем составлялся из легатов, военных трибунов, наиболее заслуженных центурионов и сенаторов, находившихся в лагере или по соседству от него.

...уехал в Рим руководить выборами.— Его присутствие было необходимо, так как выборы высших должностных лиц должен был проводить только консул, а товарищ Кальпурний по консулату, Сципион Назика, умер.

Стр. 88. ...*вот уже пятнадцать лет...*— Число названо приблизительно (Саллюстий вообще равнодушен к цифрам): со времени гибели младшего Гракха, на которую намекает Меммий, прошло 20 лет.

...*пусть возвращать народу его права означает готовить себе царский венец...*— Обоих Гракхов, особенно Тиберия, обвиняли в стремлении сделаться царями в Риме.

Стр. 89. *Одни умертвили народных трибунов...*— снова намек на убийство Гракхов.

...*уходили на Авентин*— сецессии 494 и 449 гг. до н. э. Позже Авентинский холм был включен в городскую черту Рима.

Стр. 91. ...*как врага государства...*— то есть не признавать законной силы за перемирием, которое заключил с Югуртой Кальпурний Бестиа.

...*запретил царю говорить...*— Бебий воспользовался тем правом, которое ему давала должность народного трибуна.

Стр. 92. ...*для первого слушания...*— Разбирательство по делу об убийстве Массивы было, по-видимому, поручено особому трибуналу. Первое его заседание оставило Бомилькара на свободе, приняв залог от пятнадцати римских граждан. На второе Бомилькар не явился, и залог был потерян для поручителей.

Стр. 93. ...*в ту пору*— во второй половине 110 г. до н. э.

...*эта задержка внушила надежду... выиграть войну...*— Несогласие между трибунами мешало провести выборы, а не покончив с выборами, Альбин не мог возвратиться к войску; таким образом, срок временного командования Авла удлинялся.

Стр. 94. *Турма*— подразделение конницы численностью в тридцать всадников.

...*когорта лигурийцев...*— Вспомогательные отряды союзников состояли из когорт по 400—600 бойцов каждая. Всякий союзный город, или племя, или федерация племен формировали свои когорты, которые и назывались их именем.

...*проведа под игом...*— Это был самый тяжкий позор для воинов и войска в целом. «Позорное иго» устраивали из трех копий: два втыкали в землю параллельно, третье прилаживали сверху, наподобие перекладной.

...*союзников и латинян...*— Население Латия (Лациума), первым покоровшееся власти Рима, имело, по сравнению с другими италийскими племенами, особые права и привилегии, а потому всегда упоминается особо, помимо прочих союзников.

Стр. 95. *Следствие велось...*— Многие были осуждены этим чрезвы-

чайным трибуналом, в их числе — и упоминавшийся в гл. XVI Луций Опимий, и Спурий Альбин.

Стр. 96. *...триумвира-основателя колоний...*— Осуществляя свою аграрную реформу, Гай Грахх наделял неимущих землею из пустующего (или незаконно захваченного знатью) общественного поля, а для этого основывал колонии римских граждан.

Стр. 97. *...проконсул Спурий Альбин...*— Сложив с себя консульское достоинство и обязанности командующего, Альбин продолжал управлять провинцией Африкой и был наместником в ранге консула.

Стр. 99. *Велиты* — пехотинцы, вооруженные всего легче: кожаный шлем, маленький круглый щит, короткий меч и несколько дротиков. Это были «застрельщики», начинавшие бой.

Стр. 100. *Манипул* — подразделение пехоты в римском легионе, состоявшем из тридцати манипулов (100—120 бойцов в каждом). К бою легион строился в три линии — по манипулам: 1 линия — 10 манипулов гастатов (молодых воинов), 2 линия — 10 манипулов принципов (опытных бойцов), 3 линия — 10 манипулов триариев (ветеранов).

Стр. 105. *...они были самыми надежными, потому что изменить не могли.*— Дорога назад им была закрыта наглухо: по римским военным законам, перебежчиков ждала неизбежная, мучительная и позорная казнь — их засекали розгами до полусмерти, а потом обезглавливали.

Стр. 108. *...двести тысяч фунтов серебра...*— Римский фунт весил 327,5 г.

Примерно в эту же пору...— в начале 108 г. до н. э.

Он родился...— в 155 г. до н. э.

Арпин — город в средней Италии, к юго-востоку от Рима.

Стр. 109. *Трибы* — административно-территориальные округа в древнем Риме. В изображаемую Саллюстием пору и позже их было 35, и все новые граждане приписывались к этим, уже существующим трибам. При выборах военных трибунов и в некоторых иных случаях голосование производилось по трибам.

А молодому Метеллу было тогда от роду лет двадцать...— Для консула возрастной ценз был 43 года.

Стр. 111. *...около третьего часа...*— Римляне делили сутки на день (с 6 утра до 6 вечера) и ночь (с 6 вечера до 6 утра). Около третьего часа дня — на наш счет в девятом часу утра.

...в одной миле...— Римская миля («mille» — по-латыни «тысяча») — тысяча двойных шагов, около 1,5 км.

Стр. 112. *Он был гражданином Латия* — то есть законы, запрещавшие подвергать римского гражданина телесным наказаниям, на него не распространялись.

Стр. 114. *...консульство — впервые после долголетнего перерыва! — досталось новому человеку.*— Марий был избран консулом на 107 г.

до н. э. Со 130 г. до н. э. ни один плебей должности консула не занимал.

Стр. 116. *От слова «тянуть» и зовутся они Сиртами.*— «Тянуть» по-гречески «суго»; этимологии весьма сомнительная.

Стр. 121. *...копья, флаг, фалеры и другие воинские награды...*— Наградами в римском войске служили: почетные копья без наконечников, флажки наподобие вымпелов (синие для моряков, пурпурные для пехотинцев), металлические медальоны (фалеры), золотые и серебряные запястья и ожерелья, серебряные рожки (украшение для шлема), разного рода венки.

Стр. 123. *...не по обычаю предков, не по разрядам...*— По древнему обычаю, все римские граждане разделялись на шесть имущественных разрядов — в зависимости от размеров своего состояния; имущественным разрядом определялось и то положение, которое каждый из граждан занимал при прохождении военной службы. Лица, объединявшиеся в шестом, низшем разряде — неимущие, или пролетарии (т. е. те, чья собственность состоит лишь в потомстве), — были свободны и от воинской, и от всех прочих общественных обязанностей.

Стр. 125. *Центурия* — наименьшее подразделение пехоты в римском легионе: манипул состоял из двух центурий. Во главе каждой центурии стоял центурион.

Стр. 128. *...квестор Луций Сулла...*— Не вполне точно. Луций Корнелий Сулла был квестором в предыдущем, 108 г. до н. э. (тридцати лет от роду). К Марию, служить под началом которого ему выпало по жребию, Сулла явился уже проквестором, то есть исполняющим обязанности квестора.

Луций Сизенна (ум. в 67 г. до н. э.) — автор исторического сочинения, где изображались события Гражданской войны между Марием и Суллой, а также последующие события, вплоть до смерти Суллы. Он был ревностный оптимат и сулланец.

Не было человека удачливее его...— После окончания Гражданской войны Сулла принял прозвище Феликс, то есть Счастливый.

Что же касается его дальнейших поступков...— то есть всех ужасов и беззаконий времен сулланской диктатуры.

Стр. 129. *Когда Сулла... прибыл с конницей в Африку...*— в 106 г. до н. э.

Стр. 133. *...та часть Нумидии, откуда он изгнал Югурту, сделалась по праву войны его владением...*— Бокх жлет, стараясь оправдаться перед римлянами.

Стр. 134. *Претор Луций Беллиен.*— По-видимому, он управлял провинцией Африкой в звании пропретора.

...под охраню... баlearских пращников.— Жители Баlearских островов считались лучшими в мире стрелками из пращи.

Пеллины — италийское племя.

Стр. 136. ...из «пунийской честности»...—Коварство карфагенян (пунийцев) вошло у римлян в пословицу.

Стр. 138. ...Югурту в оковах выдали Сулле...—Югурта был захвачен в плен к концу лета 105 г. до н. э.

...нашим полководцам... нанесли поражение галлы.—«Галлами» Саллюстий ошибочно именует кимвров и другие кочевые германские племена, которые 6 октября 105 г. до н. э. разгромили римлян близ нынешнего французского города Оранжа.

...в январские календы новый консул с великою славою справил триумф.—День первого января 104 г. до н. э. был, таким образом, двойным праздником для Мариа: он праздновал вступление в консульскую должность и победу над Югуртой. Пленный царь с двумя сыновьями шел перед колесницею триумфатора. После окончания триумфального шествия его бросили в ту же темницу, где сорок с лишним лет спустя были казнены сообщники Катилины (см. «Заговор Катилины», LV и примечания к этой главе). Там Югурту морили голодом шесть дней, а потом, по приказу Мариа, удавили.

С. Маркиш

ТИТ ЛИВИЙ

История от основания Рима

Перевод I книги сделан по изданию Б. О. Фостера (в «Loeb Classical Library») с учетом некоторых чтений, предлагаемых в новейшем научном комментарии Оджилви (R. M. Ogilvie, A. Commentary on Livy Books 1—5, Oxford, 1965). Этот комментарий использован и при составлении примечаний. XXI книга печатается в старом переводе известного филолога и популяризатора античной литературы Ф. Ф. Зелинского. По комментарию Ф. Зелинского составлены и примечания к XXI книге.

Книга I

[Рим под властью царей]

В книге повествуется о событиях, связывавшихся с основанием Рима, и о событиях так называемого «царского периода» (римские авторы отнесли его к 1—244 гг. от основания Рима, т. е. к 753—510 гг. до н. э.). Материал книги представляет собой пестрый комплекс легенд (местных, греческих, семейных преданий и т. п.), домыслов (не всегда обоснованных), анекдотов (подчас заимствованных из истории других стран). Все это должно было облечь живой плотью немногие скудные сведения (имена, даты, факты), дошедшие от глубокой старины до первых историков. Ко временам Ливия весь материал был уже сведен воедино несколькими поколениями писателей; исторические лица, о которых не зна-

ли ничего достоверного, получили характеры в соответствии с разработанной схемой истории города.

Достоверность исторического предания оценивали в разные времена по-разному. Еще недавно ему полностью отказывали в доверии, сейчас к нему подходят более внимательно. Но предание и само — памятник тех времен, когда оно складывалось, и может много рассказать о том, как древние римляне писали историю своего далекого прошлого, как они на нее смотрели.

Стр. 143. *Эней* — герой Троянской войны, родственник троянского царя Приама. Около VI в. до н. э. греческое предание о переселении Энея в Италию укоренилось среди этрусков, от которых было усвоено римлянами. Впоследствии, в сочинениях римских писателей, оно было сведено с легендой об основателе Рима Ромуле.

Антеор — один из старейших троянцев, оказавший гостеприимство Менелаю и Одиссею, когда те явились в Трою требовать выдачи Елены. Ему приписывалось основание Патавнии (совр. Падуя) — родного города Ливия; поэтому Ливий и начал свой труд с рассказа об Антеноре, соединив таким образом историю своей родины к истории Рима.

Пафлагония — страна в Малой Азии.

Пилемен — по греческим сказаниям, царь пафлагонцев, союзник Приама. Убит Менелаем.

Эвтанеи и венеты — народы, населявшие некогда Северную Италию. Венетов греки отождествляли (из-за случайного созвучия) с пафлагонским племенем *энетов*.

Место... зовется Троей... — случайное совпадение названий, способствовавшее распространению легенд об Энее.

Лаврентская область — участок береговой полосы к югу от устья Тибра. Здесь, по преданию, находился некогда город Лаврент.

Латин — легендарный родоначальник латинян. Существовали легенды, называвшие его отцом или дедом Ромула.

Аборигены — буквально значит «исконные» (жители). У Ливия — имя собственное.

Пенаты — боги-хранители дома, его благополучия и благосостояния (от л а т. «penus» — «кладовая»).

Стр. 144. *Ругулы* — народ, родственник латинянам, испытавший сильное влияние этрусской культуры. Для VIII в. этрусское имя *Турна* и его этрусские симпатии — анахронизм.

Цере — древний город к северо-западу от Рима (примерно в 40 км) и в нескольких километрах от моря. Древнейшие погребения здесь датируются рубежом VIII и VII вв. до н. э.

Юлии — знатный римский род, выводивший себя из Альбы; связывали имя своего легендарного родоначальника *Юла* или *Ила* (которого отождествляли с Асканием) с названием Илиона (Трои).

Стр. 144. *Альба Лонга* (лат. «Длинная Альба») — древний город в 25—30 км к юго-востоку от Рима. По данным археологии, был основан на несколько десятилетий (не столетий, как в римской традиции) раньше Рима; население обоих городов принадлежало к одной народности и одной культуре.

Стр. 145. ...*Сильвий... рожденный в лесу* — (от лат. «silva» — «лес»). Когда хронологические изыскания греческих историков заставили римлян осознать четырехвековой разрыв между предполагаемыми датами падения Трои и основания Рима, то, чтобы заполнить чем-нибудь этот промежуток времени, и была придумана вся династия Сильвиев. К ней присоединили и *Нумитора с Амулием*, о которых рассказывалось в легендах о Ромуле.

«Старые латиняне» — название явно позднейшее (не раньше IV в. до н. э.). Служило, чтобы отличать города «латинского права» от городов, издревле населенных племенами латинян. Такой же анахронизм и самое сообщение о выведенных поселениях.

Руминальская смоковница. — Это название римляне производили от имени Румины — древней богини вскармливания младенцев (смоковница содержит млечный сок, плод ее формой похож на женскую грудь), а некоторые нынешние ученые — от этрусского имени, связанного с наименованием Рима (следовательно, и с именем Ромула). Стояла ли на юго-западном углу Палатина, то ли на площади народных собраний — Комции, куда будто бы была чудесно перенесена.

Стр. 146. *Ларенция* — первоначально богиня Акка Ларенция (т. е. «мать Ларов»); отождествление ее с волчицей, выкормившей Ромула и Рема (которые считались ларами — богами-хранителями — города Рима) привело к дальнейшей рационализации мифа (лат. «lupa» — «волчица», в просторечии также «потаскуха»).

Луперкалии — римский обряд: 15 февраля юноши-патриции бегали обнаженными, ударяя встречных ремнями из козлиной кожи. Название связано со словом lupus — «волк», но его точное значение неясно, как и смысл обычая. Римские авторы считали его церемонией, возбуждающей плодородие, современные ученые — примитивным пастушеским обрядом. Поиски греческих аналогий заставили связать Луперкалии с аркадским (*Аркадия* — область в Пелопоннесе) культом Ликейского («Волчьего») Пана. С этим связан и миф об аркадянке *Эвандре Инуй* — италийское божество, отождествлявшееся с Паном или Фавном.

Паллантей (точнее Паллантий) — город, откуда, по легенде, прибыл в Италию Эвандр. Приведенное здесь объяснение названия Палатинского холма не было единственным и в древности.

Стр. 147. *Теперь единственным властителем остался Ромул...* — Предание относит его царствование к 753 (когда, по легенде, был основан Рим) — 717 гг. до н. э. Вся «биография» Ромула скроена из разного

рода мифов и легенд. Исторической основой ее можно считать разве только смутное воспоминание о возникновении города из слияния нескольких латинских и сабинских поселений.

Прежде всего Ромул укрепил Палатинский холм...—Здесь действительно обнаружены археологами древнейшее поселение середины VIII в. до н. э. Расположенные вокруг Палатина холмы (Капитолий, Квиринал, Эсквилин, Целий, Авентин и — на правом берегу Тибра — Яникул) постепенно присоединялись к городу.

Стр. 148 *...ластух, по имени Как...*— Рассказ о *Геркулесе* и *Каке*, соединяющий черты греческой и итальянской версии мифа, должен был объяснить происхождение культа Геракла при так называемом «*Великом алтаре*» (близ Большого цирка). Этот культ вначале был частным — двух родов: *Потиццев* и *Пинариев*. *Как* — первоначально имя местного божества, но по-гречески *какос* — «дурной», отсюда — снижение образа.

...искусству письма...— Римляне приписывали Эвандру введение в употребление латинского алфавита.

Кармента (от «*carmen*» — «заключение», «пророчество», «песнь») — одно из древнейших итальянских божеств, впоследствии отождествленное с матерью Эвандра, — по греческим сказаниям, аркадской нимфой.

Стр. 149. *Убежище* — на Капитолийском холме (в роще между двумя вершинами холма); существовало еще до включения холма в границы города. Впоследствии учреждение его было приписано Ромулу.

Стр. 150. *Консуалии* — праздник Копса (бог житницы и амбара). Под этрусским влиянием стали сопровождаться конными состязаниями, а греческое влияние заставило переосмыслить это празднество как торжество в честь *Нептуна Конного* (так как греческий Посейдон — бог моря, с которым отождествлялся Нептун, — был и богом лошадей).

Ценицы, Крустумицы, Антемняне — жители соседствовавших с Римом поселений: Ценин, Крустумерия, Антемп. Из них лишь Антемпны (при впадении р. Антеца в Тибр) существовали во времена Ливия. На месте Антемп (как и на предполагаемых местах двух других городов) археологи обнаружили остатки древнейшего поселения, поглощенного затем Римом (по не ранее VII в. до н. э., тогда как Ромул царствовал, по преданию, в VIII в. до н. э.).

Сабиняне — народ, живший по соседству с древними латинянами. Археологи различают древнейшие (VIII — начало VII в. до н. э.) поселения этих народов на холмах будущего Рима. Слияние двух этнических элементов в римской общине и отразилось в предании о похищении сабининок.

Талассию — свадебный возглас, непонятный уже самим римлянам. Рассказ Ливия — лишь одно из предлагавшихся объяснений.

Стр. 151. *Тит Таций* — должен был олицетворять сабинский элемент в городе, а совместное царствование его с Ромулом — давать историче-

ский прецедент для власти двоих консулов в римской республике (чтобы подчеркнуть преемственность государственного устройства).

Стр. 151. *Юпитер Феретрийский* — чье прозвище происходит, видимо, от лат. «ferre», т. е. «нести», «приносить» (доспех для посвящения), — почитался как воинское божество.

Стр. 152. *Крепость* (римский кремль) — находилась на одной из двух вершин Капитолийского холма.

...его дочь... — легенда о предательнице Тарпее, дочери *Спурия Тарпея*, связанная с названием Тарпейской скалы — крутого обрыва на Капитолии, откуда сбрасывали предателей и других преступников. Чтобы усугубить вину Тарпей, римские писатели сделали ее весталкой (хотя учреждение этого рода жриц в Риме приписывалось Нуме, см. гл. 20). Отголоски этой версии есть и у Ливия («дева», «вышла за водой для священнодействий»). Римский историк II в. до н. э. Пизон («некоторые утверждают») пытался, отталкиваясь от той же легенды, по-иному истолковать образ Тарпей.

Меттий Курций и *Гостий Гостилий* — целиком принадлежат легенде. Гостий Гостилий был выдуман, чтобы не оставить без доблестных предков царя Тулла Гостилия (о нем см. гл. 21—31). Противник Гостия Меттий Курций — своеобразное «удвоение» фигуры Меттия Фуфетия (противника Тулла Гостилия).

Старые ворота Палатина — северные («Мугнионские») ворота первоначального города, располагавшегося на Палатине.

Стр. 153. *Храм Юпитера Становителя* (Stator) — был воздвигнут в начале III в. до н. э. во время Самнитских войн якобы на месте более раннего, основанного Ромулом. Прозвище Stator впоследствии получило политическое истолкование (бог — блюститель стойкости государства), но военное, какое мы находим у Ливия, — более раннее.

Форум — главная площадь Рима — в низине между Палатином и Капитолием. Место это было освоено при Тарквиниях.

Стр. 154. *Куры* — сабинский город в 34 километрах к северо-востоку от Рима. Слово «*квириги*» происходит, видимо, не от названия этого города, но от корня, близкого со словом «курия» (политическая общность, связанная общими религиозными обрядами).

Курцеево озеро — естественное углубление на Форуме, почитавшееся священным.

Курии. — Деление римского народа на три трибы (о которых Ливий не говорит) и 30 курий — древнейшая политическая система, известная нам в Риме. Названия древнейших триб — те же самые, что и «Ромуловых» всаднических *центурий* (сотен), — в действительности, этрусского происхождения. Названия курий, насколько они известны, происходили от топонимов и родовых имен.

Стр. 154—155. *Фиденя* — древний город примерно в 6—8 километрах к северу, *Вейи* — в 20 километрах к северо-западу от Рима. Войны Ро-

мула с ними — легендарный прецедент для позднейших (конец V в. до н. э.) войн с этими городами.

Стр. 156. «Быстрые» — обычно их отождествляют с тремя центуриями всадников, упомянутыми в гл. 13.

Козье болото — озеро или болото на Марсовом поле.

Прокул Юлий — по рассказам других авторов, был альбанцем, пришедшим в Рим. Предание о нем, видимо, исходит из рода Юлиев, которые производили себя из Альбы, но притязали и на роль в событиях, связанных с основанием Рима.

...*сшедший с неба*...— Представление о божестве, сходящем с неба, заимствовано у греков, но запрещение взирать на божество отражает римское понятие (римляне молились, закрыв голову покрывалом).

Стр. 157. *Нума Помпилий* (царствовал, по преданию, в 715—672 гг. до н. э.).— В рассказах древних историков об этом царе лишь сведения о его имени (и, возможно, о сабинском происхождении) основаны на каких-то реальных данных. Предание рисует Нуму царем-жрецом (традиционная противоположность образу царя-воина) и приписывает ему основы римских религиозных установлений (отмечены этрусским влиянием и, по мнению исследователей, не древнее конца VII в.). Рассказывал о них в общих чертах, Ливий главное внимание уделяет заботе Нумы о поддержании мира, законах, общественной нравственности. В век Августа это звучало злободневно, перекликаясь и с официальной идеологией.

Пифагор — греческий философ VI в. до н. э. С 530 г. жил в греческих городах южного побережья Италии. Греческие писатели сближали приписывавшуюся Нуме религиозно-политическую систему с пифагореизмом и объявили Нуму учеником Пифагора. Ранние римские авторы приняли эту версию, но потом разработка вопросов хронологии заставила от нее отказаться.

Метапонт и Гераклея — города на берегу нынешнего залива Таранто, *Кротон* — южнее — на Ионическом море.

Стр. 158. *Храм Януса* — так обычно называют это небольшое четырехугольное строение с воротами с обоих концов. У Ливия оно, строго говоря, именуется просто «Янус», то есть «врата» (у некоторых других писателей — «врата войны»). Они стояли на Форуме у начала улицы *Аргилета*. *Янус* — бог входов и выходов, освящавший всякое начинание.

...*закрывали его дважды*...— Мирных периодов в истории Рима было, конечно, больше. Видимо, самый обычай существовал не всегда. При Ливии он был возрожден Августом (который закрывал храм в 29 и 25 гг. до н. э.) в пропагандистских целях.

Тит Манлий Торкват — консул 235 г. до н. э. Его имя называют в той же связи и другие писатели, но Первая Пуническая война (началась в 264 г. до н. э.) кончилась в 241 г. до н. э. в консульство Авла Манлия Торквата. Возможно, у Ливия (и других) — ошибка в имени.

Стр. 159. ...*придумав... чудо...*— «Благочестивый обман», дозволенный, по воззрениям древних, царю-философу, «воспитателю» народа, каким изображается Нума. *Эгерия* — божество одного из источников, питающих озеро Неми близ города Ариции, откуда ее культ и перешел в Рим.

...*разделив год...*— реформа римского календаря в действительности относится к этрускому времени.

Дни присутственные и неприсутственные — имели религиозное обожование. Считалось, что в присутственные дни лицо, творящее суд, может без нечестья произносить любое слово; в неприсутственные — ему не дозволено произносить слова: «даю», «говорю», «присуждаю».

Фламин — жреческая должность. Ведал культом какого-нибудь одного божества, надзирал за жертвенным огнем.

Квири — древнее римское божество сабинского происхождения (бог городской общины, блюститель войска в мирное время), отождествленный впоследствии с обоготворенным Ромулом.

Салии — очень древняя (возможно, даже древнее времен Нумы) коллегия жрецов-«плясунов». Их танец в оружии, первоначально магический, отвращающий зло, превратился под этруским влиянием в военный. Священная песнь салиев была непонятна уже во времена Ливия.

Градив — одно из прозвищ бога войны Марса. Марс Градив считался зачинателем войны (завершителем — Марс Квири).

«Анцилии» — священные щиты продолговатой формы. По легенде, такой щит упал с небес Нуме в руки во время чумы. Чтобы лучше уберечь этот щит — залог спасения Рима — Нума приказал изготовить еще 11 таких же и вернул все щиты коллегии салиев.

Понтифик — жреческая должность. Коллегия понтификов (с великим понтификом во главе) принадлежал надзор над всеми общественными (да и частными) богослужениями, составление календаря, ведение летописи и т. п.

Нума Марций — по притязаниям рода Марциев, был сыном их родоначальника Марка Марция (родственника Нумы Помпилия), мужем Помпилии, дочери Нумы Помпилия и отцом царя Анка Марция.

Стр. 160. *Камени* — первоначально божества источников (отсюда их связь с Эгерией), позднее были наделены даром прорицания и отождествлены с греческими музами.

Святилище Верности — было основано, видимо, лишь в середине IV в. до н. э., по божества, надзиравшие за верностью клятве (сабинский Семо Санк, римский Дий Фидий) почитались в Италии с глубокой древности.

«Аргеи» — так назывались 27 часовен, разбросанных по Риму: в марте совершался ход от часовни к часовне, в мае — второй ход, когда 27 соломенных чучел, которые тоже звались «Аргеями», бросали с моста

в реку. Не вполне понятный для нас, этот обряд, видимо, был очистительной церемонией.

Стр. 161. *Тулл Гостилий* — правил, по преданию, в 672—640 гг. до н. э. К невымышленным сведениям восходит его имя, имя его противника Меттия Фуфетия и сообщение о падении Альбы в VII в. до н. э. Прочее — легенды.

Гай Клуилий — имя, видимо, придуманное для объяснения названия «Клуилиев ров» (см. гл. 23). О рве этом нам, в свою очередь, ничего не известно.

Диктатор — высшая должность во многих латинских городах. *Меттий* — латинизированная форма оскского (оски — италийский народ) титула *meddix*. (Альбой в последние дни ее существования управляли выборные должностные лица, а не цари, что отразилось и в самом имени персонажа.)

Стр. 162. *...меня же альбанцы избрали, чтобы ее вести* — отголосок римских представлений о диктаторе. В Римской республике диктатор был чрезвычайным должностным лицом, избиравшимся для определенной цели и в чрезвычайных обстоятельствах.

Горации и Куриации. — Ливий опускает дополнительную подробность: по другим авторам, Горации и Куриации приходились друг другу двоюродными братьями. Их матери были сестры-близнецы из Альбы.

Стр. 163. *Фецнал*. — Жрецы-фецналы ведали объявлением войны и заключением договоров (то и другое требовало особых обрядов). В коллегию фецналов входило 20 человек, в том числе «вербенарий», несший священную траву, и «отец-отряженный» (*pater patratus* — «тот, кто сделан отцом», есть, впрочем, и другие толкования этого титула), который говорил и приносил клятву от имени городской общины (как отец семейства — от имени семейства).

...чистой травы. — Травы, вырванная с корнем в римской крепости, была частью родной земли, сопровождавшею фецнала, куда бы он ни пошел, и магически защищала его от чуждых воздействий.

«Внемли, Юпитер...» — Подобные формулы, которые мы находим у Ливия, в большинстве — архаизирующие реконструкции, разработанные римскими «исследователями старины» и вошедшие в сочинения римских историков. Таков же и «закон» в гл. 26.

Стр. 165. *...плача... окликает по имени*. — Как того требовал древний погребальный обычай, только что умершего несколько раз громко окликали по имени; к павшему в битве звали в его доме.

...оплакивать неприятеля — в Риме было запрещено особым, очень древним, законом.

Совершившего тяжкое преступление да судят дуумвиры (букв. «двое мужей»)... — По словам Ф. Зелинского, «дуумвиральный суд покоился на

розыском начале: подсудимый был не стороной, а предметом следствия... и права защиты не имел», но он мог после приговора обратиться к народу, чьим именем действовали дуумвиры. К подлежащим этому суду *тяжким преступлением* (perduellio) относили измену, присвоение высшей власти, казнь римского гражданина без суда и т. п.

Стр. 165. ...к *зловещему дереву*...— «Зловещими» — посвященными подземным богам — считались деревья, которые никто никогда не сажает и которые не приносят плода. Осужденного подвешивали к дереву и засекали досмерти (а не вешали или распинали, как думали позднее).

...внутри городской черты или вне городской черты.— В Риме строго разграничивалась власть гражданская (в городе) и военная (вне города). Власть дуумвиров не подлежала никаким ограничениям.

...сам наказал бы сына отцовскою властью.— У римлян отец имел полную власть над жизнью, свободой и имуществом детей.

Стр. 166. «*Сестрин брус*» — пример позднего неверного объяснения названия, смысл которого был уже забыт. Латинское прилагательное «*sogium*» здесь, вероятно, связано не с «*sogog*» — «сестра», но с именем богини Юноны Сорории, покровительницы созревания девушек. Самый «брус» связан с древним очистительным обрядом.

Фиденяне, жители римского поселения...— Римского поселения в Фиденях, видимо, не было. Это позднейшая выдумка, призванная оправдать притязания римлян.

Стр. 167. ...*обет учредить двенадцать салиев*...— это «Коллинские» (они приносили жертвы на Квиринале близ Коллинских ворот) салии (в отличие от «Палатинских», о которых см. гл. 20 и прим. к стр. 159).

Стр. 169. *Альбанских старейшин*...— Перечисленные здесь роды были патрицианскими, но действительно, как считают исследователи, не коренными римскими. Поэтому они и выводили себя из Альбы.

...*священное место заседаний*...— Сенат мог заседать лишь в здании, которое было освящено авгурским обрядом.

Гостилиева курия — на склоне холма у Форума, приписанная преданием царю Туллу, была сооружена в VI или V в. до н. э. кем-то из рода Гостилиев. В середине I в. (это и есть «*время наших отцов*», о котором говорит Ливий) была заменена новой Юлиевой курией.

Ферония — одно из древнейших божеств, почитавшихся в Средней Италии.

Священная роща — убежище (см. прим. к стр. 149).

Стр. 170. ...*шел каменный дождь*.— У римских историков именно фантастические рассказы о каменных дождях, говорящих рощах и т. п. могли восходить к своего рода «документальному материалу» — жреческим летописям (впрочем, древнейшая часть их в 389 г. до н. э. погибла в огне и была «восстановлена» по памяти).

...чтобы альбанцы... совершали жертвоприношения...— Рассказ должен был объяснить обычай ежегодных жертвоприношений Юпитеру, совершавшихся римскими должностными лицами на Альбанской горе и унаследованных Римом от древнейших латинских общин.

Гаруспики — жрецы — истолкователи знамений, умилостивители богов и предсказатели судьбы. «Наука» гаруспиков была этрусской (и сами гаруспики приглашались из Этрурии). Для времени, о котором идет речь, — анахронизм.

Стр. 171. *Анк Марций* (традиционные даты правления 640—616 гг. до н. э.).— К нему возводила свое прозвище одна из ветвей римского рода Марциев — Марция Цари (на деле оно идет от жреческой должности «царь священнодействий»). Но считать этого царя выдумкой Марциев, возвысившихся лишь в середине IV в. до н. э., тоже трудно. Из рассказов, связываемых в предании с именем этого царя, не лишены исторического содержания только сообщения об основании Остии и сооружении Свайнского моста. Прочее либо умозрительно выведено из этих двух известий, либо искусственно привязано к ним.

...чтобы установить и для войн законный порядок...— Порядок объявления войн, о котором рассказывается дальше, был общим для всех племен древнейшего Латия. Цель обряда — сделать войну «справедливой» в глазах богов. Со временем — когда войны стали вестись далеко от Рима, с народами иных верований и правовых понятий, — точное следование ритуалу стало невыполнимым: он видоизменился и многое забылось. Рассказ Ливия и приводимые им формулы несут на себе следы ученого «восстановления» II—I вв. до н. э.

...Анк позаимствовал у... племени эквиолов то право, каким ныне пользуются фециалы...— Введение фециального права некоторые другие римские историки приписывали Туллу Гостилию (ср. у самого Ливия гл. 22 и 24) или Нуме. Нету единодушия и в том, у какого народа это право было заимствовано; племя *эквиолов* называли чаще других, но потому только, что наименование его неверно производили от «аециит солеге» — «читать справедливость». *Нине* — Ливий имеет в виду возрожденные Августом фециального права (в приспособленном к условиям большого государства виде).

Стр. 172. *Янус Квири* — был богом перехода от войны к миру, между тем речь идет о начале, а не о завершении войны. Видимо, подлинная древняя формула звучала иначе.

...бросал копье...— Церемония не символическая, но магическая (должна была лишить врага его силы), поэтому не безразличен материал, из которого сделано копье. Это предписание неверно понималось уже некоторыми поздними античными писателями, полагавшими (из-за созвучия соответствующих латинских слов), что речь идет не о кизиловом, но об «окравленном» копье.

Стр. 172. ...*в пределы противника*.— Интересно отметить, что в 70-х гг. III в. до н. э. некоего военнопленного заставили купить участок земли близ храма богини войны Беллоны и, таким образом, получили участок «вражеской земли» в самом Риме. Но во времена, о которых здесь рассказывает Ливий, путь до любого противника был недалек, и такие ухищрения не были нужны.

Стр. 173. *Политорий, Теллены, Фикана* — небольшие латинские города к югу и юго-востоку, *Медуллия* к северо-востоку от Рима.

Авентин — очень долго (до 49 г. н. э.) оставался формально за пределами городской черты; здесь селились латиняне и вообще пришлый люд.

Мурция — божество горы Мурка (Мурком будто бы назывался некогда Юго-Восточный Авентин), ее алтарь находился в долине между Палатином и Авентином (где был Большой цирк).

Яникул — холм на правом берегу Тибра. Рассказ о его присоединении к городу в столь давние времена — преувеличение. Вероятно, он был лишь укреплен, чтобы обезопасить *Свайный мост* (был сооружен из дерева без всяких металлических креплений), служивший торговым нуждам.

Тюрьма.— Это та самая тюрьма, которая описана Саллюстием в «Заговоре Катилины» (гл. 53). Ливий приписывает ее сооружение Анку, тогда как другие римские писатели даже самую древнюю ее часть приписывали Сервию Туллию.

Мезийский лес — находился, видимо, к югу от Тибра.

Остия — портовый город в 22 километрах от Рима (при прежнем устье Тибра). Древние единодушно приписывали его основание Анку Марцию. Хотя в современной науке распространено мнение, что Остия основана лишь в IV в. до н. э., остийские соляные разработки, бесспорно, намного древнее.

В царствование Анка в Рим переселился Лукумон...— Здесь начинается рассказ о Лукумоне-Тарквинии, основателе этрусской династии, правившей в Риме, по преданию, в 616—578 и 534—510 гг. до н. э. Даты эти на редкость хорошо совпадают с данными археологии о времени этрусского преобладания в Риме. Хорошо засвидетельствовано и самое имя Тарквиниев (римская форма этрусского «Тархиа»). Но богатый драматическими деталями рассказ — конечно, конструкция позднейших писателей. *Лукумон* — этрусское слово, означавшее «царь», — действительно стало со временем именем собственным. Здесь, однако, служит просто указанием (неверным) на происхождение имени *Луция* (Лукил) Тарквиния (см. ниже).

Был он сыном коринфянина Демарата...— Демарат, по преданию, отпрыск царского рода, бежавший со своими людьми в Этрурию после свержения коринфских царей (655 г. до н. э.). Действительно, связи Корнифа с Этрурией в VII в. до н. э. засвидетельствованы археологически. Сведё-

ние воедино рассказов о Демарате, переселенце из Коринфа, и о Тарквинии, переселенце из Этрурии,—учебный домысел ранних римских историков.

Стр. 174. ...именем Луция Тарквиния Древнего.— Ясно, что такое имя могло быть придумано только впоследствии, для различения двух Тарквиниев, царствовавших, по преданию, в Риме.

Стр. 175. ...искательством домогаясь царства...— чужеземное происхождение Тарквиниев, долголетних владык Рима, всегда заставляло страдать римскую гордость. Не решаясь допустить и мысли о завоевании Рима этрусками, римские историки все-таки старались исподволь бросить тень на законность царской власти Тарквиния.

...народ... избрал его на царство.— Тарквиний Древний царствовал, по преданию, в 616—578 гг. до н. э. К временам этрусской династии относится заселение низин между холмами и превращение Рима из пастушеской общины в настоящий город-государство этрусского типа. Но, распределяя исторический материал между двумя царями Тарквиниями, римские историки имели дело со скудными воспоминаниями (или догадками) об этрусских временах вообще. Поэтому в рассказах о деятельности обоих Тарквиниев много общего (осушение низин, строительство Капитолийского храма и т. п.).

Большой цирк — лощина между Палатином и Авентином, где устраивались конские ристания, причем естественным амфитеатром служили склоны холмов. Впоследствии в низине была оборудована арена (овальной формы), по склонам сооружены постоянные места для сидения.

...места для отцов и всадников...— анахронизм. Особые места для сенаторов были выделены впервые в 194 г. до н. э., для всадников — лишь в 67 г. до н. э.

Стр. 176. *Портик* (крытая колоннада вдоль стены) — анахронизм: этот тип сооружения известен римской архитектуре лишь с начала II в. до н. э.

Атл Навий — имя этрусское. Легенда о нем должна была объяснить почитание камня, который находился на Комиции (см. след. прим.) и был обнесен оградой.

Комиций (буквально — «сходбище») — место для народных собраний. Примыкал к Форуму. Выше него (по склону холма), стояло здание курии (тот же Ливий назвал как-то Комиций «преддверием курии»). Места для собравшихся располагались ярусами («ступенями»). После перестройки Форума Цезарем от прежнего Комиция почти ничего не осталось.

Стр. 177. *Мост* — сабинский мост через р. Анпен (приток Тибра).

Колляция — находилась в 15 километрах на восток от Рима. *Корникул* и другие упомянутые здесь города расположены на северо-восток и север от Рима (не далее четырех десятков километров от Рима).

Стр. 178. *Сервий Туллий* — согласно преданию, стал царем в 578 г. до н. э. и правил до 534 г. до н. э. Имя — латинское и, без сомнения, под-

линное (впоследствии имя *Туллий* существовало только у плебеев, а в V или IV в. никто не выдумал бы царя-плебея). К исторической действительности восходят и представления римлян об основных событиях и установлениях, связывавшихся с именем Сервия Туллия. Это — центуриатная военно-политическая организация городской общины (хотя детали, сообщаемые римскими историками, анахронистичны), расширение города и сооружение стен, учреждение культа Дианы на Авецтине. Но легендарная «биография» Сервия обильно украшена явно вымышленными подробностями.

Стр. 178. *...пылала голова...*— Ливий следует рассказу, смягчающему более древнюю версию легенды — о зачатии Сервия от пламени очага (подобное рассказывали о Ромуле и о других царях древних городов Латия). Интересно, что еще до Ливия рассказ о «пылающей голове» подвергся дальнейшей рационализации. Так, Цицерон писал: «Царь (Тарквиний) не мог не заметить искры ума, уже тогда горевшей в мальчике» («О государстве», кн. II, § 37).

...будто он родился от рабыни...— Мысль о рабском происхождении Сервия могла быть подсказана его именем (лат. «servus» — «раб»), но предание о его матери очень устойчиво. Она звалась Окрисней и была рабыней-военнопленной. Рассказы об отце Сервия, напротив, разноречивы и темны: древнейшие, обосновывая права Сервия на царство, называют его сыном огненного божества, позднейшие — более рационалистические — производят его от кого-то из подчиненных Тарквиния; в конце концов римские историки придумали для величайшего римского царя достаточно высокородного предка.

Стр. 180. *...из верхней половины дома сквозь окно, выходящее на Новую улицу...*— Древнейший италийский дом не имел ни второго этажа, ни окон на улицу. Анахронизм выдает позднейшее происхождение рассказа.

Трабея — царское одеяние, заимствованное у этрусков (видимо, короткий пурпурный плащ).

Суесса Помеция — древний город, вероятно, в 75—80 километрах к юго-востоку от Рима. Одно время принадлежал вольским.

...ибо срок перемирия уже истек...— О каком перемирии идет речь, неясно. Вряд ли это — перемирие на сто лет, заключенное Ромулом (гл. 15). Ни о каких других войнах с Вейями Ливий не рассказывает. Впрочем, в гл. 23 говорится, что у вейян был отобран Мезийский лес, а другие авторы сообщают о войне с Вейями при Тарквинии Древнем.

Ценз (от «censere» — «оценивать») — оценка имущества граждан и основанное на ней распределение прав и обязанностей. Словом «ценз» у римлян обозначалось и само оцененное имущество, и составленный на основе оценки список, и составление такого списка (перепись).

Стр. 181. *...весь основанный на цензе порядок...*— Основные его черты не вымышлены. Имущественный и территориальный принципы действительно пришли на смену родовому. Но детали анахронистичны: расчет в деньгах может быть отнесен лишь к позднейшим временам (монета чеканилась в Риме лишь с III в. до н. э.), а сведения о вооружении — плод ученой реконструкции II в. до н. э.

...старших и младших возрастов...— Они числился в «младших» от 17 до 46 лет.

Стр. 182. *...при нынешнем порядке...*— Видимо, в конце III в. до н. э. центуриатное устройство было приведено в какое-то соответствие с делением гражданской общины на 35 триб (см. ниже). Так, центурий первого разряда стало 70 (по 35 старших и младших). Об изменениях числа центурий по другим разрядам и в целом точных сведений нет (встречающиеся в литературе цифры предположительны).

Трибы.— Первоначально римская гражданская община делилась на три трибы по родовому признаку. Сервию приписывают замену старых триб новыми, территориальными. Теперь трибы были городские (4 упомянутые Ливием) и сельские (о них Ливий умалчивает). Число сельских несколько раз менялось, пока всех триб не стало 35.

...от слова «трибут» — налог...— Другой римский писатель, Варрон (I в. до н. э.), напротив, производит «трибут» от «триба». И то и другое — образцы реконструкции древнейшей истории римскими авторами. В действительности, «триба» значит «доля» (первоначально — «треть»); «трибут» — от *tribuere* («делить») и т. п.

Померий.— Городская черта, проводилась плугом, в который впрягали быка и корову; там, где намечались ворота, плуг приподнимали. Померий отделял от внешнего мира освященную, покровительствуемую богами территорию города. Обряд этрусского происхождения, как и само слово, которое римляне пытались объяснить из латинского языка (толкая «*prometium*» как искаженное «*postmoerium*» — «пространство за стеной»).

Стр. 183. *...угодив простому люду подушным разделом... земли...*— Прием политической борьбы, обычный в Риме более позднего времени (со II в. до н. э.). Здесь — анахронизм.

Стр. 184. *Так и римский царский дом... явил пример достойного трагедии злодеяния...*— Намек на сходство римского предания (очень древнего и устойчивого) с греческими сказаниями (разработанными в античных трагедиях) о судьбах царских домов в Микенах (история Атридов) и Фивах (история Полиника с Этеоклом, сыновей Эдипа). Сходство это, замеченное и до Ливия, побудило его драматизовать все дальнейшее изложение (и разработкой «мизансцен», и использованием сценических оборотов речи, и прямыми реминисценциями из отдельных трагедий).

Стр. 184. ...приходился ли он Тарквинию Древнему сыном или внуком...— Уже во II в. до н. э. один из римских историков заметил, что если Сервий царствовал 44 года (ср. у Ливия гл. 48), то сыном его предшественника юноша Тарквиний быть не мог. Для Ливия такие детали были, видимо, безразличны.

Стр. 185. ...обходит сенаторов... хватает их за руки...— Приемы предвыборной борьбы республиканского времени.

Стр. 186. ...фуриями-отомстительницами...— Фурии отождествлялись с греческими эриниями, богинями мщения, которые лишали убийцу разума, чтобы он сам навлек на себя наказание.

...и эту власть... имел в мыслях сложить...— Мотив, навешенный событиями I в. до н. э.: римский диктатор Сулла, издав законы, изменявшие государственное устройство Рима, сложил свои полномочия. Видимо, историки — приверженцы Суллы — и «нашли» для него предшественника в Сервии.

...царствование Луция Тарквиния... Гордого — длилось, по преданию, с 534 по 510 г. до н. э. Восстановление господства этрусков в Риме, их изгнание оттуда подтверждаются независимыми от римского предания источниками — точно так же как постройка Капитолийского храма, прорытие Большого канала, взятие Габий и Суессы Помеции, осада Ардеи. К реальной основе в чем-то восходит, возможно, даже рассказ о Лукреции. Но закрепившиеся в предании подробности этих событий вымышлены — во многом под воздействием греческой литературы. Традиционный перевод прозвища «Гордый» очень неточно передает смысл латинского «Superbus». Это — не просто «гордый» или «надменный», но и «самоуправец», «несправедливый».

Стр. 187. *Октавий Мамиллий Тускуланец*.— Мамиллии — знатный род из Тускула, города в Латин, примерно в 25 километрах к юго-востоку от Рима. По легенде, Тускул был основан Телегопом, сыном Улиса (Одисея) и Кирки (Цирцеи).

Роца Ферентина (древнее латинское божество) — находилась на территории города Ариции (немного юго-восточнее Альбы), соперничавшего с Римом из-за влияния среди латинян.

Турн Гердокий — имя вымышленное, как и весь связанный с ним эпизод.

Стр. 189. ...неслыханной смертью...— Римские писатели приписывали такой род казни то карфагенянам, то германцам.

...составил смешанные манипулы...— О смешанных воинских соединениях нет больше упоминаний ни у Ливия, ни у других римских писателей. Трудно сказать, имеем ли мы здесь дело со смутным воспоминанием о какой-то попытке Тарквиния придать искусственное единство своей небольшой державе или (как это бывает у римских историков) с отголоском каких-то позднейших событий.

Стр. 190. *Вольски* — народ, спустившийся в конце VI в. до н. э. с Апеннин и обосновавшийся на прибрежной равнине Латия и Кампания. Впоследствии (в IV в. до н. э.) были полностью подчинены Римом.

Талант — древняя мера веса, различная в разных областях. Греческий талант = 26,2 кг; италийский = 100 римским фунтам (римский фунт = 327,45 г).

Габии — город, километрах в 20 к востоку от Рима. В основе рассказа 53-й и 54-й глав — достоверное сведение о покорении Габии, но оно развернуто в связный рассказ с помощью простых заимствований из рассказов греческих историков о совершенно других событиях (о взятии Вавилона персами, например). Это было сделано еще первыми римскими историками.

Эквы — один из древних народов Латия, всегдашние союзники вольсков; *герники* — племя, родственное сабинянам.

Стр. 192. *Термин* — бог межей и пограничных знаков. В Риме существовал древний (приписывавшийся Нуме) закон, который под страхом смерти запрещал передвигать межевые камни.

Нашли человеческую голову... — Этот миф, первоначально, по-видимому, лишь объяснявший название Капитолия (которое производили от «Caput Oli» — «голова Ола»), постепенно получил новый, пророческий смысл.

Большой канал (cloaca maxima) — осушал долины между холмами, отводя воды в Тибр (с завершением канала был окончательно осушен и Форум). Этот канал, с самого начала забранный в прочные стены, «подземным» стал (вопреки утверждению Ливия) лишь после 200 г. до н. э., когда над его стенами был сооружен свод.

Стр. 193. *Сигния* — город, примерно в 55 километрах к юго-востоку от Рима, на высоте, господствующей над местностью. *Цирцеи* — примерно в 100 километрах к юго-востоку от Рима — на мысу, выступающем в море. Римские поселения сюда были выведены позднее, но какие-то столкновения с этими городами у Тарквиния могли быть.

Змея — считалась предвестницей смерти (так как существовало поверье, что души, покинувшие тело, воплощаются в змей).

...общественных знамений... — «Общественными» считались знамения, о которых докладывали сенату. К ним не относились знамения, явленные «в частном месте» или в чужой земле. О таких знамениях прорицателей запрашивали частным образом. Царский дом, казалось бы, не был «частным», и в этом пункте легенда смущала римских историков.

Луций Юний Брут — видимо, лицо историческое, но характер его был разработан позднее (видимо, в IV в. до н. э.) политическими деятелями из плебейского рода Юнийев Брутов, которые притязали на происхождение от древнего Брута.

Стр. 193. ...из глубины расселины прозвучало...— Местом оракула была расселина скалы, откуда поднимались одуряющие испарения. Под их действием жрица (Пифия) давала свои предсказания. У Ливия голос идет прямо из расселины.

Ардея— была расположена в 37 километрах к югу от Рима.

Стр. 196. ...глашатай призвал народ к трибуну «быстрых», а... должностью этой был облечен тогда Брут.— Это явная несообразность (ведь Брут считался полоумным), и, действительно, первоначальная версия предания называет Брута частным человеком (см. у Цицерона, «О государстве», II, 46). Но частному лицу не подобало держать речь перед сходкой, и римские историки, желая, чтобы все развитие римского государственного строя было «законным», озаботились облечь Брута надлежащими полномочиями. Трибун «быстрых» рассматривался как предшественник позднейшего «начальника конницы» (помощник диктатора).

Власть в Риме он оставил Лукрецию, которого в свое время еще царь назначил префектом города.— Та же забота римских историков о фикции законности. Даже свержение царя должно было быть делом рук лиц, облеченных законной властью. Что касается самой должности префекта города (который замещал в городе высшее должностное лицо во время его отсутствия), то, хотя римские историки и возводили ее к царскому периоду, в действительности она, вероятно, более позднего происхождения.

Стр. 197. ...ушли изгнанниками в Цере, к этрускам.— Это предание подтверждается археологическими данными: в Цере обнаружена гробница с надписями рода Тарквиниев (Тарквитиев) V—III вв. до н. э.

...в согласии с записками Сервия Туллия...— О характере этих «записок» делались разные предположения. Возможно, это были предписания, касавшиеся всей процедуры народных собраний и, в частности, религиозных обрядов.

...провел выборы консулов.— Первое время по изгнании царей высшие должностные лица в Риме назывались преторами.

Книга XXI

[Начало Второй Пунической войны]

Двадцать первой книгой Ливий начинает часть своего труда, посвященную второй войне Рима с Карфагеном (так называемой Второй Пунической войне 218—201 г. до н. э.). Начавшаяся стремительным вторжением Ганнибала в Италию и рядом тяжелых поражений, понесенных римлянами в первые ее годы (самое известное из них — битва под Каннами 216 г. до н. э.), она была выиграна Римом благодаря примененной им тактике постепенного изнурения вражеской армии, действовавшей в чужой стране. Это позволило со временем перенести войну

на территорию карфагенских владений и, наконец, разбить карфагенял в самой Африке. Подробнейшему описанию этой войны Ливий уделил целых десять книг.

Стр. 197. *Первая Пуническая война* — длилась с 264 по 241 г. до н. э. (до того римляне старались поддерживать дружественные отношения с Карфагеном) и велась, по существу, за господство над Сицилией. Потерпевшим поражение карфагенянам пришлось уйти с острова.

Гамилькар по прозвищу Барка («Молния») — отец Ганнибала, видный карфагенский полководец. Во время Первой Пунической войны действовал в Сицилии (с 247 г. до н. э.).

Африканская война — так Ливий называет восстание паемных солдат (с которыми разоренное войной и контрибуцией государство не могло расплатиться) и покоренных ливийских племен в Карфагене после Первой Пунической войны. Восстание было подавлено Гамилькаром.

Стр. 198. *...о потере... Сардинии...* — Римляне захватили Сардинию, воспользовавшись волнениями на этом острове во время восстания наемников в Карфагене. Когда, справившись с восставшими, карфагеняне попытались было урегулировать вопрос о Сардинии, римляне сначала объявили им войну, потом согласились удовольствоваться добавочной контрибуцией.

...в пять лет... — 241—237 гг. до н. э. Собственно наемническая (Африканская) война продолжалась три года и четыре месяца.

...в течение девяти лет... — 237—229 гг. до н. э.

...юный возраст Ганнибала... — Когда Гамилькар погиб (229 г. до н. э.), Ганнибалу было 16—17 лет.

...в течение восьми лет... — Газдрубал командовал карфагенской армией в Испании с 229 по 221 г. до н. э.

Баркиды — партия сторонников политики Гамилькара, направленной на укрепление заморских позиций Карфагена и подготовку войны с Римом.

Гибер — ныне р. Эбро. Сагунтинцы — жители Сагунта, яллинизированного города близ нынешней Валенсии.

Стр. 199. *...народ впоследствии одобрил его.* — Полководец в Карфагене избирался народом, — хотя войско Баркидов пользовалось привилегией выдвигать своего кандидата (это было равносильно выбору).

Газдрубал пригласил Ганнибала к себе в Испанию... — Видимо, Ганнибал оставался там еще с тех пор, как его взял с собой отец. Но ненавистники Ганнибала уверяли, будто его вытребовал из Карфагена лишь Газдрубал.

...в сенате. — Карфагенский совет старейшин состоял из 300 человек, но все дела вел выделенный из его состава Совет тридцати, который и был высшим органом власти в стране.

Стр. 199. *Ганнон* (прозванный Великим) — карфагенский полководец и политический деятель. Враг Гамилькара и его потомков, Баркидов, он был противником расширения заморской державы и сторонником укрепления позиций Карфагена в Африке.

...с блеском отцовского царства? — В политическом словаре Римской республики (унаследованном ранней Империей) такие выражения, как «царь», «царская власть», звучали осудительно и применялись для обозначения власти (а чаще стремления к власти), неограниченной и противной установлениям государства. Политическую жизнь Карфагена Ливий представляет себе по образцу римской.

Стр. 200. *Ольгады* — народ, обитавший в Центральной Испании.

Новый Карфаген (или просто Карфаген, ныне Картахена) — город, основанный Газдрубалом на юго-восточном побережье Испании, главный опорный пункт карфагенян в этой стране.

Стр. 201. ...*карфагенских граждан... и союзников.* — Ливий представляет себе карфагенскую армию по образцу римской.

Германдика — главный город *вакцев* — находилась на месте пышной Саламанки. *Арбокала* — приблизительно в 60 километрах от нее.

Карпетаны — обитали южнее, на реке *Таг* (ныне Тахо). Битва при Таге произошла летом 220 г. до н. э.

Стр. 202. *Консулами были тогда... Публий Корнелий Сципион и Тиберий Семпроний Лонг.* — Это консулы 218 г. до н. э. В действительности осада Сагунта началась в 219 г. до н. э. Эта ошибка Ливия замечена им самим в конце 15-й главы.

Карфаген Африканский — в отличие от Карфагена в Испании (т. е. Нового). Двойная цель посольства обуславливалась ненормальностью юридического положения «царства» Баркидов в Испании, которое юридически зависело от Карфагена, фактически же — нет.

...*Сагунт уже подвергся... осаде.* — Город был осажден весной (приблизительно в марте) 219 г. до н. э.

Основатели его были родом, говорят, из Закинфа. — Это не более как миф, возникший благодаря сходству имен: Сагунт (Saguntus) и Закинф (Zakynthus). Закинф — город на одноименном острове в Ионическом море (у западных берегов Пелопоннеса).

Стр. 203. *Осадный навес* — дощатое укрытие на колесах, в котором подвешивался таран.

Стр. 206. ...*об Эгатских островах и об Эрике.* — При Эгатских островах (у западных берегов Сицилии) в 241 г. до н. э. римляне нанесли карфагенскому флоту поражение, решившее исход Первой Пунической войны. Оставляя (по заключенному после этой битвы мирному договору) крепость Эрик (на одноименной горе в Сицилии), Гамилькар был

вынужден уплатить римлянам определенную сумму за каждого человека из своего войска.

...в продолжение двадцати четырех лет! — В 264—241 гг. до н. э., пока длилась Первая Пуническая война.

Тарент (ныне Таранто) — крупнейший греческий город в Италии. В 272 г. до н. э. во время осады Тарента римлянами карфагеняне пытались вмешаться в события, послав сюда свой флот. Римляне сочли это нарушением заключенного за семь лет до того договора, что и дало им повод вскоре вмешаться в сицилийские дела. А это вмешательство, в свою очередь, привело к Первой Пунической войне.

Стр. 206. *...старинным союзником...* — В устах приверженцев Ганнибала эти слова — горькая ирония. Древнейший договор Рима с Карфагеном о союзе датировали 509 г. до н. э. Договор, заключенный после Первой Пунической войны, возобновил внешнее союзничество при взаимной ненависти.

Стр. 207. *Карпетаны* — см. прим. к стр. 201; *оретаны* были их соседями с юга.

Магарбал — полководец Ганнибала, начальник конницы, сопроводивший его потом в Италию.

Стр. 209. *...возможно ли было пощадить хоть одного...* — Из рассказа Ливия можно бы заключить, что все сагунты погибли. Между тем в 214 г. (по рассказу самого Ливия, кн. 24, гл. 42) римляне вернули Сагунт его прежним обитателям.

...Сагунт пал через восемь месяцев... — в конце октября 219 г.

Стр. 210. *Тицин* (ныне Тичино) — левый приток реки Пада (ныне По) в Северной Италии.

Требил — правый приток Пада.

Гней Сервилий и Гай Фламиний — консулы 217 г. до н. э.

Аримин (ныне Римини) — город в Северной Италии на Адриатическом море, южнее устья р. Рубикона. О вступлении Гая Фламиния в должность см. в гл. 63.

...войны с сардами да корсами, истрами да иллирийцами... — Сардиния и Корсика были захвачены в 238 г. до н. э.; война с жителями Истрии (полуостров на Севере Адриатического моря) велась в 220 г. до н. э., войны с иллирийцами, населявшими северо-восточные берега Адриатики — в 229 и 219 г. до н. э. *Война с галлами*, обитавшими в Северной Италии, завершившаяся покорением земель от Апеннин до Альп, велась в 225—222 гг. до н. э.

...двадцатитрехлетней... службы... — Это относится к сроку службы баркинского войска вообще — с начала Африканской войны (см. прим. к стр. 197); в Испании оно провело 19 лет (237—219 г. до н. э.).

Он уже переправляется через Гибер... — Предвосхищение событий. Это могло случиться только весной 218 г. до н. э.

...всегда мятежные галльские племена...— Племена только что покоренной Предальпийской Галлии.

...шесть легионов...— Таково было и обычное число войск в мирное время (через несколько лет войны их число возросло до 18, а потом и до 23). Легион насчитывал около 4000 пехотинцев и 300 всадников.

Стр. 211. ...было внесено в народное собрание предложение...— Так как мирный договор с Карфагеном был в свое время утвержден народом, то для объявления войны тоже нужно было решение народного собрания.

Квинт Фабий.— Это тот самый Фабий, который впоследствии был прозван Кунктатором («Медлителем») за примененную им против Ганнибала тактику медленного изматывания врага. *Марк Ливий* и *Луций Эмилий* — консулы только что истекшего 219 г. до н. э.; *Квинт Бебий Тамфил* — участник первого посольства.

Стр. 212. ...договор... заключенный... *Гаем Лутацием*...— Это мирный договор, завершивший предыдущую войну. *Гай Лутаций* — консул 242 г. до н. э., победитель при Эгатских островах.

...вы объявили его недействительным...— Первый вариант договора, заключенного Катуюлом и Гамилькаром, был отвергнут в Риме стараниями противников мира.

Стр. 213. *Баргузии* (или бергестаны) — жили у Пиренеев и не могли испытать «пунического ига». Ливий, видимо, ошибочно считал, что они жили «по ту сторону Гибера».

Вольцианы — видимо, юго-западные соседи баргузиев.

Стр. 214. ...после отбытия консулов в провинции — точнее после отбытия Семпрония. Корнелий гораздо долее оставался в Риме.

Узнав там о прениях в Риме и Карфагене...— У Ливия здесь хронологическая ошибка. Доведя рассказ о римских делах до весны 218 г. до н. э., он возвращается теперь к Ганнибалу и событиям 219 г. до н. э. Но в этом году римское посольство еще не отбывало, и «узнать» о его исходе Ганнибал не мог.

Стр. 215. *Гадес* (ныне Кадикс) — приморский город на юге Испании, основанный финикийскими поселенцами.

...13 850 пеших...— Цифры Ливия опираются здесь на документальный источник (хотя и взятый из вторых рук): упоминаемую Полибием надпись Ганнибала.

Газдрубал — был младшим братом Ганнибала. Не путать с Газдрубалом, зятем Гамилькара.

Лигурийцы — народ, живший в Галлии — как Предальпийской, так и Заальпийской.

Ливифиникийцы.— Видимо, сначала так назывались финикийские поселенцы в Ливии (Африке). Со временем этот термин получил у гре-

ко-римских писателей более широкое и менее определенное значение. Он прилагался к населению Северной Африки, сложившемуся в результате смешения разнородных этнических элементов.

Стр. 216. *Илергеты*.— Полибий (кн. III, гл. 13) называет в этой связи, видимо, африканское племя лергетов. Ливий путает их с илергетами, жившими между Гибером и Пиренеями (о них см. в гл. 23).

Окусса — находилась, видимо, на месте нынешней Валенсии.

...*Юпитером*...— Римский писатель мог так назвать верховного бога Карфагена — Ваала.

Авзетаны — обитали в нынешней Каталонии (близ нын. г. Вика).

Ганнок (не путать с Ганноном Великим) — о его дальнейшей судьбе см. в гл. 60.

Стр. 217. *Бойи, инсубры* — галльские племена, жившие в незадолго до того покоренной Римом долине Пада.

Триумвиры — то есть так называемые «триумвиры для выведения поселения» — коллегия из трех человек (избиралась обычно сенатом), отводившая поселенцам их наделы.

Мугина — ныне Модена.

Стр. 218. *Родан* — ныне Рона.

Стр. 220. *Межа* — надувные, служили испанцам при переправах.

Стр. 221. *Легковые* (собственно говоря, буксирные) *суда* — имели не более 30 гребцов.

Стр. 223. *Остров*.— Это не остров в настоящем смысле слова, а стрелка, образуемая сливающимися реками. *Изара* — ныне Изер, левый приток Роны.

Стр. 224. *Трикастины* — обитали к югу от аллоброгов (по другую сторону Изары); далее Ганнибал шел, видимо, вдоль нынешней реки Драк по земле *воконцев* и *трикориев*. *Друенцил* — ныне Дюранс, левый приток Роны.

Гней Сципион — воевал в Испании (куда прибыл по окончании консульства и Публий Корнелий Сципион) до своей гибели в 212 г. до н. э.

...*прежних союзников*...— Имеются в виду греческие города на побережье у подножья Пиренеев — Эмпори и Рода, — а также дружественные Риму местные племена (например, баргузны).

Генуя — главный город лигурийцев, был в союзе с Римом.

Стр. 227. ...*в ночь заката Плеяд*... (семь звезд в созвездии Тельца).— Их заход в 218 г. до н. э., по астрономическим вычислениям, пришелся на 7 ноября до рассвета.

Стр. 229. ...*источники*... *не согласны друг с другом*...— Самая низкая из приводимых Ливием цифр наиболее достоверна — ее приводит Полибий (кн. III, гл. 56), ссылающийся на надпись Ганнибала. Потери Ганнибала во время похода были огромны.

Стр. 230. *Таврины* — полулигурийское, полугалльское племя, жившее по верховьям Пада. Их имя сохранилось в названии города Турина. В описываемое время были на стороне римлян.

...относительно дороги... может существовать разногласие.— Рассказ Ливия заставляет предположить, что Ганнибал перешел Альпы через перевал, ныне Мон-Женевр, соединяющий долины Друенди и Малой Дурин (ныне Дора Ришария). Ливий спорит с теми, кто считает, что местом перехода были «Пенинские Альпы» (Большой Сен-Бернар) или «Кремонский перевал» (Малый Сен-Бернар).

...и отсюда этот хребет получил свое имя.— Название «Пенинский» (Роепинус) эти авторы производили от «Роепус» — «шумец».

Салассы — жили в долине Большой Дурин (ныне Дора Бальтея); *либуи* — видимо, в низовьях той же долины.

...город тавринов...— Он назывался Тавразия, затем — Августа Тавринов (ныне Турин).

Стр. 231. *...Тицин* (ныне Тичино) — левый приток Пада.

...под началом моего брата Гнея Сципиона...— Гней Сципион был легатом (заместителем) консула; *...под моими auspiciis...*— Ауспиции (птицегадания) совершались всегда от имени главнокомандующего (даже в его отсутствие).

Стр. 232. *...соперник Геркулеса в его походах...*— Геркулес, по сказаниям, угонял быков Гериона из Испании через Италию.

...данник и раб римского народа...— преувеличение: Карфаген после первой войны с Римом обязался уплатить только контрибуцию, да и та давно была уплачена.

Стр. 233. *...Нет за нами другого войска...*— Второй консул Семпроний был уже отозван из Сицилии (где готовился к переправе в Африку), но еще не успел стать к северу от Рима.

Стр. 234. *...Ганнибал... прекратил зрелище и, созвав воинов на сходку, произнес... речь.*— Было бы проще, пользуясь пылом солдат, произнести речь тут же, с арены, как это и рассказывает Полибий. Но римлянин Ливий не мог допустить такого нарушения военной дисциплины, которое низвело бы полководца до актера.

...Лузитании и Кельтиберии...— Лузитаны жили на западе Пиренейского полуострова, кельтиберы в Центральной Испании.

Стр. 235. *...одних — на взнузданных, других — на невзнузданных конях...*— На взнузданных конях сражались испанцы (тяжелая конница), на невзнузданных (легкая конница) — пумидийцы.

Стр. 238. *...тот самый юноша...*— Это Публий Корнелий Сципион Африканский Старший. Во время битвы на Тицине ему было около 17 лет. После гибели его отца в Испании (212 г. до н. э.) он был направлен туда командующим (210 г. до н. э.) и к 206 г. до н. э. сломил сопротивление карфагенян. На 205 г. до н. э. он был избран консулом, в

204 г. до н. э. высадился в Африке и в 202 г. до н. э. разбил Ганнибала под Замой (в Нумидии) — эта битва решила исход войны.

Магон — младший брат Ганнибала и Газдрубала.

Стр. 239. *Требия* — правый приток Пада, течет (с Апеннин) все время по гористой и холмистой местности — за исключением последних 10—12 км.

Кластидий (ныне Кастеджо) — укрепленный городок, примерно в 20 километрах к югу от нынешней Павии (в 10 км от р. По).

Стр. 240. *Липара* (ныне Липари) и *остров Вулкана* (ныне Вулькано) — принадлежат к группе Липарских островов к северу от Сицилии. *Пролив* — Мессинский. *Мессана* — ныне Мессина.

Гисрон — царствовал в Сиракузах с 265 г. до н. э. Он участвовал еще в Первой Пунической войне (сначала как союзник Карфагена, потом — Рима). Во время Второй Пунической войны оставался верен союзу с Римом до смерти в 215 г. до н. э.

Лилибей — ныне Марсала. Основан карфагенянами в начале IV в. до н. э., после Первой Пунической войны — резиденция римского наместника Сицилии.

Стр. 241. *...вступить в рукопашный бой.* — Римская тактика морского боя была разработана во время первой войны с Карфагеном. Вражеский корабль зацепляли специальным перекидным мостиком («вороном»), на него перебегали римские солдаты, и корабль был обречен. Карфагеняне, напротив, маневрируя, топили вражеские корабли, тараня подводную часть борта, или обламывали их весла.

Остров Мелита — ныне Мальта.

Стр. 242. *Вибон* (ныне Вибо Валентия) — город на западном побережье Южной Италии.

Стр. 245. *Ценоманы* — обитали за Падом, их главным городом был Бриксия (ныне Брешия).

Стр. 250. *Лука* — ныне Лукка, близ Пизы, южнее Апеннин. Семпроний отойти туда не мог (да и из гл. 63 видно, что он вернулся в Плацентию).

Леетаны — обитали в приморской области близ нынешней Барселоны.

Циссис — находился недалеко от *Тарракона* (нынешней Таррагоны), приморского города на полуострове между Пиренеями и Гибером.

Стр. 252. *Надежда* — была первоначально богиней земледельцев (олицетворяла надежду на урожай), оттого она изображалась с цветком в руке и имела храм на Овощном рынке.

Ланувий — древний город в Латин; был знаменит храмом Юноны Спасительницы, которая изображалась держащей в руке *копье*. *Ложь богини* — на него ставили статую во время *лектистерния* (см. ниже).

Амитерн — сабинский город (сабиняне с 268 г. до н. э. были полноправными римскими гражданами).

Пицен — область в Средней Италии.

Стр. 252. *...вещие дощечки...*— В Цере был храм с оракулом, где давали предсказания по дощечкам с написанными на них словами.

Децемаиры — так называемые «децемвиры для совершения жертвоприношений» — жреческая коллегия, ведавшая хранением и толкованием *Сивиллиных книг*.

Очищение города — требовало принесения в жертву борова, барана и быка, которых сперва торжественно обводили вокруг города.

Лектистерний — «угощение» богов, чьи изображения, поставленные на ложе (или подушки), расставляли вокруг столов с яствами. Были лектистернии регулярные и чрезвычайные, то есть по случаю счастливых или несчастливых событий, касавшихся государства.

Гора Альгид — северный хребет Альбанской горы недалеко от Рима.

Юность — считалась супругой Геракла.

Молебствия — назначались либо у храма того бога, который, как думали, был разгневан (признаком гнева Геркулеса было сочтено знамение на Бычьем рынке, где стоял «Великий алтарь» (см. кн. I, гл 7 и прим. к ней); если нельзя было определить, какой бог оскорблен,— у храмов всех богов.

...о своих... спорах с сенатом в бытность свою трибуном, а позже и консулом...— Фламиний был трибуном в 232 и консулом в 223 г. до н. э. Его политика раздела захваченных галльских земель между гражданами доставила ему популярность, но встретила сопротивление знати. *Отнять консульство...*— объявив недействительными выборы, сопровождавшиеся будто бы зловещими предзнаменованиями. *Триумф* — торжественное возвращение полководца-победителя в город; сенат в свое время (после победы над галлами в 223 г. до н. э.) отказал было в этом отличии Фламинию, но народное собрание решило иначе.

...нового закона...— Закон этот был принят в 220 г. до н. э., когда Фламиний был цензором.

Амфора — как мера объема — 26 с небольшим литров.

Стр. 253. *...вымышленными ауспициями...*— Прежде чем отправляться на войну, консул должен был совершить птицегадание, причем толковал полет птиц авгур. Фламиний опасался, что авгур, придумывая неблагоприятные знаменья, будет без конца задерживать его в городе.

Веселатинское празднество было наследием тех времен, когда представители латинских городов собирались на Альбанской горе приносить жертву Латинскому Юпитеру (ср. прим. к стр. 170). Ежегодно новые консулы назначали срок этого празднества и сами его справляли; Фламиний мог назначить ближайший срок, но ничто не мешало авгурам оттягивать его, объявляя всякий назначенный день неблагоприятным.

...теленки... вырвался...— Дурной знак: боги не принимают от консула умиловительной жертвы.

В. Смирин

Перевод XI и XII книг «Анналов» сделан по изданию Ниппердея (P. Cornelius Tacitus erklärt von K. Nipperdey. Bd II. Ab excessu divi Augusti XI—XVI, 1904) с учетом разночтений по изданию Кестермана (P. Cornelii Taciti libri qui supersunt. Edidit E. Koestermann Tom. I. Ab excessu divi Augusti. Lipsiae, 1959). Перевод III книги «Истории» по изданию Хэреуса (Cornelii Taciti Historiarum qui supersunt. Herausgegeben von C. Hereus. Leipzig, 1885) с учетом разночтений также по Кестерману.

А н н а л ы

К н и г а X I

Стр. 257. *Решив, что дважды консул...*— Начало одиннадцатой книги «Анналов» утрачено; в сохранившейся части изложение начинается с 47 г. н. э.— шестого года правления императора Клавдия. *Мессалина* — третья жена Клавдия. *Поппея* — знатная римлянка, дочь пameстника провинции Мезии и мать Поппеи Сабины, второй жены Нерона. *Суиллий* — сенатор,

Британник — сын Мессалины и Клавдия.

Гай Цезарь — император Гай Калигула (правил с 37 по 41 г. н. э.), убитый заговорщиками-преторианцами.

Виенна — город на Роне, центр галльского племени аллоброгов. Через него проходила дорога на Могоцнак, где помещалась ставка командующего легионами Верхней Германии.

Стр. 258. *Байи* — город на берегу Тирренского моря, в описываемую эпоху — излюбленное место отдыха римской знати.

Вителлий, Луций — цензор и трижды консул, отец императора Вителлия (69 г. н. э.), один из самых доверенных и могущественных приближенных Клавдия.

Стр. 259. *...деньги или подарки за защитительную речь в суде.*— Римское право не знало института государственных обвинителей. Каждый мог возбуждать судебное дело против любого человека, допустившего нарушение закона или подозреваемого в таком нарушении. Если обвинение бывало доказано, обвинитель мог получить четвертую часть имущества осужденного. Ведя постоянную борьбу с представителями старой сенатской аристократии, императоры поощряли людей, выступавших с подобными обвинениями,— они получили название *delatores*, доносчики,— и опирались на них в сенате. Во многих случаях то были выходцы из социальных низов, добившиеся известности, богатства и влияния как выдающиеся судебные ораторы. Как явствует из гл. 1—2 и 5, Суиллий был таким доносчиком и одновременно крупным судебным защитником. Опираясь на сенатское большинство, аристократ Силлий пытается нанести удар по доносчикам, отняв у них основной источник дохода — гонорары

за выступления в суде. В ответной речи (гл. 7) Суллий стремится представить свою деятельность как защиту «людей из народа» и намекает на то, что, пойдя на ограничение их доходов, Клавдий рискует лишиться поддержки доносчиков в сенате.

Стр. 261. *...иберийского царя...* — Иберы — народ на юге Кавказа, предки нынешних грузин.

Селевкия — вавилонский город на правом берегу р. Тигр.

Дахи и гирканы — народности, обитавшие по юго-восточному побережью Каспийского моря.

Бактриана — север нынешнего Афганистана.

Стр. 262. *Аршакиды* (или Арсакиды) — династия, правившая Парфией с 256 г. до н. э. по 227 г. н. э.

Столетние игры — величайший религиозный праздник, со времен Августа посвященный прославлению Рима и богов — покровителей города. В принципе должен был отмечаться каждые сто лет, считая от основания Рима (753 г. до н. э.), однако императоры, стремясь прославить свое правление, с помощью разного рода выкладок и толкований слова «век» обосновывали необходимость проведения праздника в удобные им сроки. Август праздновал Столетние игры в 17 г. до н. э., Клавдий — в 47 г. н. э., Домициан в 88 г. н. э.

...книгах, посвященных правлению... Домициана... — Эти разделы «Истории» Тацита не сохранились.

Квиндецимвир — жреческая коллегия, которая хранила и толковала пророческие Сивиллины книги и ведала назначением жрецов, отправлявших иноземные культы, официально допущенные в Риме.

Стр. 263. *Германик* (15 г. до н. э.— 19 г. н. э.) — внук императора Августа, крупнейший полководец своего времени, пользовавшийся исключительной популярностью в армии и в народе. Дочь его Юлия Агриппина Младшая была замужем за Гп. Домицием Агенобарбом (внуком Марка Антония, триумвира), от которого родила Луция Домиция, впоследствии императора Нерона; во втором браке — четвертая и последняя жена императора Клавдия.

Стр. 264. *Симонид* — знаменитый греческий поэт (559—469 гг. до н. э.).

Стр. 265. *Херуски* — германское племя, жившее в междуречье Везера и Эльбы.

Арминий — вождь херусков, нанесший в 9 г. н. э. тяжелое поражение римлянам. *Хатты* — германское племя, обитавшее к югу от херусков.

...соглядатая Флива? — Флав служил в римской армии разведчиком.

Стр. 266. *Лангобарды* — соседи херусков с востока и северо-востока.

Хавки — германское племя, жившее на побережье Северного моря между Эмсом и Эльбой.

Корбулон, Гней Домиций — крупный римский полководец, пользующийся особой симпатией Тацита. В описываемую эпоху — наместник

провинции Нижняя Германия, пазпаченный на место *Санквиния* Максима. После победы над парфянами в Армении был отозван завидовавшим ему Пероном и покончил с собой, не дожидаясь смертного приговора (67 г. н. э.).

Канкинефаты — германское племя, жившее на острове в устье Рейна.

Стр. 267. *Триумфальные знаки отличия* — статуя, лавровый венок, пурпурная, расшитая золотом тога и туника, украшенная золотыми пальмовыми ветвями. В описываемую эпоху триумф как таковой присуждался лишь императорам.

Матгий — поселение в районе совр. Висбадена.

Стр. 269. *Консульство Авла Вителлия и Луция Випстана* — 48 г. н. э.

Венеты и инсубры — жили в северо-восточной Италии. Полное римское гражданство, включавшее и право становиться сенаторами, было даровано им Юлием Цезарем в 49 г. до н. э.

...под Алезией — в южной Франции, где в 52 г. до н. э. произошло большое сражение между римлянами, которыми командовал Юлий Цезарь, и объединенными силами галлов.

...разграбить Капитолийский храм... — Имеется в виду взятие Рима кельтами в 390 г. до н. э.

Стр. 270. *Бальбы* — сенаторская семья, достигшая большого влияния при Цезаре и Августе. *Нарбоннская провинция* — занимала юго-восток современной Франции.

Стр. 272. *Шут* — Мнестр, вольноотпущенник Тиберия, знаменитый в свое время актер пантомимы, один из любовников Мессалины.

Стр. 273. *Каллист, Нарцисс, Паллант* — вольноотпущенники императора, составлявшие при нем своего рода «кабинет министров».

Веттии, Плавтии — любовники Мессалины. *Ветгий* Валент — известный врач и оратор, *Плавгий* Латеран — сенатор.

Стр. 274. *Великий понтифик*. — Это положение с конца правления Августа занимал император, и Виbidия, таким образом, должна была молить самого Клавдия.

Ларг Цецина — приближенный Клавдия, его коллега по консульству в 42 г.

Стр. 275. *Отец Силия* — Гай Силий, казненный при Тиберии по ложному обвинению в оскорблении величия.

...имущества Перонов и Друзов... — Отец императора Клавдия — Друз — происходил из семьи Клавдиев Перонов.

Трибунал — сложенное из дерна возвышение в центре римского военного лагеря, где стояли орлы легионов, значки когорт и статуя императора. Отсюда полководец обращался к солдатам и объявлял о наказании провинившихся.

Стр. 276. *Суиллий Цезонин* — сын допосчика и оратора Суллия. *Дядя* Плавтия Латерана — Авл Плавтий, покоритель Британии, см. XIII, 32.

Стр. 279. ...суровому цензору...— Клавдий был цензором с 47 по 52 г. н. э.; часть этого срока — совместно с Вителлием.

Стр. 281. *Анней Сенека*, Луций (ок. 5 г. до н. э.—65 г. н. э.)— знаменитый философ-стоик, писатель, ученый и крупный государственный деятель эпохи Нерона.

Стр. 282. *Карен* — парфянский наместник (сатрап) Месопотамии.

Стр. 283. *Нины* — то же, что Ниневия, неподалеку от которой, возле деревни Гавгамелы, Александр Македонский в 331 г. до н. э. разбил персидского царя Дария.

Стр. 284. *Митридат Боспорский*.— В описываемую эпоху Боспорское царство занимало земли между Азовским и Черным морями. В 41 г. н. э. Клавдий посадил на его престол Митридата, но в 46 г. н. э. по неизвестным нам причинам лишил его власти и передал царство брату его Котису. Смену правителей осуществлял Авл *Дидий* Галл, бывший в это время, скорее всего, наместником провинции Мезин (на правом берегу Нижнего Дуная).

Дандариды, сираки и аорсы — жили на востоке Боспорского царства, между Доном, кавказскими горами и Каспийским морем.

Стр. 285. *Танаис* — Дон.

Ахемен (VII в. до н. э.) — основатель персидской династии Ахеменидов, от которого цари Боспора вели свое происхождение.

Стр. 286. *Понт* — римская провинция на севере Малой Азии. *Прокуратор* — здесь: чиновник, ведавший именными императора в данной провинции и сбором податей в его казну.

...*Аполлона Кларского*...— Город Клар, с известным святилищем Аполлона, находился в Ионии, на западе Малой Азии.

Луций Волузий — консул 3 г. н. э., при Клавдии — префект Рима, доверенное лицо всех императоров Юлиев-Клавдиев (он умер при Нероне в возрасте 93 лет), пользовался огромным уважением современников. *Котта Мессалин* — сенатор, происходивший из очень древнего (плебейского) рода Аврелиев. *Меммий Регул* — сенатор и крупный государственный деятель. В 38 г., когда Меммий находился в Греции в качестве наместника Мезии, Македонии и Ахайи, Калигула вызвал в Рим его жену Лоллию Паулину и женился на ней.

Стр. 288. *Консульство Гая Антистия и Марка Суллия* — 50 г. н. э.

Нерон — семейное имя императоров, правивших Римом с 14 по 68 г. н. э. (Клавдий — их родовое имл).

...*имя Августы*.— Слово *augustus* связывалось у римлян со словами *augur* — «толкователь божественной воли» и «*augege*» — «растить, возвеличивать». Введение его в титулатуру императоров должно было указывать на священный характер их правления.

...колонии, которой было присвоено ее имя.— Колония Агриппины — пыне Кельн. Убии — германское племя, жившее на среднем Рейне.

Стр. 289. *...при разгроме армии Вара.*— В 9 г. н. э. германцы под руководством Арминия нанесли в Тевтобургском лесу тяжелое поражение римской армии, которой командовал П. Квинктилий Вар.

...слава, которую он завоевал своими стихами...— Публий Помпоний Секунд, сенатор, участвовал в заговоре Сеяна против Тиберия. Трагедии, им написанные, не сохранились.

Саввы — обширное объединение германских племен, занимавших междуречье Одры и Эльбы. В 19 г. н. э. сын Тиберия Друз Цезарь поселил часть их на Дунае и сделал царем этих переселенных племен Вавния.

Гермундуры — германские племена, жившие к северу от Среднего Дуная в пределах современной Чехословакии.

Паннония — провинция на территории современной Венгрии.

Лугии — скорее всего, протославяне. Жили по верхней Одре. *Сарматы* и *язиги* — ираноязычные племена Прикарпатья и Северного Причерноморья.

Стр. 292. *...прогнали... диктатора Цезаря...*— Риторическое преувеличение. Цезарь свершил в 55 и 54 г. до н. э. два похода в Британию, ис добившись реальных результатов, но и не понеся никаких поражений.

Стр. 294. *Сугамбры* — германское племя, в 8 г. до н. э. было частично уничтожено римлянами, частично переселено — собственно, не в Галлию, а на левый берег Рейна.

Стр. 295. *Консульство Тиберия Клавдия... и Сервия Корнелия Офита* — 51 г. н. э.

...надеть мужскую тогу.— Юношескую тогу (так наз. претексту) сменили на мужскую обычно в возрасте около 16 лет. Нерону в 51 г. н. э. было 14 лет.

...присвоить Нерону... консульское достоинство...— По закону минимальный возраст для занятия консульской должности составлял 33 года. Бывали, однако, случаи, когда юноши из императорской семьи (напр., внуки Августа Луций и Гай) объявлялись консулами в 20 лет. Назначение Нерона консулом в 20 лет, во-первых, как бы приравнивало его к внукам Августа, во-вторых, делало его уже в 14 лет кандидатом в консулы, то есть официальным лицом, могущим занимать государственные должности, в частности, командовать войсками в провинциях.

Стр. 295—296. *...пренебрегают законом об усыновлении...*— При усыновлении Домиций принял имя Нерон Клавдий Друз Германик.

Лишить воды и огня — выслать из Рима.

Стр. 297. *Альбаны* — племя в современном Дагестане и восточном Азербайджане.

Горны — ныне Гарни под Ереваном. Развалины крепости сохранились.

Стр. 300. *Прокуратор Каппадокии*...— В описываемую эпоху в ряде провинций (в том числе в Каппадокии и Иудее) прокуратор играл роль правителя (наместника).

Стр. 301. *Консульство Фавста Суллы и Сальвия Отона*— 52 г. н. э.

Стр. 303. *Фуцинское озеро* (ныне Лаго ди Челано) — в Апенниннах, на восток от Рима. Работы по соединению его каналом с р. Лирис (ныне Гариально) начались в 41 г. н. э.

Стр. 304. *Консульство Децима Юния и Квинта Гатерия*— 53 г. н. э.

Бононская колония— ныне Болонья. *Апамея*— крупный торгово-промышленный центр провинции Азия (на западе современной Турции).

Стр. 305. *...Август вручил римским всадникам*...— Речь идет об основных этапах в борьбе за власть между сенаторами и всадниками. В конце II и начале I в. до н. э. она во многом сосредоточилась в вопросе о том, какому из этих сословий принадлежит право уголовного судопроизводства (*Семпрониевы законы* Гая Гракха в 123 г. до н. э., *Серапилиевы*— в 106 г. до н. э., различные установления при *Марии и Сулле* в 88—81 гг. до н. э.). Императоры с самого начала стремились опереться в борьбе с сенатом на всадников и избирали из их числа своих самых близких советников, таких, как *Оппий и Корнелий Бальб Старший* при Юлии Цезаре, *Гай Матий и Ведий Поллион* при Августе. Август создал ряд особо важных государственных должностей, которые могли быть заняты только всадниками и оставались неподведомственными сенату (префекты претория, наместники Египта). Оформление системы «всаднических магистратур» было во многом завершено Клавдием, создавшим особый аппарат провинциальных прокураторов из всадников, ведавших сбором налогов в императорскую казну, издававших свои постановления и фактически осуществлявших контроль императора над сенаторами—наместниками провинций.

Стр. 306. *Аже-Филипп* Македонский воевал с римлянами в 149—148 гг. до н. э. *Антиох III* вел Сирийскую войну против римлян в 192—189 гг. до н. э. *Персей* Македонский был разбит при Пидие Луцием Эмилием Павлом в 168 г. до н. э. *Аристоник*, брат последнего пергамского царя Аттала III, поднял в 133 г. до н. э. восстание против Рима, которому Аттал завещал свое государство. Марк *Антоний* (отец триумвира) боролся с морскими разбойниками в 74—72 гг. до н. э. Сулле, Лукуллу и Помпею *Византий* помогал во время войн Рима с Митридатом Понтийским в 89—64 гг. до н. э.

Консульство Марка Азиния и Мания Ацилия— 54 г. н. э.

Стр. 307. *...ее мужа Гней*...— Имеется в виду Гней Домитий Агенобарб— первый муж Агриппины и отец Нерона.

Синцесса— на границе Латия и Кампании. Здесь находились горячие источники, привлекавшие сюда аристократию и богачей.

История

Книга I

Стр. 310. *...станет год...*— 69 г. н. э.

Стр. 311. *Я приступаю к рассказу о временах...*— «История» освещала события 69—96 гг. н. э.; дошедшие до нас книги (I—IV и начало V) охватывают 69 г. н. э. и часть 70.

Стр. 312. *...принцепс... находится вдали от Рима.*— Гальба был наместником Тарраконской Испании, и провозгласили его императором войска этой провинции.

Стр. 313. *...безоружных солдат...*— То были солдаты I Флотского легиона, переведенные по приказу Нерона из морской пехоты. При въезде Гальбы в Рим они обратились к нему с просьбой подтвердить распоряжение Нерона, но тот, усмотрев в этом бунт, велел казнить каждого десятого; *...несколько тысяч* — обычное у Тацита риторическое преувеличение.

Виндекс — наместник провинции Лугдунская Галлия, поднявший весной 68 г. н. э. восстание против Нерона. Виндекс погиб, но восстание его, поддержанное Гальбой, привело к падению Нерона.

Клодий Макр — наместник провинции Африка; *Фонтей Капитон* — провинции Нижняя Германия.

...возраст Гальбы...— Гальбе было в это время 73 года.

Стр. 314. *...племена галлов...*— Прирейнские галлы (главным образом, племена тревиров и лингонов) помогали легионам Верхней Германии под командованием наместника Вергиния Руфа разбить Виндекса.

Книга III

Для понимания III книги необходимо представлять себе события, описанные в I и II книгах. Гальба и усыновленный им Пизон Лициниан погибли 15 января 69 г. н. э. в результате заговора преторианцев, провозгласивших императором Отона, сенатора, игравшего видную роль при Нероне. Почти одновременно легионы германских провинций выдвинули своего кандидата в принцепсы — Авла Вителлия (см. I, 9). В апреле 69 г. н. э. армия Вителлия под командованием Фабиуса Валента и Авла Цецины нанесла под Бедриаком, в Северной Италии, решительное поражение отонианцам. Отон покончил с собой, и Вителлий стал императором. Но уже в июле того же года восточные провинции провозгласили императором Флавиуса Веспасиана. Флавианская армия под командованием Лициния Муциана (см. I, 10) двинулась к Риму через Малую Азию и Северные Балканы; в это время к Веспасиану примкнули

легионы Паннонии и Мезии. С рассказа о положении в этих легионах и начинается III книга.

Стр. 317. *Тампий Флавиан* — наместник Паннонии.

Стр. 318. *Апоний Сатурнин* — наместник Мезии.

Примипиларий — первый из 60 центурионов легиона, назначавшийся за особые заслуги, опытность и храбрость; примипиларий входил в число членов военного совета и получал при назначении всадническое достоинство.

Опигергий, Альтин — города на северном побережье Адриатики. Перечисляемые далее города находились на северо-востоке Италии. Их современные названия, соответственно: Одерцо, Альтино, Падуя, Эсте, Леньяно (по другим предположениям — Феррара).

Стр. 322. *Триерарх* — здесь: командир крупного корабля.

Стр. 323. *Либурнскими* — назывались быстроходные корабли, обычно использовавшиеся в парадных целях. *Атрия* — ныне Атри на Адриатическом побережье.

...ссылному преступнику Антонию? — При Нероне Прим Антоний был исключен из сенатского сословия и сослан за участие в подделке завещания.

Стр. 329. *...смыть с себя позор...* — В состав Паннонской армии входили VII Гальбанский легион и XIII Сдвоенный. Подразделения последнего потерпели поражение под Бедриаком в апреле 69 г. н. э.

...речь к преторианцам. — Антоний обращается к солдатам преторианской гвардии, которая провозгласила императором Отона (тем самым опозорив себя изменой законному императору — Гальбе), была разбита под Бедриаком и затем распущена Вителлием. После начала флавианской войны многие из этих бывших преторианцев встали на сторону Веспасиана и образовали в армии Антония особый отряд.

Стр. 332. *Головные повязки* — из белой, реже красной, шерстяной ткани были атрибутом жреческого достоинства, а потому и священным знаком неприкосновенности.

Стр. 333. *Мефигида* — богиня смрадных испарений сернистых источников.

Стр. 334. *...возле третьего камня...* — в трех милях (4,5 км).

Арицийская роща. — Ариция (ныне Риччия) лежала у подножья Альбанских гор в 16 милях от Рима. Здесь находился окруженный священной рощей храм Дианы.

Стр. 335. *Луций Вителлий* — брат императора.

Юний Блез — наместник Лугдунской Галлии, оказавший Вителлию щедрую денежную помощь зимой и весной 69 г. н. э. во время похода его на Рим.

Цецина Туск — один из приближенных Нерона; префект Египта при этом императоре.

Стр. 336. ...*предками* — Юниями и Антониями... — Блез происходил из древнего патрицианского рода Юниев; к числу его предков относилась также Октавия Старшая, родная сестра Октавиана Августа, бывшая вторым браком замужем за Марком Антонием, триумвиром. Отец Блеза был при Тиберии наместником Паннонии и последним из частных лиц, получившим звание императора.

Стр. 340. *Полт*. — Имеется в виду Полемонов Понт — небольшое государство на северном побережье Малой Азии. После смерти в 63 г. н. э. последнего царя Понта Полемона II власть над страной перешла к римлянам, обратившим ее в свою провинцию.

Хоб — ныне Хоби, река в южной Грузии, впадающая в Черное море севернее устья р. Риони.

Стр. 342. *Моряки... требовали, чтобы их перевели в число легионеров*. — Служба в легионах была не только легче и выгоднее, чем на кораблях, но и считалась более почетной.

Святынище Судьбы (Fanum Fortunae) — ныне Фано на адриатическом побережье Италии между Римини и Анконой. Здесь начиналась Фламиниева дорога, ведшая через Апеннинский хребет прямо к Риму.

Клаварий (букв. деньги «на гвозди») — деньги, выдававшиеся солдатам на починку обуви. В описываемую эпоху клаварий был просто одним из видов платы солдатам.

Битва у Яникульского храма — произошла в 87 г. до н. э. во время войны Мария с Суллой, при въезде в Рим.

Стр. 344. *Юлий Приск, Альфен Вар* — префекты преторианцев.

Стр. 345. *Права федератов* — здесь: льготы, которыми изначально пользовались некоторые города Италии и которые впоследствии могли также распространяться на иностранные государства, союзные Риму. Латинское гражданство давало иностранцу право покупать и продавать землю, скот и рабов.

Меванил — в Умбрии, на южных отрогах Апеннин, на Фламиниевой дороге. Ныне Бевапья.

Стр. 346. *Минтурны* — город на юге Латия при впадении р. Лирис в Тирренское море. Ныне не существует.

Путолы — ныне Пущуола неподалеку от Неаполя.

Таррацина — ныне Террачина, между Неаполем и Римом.

Нарния — город в Умбрии к югу от Меванил, где армия стояла в момент прибытия Вителлия. Ныне Нарни.

Стр. 347. *Флавий Сабин* — старший брат Веспасиана.

Карсулы — город в Умбрии на западном склоне Апеннин в 10 римских милях к северу от Нарнии. Ныне Касильяно.

Стр. 349. *Ювеналовы игры* — театральные представления для избранной публики, устраивавшиеся Нероном в его загородных садах.

Стр. 350. *Клувий Руф* — консул 45 г. н. э., в 68 г. н. э. — наместник Тарраконской Испании, известный оратор и историк. *Силий Италик* — консул 68 г. н. э., при Веспасиане — наместник провинции Азия; эпический поэт и последователь стоической философии.

Стр. 353. *Капитолий* — находился в центре Рима, неподалеку от Тибра в том месте, где река дальше всего изгибается на восток, и представлял собой крутой, вытянутый с юга на север двухвершинный холм. Северная вершина (высота 50 м), на которой находился укрепленный кремль, была отделена от южной (высота 47 м), где стоял храм Юпитера, глубокой впадиной (глубина 30 м). На нее поднимался с Форума, то есть с юго-востока, Капитолийский взвоз, которым закапчивалась Священная дорога; с двух сторон его шли лестницы для пешеходов. От взвоза отходили два пути, один вел на север к кремлю, другой на юг к храму Юпитера. Глубже этой развилки, дальше на запад, находился храм бога Мщения, две священные рощи, а между ними, в самой седловине, место, называвшееся Убежищем. Южная вершина, на которой заперся Сабин (Тацит называет ее то просто Капитолием, то крепостью, хотя собственно крепость находилась на северной вершине), представляла собой обширную (около 1,5 га) площадь, окруженную стеной с запиравшимися воротами и портиком; на площади стояло несколько храмов и среди них главная святыня Рима — храм Юпитера Всеблагого и Всемогущего. Южный и западный склоны Капитолия были особенно неприступны и носили название Тарпейской скалы. С юго-запада к Капитолийскому храму вела лестница в сто ступеней.

Стр. 355. *Консульство Луция Сципиона и Гая Норбана* — 83 г. до н. э.

Стр. 356. *Велабр* — Торговый район, запинавший ложбину между Палатином и Капитолием, а с юго-запада ограниченный Тибром.

Стр. 357. *Гемонии* — так называлась лестница, проходившая по восточному склону Капитолия поблизости от государственной Туллиевой тюрьмы. На ступени ее выбрасывали для всеобщего обозрения трупы казненных.

...у *Феронии*... — Храм Феронии, богини личной свободы, находился в трех милях от Таррацины.

Вергилий Капитон — был при Клавдии префектом Египта.

Стр. 358. *Окрикул* — городок к югу от Нарнии при впадении Пары в Тибр; ныне Отриколи.

Стр. 359. *Красные камни* — место в Этрурии на правом берегу Тибра в 6 римских милях от столицы.

Стр. 361. *Лагерь* — то есть лагерь преторианцев.

Стр. 362. ...в *постыдное место*... — По Светонию (Вителлий, 16) — в каморку раба-привратника, по Диону Кассию (65, 20) — в собачью коуру.

Стр. 363. *Высокий рост* — считался отличительной особенностью германцев, из которых в основном состояли вспомогательные когорты армии Вителлия.

Стр. 364. ...с ...кольцом на пальце...— Золотой перстень был в эту эпоху одним из знаков всаднического достоинства. Следовательно, Вителлий не только отпустил на волю раба, выдавшего Таррацину, но и сделал его всадником.

Стр. 365. ...возвышенными науками...— философией. Как явствует из следующей фразы — философией стоиков.

Стр. 366. *Пет Тразея* — консул 56 г. н. э., последователь стоической философии, духовный вождь оппозиции Нерону; покончил с собой по приказу императора в 66 г. н. э.

Эприй Марцелл — знаменитый доносчик, оратор и выдающийся государственный деятель эпохи Неропа и Веспасиана, дважды консул (в 62 и 74 гг. н. э.).

Стр. 367. *Соран* — сенатор, консул 52 г. н. э., проконсул Азии, примыкал к «стоической оппозиции» и погиб одновременно с Тразеей. Кто такой *Селгий* — неизвестно.

Г. Кнабе

ГАЙ СВЕТОНИЙ ТРАНКВИЛЛ

Жизнь двенадцати цезарей

Божественный Веспасиан

Перевод выполнен по изданию: С. Suetoni Tranquilli Opera ex rec. M. Ihm. Vol. I. De vita Caesarum libri VIII. Lipsiae, 1907.

Стр. 371. *Сороковая доля* (2,5%) — ввозная пошлина, взимавшаяся в некоторых провинциях.

Гельветы — кельтское племя на территории современной Швейцарии.

Стр. 372. *Начальник лагеря* — почетная офицерская должность, обычно предоставлявшаяся лицам, выслужившимся из центурионов.

Реате, Нурсия, Сполеций и пр. — небольшие городки в земле сабинов (предгорья средних Апеннин).

...в пятнадцатый день до декабрьских календ...— 17 ноября 9 г. н. э.

Коза — портовый город в Этрурии, около ста двадцати километров от Рима.

...шестым по списку...— то есть последним.

...германской победы...— Имеется в виду поход Калигулы на германцев и потом на британцев (к Ламаншу) в 39—40 гг. н. э.; хотя поход был неудачен, сенат декретировал императору триумф.

Заговорщики — Лепид и Гетулик, замышлявшие против Калигулы мятеж в германских войсках.

Стр. 372. *Рекуператоры* — судебная комиссия, разбиравшая в ускоренные сроки дела различного рода, преимущественно по жалобам провинциалов.

Стр. 373. *Антония Младшая* — племянница Августа и мать императора Клавдия.

Вектис — ныне остров Уайт.

...два жреческих сана... — понтификат и авгурство.

...два последних месяца в году. — В эпоху империи каждый год у власти сменялось несколько пар консулов; самым почетным было консульство, с которого начинался год, наименее почетным — последнее.

...торговлей мулами. — Торговля была сенаторам запрещена, но запрет обходился; иметь дело с мулами считалось особенно позорным.

Стр. 374. *...одной крепости...* — Речь идет о крепости Иотапате, обороной которой командовал Иосиф Флавий, будущий иудейский историк.

...человечью руку... — Рука считалась символом власти и изображалась, между прочим, на значках воинских подразделений.

Кармел — древний филистимлянский бог войны, оракул которого находился на одноименной горе.

Иосиф — будущий историк Иосиф Флавий.

Стр. 375. *Тиберий Александр* был помощником Веспасиана в Иудейской войне; два легиона, стоявшие в Египте, присягнули 1 июля, три легиона, воевавшие в Иудее — 11 июля 69 г. н. э.

Стр. 376. *Басилид* — имя, производное от слова «басилий» (царь) и потому благоприятное гаданию.

...восемь раз был консулом... и цензором. — Консульства Веспасиана — 70—72, 74—77 и 79 гг. н. э., цензорство — 73 или 74 г. н. э. Иудейский триумф был отпразднован в 70 г. н. э.

Моряки... — Из моряков составлялись пожарные команды в портах Остии и Путеол, где пожары грозили складам привозного зерна; отдельные отряды этих команд попеременно несли дежурство в Риме.

...мишил свободы. — Речь идет о номинальной свободе (главным образом, от налогов и наместнического суда), которую императоры иногда жаловали тем или иным греческим городам.

Стр. 377. *...амфитеатр посреди города...* — Этот амфитеатр впоследствии прославился под именем Колизея.

Центумвиры («сто мужей») — эта коллегия разбирала, главным образом, дела о собственности римских граждан.

Стр. 378. *Сальвий Либерал* — видный оратор и судебный деятель.

Пес — ходячее прозвище киников, бродячих философов, отвергавших все жизненные блага и живших «как собаки».

...императорский гороскоп... — Составлять гороскоп императора означало любопытствовать, когда императора ждет смерть; поэтому такие астрологические занятия считались тяжким преступлением.

Стр. 379. *Колосс* — исполнинская статуя Перона, переделанная Веспасианом в статую Солнца; *Венера Косская* — статуя в храме Мира, подражание знаменитой статуе Праксителя.

«Селедочником» — звали самозванца-узурпатора, правившего Египтом в течение нескольких дней в 58 г. до н. э.

Стр. 380. ...*не Флором, а Флавром.* — В разговорной речи двугласный *au* часто произносился как *o*, но в слове «*plōstra*» («повозки») «*o*» было исконным, и двугласное произношение было нарочитой манерностью; отсюда шутка Веспасиана, к тому же двусмысленная, так как по-гречески «*флаврос*» значит «ничтожный».

Шел, широко выступал... — «Илиада», VII, 213 (об Аяксе).

О Лакет... — Строки из неизвестной комедии Менандра.

Стр. 381. *Тит упрекал отца...* — Отсюда пошла известная поговорка: «деньги не пахнут».

Кугилии близ Реате — популярное место отдыха с холодными источниками и озером с плавучим островом, который считался центром Апеннинского полуострова.

...он скончался... — 23 июня 79 г. н. э.

...столько же лет — 27 лет (Клавдий и Нерон — 41—68 гг. н. э., Веспасиан, Тит и Домициан — 69—96 гг. н. э.).

Божественный Тит

Стр. 382. ...*унаследовавший прозвище отца...* — Полное имя Тита было Тит Флавий Веспасиан, как и у его отца; брата его звали Тит Флавий Домициан по прозвищу матери, Домициилы.

...в год, памятный гибелью Гая... — 30 декабря 41 г. н. э. (в 41 г. н. э. был убит Гай Калигула).

Септизоний — семиэтажная башня; самое известное из таких сооружений было воздвигнуто позднее, в III в.

Стр. 383. *Тарихея* и *Гамала* — крепости на противоположных берегах Геннисаретского озера.

...последней осаде Иерусалима... — Захват и пожар Иерусалимского храма — 6 августа 70 г. н. э.

...провозгласили его императором... — Имя «Император» вместо своего личного имени «Гай» впервые принял Август, потом Нерон, потом, начиная с Веспасиана — все последующие правители.

Стр. 384. *Береника* — дочь Агриппы I, иудейского царя, правившего Кипром, жена царя Ирода Халкидского, любовница Тита со времени иудейской войны.

...освещении амфитеатра... — Колизей, в 80 г. н. э.

Стр. 385. *Гладиаторы-фракийцы* — с легким щитом и кривым кинжалом сражались обычно против гладиаторов-мирмиллонов в полном тяжелом вооружении.

Стр. 385. *Извержение Везувия* — 24—25 августа 79 г. н. э.: то, которое погубило Геркулан и Помпеи. Моровую язву приписывали засорению воздуха от этого извержения.

...под разные законы...— то есть при неудаче одного обвинения выдвигать другое против того же лица. ...*права умерших*...— то есть спорить, был ли умерший свободным гражданином или вольноотпущенником, не имевшим права свободно распоряжаться наследством.

Стр. 386. ...*чтобы руки его были чисты*...— Великий понтифик должен был воздерживаться от всякого кровопролития. Конечно, обычно это соблюдалось лишь номинально: так, Цезарь сохранял сан великого понтифика во все время галльских войн.

...кроме... *одного поступка*...— Были, конечно, слухи, что Тит отравлен Домицианом и что перед смертью он жалел именно о том, что не казнил брата и оставил империю такому злодею (Дион, 66, 26).

Скончался он...— 13 сентября 81 г. н. э.

Д о м и ц и а н

Стр. 387. *Домициан родился*...— 24 октября 51 г. н. э.

...с консульской властью...— Оба консула 70 г., Веспасиан и Тит, еще находились в Иудее.

Стр. 388. ...в Галлию и Германию...— где вспыхнуло восстание Цивилиса против Веспасиана; но Домициан не успел доехать до театра военных действий, как оно уже было подавлено.

Очередными — назывались те из консулов, которые принимали власть первыми среди консулов данного года, 1 января: их звание пользовалось особенным почетом.

Подарки войскам — делал каждый император при вступлении на престол; двойными подарками Домициан хотел побудить войска провозгласить императором его, а не Тита.

Вибий Крисп — известный оратор и остроумец, трижды консул, в это время — уже глубокий старик.

Стр. 389. *Кифареды* выступали с пением под собственную музыку, *кифаристы* — только с музыкой.

Жрецы Флавиев — обожествленных Веспасиана и Тита.

Квинкватрии — пятидневный мартовский праздник в честь Минервы. *Альбан* — дачное место близ Рима, в I в. н. э. ставшее собственностью императоров.

Стр. 390. *Праздник Семи холмов* (в память древнейших в Риме поселений на семи вершинах Палатина, Эсквилина и Целия) — справлялся 11 ноября.

Тессера — жетон на получение подарка во время раздач.

...*Капитолий, сгоревший во второй раз*...— в 80 г. н. э.

Одеон — здание для музыкальных состязаний.

...против хаттов...— Поход против германского племени хаттов в 83 г. н. э. закончился присоединением к империи большого клина германской территории между Рейном и Дунаем («декуматские поля») — это было последнее расширение Римской империи по северной границе. *Походы против даков* делались в 86 и 88 гг. н. э., *триумф Домициана* — 89 г. н. э.

Луций Антоний Сатурнин поднял мятеж (89 г.), рассчитывая на поддержку со стороны ненавидевших Домициана зарейнских германцев.

...цветам цирковых возниц...— Обычно в цирке в каждом заезде участвовало 4 колесницы с возницами, одетыми в цвета белый, зеленый, красный и голубой.

Стр. 391. *...принимать на хранение от... солдата...*— Солдаты обычно откладывали часть жалованья в казну легиона с тем, чтобы получить сбережения при окончании службы.

Скантиниев закон — был направлен против педерастии. *Весталок... наказывал... по древнему обычаю.*— Древний обычай наказания весталок состоял в том, что преступницу заживо погребали в подземелье с ничтожным запасом пищи; таким образом, номинально это не считалось смертной казнью.

Стр. 392. *Стих Вергилия* — «Георгики», II, 537.

Клодиев закон — такой закон неизвестен; был закон Клавдия (218 г. до н. э.), запрещавший сенаторам заниматься торговлей.

...уступит распорядителю игр...— Смысл шутки: «фракиец уступит мирмиллоу не потому, что он слабее, а потому, что император больше любит мирмиллонов».

Щитоносец — так называли тех же гладиаторов-фракийцев.

Стр. 393. *Воздержание* — рекомендовалось певцам для сохранения голоса.

Юний Рустик.— Похвальное слово Гельвидию Приску написал не Рустик, а Герепний Сенедион, также казненный; может быть, в тексте Светония его имя выпало случайно.

Парис и Энона — по мифу, Парис был любовником нимфы Эноны и покинул ее, чтобы вступить в брак с Еленой. *Гельвидий Младший* — сын того Гельвидия Приска, которого казнил Веспасиан. В исходе трагедии (своего рода дивертисменте) ставились обычно комические пьески.

Стр. 394. *...на казнь по обычаю предков...*— Казнь состояла в том, что преступника в колодках засекали розгами до смерти.

Иудейский налог — в две драхмы с человека был наложен Титом на исповедующих иудейскую религию.

Не хорошо многовластье! — стих из «Илиады», II, 204.

Владыка. — Слово это в латинском языке предполагало отношения, подобные отношениям рабов к хозяину. В обращении к императору оно стало общепринятым лишь во II в. н. э.

Стр. 395. «Довольно» (по-гречески «арки») — каламбур, обыгрывающий созвучие с римским словом «арки».

Консулом он был семнадцать раз...— Шесть раз до прихода к власти, семь лет подряд в 82—88 гг. н. э., и затем в 90, 92 и 95 гг. н. э.

Как ты, козел...— Популярная эпиграмма Эвена Паросского («Палатинская антология», IX, 75).

Лунный камень — род белого полупрозрачного мрамора, открытого при Нероне в Малой Азии.

Стр. 396. *...убил... Флавия Клемент...*— В христианской исторической традиции сложилось убеждение, что Флавий Клемент был казнен за свою приверженность к христианству; но античные историки упоминают только о его склонности к иудейству.

Пренестинская Фортуна.— Имеется в виду оракул в Пренесте (ныне Палестрина) с храмом Фортуны.

Стр. 397. *Корникуларий* — младший офицерский чин, помощник центуриона.

Погиб он...— 18 сентября 96 г. н. э.

Стр. 398. *Видишь, каков я.*— «Илиада», XXI, 108, слова Ахилла.

Лук — не входил в вооружение римского воина и считался скорее средством развлечения.

Библиотеки — в Риме (прежде всего, библиотека при храме Аполлона Палатинского) пострадали при пожаре 80 г. н. э.

Магианские яблоки — сорт, выведенный в I в. до н. э. Матием, другом Цицерона, известным гастрономом.

М. Гаспаров

АММИАН МАРЦЕЛЛИН

Д е я н и я

Первые два из публикуемых отрывков исторического труда Аммиана Марцеллина повествуют о событиях времени правления императора Констанция II (317—361, император с 351 г.), сына Константина Великого. В них рассказывается о карательной экспедиции Констанция против сарматов в придунайских землях Римской империи и о войне с персами, вторгшимися в Месопотамию и Армению. В третьем отрывке описаны последние дни Юлиана, сменившего на престоле своего двоюродного брата Констанция. Юлиан (его обычно называют Отступником за отказ от христианства и насаждение языческих религиозных культов) правил всего 2 года (361—363). Однако, будучи весьма образованным и склонным к философским занятиям человеком, он успел завоевать большой авторитет среди просвещенных людей того времени. Культ Юлиана разделет и Аммиан, дающий восторженную характеристику этому императору.

[Сарматская война императора Констанция]

Стр. 403. *К Августу...*— к императору Констанцию II.

Сирмий (на правом берегу р. Савы, притока Дуная) — один из самых больших городов Паннонии. В Сирмии Констанций проводил зиму 357—358 гг.

...сарматов и квадов...— Сарматы издавна тревожили северные границы Римской империи. Константин Великий расселил большую часть сарматов в римских пределах. Аммиан имеет в виду так называемых сарматов-язигов, обитавших между средним течением Дуная и Тиссой. *Квады* — племя германского происхождения.

Стр. 404. *Вторая Паннония* — одна из четырех провинций, на которые была разделена область Паннония. Находилась к северу от нижнего течения р. Савы.

Валерия — другая провинция Паннонии (вдоль западного берега Дуная).

Стр. 405. *...частью трансюгитан...*— Общее наименование ряда племен, встречающееся только у Аммиана. Слово трансюгитане в переводе с латыни означает «живущие за хребтом».

...исконных римских клиентов...— В период империи были нередки случаи, когда целые народы и страны отдавались под покровительство Рима и таким образом становились клиентами Рима, что накладывало на них определенные обязательства.

...приставить мечи к их глоткам.— Речь, видимо, идет об обряде, сопутствовавшем заключению мира и символизовавшем покорность.

Стр. 406. *...их рабов.*— Сарматы-рабы, или *лимиганы*, как их называет писатель, скорее всего были выходцами из покоренных племен, которых обратили в рабство завоеватели-сарматы. Они и раньше (например, в 337 г.) восставали против своих господ.

Виктогалы (или виктовалы) — племя, обитавшее на востоке Германии.

Брегеций (или Бригеций) — город на Дунае в северной части провинции Валерия.

Стр. 407. *Парфиск* — одно из древних названий р. Тиссы.

Стр. 409. *Амицензы, пицензы* — так Аммиан называет какую-то часть сарматов-рабов.

Таифалы — небольшое племя германского происхождения.

Стр. 410. *Иллирик* — так в это время называли всю западную часть Балканского полуострова.

...вторично... получив титул «Сарматского»...— Впервые титул «Сарматского» Констанций получил еще до вступления на престол (около 335 г.) за войны в Галлии.

Стр. 412. ...*плению наших людей*...— Летом 359 г. персидский царь Сапор (Шапур) II вторгся в Месопотамию и, как рассказывает Аммиан, захватил крепости Реман и Бузан вместе с их гарнизонами.

Амида — город Армении в верхнем течении р. Тигр.

Антонин — высокопоставленный римский офицер. Вынужденный бежать к персам, стал военным советником Шапура II.

Хиониты — народ, с севера граничивший с персами.

Стр. 413. *Фессалийский вождь* — герой Троянской войны Ахилл. Его спутник и любимец — Патрокл. Как рассказывает Гомер, из-за тела убитого Патрокла разгорелась жаркая битва между греками и троядцами.

Маны — согласно древнеримским верованиям, души умерших людей.

Стр. 414. *Скорпион* — метательная машина у древних.

Сингара — город в Месопотамии.

Стр. 415. *Урзицин* — один из высших офицеров римского войска. Аммиан находился в штате у Урзицина и относился к нему с уважением. В 358—359 гг. Урзицин был несправедливо, как считает историк, подчинен малоспособному Сабиниану, назначенному командующим восточной армией. Сабиниан, по словам Аммиана, вместо руководства армией, устранился на кладбище г. Эдессы военные пляски с целью умиловления мертвых.

Стр. 416. ...*изнурительной десятилетней войны*...— Аммиан говорит о войне греков и троянцев, описанной в «Иллиаде» Гомера. *Царственная чета* — Менелай и Елена.

...*бедствие... постигло афинян*...— Греческий историк Фукидид рассказывает о страшной эпидемии, которая обрушилась на Афины и Аттику в начале Пелопонесской войны между афинянами и спартацами (последняя треть V в. до н. э.).

...*вид заразы*...— Для обозначения типов эпидемий Аммиан пользуется греческими словами, означающими: «*пандемос*» — всемирный, «*эпидемос*» — народный, «*лимодес*» — заразный.

...*два Магненциева легиона*...— Магненций — узурпатор, император 350—353 гг. Кончил жизнь самоубийством в Галлии. Как рассказывал раньше Аммиан, легионы Магненция были переправлены на Восток ввиду их «неадекватности».

Стр. 418. *Зиата* — крупный город Армении.

Стр. 419. *Рес* — согласно Гомеру, фракийский царь, явившийся во время войны на помощь осажденной Трое. На его лагерь ночью напали греческие герои Диомед и Одиссей.

Стр. 420. *Катафрагты* — тяжеловооруженные конные воины.

Стр. 422. *Спарты*.— Согласно мифу, Кадам посеял зубы убитого им

дракона. В результате из земли появились вооруженные люди, вступившие между собой в битву (они назывались по-гречески *σπαρτοί*, т. е. «посеянные»). Оставшиеся в живых стали родоначальниками фиванской знати.

Стр. 422. *Малая Армения* — так называлась часть Армении, расположенная к западу от Евфрата.

Антиохия — столица Сирии, родина Аммиана Марцеллина.

Краугазий — влиятельный гражданин Нисибиса (одного из самых больших городов Месопотамии). Царь Шапур захватил в плен его красавицу жену и рассчитывал через нее оказать давление на влюбленного в жену Краугазия.

Стр. 423. *Изола* — хребет к юго-западу от Амиды.

...*намного отстал, хоть шел следом*.— Вергилий, «Энеида», V, 320.

Из книги XXV

[Смерть императора Юлиана]

Стр. 424. ...*заключено перемирие*...— Речь идет об ассирийском походе Юлиана. Перемирие было заключено 18 июня 363 г., после отражения нападения персидского отряда на римское войско, выступившее из Ктесифона.

Гений Римского государства.— По верованиям древних римлян, каждый человек, семья, город и государство в целом имели своего духа-хранителя, так называемого гения. В 360 г. Юлиан, находясь в Галлии, был, якобы вопреки собственной воле, провозглашен императором. По словам Аммиана, в ночь накануне провозглашения Юлиану явился гений государства, потребовавший от него принятия императорской власти.

Стр. 425. ...*звезда самого Марса*.— Появление перед сражением планеты, посившей имя Марса, нередко толковалось как дурное предзнаменование.

...называем *δαιττων* — одно из греческих наименований «падающих» или «блуждающих» звезд.

Тарквициевы книги.— Речь идет о ритуальных книгах этрусков.

Стр. 426. *Эпаминонд* — знаменитый фиванский полководец, убитый в битве под Мантиней в 362 г. до н. э. Потерять щит в сражении считалось величайшим позором.

Фригия — область Малой Азии, одноименная месту ранения Юлиана. В античности и средневековье было распространено немало рассказов об обманчивых предсказаниях. Человек страшится гибели в одном месте и находит ее в другом с таким же названием.

Стр. 427. *Марцелл*. Марк Клавдий — замечательный римский полководец периода Второй Пунической войны.

Стр. 427. ...*Сициния Дентата*...— Сициний Дентат, Луций — полулегендарный герой древнеримской истории, которого за храбрость называли «римским Ахиллом». *Сергий* — Марк Сергий Сил (Курносый), отчаянно храбрый воин периода Второй Пунической войны, дед Катилипы.

Стр. 428. *Максим* — философ-неоплатоник, учитель Юлиана. Возможно, под его влиянием император отказался от христианства. *Приск* — также философ-неоплатоник из окружения Юлиана.

...на тридцать втором году жизни.— Юлиан родился в 332, скончался 26 июня 363 г.

...наследники престола...— Юлиан был третьим сыном сводного брата императора Константина Великого Констанция и Василины. Констанций был убит во время солдатского мятежа 337 г., Василина умерла, когда Юлиану было несколько месяцев.

Стр. 430. *Кадуцей* — специальный жезл, который послали с собой посланники мира, атрибут бога Меркурия.

Деньги на корону — дань, уплачивавшаяся провинциями в связи с восшествием на престол нового императора.

Стр. 431. ...с императором *Марком*...— Речь идет о римском императоре Марке Аврелии (161—180). В древности гадали по внутренностям животных, приносимых в жертву.

Арат — писатель, автор поэмы на астрономические темы (III в. до н. э.).

Стр. 432. ...*утверждениям Метродора*...— Философ Метродор, возвращаясь из путешествия по Индии, преподнес Константину Великому от своего имени драгоценности, которые на самом деле передал императору индийский царь. К тому же Метродор утверждал, что большая часть драгоценностей похищена у него в пути персами. Эта ложь привела к ссору, в конце концов, войне с персидским царем.

Вифиния — область в северо-западной прибрежной части Малой Азии. *Пропонгида* — древнее название Мраморного моря.

...*помыкал там царями*...— Юлиан получил от Констанция титул цезаря в 355 г. В том же году он отправился в Галлию, где находился до 361 г. В Галлии Юлиан вел непрерывные войны с варварами.

...из свиты *Констанция*...— Аммиан рассказывает о расхождениях между христианами-офицерами, близкими в свое время к императору Констанцию, и военачальниками, выдвинувшимися в период войны Юлиана в Галлии.

Стр. 433. *Новиан* (род. 331 г., имп. 363—364 гг.) был сыном Варрониапа, обладателя одного из высших военных титулов комита domestikов.

...*одной... буквой*...— Латинское написание имени Юлиана Iulianus, Повнана — Iouianus.

Я. Любарский

СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>С. Утчекко. Римская историография и римские историки</i>	5
---	---

Г А Й С А Л Л Ю С Т И Й К Р И С П

Перевод С. Маркиша

Заговор Катилины	35
Война с Югуртой	70

Т И Т Л И В И Й

История от основания Рима

Книга I [<i>Рим под властью царей</i>]. Перевод В. Смиринина	141
Книга XXI [<i>Начало Второй Пунической войны</i>]. Перевод Ф. Зелинского	197

К О Р Н Е Л И Й Т А Ц И Т

Перевод Г. Кнабе

А н н а л ы

Книга одиннадцатая	257
Книга двенадцатая	277

И с т о р и я

Книга первая	310
Книга третья	316
Книга четвертая	363

ГАЙ СВЕТОНИЙ ТРАНКВИЛЛ

Перевод М. Гаспарова

Жизнь двенадцати цезарей

Божественный Веспасиан	371
Божественный Тит	382
Домициан	387

АММИАН МАРЦЕЛЛИН

Перевод Я. Любарского

Деяния

Из книги XVII [<i>Сарматская война императора Констанция</i>]	403
Из книги XIX [<i>Осада и взятие Амиды</i>]	412
Из книги XXV [<i>Смерть императора Юлиана</i>]	424
Примечания	437

ИСТОРИКИ РИМА

(Сборник)

Редактор С. Ошеров

Художественный редактор Л. Калитовская

Технический редактор М. Фридкина

Корректоры А. Юрьева и Р. Пунга

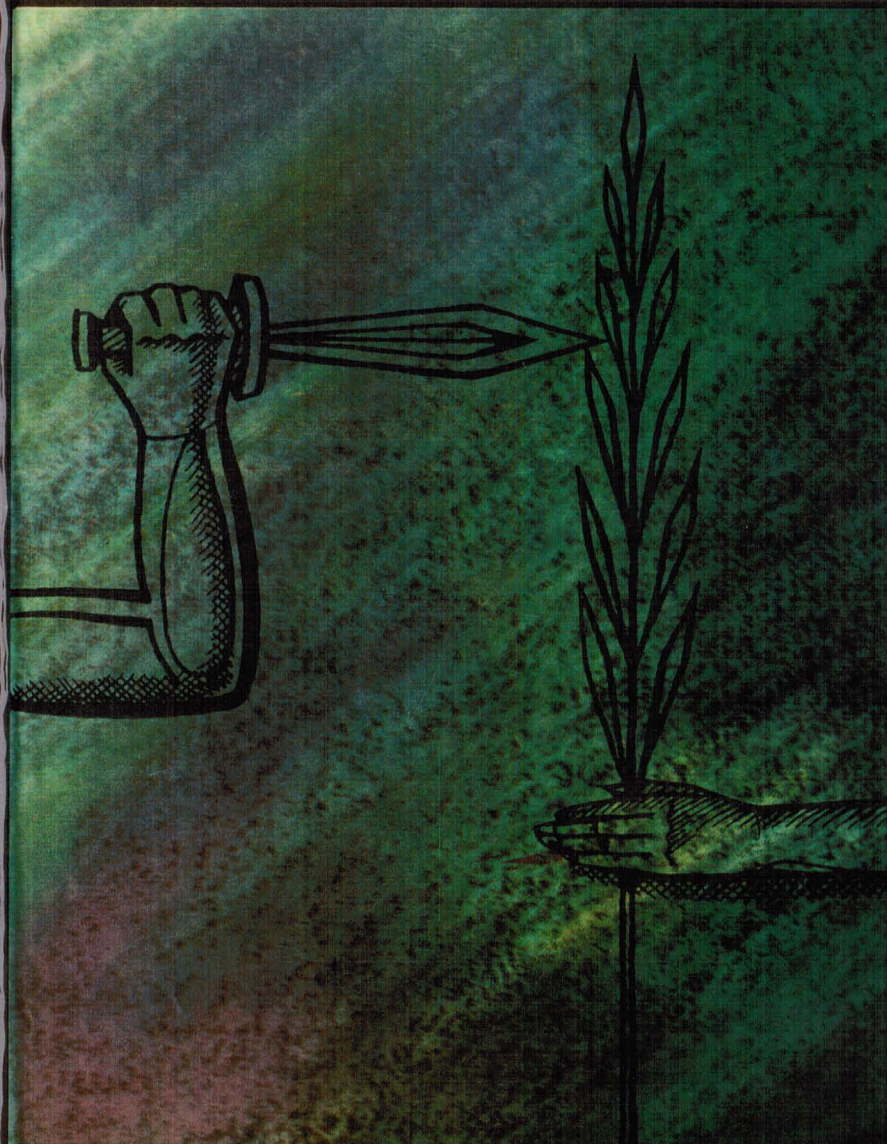
*Сдано в набор 30 VI 1969 г. Подписано к печати 28 X 1969 г.
Бумага типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 31 печ. л. 28,9 усл. печ. л.
30,27 уч.-изд. л. Тираж 40 000 экз. Заказ № 110. Цена 1 р. 34 к.*

*Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66 Ново-Басманная, 19.*

*Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова Главполиграфпрома Комитета по печати при
Совете Министров СССР. Москва, М-54, Валовая, 28.*

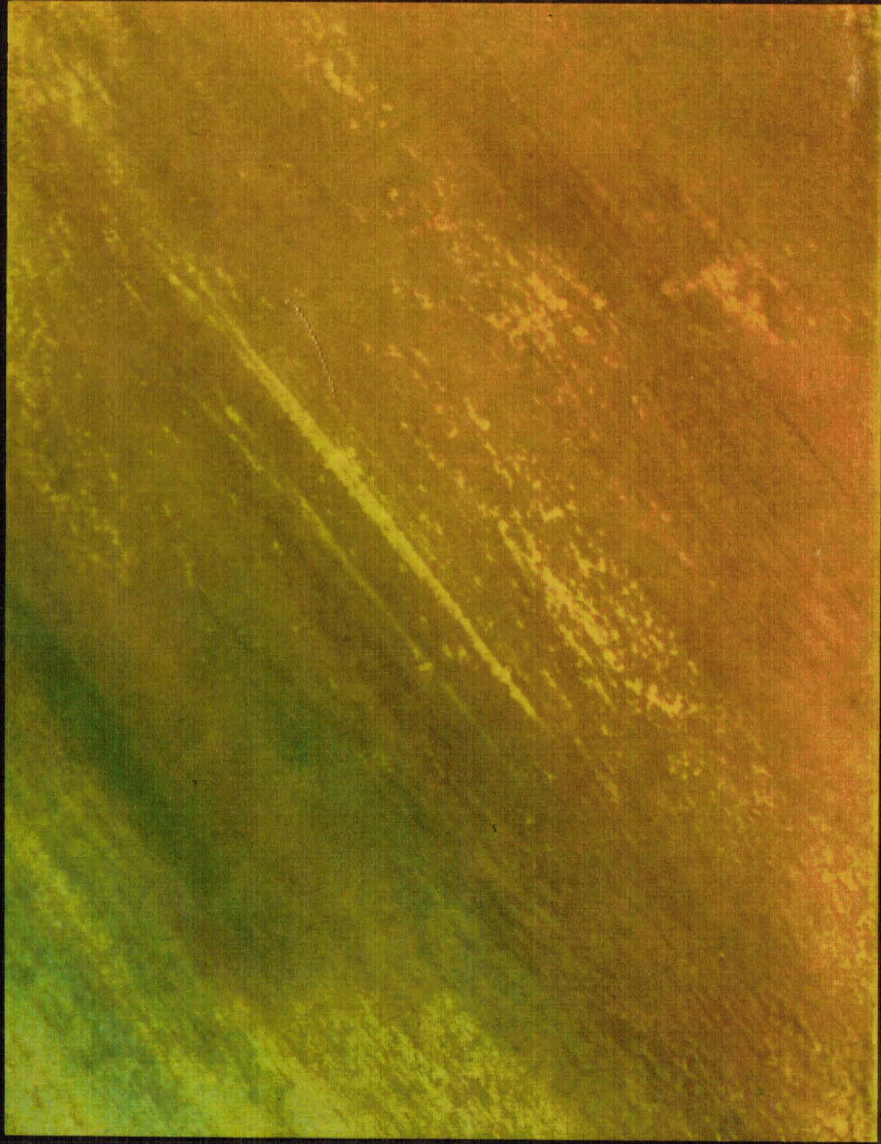
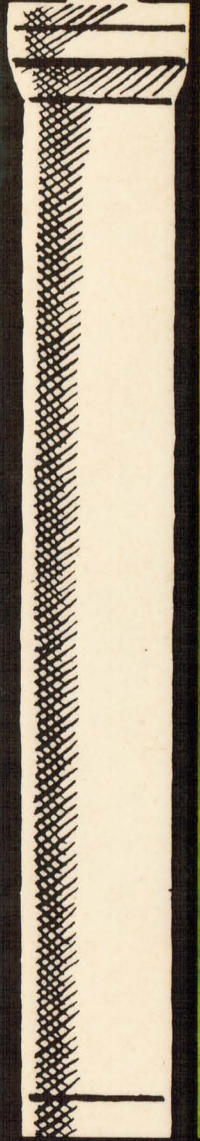
ИСТОРИКИ РИМА

ИСТОРИКИ



РИМА





ИСТОРИКИ РИМА

